М. Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН

16
(1)

М. Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В двадцати томах

⁂

Издание осуществляется
совместно с Институтом русской литературы
(Пушкинский дом) Академии наук СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1974

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том шестнадцатый

КНИГА ПЕРВАЯ

*

СКАЗКИ

1869—1886

ПЕСТРЫЕ ПИСЬМА

1884—1886

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1974

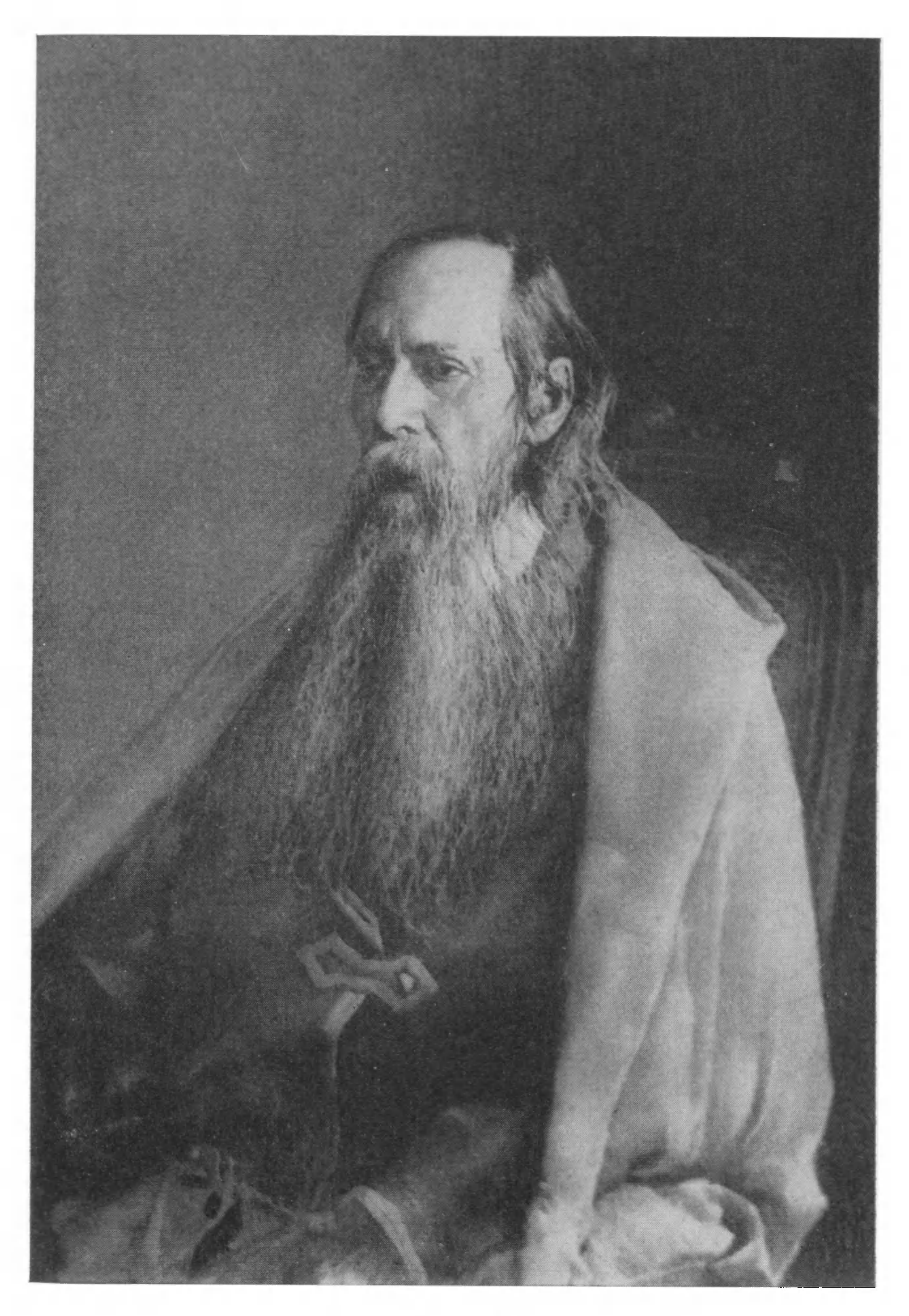
Р1
С16

Подготовка текста
В. Н. Баскакова, В. Э. Бограда

Примечания
В. Н. Баскакова, А. С. Бушмина, К. И. Тюнькина

Оформление художника
И. ЖИХАРЕВА

С $\frac{0731-260}{028(01)-74}$ подп. изд.



М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Работа художника Н. Ярошенко
1887 г.

СКАЗКИ

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подьяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

— Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился,— сказал один генерал,— вижу, будто живу я на необитаемом острове...

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

— Господи! да что ж это такое! где мы! — вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что все это не больше как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

— Теперь бы кофейку испить хорошо! — молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

— Что́ же мы будем, однако, делать? — продолжал он сквозь слезы,— ежели теперича доклад написать — какая польза из этого выйдет?

— Вот что,— отвечал другой генерал,— подите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: «Если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

— Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! — сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано — сделано. Пошел один генерал направо и видит — растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть — ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» — подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес — а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

— Господи! еды-то! еды-то! — сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

— Ну что, ваше превосходительство, промыслил что-нибудь?

— Да вот нашел старый нумер «Московских ведомостей», и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то

припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? — сказал один генерал.

— Да,— отвечал другой генерал,— признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают!

— Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить... Только как все это сделать?

— Как все это сделать? — словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом.

— Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! — сказал один генерал.

— Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! — вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

— С нами крестная сила! — сказали они оба разом,— ведь этак мы друг друга съедим! И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

— Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! — проговорил один генерал.

— Начинайте! — отвечал другой генерал.

— Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

— Странный вы человек, ваше превосходительство: но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

— Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

— Гм... да... А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: «Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать — и спать пора!»

Но упоминовение об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

— Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться,— начал опять один генерал.

— Как так?

— Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся...

— Тогда что ж?

— Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...

— Тьфу!

Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить, и, вспомнив о найденном нумере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

«Вчера,— читал взволнованным голосом один генерал,— у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая», и питомец лесов кавказских,— фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника...»

— Тьфу ты, господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее:

«Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая...»

— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! — прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочел:

«Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же, от огорчения, печень его увеличится...»

Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры,— все свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение...

— А что, ваше превосходительство,— сказал он радостно,— если бы нам найти мужика?

— То есть как же... мужика?

— Ну, да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

— Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

— Ка́к нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрепанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но, наконец, острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

— Спишь, лежебок! — накинулись они на него,— небось и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку — и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?»

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: «Вот как оно хорошо быть генералами — нигде не пропадешь!»

— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем мужичина-лежебок.

— Довольны, любезный друг, видим твое усердие! — отвечали генералы.

— Не позволите ли теперь отдохнуть?

— Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку.

Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял — и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег, а сами легли спать.

Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние всё накапливаются да накапливаются.

— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение, или это только так, одно иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

— Стало быть, и потоп был?

— И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более, что в «Московских ведомостях» повествуют...

— А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?

Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани — и ничего, не тошнит!

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? — спрашивал один генерал другого.

— И не говорите, ваше превосходительство! все сердце изныло! — отвечал другой генерал.

— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а все, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!

— Еще как жалко-то! Особливо, как четвертого класса, так на одно шитье посмотреть, голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже

Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

— А ведь мы с Подьяческой генералы! — обрадовались генералы.

— А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет, или по крыше словно муха ходит — это он самый я и есть! — отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися! И выстроил он корабль — не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство — этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет да гребет, да кормит генералов селедками.

Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако, и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

ПРОПАЛА СОВЕСТЬ

Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, науш-

ничать и клеветать. Всякую *болесть* вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как будто неслись; ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее — все, казалось, так и отдавалось им в руки,— им, счастливцам, не заметившим о пропаже совести.

Совесть пропала вдруг... почти мгновенно! Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг... ничего! Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница-совесть. Оставалось только смотреть на божий мир и радоваться: мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движения, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились; пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение.

А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя; всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе, и на самом бойком месте, может валяться такое вопиющее безобразие. И бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу, в надежде получить за нее шкалик.

И вдруг он почувствовал, что его пронизала словно электрическая струя какая-то. Мутными глазами начал он озираться кругом и совершенно явственно ощутил, что голова его освобождается от винных паров и что к нему постепенно возвращается то горькое сознание действительности, на избавление от которого были потрачены лучшие силы его существа. Сначала он почувствовал только страх, тот тупой страх, который повергает человека в беспокойство от одного предчувствия какой-то грозящей опасности; потом всполошилась память, заговорило воображение. Память без пощады извлекала из тьмы постыдного прошлого все подробности насилий, измен, сердечной вялости и неправд; воображение облекало эти подробности в живые формы. Затем, сам собой, проснулся суд...

Жалкому пропойцу все его прошлое кажется сплошным безобразным преступлением. Он не анализирует, не спрашивает, не соображает: он до того подавлен вставшею перед ним картиною его нравственного падения, что тот процесс самоосуждения, которому он добровольно подвергает себя, бьет его несравненно больнее и строже, нежели самый строгий людской суд. Он не хочет даже принять в расчет, что большая часть

того прошлого, за которое он себя так клянет, принадлежит совсем не ему, бедному и жалкому пропойцу, а какой-то тайной, чудовищной силе, которая крутила и вертела им, как крутит и вертит в степи вихрь ничтожною былинкою. Что́ такое его прошлое? почему он прожил его так, а не иначе? что́ такое он сам? — все это такие вопросы, на которые он может отвечать только удивлением и полнейшею бессознательностью. Иго строило его жизнь; под игом родился он, под игом же сойдет и в могилу. Вот, пожалуй, теперь и явилось сознание — да на что оно ему нужно? затем ли оно пришло, чтоб безжалостно поставить вопросы и ответить на них молчанием? затем ли, чтоб погубленная жизнь вновь хлынула в разрушенную храмину, которая не может уже выдержать наплыва ее?

Увы! проснувшееся сознание не приносит ему с собой ни примирения, ни надежды, а встрепенувшаяся совесть указывает только один выход — выход бесплодного самообвинения. И прежде кругом была мгла, да и теперь та же мгла, только населившаяся мучительными привидениями; и прежде на руках звенели тяжелые цепи, да и теперь те же цепи, только тяжесть их вдвое увеличилась, потому что он понял, что это цепи. Льются рекой бесполезные пропойцевы слезы; останавливаются перед ним добрые люди и утверждают, что в нем плачет вино.

— Батюшки! не могу... несносно! — криком кричит жалкий пропоец, а толпа хохочет и глумится над ним. Она не понимает, что пропоец никогда не был так свободен от винных паров, как в эту минуту, что он просто сделал несчастную находку, которая разрывает на части его бедное сердце. Если бы она сама набрела на эту находку, то уразумела бы, конечно, что есть на свете горесть, лютейшая всех горестей,— это горесть внезапно обретенной совести. Она уразумела бы, что и она — настолько же подъяремная и изуродованная духом толпа, насколько подъяремен и нравственно искажен взывающий перед нею пропоец.

«Нет, надо как-нибудь ее сбыть! а то с ней пропадешь, как собака!» — думает жалкий пьяница и уже хочет бросить свою находку на дорогу, но его останавливает близь стоящий хожалый.

— Ты, брат, кажется, подбрасыванием подметных пасквилей заниматься вздумал! — говорит он ему, грозя пальцем,— у меня, брат, и в части за это посидеть недолго!

Пропоец проворно прячет находку в карман и удаляется с нею. Озираясь и крадучись, приближается он к питейному дому, в котором торгует старинный его знакомый, Прохорыч. Сначала он заглядывает потихоньку в окошко и, увидев, что

в кабаке никого нет, а Прохорыч один-одинехонек дремлет за стойкой, в одно мгновение ока растворяет дверь, вбегает, и прежде, нежели Прохорыч успевает опомниться, ужасная находка уже лежит у него в руке.

Некоторое время Прохорыч стоял с вытаращенными глазами; потом вдруг весь вспотел. Ему почему-то померещилось, что он торгует без патента; но, оглядевшись хорошенько, он убедился, что все патенты, и синие, и зеленые, и желтые, налицо. Он взглянул на тряпицу, которая очутилась у него в руках, и она показалась ему знакомою.

«Эге! — вспомнил он,— да, никак, это та самая тряпка, которую я насилу сбыл перед тем, как патент покупать! да! она самая и есть!»

Убедившись в этом, он тотчас же почему-то сообразил, что теперь ему разориться надо.

— Коли человек делом занят, да этакая пакость к нему привяжется,— говори, пропало! никакого дела не будет и быть не может! — рассуждал он почти машинально и вдруг весь затрясся и побледнел, словно в глаза ему глянул неведомый дотоле страх.

— А ведь куда скверно спаивать бедный народ! — шептала проснувшаяся совесть.

— Жена! Арина Ивановна! — вскрикнул он вне себя от испуга.

Прибежала Арина Ивановна, но как только увидела, какое Прохорыч сделал приобретение, так не своим голосом закричала: «Караул! батюшки! грабят!»

«И за что я, через этого подлеца, в одну минуту всего лишиться должен?» — думал Прохорыч, очевидно, намекая на пропойца, всучившего ему свою находку. А крупные капли пота между тем так и выступали на лбу его.

Между тем кабак мало-помалу наполнялся народом, но Прохорыч, вместо того, чтоб с обычною любезностью потчевать посетителей, к совершенному изумлению последних не только отказывался наливать им вино, но даже очень трогательно доказывал, что в вине заключается источник всякого несчастия для бедного человека.

— Коли бы ты одну рюмочку выпил — это так! это даже пользительно! — говорил он сквозь слезы,— а то ведь ты норовишь, как бы тебе целое ведро сожрать! И что ж? сейчас тебя за это самое в часть сволокут; в части тебе под рубашку засыплют, и выдешь ты оттоль, словно кабы награду какую получил! А и всей-то твоей награды было сто лозанов! Так вот ты

и подумай, милый человек, стоит ли из-за этого стараться, да еще мне, дураку, трудовые твои денежки платить!

— Да что ты, никак, Прохорыч, с ума спятил! — говорили ему изумленные посетители.

— Спятишь, брат, коли с тобой такая оказия случится! — отвечал Прохорыч,— ты вот лучше посмотри, какой я нынче патент себе выправил!

Прохорыч показывал всученную ему совесть и предлагал, не хочет ли кто из посетителей воспользоваться ею. Но посетители, узнавши, в чем штука, не только не изъявляли согласия, но даже боязливо сторонились и отходили подальше.

— Вот так патент! — не без злобы прибавлял Прохорыч.

— Что́ ж ты теперь делать будешь? — спрашивали его посетители.

— Теперича я полагаю так: остается мне одно — помереть! Потому обманывать я теперь не могу; водкой спаивать бедный народ тоже не согласен; что̀ же мне теперича делать, кроме как помереть?

— Резон! — смеялись над ним посетители.

— Я даже так теперь думаю,— продолжал Прохорыч,— всю эту посудину, какая тут есть, перебить и вино в канаву вылить! Потому, коли ежели кто имеет в себе эту добродетель, так тому даже самый запах сивушный может нутро перевернуть!

— Только смей у меня! — вступилась наконец Арина Ивановна, сердца которой, по-видимому, не коснулась благодать, внезапно осенившая Прохорыча,— ишь добродетель какая выискалась!

Но Прохорыча уже трудно было пронять. Он заливался горькими слезами и все говорил, все говорил.

— Потому,— говорил он,— что ежели уж с кем это несчастие случилось, тот так несчастным и должен быть. И никакого он об себе мнения, что он торговец или купец, заключить не смеет. Потому что это будет одно его напрасное беспокойство. А должен он о себе так рассуждать: «Несчастный я человек в сем мире — и больше ничего».

Таким образом в философических упражнениях прошел целый день, и хотя Арина Ивановна решительно воспротивилась намерению своего мужа перебить посуду и вылить вино в канаву, однако они в тот день не продали ни капли. К вечеру Прохорыч даже развеселился и, ложась на ночь, сказал плачущей Арине Ивановне:

— Ну вот, душенька и любезнейшая супруга моя! хоть мы и ничего сегодня не нажили, зато как легко тому человеку, у которого совесть в глазах есть!

И действительно, он, как лег, так сейчас и уснул. И не метался во сне, и даже не храпел, как это случалось с ним в прежнее время, когда он наживал, но совести не имел.

Но Арина Ивановна думала об этом несколько иначе. Она очень хорошо понимала, что в кабацком деле совесть совсем не такое приятное приобретение, от которого можно было бы ожидать прибытка, и потому решилась во что бы то ни стало отделаться от непрошеной гостьи. Скрепя сердце, она пережидала ночь, но как только в запыленные окна кабака забрезжил свет, она выкрала у спящего мужа совесть и стремглав бросилась с нею на улицу.

Как нарочно, это был базарный день: из соседних деревень уже тянулись мужики с возами, и квартальный надзиратель Ловец самолично отправлялся на базар для наблюдения за порядком. Едва завидела Арина Ивановна поспешающего Ловца, как у ней блеснула уже в голове счастливая мысль. Она во весь дух побежала за ним, и едва успела поравняться, как сейчас же, с изумительною ловкостью, сунула потихоньку совесть в карман его пальто.

Ловец был малый не то чтоб совсем бесстыжий, но стеснять себя не любил и запускал лапу довольно свободно. Вид у него был не то чтоб наглый, а *устремительный*. Руки были не то чтоб слишком озорные, но охотно зацепляли все, что попадалось по дороге. Словом сказать, был лихоимец порядочный.

И вдруг этого самого человека начало коробить.

Пришел он на базарную площадь, и кажется ему, что все, что там ни наставлено, и на возах, и на рундуках, и в лавках,— все это не его, а чужое. Никогда прежде этого с ним не бывало. Протер он себе бесстыжие глаза и думает: «Не очумел ли я, не во сне ли все это мне представляется?» Подошел к одному возу, хочет запустить лапу, ан лапа не поднимается; подошел к другому возу, хочет мужика за бороду вытрясти — о, ужас! длани не простираются!

Испугался.

«Что это со мной нынче сделалось? — думает Ловец,— ведь этаким манером, пожалуй, и напредки все дело себе испорчу! Уж не воротиться ли, за добра ума, домой?»

Однако понадеялся, что, может быть, и пройдет. Стал погуливать по базару; смотрит, лежит всякая живность, разостланы всякие материи, и все это как будто говорит: «Вот и близок локоть, да не укусишь!»

А мужики между тем осмелились: видя, что человек очу-

мел, глазами на свое добро хлопает, стали шутки шутить, стали Ловца Фофаном Фофанычем звать.

— Нет, это со мною болезнь какая-нибудь! — решил Ловец и так-таки без кульков, с пустыми руками, и отправился домой.

Возвращается он домой, а Ловчиха-жена уж ждет, думает: «Сколько-то мне супруг мой любезный нынче кульков принесет?» И вдруг — ни одного. Так и закипело в ней сердце, так и накинулась она на Ловца.

— Куда кульки девал? — спрашивает она его.

— Перед лицом моей совести свидетельствуюсь...— начал было Ловец.

— Где у тебя кульки, тебя спрашивают?

— Перед лицом моей совести свидетельствуюсь...— вновь повторил Ловец.

— Ну, так и обедай своею совестью до будущего базара, а у меня для тебя нет обеда! — решила Ловчиха.

Понурил Ловец голову, потому что знал, что Ловчихино слово твердое. Снял он с себя пальто — и вдруг словно преобразился совсем! Так как совесть осталась, вместе с пальто, на стенке, то сделалось ему опять и легко, и свободно, и стало опять казаться, что на свете нет ничего чужого, а всё его. И почувствовал он вновь в себе способность глотать и загребать.

— Ну, теперь вы у меня не отвертитесь, дружки! — сказал Ловец, потирая руки, и стал поспешно надевать на себя пальто, чтоб на всех парусах лететь на базар.

Но, о чудо! едва успел он надеть пальто, как опять начал корячиться. Просто как будто два человека в нем сделалось: один, без пальто,— бесстыжий, загребистый и лапистый; другой, в пальто,— застенчивый и робкий. Однако хоть и видит, что не успел за ворота выйти, как уж присмирел, но от намерения своего идти на базар не отказался. «Авось-либо, думает, превозмогу».

Но чем ближе он подходил к базару, тем сильнее билось его сердце, тем неотступнее сказывалась в нем потребность примириться со всем этим средним и малым людом, который из-за гроша целый день бьется на дождю да на слякоти. Уж не до того ему, чтоб на чужие кульки засматриваться; свой собственный кошелек, который был у него в кармане, сделался ему в тягость, как будто он вдруг из достоверных источников узнал, что в этом кошельке лежат не его, а чьи-то чужие деньги.

— Вот тебе, дружок, пятнадцать копеек! — говорит он, подходя к какому-то мужику и подавая ему монету.

— Это за что же, Фофан Фофаныч?

— А за мою прежнюю обиду, друг! прости меня, Христа ради!

— Ну, бог тебя простит!

Таким образом обошел он весь базар и роздал все деньги, какие у него были. Однако, сделавши это, хоть и почувствовал, что на сердце у него стало легко, но крепко призадумался.

— Нет, это со мною сегодня болезнь какая-нибудь приключилась,— опять сказал он сам себе,— пойду-ка я лучше домой, да кстати уж захвачу по дороге побольше нищих, да и накормлю их, чем бог послал!

Сказано — сделано: набрал он нищих видимо-невидимо и привел их к себе во двор. Ловчиха только руками развела, ждет, какую он еще дальше проказу сделает. Он же потихоньку прошел мимо нее и ласково таково сказал:

— Вот, Федосьюшка, те самые странние люди, которых ты просила меня привести: покорми их, ради Христа!

Но едва успел он повесить свое пальто на гвоздик, как ему и опять стало легко и свободно. Смотрит в окошко и видит, что на дворе у него нищая братия со всего городу сбита! Видит и не понимает: «Зачем? неужто всю эту уйму сечь предстоит?»

— Что за народ? — выбежал он на двор в исступлении.

— Кáк что за народ? это всё странние люди, которых ты накормить велел! — огрызнулась Ловчиха.

— Гнать их! в шею! вот так! — закричал он не своим голосом и, как сумасшедший, бросился опять в дом.

Долго ходил он взад и вперед по комнатам и все думал, чтó такое с ним сталось? Человек он был всегда исправный, относительно же исполнения служебного долга просто лев, и вдруг сделался тряпицею!

— Федосья Петровна! матушка! да свяжи ты меня, ради Христа! чувствую, что я сегодня таких дел наделаю, что после целым годом поправить нельзя будет! — взмолился он.

Видит и Ловчиха, что Ловцу ее круто пришлось. Раздела его, уложила в постель и напоила горяченьким. Только через четверть часа пошла она в переднюю и думает: «А посмотрю-ка я у него в пальто; может, еще и найдутся в карманах какие-нибудь грошики?» Обшарила один карман — нашла пустой кошелек; обшарила другой карман — нашла какую-то грязную, замасленную бумажку. Как развернула она эту бумажку — так и ахнула!

— Так вот он нынче на какие штуки пустился! — сказала она себе,— совесть в кармане завел!

И стала она придумывать, кому бы ей эту совесть сбыть,

чтоб она того человека не в конец отяготила, а только маленько в беспокойство привела. И придумала, что самое лучшее ей место будет у отставного откупщика, а ныне финансиста и железнодорожного изобретателя, еврея Шмуля Давыдовича Бржоцского.

— У этого, по крайности, шея толста! — решила она,— может быть, и побьется малое дело, а выдержит!

Решивши таким образом, она осторожно сунула совесть в штемпельный конверт, надписала на нем адрес Бржоцского и опустила в почтовый ящик.

— Ну, теперь можешь, друг мой, смело идти на базар,— сказала она мужу, воротившись домой.

Самуил Давыдыч Бржоцский сидел за обеденным столом, окруженный всем своим семейством. Подле него помещался десятилетний сын Рувим Самуилович и совершал в уме банкирские операции.

— А сто, папаса, если я этот золотой, который ты мне подарил, буду отдавать в рост по двадцати процентов в месяц, сколько у меня к концу года денег будет? — спрашивал он.

— А какой процент: простой или слозный? — спросил, в свою очередь, Самуил Давыдыч.

— Разумеется, папаса, слозный!

— Если слозный и с усецением дробей, то будет сорок пять рублей и семьдесят девять копеек!

— Так я, папаса, отдам!

— Отдай, мой друг, только надо благонадезный залог брать!

С другой стороны сидел Иосель Самуилович, мальчик лет семи, и тоже решал в уме своем задачу: летело стадо гусей; далее помещался Соломон Самуилович, за ним Давыд Самуилович и соображали, сколько последний должен первому процентов за взятые заимообразно леденцы. На другом конце стола сидела красивая супруга Самуила Давыдыча, Лия Соломоновна, и держала на руках крошечную Рифочку, которая инстинктивно тянулась к золотым браслетам, украшавшим руки матери.

Одним словом, Самуил Давыдыч был счастлив. Он уже собирался кушать какой-то необыкновенный соус, украшенный чуть не страусовыми перьями и брюссельскими кружевами, как лакей подал ему на серебряном подносе письмо.

Едва взял Самуил Давыдыч в руки конверт, как заметался во все стороны, словно угорь на угольях.

— И сто зе это такое! и зацем мне эта весcь! — завопил он, трясясь всем телом.

Хотя никто из присутствующих ничего не понимал в этих криках, однако для всех стало ясно, что продолжение обеда невозможно.

Я не стану описывать здесь мучения, которые претерпел Самуил Давыдыч в этот памятный для него день; скажу только одно: этот человек, с виду тщедушный и слабый, геройски вытерпел самые лютые истязания, но даже пятиалтынного возвратить не согласился.

— Это сто зе! это ницего! только ты крепце дерзи меня, Лия! — уговаривал он жену во время самых отчаянных пароксизмов,— и если я буду спрасивать скатулку — ни-ни! пусть луци умру!

Но так как нет на свете такого трудного положения, из которого был бы невозможен выход, то он найден был и в настоящем случае. Самуил Давыдыч вспомнил, что он давно обещал сделать какое-нибудь пожертвование в некоторое благотворительное учреждение, состоявшее в заведовании одного знакомого ему генерала, но дело это почему-то изо дня в день все оттягивалось. И вот теперь случай прямо указывал на средство привести в исполнение это давнее намерение.

Задумано — сделано. Самуил Давыдыч осторожно распечатал присланный по почте конверт, вынул из него щипчиками посылку, переложил ее в другой конверт, запрятал туда еще сотенную ассигнацию, запечатал и отправился к знакомому генералу.

— Зелаю, васе превосходительство, позертвование сделать! — сказал он, кладя на стол пакет перед обрадованным генералом.

— Что же-с! это похвально! — отвечал генерал,— я всегда это знал, что вы... как еврей... и по закону Давидову... Плясаше — играше... так, кажется?

Генерал запутался, ибо не знал наверное, точно ли Давид издавал законы, или кто другой.

— Тоцно так-с; только какие зе мы евреи, васе превосходительство! — заспешил Самуил Давыдыч, уже совсем облегченный,— только с виду мы евреи, а в дусе совсем-совсем русские!

— Благодарю! — сказал генерал,— об одном сожалею... как христианин... отчего бы вам, например?.. а?..

— Васе превосходительство... мы только с виду... поверьте цести, только с виду!

— Однако?

— Васе превосходительство!

— Ну, ну, ну! Христос с вами!

Самуил Давыдыч полетел домой словно на крыльях. В этот же вечер он уже совсем позабыл о претерпенных им страданиях и выдумал такую диковинную операцию ко всеобщему уязвлению, что на другой день все так и ахнули, как узнали.

И долго таким образом шаталась бедная, изгнанная совесть по белому свету, и перебывала она у многих тысяч людей. Но никто не хотел ее приютить, а всякий, напротив того, только о том думал, как бы отделаться от нее и хоть бы обманом, да сбыть с рук.

Наконец наскучило ей и самой, что негде ей, бедной, голову приклонить и должна она свой век проживать в чужих людях, да без пристанища. Вот и взмолилась она последнему своему содержателю, какому-то мещанинишке, который в проходном ряду пылью торговал и никак не мог от той торговли разжиться.

— За что вы меня тираните! — жаловалась бедная совесть,— за что вы мной, словно отымалкой какой, помыкаете?

— Что́ же я с тобою буду делать, сударыня совесть, коли ты никому не нужна? — спросил, в свою очередь, мещанинишка.

— А вот что,— отвечала совесть,— отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем! авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит, авось он меня в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мной выйдет — не погнушается.

По этому ее слову все так и сделалось. Отыскал мещанинишка маленькое русское дитя, растворил его сердце чистое и схоронил в нем совесть.

Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама.

ДИКИЙ ПОМЕЩИК

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и на свет глядючи радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.

Только и взмолился однажды богу этот помещик:

— Господи! всем я от тебя доволен, всем награжден! Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял.

Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает,— видит и опасается: «А ну, как он у меня все добро приест?»

Заглянет помещик в газету «Весть», ка́к в сем случае поступать должно, и прочитает: «Старайся!»

— Одно только слово написано,— молвит глупый помещик,— а золотое это слово!

И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет — сейчас ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется — сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

— Больше я нынче этими штрафами на них действую! — говорит помещик соседям своим,— потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть: куда ни глянут — всё нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: «Моя вода!» курица за околицу выбредет — помещик кричит: «Моя земля!» И земля, и вода, и воздух — все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господу богу:

— Господи! легче нам пропа́сть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!

Услышал милостивый бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик — никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь и, словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально, остался доволен. Думает: «Теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!»

И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить.

«Заведу, думает, театр у себя! напишу к актеру Садовскому: приезжай, мол, любезный друг! и актерок с собой привози!»

Послушался его актер Садовский: сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто и ставить театр и занавес поднимать некому.

— Куда же ты крестьян своих девал? — спрашивает Садовский у помещика.

— А вот бог, по молитве моей, все мои владения от мужика очистил!

— Однако, брат, глупый ты помещик! кто же тебе, глупому, умываться подает?

— Да я уж и то сколько дней немытый хожу!

— Стало быть, шампиньоны на лице ро́стить собрался? — сказал Садовский, и с этим словом и сам уехал, и актерок увез.

Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых; думает: «Что это я все гранпасьянс да гранпасьянс раскладываю! Попробую-ко я с генералами впятером пульку-другую сыграть!»

Сказано — сделано: написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали — и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

— А оттого это,— хвастается помещик,— что бог, по молитве моей, все владения мои от мужика очистил!

— Ах, как это хорошо! — хвалят помещика генералы,— стало быть, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет?

— Нисколько,— отвечает помещик.

Сыграли пульку, сыграли другую; чувствуют генералы, что пришел их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

— Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось? — спрашивает помещик.

— Не худо бы, господин помещик!

Встал он из-за стола, подошел к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.

— Что́ ж это такое? — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

— А вот, закусите, чем бог послал!

— Да нам бы говядинки! говядинки бы нам!

— Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

— Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то? — накинулись они на него.

— Сырьем кой-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть...

— Однако, брат, глупый же ты помещик! — сказали генералы и, не докончив пульки, разбрелись по домам.

Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют, и хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гранпасьянс.

— Посмотрим,— говорит,— господа либералы, кто кого одолеет! Докажу я вам, что́ может сделать истинная твердость души!

Раскладывает он «дамский каприз» и думает: «Ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать». И как назло, сколько раз ни разложит — все у него выходит, все выходит! Не осталось в нем даже сомнения никакого.

— Уж если,— говорит,— сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда, довольно гранпасьянс раскладывать, пойду, позаймусь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб все па́ром да па́ром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовый сад разведет: «Вот тут будут груши, сливы; вот тут — персики, тут — грецкий орех!» Посмотрит в окошко — ан там все, как он задумал, все точно так уж и есть! Ломятся, по щучьему велению, под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладет! Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко! Думает, какой он клубники насадит, все двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться — ан там уж пыли на вершок насело...

— Сенька! — крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет,— ну, пускай себе до поры, до времени так постоит! а уж докажу же я этим либералам, что́ может сделать твердость души!

Промаячит таким манером, покуда стемнеет,— и спать!

А во сне сны еще веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника: «Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в

лентах, и пишет циркуляры: «Быть твердым и не взирать!» Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра...

— Ева, мой друг! — говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

— Сенька! — опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит... и поникнет головою.

— Чем бы, однако, заняться? — спрашивает он себя,— хоть бы лешего какого-нибудь нелегкая принесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно; побежал в шкап, вынул два печатных пряника и думает: «Ну, этот, кажется, останется доволен!»

— Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временнообязанные вдруг исчезли? — спрашивает исправник.

— А вот так и так, бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил!

— Так-с; а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

— Подати?.. это они! это они сами! это их священнейший долг и обязанность!

— Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по лицу земли рассеяны?

— Уж это... не знаю... я, с своей стороны, платить не согласен!

— А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий, существовать не может?

— Я что ж... я готов! рюмку водки... я заплачу!

— Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? знаете ли вы, чем это пахнет?

— Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать! вот целых два пряника!

— Глупый же вы, господин помещик! — молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чествует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? и неужто, вследствие одной его непреклонности, остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса?

И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул

от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли, чем это пахнет?» — и струсил не на шутку.

Стал он, по обыкновению, ходить взад да вперед по комнатам и всё думает: «Чем же это пахнет? уж не пахнет ли водворением каким? например, Чебоксарами? или, быть может, Варнавиным?»

— Хоть бы в Чебоксары, что ли! по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души! — говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает: «В Чебоксарах-то, я, может быть, мужика бы моего милого увидал!»

Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему ни подойдет, все, кажется, так и говорит: «А глупый ты, господин помещик!» Видит он, бежит чрез комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гранпасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышиный аппетит.

— Кшш...— бросился он на мышонка.

Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и чрез мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: «Погоди, глупый помещик! то ли еще будет! я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!»

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

— Сенька! — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился... и заплакал.

Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

— Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев, от принципов отступил!

И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень, и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались, как железные. Сморкаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ

прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рявканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка, в один миг, взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит, это, заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности,— а он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

— Хочешь, Михайло Иваныч, походы́ вместе на зайцев будем делать? — сказал он медведю.

— Хотеть — отчего не хотеть! — отвечал медведь,— только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил!

— А почему так?

— А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем капитан-исправник хоть и покровительствовал помещикам, но в виду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: «А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями заниматься?» Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях-де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал, в каковом человеко-медведе и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик.

Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил.

Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами;

но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

— И откуда вы, шельмы, берете!!

«Что же сделалось, однако, с помещиком?» — спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доныне. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.

ПРЕМУДРЫЙ ПИСКАРЬ

Жил-был пискарь. И отец и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы веки в реке прожили и ни в уху, ни к щуке в хайлò не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок,— говорил старый пискарь, умирая,— коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»

А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется — везде ему мàт. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха — в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь — и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.

А человек? — что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И невода́, и сети, и ве́рши, и норота́, и, наконец... уду! Кажется, что́ может быть глупее уды? — Нитка, на нитке крючок, на крючке — червяк или муха надеты... Да и надеты-то как?.. в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем именно на уду всего больше пискарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! — говорил он,— потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься — ан в мухе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли Страсть, сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы,— даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли,— это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у него с одного боку — щука, с другого — окунь; думает: вот-вот, сейчас, или та, или другой его съедят, а они — не трогают... «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла — никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что̀ такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково̀, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают... Слышит — «костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. Это — «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу — будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину — та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется — и присмиреет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок для ухи! пущай в реке порастет!» Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки — домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва выглядывает...

И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что̀ такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!

Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умеренно-либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь прожить — не то, что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил,— сказал он себе,— а не то как раз пропадешь!» — и стал устраиваться. Первым делом нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому — не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно — именно только одному поме-

ститься впору. Вторым делом, насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят — он будет моцион делать, а днем — станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть все-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полден, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет, и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать — да что̀ в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды — и шабаш!

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и все-то думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок — глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось... Что, если б в это время щуренок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна,— глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, господи! жив!»

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: «Отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискари в честь

попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!»

И прожил премудрый пискарь таким родом слишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется — только дрожит да одну думу думает: «Слава богу! кажется, жив!»

Даже щуки, под конец, и те стали его хвалить: «Вот, кабы все так жили — то-то бы в реке тихо было!» Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется — вот, мол, я! тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет — неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: «Слава богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец». И вспомнились ему тут щучьи слова: «Вот кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет...» А ну-тка, в самом деле, что̀ бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: «Ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы!»

Потому что, для продолжения пискарьего рода, прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того, чтоб пискарья семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка.

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром место занимают да корм едят.

Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: «Вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву!» Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил — дрожал, и умирал — дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал?

кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: «Никому, никто».

Он жил и дрожал — только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнёт. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же наконец голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы — может быть, как и он, пискари — и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: «Дай-ка, спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился слишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал?» Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает!

И что̀ всего обиднее: не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: «Слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет?» А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых поларшина и сам щук глотает.

А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что̀ тут случилось — щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб, или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность,— свидетелей этому делу не было. Скорее всего — сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и *премудрого?*

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЗАЯЦ

Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: «Заинька! остановись, миленький!» А заяц не только не оста-

новился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит: «За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запасу у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть... ха-ха... я тебя и помилую!»

Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнется. Только об одном думает: «Через столько-то суток и часов смерть должна прийти». Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз и еще того хуже: выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихе по-волчьему скажет, и оба зальются: «Ха-ха!» И волчата тут же за ними увяжутся; играючи, к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат... А у него, у зайца, сердце так и закатится!

Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждет, чай, его теперь невеста, думает: «Изменил мне косой!» А может быть, подождала-подождала, да и с другим... слюбилась... А может быть и так: играла бедняжка, в кустах, а тут ее волк... и слопал!..

Думает это бедняга и слезами так и захлебывается. Вот они, заячьи-то мечты! жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить, и вместо всего — куда угодил! А сколько, бишь, часов до смерти-то осталось?

И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, покуда он по ревизиям бегает, к его зайчихе в гости ходит... Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается — ан это невестин брат.

— Невеста-то твоя помирает,— говорит.— Прослышала, какая над тобой беда стряслась, и в одночасье зачахла. Теперь только об одном и думает: «Неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим!»

Слушал эти слова осужденный, и сердце его на части разрывалося. За что? чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революций не пущал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности — неужто ж за это смерть? Смерть! подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой заиньке, которая тем только и вино-

вата, что его, косого, всем сердцем полюбила! Так бы он к ней и полетел, взял бы ее, серенькую заиньку, передними лапками за ушки, и все бы миловал да по головке бы гладил.

— Бежим! — говорил между тем посланец.

Услыхавши это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прянет — и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел. И закатилось заячье сердце.

— Не могу,— говорит,— волк не велел.

А волк между тем все видит и слышит, и потихоньку по-волчьи с волчихой перешептывается: должно быть, зайца за благородство хвалят.

— Бежим! — опять говорит посланец.

— Не могу! — повторяет осужденный.

— Что вы там шепчетесь, злоумышляете? — как гаркнет вдруг волк.

Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец! Подговор часовых к побегу — что, бишь, за это по правилам-то полагается? Ах, быть серой заиньке и без жениха, и без братца — обоих волк с волчихой слопают!

Опомнились косые — а перед ними и волк, и волчиха зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте, словно фонари, так и светятся.

— Мы, ваше благородие, ничего... так, промежду себя... землячок проведать меня пришел! — лепечет осужденный, а сам так и мрет от страху.

— То-то «ничего»! знаю я вас! пальца вам тоже в рот не клади! Сказывайте, в чем дело?

— Так и так, ваше благородие,— вступился тут невестин брат,— сестрица моя, а его невеста, помирает, так просит, нельзя ли его проститься с нею отпустить?

— Гм... это хорошо, что невеста жениха любит,— говорит волчиха.— Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк! отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?

— Да ведь его на послезавтра есть назначено...

— Я, ваше благородие, прибегу... я мигом оборочу... у меня это... вот как бог свят прибегу! — заспешил осужденный, и чтобы волк не сомневался, что он *может* мигом оборотить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал: «Вот кабы у меня солдаты такие были!»

А волчиха пригорюнилась и молвила:

— Вот, поди ж ты! заяц, а как свою зайчиху любит!

Делать нечего, согласился волк отпустить косого в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотил. А невестина брата аманатом у себя оставил.

— Коли не воротишься через двое суток к шести часам утра,— сказал он,— я его вместо тебя съем; а коли воротишься — обоих съем, а может быть... ха-ха... и помилую!

Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит. Гора на пути встренется — он ее «на уру» возьмет; река — он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет; болото — он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли? в тридевятое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться («непременно женюсь!» ежеминутно твердил он себе), да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть...

Даже птицы быстроте его удивлялись,— говорили: «Вот в «Московских ведомостях» пишут, будто у зайцев не душа, а пар — а вон он как... улепетывает!»

Прибежал, наконец. Сколько тут радостей было — этого ни в сказке не сказать, ни пером описать. Серенькая заинька, как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Встала на задние лапки, надела на себя барабан, и ну лапками «кавалерийскую рысь» выбивать — это она сюрприз жениху приготовила! А вдова-зайчиха так просто засовалась совсем: не знает, где усадить нареченного зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тетки со всех сторон, да кумы, да сестрицы — всем лестно на жениха посмотреть, а может быть, и лакомого кусочка в гостях отведать.

Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намиловаться, как уж затвердил:

— Мне бы в баню сходить да жениться поскорее!

— Что больно к спеху занадобилось? — подшучивает над ним зайчиха-мать.

— Обратно бежать надо. Только на одни сутки волк и отпустил.

Рассказал он тут, как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется, и не воротиться нельзя. Слово, вишь, дал, а заяц своему слову — господин. Судили тут тетки и сестрицы — и те в один голос сказали: «Правду ты, косой, молвил: не давши слова — крепись, а давши — держись! никогда во всем нашем заячьем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали!»

Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев еще того скорее делается. К утру косого окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой.

— Беспременно меня волк съест,— говорил он,— так ты

будь мне верна. А ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк: там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат.

И вдруг, словно в забытьи (опять, стало быть, про волка вспомнил), прибавил:

— А может быть, волк меня... ха-ха... и помилует!

Только его и видели.

Между тем, покуда косой жуировал да свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от волчьего логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на десять верст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил, и на самом заячьем пути сраженье кипело. В третьем месте холера проявилась — надо было целую карантинную цепь верст на сто обогнуть... А кроме того, волки, лисицы, совы — на каждом шагу так и стерегут.

Умен был косой; заранее так рассчитал, чтобы три часа у него в запасе оставалось, однако, как пошли одни за другими препятствия, сердце в нем так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи; ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит, глаза помутились, у рта кровавая пена сочится, а ему вон еще сколько бежать осталось! И все-то ему друг аманат, как живой, мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает: «Через столько-то часов милый зятек на выручку прибежит!» Вспомнит он об этом — и еще шибче припустит. Ни горы, ни долы, ни леса, ни болота — все ему нипочем! Сколько раз сердце в нем разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Не до горя теперь, не до слез; пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать!

Вот уж и день заниматься стал. Совы, сычи, летучие мыши на ночлег потянули; в воздухе холодком пахнуло. И вдруг все кругом затихло, словно помертвело. А косой все бежит и все одну думу думает: «Неужто ж я друга не выручу!»

Заалел восток; сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг — пламя! Роса на траве загорелась; проснулись птицы денные, поползли муравьи, черви, козявки; дымком откуда-то потянуло; во ржи и в овсах словно шепот пошел, слышнее, слышнее... А косой ничего не видит, не слышит, только одно твердит: «Погубил я друга своего, погубил!»

Но вот, наконец, гора. За этой горой — болото и в нем — волчье логово... Опоздал, косой, опоздал!

Последние силы напрягает он, чтоб вскочить на вершину горы... вскочил! Но он уж не может бежать, он падает от изнеможения... неужто ж он так и не добежит?

Волчье логово перед ним как на блюдечке. Где-то вдали, на колокольне, бьет шесть часов, и каждый удар колокола словно молотом бьет в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошел к аманату, сгреб его в лапы и запустил когти в живот, чтобы разодрать его на две половины: одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут; обсели кругом отца-матери, щелкают зубами, учатся.

— Здесь я! здесь! — крикнул косой, как сто тысяч зайцев вместе. И кубарем скатился с горы в болото.

И волк его похвалил.

— Вижу,— сказал он,— что зайцам вéрить можно. И вот вам моя резолюция: сидите, до поры до времени, оба под этим кустом, а впоследствии я вас... ха-ха... помилую!

БЕДНЫЙ ВОЛК

Другой зверь, наверное, тронулся бы самоотверженностью зайца, не ограничился бы обещанием, а сейчас бы помиловал. Но из всех хищников, водящихся в умеренном и северном климатах, волк всего менее доступен великодушию.

Однако ж не по своей воле он так жесток, а потому, что комплекция у него каверзная: ничего он, кроме мясного, есть не может. А чтобы достать мясную пищу, он не может иначе поступать, как живое существо жизни лишить. Одним словом, обязывается учинить злодейство, разбой.

Не легко ему пропитание его достается. Смерть-то ведь никому не сладка, а он именно только со смертью ко всякому лезет. Поэтому кто посильнее — сам от него обороняется, а иного, который сам защититься не может, другие обороняют. Частенько-таки волк голодный ходит, да еще с помятыми боками вдобавок. Сядет он в ту пору, поднимет рыло кверху и так пронзительно воет, что на версту кругом у всякой живой твари, от страху да от тоски, душа в пятки уходит. А волчиха его еще тоскливее подвывает, потому что у нее волчата, а накормить их нечем.

Нет того зверя на свете, который не ненавидел бы волка, не проклинал бы его. Стоном стонет весь лес при его появлении: «Проклятый волк! убийца! душегуб!» И бежит он вперед да вперед, голову повернуть не смеет, а вдогонку ему: «Разбой-

ник! живорез!» Уволок волк, с месяц тому назад, у бабы овцу — баба-то и о сю пору слез не осушила: «Проклятый волк! душегуб!» А у него с тех пор маковой росинки в пасти не было: овцу-то сожрал, а другую зарезать не пришлось... И баба воет, и он воет... ка̀к тут разберешь!

Говорят, что волк мужика обездоливает; да ведь и мужик тоже, как обозлится, куда лют бывает! И дубьем-то он его бьет, и из ружья в него палит, и волчьи ямы роет, и капканы ставит, и облавы на него устраивает. «Душегуб! разбойник! — только и раздается про волка в деревнях,— последнюю корову зарезал! остатнюю овцу уволок!» А чем он виноват, коли иначе ему прожить на свете нельзя?

И убьешь-то его, так проку от него нет. Мясо — негодное, шкура жесткая — не греет. Только и корысти-то, что вдоволь над ним, проклятым, натешишься, да на вилы живьем поднимешь: пускай, гадина, капля по капле кровью исходит!

Не может волк, не лишая живота, на свете прожить — вот в чем его беда! Но ведь он этого не понимает. Если его злодеем зовут, так ведь и он зовет злодеями тех, которые его преследуют, увечат, убивают. Разве он понимает, что своею жизнью другим жизням вред наносит? Он думает, что живет — только и всего. Лошадь — тяжести возит, корова — дает молоко, овца — волну, а он — разбойничает, убивает. И лошадь, и корова, и овца, и волк — все «живут», каждый по-своему.

И вот нашелся, однако ж, между волками один, который долгие веки все убивал да разбойничал, и вдруг, под старость, догадываться начал, что есть в его жизни что-то неладное.

Жил этот волк смолоду очень шибко и был одним из немногих хищников, который почти никогда не голодал. И день, и ночь он разбойничал, и все ему с рук сходило. У пастухов из-под носу баранов утаскивал; во дворы по деревням забирался; коров резал; лесника однажды до смерти загрыз; мальчика маленького, у всех на глазах, с улицы в лес унес. Слыхал он, что его за эти дела все ненавидят и клянут, да только лютей и лютей от этих покоров становился.

— Послушали бы, что̀ в лесу-то делается,— говорил он,— нет той минуты, чтоб там убийства не было, чтоб какая-нибудь зверюга не верещала, с жизнью расставаясь,— так неужто ж на это смотреть?

И дожил он таким родом, промежду разбоев, до тех лет, когда волк уж «матерым» называется. Отяжелел маленько, но разбои все-таки не оставил; напротив, словно бы даже полютел. Только и попадись он нечаянно в лапы к медведю. А медведи волков не любят, потому что и на них волки шайками нападают, и частенько-таки слухи по лесу ходят, что там-то

и там-то Михайло Иваныч оплошал: в клочки серые вороги шубу ему разорвали.

Держит медведь волка в лапах и думает: «Что̀ мне с ним, с подлецом, делать? ежели съесть — с души сопрёт, ежели та́к задавить да бросить — только лес запахом его падали заразишь. Дай, посмотрю: может быть, у него совесть есть. Коли есть совесть, да поклянется он вперед не разбойничать — я его отпущу».

— Волк, а волк! — молвил Топтыгин,— неужто у тебя совести нет?

— Ах, что вы, ваше степенство! — ответил волк,— разве можно хоть один день на свете без совести прожить!

— Стало быть, можно, коли ты живешь. Подумай: каждый божий день только и вестей про тебя, что ты или шкуру содрал, или зарезал — разве это на совесть похоже?

— Ваше степенство! позвольте вам доложить! должен ли я пить-есть, волчиху свою накормить, волчат воспитать? какую вы на этот счет резолюцию изволите положить?

Подумал-подумал Михайло Иваныч,— видит: коли положено волку на свете быть, стало быть, и прокормить он себя право имеет.

— Должен,— говорит.

— А ведь я, кроме мясного,— ни-ни! Вот хоть бы ваше степенство, к примеру, взять: вы и малинкой полакомитесь, и медком от пчел позаимствуетесь, и овсеца пососете, а для меня ничего этого хоть бы не было! Да опять же и другая вольгота у вашего степенства есть: зимой, как заляжете вы в берлогу, ничего вам, кроме собственной лапы, не требуется. А я и зиму, и лето — нет той минуты, чтобы я о пище не думал! И все об мясце. Так каким же родом я эту пищу добуду, коли прежде не зарежу или не задушу?

Задумался медведь над этими волчьими словами, однако все еще попытать хочет.

— Да ты бы,— говорит,— хоть полегче, что ли...

— Я и то, ваше степенство, сколько могу, облегчаю. Лисица — та зудит: рванет раз — и отскочит, потом опять рванет — и опять отскочит... А я прямо за горло хватаю — шабаш!

Еще пуще задумался медведь. Видит, что волк ему правду-матку режет, а отпустить его все еще опасается: сейчас он опять за разбойные дела примется.

— Раскайся, волк! — говорит.

— Не в чем мне, ваше степенство, каяться. Никто своей жизни не ворог, и я в том числе; так в чем же тут моя вина?

— Да ты хоть пообещай!

— И обещать, ваше степенство, не могу. Вот лиса — та вам что хотите обещает, а я — не могу.

Что̀ делать? Подумал, подумал медведь, да наконец и решил.

— Пренесчастнейший ты есть зверь — вот что я тебе скажу! — молвил он волку.— Не могу я тебя судить, хоть и знаю, что много беру на душу греха, отпуская тебя. Одно могу прибавить: на твоем месте я не только бы жизнью не дорожил, а за благо бы смерть для себя почитал! И ты над этими моими словами подумай!

И отпустил волка на все четыре стороны.

Освободился волк из медвежьих лап и сейчас опять за старое ремесло принялся. Стонет от него лес, да и шабаш. Повадился в одну и ту же деревню; в две, в три ночи целое стадо зря перерезал — и нѝшто ему. Заляжет с сытым брюхом в болоте, потягивается да глаза жмурит. Даже на медведя, своего благодетеля, войной пошел, да тот, по счастию, вовремя спохватился да только лапой ему издали погрозил.

Долго ли, коротко ли он так буйствовал, однако и к нему наконец старость пришла. Силы убавились, проворство пропало, да вдобавок мужичок ему спинной хребет поленом перешиб; хоть и отлежался он, а все-таки уж на прежнего удальца-живореза не похож стал. Кинется вдогонку за зайцем — а ног-то уж нет. Подойдет к лесной опушке, овечку из стада попробует унести — а собаки так и скачут-заливаются. Подожмет он хвост, да и бежит с пустом.

— Никак, я уж и собак бояться стал? — спрашивает он себя.

Воротится в логово и начнет выть. Сова в лесу рыдает, да он в болоте воет — страсти господни, какой поднимется в деревне переполох!

Только промыслил он однажды ягненочка и волочет его за шиворот в лес. А ягненочек-то самый еще несмысленочек был: волочет его волк, а он не понимает. Только одно твердит: «Что такое? что такое?..»

— А я вот покажу тебе, что̀ такое... ммmерррзавец! — остервенился волк.

— Дяденька! я в лес гулять не хочу! я к маме хочу! не буду я, дяденька, не буду! — вдруг догадался ягненочек и не то заблеял, не то зарыдал,— ах, пастушок, пастушок! ах, собачки! собачки!

Остановился волк и прислушивается. Много он на своем веку овец перерезал, и все они какие-то равнодушные были. Не успеет ее волк ухватить, а она уж и глаза зажмурила, лежит, не шелохнется, словно натуральную повинность исправ-

ляет. А вот и малыш — а поди как плачет: хочется ему жить! Ах, видно, и всем эта распостылая жизнь сладка! Вот и он, волк,— стар-стар, а все бы годков еще с сотенку пожил!

И припомнились ему тут слова Топтыгина: «На твоем бы месте я не жизнь, а смерть за благо для себя почитал...» Отчего так? Почему для всех других земных тварей жизнь — благо, а *для него* она — проклятие и позор?

И, не дождавшись ответа, выпустил из пасти ягненка, а сам побрел, опустив хвост, в логово, чтобы там на досуге умом раскинуть.

Но ничего ему этот ум не выяснил, кроме того, что он уж давно знал, а именно: что никак ему, волку, иначе прожить нельзя, как убийством и разбоем.

Лег он плашмя на землю и никак улежать не может. Ум — одно говорит, а нутро — чем-то другим загорается. Недуги, что ли, его ослабили, старость ли в разор разорила, голод ли измучил, только не может он прежней власти над собой взять. Так и гремит у него в ушах: «Проклятый! душегуб! живорез!» Что ж в том, что он за собой вольной вины не знает? ведь проклятий-то все-таки не заглушишь! Ох, видно, правду сказал медведь: только и остается, что руки на себя наложить!

Так ведь и тут опять горе: зверь — ведь он даже рук на себя наложить не умеет. Ничего сам собой зверь не может: ни порядка жизни изменить, ни умереть. Живет он словно во сне, и умрет — словно во сне же. Может быть, его псы растерзают или мужик подстрелит; так и тут он только захрапит да корчей его на мгновенье сведет — и дух вон. А откуда и как пришла смерть — он и не догадается.

Вот разве голодом он себя изведет... Нынче он уж и за зайцами гоняться перестал, только около птиц ходит. Поймает молодую ворону или витютня — только этим и сыт. Так даже и тут прочие витютни хором кричат: «Проклятый! проклятый! проклятый!»

Именно проклятый. Ну, как-таки только затем жить, чтобы убивать и разбойничать? Положим, несправедливо его проклинают, нерезонно: не своей волей он разбойничает,— но как не проклинать! Сколько он зверья на своем веку погубил! сколько баб, мужиков обездолил, на всю жизнь несчастными сделал!

Много лет он в этих мыслях промучился; только одно слово в ушах его и гремело: «Проклятый! проклятый! проклятый!» Да и сам себе он все чаще и чаще повторял: «Именно проклятый! проклятый и есть; душегуб, живорез!» И все-таки, мучимый голодом, шел на добычу, душил, рвал и терзал...

И начал он звать смерть. «Смерть! смерть! хоть бы ты осво-

бодила от меня зверей, мужиков и птиц! Хоть бы ты освободила меня от самого себя!» — день и ночь выл он, на небо глядючи. А звери и мужики, слыша его вой, в страхе вопили: «Душегуб! душегуб! душегуб!» Даже небу пожаловаться он не мог без того, чтоб проклятья на него со всех сторон не сыпались.

Наконец смерть сжалилась-таки над ним. Появились в той местности «лукаши»[1], и соседние помещики воспользовались их прибытием, чтоб устроить на волка охоту. Лежит однажды волк в своем логове и слышит — зовут. Он встал и пошел. Видит: впереди путь вехами означен, а сзади и сбоку мужики за ним следят. Но он уже не пытался прорваться, а шел, опустив голову, навстречу смерти...

И вдруг его ударило прямо между глаз.

— Вот она... смерть-избавительница!

ДОБРОДЕТЕЛИ И ПОРОКИ

Добродетели с Пороками исстари во вражде были. Пороки жили весело и ловко свои дела обделывали; а Добродетели жили посерее, но зато во всех азбуках и хрестоматиях как пример для подражания приводились. А втихомолку между тем думали: «Вот кабы и нам, подобно Порокам, удалось хорошенькое дельце обделать!» Да, признаться сказать, под шумок и обделывали.

Трудно сказать, с чего у них первоначально распря пошла и кто первый задрал. Кажется, что Добродетели первые начали. Порок-то шустрый был и на выдумки гораздый. Как пошел он, словно конь бо̀рзый, пространство ногами забирать, да в парчах, да в шелках по белу свету щеголять — Добродетели-то за ним и не поспели. И не поспевши,— огорчились. «Ладно, говорят, щеголяй, нахал, в шелках! Мы и в рубище от всех почтены́ будем!» А Пороки им в ответ: «И будьте почтены́ с богом!»

Не стерпели Добродетели насмешки и стали Пороки на всех перекрестках костить. Выйдут в рубищах на распутие и пристают к прохожим: «Не правда ли, господа честные, что мы вам и в рубище милы?» А прохожие в ответ: «Ишь вас, са-

---

[1] «Лукаши» — мужички из Великолуцкого уезда Псковской губернии, которые занимаются изучением привычек и нравов лесных зверей и потом предлагают охотникам свои услуги для облав. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

лопниц, сколько развелось! проходите, не задерживайте! бог подаст!»

Пробовали Добродетели и к городовым за содействием обращаться. «Вы чего смотрите? совсем публику распустили! ведь она, того и гляди, пò уши в пороках погрязнет!» Но городовые знай себе стоят да Порокам под козырек делают.

Так и остались Добродетели ни при чем, только пригрозили с досады: «Вот погодите! ушлют вас ужо за ваши дела на каторгу!»

А Пороки между тем всё вперед да вперед бегут, да еще и похваляются. «Нашли, говорят, чем стращать — каторгой! Для нас-то еще либо будет каторга, либо нет, а вы с самого рожденья в ней пò уши сидите! Ишь, злецы! кости да кожа, а глаза, посмотри, как горят! Щелкают на пирог зубами, а кàк к нему приступиться — не знают!»

Словом сказать, разгоралась распря с каждым днем больше и больше. Сколько раз даже до открытого боя дело доходило, но и тут фортуна почти всегда Добродетелям изменяла. Одолеют Пороки и закуют Добродетели в кандалы: «Сидите, злоумышленники, смирно!» И сидят, покуда начальство не вступится да на волю не выпустит.

В одну из таких баталий шел мимо Иванушка-Дурачок, остановился и говорит сражающимся:

— Глупые вы, глупые! из-за чего только вы друг друга увечите! ведь первоначально-то вы все одинаково *свойствами* были, а это уж потом, от безалаберности да от каверзы людской, добродетели да пороки пошли. Одни свойства понажали, другим вольный ход дали — колесики-то в машине и поиспортились. И воцарились на свете смута, свара, скорбь... А вы вот чтò сделайте: обратитесь к первоначальному источнику — может быть, на чем-нибудь и сойдетесь!

Сказал это и пошел путем-дорогой в казначейство подать вносить.

Подействовали ли на сражающихся Иванушкины слова, или пороху для продолжения битвы недостало, только вложили бойцы мечи в ножны и задумались.

Думали, впрочем, больше Добродетели, потому что у них с голоду животы подвело, а Пороки, как протрубили трубы отбой, так сейчас же по своим прежним канальским делам разбрелись и опять на славу зажили.

— Хорошо ему про «свойства» говорить! — первое молвило Смиренномудрие,— мы и сами не плоше его эти «свойства» знаем! Да вот одни свойства в бархате щеголяют и на золоте едят, а другие в затрапезе ходят да по целым дням не евши сидят. Иванушке-то с полàгоря: он набил мамон мякиной — и

прав; а нас ведь на мякине не проведешь — мы знаем, где раки зимуют!

— Да и что за «свойства» такие проявились! — встревожилось Благочиние,— нет ли тут порухи какой? Всегда были Добродетели и были Пороки, сотни тысяч лет это дело ведется и сотни тысяч томов об этом написано, а он на-тко, сразу решил: «свойства»! Нет, ты попробуй, приступись-ка к этим сотням тысяч томов, так и увидишь, какая от них пыль столбом полетит!

Судили, рядили и наконец рассудили: Благочиние правду сказало. Сколько тысяч веков Добродетели числились Добродетелями и Пороки — Пороками! Сколько тысяч книг об этом написано, какая масса бумаги и чернил изведена! Добродетели всегда одесную стояли, Пороки — ошуйю; и вдруг, по дурацкому Иванушкину слову, от всего откажись и назовись какими-то «свойствами»! Ведь это почти то же, что от прав состояния отказаться и «человеком» назваться! Просто-то оно, конечно, просто, да ведь иная простота хуже воровства. Поди-тко спроста̀-то коснись, ан с первого же шага в такое несметное множество капканов попадешь, что и голову там, пожалуй, оставишь!

Нет, о «свойствах» думать нечего, а вот компромисс какой-нибудь сыскать — или, как по-русски зовется, фортель — это, пожалуй, дельно будет. Такой фортель, который и Добродетели бы возвеселил, да и Порокам бы по нраву пришелся. Потому что ведь и Порокам подчас жутко приходится. Вот намеднись Любострастие с поличным в бане поймали, протокол составили, да в ту же ночь Прелюбодеяние в одном белье с лестницы спустили. Вольномыслие-то давно ли пышным цветом цвело, а теперь его с корнем вырвали! Стало быть, и Порокам на фортель пойти небезвыгодно. Милостивые государи! милостивые государыни! не угодно ли кому предложить: у кого на примете «средствице» есть?

На вызов этот прежде всех выступил древний старичок, Опытом называемый (есть два Опыта: один порочный, а другой добродетельный; так этот — добродетельный был). И предложил он штуку: «Отыщите, говорит, такое сокровище, которое и Добродетели бы ува̀жило, да и от Пороков было бы не прочь. И пошлите его парламентером во вражеский лагерь».

Стали искать и, разумеется, нашли. Нашли двух бобылок: Умеренность и Аккуратность. Обе на задворках в добродетельских селениях жили, сиротский надел держали, но торговали корчемным вином и потихоньку Пороки у себя принимали.

Однако первый блин вышел комом. Бобылки были и мало представительны, и слишком податливы, чтоб выполнить воз-

ложенную на них задачу. Едва появились они в лагере Пороков, едва начали канитель разводить: «Помаленьку-то покойнее, а потихоньку — вернее», как Пороки всем скопищем загалдели:

— Слыхали мы-ста прибаутки-то эти! давно вы с ними около нас похаживаете, да не в коня корм! Уходите с богом, бобылки, не проедайтесь!

И как бы для того, чтобы доказать Добродетелям, что их на кривой не объедешь, на всю ночь закатились в трактир «Самарканд», а под утро, расходясь оттуда, поймали Воздержание и Непрелюбысотворение и поступили с ними до такой степени низко, что даже татары из «Самарканда» дивились: хорошие господа, а что̀ делают!

Поняли тогда Добродетели, что дело это серьезное и надо за него настоящим манером взяться.

Произросло между ними в ту пору существо среднего рода: ни рак, ни рыба, ни курица, ни птица, ни дама, ни кавалер, а всего помаленьку. Произросло, выровнялось и расцвело. И было этому межеумку имя тоже среднего рода: Лицемерие...

Все в этом существе было загадкою, начиная с происхождения. Сказывали старожилы, что однажды Смирение с Любострастием в темном коридоре спознались, и от этого произошел плод. Плод этот Добродетели сообща выкормили и выпоили, а потом и в пансион к француженке Комильфо отдали. Догадку эту подтверждал и наружный вид Лицемерия, потому что хотя оно ходило не иначе, как с опущенными долу̀ глазами, но прозорливцы не раз примечали, что по лицу его частенько пробегают любострастные тени, а поясница, при случае, даже очень нехорошо вздрагивает. Несомненно, что в этом наружном двоегласии в значительной мере был виноват пансион Комильфо. Там Лицемерие всем главным наукам выучилось: и «как по струнке ходить», и «как водой не замутить», и «как без мыла в душу влезть»; словом сказать, всему, что добродетельное житие обеспечивает. Но в то же время оно не избегло и влияния канкана, которым и стены, и воздух пансиона были пропитаны. Но, кроме того, мадам Комильфо еще и тем подгадила, что сообщила Лицемерию подробности об его родителях. Об отце (Любострастии) сознавалась, что он был моветон и дерзкий — ко всем щипаться лез! Об матери (Смирение) — что она хотя не имела блестящей наружности, но так мило вскрикивала, когда ее щипали, что даже и не расположенные к щипанию Пороки (каковы Мздоимство, Любоначалие, Уныние и проч.) — и они не могли отказать себе в этом удовольствии.

Вот это-то среднее существо, глаза долу опускающее, но и из-под закрытых век блудливо окрест высматривающее, и выбрали Добродетели, чтоб войти в переговоры с Пороками, и такой общий modus vivendi[1] изобрести, при котором и тем и другим было бы жить вольготно.

— Да ты по нашему-то умеешь ли? — вздумало было предварительно проэкзаменовать его Галантерейное Обращение.

— Я-то? — изумилось Лицемерие,— да я вот как...

И не успели Добродетели опомниться, как у Лицемерия уж и глазки опущены, и руки на груди сложены, и румянчик на щечках играет... девица, да и шабаш!

— Ишь, дошлая! ну, а по-ихнему, по-порочному... как?

Но Лицемерие даже не ответило на этот вопрос. В один момент оно учинило нечто, ни для кого явственно не видимое, но до такой степени достоверное, что Прозорливство только сплюнуло: «Тьфу!»

И затем все одинаково решили: написать у нотариуса Бизяева общую доверенность для хождения по всем добродетельским делам и вручить ее Лицемерию.

Взялся за гуж, не говори, что не дюж: как ни горько, а пришлось у Пороков пардону просить. Идет Лицемерие в их-ний подлый вертеп и от стыда не знает, куда глаза девать. «Везде-то нынче это паскудство развелось! — жалуется оно вслух, а мысленно прибавляет: — Ах, хорошо Пороки живут!» И точно, не успело Лицемерие с версту от добродетельской резиденции отойти, как уж со всех сторон на него разливанным морем пахнуло. Смехи, да пляски, да игры — стон от веселья стоит. И город какой отменный Пороки для себя выстроили: просторный, светлый, с улицами и переулками, с площадями и бульварами. Вот улица Лжесвидетельства, вот площадь Предательства, а вот и Срамной бульвар. Сам Отец Лжи тут сидел и из лавочки клеветой распивочно и навынос торговал.

Но как ни весело жили Пороки, как ни опытны они были во всяких канальских делах, а увидевши Лицемерие, и они ахнули. С виду — ни дать, ни взять, сущая девица; но точно ли сущая — этого и сам черт не разберет. Даже Отец Лжи, который думал, что нет в мире той подлости, которой бы он не произошел,— и тот глаза вытаращил.

— Ну,— говорит,— это я об себе напрасно мечтал, будто вреднее меня на свете никого нет. Я — что! вот он, настоящий-то яд, где! Я больше нахалом норовлю — оттого меня хоть и не часто, а все-таки от времени до времени с лестницы в три шеи спускают; а это сокровище, коли прильнет,— от

---

[1] образ поведения.

него уж не отвертишься! Так тебя опутает, так окружит, что покуда все соки не высудит — не выпустит!

Тем не менее, как ни велик был энтузиазм, возбужденный Лицемерием, однако и тут без розни не обошлось. Пороки солидные (аборигены), паче всего дорожившие преданиями старины, как, например: Суемудрие, Пустомыслие, Гордость, Человеконенавистничество и проч.,— не только сами не пошли навстречу Лицемерию, но и других остерегали.

— Истинный порок не нуждается в прикрытии,— говорили они,— но сам свое знамя высоко и грозно держит. Что̀ существенно нового может открыть нам Лицемерие, чего бы мы от начала веков не знали и не практиковали? — Положительно ничего. Напротив, оно научит нас опасным изворотам и заставит нас ежели не прямо стыдиться самих себя, то, во всяком случае, показывать вид, что мы стыдимся. Caveant consules! [1] До сих пор у нас было достаточно тверды́х и верных последователей, но ведь они, видя наши извороты, могут сказать: «Должно быть, и впрямь Порокам туго пришлось, коль скоро они сами от себя отрицаться должны!» И отвернутся от нас, вот увидите — отвернутся.

Так говорили заматерелые Пороки-Катоны, не признававшие ни новых веяний, ни обольщений, ни обстановок. Родившись в навозе, они предпочитали задохнуться в нем, лишь бы не отступить от староотеческих преданий.

За ними шла другая категория Пороков, которые тоже не выказали особенного энтузиазма при встрече с Лицемерием, но не потому, однако, чтобы последнее претило им, а потому, что они уже и без посредства Лицемерия состояли в секретных отношениях с Добродетелями. Сюда принадлежали: Измена, Вероломство, Предательство, Наушничество, Ябеда и проч. Они не разразились кликами торжества, не рукоплескали, не предлагали здравиц, а только подмигнули глазом: милости просим!

Как бы то ни было, но торжество Лицемерия было обеспечено. Молодежь, в лице Прелюбодеяния, Пьянства, Объедения, Распутства, Мордобития и проч., сразу созвала сходку и встретила парламентера такими овациями, что Суемудрие тут же нашлось вынужденным прекратить свою воркотню навсегда.

— Вы только мутите всех, старые пакостники! — кричала старикам молодежь.— Мы жить хотим, а вы уныние наводите! Мы в хрестоматию попадем (это в особенности льстило), в салонах блистать будем! нас старушки будут любить!

---

[1] Пусть консулы будут бдительны!

Словом сказать, почва для соглашения была сразу найдена, так что когда Лицемерие, возвратившись восвояси, отдало Добродетелям отчет о своей миссии, то было единогласно признано, что всякий повод для существования Добродетелей и Пороков, как отдельных и враждебных друг другу групп, устранен навсегда. Тем не менее старую номенклатуру упразднить не решались — почем знать, может быть, и опять понадобится? — но положили употреблять ее с таким расчетом, чтобы всем было видимо, что она прикрывает собой один только прах.

С тех пор пошло между Добродетелями и Пороками гостеприимство великое. Захочет Распутство побывать в гостях у Воздержания, возьмет под ручку Лицемерие,— и Воздержание уже издали, завидев их, приветствует:

— Милости просим! покорно прошу! У нас про вас...

И наоборот. Захочет Воздержание у Распутства постненьким полакомиться, возьмет под ручку Лицемерие, а у Распутства уж и двери все настежь:

— Милости просим! покорно прошу! У нас про вас...

В постные дни постненьким потчуют, в скоромные — скоромненьким. Одной рукой крестное знамение творят, другой — неистовствуют. Одно око горé возводят, другим — непрестанно вожделеют. Впервые Добродетели сладости познали, да и Пороки не остались в убытке. Напротив, всем и каждому говорят: «Никогда у нас таких лакомств не бывало, какими теперь пòходя жуируем!»

А Иванушка-Дурачок и о сю пору не может понять: отчего Добродетели и Пороки так охотно помирились на Лицемерии, тогда как гораздо естественнее было бы сойтись на том, что и те, и другие суть «свойства» — только и всего.

МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ

Злодейства крупные и серьезные нередко именуются блестящими и, в качестве таковых, заносятся на скрижали Истории. Злодейства же малые и шуточные именуются срамными, и не только Историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы.

I. ТОПТЫГИН 1-й

Топтыгин 1-й отлично это понимал. Был он старый служака-зверь, умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать; следовательно, до некоторой степени и инженерное

искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижали Истории попасть желал, и ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что об чем бы с ним ни заговорили: об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли — он всё на одно поворачивал: «Кровопролитиев... кровопролитиев... вот чего нужно!»

За это Лев произвел его в майорский чин и, в виде временной меры, послал в дальний лес, вроде как воеводой, внутренних супостатов усмирять.

Узнала лесная челядь, что майор к ним в лес едет, и задумалась. Такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по-своему норовил. Звери — рыскали, птицы — летали, насекомые — ползали; а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уж не могли. «Вот ужо приедет майор,— говорили они,— засыплет он нам — тогда мы и узнаем, как Кузькину тещу зовут!»

И точно: не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром, в самый Михайлов день, и сейчас же решил: «Быть назавтра кровопролитию». Что заставило его принять такое решение — неизвестно: ибо он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина.

И непременно бы он свой план выполнил, если бы лукавый его не попутал.

Дело в том, что, в ожидании кровопролития, задумал Топтыгин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напился в одиночку пьян. А так как берлоги он для себя еще не выстроил, то пришлось ему, пьяному, среди полянки спать лечь. Улегся и захрапел, а под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь Чижику. Особенный это был Чижик, умный: и ведерко таскать умел, и спеть, по нужде, за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили: «Увидите, что наш Чижик со временем поноску носить будет!» Даже до Льва об его уме слух дошел, и не раз он Ослу говаривал (Осел в ту пору у него в советах за мудреца слыл): «Хоть одним бы ухом послушал, как Чижик у меня в когтях петь будет!»

Но как ни умен был Чижик, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется, сел на медведя и запел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает, и думает: «Беспременно это должен быть внутренний супостат!»

— Кто там бездельным обычаем по воеводской туше прыгает? — рявкнул он, наконец.

Улететь бы Чижику надо, а он и тут не догадался. Сидит себе да дивится: чурбан заговорил! Ну, натурально, майор не стерпел: сгреб грубияна в лапу, да, не рассмотревши с похмелья, взял и съел.

Съесть-то съел, да съевши спохватился: «Что̀ такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось?» Думал-думал, но ничего, скотина, не выдумал. Съел — только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что, ежели даже самую невинную птицу сожрать, то и она точно так же в майорском брюхе сгниет, как и самая преступная.

— Зачем я его съел? — допрашивал сам себя Топтыгин,— меня Лев, посылаючи сюда, предупреждал: «Делай знатные дела, от бездельных же стерегись!» — а я, с первого же шага, чижей глотать вздумал! Ну, да ничего! первый блин всегда комом! Хорошо, что, по раннему времени, никто дурачества моего не видал.

Увы! не знал, видно, Топтыгин, что, в сфере административной деятельности, первая-то ошибка и есть самая фатальная. Что, давши с самого начала административному бегу направление вкось, оно впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии...

И точно, не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видел, как слышит, что скворка ему с соседней березы кричит:

— Дурак! его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он Чижика съел!

Взбеленился майор; полез за скворцом на березу, а скворец, не будь глуп, на другую перепорхнул. Медведь — на другую, а скворка — опять на первую. Лазил-лазил майор, мочи нет измучился. А глядя на скворца, и ворона осмелилась:

— Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!

Он — за вороной, ан из-за куста заинька выпрыгнул:

— Бурбон стоеросовый! Чижика съел!

Комар из-за тридевять земель прилетел:

— Risum teneatis, amici! [1] Чижика съел!

Лягушка в болоте ква̀кнула:

— Олух царя небесного! Чижика съел!

Словом сказать, и смешно, и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону, хочет насмешников переловить, и всё мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все, от мала до велика,

---

[1] Возможно ли не рассмеяться, друзья!

знали, что Топтыгин-майор Чижика съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воеводы ждали. Думали, что он дебри и болота блеском кровопролитий воспрославит, а он на-тко что̀ сделал! И куда ни направит Михайло Иваныч свой путь, везде по сторонам словно стон стоит: «Дурень ты, дурень! Чижика съел!»

Заметался Топтыгин, благим матом взревел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок — так и впились, собачьи дети, и в уши, и в загривок, и под хвост! Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел! Однако все-таки кой-как отбоярился: штук с десяток шавок перекалечил, а от остальных утек. А теперь и утечь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые, дразнятся, а он — слушай! Филин, уж на что глупая птица, а и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает: «Дурак! Чижика съел!»

Но что всего важнее: не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своем принципе с каждым днем все больше да больше умаляется. Того гляди, и в соседние трущобы слух пройдет, и там его на смех подымут!

Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая птица Чижик, а такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил! Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что Топтыгин дурак. Все говорили: «Ваше степенство! вы — наши отцы, мы — ваши дети!» Все знали, что сам Осел за него перед Львом предстательствует, а уж если Осел кого ценит — стало быть, он того стоит. И вот, благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке, всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело: «Дурак! Чижика съел!» Все равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довел... Но нет, и это не так, потому что довести гимназистика до самоубийства — это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, к которому, пожалуй, прислушается и История... Но... Чижик! скажите на милость! Чижик! «Этакая ведь, братцы, уморушка!» — крикнули хором воробьи, ежи и лягушки.

Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием (за родную трущобу стыдно); потом стали дразниться; сначала дразнили окольные, потом начали вторить и дальние; сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи. Все болото, весь лес.

— Так вот оно, общественное-то мнение что̀ значит! — ту-

жил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло,— а потом, пожалуй, и на скрижали Истории попадешь... с Чижиком!

А История такое большое дело, что и Топтыгин, при упоминовении об ней, задумывался. Сам по себе, он знал об ней очень смутно, но от Осла слыхал, что даже Лев ее боится: «Не хорошо, говорит, в зверином образе на скрижали попасть!» История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. Вот если б он, для начала, стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избу у полесовщика по бревну раскатал — ну, тогда История... а впрочем, наплевать бы тогда на Историю! Главное, Осел бы тогда ему лестное письмо написал! А теперь, смотрите-ка! — съел Чижика и тем себя воспрославил! Из-за тысячи верст прискакал, сколько прогонов и порционов извел — и первым делом Чижика съел... ах! Мальчишки на школьных скамьях будут знать! И дикий тунгуз, и сын степей калмык — все будут говорить: «Майора Топтыгина послали супостата покорить, а он, вместо того, Чижика съел!» Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят! До сих пор их майорскими детьми величали, а напредки проходу им школяры не дадут, будут кричать: «Чижика съел! Чижика съел!» Сколько потребуется генеральных кровопролитиев учинить, чтоб экую пакость загладить! Сколько народу ограбить, разорить, загубить!

Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний цитадель общественного благоустройства сооружает, но срамное, срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же цели мнит достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых!

Мечется Топтыгин, ночей не спит, докладов не принимает, все об одном думает: «Ах, что-то Осел об моей майорской проказе скажет!»

И вдруг, словно сон в руку, предписание от Осла: «До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, что вы внутренних врагов не усмирили, а Чижика съели — правда ли?»

Пришлось сознаваться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждет. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного: «Дурак! Чижика съел!» Но частным образом Осел дал виноватому знать (Медведь-то ему кадочку с медом в презент при рапорте отослал): «Непременно вам нужно особливое кровопролитие учинить, дабы гнусное оное впечатление истребить...»

— Коли за этим дело стало, так я еще репутацию свою поправлю! — молвил Михайло Иваныч, и сейчас же напал на

стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малиннике поймал и лукошко с малиной отнял. Потом стал корни и нити разыскивать, да кстати целый лес основ выворотил. Наконец забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую яму свалил.

Сделавши все это, сел, сукин сын, на корточки и ждет поощрения.

Однако ожидания его не сбылись.

Хотя Осел, воспользовавшись первым же случаем, подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но Лев не только не наградил его, но собственнолапно на Ословом докладе сбоку нацарапал: «Не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Таптыгин, который маво любимова Чижика сиел!»

И приказал отчислить его по инфантерии.

Так и остался Топтыгин 1-й майором навек. А если б он прямо с типографий начал — быть бы ему теперь генералом.

II. ТОПТЫГИН 2-й

Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния впрок не идут. Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину.

В то самое время, когда Топтыгин 1-й отличался в своей трущобе, в другую такую же трущобу послал Лев другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тезки и, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит все будущее администратора. Поэтому, еще до получения прогонных денег, он зрело обдумал свой план кампании и тогда только побежал на воеводство.

Тем не менее карьера его была еще менее продолжительна, нежели Топтыгина 1-го.

Главным образом, он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию: это и Осел ему советовал. Оказалось, однако ж, что во вверенной ему трущобе ни одной типографии нет; хотя же старожилы и припоминали, что существовал некогда — вон под той сосной — казенный ручной станок, который лесные куранты тискал, но еще при Магницком этот станок был публично сожжен, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня, и никто от того никаких неудобств не ощу-

щал. Затем известно было еще, что дятел на древесной коре, не переставаючи, пишет «Историю лесной трущобы», но и эту кору, по мере начертания на ней письмен, точили и растаскивали воры-муравьи. И, таким образом, лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего и не заглядывая в будущее. Или, другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времен.

Тогда майор спросил, нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить; но оказалось, что и тут Магницкий его намерения предвосхитил: университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и поднесь в летаргическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магницкого, дабы его растерзать («similia similibus curantur»[1]), но получил в ответ, что Магницкий, волею божией, пòмре.

Нечего делать, потужил Топтыгин 2-й, но в уныние не впал. «Коли душу у них, у мерзавцев, за неимением, погубить нельзя,— сказал он себе,— стало быть, прямо за шкуру приниматься надо!»

Сказано — сделано. Выбрал он ночку потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди, лошадь задрал, корову, свинью, пару овец, и хоть знает, негодяй, что уж в лоск мужичка разорил, а все ему мало кажется. «Постой, говорит,— я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с сумой пò миру пущу!» И, сказавши это, полез на крышу, чтоб злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, что матица-то гнилая была. Как только он на нее ступил, она возьми да и провались. Повис майор на воздухе; видит, что неминучее дело об землю грохнуться, а ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел.

Сбежались на рев мужики, кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда ни обернутся — кругом, везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи крови стоят. А посреди двора и сам ворог висит. Взорвало мужиков.

— Ишь, анафема! перед начальством выслужиться захотел, а мы через это пропадать должны! А ну-тко-то, братцы, уважим его!

Сказавши это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерво вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы.

Таким образом, явилась новая лесная практика, которая

---

[1] клин клином вышибают.

установила, что и блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные.

Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная История, присовокупив, для вящей вразумительности, что принятое в исторических руководствах (для средних учебных заведений издаваемых) подразделение злодейств на блестящие и срамные упраздняется навсегда и что отныне всем вообще злодействам, каковы бы ни были их размеры, присвояется наименование «срамных».

По докладу о сем Осла, Лев собственнолапно на оном нацарапал так: «О приговоре Истории дать знать майору Топтыгину 3-му: пускай изворачивается».

III. ТОПТЫГИН 3-й

Третий Топтыгин был умнее своих тезоименитых предшественников. «Дело-то выходит бросовое! — сказал он себе, прочитав резолюцию Льва,— мало напакостишь — поднимут на смех; много напакостишь — на рогатину поднимут... Полно, ехать ли уж?»

Спрашивал он рапортом у Осла: «Ежели-де ни большие, ни малые злодеяния совершать не разрешается, то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать?» — но Осел ответил уклончиво: «Все-де нужные по сему предмету указания вы найдете в Лесном уставе». Заглянул он в Лесной устав, но там обо всем говорилось: и о пушной подати, и о грибной, и об ягодной, даже об шишках еловых, а о злодеяниях — молчок! И затем, на все его дальнейшие докуки и настояния, Осел отвечал с одинаковою загадочностью: «Действуйте по пристойности!»

— Вот до какого мы времени дожили! — роптал Топтыгин 3-й,— чин на тебя большой накладывают, а какими злодействами его подтвердить — не указывают!

И опять мелькнуло у него в голове: «Полно, ехать ли?» — и если б не вспомнилось, какая уйма подъемных и прогонных денег для него в казначействе припасена, право, кажется, не поехал бы!

Прибыл он в трущобу на своих на двоих — очень скромно. Ни официальных приемов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залег. Лежит и думает: «Даже с зайца шкуру содрать нельзя — и то, пожалуй, за злодейство сочтут! И кто сочтет? добро бы Лев или Осел — это бы куда ни шло! — а то мужики какие-то. Да Историю еще какую-то нашли — вот уж подлинно ис-то-ри-я!!» Хохочет Топтыгин в берлоге, про Историю вспоминаючи, а

на сердце у него жутко: чует он, что сам Лев Истории боится... Ка̀к тут будешь лесную сволочь подтягивать — и ума приложить не может. Спрашивают с него много, а разбойничать не белят! В какую бы сторону он ни устремился, только что разбежится — стой, погоди! не в свое место заехал! Везде «права̀» завелись. Даже у белки, и у той нынче права̀! Дробину тебе в нос — вот какие твои права̀! *У них* — права̀, а у него, вишь, обязанности! Да и обязанностей-то настоящих нет — просто пустое место! *Они* — друг друга поедом едят, а он — задрать никого не смеет! На что̀ похоже! А все Осел! Он, именно он мудрит, он эту канитель разводит! «Кто осла дивия быстра соделал? узы ему кто разрешил?» — вот об чем нужно бы ему всечасно помнить, а он об «правах» мычит! «Действуйте по пристойности!» — ах!

Долго он таким образом лапу сосал и даже настоящим образом в управление вверенной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себе «по пристойности» заявить, влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом рявкнул, но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодейств, до того обнаглела, что, услышавши его рев, только молвила: «Чу, Мишка ревет! гляди, что лапу во сне прокусил!» С тем и отъехал Топтыгин 3-й опять в берлогу...

Но повторяю: он был медведь умный и не затем в берлогу залег, чтобы в бесплодных сетованиях изнывать, а затем, чтоб до чего-нибудь настоящего додуматься.

И додумался.

Дело в том, что, покуда он лежал, в лесу все само собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне «благополучным», но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы исстари заведенный порядок (хотя бы и неблагополучный) от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодейства устраивать, а довольствоваться злодействами «натуральными». Ежели исстари повелось, что волки с зайцев шкуру дерут, а коршуны и совы ворон ощипывают, то, хотя в таком «порядке» ничего благополучного нет, но так как это все-таки «порядок» — стало быть, и следует признать его за таковой. А ежели при этом ни зайцы, ни вороны не только не ропщут, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что «порядок» не выходит из определенных ему искони границ. Неужели и этих «натуральных» злодейств недостаточно?

В данном случае все именно так происходило. Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала.

И днем и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие — победный клик. И наружные формы, и звуки, и светотени, и состав населения — все представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом сказать, это был порядок, до такой степени установившийся и прочный, что при виде его даже самому лютому, рьяному воеводе не могла прийти в голову мысль о каких-либо увенчательных злодействах, да еще «под личною вашего степенства ответственностью».

Таким образом, перед умственным взором Топтыгина 3-го вдруг выросла целая теория неблагополучного благополучия. Выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как однажды, в дружеской беседе, Осел говорил:

— Об каких это вы всё злодействах допрашиваете? Главное в нашем ремесле — это: laissez passer, laissez faire![1] Или, по-русски выражаясь: «Дурак на дураке сидит и дураком погоняет!» Вот вам. Если вы, мой друг, станете этого правила держаться, то и злодейство само собой сделается, и все у вас будет обстоять благополучно!

Так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а все остальное приложится.

— Я даже не понимаю, зачем воевод посылают! ведь и без них...— слиберальничал было майор, но, вспомнив о присвоенном ему содержании, замял нескромную мысль: ничего, ничего, молчание...

С этими словами он перевернулся на другой бок и решился выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. И затем все пошло в лесу как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, меду и даже сивухи, и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал.

Таким образом пролежал Топтыгин 3-й в берлоге многие годы. И так как неблагополучные, но вожделенные лесные порядки ни разу в это время нарушены не были и так как никаких при этом злодейств, кроме «натуральных», не производилось, то и Лев не оставил его милостью. Сначала произвел в подполковники, потом в полковники и наконец...

Но тут явились в трущобу мужики-лукаши, и вышел Топтыгин 3-й из берлоги в поле. И постигла его участь всех пушных зверей.

---

[1] позволять, не мешать!

ОБМАНЩИК-ГАЗЕТЧИК И ЛЕГКОВЕРНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

Жил-был газетчик, и жил-был читатель. Газетчик был обманщик — все обманывал, а читатель был легковерный — всему верил. Так уж исстари повелось на свете: обманщики обманывают, а легковерные верят. Suum cuique[1].

Сидит газетчик в своей берлоге и знай себе обманывает да обманывает. «Берегитесь! — говорит,— дифтерит обывателей косит!» «Дождей,— говорит,— с самого начала весны нет — того гляди, без хлеба останемся!» «Пожары деревни и города истребляют!» «Добро казенное и общественное врозь тащат!» А читатель читает и думает, что газетчик ему глаза открывает. «Такая, говорит, уж у нас свобода книгопечатания: куда ни взгляни — везде либо дифтерит, либо пожар, либо неурожай»...

Дальше — больше. Смекнул газетчик, что его обманы по сердцу читателю пришлись,— начал еще пуще поддавать. «Никакой, говорит, у нас обеспеченности нет! не выходи, говорит, читатель, на улицу: как раз в кутузку попадешь!» А легковерный читатель идет гоголем по улице и приговаривает: «Ах, как верно газетчик про нашу необеспеченность выразился!» Мало того: другого легковерного читателя встретит и того спросит: «А читали вы, как прекрасно сегодня насчет нашей необеспеченности газетчик продернул?» — «Как не читать! — ответит другой легковерный читатель,— бесподобно! Нельзя, именно нельзя у нас по улицам ходить — сейчас в кутузку попадешь!»

И все свободой книгопечатания не нахвалятся. «Не знали мы, что у нас везде дифтерит,— хором поют легковерные читатели,— ан оно вон что!» И так им от этой уверенности на душе легко стало, что скажи теперь этот самый газетчик, что дифтерит был, да весь вышел, пожалуй, и газетину его перестали бы читать.

А газетчик этому рад, потому для него обман — прямая выгода. Истина-то не всякому достается — поди, добивайся! — пожалуй, за нее и десятью копеечками со строчки не отбояришься! То ли дело обман! Знай пиши да обманывай. Пять копеек со строчки — целые вороха обманов со всех сторон тебе нанесут!

И такая у газетчика с читателем дружба завелась, что и водой их не разольешь. Что больше обманывает газетчик, то больше богатеет (а обманщику чего же другого и нужно!);

---

[1] Каждому свое.

а читатель, что больше его обманывают, то больше пятаков газетчику несет. И распивочно, и навынос — всяко газетчик копейку зашибает!

«Штанов не было! — говорят про него завистники,— а теперь, смотрите, как козыряет! Льстеца себе нанял! рассказчика из народного быта завел! Блаженствует!»

Пробовали было другие газетчики истиной его подкузьмить — авось, дескать, и на нашу приваду подписчик побежит,— так куда тебе! Не хочет ничего знать читатель, только одно и твердит:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...

Долго ли, коротко ли так дело шло, но только нашлись добрые люди, которые пожалели легковерного читателя. Призвали обманщика-газетчика и говорят ему: «Будет с тебя, бесстыжий и неверный человек! До сих пор ты торговал обманом, а отныне — торгуй истиной!»

Да, кстати, и читатели начали понемножку отрезвляться, стали цидулки газетчику посылать. Гулял, дескать, я сегодня с дочерью по Невскому, думал на Съезжей ночевать (дочка даже бутербродами, на случай, запаслась,— говорила: «Ах, как будет весело!»), а вместо того благополучно оба воротились домой... Так как же, мол, такой утешительный факт с вашими передовицами об нашей необеспеченности согласовать?

Натурально, газетчик, с своей стороны, только того и ждал. Признаться сказать, ему и самому надоело обманывать. Сердце-то у него давно уж к истине склонялось, да что же поделаешь, коли читатель только на обман клюет! Плачешь, да обманываешь. Теперь же, когда к нему со всех сторон с ножом к горлу пристают, чтоб он истину говорил,— что ж, он готов! Истина, так истина, черт побери! Обманом два каменных дома нажил, а остальные два каменные дома приходится истиной наживать!

И начал он каждый день читателя истиной донимать! Нет дифтерита, да и шабаш! И кутузок нет, и пожаров нет; если же и выгорел Конотоп, так после пожара он еще лучше выстроился. А урожай, благодаря наступившим теплым дождям, оказался такой, что и сами ели-ели, да наконец и немцам стали под стол бросать: подавись!

Но что всего замечательнее — печатает газетчик только истину, а за строку всё пять копеек платит. И истина в цене упала с тех пор, как стали ею распивочно торговать. Выходит, что истина, что обман — все равно, цена грош. А газетные столбцы не только не сделались оттого скучнее, но еще боль-

ше оживились. Потому что ведь ежели благорастворение воздухов вплотную разделывать начать — это такая картина выйдет, что отдай всё, да и мало!

Наконец читатель окончательно отрезвился и прозрел. И прежде ему недурно жилось, когда он обман за истину принимал, а теперь уж и совсем от сердца отлегло. В булочную зайдет — там ему говорят: «Надо быть, со временем хлеб дешев будет!», в курятную лавку заглянет — там ему говорят: «Надо быть, со временем рябчики нипочем будут!»

— Ну, а покудова как?

— Покудова рубль двадцать копеечек за пару!

Вот какой, с божьею помощью, поворот!

И вот, однажды, вышел легковерный читатель франтом на улицу. Идет, «в надежде славы и добра», и тросточкой помахивает: знайте, мол, что отныне я вполне обеспечен!

Но на этот раз, как на грех, произошло следующее:

Не успел он несколько шагов сделать, как случилась юридическая ошибка, и его посадили в кутузку.

Там он целый день просидел не евши. Потому что хоть его и потчевали, но он посмотрел-посмотрел, да только молвил: «Вот они, урожаи-то наши, каковы!»

Там же он схватил дифтерит.

Разумеется, на другой день юридическая ошибка объяснилась, и его выпустили на поруки (не ровен случай, и опять понадобится). Он возвратился домой и умер.

А газетчик-обманщик и сейчас жив. Четвертый каменный дом под крышу подводит и с утра до вечера об одном думает: чем ему напредки легковерного читателя ловчее обманывать: обманом или истиною?

ВЯЛЕНАЯ ВОБЛА

Воблу поймали, вычистили внутренности (только молоки для приплоду оставили) и вывесили на веревочке на солнце: пускай пробялится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался.

И стала вобла жить да поживать[1].

— Как это хорошо,— говорила вяленая вобла,— что со мной эту процедуру проделали! Теперь у меня ни лишних

[1] Я знаю, что в натуре этого не бывает, но так как из сказки слова не выкинешь, то, видно, быть этому делу так. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести — ничего такого не будет! Всё у меня лишнее выветрили, вычистили и вывялили, и буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести!

Что бывают на свете лишние мысли, лишняя совесть, лишние чувства — об этом, еще живучи на воле, вобла слышала. И никогда, признаться, не завидовала тем, которые такими излишками обладали. От рождения она была вобла степенная, не в свое дело носа не совала, за «лишним» не гналась, в эмпиреях не витала и неблагонадежных компаний удалялась. Еще где, бывало, заслышит, что пискари об конституциях болтают — сейчас налево кругом и под лопух схоронится. Однако же, и за всем тем, не без страху жила, потому что не ровен час, вдруг... «Мудреное нынче время! — думала она,— такое мудреное, что и невинный за виноватого как раз сойдет! Начнут, это, шарить, а ты *около* где-нибудь спряталась,— ан и *около* пошарят! Где была? по какому случаю? каким манером? — господи, спаси и помилуй!» Стало быть, можете себе представить, как она была рада, когда ее изловили и все мысли и чувства у ней выхолостили! «Теперь милости просим! — торжествовала она,— когда угодно и кто угодно приходи! теперь у меня все доказательства налицо!»

Что именно разумела вяленая вобла под названием «лишних» мыслей и чувств —неизвестно, но что, действительно, на наших глазах много лишнего завелось — с этим и я не согласиться не могу. Сущности этого лишнего никто еще не называл по имени, но всякий смутно чувствует, что куда ни обернись — везде какой-то привесок выглядывает. И хоть ты что хочешь, а надобно этот привесок или в расчет принять, или так его обойти, чтобы он и не подумал, что его надувают. Все это порождает тьму новых забот, осложнений и беспокойств вообще. Хочется, по-старинному, прямиком пройти, ан прямик буреломом завалило, промоинами исковеркало — ну, и ступай за семь верст киселя есть. Всякий партикулярный человек нынче эту тягость уж сознает, а какое для начальства от того отягощение — этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Штаты-то старинные, а дела-то новые; да и в штатах-то в самых уж привески завелись. Прежде у чиновника-то чугунная поясница была: как сел на место в десять часов утра, так и не встает до четырех — все служит! А нынче придет он в час, уж позавтракавши; час папироску курит, час куплеты напевает, а остальное время — та̀к около столов колобродит. И тайны канцелярской совсем не держит. Начнет одно дело перелистывать: «Посмотрите, какой курьез!» — за другое возьмется: «Глядите! ведь это — отдай всё, да и мало!» Наберет курьезов с три короба да к Палкину обедать. А как ты удер-

жишься, чтобы курьезом стен Палкина трактира не огласить! — Да ежели, я вам доложу, за каждую канцелярскую нескромность будет каторга обещана, так и тогда от нескромностей не уйти!

Спрашивается: с кем же тут начальству подняться! У всех есть пособники, а у него нет; у всех есть укрыватели, а у него нет! Как тут остановить наплыв «лишнего» в партикулярном мире, когда в своей собственной цитадели, куда ни вскинь глазами,— везде лишнее да неподлежащее так и хлещет через край!

Трудно, ах, как трудно среди этой массы привесков жить! приходится всю дорогу ощупью идти. Думаешь, что настоящее место нашарил, а оказывается, что шарил «около». Бесполезно, бесплодно, жестоко, срамно. Положим, что невелика беда, что невиноватый за виноватого сошел — много их, невиноватых-то этих! сегодня он не виноват, а завтра кто ж его знает? — да вот в чем настоящая беда: подлинного-то виноватого все-таки нет! Стало быть, и опять нащупывать надо, и опять — мимо! В том все время и проходит. Понятно, что даже самые умудренные партикулярные люди (те, которые сальных свечей не едят и стеклом не утираются) — и те стали втупик! И так как на ежа голым телом никому неохота садиться, то всякий и вопиет: «Господи! пронеси!»

Нет, как хотите, а надо когда-нибудь эти привески счесть, да и присмотреться к ним. Узнать: откуда они пришли? зачем? куда пролезть хотят? Не все же нахалом вперед лезут — иное что и полезное сыщется.

Очень, впрочем, возможно, что вобле эти вопросы и на ум совсем не приходили. Однако повторяю: и она, вместе с прочими, чувствовала, что или от привесков, или по поводу привесков — ей всячески мат. И только тогда, когда ее на солнце хорошенько провялило и выветрило, когда она убедилась, что внутри у нее ничего, кроме молок, не осталось,— только тогда она ободрилась и сказала себе: «Ну, теперь мне на все наплевать!»

И точно: теперь она, даже против прежнего, сделалась солиднее и благонадежнее. Мысли у ней — резонные, чувства — никого не задевающие, совести — на медный пятак. Сидит себе с краю и говорит, как пишет. Нищий к ней подойдет — она оглянется, коли есть посторонние — сунет нищему в руку грошик; коли нет никого — кивнет головой: бог подаст! Встретится с кем-нибудь — непременно в разговор вступит; откровенно мнение свое выскажет и всех основательностью восхитит. Не рвется, не мечется, не протестует, не клянет, а резонно об резонных делах калякает. О том, что тише едешь, дальше

будешь, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан, что поспешишь — людей насмешишь и т. п. А всего больше о том, что уши выше лба не растут.

— Ах, воблушка! как ты скучно на бобах разводишь! точно тебя тошнит! — воскликнет собеседник, ежели он из свеженьких.

— И всем скучно сначала,— стыдливо ответит воблушка.— Сначала — скучно, а потом — хорошо. Вот как поживешь на свете, да пошарят *около* тебя вдоволь — тогда и об воблушке вспомнишь, скажешь: «Спасибо, что уму-разуму учила!»

Да нельзя и не сказать спасибо, потому что, ежели по правде рассудить, так именно только одна воблушка в настоящую центру попала. Бывают такие обстановочки, когда подлинного ума-разума и слыхом не слыхать, а есть только воблушкин ум-разум. Люди ходят, как сонные, ни́ к чему приступиться не умеют, ничему не радуются, ничем не печалятся. И вдруг в ушах раздается успокоительно-соблазнительный шепот: «Потихоньку да полегоньку, двух смертей не бывает, одной не миновать...» Это она, это воблушка шепчет! Спасибо тебе, воблушка! правду ты молвила: двух смертей не бывает, а одна искони за плечами ходит!

Не явись на выручку воблушка, одно бы осталось — пропа̀сть. Но она не только на убежище указала, а целую цитадель создала. Да не такую цитадель, в которой сидят озорники да курьезы подыскивают, а заправскую цитадель, при взгляде на которую и мысли о брешах никому не придет! Вот уж там-то все шито да крыто, там-то уж ни о каких привесках и слыхом не слыхать! Есть захотелось — ешь! спать вздумалось — спи! Ходи, сиди, калякай! К этому-то и привесить-то ничего нельзя. Будь счастлив — только и всего.

И сам будешь счастлив, и те, которые около тебя,— все будете счастливы! Ты никого не тронешь, и тебя никто не тронет. Спите, други, почивайте! И нашаривать около вас не для чего, потому что везде путь торный и все двери на̀стежь. «Вперед без страха и сомненья!», или, говоря другими словами, шествуй в надлежащее место!

— И откуда у тебя, воблушка, такая ума палата? — спрашивают ее благодарные пискари, которые, по милости ее советов, неискалеченными остались.

— От рожденья бог меня разумом наградил,— скромно отвечает воблушка,— а сверх того, и во время вяленья мозг у меня в голове выветрился... С тех пор и начала я умом раскидывать...

И действительно: покуда наивные люди в эмпиреях витают, а злецы ядом передовых статей жизнь отравляют, воб-

лушка только умом раскидывает и тем пользу приносит. Никакие клеветы, никакое человеконенавистничество, никакие змеиные передовые статьи не действуют так воспитательно, как действует скромный воблушкин пример. «Уши выше лба не растут!» — ведь это то самое, о чем древние римляне говорили: «Respice finem!» [1] Только более нам ко двору.

Хороша клевета, а человеконенавистничество еще того лучше, но они так сильно в нос бьют, что не всякий простец вместить их может. Все кажется, что одна половина тут наподлена́, а другая — налгана́. А главное, конца краю не видать. Слушаешь или читаешь и все думаешь: «Ловко-то ловко, да что̀ же дальше?» — а дальше опять клевета, опять яд... Вот это-то и смущает. То ли дело скромная воблушкина резонность? «Ты никого не тронь — и тебя никто не тронет!» — ведь это целая поэма! Тускленька, правда, эта пресловутая резонность, но посмотрите, как цепко она человека нащупывает, как аккуратно его обшлифовывает! Сначала клевета поизмучает, потом хлевный яд одурманит, и когда процесс мучительства завершит свой цикл, когда человек почувствует, что нет во всем его организме места, которое бы не ныло, а в душе нет иного ощущения, кроме безграничной тоски,— вот тогда и выступает воблушка с своими скромными афоризмами. Она бесшумно подкрадывается к искалеченному и безболезненно додурманивает его. И, приведя его к стене, говорит: «Вон сколько каракуль там написано; всю жизнь разбирай — всего не разберешь!»

Смотри на эти каракули, и ежели есть охота — доискивайся их смысла. Тут все в одно место скучено: и заветы прошлого, и яд настоящего, и загадки будущего. И над всем лег густой слой всякого рода грязи, погадок, вешних потоков и следов непогод. А ежели разбираться в каракулях охоты нет, то тем еще лучше. Верь на слово, что суть этих каракуль может быть выражена в немногих словах: выше лба уши не растут. И затем — живи.

Все это отлично поняла вяленая вобла, или, лучше сказать, не сама она поняла, а принес ей это понимание тот процесс вяления, сквозь который она прошла. А впоследствии время и обстоятельства усыновили ее и дали широкий простор для применений.

Все поприща поочередно открывались перед ней, и на всяком она службу сослужила. Везде она свое слово сказала, слово пустомысленное, бросовое, но именно как раз такое, что, по обстоятельствам, лучше не надо.

---

[1] Подумай о последствиях!

Затесавшись в ряды бюрократии, она паче всего на канцелярской тайне да на округлении периодов настаивала. «Главное,— твердила она,— чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные!» И всем, действительно, сделалось ясно, что именно это и надо. Что же касается до округления периодов, то воблушка резонно утверждала, что без этого никак следы замести нельзя. На свете существует множество всяких слов, но самые опасные из них — это слова прямые, настоящие. Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из-за них изъяны выглядывают. А ты пустопорожнее слово возьми и начинай им кружить. И кружи, и кружи; и с одной стороны загляни, и с другой забеги; умей «к сожалению, сознаться» и в то же время не ослабеваючи уповай; сошлись на дух времени, но не упускай из вида и разнузданности страстей. Тогда изъяны стушуются сами собой, а останется одна воблушкина правда. Та вожделенная правда, которая помогает нынешний день пережить, а об завтрашнем — не загадывать.

Забралась вяленая вобла в ряды «излюбленных» — и тут службу сослужила. Поначалу излюбленные довольно-таки гордо себя повели: «Мы-ста, да вы-ста... повергнуть наши умные мысли к стопам!» Только и слов. А воблушка сидит себе скромненько в углу и думает про себя: «Моя речь еще впереди». И действительно: раз повергли, в другой — повергли, в третий — опять было повергнуть собрались, да концов с концами свести не могут. Один кричит: «Мало!», другой перекрикивает: «Много!», а третий прямо бунт объявляет: «Едем, братцы, прямо...» — так вас и пустили! Вот тут-то воблушка и оказала себя. Выждала минутку, когда у всех в горле пересохло, и говорит: «Повергать, говорит, мы тогда можем коли нас спрашивают, а ежели нас не спрашивают, то должны мы сидеть смирно и получать присвоенное содержание».— «Как так? почему?» — «А потому, говорит, что так исстари заведено: коли спрашивают — повергай! а не спрашивают — сиди и памятуй, что выше лба уши не растут!» И вдруг от этих простых воблушкиных слов у всех словно пелена с глаз упала. И стали излюбленные люди хвалить воблушку и дивиться ее уму-разуму.

— Откуда у тебя такая ума палата взялась? — обступили ее со всех сторон,— ведь кабы не ты, мы, наверное бы, с Макаром, телят не гоняющим, познакомились!

А воблушка скромно радовалась своему подвигу и объясняла:

— Оттого я так умна, что своевременно меня провялили. С тех пор меня точно свет осиял: ни лишних чувств, ни лиш-

них мыслей, ни лишней совести — ничего во мне нет. Об одном всечасно и себе, и другим твержу: не растут уши выше лба! не растут!

— Правильно! — согласились излюбленные люди и тут же раз навсегда постановили: — Коли спрашивают — повергать! а не спрашивают — сидеть и получать присвоенное содержание...

Каковое правило соблюдается и доныне.

Пробовала вяленая вобла и заблуждения человеческие судить — и тоже хорошо у ней вышло. Тут она наглядным образом доказала, что ежели лишние мысли и лишние чувства без нужды осложняют жизнь, то лишняя совесть и тем паче не ко двору. Лишняя совесть наполняет сердца робостью, останавливает руку, которая готова камень бросить, шепчет судье: «Проверь самого себя!» А ежели у кого совесть, вместе с прочей требухой, из нутра вычистили, у того робости и в заводе нет, а зато камней — полна пазуха. Смотрит себе вяленая вобла, не сморгнувши, на заблуждения человеческие, и знай себе камешками пошвыривает. Каждое заблуждение у ней под номером значится и против каждого камешек припасен — тоже под номером. Остается только нелицеприятную бухгалтерию вести. Око за око, номер за номер. Ежели следует искалечить полностью — полностью искалечь: сам виноват! Ежели следует искалечить в частности — искалечь частицу: вперед наука! И та̀к она этою своею резонностью всем понравилась, что скоро про совесть никто и вспомнить без смеха не мог...

Но больше всего была богата последствиями добровольческая воблушкина деятельность по распространению здравых мыслей в обществе. С утра до вечера неуставаючи ходила она по градам и весям и все одну песню пела: «Не расти ушам выше лба! не расти!» И не то чтоб с азартом пела, а солидно, рассудительно, так что и рассердиться на нее было нѐ за что. Разве что вгорячах кто крикнет: «Ишь, паскуда, распелась!» — ну, да ведь в деле распространения здравых мыслей без того нельзя, чтоб кто-нибудь паскудой не обругал...

Вяленая вобла, впрочем, не смущалась этими напутствиями. Она не без основания говорила себе: «Пускай сначала к голосу моему привыкнут, а затем я своего уж добьюсь...»

Надо сказать правду: общество, к которому обращались поучения воблы, не представляло особенной устойчивости. Были в нем и убежденные люди, но более преобладал пестрый человек. Это, положим, и везде так бывает, но в других местах для убежденных людей выдаются изрядные светлые промежутки, а тут они — коротенькие. Извольте-ка в одночасье всю эту массу пестрых людей на правую стезю поставить,

извольте добиться, чтоб они усвоили себе представление о своем праве на жизнь, да не машинально только усвоили, а с тем, чтобы, в случае надобности, и защитить это право умели. Утвердительно можно сказать, что это задача мучительная. А между тем сколько, во имя ее, погубляется жизней, сколько проливается поту и крови, сколько передумывается скорбных и тяжелых дум! И ежели в результате этих усилий блеснет одна-единственная минута радости (вдобавок, мнимой), то это уже награда, которая считается достаточною, чтобы оправдать целые годы последующих отрав...

А кроме того, и время стояло смутное, неверное и жестокое. Убежденные люди надрывались, мучались, метались, вопрошали и, вместо ответа, видели перед собой запертую дверь. Пестрые люди следили в недоумении за их потугами и в то же время нюхали в воздухе, чем пахнет. Пахло не хорошо; ощущалось присутствие железного кольца, которое с каждым днем все больше и больше стягивалось. «Кто-то нас выручит? кто-то подходящее слово скажет?» — ежемгновенно тосковали пестрые люди и были рады-радехоньки, когда в ушах их раздались отрезвляющие звуки.

Наступает короткий период задумчивости: пестрые люди уже решились, но еще стыдятся. Затем пестрая масса начинает мало-помалу волноваться. Больше, больше, и вдруг вопль: «Не растут уши выше лба, не растут!»

Общество отрезвилось. Это зрелище поголовного освобождения от лишних мыслей, лишних чувств и лишней совести до такой степени умилительно, что даже клеветники и человеконенавистники на время умолкают. Они вынуждены сознаться, что простая вобла, с провяленными молоками и выветрившимся мозгом, совершила такие чудеса консерватизма, о которых они и гадать не смели. Одно утешает их: что эти подвиги подъяты воблой под прикрытием их человеконенавистнических воплей. Если б они не взывали к посредничеству ежовых рукавиц, если б не угрожали согнутием в бараний рог — могла ли бы вобла с успехом вести свою мирно-возродительную пропаганду? Не заклевали ли бы ее? не насмеялись ли бы над нею? И, наконец, не перспектива ли скорпионов и ран, ежеминутно ими, клеветниками, показываемая, повлияла на решение пестрых людей?

Некоторые из клеветников даже устраивали на всякий случай лазейку. Хвалить хвалили, но камень за пазухой все-таки приберегали. «Прекрасно,— говорили они,— мы с удовольствием допускаем, что общество отрезвилось, что химера упразднена, а на место ее вступила в свои права здоровая, неподкрашенная жизнь. Но надолго ли? но прочно ли наше

отрезвление — вот вопрос. В этом смысле мирный характер, который ознаменовал процесс нашего возрождения, наводит на очень серьезные мысли. До сих пор мы знали, что заблуждения не так-то легко полагают оружие даже перед очевидностью совершившихся фактов, а тут вдруг, нежданно-негаданно, благодаря авторитету пословицы,— положим, благонамеренной и освященной вековым опытом, но все-таки не более как пословицы,— является радикальное и повсеместное отрезвление! Полно, так ли это? искренно ли состоявшееся на наших глазах обращение? не представляет ли оно искусного компромисса или временного modus vivendi [1], допущенного для отвода глаз? И нет ли в самых приемах, которыми сопровождалось возрождение, признаков того легковесного либерализма, который, избегая такие испытанные средства, как ежовые рукавицы, мечтает кроткими мерами разогнать тяготеющую над нами хмару? Не забывается ли при этом слишком легко, что общество наше есть не что иное, как разношерстный и бесхарактерный агломерат всевозможных веяний и наслоений и что с успехом действовать на этот агломерат можно лишь тогда, когда разнообразные элементы, его составляющие, предварительно приведены к одному знаменателю?»

Как бы то ни было, но настоящий, здоровый тон был найден. Сперва его в салонах усвоили; потом он в трактиры проник, потом... Дамочки радовались и говорили: «Теперь у нас балы начнутся». Гостинодворцы развертывали материи и ожидали оживления промышленности.

Оставалось одно: отыскать настоящее, здоровое «дело», к которому можно было бы «здоровый» тон применить.

Однако тут совершилось нечто необыкновенное. Оказалось, что до сих пор у всех на уме были только ежовые рукавицы, а об деле так мало думали, что никто даже по имени не мог его назвать. Все говорят охотно: «Надо дело делать», но какое — не знают. А вобла похаживает между тем среди возрожденной толпы и самодовольно выкрикивает: «Не растут уши выше лба! не растут!»

— Помилуй, воблушка! да ведь это только «тон», а не «дело»,— возражают ей,— дело-то какое нам предстоит, скажи!

Но она заладила одно и ни пяди уступить не согласна! Так ни от кого насчет дела ничего и не узнали.

Но, кроме того, тут же сбоку выскочил и другой вопрос: а что, если настоящее дело наконец и откроется — кто же его делать-то будет?

— Вы, Иван Иваныч, будете дело делать?

---

[1] сосуществования.

— Где мне, Иван Никифорыч! Моя изба с краю... вот разве вы...

— Что вы! что вы! да разве я об двух головах! ведь я, батюшка, не забыл...

И таким образом все. У одного — изба с краю, другой — не об двух головах, третий — чего-то не забыл... все глядят, как бы в подворотню проскочить, у всех сердце не на месте и руки — как плети...

«Уши выше лба не растут!» — хорошо это сказано, сильно, а дальше что? На стене каракули-то читать? — положим, и это хорошо, а дальше что? Не шевельнуться, не пикнуть, носа не совать, не рассуждать? — прекрасно и это, а дальше что?

И чем старательнее выводились логические последствия, вытекающие из воблушкиной доктрины, тем чаще и чаще становился поперек горла вопрос: «А дальше что?»

Ответить на этот вопрос вызвались клеветники и человеконенавистники.

«Само по себе взятое,— говорили и писали они,— учение, известное под именем доктрины вяленой воблы, не только не заслуживает порицания, но даже может быть названо вполне благонадежным. Но дело не в доктрине и ее положениях, а в тех приемах, которые употреблялись для ее осуществления и насчет которых мы, с самого начала, предостерегали тех, кому ведать о сем надлежит. Приемы эти были положительно негодны, как это уже и оказалось теперь. Они носили на себе клеймо того же паскудного либеральничанья, которое уже столько раз приводило нас на край бездны. Так что ежели мы еще не находимся на дне оной, то именно только благодаря здравому смыслу, искони лежавшему в основании нашей жизни. Пускай же этот здравый смысл и теперь сослужит нам свою обычную службу. Пусть подскажет он всем, серьезно понимающим интересы своего отечества, что единственный целесообразный прием, при помощи которого мы можем прийти к какому-нибудь результату, представляют ежовые рукавицы. Об этом напоминают нам предания прошлого; о том же свидетельствует смута настоящего. Этой смуты не было бы и в помине, если б наши предостережения были своевременно выслушаны и приняты во внимание. «Caveant consules!» [1] — повторяем мы и при этом прибавляем для не знающих по-латыни, что в русском переводе выражение это значит: не зевай!»

Таким образом, оказалось, что хоть и провялили воблу, и внутренности у нее вычистили, и мозг выветрили, а все-таки,

[1] Пусть консулы будут бдительны!

в конце концов, ей пришлось распоясываться. Из торжествующей она превратилась в заподозренную, из благонамеренной — в либералку. И в либералку тем более опасную, чем благонадежнее была мысль, составлявшая основание ее пропаганды.

И вот в одно утро совершилось неслыханное злодеяние. Один из самых рьяных клеветников ухватил вяленую воблу под жабры, откусил у нее голову, содрал шкуру и у всех на виду слопал...

Пестрые люди смотрели на это зрелище, плескали руками и вопили: «Да здравствуют ежовые рукавицы!» Но История взглянула на дело иначе и втайне положила в сердце своем: «Годиков через сто я непременно все это тисну!»

ОРЕЛ-МЕЦЕНАТ

Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. И статьи у орла красоты неописанной, и взгляд быстрый, и полет величественный. Он не летает, как прочие птицы, а пари́т, либо ширяет; сверх того: глядит на солнце и спорит с громами. А иные даже наделяют его сердце великодушием. Так что ежели, например, хотят воспеть в стихах городового, то непременно сравнивают его с орлом. «Подобно орлу, говорят, городовой бляха № такой-то высмотрел, выхватил и, выслушав,— простил».

Я сам очень долго этим панегирикам верил. Думал: «Ведь, в самом деле, красиво! Выхватил... простил! Простил?!» — вот что̀ в особенности пленяло. «Кого простил? — мышь!! Что́ такое мышь?!» И я бежал впопыхах к кому-нибудь из друзей-поэтов и сообщал о новом акте великодушия орла. А друг-поэт становился в позу, с минуту сопел, и затем его начинало тошнить стихами.

Но однажды меня осенила мысль. «С чего же, однако, орел «простил» мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал и... простил! Почему он «простил» мышь, а не мышь «простила» его?»

Дальше — больше. Стал я прислушиваться и приглядываться. Вижу: что-то тут неблагополучно. Во-первых, совсем не затем орел мышей ловит, чтоб их прощать. Во-вторых, ежели и допустить, что орел «простил» мышь, то, право, было бы гораздо лучше, если б он совсем ею не интересовался. И, в-третьих, наконец, будь он хоть орел, хоть архиорел, все-таки он — птица. До такой степени птица, что сравнение с ним и для городового может быть лестно только по недоразумению.

И теперь я думаю об орлах так: «Орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют в свое оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами. И так как они, в то же время, сильны, дальнозорки, быстры и беспощадны, то весьма естественно, что, при появлении их, все пернатое царство спешит притаиться. И это происходит от страха, а не от восхищения, как уверяют поэты. А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют».

Выискался, однако ж, орел, которому опостылело жить в отчуждении. Вот и говорит он однажды своей орлице:

— Скучно сам-друг с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце — инда одуреешь.

И начал он задумываться. Что больше думает, то чаще и чаще ему мерещится: хорошо бы так пожить, как в старину помещики живали. Набрал бы он дворню и зажил бы припеваючи. Во̀роны бы сплетни ему переносили, попугаи — кувыркались бы, сорока бы кашу варила, скворцы — величальные песни бы пели, совы, сычи да филины по ночам дозором летали бы, а ястребы, коршуны да соколы пищу бы ему добывали. А он бы оставил при себе одну кровожадность. Думал-думал, да и решился. Кликнул однажды ястреба, коршуна да сокола и говорит им:

— Соберите мне дворню, как в старину у помещиков бывало; она меня утешать будет, а я ее в страхе держать стану. Вот и всё.

Выслушали хищники этот приказ и полетели во все стороны. Закипело у них дело не на шутку. Прежде всего нагнали целую уйму воро́н. Нагнали, записали в ревизские сказки и выдали окладные листы. Ворона — птица плодущая и на все согласная. Главным же образом, тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица. А известно, что ежели готовы «мужички», то дело остается только за деталями, которые уж ничего не стоит скомпоновать. И скомпоновали. Из коростелей и гагар духовой оркестр собрали, попугаев скоморохами нарядили, сороке-белобоке, благо воровка она, ключи от казны препоручили, сычей да филинов заставили по ночам дозором летать. Словом сказать, такую обстановку устроили, что хоть какому угодно дворянину не стыдно. Даже кукушку не забыли, в гадалки при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили.

Но не успели порядком дворовые штаты в действие ввести,

как уже убедились, что есть в них какой-то пропуск. Думали-думали, что́ бы такое было, и наконец догадались: во всех дворнях полагаются науки и искусства, а у орла нет ни тех, ни других.

Три птицы, в особенности, считали этот пропуск для себя обидным: снегирь, дятел и соловей.

Снегирь был малый шустрый и с отроческих лет насвистанный. Воспитывался он первоначально в школе кантонистов, потом служил в полку писарем и, научившись ставить знаки препинания, начал издавать, без предварительной цензуры, газету «Вестник лесов». Только никак приноровиться не мог. То чего-нибудь коснется — ан касаться нельзя; то чего-нибудь не коснется — ан касаться не только можно, но и должно. А его за это в головку тук да тук. Вот он и замыслил: «Пойду в дворню к орлу! Пускай он повелит безнаказанно славу его каждое утро возвещать!»

Дятел был скромный ученый и вел строго уединенную жизнь. Ни с кем никогда не виделся (многие даже думали, что он запо́ем, как и все серьезные ученые, пьет), но целые дни сидел на сосновом суку и все долбил. И надолбил он целую охапку исторических исследований: «Родословная лешего», «Была ли замужем Баба-Яга», «Каким по́лом надлежит ведьм в ревизские сказки заносить?» и проч. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжиц найти не мог. Поэтому и он надумал: «Пойду к орлу в дворовые историографы! авось-либо он вороньим иждивением исследования мои отпечатает!»

Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он искони так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись. Весь мир его любил, весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в древесную чащу, сладкими песнями захлебывался. Но он был сладострастен и славолюбив выше всякой меры. Мало было ему вольной песней по лесу греметь, мало огорченные сердца гармонией звуков напоять... Думалось: орел ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрасит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать...

Словом сказать, пристали все три птицы к соколу: «Доложи да доложи!»

Выслушал орел соколиный доклад о необходимости водворения наук и искусств и не сразу понял. Сидит себе да цыркает, да когтями играет, а глаза у него, словно точеные камешки, глянцем на солнце отливают. Никогда он ни одной

газеты не видывал; ни Бабой-Ягой, ни ведьмами не интересовался, а об соловье только одно слыхал: что эта птица — малая, не стóит из-за ее клюв марать.

— Ты, поди, не знаешь, что и Бонапарт-то умер? — спросил сокол.

— Какой такой Бонапарт?

— То-то вот. А знать об этом не худо. Ужо гости приедут, разговаривать будут. Скажут: «При Бонапарте это было»,— а ты будешь глазами хлопать. Не хорошо.

Призвали на совет сову,— и та подтвердила, что надо науки и искусства в дворнях заводить, потому что при них и орлам занятнее живется, да и со стороны посмотреть не зазорно. Ученье — свет, а неученье — тьма. Спать-то да жрать всякий умеет, а вот поди разреши задачу: «Летело стадо гусей» — ан дома не скажешься. Умные-то помещики, бывало, за битого двух небитых давали,— значит, пользу в том видели. Вон чижик: только и науки у него, что ведерко с водой таскать умеет, а какие деньги за этакого-то платят!

— Я в темноте видеть могу, так меня за это мудрой прозвали, а ты и на солнце по целым часам не смигнувши глядишь, а про тебя говорят: «Ловок орел, а простофиля».

— Что ж, я не прочь от наук! — цыркнул орел.

Сказано — сделано. На другой же день у орла в дворне начался «золотой век». Скворцы разучивали гимн «Науки юношей питают», коростели и гагары на трубах сыгрывались, попугаи — новые кунштюки выдумывали. С ворон определили новый налог, под названием «просветительного»; для молодых соколят и ястребят устроили кадетские корпуса; для сов, филинов и сычей — академию де сиянс, да кстати уж и воронятам купили по экземпляру азбуки-копейки. И, в заключение, самого старого скворца определили стихотворцем, под именем Василия Кирилыча Тредьяковского, и отдали ему приказ, чтоб на завтра же был готов к состязанию с соловьем.

И вот вожделенный день наступил. Поставили пред лицо орла новобранцев и велели им хвастаться.

Самый большой успех достался на долю снегиря. Вместо приветствия он прочитал фельетон, да такой легкий, что даже орлу показалось, что он понимает. Говорил снегирь, что надо жить припеваючи, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что была бы у него розничная продажа хорошая, а до прочего ни до чего ему дела нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что холопское житье лучше барского, что у барина заботушки много, а холопу за барином горюшка нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил, а теперь, как совести ни

капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает,— а орел подтвердил: «Имянно!»

Наконец снегирь надоел.

— Следующий! — цыркнул орел.

Дятел начал с того, что генеалогию орла от солнца повел, а орел с своей стороны подтвердил: «И я в этом роде от папеньки слышал». «Было у солнца,— говорил дятел,— трое детей: дочь Акула да два сына: Лев да Орел. Акула была распутная — ее за это отец в морские пучины заточил; сын Лев от отца отшатнулся — его отец владыкою над пустыней сделал; а Орёлко был сын почтительный, отец его поближе к себе пристроил — воздушные пространства ему во владенье отвел».

Но не успел дятел даже введение к своему исследованию продолбить, как уже орел в нетерпеньи кричал:

— Следующий! следующий!

Тогда запел соловей и сразу же осрамился. Пел он про радость холопа, узнавшего, что бог послал ему помещика; пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают... Однако как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с «искусством», которое в нем жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был (даже подержанным белым галстуком где-то раздобылся и головушку барашком завил), да «искусство» в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел — не понимает орел, да и шабаш!

— Что этот дуралей бормочет! — крикнул он, наконец,— позвать Тредьяковского!

А Василий Кирилыч тут как тут. Те же холопские сюжеты взял, да так их явственно изложил, что орел только и дело, что повторял: «Имянно! имянно! имянно!» И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув: «Убрать негодяя!»

На этом честолюбивые попытки соловья и покончились. Живо запрятали его в куролеску и продали в Зарядье, в трактир «Расставанье друзей», где и о сю пору он напояет сладкой отравой сердца захмелевших «метеоров».

Тем не менее дело просвещения все-таки не было покинуто. Ястребята и соколята продолжали ходить в гимназии; академия де сиянс принялась издавать словарь и одолела половину буквы А; дятел дописывал 10-й том «Истории леших». Но снегирь притаился. С первого же дня он почуял, что всей этой просветительной сутолоке последует скорый и немилостивый конец, и, по-видимому, предчувствия его имели довольно верное основание.

Дело в том, что сокол и сова, принявшие на себя руководи-

тельство в просветительном деле, допустили большую ошибку: они задумали обучить грамоте самого орла. Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но, как ни бились, он и через год, вместо «Орел», подписывался «Арер», так что ни один солидный заимодавец векселей с такою подписью не принимал. Но еще бо́льшая ошибка заключалась в том, что, подобно всем вообще педагогам, ни сова, ни сокол не давали орлу ни отдыха, ни срока. Каждоминутно следовала сова по его пятам, выкрикивая: «Бб... зз... хх...», а сокол тоже ежеминутно внушал, что без первых четырех правил арифметики награбленную добычу разделить нельзя.

— Украл ты десять гусенков, двух письмоводителю квартального подарил, одного сам съел — сколько в запасе осталось? — с укоризною спрашивал сокол.

Орел не мог разрешить и молчал, но зло против сокола накоплялось в его сердце с каждым днем больше и больше.

Произошла натянутость отношений, которою поспешила воспользоваться интрига. Во главе заговора явился коршун и увлек за собой кукушку. Последняя стала нашептывать орлице: «Изведут они кормильца нашего, заучат!», а орлица начала орла дразнить: «Ученый! ученый!», затем общими силами возбудили «дурные страсти» в ястребе.

И вот однажды на зорьке, едва орел глаза продрал, сова, по обыкновению, подкралась сзади и зажужжала ему в уши: «Вв... зз... рррр...»

— Уйди, постылая! — кротко огрызнулся орел.

— Извольте, ваше степенство, повторить: бб... кк... мм...

— Второй раз говорю: уйди!

— Пп... хх... шш...

В один миг повернулся орел к сове и разорвал ее надвое.

А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол.

— Вот тебе задача, — сказал он, — награблено нынче за ночь два пуда дичины; ежели на две равные части эту добычу разделить, одну — тебе, другую — всем прочим челядинцам, — сколько на твою долю достанется?

— Всё, — отвечал орел.

— Ты говори дело, — возразил сокол. — Ежели бы «всё», я бы и спрашивать тебя не стал!

Не впервые такие задачи сокол задавал; но на этот раз тон, принятый им, показался орлу невыносимым. Вся кровь в нем вскипела при мысли, что он говорит «всё», а холоп осмеливается возражать: «Не всё». А известно, что когда у орлов кровь закипает, то они педагогические приемы от крамолы отличать не умеют. Так он и поступил.

Но, покончивши с соколом, орел, однако, оговорился:

— А де сиянс академии оставаться по-прежнему!

Опять пропели скворцы: «Науки юношей питают», но для всех уже было ясно, что «золотой век» находится на исходе. В перспективе надвигался мрак невежества, с своими обязательными спутниками: междоусобием и всяческою смутою.

Смута началась с того, что на место умершего сокола явилось два претендента: ястреб и коршун. И так как внимание обоих соперников было устремлено исключительно в сторону личных счетов, то дела дворни отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запущение.

Через месяц от недавнего золотого века не осталось и следов. Скворцы заленились, коростели стали фальшивить, сорока-белобока воровала без про́сыпу, а на воро̀нах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции. Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порченую.

Чтоб оправдать себя в этой неурядице, ястреб и коршун временно подали друг другу руку и свалили все невзгоды на просвещение. Науки-де, бесспорно, полезны, но лишь тогда, когда они благовременны. Жили-де наши дедушки без наук, и мы без них проживем...

И в доказательство, что весь вред от наук идет, начали открывать заговоры, и непременно такие, чтобы хоть часослов да замешан в них был. Начались розыски, следствия, судбища...

— Шабаш! — вдруг раздалось в вышине.

Это крикнул орел. Просвещение прекратило течение свое. Во всей дворне воцарилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шепоты.

Первою жертвою нового веяния пал дятел. Бедная эта птица, ей-богу, не виновата была. Но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения.

— Знаки препинания ставить умеешь?

— Не только обыкновенные знаки препинания, но и чрезвычайные, как-то: кавычки, тире, скобки — всегда, по сущей совести, становлю.

— А женский пол от мужеского отличить можешь?

— Могу. Даже в ночное время не ошибусь.

Только и всего. Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. А на другой день он в том дупле, заеденный муравьями, по́мре.

Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в академии де сиянс.

Однако ж сычи и филины защищались твердо: жалко

им было с теплыми казенными квартирами расставаться. Говорили, что не того ради сиянсами занимаются, дабы их распространять, а для того, чтобы от лихого глаза их оберегать. Но коршун сразу увертки их опровергнул, спросив: «Да сиянсы-то зачем?» И они на этот вопрос не ответили (не ждали). Тогда их поштучно распродали огородникам, а последние, набив из них чучелов, поставили огороды сторожить.

В это же самое время отобрали у воронят азбуку-копейку, истолкли оную в ступе и из полученной массы наделали игральных карт.

Дальше — больше. За совами и филинами последовали скворцы, коростели, попугаи, чижи... Даже глухого тетерева заподозрили в «образе мыслей» на том основании, что он днем молчит, а ночью спит...

Дворня опустела. Остались орел с орлицею, и при них ястреб да коршун. А вдали — масса воронья, которое бессовестно плодилось. И чем больше плодилось, тем больше накоплялось на нем недоимок.

Тогда коршун с ястребом, не зная, кого изводить (воронье в счет не полагалось), стали изводить друг друга. И всё на почве наук. Ястреб донес, что коршун, по секрету, читает часослов, а коршун съябедничал, что у ястреба в дупле «Новейший песенник» спрятан.

Орел смутился...

Но тут уж сама История ускорила свое течение, чтоб положить конец этой сумятице. Произошло нечто необыкновенное. Увидев, что они остались без призора, воро́ны вдруг спохватились: «А что бишь на этот счет в азбуке-копейке сказано?» И не успели порядком припомнить, как тут же инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели.

Погнался за ними орел, да не тут-то было: сладкое помещичье житье до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить.

Тогда он повернулся к орлице и возгласил:

— Сие да послужит орлам уроком!

Но что́ означало в данном случае слово «урок»: то ли, что просвещение для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, или, наконец, и то и другое вместе — об этом он умолчал.

КАРАСЬ-ИДЕАЛИСТ

Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. Что́ именно разумел ерш

под выражением «слукавить» — неизвестно, но только всякий раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал:

— Но ведь это подлость!

На что ерш возражал:

— Вот ужо увидишь!

Карась — рыба смирная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят. Лежит он больше на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны.

Ловят карасей, по преимуществу, сетью или неводом; но, чтобы ловля была удачна, необходимо иметь сноровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождем, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо (особливо изжаренные в сметане), что предводители дворянства охотно потчуют ими даже губернаторов.

Что касается до ершей, то это рыба уже тронутая скептицизмом и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон.

Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись,— не знаю; знаю только, что однажды, сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва-белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается.

Первым всегда задирал карась.

— Не верю,— говорил он,— чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию и глубоко убежден, что сча-

стие — не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием!

— Дожидайся! — иронизировал ерш.

Ерш спорил отрывисто и неспокойно. Это — рыба нервная, которая, по-видимому, помнит немало обид. Накипело у нее на сердце... ах, накипело! До ненависти покуда еще не дошло, но веры и наивности уж и в помине нет. Вместо мирного жития она повсюду распрю видит; вместо прогресса — всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен все это в расчет принимать. Карася же считает «блаженненьким», хотя в то же время сознает, что с ним только и можно «душу отводить».

— И дождусь! — отзывался карась,— и не я один, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности; но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, ее породившие, нельзя уже считать неустранимыми. Тьма — совершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет свет, будет!

— Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не будет?

— Каких таких щук? — удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили: «На то щука в море, чтоб карась не дремал», то он думал, что это что-нибудь вроде тех никс и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся.

— Ах, фофан ты, фофан! Мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь!

Ерш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал восвояси; но, спустя малое время, собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались (в воде-то скучно) и опять начинали диспутировать.

— В жизни первенствующую роль добро играет,— разглагольствовал карась,— зло — это так, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила все-таки в добре замыкается.

— Держи карман!

— Ах, ерш, какие ты несообразные выражения употребляешь! «Держи карман»! разве это ответ?

— Да тебе, по-настоящему, и совсем отвечать не следует. Глупый ты — вот тебе и сказ весь!

— Нет, ты послушай, что́ я тебе скажу. Что зло никогда не было зиждущей силой — об этом и история свидетельствует. Зло душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, а зиждущей силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетенным, оно освобождало от цепей и оков, оно

пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход парениям ума. Не будь этого воистину зиждущего фактора жизни, не было бы и истории. Потому что ведь, в сущности, что такое история? История — это повесть освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием.

— А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены? — подтрунивал ерш.

— Не посрамлены еще, но будут посрамлены — это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю. Сравни, что некогда было, с тем, что есть,— и ты без труда согласишься, что не только внешние приемы зла смягчились, но и самая сумма его приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время «хода», когда мы, как одурелые, сами прямо в сеть лезем; а нынче именно во время «хода»-то и признается вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли — в Урале, сказывают, во время багрения, вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла, а нынче — шабаш. Неводы, да верши, да уды — больше чтобы ни-ни! Да и об этом еще в комитетах рассуждают: какие неводы? по какому случаю? на какой предмет?

— А тебе, видно, не все равно, каким способом в уху попасть?

— В какую такую уху? — удивлялся карась.

— Ах, прах тебя побери! Карасем зовется, а об ухе не слыхал! Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо, по малой мере, с обстоятельствами дела наперед познакомиться. О чем же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь, что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь... заколю!

Ерш ощетинивался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали.

— Намеднись в нашу заводь щука заглядывала,— объявлял ерш.

— Та самая, о которой ты намеднись упоминал?

— Она. Приплыла, заглянула, молвила: «Чтой-то будто уж слишком здесь тихо! должно быть, тут карасям вод?» И с этим уплыла.

— Что же мне теперича делать?

— Изготовляться — только и всего. Ужо, как приплывет она да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло!

— Зачем же я полезу? Кабы я был в чем-нибудь виноват...

— Глуп ты — вот в чем твоя вина. Да и жирен вдобавок. А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть!

— Не может такого закона быть! — искренно возмущался карась.— И щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я ее до седьмого пота прошибу.

— Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторю: фофан! фофан! фофан!

Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого общения с карасем. Но через несколько дней, смотришь, привычка опять взяла свое.

— Вот кабы все рыбы между собой согласились...— загадочно начинал карась.

Но тут уж и самого ерша брала оторопь. «О чем это фофан речь заводит?— думалось ему,— того гляди, проврется, а тут головель неподалеку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело, скосил, а сам знай прислушивается».

— А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредет! — убеждал он карася,— не для чего пасть-то разевать: можно и шепотком, что нужно, сказать.

— Не хочу я шептаться,— продолжал карась невозмутимо,— а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда...

Но тут ерш грубо прерывал своего друга.

— С тобой, видно, гороху наевшись, говорить надо! — кричал он на карася и, навостривши лыжи, уплывал от него восвояси.

И досадно ему, да и жалко карася было. Хоть и глуп он, а все-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не предаст — в ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя о ней прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки, того гляди, не понимаючи, сболтнет! А об головлях, язях, линях и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу под колоколами принять готовы! Бедный карась! ни за грош он между ними пропадет!

— Посмотри ты на себя,— говорил он карасю,— ну, какую ты, не ровён час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки негораздая, рот — чутошный. Даже чешуя на тебе — и та не серьезная. Ни проворства в тебе, ни юркости — как есть увалень! Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь!

— Да за что же меня есть, коли я не провинился? — попрежнему упорствовал карась.

— Слушай, дурья порода! Едят-то разве «за что»? Разве

потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется — только и всего. И ты, чай, ешь. Не попусту носом-то в иле роешься, а ракушек вылавливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты намеднись говорил: «Вот кабы все рыбы между собой согласились...» А что, если бы ракушки между собой согласились — сладко ли бы тебе, простофиле, тогда было?

Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел.

— Но ракушки — ведь это...— пробормотал он смущенно.

— Ракушки — ракушки, а караси — караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями — щуки. И ракушки ни в чем не повинны, и караси не виноваты, а и те, и другие должны ответ держать. Хоть сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь.

Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глубь тины и стал на досуге думать. Думал, думал и, между прочим, ракушек ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец, однако ж, додумался.

— Я не потому ем ракушек, чтоб они виноваты были — это ты правду сказал,— объяснил он ершу,— а потому я их ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.

— Кто же тебе это сказал?

— Никто не сказал, а я сам, собственным наблюдением, дошел. У ракушки не душа, а пар; ее ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтоб ее не проглотить. Потяни рылом воду, ан в зобу у тебя уж видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их — сами в рот лезут. Ну, а карась — совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают,— так с этаким стариком еще поговорить надо, прежде нежели его съесть. Надо, чтоб он серьезную пакость сделал — ну, тогда, конечно...

— Вот как щука проглотит тебя, тогда ты и узнаешь, что́ надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалчивал бы.

— Нет, я не стану молчать. Хоть я отроду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что и они к голосу правды не глухи. Помилуй, скажи: может ли такое злодейство статься! Лежит карась, никого не трогает, и вдруг, ни дай, ни вынеси за что, к щуке в брюхо попадает! Ни в жизнь я этому не поверю.

— Чудак! да ведь намеднись, на глазах у тебя, монах це-

лых два невода вашего брата из заводи вытащил... Как ты думаешь: любоваться, что ли, он на карасей-то будет?

— Не знаю. Только это еще бабушка надвое сказала, что с теми карасями сталось: и́но их съели, и́но в сажалку посадили. И живут они там припеваючи на монастырских хлебах!

— Ну, живи, коли так, и ты, сорвиголова!

Проходили дни за днями, а диспутам карася с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зеленою плесенью подернутое, самое для диспутов благоприятное. О чем ни калякай, какими мечтами ни задавайся — безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом все больше и больше тон своих экскурсий в область эмпиреев повышал.

— Надобно, чтоб рыбы любили друг друга! — ораторствовал он,— чтобы каждая за всех, а все за каждую — вот когда настоящая гармония осуществится!

— Желал бы я знать, как ты с своею любовью к щуке подъедешь! — расхолаживал его ерш.

— Я, брат, подъеду! — стоял на своем карась,— я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!

— А ну-тка, скажи!

— Да просто спрошу: знаешь ли, мол, щука, что́ такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?

— Огорошил, нечего сказать! А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иглой живот проколю?

— Ах, нет! сделай милость, ты этим не шути!

Или:

— Только тогда мы, рыбы, свои права созна́ем, когда нас, с малых лет, в гражданских чувствах воспитывать будут!

— А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились?

— Все-таки...

— То-то «все-таки». Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними, в тине лежа, делать будешь?

— Не в тине, а вообще...

— Например?

— Например, монах меня в ухе захочет сварить, а я ему скажу: «Не имеешь, отче, права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать!»

— А он тебя, за грубость, на сковороду, либо в золу в горячую... Нет, друг, в тине жить, так не гражданские, а остолопьи чувства надо иметь — вот это верно. Схоронился где погуще и молчи, остолоп!

Или еще:

— Рыбы не должны рыбами питаться,— бредил наяву карась.— Для рыбьего продовольствия и без того природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи; наконец, раки, змеи, лягушки. И всё это добро, всё на потребу.

— А для щук на потребу караси,— отрезвлял его ерш.

— Нет, карась сам себе довлеет. Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особливый закон, в видах обеспечения его личности, издать!

— А ежели тот закон исполняться не будет?

— Тогда надо внушение распубликовать: лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели оные не исполнять.

— И ладно будет?

— Полагаю, что многие устыдятся.

Повторяю: дни проходили за днями, а карась все бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, а ему — ничего. И растабарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку поостерегся. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчета вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему головель с повесткой: назавтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть, так ты, карась, смотри! чуть свет ответ держать явись!

Карась, однако ж, не обробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал; а во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит. И очень на это слово надеялся.

Даже ерш, видя такую его веру, задумался, не слишком ли он уж далеко зашел в отрицательном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждет, чтобы ее полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце ее просветили? Может быть, она... добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по наружности кажется, а, напротив того, с расчетцем свою карьеру облаживает? Вот завтра явится он к щуке да прямо и ляпнет ей самую сущую правду, какой она отроду ни от кого не слыхивала. А щука возьмет да и скажет: «За то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя этою заводью; будь ты над нею начальник!»

Приплыла наутро щука, как пить дала. Смотрит на нее карась и дивится: каких ему про щуку сплёток ни наплели, а она — рыба как рыба! Только рот до ушей да хайло такое, что как раз ему, карасю, пролезть.

— Слышала я,— молвила щука,— что очень ты, карась, умен и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай.

— Об счастии я больше думаю,— скромно, но с достоинством ответил карась.— Чтобы не я один, а все были бы счастливы. Чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать было, а ежели которая в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит.

— Гм... и ты думаешь, что такому делу статься возможно?

— Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю.

— Например: плыву я, а рядом со мною... карась?

— Так что́ же такое?

— В первый раз слышу. А ежели я обернусь да карася-то... съем?

— Такого закона, ваше высокостепенство, нет; закон говорит прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами к пище сопричислены: водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели. Но не рыбы.

— Маловато для меня. Головель! неужто такой закон есть? — обратилась щука к головлю.

— В забвении, ваше высокостепенство! — ловко вывернулся головель.

— Я так и знала, что не можно такому закону быть. Ну, а еще ты чего всечасно, карась, ожидаешь?

— А еще ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые — бедных. Что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловче — ты и дело на себя посильнее возьмешь; а мне, карасю, по моим скромным способностям, и дело скромное укажут. Всякий для всех, и все для всякого — вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет. Невод-то еще где покажется, а уж мы драло! Кто под камень, кто на самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй что, видно, бросить придется!

— Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, да это еще когда-то будет. А вот что: так значит, по-твоему, и я работать буду должна?

— Как прочие, так и ты.

— В первый раз слышу. Поди, проспись!

Проспался ли, нет ли карась, но ума у него, во всяком случае, не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут, и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее.

— Так ты полагаешь, что я работать стану, и ты от моих трудов лакомиться будешь? — прямо поставила вопрос щука.

— Все друг от дружки... от общих, взаимных трудов...

— Понимаю: «друг от дружки»... а между прочим, и от меня... гм! Думается, однако ж, что ты это зазорные речи говоришь. Головель! как, по-нынешнему, такие речи называются?

— Сицилизмом, ваше высокостепенство!

— Так я и знала. Давненько я уж слышу: «Бунтовские, мол, речи карась говорит!» Только думаю: «Дай лучше сама послушаю...» Ан вон ты каков!

Молвивши это, щука так выразительно щелкнула по воде хвостом, что как ни прост был карась, но и он догадался.

— Я, ваше высокостепенство, ничего,— пробормотал он в смущении,— это я по простоте...

— Ладно. Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. Наговорили мне о тебе с три короба, а ты — карась как карась,— только и всего. И пяти минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел.

Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она еще после вчерашнего обжорства сыта была, и потому зевнула и сейчас же захрапела.

Но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили головли и взяли под караул.

Вечером, еще не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и притом с некоторыми повреждениями. А именно: окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста.

Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово.

— Хоть ты мне и супротивник,— начала опять первая щука,— да, видно, горе мое такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай!

При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул:

— Знаешь ли ты, что́ такое добродетель?

Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.

Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновенье остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке — узнать, благополучно ли она поужинать изволила,

не подавилась ли. А ерш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил:

— Вот они, диспуты-то наши, каковы!

ИГРУШЕЧНОГО ДЕЛА ЛЮДИШКИ

В 184* году я жил в одной из северных губерний России. Жил, то есть состоял на службе, как это само собой разумелось в то время. И при этом всякие дела делал: возлежал на лоне у начальника края, танцевал котильон с губернаторшей, разговаривал с жандармским штаб-офицером о величии России и, совместно с управляющим палатой государственных имуществ, плакал горючими слезами, когда последний удостоверял, что будущее принадлежит окружным начальникам. И, что всего важнее, ужасно сердился, когда при мне называли окружных начальников эмиссарами Пугачева. Одним словом, проводил время не весьма полезно.

В то время, вблизи губернского города, процветал (а быть может, и теперь процветает) уездный городок Любезнов, куда я частенько-таки езжал, во-первых, потому что праздного времени было пропасть, а во-вторых, потому, что там служил, в качестве городничего, мой приятель, штабс-капитан Вальяжный, а у него жила экономка Аннушка. Эта Аннушка была премилая особа, и, признаюсь, когда мне случалось пить у Вальяжного чай или кофе, то очень приятно было думать, что предлагаемый напиток разливала девица благоутробная, а не какая-нибудь пряничная форма. Но, впрочем, только и всего. Хотя же и был на меня донос, будто б я езжу в Любезнов «для лакомства», но, ввиду моей беспорочной службы, это представляло так мало вероятия, что сам его превосходительство собственноручно па доносе написал: «Не верю; пусть ездит».

Подобно тому, как у любого отца семейства всегда бывает особенно надежное чадо, о котором родители говорят: «Этот не выдаст!» — подобно сему и у каждого губернатора бывает свой излюбленный город, который его превосходительство называет своею «гвардией» и относительно которого сердце его не знает никаких тревог. Об таких городах ни в губернаторской канцелярии, ни в губернском правлении иногда по целым месяцам слыхом не слыхать. Исправники в них — непьющие; городничие — такие, что две рюмки вставши, да три перед обедом, да три перед ужином — и сами говорят: «Баста!», городские головы — такие, что только о том и думают, как бы новую пожарную трубу приобрести или общественный банк

устроить, а обыватели — трудолюбивые, к начальству ласковые и к уплате податей склонные.

К числу таких веселящих начальственные сердца муниципий принадлежал и Любезнов. Я помню, губернатор даже руки потирал, когда заводили речь об этом городе. «За Любезнов я спокоен! Любезновцы меня не выдадут!» — восклицал его превосходительство, и все губернское правление, в полном составе, вторило: «Да, за Любезнов мы спокойны! Любезновцы нас не выдадут!» Зато, бывало, как только придет из Петербурга циркуляр о принятии пожертвований на памятник Феофану Прокоповичу или на стипендию имени генерал-майора Мардария Отчаянного, так тотчас же первая мысль: поскорее дать знать любезновцам! И точно: не успеет начальство и оглянуться, как исправник Миловзоров уже шлет 50 коп., а городничий Вальяжный — целых 75 коп. Тогда как из Полоумного городничий с тоской доносит, что, по усиленному его приглашению, пожертвований на означенный предмет поступила всего 1 копейка... Да еще испрашивает в разрешение предписания, как с одной копейкой поступить, потому-де, что почтовая контора принимает к пересылке деньги лишь в круглых суммах!

Любезнов был городок небольшой, но настолько опрятный, что только разве в самую глухую осень, да и то не на всех его улицах, можно было увязнуть. В нем был общественный банк, исправная пожарная команда, бульвар на берегу реки Любезновки, небольшой каменный гостиный двор, собор, две мощеные улицы — одним словом, все, что может веселить самое прихотливое начальническое сердце. Но главным украшением города был городской голова. Этот замечательно деятельный человек целых пять трехлетий не сходил с головства и в течение этого времени неуклонно задавал пиры губернским властям, а местным — кидал подачки. С помощью этой внутренней политики он и сам твердо держался на месте, и в то же время содержал любезновское общество в дисциплине, подходящей к ежовым рукавицам. И вот, быть может, благодаря этим последним, в Любезнове процвели разнообразнейшие мастерства, которые сделали имя этого города известным не только в губернии, но и за пределами ее.

Этот блестящий результат был, однако ж, достигнут не без труда. Есть предание, что Любезнов некогда назывался Буяновым и что кличка эта была ему дана именно за крайнюю необузданность его обывателей. Было будто бы такое время, когда любезновцы проводили время в гульбе и праздности и все деньги, какие попадали им в руки, «крамольным обычаем» пропивали и проедали; когда они не токмо не оказывали начальству должных знаков почитания, но одного из своих гра-

доначальников продали в рабство в соседний город (см. «Северные народоправства», соч. Н. И. Костомарова). Даже и доднесь наиболее распространенные в городе фамильные прозвища свидетельствуют о крамольническом их происхождении. Таковы, например, Изуверовы, Идоловы, Строптивцевы, Вольницыны, Непроймёновы и т. д. Так что несколько странно видеть какого-нибудь Идолова, которого предок когда-то градоначальника в рабство продал, а ныне потомок постепенными мерами до того доведен, что готов, для увеселения начальства, сам себя в рабство задаром отдать.

К счастию для Буянова, случилось сряду четыре удачных и продолжительных головства, которые и положили конец этой неурядице. Первый из этих удачных градских голов дал городу раны, второй — скорпионы, третий — согнул в бараний рог, а четвертый познакомил с ежовыми рукавицами. И, независимо от этого, все четверо прибегали и к мерам кротости, неослабно внушая приведенным в изумление гражданам, что человек рожден для трех целей: во-первых, дабы пребывать в непрерывном труде; во-вторых, дабы снимать перед начальством шапку, и в-третьих,— лить слезы. Повторяю: результат оказался блестящий. Изуверовы, вместо того, чтобы заниматься «противодействиями», занялись изобретением perpetuum mobile [1], и в ожидании, покуда это дело выгорит, работали самокаты и делали какие-то особенные игрушки, которые «чуть не говорят»; Идоловы, прекратив «филантропии», избрали специальностью сборку деревянных часов, которые в сутки показывали двое суток, но и за всем тем, как образчик русской смекалки, могли служить поводом для размышлений о величии России; Строптивцевы, бросив «революции», изобрели такие шкатулки, до которых нельзя было дотронуться, чтобы по всему дому не пошел гвалт и звон; а один из Непроймёновых, занявшийся торговлей муравьиными яйцами (для кормления соловьев), до того осмелился, что написал даже диссертацию «О сравнительной плотности муравьиных яиц» и, отослав оную в надлежащее ученое общество (вместе с удостоверением, что недоимок за ним не состоит), получил за сие диплом на звание члена-соревнователя.

И вот, когда город совсем очистился от крамолы и все старые недоимки уплатил, когда самый последний из мещан настолько углубился в свою специальность, что буйствовать стало уж некогда, а впору было платить дани и шапки снимать,— случилось нечто торжественное и чудное. Обыватели, созванные на вече (это было последнее вече, после которого вечевой

[1] вечного двигателя.

колокол был потоплен в реке) городским головой Вольницыным, принесли публичное покаяние, а затем, в порыве чувств, единогласно постановили: просить вышнее начальство, дабы имя Буянова из географии Арсеньева исключить, а город ихний возродить к новой жизни под именем Любезнова...

Нужно ли прибавлять, что ходатайство сие было уважено?

Повторяю: в 184 * году Любезнов ни о каких «народоправствах» уже не думал, а просто принадлежал к числу городов, осужденных радовать губернаторские сердца. А так как времена были тогда патриархальные, то члены губернского синклита частенько-таки туда езжали, во-первых, чтобы порадоваться на трудолюбивых и ласковых мещан, а во-вторых, чтобы попить и поесть у гостеприимного головы. Следуя общему настроению умов, ездил туда и я.

Однажды приезжаю прямо к другу моему, Вальяжному, и уже на лестнице слышу, что в городнической квартире происходит что-то не совсем обычное. Отворяю дверь и вижу картину. Городничий стоит посреди передней, издавая звуки и простирая длани (с рукоприкладством или без оного — заверить не могу), а против него стоит, прижавшись в угол, довольно пожилой мужчина, в синем кафтане тонкого сукна, с виду степенный, но бледный и как бы измученный с лица. Очевидно, это был один из любезновских граждан, который до того уж проштрафился, что даже голова нашел находящиеся в его руках меры кротости недостаточными и препроводил виновного на воздействие предержащей власти.

— Степан Степаныч! голубчик! — воскликнул я, приветствуя дорогого хозяина,— а мы-то в губернии думаем, что в Любезнове даже самое слово «расправа» упразднено!

— Да... вот...— сконфузился было Вальяжный, но тотчас же поправился и, обращаясь к стоявшим тут «десятникам», присовокупил:— Эй! бегите в лавку за Твердолобовым, да судья чтобы... В бостончик? — обратился он ко мне.

— С удовольствием.

— Отлично. Милости просим! А я — вот только кончу!

И покуда я разоблачался (дело было зимой), он продолжал суд.

— Говори! почему ты не хочешь с женой «жить»?

Вальяжный остановился на минуту и укоризненно покачал головой. Подсудимый молчал.

— И баба-то какая... Давеча пришла... печь печью! Да с этакой бабой... конца-краю этакой бабе нет! А ты!! Ах ты, ах!

Но подсудимый продолжал молчать.

— Да ты знаешь ли, что даже в книгах сказано: «Муж,

иже жены своея...» — хотел было поучить от Писания Вальяжный, но запнулся и опять произнес: — Ах-ах-ах!

Мещанин продолжал переминаться с ноги на ногу, но на лице его постепенно выступало какое-то бесконечно-тоскливое выражение.

— Говори! что ж ты не говоришь?

— Что же я, вашескородие, скажу?

— Будешь ли «жить» с женой как следует... как закон велит? Говори!

Подсудимый несколько секунд помолчал и наконец вдруг заметался.

— Вашескородие! Мне не токма что говорить, а даже думать... увольте меня, вашескородие!

— А коли так — марш в холодную! И завтра чтобы без разговоров! А будешь разговаривать — так вспрысну, что до новых веников не забудешь! Марш!

И, помахав (чтоб крепче было) у подсудимого под носом указательным перстом, Вальяжный приказал его увести и затем, обратившись ко мне, протянул обе руки и воскликнул:

— Ну, вот вы и к нам! очень рад! очень рад! Аннушка! чаю!

До бостона я с полчаса спорил с Вальяжным. Он говорил, что «есть в законах»; я говорил, что «нет в законах». Послали за письмоводителем — тот ответил надвое: «Сам не видал, а, должно быть, где-нибудь да есть». Аннушка, вслушавшаяся в наш разговор, тоже склонялась в пользу того мнения, что где-нибудь да должно быть: «Потому, ежели они теперича в браке, то какие же это будут порядки, если жена свово положения от мужа получать не будет». Даже подоспевший к бостону судья — и тот сказал, что нужно где-нибудь в примечаниях поискать, потому что иногда где не чаешь, там-то именно и обретешь сокровище. Кончилось тем, что Вальяжный приказал письмоводителю к завтраму отыскать закон и в заключение прибавил:

— А ночь он пускай в холодной посидит! Там чтó еще окажется, а ему — наука!

В течение вечера дело хотя и недостаточно, но все-таки слегка для меня объяснилось. Обвиняемый был любезновский мещанин, Никанор Сергеев Изуверов, имевший в городе лучшую игрушечную мастерскую. Человек трезвый, трудолюбивый и послушливый, он представлял собой идеал обывателя, каким ему перед богом и Страшным его судом предстать надлежит. Слава об его мастерстве доходила некоторым образом даже до столиц, потому что всякий заезжий по делам службы

столичный чиновник или офицер считал своею обязанностью поощрить «самородка» и приобрести у него несколько особенно хитрых игрушечных механизмов. Говорили, что он не игрушки делает, а «настоящих деревянных человечков». И еще говорили, что если бы всех самородков, в недрах земли русской скрывающихся, откопать, то вышла бы такая каша, которой врагам России и вовек бы не расхлебать.

Изуверов до сорока лет прожил одиноко с старухой матерью. Всецело углубившись в свою специальность, он, по-видимому, даже не ощущал потребности в обществе жены; но лет пять тому назад старуха мать умерла, и Изуверова попутал бес. Некому было шти сготовить, некому — заплату на штаны положить. Он затосковал и начал было даже попивать. В это время под руку подвернулась двадцатипятилетняя девица Матрена Идолова, рослая, рыхлая, как будто нарочно созданная, чтобы горшки из печи ухватом таскать. Изуверов решился. Он даже радовался, что у него будет жена сильная, печь печью; думал, что при сильной бабе в доме больше порядку будет. Но, увы! Матрена с первых же шагов заявила наклонность не столько к тасканию горшков из печи, сколько к тому, чтобы муж вел себя относительно ее как дамский кавалер. И так как Никанор Сергеев, по-видимому, к роли дамского угодника чувствовал призвание очень слабое, то немедленно же обнаружилась полнейшая семейная неурядица, а под конец дело дошло и до разбирательства полиции.

Разумеется, на другой день письмоводитель доложил, что «в законах нет». Но, кроме того, оказалось и еще кое-что, а именно, что даже «вспрыснуть» Изуверова нельзя, так как закон на этот раз гласил прямо, что мещане, яко образованные, от телесных воздействий освобождаются. Поэтому Изуверова тогда же выпустили, а жене его Вальяжный объявил кратко: «Закона нет».

Результат этого я отчасти приписываю себе. Конечно, я был тут орудием случайным и даже страдательным, но все-таки, в качестве чиновника из губернии, в известной мере олицетворял авторитет. Я убежден, что, не наткнись я на сцену и не возбуди вопроса о том, есть ли в законе, или нет, никто (и всех меньше сам Изуверов) и не подумал бы об этом. Никанор Сергеев не только высидел бы в холодной свое «положóнное», но, наверное, был бы и «вспрыснут». Много-много, если бы Вальяжный перед «вспрыснутием» сказал бы: «А ну, образованный, ложись!» Это был бы единственный компромисс, который он допустил бы в свидетельство, что в городническом правлении, действительно, имеется шкап, в котором, в качестве узника, заключен закон.

К стыду моему, я должен сознаться, что, очень часто слыша о необыкновенных способностях Изуверова, я до сих пор еще ни разу не полюбопытствовал познакомиться с произведениями его мастерства. Поэтому теперь, когда, помимо его репутации, меня заинтересовала самая личность «самородка-механика», я счел уже своею обязанностью посетить его и его заведение.

Домик, в котором жил Изуверов, стоял в одной из пригородных слобод и почти ничем не отличался от соседних домов. Такой же чистенький, словно подскобленный, так же о трех окнах и с таким же маломерным двором. Вообще мастерские и ремесленные слободы Любезнова были распланированы и обстроены с изумительным однообразием, так что сами граждане в шутку говаривали: «Точно у нас каторга!» В домиках с утра до ночи шла неусыпающая деятельность; все работали: и взрослые, и подростки, и малолетки, и мужеск, и женск пол; зато улицы стояли пустынные и безмолвные.

Я застал хозяина в мастерской одного. Изуверов принял меня с каким-то робким радушием и показался мне чрезвычайно симпатичным. Лицо его, изжелта-бледное и слегка изнуренное, было очень привлекательно, а в особенности приятно смотрели большие серые глаза, в которых, от времени до времени, проблескивало глубоко тоскливое чувство. Тело у него было совсем тщедушное, так что сразу было видно, что ему на роду написано: не быть исправным кавалером. Плечи узкие, грудь впалая, руки худые, безволосые, явно непривычные к тяжелой работе. Когда я вошел, он стоял в одной рубахе за верстаком и суетливо заторопился надеть армяк, который висел возле на гвоздике. На верстаке лежала кукла, сделанная вчерне. Плешивая голова без глаз; вместо груди и живота — две пустые коробки, предназначенные для помещения механизма; деревянные остовы рук и ног с обнаженными шалнерами.

Я, конечно, видал в своей жизни великое множество разоренных кукол, но как-то они никогда не производили на меня впечатления. Но тут, в этой насыщенной «игрушечным делом» атмосфере, меня вдруг охватило какое-то щемящее чувство, не то чтобы грусть, а как бы оторопь. Точно я вошел в какое-то совсем оголтелое царство, где все в какой-то отупелой безнадежности застыло и онемело. Это последнее обстоятельство было в особенности тяжко, потому что немота именно заключает в себе что-то безнадежное. Так что мне ужасно жалким показался этот человек, который осужден проводить жизнь в этом застывшем царстве, смотреть в просверленные глаза, начинять всякой чепухой пустые груди и направлять всю силу своей изобретательности на то, чтобы руки, приводимые в движение замаскированным механизмом, не стучали «по-деревян-

ному», а плавно и мягко, как у ханжей и клеветников, ложились на перси, слегка подправленные тряпкой и ватой и, «для натуральности», обтянутые лайкой.

— Как живете? — приветствовал я хозяина.

— Тихо-с. Смирно у нас здесь-с. Прохор Петрович (голова) такую в нашем городе тишину завел, что, кажется, кабы не стучал станок — подумал бы, что и сам-то умер.

— Скучно?

— Не скучно-с, а как будто совсем нет ничего: ни скуки, ни веселости — одна тишина-с. Все мы здесь на равных правах состоим, точно веревка скрозь продернута. Один утром проснулся, за веревку потянул — и все проснулись; один за станок стал — и все стали. Порядок-с.

— Что ж, это хорошо. Порядок и притом тишина — это прежде всего. Оттого и начальники, глядя на вас, радуются; оттого и недоимок на вас нет. А при сем весьма возможно, что и порочные наклонности ваши, не встречая питания...

К счастию, я поперхнулся на этом слове, и когда откашлялся, то потерял нить, и, таким образом, учительное настроение как-то само собой оставило меня.

— Вы, сказывали мне, игрушечным мастерством занимаетесь? И притом какие-то особенные, отличнейшие куклы работаете?

— Хвалить себя не смею, а, конечно, стараюсь доходить. Весь век промежду кукол живешь, все молчишь, все думаешь... Думаешь да думаешь — и вдруг, это, кукла перед тобой как живая стоит! Ну, натурально, потрафить хочется... А в этом разе, уж само собой, одной тряпкой да лайкой мудрено обойтись.

— Значит, вы отчасти и в скульптуру вдаетесь?

— Не знаю, сударь, как на это вам доложить. По-моему, я куклу работаю,— только, разумеется, потрафить стараюсь. Скажем теперича хоть так: желаю я куклу-подьячего сделать — как с этим быть? Разумеется, можно и так: взял чурбашок, наметил на нем глаза, нос, губы, напялил камзолишко да штанишки — и снес на базар продавать по гривеннику за штуку. А можно и иначе. Можно так сделать, что этот самый подьячий разговаривать будет, мимику руками разводить.

— Вот как!

— Да и это, позвольте вам доложить, еще не самый конец. И подьячие тоже разные бывают. Один подьячий — мздоимец; другой — мзды не емлет, но лакомству предан; третий — руками вперед без резону тычет; четвертый — только о том думает, как бы ему мужичка облагодетельствовать. Вот изво-

лите видеть: только четыре сорта назвал, а уж и тут четыре особенные куклы понадобились.

— Так что если бы всех сортов подьячих в кукольном виде представить, так они, пожалуй, всю мастерскую бы вашу заполонили?

— Мудреного нет-с. Или, например, женский род — сколько тут для кукольного дела материалу сыщется! Одних «щеголих» десятками не сосчитаешь, а сколько бесстыжих, закоснелых, оглашенных, сколько таких, которые всю жизнь зря мотаются и ни к какому безделью пристроить себя не могут! Да вон она-с! извольте присмотреть! — вскрикнул он, указывая в окошко,— это соседка наша, госпожа Строптивцева, по улице мостовой идет! Муж у ней часовым мастерством занимается, так она за него, вишь, устала, погулять вышла! Извольте взглянуть — чем не кукла-с?

Действительно, по другой стороне улицы проходила молодая женщина, несколько странного, как бы забвенного, вида. Идет, руками машет, головой болтает, ногами переплетает. Не то чего-то ищет, не то припоминает: «Чего, бишь, я ищу?»

— Вот этакую-то куклу, да ежели ейный секрет как следует уследить — стоит ли за ней посидеть, спрошу вас, или нет? А многие ли, позвольте спросить, из нашего брата, игрушечников, понимают это? Бо́льшая часть так думает: насовал тряпки, лайкой обтянул да платьем прикрыл — и готов женский пол! Да вот, позвольте-с! у меня и образчик отличнейший в этом роде найдется — не угодно ли полюбопытствовать?

Он подошел к стеклянному шкапу и вынул оттуда довольно большую и ценную куклу. Кукла представляла собой богато убранную «новобрачную», в кринолине, в белом атласном платье, украшенном серебряным шитьем и кружевными тряпочками. Личико у нее было восковое, с нежным румянчиком на щеках; глазки — фарфоровые; волосы на голове — желтенькие. С головы до полу спускался длинный тюлевый вуаль.

— Полковник здесь у набора был,— объяснил Изуверов,— так он заведение мое осматривал, а впоследствии мне эту куклу из Петербурга в презент прислал. Как, сударь, по-вашему, дорого эта кукла стоит?

— Да рублей двадцать, двадцать пять.

— Вот видите-с. Мне этакой суммы и не выговорить, а по-моему, вся ей цена, этой кукле,— грош!

— Что́ так?

— Пустая кукла — вот отчего-с. Что она есть, что нет ее — не жалко. Сейчас ты у ней голову разбил — и без головы хороша; платье изорвал — другое сшить можно. Ишь у ней глазки-то зря болтаются; ни́ она сыскоса взглянуть ими,

ни́ кверху их завести — ничего не может. Пустая кукла — только и всего!

В самом деле, рассмотревши внимательно щегольскую петербургскую куклу, я и сам убедился, что это пустая кукла. Дадут ее ребенку в руки, сейчас же он у нее голову скусит — и поделом. Однако ж я все-таки попытался хоть немного смягчить приговор Изуверова.

— Послушайте! да ведь это «новобрачная»! — сказал я,— чего ж вы хотите от нее?

— Ежели, вашескородие, насчет ума это изволите объяснять, так позвольте вам доложить: хоть и трудно от «новобрачной» настоящего ума ожидать, однако, ежели нет у ней ума, так хоть простота должна быть! А у этой куклы даже и простоты настоящей нет. Почему она «новобрачная»? на какой предмет и в каком градусе состоит? — Какие ответы она на эти вопросы может дать? Что уваль-то у ней на голове, в знак непорочности, положен? так ведь его можно и снять-с! Что́ тогда она будет? «новобрачная» или просто пологрудая баба, которая наготою своею глаза прохожим людям застелить хочет?

— Да разве можно от нее ответов требовать, коль скоро она «новобрачная»? ведь она и сама, вероятно, о себе ничего сказать не сумеет.

— Бывает с ними, конечно, и это-с. Бывают промежду ихней сестры такие, что об чем ты с ней ни заговори, она все только целоваться лезет... Так ведь нужно, чтобы и это было сразу понятно. Чтобы всякий, как только взглянул на нее, так и сказал: «Вот так баба... ах-ах-ах!» А то — на-тко! Нацепил уваль — и думает, что дело сделал! Этакие-то куклы у нас на базаре по гривеннику штука продают. Вон их, чурбашко́в, сколько в углу навалено!

— Так вы, значит, и простую куклу работаете?

— Без простой куклы нам пропитаться бы нечем. А настоящую куклу я работаю, когда досуг есть.

— И это интересует вас?

— Известно, кабы не было занятно, так лучше бы чурбашки работать: по крайности, полтинников больше в кармане водилось бы. А от этих от «человечков» и пользы для дому не видишь, да не ровен час и от тоски, пожалуй, пропадешь с ними.

— Тоска-то с чего же?

— С того самого и тоска, что тебе вот «дойти» хочется, а дело показывает, что руки у тебя коротки. Хочется тебе, например, чтоб «подьячий»... ну, рассердился бы, что ли... а он, заместо того, только «гневается»! Хочется, чтоб он сегодня — одно, а завтра — другое; а он с утра до вечера все одну и ту же

канитель твердит! Хочется, чтоб у «человечков» твоих поступки были, а они только руками машут!

— Еще бы вы чего захотели: чтоб у кукол поступки были!

— Знаю, сударь, что умного в этом хотенье мало, да ведь хотеть никому не заказано — вот горе-то наше какое! Думаешь: «Сейчас взмахну и полечу!» — а «человечек»-то вцепился в тебя, да и не пускает. Как встал он на свою линию, так и не сходит с нее. Я даже такую механику придумал, что людишки мои из лица краснеют — ан и из этого проку не вышло. Пустишь это в лицо ему карминцу, думаешь: «Вот сейчас он рассердится!» — а он «гневается», да и шабаш! А нынче и еще фортель приспособил: сердца им в нутро вкладывать начал, да уж наперед знаю, что и из этого только проформа выйдет одна.

И он показал мне целую связку крошечных кукольных сердец, из которых на каждом мелкими-мелкими буквами было вырезано: «Цена сему серцу Адна копек.».

— Так вот как поживешь, этта, с ними: ума у них — нет, поступков — нет, желаний — нет, а на место всего — одна видимость, ну, и возьмет тебя страх. Того гляди, зарежут. Сидишь посреди этой немоты и думаешь: «Господи! да куда же настоящие-то люди попрятались?»

— Ах, голубчик, да ведь и в заправской-то жизни разве много таких найдется, которых можно «настоящими» людьми назвать?

— Вот, сударь, вот. Это одно и смиряет. Взглянешь кругом: все-то куклы! везде-то куклы! не есть конца этим куклам! Мучат! тиранят! в отчаянность, в преступление вводят! Верите ли, иногда думается: «Господи! кабы не куклы, ведь десятой бы доли злых дел не было против того, что теперь есть!»

— Гм... отчасти это, пожалуй, и так.

— Вполне верно-с. Потому настоящий человек — он вперед глядит. Он и боль всякую знает, и огорчение понять может, и страх имеет. Осмотрительность в нем есть. А у куклы — ни страху, ни боли — ничего. Живет как забвенная, ни́ у ней горя, ни́ радости настоящей, живет да душу изнимает — и шабаш! Вот хоть бы эта самая госпожа Строптивцева, которую сейчас изволили видеть,— хоть распотроши ее, ничего в ней, окромя тряпки и прочего кукольного естества, найти нельзя. А сколько она, с помощью этой тряпки, злодеяниев наделает, так, кажется, всю жизнь ее судить, так и еще на целую такую же жизнь останется. Так вот как рассудишь это порядком — и смиришься-с. Лучше, мол, я к своим деревянным людишкам уйду, не чем с живыми куклами пропадать буду!

— С деревянными-то людишками, стало быть, поваднее?

— Как же возможно-с! С деревянным «человечком» я

какой хочу, такой разговор и поведу. А коли надоел, его и угомонить можно: ступай в коробку, лежи! А живую куклу ка́к ты угомонишь? она сама тебя изведет, сама твою душу вынет, всю жизнь тебе в сухоту обратит!

Изуверов высказал это страстно, почти с ненавистью. Видно было, что он знал «живую куклу», что она, пожалуй, и теперь, в эту самую минуту, невидимо изводила его, вынимала из него душу и скулила над самым его ухом.

— У нас, сударь, в здешнем земском суде хороший человек служит,— продолжал он,— так он, как ему чуточку в голову вступит, сейчас ко мне идет. «Изуверов, говорит, исправник одолел! празднословит с утра до вечера — смерть! Сделай ты мне такую куклу, чтоб я мог с нею, заместо исправника, разговаривать!»

— А любопытно было бы исправника вашей работы видеть — есть у вас?

— Материалу покуда у нас, вашескородие, еще не припасено, чтобы господ исправников в кукольном виде изображать. А впрочем, и то сказать: невелику бы забаву и господин секретарь получил, если б я его каприз выполнил. Сегодня он позабавился, сердце себе утолил, а завтра ему и опять к той же живой кукле на расправу идти. Тяжело, сударь, очень даже тяжело промежду кукол на свете жить!

Он помолчал с минуту, вздохнул и прибавил:

— Отец дьякон соборный не однажды говаривал мне: «Прямой ты, Изуверов, дурак! И от живых людишек на свете житья нет, а он еще деревянных плодит!»

Изуверов опять умолк, и на этот раз, по-видимому, даже усомнился, правильно ли он поступил, сообщив разговору философическое направление. Он застенчиво ходил около верстака и полою армяка сметал с него опилки и стружки.

— А не покажете ли вы мне своих «людишек»? — попросил я.

— Помилуйте! отчего же-с! — ответил он,— даже за честь почту-с! Да вот, позвольте, для начала, хоть господ «подьячих» вам отрекомендовать.

— А ну-тка, господин коллежский асессор, вылезай! — воскликнул Изуверов, вынимая из картонки куклу и становя ее на верстак.

Передо мною стоял «человечек» величиною около пяти вершков; лицо и части тела его были удовлетворительно соразмерены; голова, руки и ноги свободно двигались. Тип подьячего был схвачен положительно хорошо. Волоса на голове — чер-

ные, тщательно прилизанные, с завиточками на висках и с коком над лбом; лицо, вздернутое кверху, самодовольное, с узким лбом и выдающимися скулами; глаза маленькие, подвижные и блудливые, с сильным бликом; щеки одутловатые, отливающие желтизною и в выдающихся местах как бы натертые кирпичиком (вместо румянца); губы пухлые, красные, масленые, точно сейчас после принятия жирной пищи; подбородок бритый и порезанный; кой-где по лицу рассеяны прыщи. Одет в вицмундир серого казинета, с красным казинетовым же воротником, и притом несколько странного покроя: с узенькими-узенькими фалдочками, падающими почти до земли; при вицмундире серенькие штанишки, коротенькие и отрепанные; карманы везде глубокие, способные вместить содержание сумы нищего, возвращающегося домой после удачного сбора «кусков». В петлице висит серебряной фольги медаль с надписью: «За спасение погибающих». Бедра крутые, женского типа; брюшко круглое, как комочек, и весело колеблющееся, как будто в нем еще продолжают трепыхаться только что заглотанные живьем куры и другая живность. Одну руку он утвердил фертом на бедре, другую — засунул в карман брюк, как бы нечтс в оный поспешно опуская; ноги сложил ножницами. Вообще всей своей фигурой он напоминал ножницы, опрокинутые острым концом вниз. И хотя я не мог доподлинно вспомнить, где именно я эту личность видел, но несомненно, что где-то она мне встречалась, и даже нередко.

— «Мздоимец»? — спросил я.

— Он самый-с; как на ваш взгляд-с?

— Недурен.Только, признаюсь, я не совсем понимаю, зачем вы его в серый вицмундир одели, да еще с красным воротником? Ведь такой формы, сколько мне известно, не существует.

— Для цензуры-с. Ежели бы я в настоящий вицмундир его нарядил — куда бы я с ним сунулся-с? А теперь с меня взятки гладки-с. Там, как хочешь разумей, а у меня один ответ: партикулярный, мол, человек,— только и всего.

— Ну а зачем вы его коллежским асессором прозвали?

— Тоже для цензуры-с. Приезжал ко мне, позвольте вам доложить, в мастерскую человек один — он в Петербурге чиновником служит,— так он мне сказывал, что там свыше коллежского асессора представлять в кукольном виде не дозволяется, а до коллежского асессора будто бы можно. Вот я с тех пор и поставил себе за правило эту самую норму брать.

— Правильно. Ну, так покажите мне теперь вашего коллежского асессора, как он действует.

— Сейчас, вашескородие. Мы ему сперва-наперво экзамент учиним. Сказывай, коллежский асессор: взятки любишь?

— Па́пп-п-па́! — вдруг совершенно отчетливо крикнул «человечек».

Я даже вздрогнул. Как-то удивительно неприятно поражал голос, которым были произнесены эти звуки. Точно попугай в соседней комнате крикнул, да еще в старозаветных помещичьих домах приживалки и попадьи таким голосом говаривали, когда желали веселить своих благодетелей.

— Это значит: люблю-с,— пояснил Изуверов и, вновь обращаясь к «коллежскому асессору», продолжал: — Большую, поди, мзду любишь?

— Па́пп-п-па́!

— Такую, чтоб ограбить? дотла чтобы?

— Па́ппа́! па́ппа́! па́ппа́!

Троекратно произнося этот возглас, коллежский асессор выказывал чрезвычайное волнение: вращал глазами, кивал головой, колыхал животом и хлопал руками по бедрам, точь-в-точь как бьет крыльями птица, которая неожиданно налетела на рассыпанный корм. Мне показалось, что даже было одно мгновение, когда он покраснел...

— Вот вы говорили, что ваши «человечки» поступков не имеют,— сказал я,— а посмотрите, какой неподдельный восторг ваш коллежский асессор выказывает!

— То-то и есть, что не вполне, вашескородие! — возразил Изуверов,— и руками он хлопает, и глазами бегает — это действительно; а в лице все-таки настоящей алчности нету! Вот у нас в магистрате секретарь служит, так тот, как взятку-то увидит, даже из себя весь помертвеет! И взгляд у него помутится, и руки затрясутся, и слюна на губах. Ну, а мой до этого не дошел-с.

— Мне кажется, что вы чересчур уж скромны, Никанор Сергеич. По моему мнению, и ваш «подьячий» — мерзавец хоть куда!

— Нет, сударь, что́ уж? Дальше — лучше увидите доказательства, что не напрасно я недоволен им. А покуда позвольте мне экзамент продолжать.— Ну, коллежский асессор, сказывай! Что большую мзду ты любишь — это мы знаем, а как насчет малой мзды — приемлешь?

— Па́пп... взззз...

«Человечек» как будто спохватился и зашипел. Признаться, я подумал, не испортился ли в нем механизм, но Изуверов поспешил разуверить меня.

— Это значит: приемлю и малую мзду, но лишь в тех случаях, когда сорвать больше нечего.— Ну, а как ты насчет

того скажешь, чтобы, например, совсем без мзды дело решить?

— Взззззз...

Коллежский асессор не только зашипел, но даже закружился. Лицо у него совсем налилось красною жидкостью; глаза блудливо бегали в орбитах. Вообще было видно, что самая идея решить дело без мзды может довести его до исступления.

Даже Изуверов возмутился такою наглостью и строго покачал головой.

— Как посмотрю я на тебя, «Мздоимец»,— сказал он,— так ты жаден, так жаден, что, кажется, отца родного за взятку продать готов?

— Па́пп-па́! па́пп-па́! па́пп-па́!

— А под суд за это попасть хочешь?

— Взззззз...

— Не любишь? Конечно!.. Кому под суд попасть хочется! Какой ни на есть пансион, хоть грош, а все-таки заслужить лестно! Ты, поди, уж и деревнюшку для себя присмотрел?

— Па́пп-па́!

— Наберешь взятков, женишься, уедешь в вотчину, станешь деток зо́блить, крестьян на барщину гонять, в праздники на крылосе за обедней подпевать!

— Па́пп-па́!

— И вдруг кондрашка?!

— Взззззз...

— Не любишь? Ничем его так, вашескородие, огорчить нельзя, как ежели о смертном часе напомнить. Ну, ладно, коллежский асессор! Покуда что́, а мы тебя теперь с одним человечком сведем...

Изуверов отыскал другую картонку и вынул оттуда «мужика».

Мужик был совсем настоящий и, по-видимому, даже зажиточный. Борода длинная, с сильною проседью; волосы, обильно вымазанные коровьим маслом; на плечах — синий армяк, подпоясанный красным кушаком, на ногах — совсем новенькие лапти. Из-за пазухи у него высовывались куры, гуси, утки, индюшки, поросята, а в одном из карманов торчала даже целая корова. Изуверов поставил его сначала поодаль от коллежского асессора.

— Ну, что, мужичок! виноват?

— Мм-му-у!

— А коли виноват — становись, значит, на коленки!

Он поставил мужика на колени и обратил лицом к коллежскому асессору.

— Ползи!

Мужик пополз и остановился перед «Мздоимцем». Коллежский асессор сначала отвернул голову в сторону, притворяясь, будто не видит просителя; но после несколько раз повторенных «мм-му-у!» постепенно начал взглядывать по направлению виноватого и наконец вдруг плотоядно и пронзительно взвизгнул:

— Па́пп-па́!

И тотчас же вырвал у мужика из-за пазухи гуся, которого тут же, при неистовом гоготании птицы, живьем и сожрал.

— Кланяйся же! кланяйся, мужичок! — поощрял Изуверов,— проси прощенья... вот так! виноват, мол, ваше высокородие! не буду!

— Мму-у-у! мму-у-у! мму-у-у! — твердил мужичок.

Поощренный этим, коллежский асессор словно остервенился. Откинулся всем корпусом назад и некоторое время стоял в этой позе, как бы разглядывая свою жертву; потом начал раскачиваться из стороны в сторону, наливаясь при этом кровью, и наконец со всех ног бросился на мужика и принялся его теребить и грабить. Все это было проделано до такой степени живо, что у меня даже волосы встали дыбом. «Мздоимец» повытаскал из-за пазухи мужика всех курят, выволок из кармана за рога корову, потом выворотил другой карман и нашел там свинью, которая со страху сейчас же опоросилась десятью поросятами, и при всякой находке восклицал:

— Па́пп-па́! па́пп-па́! па́пп-па́!

Мужик же в умилении вторил ему:

— Мму-у-у!!

Наконец «Мздоимец» отцепился, и мужик, думая, что вина ему уж прощена, тоже начал проворно становится на ноги. Однако ж не тут-то было. Коллежский асессор опять что-то вспомнил (и, по-видимому, самое важное) и энергично замахал руками, указывая мужику на лапти. Мужик сконфузился, как будто его уличили в плутне; затем беспрекословно опустился на пол и стал разувать онучи и лапти. Все время, покуда происходил процесс разувания, «Мздоимец» внимательно следил за виноватым и лукаво улыбался, как бы говоря: «Надуть хотел... негодяй!!» И точно: по мере того, как развертывались мужиковы онучи, из них во множестве сыпались беленькие и желтенькие кружочки.

— Это кресто́вики и полуимпериальчики-с! — пояснял Изуверов.

Коллежский асессор остервенился вновь. В одно мгновение ока бросился он на виноватого, обшарил с головы до ног, обрал деньги, снял с мужика армяк и даже отнял медный гребень, висевший у него на поясе.

— Па́пп-па́! па́пп-па́! па́пп-па́! — восклицал он в восхищении.

— Мму-у-у! — вторил ему мужик.

— Ну вот, теперь вставай! — решил Изуверов, становя мужика на ноги.

Мужик был сильно помят, но, по-видимому, нимало не огорчен. Он понимал, что исполнил свой долг, и только потихоньку встряхивался.

— Доволен? — обратился к нему Изуверов.

— Мму-у-у!

— Ну, то-то! теперь твое дело — верное! и дома всем так говори: «Теперь, мол, меня хоть с кашею ешь, хоть на куски режь — мое дело верное!» Ну-ну! добро, полезай опять в картонку да обрастай до будущего раза!

Он ухватил мужика поперек туловища и уложил его обратно в картонку.

— Этот мужичок у меня для «представлений» служит,— объяснил мне Изуверов,— сам по себе он персоны не обозначает, а коли-ежели силу души кому показать нужно, так складнее парня не сыскать! А засим позвольте, вашескородие, попросить: не угодно ли будет вам уж от себя вопросы господину коллежскому асессору предложить?

— Какие же вопросы?

— Что́, сударь, вздумаете, то́ и спросите. Увидите, по крайности, какую силу он перед вами выкажет.

— Извольте! Что́ бы, например?.. Ну, например: понимаешь ли ты, коллежский асессор, какое значение слово «правда» имеет?

Молчание.

— А бога... боишься?

Молчание.

— Ну, что́ бы еще?.. На пользу ближнему послужить не прочь?

Опять и опять молчание. Я в недоумении взглянул на Изуверова.

— Не понимает-с,— объяснил он кратко.

— То есть, как же это не понимает? Кажется, вопросы не очень мудреные?

— И не мудреные, а он ответить не может. Нет у него «добродетельного» разговора — и шабаш! все воровство, да подлости, да грабеж — только на уме! Вообще, позвольте вам доложить, сколько я ни старался добродетельную куклу сделать — никак не могу! Мерзавцев — сколько угодно, а что касается добродетели, так, кажется, экого слова и в заводе-то в этом царстве нет!

— Да ведь это, впрочем, и естественно. Возьмите даже живую куклу — разве она понимает, что́ такое добродетель?

— Не понимает — это верно-с. Да, по крайности, она хоть лицемерить может. Спросите-ка, например, нашего магистратского секретаря: «Боишься ли ты бога?» — так он, пожалуй, даже в умиление впадет! Ну, а мой коллежский асессор — этого не может.

— Это, я полагаю, оттого, что, в сущности, ваш «коллежский асессор» добродетельнее, нежели магистратский секретарь,— вот и всё. А попробуйте-ка вы «добродетельные» разговоры с точки зрения лицемерия повести — тогда я уверен, что и ваш «Мздоимец» не хуже магистратского секретаря на всякий вопрос ответит.

Идея эта, сама по себе очень простая,— сделать доступною для негодяя добродетель, обратив ее, при посредстве лицемерия, в подлость,— по-видимому, не приходила до сих пор в голову Изуверову. Даже и теперь он не сразу понял: как это так? сейчас была добродетель... и вдруг будет подлость!! Но, в конце концов, метаморфоза, разумеется, объяснилась для него вполне.

— А ведь я, вашескородие, попробую! — сказал он, робко взглядывая на меня.

— Разумеется, попробуйте! И я уверен, что успех будет полный.

— Ведь я тогда, вашескородие, пожалуй, и госпожу Строптивцеву вполне сработать могу?

— Еще бы! Да вот, постойте: попробуемте даже сейчас с вашим «Мздоимцем» опыт сделать. Поставимте ему вопрос по-новому — что́ он нам скажет?

И, обращаясь к кукле, я формулировал вопрос так:

— Слушай, «Мздоимец»! Что ты не понимаешь, что́ значит правда,— это мы знаем. Но если бы, например, на пироге у головы кто-нибудь разговор об правде завел, ведь и ты, поди, сумел бы притвориться: одною, мол, правдою и свет божий мил?

«Коллежский асессор» взглянул на нас с недоразумением и несколько мгновений как бы соображал, стараясь понять. И вдруг пронзительно и радостно крикнул:

— Па́пп-па́! па́пп-па́! па́пп-па́!

Новая кукла, «Лакомка», с внешней стороны оказалась столь же удовлетворительною, как и «Мздоимец». «Лакомка» был «человек» неизвестных лет, в напудренном парике, с косичкою назади и букольками на висках, в костюме петиметра

осьмнадцатого столетия, как их изображают на дешевеньких гравюрах, украшающих стены провинциальных гостиниц. Лицо полное, румяное, улыбающееся, губы сочные, глаза с поволокою. Одной рукой он зажимал трехугольную шляпу, другую — держал наотмашь, как бы посылая в пространство воздушный поцелуй. Сзади его стояли ширмы, на которых сусального золота буквами было написано: «Приют слатких адахнавений»; сбоку были поставлены другие ширмы с надписью: «Вхот для прелесниц». Вообще было заметно поползновение устроить такую обстановку, которая сразу указывала бы на постыдный характер занятий действующего лица.

— Тоже состоит на службе? — спросил я.

— Помилуйте! пряжку имеет-с!

После этого предварительного объяснения «Лакомка», по данному знаку, учащенно замахал свободной рукой, то прижимая ее к сердцу, то поднося к губам. И в то же время, как бы повинуясь какому-то тонкому психологическому побуждению, одну ногу поднял.

— Это он женский пол чует! — объяснил мне Никанор Сергеич, покуда «Лакомка», что есть мочи, кричал:

— Мамм-чка! мамм-чка! мамм-чка!

Как бы в ответ на этот призыв, занавеска, скрывающая «вход для прелестниц», заколыхалась. Я ждал, что вот-вот сейчас войдет какая-нибудь ветреная маркиза, но, к удивлению моему, вошла... старуха!.. И не маркиза, а старая мещанка, в отрепанном платьишке, с платком на голове, и даже, по-видимому, добродетельная. Лицо у нее сморщилось, глаза слезились, подбородок трясся, нос выказывал признаки затяжного насморка, во рту не было видно ни одного зуба. Она держала в руках прошение и тотчас же бросилась на колени перед «Лакомкой», как бы оправдываясь, что у нее ничего нет, кроме бесплодных воспоминаний о добродетельно проведенной жизни.

Сначала «Лакомка» как бы не верил глазам своим, но потом ужасно разгневался.

— Вззз...— шипел он злобно, топая ногами и изо всей силы потрясая крошечным колокольчиком.

— Ишь, Искариот, ошалел! — шепнул мне Изуверов, по-видимому, принимавший в старухе большое участие.— Он, вашескородие, у нас по благотворительной части попечителем служит, так бабья этого несть конца что к нему валит. И чтобы он, расподлец, хворости или старости на помощь пришел — ни в жизнь этому не бывать! Вот хоть бы старуха эта самая! Колько́й уж год она в богадельню просится, и все пользы не видать!

Покуда Изуверов выражал свое негодование, на звон колокольчика прибежал сторож, и между действующими лицами произошла так называемая «комическая» сцена. «Лакомка» бросился с кулаками на сторожа, сторож с тем же оружием — на старуху; с головы у старухи слетел шлык, и она, обозлившись, ущипнула «Лакомку» в жирное место. Тогда сторож и «Лакомка» окончательно рассвирепели и стали тузить старуху уже соединенными силами. Одним словом, вышло что-то неестественное, сумбурное и невеселое, и я был даже доволен, когда добродетельную старуху наконец вытолкали.

— Вззз...— потихоньку шипел «Лакомка», оправляясь перед зеркалом и с трудом овладевая охватившим его волнением.

Мало-помалу, однако ж, все пришло в порядок; сторож скрылся, а «Лакомка», успокоенный, встал в прежнюю позу и вновь, что есть мочи, закричал:

— Мамм-чка! мамм-чка! мамм-чка!

На этот раз из-за занавески показалась молодая женщина. Но так как чувство изящного было не особенно развито в Изуверове, то красота вошедшей «прелестницы» отличалась каким-то совсем особенным характером. Все в ней, и лицо, и тело, заплыло жиром; краски не то выцвели, не то исчезли под густым слоем неумытости и заспанности. Одета она была маркизой осьмнадцатого столетия, в коротком платье, сделанном из лоскутков старых оконных драпри, в фижмах и почти до пояса обнажена. Несмотря, однако ж, на непривлекательность «прелестницы», «Лакомка» даже шляпу из рук выронил при виде ее: так она пришлась ему по вкусу!

— Индюшка-с! — шепнул мне Изуверов.

Действительно, остановившись перед «Лакомкой», «прелестница» как-то жалобно и с расстановкой протянула:

— П-пля! п-пля! п-пля!

На что «Лакомка» немедленно возопил:

— Курлы-рлы-рлы! Кур-курлы!

Началась мимическая сцена обольщения. Как ни глупа казалась «Индюшка», но и она понимала, что без предварительной игры ходатайство ее не будет уважено. А ходатайство это было такого рода, что человеку, получающему присвоенное от казны содержание, нельзя было не призадуматься над ним. А именно — требовалось, чтоб «Лакомка», забыв долг и присягу, соединился с внутренним врагом, сделал из подведомственных ему учреждений тайное убежище, в котором могли бы укрываться неблагонадежные элементы и оттуда безнаказанно сеять крамолу. Понятно, что «Индюшка» должна была пу-

стить в ход все доступные ей чары, чтобы доставить торжество своему преступному замыслу.

Мы, видевшие на своем веку появление и исчезновение бесчисленного множества вольнолюбивых казенных ведомств,— мы уж настолько притупили свои чувства, что даже судебная или земская крамола не производит на нас надлежащего действия. Но в то время крамола была еще внове. «Лакомка», по-видимому, и сам не вполне понимал, в чем именно заключается опасность, а только смутно сознавал, что шаг, который ему предстоит, может иметь роковые последствия для его карьеры. И под гнетом этого предчувствия потихоньку вздрагивал.

Сцена обольщения продолжалась. «Индюшка» закатывала глаза, сгибала стан, потрясала бедрами, а «Лакомка» все стоял, вперив в нее мутный взор, и вздрагивал. Что происходило в это время в душе его? Понял ли он, наконец? приходил ли в ужас от дерзости преступной незнакомки, или же наивно обдумывал: «Сначала часок-другой приятно позабавлюсь, а потом и отошлю со сторожем в полицию на дальнейшее распоряжение...»

Как бы то ни было, но, ввиду этих колебаний, «Индюшка» решилась на крайнюю меру: начала всею горстью скрести себе бедра, томно при этом выкрикивая:

— П-ля! п-ля! п-ля!

Тогда он не выдержал. Забыв долг службы, весь в мыле, он устремился к обольстительнице и ухватил ее поперек талии... Признаюсь, я ужасно сконфузился. «Приют сладких отдохновений» находился так близко, что я так и думал: «Вот-вот сейчас будет скандал». Но Изуверов угадал мои опасения и поспешил успокоить меня.

— Не извольте опасаться, вашескородие! недолжного ничего не будет! — сказал он в ту минуту, когда, по-видимому, ничто уже не препятствовало осуществлению крамолы.

И действительно, вдруг откуда ни возьмись... мужик!! Это был тот же самый мужичина, который, за несколько минут перед тем, фигурировал и у «Мздоимца»,— но как он в короткое время оброс! Опять на нем был синий армяк, подпоясанный красным кушаком; опять из-за пазухи торчал целый запас кур, уток, гусей и проч., а из кармана, ласково мыча, высовывала рогатую голову корова; опять онучи его кипели млеком и медом, то есть сребром и златом... И опять он был виноват!

Он вбежал, как угорелый, бросился на колени и замер.

— Это он по ошибке-с! — объяснил Изуверов,— ему опять надлежало к «Мздоимцу» отъявиться, а он этажом ошибся, да к «Лакомке» попал!

И рассказал при этом анекдот, как однажды сельский поп,

приехав в губернский город, повез к серебрянику старое серебро на приданое дочери подновить, да тоже этажом ошибся и, вместо серебряника — к секретарю консистории влопался.

— И таким родом воротился восвояси уже без сребра,— прибавил Изуверов в заключение.

Первую минуту и «Лакомка», и «Индюшка» стояли в оцепении, точно сейчас проснулись. Но вслед за тем оба зашипели, бросились на мужика и начали его тузить. На шум прибежал, разумеется, сторож и тоже стал направо и налево тузить. Опять произошла довольно грубая «комическая» сцена, в продолжение которой действующие лица до того перемешались, что начали угощать тумаками без разбора всякого, кто под руку попадет. Мужика, конечно, вытолкали, но в общей свалке, к моему удовольствию, исчезла и «Индюшка».

— Надеюсь, что она больше уж не явится? — обратился я к Изуверову.

— Явится,— отвечал он,— но только тогда, когда вопрос о крамоле окончательно созреет.

«Лакомка» остался один и задумчиво поправлял перед зеркалом слегка вывихнутую челюсть.

Несмотря на принятые побои, он, однако ж, не унялся, и как только поврежденная челюсть была вправлена, так сейчас же, и даже умильнее прежнего, зазевал:

— Мамм-чка! мамм-чка! мамм-чка!

Впорхнула довольно миловидная субретка (тоже по рисункам XVIII столетия), скромно сделала книксен и, подавая «Лакомке» книжку, мимикой объяснила:

— Барышня приказали кланяться и благодарить; просят, нет ли другой такой же книжки — почитать?

Увы! к величайшему моему огорчению, я должен сказать, что на обертке присланной книжки было изображено: «Сочинения Баркова. Москва. В университетской типографии. Печатано с разрешения Управы Благочиния».

Я так растерялся при этом открытии, что даже посовестился узнать фамилию барышни.

Между тем «Лакомка», бережно положив принесенный том на стол, устремился к субретке и ущипнул ее. Произошла мимическая сцена, по выразительности своей не уступавшая таковым же, устраиваемым на театре города Мариуполя Петипа.

— Еще ничего я от вас не видела,— говорила субретка,— а вы уж щиплетесь!

Тогда «Лакомка», смекнув, что перед ним стоит девица рассудительная, без потери времени вынул из шкапа банку помады и фунт каленых орехов и поверг все это к стопам субретки.

— А ежели ты будешь мне соответствовать,— прибавил он

телодвижениями,— то я, подобно сему, и прочие мои сокровища не замедлю в распоряжение твое предоставить!

Субретка задумалась, некоторое время даже рассчитывала что-то по пальцам и наконец сказала:

— Ежели к сему прибавишь еще полтинник, то — согласна соответствовать.

Весь этот разговор произошел ужасно быстро. И так как не было причины предполагать, чтоб и развязка заставила себя ждать (я видел, как «Лакомка» уже начал шарить у себя в карманах, отыскивая требуемую монету), то я со страхом помышлял: «Ну, уж теперь-то наверное скандала не миновать!»

Но гнусному сластолюбцу было написано на роду обойтись в этот день без «лакомства». В ту минуту, когда он простирал уже трепетные руки, чтобы увлечь новую жертву своей ненасытности, за боковой кулисой послышались крики, и на сцену ворвалась целая толпа женщин. То были старые «Лакомкины» прелестницы. Я счел их не меньше двадцати штук; все они были в разнообразных одеждах, и у каждой лежало на руках по новорожденному ребенку.

— П-ля! п-ля! п-ля! — кричали они разом.

«Лакомка» на минуту как бы смутился. Но сейчас же оправился и, обращаясь в нашу сторону, с гордостью произнес, указывая на младенцев:

— Таковы результаты моей попечительной деятельности за минувший год!

Этим представление кончилось.

После этого Изуверов разыграл передо мной еще два «представления»: одно — под названием «Наказанный Гордец», другое — «Нерассудительный Выдумщик, или Сделай милость, остановись!» Я, впрочем, не буду в подробности излагать здесь сценарий этих представлений, а ограничусь лишь кратким рассказом их содержания.

Пьеса «Наказанный Гордец» начиналась тем, что коллежский асессор появился в телеге, запряженной тройкой лихих лошадей, и с чрезвычайной быстротой проскакал несколько кругов по верстаку. Едва въехал он на сцену, как во всю мочь заорал: «Го-го-го!», объявил, что едет на усмирение, и дал ямщику тумака в спину. На нем было форменное пальто с светлыми пуговицами и фуражка с кокардой на голове; в левой руке он держал мешок с выбитыми, по разным административным соображениям, зубами, а правую имел в готовности. Несмотря на захватывающую дух езду, он ни на минуту не пере-

ставал гоготать, мерно ударяя ямщика в спину, вылущивая ему зубы и лишая волос. Наконец частные членовредительства, по-видимому, показались ему мало действительными и он решил покончить с ямщиком разом. Снял с него голову и бросил ее в кусты. Почуяв свободу, лошади бешено рванули вперед, и я уж предвидел минуту, когда телега и ее утлый седок будут безжалостно растрепаны; но, к счастию, станция была уже близко. Повинуясь инстинкту, лошади, как вкопанные, остановились перед станционным столбом и тотчас же все три поколели. Покуда «Гордец» скакал последние полверсты, я заметил, что на станционном дворе происходило какое-то чрезвычайно суетливое движение; но когда тройка подскакала и раздалось раскатистое «го-го-го!», то никто на этот оклик не ответил. «Гордец», закинув голову назад, ходил взад и вперед, держа в руках часы и твердо уверенный, что через минуту новая перекладная будет подана. Но урочная минута прошла, и никакого движения не проявлялось. Тогда «Гордец» удивленно огляделся кругом, и унылая картина предстала очам его...

Почтовый двор стоял одиноко в лесу, и внутри его все словно умерло. Какие-то таинственные звуки доносились со двора, не то шепот, не то фырканье, да слышно было, что где-то вдали, в лесной чаще, аукается леший. «Гордец» отлично понял, что тут кроется противодействие властям, и сейчас же бросился на розыски. Действительно, не прошло и минуты, как он вытащил за шиворот из потаенных убежищ писаря и четверых ямщиков. И, по мере того как вытаскивал, немедленно лишал их жизни даже без допроса. Когда же лишил жизни последнего ямщика, то вновь возопил: «Го-го-го!», думая, что теперь-то уж непременно выедет готовая перекладная. Однако и на этот оклик никто не явился. Тогда, вне себя от гнева, он поймал петуха и оторвал ему голову; потом, завидев бегущую собаку, погнался за ней, догнал и разорвал на части. Но и это не помогло.

Между тем времени прошло немало; на землю спустились сумерки, и в глубине леса показалось стадо голодных волков. Впервые в голове «Гордеца» блеснула мысль, что если б он не заботился так много об ограждении прерогатив власти, то, вероятно, в эту минуту преспокойно продолжал бы путь, а может быть, доехал бы уж до места. А волки между тем, почуяв убиенных, подходили всё ближе и ближе, и подняли, наконец, такой надрывающий душу вой, что даже вóроны, облепившие, в чаянии пира, соседнюю сосну, поняли, что тут взятки гладки, и, с шумом снявшись с дерева, полётели дальше.

Мрак сгущался, волки выли, лес начинал гудеть... Долго крепился «Гордец», все думал: «Не может этого быть!» — но

наконец заплакал. Плакал он много и горько, плакал безнадежно, как человек, который неожиданно понял, сколько жестокого, сатанински бессмысленного заключает в себе акт лишения жизни. И, плача, вспоминал папеньку, маменьку, братцев, сестриц и горько взывал к ним: «Где вы?» Потом обратился мыслью к начальникам и тоже вопиял: «Где вы?» И среди этой агонии слез — кощунствовал, говорил: «А ведь управлять и опустошать — не одно и то же!»

Но тут совершилось нечто ужасное. Стая волков настолько приблизилась, что совершенно заслонила собой «Гордеца». Еще минута — и на пороге станционного дома валялась одна фуражка, украшенная кокардою...

Содержание «Нерассудительного Выдумщика» было несколько сложнее.

Некоторый коллежский асессор, получив власть, вдруг почему-то сообразил, что она дана ему не напрасно. А так как начальники, облекшие его властью, ничего ему на этот счет не объяснили, то он начал додумываться сам. Думал-думал и наконец выдумал: власть дается для искоренения невежества. «Уж больше столетия,— сказал он себе,— как коллежские асессоры искореняют русское невежество, а толку все нет. Отчего? А оттого, сударь мой, что не все коллежские асессоры в одинаковой силе действуют. Много есть между ними мздоимцев, много прелюбодеев, много зубосокрушителей и очень мало настоящих искоренителей невежества. Начнет истинный искоренитель искоренять, а невежество возьмет да за полтинник откупится. А надо так на невежество нажать, чтоб ему вздыху не было, чтоб куда оно ни сунулось — везде ему мат».

И как только решил про себя «Выдумщик», какая ему задача предстоит, так сел за письменный стол, да с тех пор и не выходит оттуда. Не пьет, не ест, не спит — всё «нерассудительные» выдумки выдумывает.

Строчит с утра до вечера; но так как он и сам не понимает, что́ строчит, то все выходит у него без связи, вразброд. То вдруг, с большого ума, покажется: оттого в России невежество, что община по рукам и по ногам мужика связывает,— и вот готов проект: общину упразднить. То вдруг мелькнет: оттого царствует невежество, что в деревнях хороших племенных жеребцов нет,— немедленно таковых приобрести! Или вздумается: истинное основание русскому невежеству полагают кабаки — сейчас резолюции: кабаки закрыть, а вместо оных повсеместно открыть торговлю печатными пряниками. А наконец и еще: куда были бы мы просвещеннее, если б мужики сеяли на полях, вместо ржи, персидскую ромашку, а на

огородах, вместо репы, морковь! И опять резолюция: дать знать, кому ведать надлежит, и т. д.

Но беда в том, что невежество упорно. Недостаточно сказать ему: «В видах твоего искоренения необходимо упразднить общину». Надо, кроме того, еще сделать его способным к восприятию этой истины. Иначе, пожалуй, оно и того не поймет, с какой стати его невежеством зовут и зачем непременно понадобилось его искоренить. Каким же образом добиться, чтобы невежество сделалось способным к восприятию? Думал-думал коллежский асессор и наконец хоть и с болью в сердце, но пришел к заключению, что самое лучшее средство — это экзекуция! «Конечно,— рассудил он сам с собою,— это то же самое, что в древности называлось «по́ронцами», но ведь одно другого дороже: или церемониться, или достигать! Поронцы, так поронцы!»

И вот сидит он да нерассудительность свою не уставаючи тешит, а по дороге солдатики в рога трубят, а в рощице волостные начальнички веники режут, а на селе мужичок кричит: «Вашескородие! не буду!» Слышит эти крики «Выдумщик», но некоторое время делает вид, что не понимает. Однако ж, наконец, и он видит, что притворяться непонимающим дольше нельзя. Вскочит, приложит руку к сердцу и скажет в свое оправдание: «Знаю, милые, что ныне вам больно, но надеюсь, что впоследствии вы сами поймете, сколь сие было для вас полезно!»

И что всего ужаснее — не только неподкупен, но и неумолим. Сколько раз мужички всем миром ходили, хабару носили, на коленях просили — не внемлет и не приемлет. «Глупенькие! — говорит,— стерпится — слюбится, а после вы меня же благодарить будете!»

Так у них до сих пор колесом дело и идет. Он нерассудительные выдумки выдумывает, они — вопиют: «Вашескородие! не будем!» Ромашку персидскую посеяли, а клопы пуще прежнего одолели; о племенных жеребцах докучали, а начальство, по недоразумению, племенных поросят прислало; кабаки закрыли — корчемщиков развели.

Одна только община о сю пору цела стоит: видно, уж сам бог ее бережет!

«Подьячие» были исчерпаны. Только и додумался Изуверов до этих четырех типов, да, может быть, и в самом деле только их и было в тогдашнее несложное время. Я, впрочем, был очень этому рад. Несмотря на то, что мое посещение длилось не больше двух часов, я чувствовал какую-то чрезвычайную усталость. И не только физическую, но и нравственную. Как

будто ощущение оголтения, о котором я говорил выше, мало-помалу заползло и в меня самого, и все внутри у меня онемело и оскудело.

Я немало на своем веку встречал живых кукол и очень хорошо понимаю, какую отраву они вносят в человеческое существование; но на этот раз чувство немоты произвело на меня такое угнетающее впечатление, что я готов был вытерпеть бесчисленное множество живых кукол, лишь бы уйти из мира «людишек». Даже госпожа Строптивцева, возвращавшаяся в это время по улице домой,— и та показалась мне «умницей».

Мне кажется, разгадка этого чувства угнетенности заключается в том, что живых кукол мы встречаем в разнообразнейших комбинациях, которые не позволяют им всегда оставаться вполне цельными, верными своему кукольному естеству. А сверх того, они живут хотя и скудною, но все-таки живою жизнью, в которой имеются некоторые, общие людскому роду, инстинкты и вожделения. Словом сказать — принимают участие в общей жизненной драме. Тогда как деревянные людишки представляются нам как-то наянливо сосредоточенными, до тупости последовательными и вполне изолированными от каких-либо осложнений, вызываемых наличностью живого инстинкта. Участвуя в общей жизненной драме, вперемежку с другими такими же куклами, живая кукла уже по тому одному действует не так вымогательно, что назойливость ее отчасти умеряется разными жизненными нечаянностями. Деревянные людишки и этого отпора не встречают. У них в запасе имеется только одна струна, но они бьют в эту струну с беспрепятственностью и регулярностью, доводящими мыслящего зрителя до отчаяния.

Правда, Изуверов утверждает, что его «людишек» можно легко угомонить, тогда как живая кукла сама, дескать, вынет из тебя душу и заставит проклинать час твоего рождения. Положим, что это и так; но в таком случае стоит ли интересоваться этими людишками, стоит ли тратить на них свою жизнь? И не прав ли был соборный дьякон, укорявший Изуверова: «И от живых людишек отбою на свете нет, а ты еще деревянных плодишь!»

Но, сверх того, ежели хорошенько вникнуть в дело, то Изуверов окажется не прав и в другом. Он слишком презрительно, свысока отозвался о присланной из Петербурга «Новобрачной», слишком поспешил назвать ее «пустою» куклой. Во-первых, чтобы сделать такую куклу, не нужно ни задумываться, ни изобретать, ни мнить себя гением, а достаточно обладать некоторым навыком, иметь под рукой достаточное количество тряпок и лайки и уметь со вкусом распорядиться наружными

украшениями. А во-вторых как «Новобрачная» эта кукла положительно не оставляет ничего желать. Изуверов спрашивает: «На какой предмет? и в каком градусе?» — странные вопросы! Да на всякий предмет и во всяком градусе — вот и все.

Природа благосклонна; люди — злее. Природа не допускает строго последовательного пустоутробия; люди, напротив, слишком охотно настаивают на этой последовательности. Если б природа хотела быть до конца жестокою, она награждала бы живых людишек тем же идиотским упорством побуждений и движений, каким награждает Изуверов своих деревянных людишек. Вот тогда было бы ужасно, ужасно, ужасно — в полном смысле этого слова! Ни угомонить куклу, ни уйти от нее нельзя! сиди и ежемгновенно чувствуй, как она вынимает из тебя душу! и не шелохнись, потому что всякий протест, всякое движение вызывают новую жестокость, новую невыносимую боль!

Но, может быть, жизнь уж и созидает таких людишек? Может быть, в тех бесчисленных принудительных сферах, которые со всех сторон сторожат человека, совсем не в редкость те потрясающие «кукольные комедии», в которых живая кукла попирает своей пятой живого человека? Может быть, Изуверов является совсем не изобретателем, а только бледным копиистом того, что уже давно изобретено жизнью?

Кто возьмет на себя смелость утверждать, что это не так? И кто не согласится, что из всех тайн, раскрытие которых наиболее интересует человеческое существование, «тайна куклы» есть самая существенная, самая захватывающая?

ЧИЖИКОВО ГОРЕ

Канарейку за чижика замуж выдали и свадьбу на славу справили. В магазине «Забава и дело» купили новенькую кирку; за пастора ученый снегирь был; скворцы величальные песни пели, а для наблюдения за порядком полицеймейстер отряд копчиков прислал. Чуть не со всего леса птицы слетелись на молодых поглазеть, да и почтенных гостей нашлось довольно. У чижа был шафером зяблик, у канарейки — соловей. Сам ястреб к невесте в посаженые отцы набивался, но родители, под благовидным предлогом, от этой чести уклонились и пригласили глухого тетерева, того самого, который еще при царе Горохе, во внимание к дряхлости и потере памяти, в сенат посажен был.

И молодые, и родители, и поезжане — все были веселы. Чижик выступал гордо и предвкушал; канарейка перебирала носиком перышки; родители думали: «Ну, слава богу, одну дочку сбыли!» А поезжане мечтали о той горе конопляного семени, маринованных комаров, варенных в сахаре мух и проч., которую им предстояло уничтожить на новоселье у чижика. Только ворона-вещунья без пути каркала: «Не будет проку от этого брака! не будет! не будет! не будет!»

Хотя между людьми ворона и слывет глупою, однако птицы отлично знают, что ежели она каркает, то, значит, есть у нее на то основание. И точно: едва раздалось воронье карканье, как кукушка первая прокуковала: «Ку-ку! как бы и в самом деле по-вещуньиному не сбылось!» А за нею следом в том же смысле свистнули: синичка, горихвостка, пеночка..

И все начали всматриваться в молодых, начали припоминать. Обратились к интимной истории этих двух существ, за минуту перед тем связавших друг друга неразрывными узами; вспомнили их наклонности, вкусы, привычки. И, как и водится, в результате вышла картина.

Чижик был малый простодушный и добрый, имел три характеристические особенности: неприхотливость, аккуратность и домовитость. Сверх того, он был и немолод, хотя надежда, что, в случае чего, он еще может за себя постоять, не покидала его. Всю жизнь он служил в интендантском ведомстве, дослужился там до майорского чина и там же образовал свой ум и сердце. Взяток он не брал (царство хищения кончилось), однако нелицеприятными действиями успел-таки скопить капиталец. Однажды ему удалось приобрести, по случаю, хорошую партию канареечного семени, и вот тогда-то в голове у него блеснула мысль: «Женюсь на канарейке и буду жену и детей канареечным семенем кормить!» Отца и матери он еще, слётком будучи, лишился, наследства никакого не получил, а потому охотно выставлял на вид, что солидным своим положением в обществе обязан единственно самому себе. Даже ведерко с водой он выучился таскать самоучкою.

Таков был умственный и нравственный облик новобрачного. Особенных поводов для симпатий он, конечно, не представлял, но с легальной точки зрения — это был обыватель, какого лучше не надо.

В наружности его тоже не замечалось ничего обольстительного или блестящего; напротив, вся его фигура поражала несомненною будничностью и заурядностью. Даже воробьи смеялись, как он, желая сказать девице комплимент, потряхивал фалдочками и пущал глаза враскос. Да и комплименты выходили у него неинтересные: либо интендантский анекдот расска-

жет, либо похвастается, что, как бы дешево ни просил с него извозчик, он ему всегда пятачком меньше дает, а ежели время терпит, то и пешком дойдет.

— И вот, благодарение богу,— обыкновенно заканчивал он,— не только себя могу прокормить, но и семью-с.

Родителям такие речи очень нравились, и они так усердно ловили его в свои силки, что однажды чуть было совсем не удавили. Но дочки-девицы называли его «интендантскою холерою» и при появлении его мгновенно разлетались, хотя маменьки и приказывали им: «Ресте́!» И он не только не оскорблялся этими девичьими поступками, но даже успокоивал родителей, говоря:

— Ничего-с, я привык-с. Это в них девичье-с. Когда я в интендантском ведомстве служил, так одна трясогузочка была-с. Ну, такая, доложу вам,— отдай всё, да и мало! И тоже на первых порах: «Хи-хи» да «ха-ха!» Я ей говорю: «Познакомимтесь, мамзель!», а она: «Ах, нет, вы противный!» Словом сказать, я за ней, она — от меня! Туда-сюда... настиг-с! И что же-с: впоследствии даже хвалила!

— Так вот вы, Иван Иванович, какой! — шутили родители,— чего доброго, детей у вас на стороне нет ли?

— Наверное сказать не могу, но поручиться не смею-с. Природную слабость в свое время в совершенстве выполнил-с. Вообще я насчет этого так полагаю: излишеств допускать не следует, но в препорцию отчего же себе удовольствие не предоставить! Я и от водки не отказываюсь, пью-с; но не без просыпу-с, а, как в песне поется, «по этой причине-с».

В последнее время он службу оставил. «Сыт-с». Прихоти у него были небольшие, да и капиталец, который ему бог на службе послал, он крепко зажал. Следовательно, одних казенных процентов ему за глаза довольно; а ежели он свой капитал взаймы под вторые закладные раздаст, так и деваться с деньгами будет некуда-с.

— Одежа у меня даровая, богом предназначенная,— говорил он,— ем я тоже не покупное, а богом предназначенное; а ежели удовольствие себе захочу доставить, так и это дорогого не стоит: спою песню — вот и прав-с! Следственно, покуда есть на свете мухи, пауки, червяки и другая подобная снедь и покуда я в силах ловить, я обеспечен-с. Ежели же силы меня оставят, тогда придется помереть. Что же такое-с! И с прочими птицами завсегда так бывает-с!

Но ежели и на службе он ни о чем с таким удовольствием не мечтал, как о семейном очаге, о самоваре, халате, двуспальной кровати и других идеалах семейного счастья, выработавшихся в интендантском ведомстве («Что такое бессемейный

чиж? — рассуждал он,— медицинский термин, и больше ничего-с!»), то, по выходе в отставку, эта мысль начала угнетать его с каждым днем все больше и больше. И вот, наметивши желтенькую канарейку, он надел мундир, прицепил шпоры (все это он при отставке «в воздаяние» получил) и отправился к родителям своей суженой рекомендоваться в качестве жениха.

В первый раз в жизни восторг овладел его сердцем, в первый раз в жизни он пропел «По улице мостовой» — и не сфальшивил! Страсть к красавице канарейке до такой степени овладела всеми его помыслами, что он, вопреки своей обычной осмотрительности, пренебрег даже справиться, что за птица была его невеста и есть ли за нею какое-нибудь приданое.

А это было, пожалуй, нелишним, потому что невеста была барышня светская и образованная. Любила пожеманиться, принарядиться, пела «*Si vous n'avez rien à me dire*» [1], играла на органчике «*Le Ruisseau*» [2] и скучала, ежели около нее кавалеров не было. Может быть, она и добрая была, да некогда ей было об этом подумать. То новые фасоны из магазина привезут, то юнкера к братцу в гости прилетят. Так, промеж дел, доброты своей и не рассмотрела.

— Барышня! можно у вас ножку поцеловать? — приставали к ней юнкера.

— Ах, какие вы... ну, целуйте!

Только и всего.

И родители у нее были светские, и тоже без гостей скучали. Папаша в Канареечной губернии пять трехлетий предводителем прослужил, четыре наследства спустил, с год тому назад последнее выкупное свидетельство проел, а теперь жил финансовыми операциями и до того изловчился, что от извозчиков чрез проходные ворота улепетывал. Что касается до мамаши, то она как смолоду канарейкой была, так и под старость канарейкой осталась. Прыгала с жердочки на жердочку, высматривала, нет ли где кавалеров, и с благодарностью вспоминала, как она, будучи предводительшею, писаные пряники ела, а павлин-губернатор, завидев ее, хвост распускал. В этом же духе она и старшенькую дочь свою воспитала.

— Я мою девочку на высшие курсы не посылаю,— сказала она чижику, когда он посватался,— по-моему, умела бы девушка по-французски, да с жердочки на жердочку прыгать, да одеться к лицу, да гостей занять — вот и все, что для счастья женщины нужно!

---

[1] «Если вам нечего мне сказать».
[2] «Ручеек».

— И хорошо сделали, сударыня, что девицу вашу в страхе божием воспитали,— согласился чижик.— Мужескому полу, действительно, необходимо географию знать, потому что, не ровён час, начальство приказывает лететь, а куда — неизвестно! А девицу всякий кавалер с удовольствием проводит. Лишь бы не заблудиться-с.

— Ах, нет! на этот счет вы можете быть покойны, майор! У меня такая дочка умница, что ежели даже с уланом в дремучий лес попадет, то и тогда вот ни с эстолько себя не повредит.

— Дай бог-с.

Кроме этих трех личностей, в семье была еще младшая дочь и два сына. Младшая дочь скорее на новорожденного галчонка, чем на канарейку (так ее и по имени звали: Галочка (Галина), а старшую дочь звали Прозерпиночкой) похожа была, и потому домашние смотрели на нее, как на Сандрильону. Но она была девушка добрая, преданная семье и бодрая, и, несмотря на то, что ею, как горничной, помыкали и каждым куском попрекали, горячо любила и родителей, и сестру, и братьев. Об одном только потихоньку плакала, что заботы по дому не позволяют ей на высшие курсы ходить. Что касается братьев, то старший служил юнкером в уланском полку и никак не мог сдать экзамен из закона божия, а младший ходил в гимназию и не понимал, зачем начальству понадобилось, чтобы он греческий язык знал.

— Ну, на кой мне, маменька, черт этот остолопий язык? — жаловался он мамаше своей.— Ну, латинский — это я еще понимаю. «Mons, parturiens mus...» [1] mus, muris... mons, montis... parturio, parturivi, parturire... допустим! Рецепт написать, цитату в передовую статью подпустить — готово! Но греческий... ну, зачем, спрашиваю я вас, мне греческий язык!

— Может быть, для поведения? — догадывалась мать.

— Ах, маменька!

Целый день в этом доме шла суматоха и хлебосольство, целый день гости. С жердочки на жердочку прыгают, на органчике играют, песни поют. Канареечное семя, цитварное, хлеб в молоке моченный, яичные желтки протертые — со стола не сходят, а между тем в мелочную лавочку полгода по счету не плачено. Перевертывается старый кенарь, словно вьюн на сковороде, придумывая, как ему деньгами раздобыться. Каждое утро только и делает, что по приятелям летает; одному скажет, что у него тетка на днях померла, так надо денег, чтобы наследство получить; другому скажет, что у него в занадельной

---

[1] «Гора, родившая мышь...»

земле каменный уголь проявился, а достать его без капитала нельзя; третьему просто-напросто объявит, что деньги до зарезу нужны. А иногда подойдет к кому-нибудь из гостей-юнкеров и скажет: «Нет ли у вас, молодой человек, двугривенного? я вам завтра с благодарностью отдам». И давали. Но зато и жуировали. Прилетят уланы-юнкера, прижмут Прозерпиночку к уголку и крутят усы. А бедная Галочка видит, какой опасности сестрица подвергается, и заливается-плачет.

Такова была семья, в которую вознамерился вступить чижик. Все соседи знали, что старый кенарь дотла прогорел, что старую канарейку на днях еще видели, как она в кустах с дроздом-ростовщиком шушукалась, что сама Прозерпиночка, под предлогом уроков пения, к соловью летала, а потом будто бы жировое яичко снесла... Но чижик словно ослеп и оглох. Заручившись родительским согласием, он восторженно перелетал с дерева на дерево, подстерегая, как его красотка-невеста в корытце купается, и когда успевал подстеречь, то пел. Пел фальшиво и неистово, но — увы! — это был единственно доступный для него способ возблагодарить творца за оказанные ему в сей жизни благодеяния.

— Чувствую и знаю,— пел он,— что не по чину мне милость сия, но потщусь заслужить оную в будущем!

Впрочем, к чести Прозерпиночки надо сказать, что она, будучи невестой, нимало не скрывала от чижика своего равнодушия. Когда родители объявили ей, что майор сделал ей честь и что они уже заранее изъявили согласие, она тут же залилась звонким смехом и сказала:

— Ах, maman[1], посмотрите, какой он уморительный!

И затем, когда родители с намерением оставили их вдвоем, чтобы они поближе друг друга узнали, у них, вместо комплиментов, завязался довольно-таки откровенный разговор.

— Вы скупой? — спросила его Прозерпиночка.

— Я не скуп, а бережлив-с,— ответил чижик.— Я так полагаю: зачем деньги зря бросать, коли можно своими средствами обойтись? Но для вас, чтобы вам удовольствие сделать, я и бережливость свою готов оставить-с.

Высказавши это, майор любезно шаркнул ножкой, но — увы! — поступок этот не только не тронул Прозерпиночку, но, напротив, пробудил в ней новый взрыв веселости.

— Ах, как вы уморительно ножкой шаркаете! Шаркните еще, еще... вот так! Ха-ха! Что же вы дома едите? гадость какую-нибудь?

---

[1] маменька.

— Сам я ем пищу, богом предназначенную. Простую, но здоровую. А для вас я канареечное семя предоставлю-с.

— Ах, нет, я салат больше люблю!

— И салатцу достать не диковинка-с. Слетаю утречком в огород и нащиплю по секрету-с. Другому бы это больших денег стоило, а я для вас и задаром спроворю!

— Ну, а какой же вы мне подарок сделаете? Недавно вот из Парижа новые фасоны манжеток прислали... подарите-ка! а?

— С превеликим моим удовольствием-с. Сегодня же пауку закажу, чтобы завтра чуть свет были готовы.

— Да, но ведь такие манжетки дороги...

— Не извольте беспокоиться-с! Придет ко мне ужо паук за деньгами, а я его съем-с. Вот мы и будем квиты.

— Ха-ха! какой вы уморительный!

Так и пошло у них: нет, чтобы сказать жениху «миленький» или «душечка»,— «уморительный», и больше ничего. И чем дальше, тем невеста делалась развязнее и развязнее. С женихом почти вовсе не занималась, а окружала себя юнкерами и гимназистами и самым бессовестным манером шушукалась с ними.

— Знаете ли, майор, что мне про вас рассказывали? — говорила она ему в упор,— что вы в последнюю войну армию и флот гнилыми сухарями кормили?

Он конфузился, но не опровергал; потому что хоть и не заведывал он сухарями, но все-таки был за ним грех: для лошадей сено со всячинкой заготовлял. А это, пожалуй, похуже гнилых сухарей будет, потому что солдат — он пожаловаться может, а у лошади и слов-то для жалобы нет...

Ах, нехорошо он тогда поступал!

Иногда Прозерпиночка даже прямо всей компанией над ним насмехалась. Задумают, например, молодые люди в горелки играть, а он, постылый, тут же торчит. Вот и заставят его гореть, да глаза вдобавок завяжут: «Лови!» Бросится он стремглав вперед, крылья распустит, летит,— а она с подружками да с юнкерами — в кусты. Выглядывают оттуда и кричат: «Лови, майор, лови!» — покуда он с размаху о сосну грудью не треснется.

На первых порах старая канарейка побаивалась, как бы майор не обиделся, и от времени до времени даже покрикивала на дочь: «Финиссé!» Но когда убедилась, что с майора как с гуся вода, то махнула рукой и только каждый вечер аккуратно обращалась к жениху: «Нет ли у вас, майор, целкового? мы вам завтра с удовольствием отдадим».

Одна только Галочка жалела бедного чижика, и кто знает, не участвовало ли в этом жалении более сладкое чувство...

По крайней мере, однажды, поздно вечером, когда майор, лениво шевеля крыльями, возвращался восвояси, Галочка обогнала его.

— Ну, к лицу ли вам такую красотку любить? — сказала она ему.— Женитесь-ка лучше на мне. Я вас вот как покоить буду!

Но он словно одеревенел. Даже не выслушал порядком Галочкиных слов и грубо ответил:

— Кабы я на галке жениться хотел, то галку бы и сватал за себя. А так как я к сестрице вашей присватался, то, стало быть, с ней и круг действия совершить желаю-с.

Впрочем, нельзя сказать, чтоб он уж совсем ничего не понимал. Напротив, он очень многое и очень тонко понимал. Но в то же время он ясно видел, что попался и что судьба его решена бесповоротно и навсегда. Почему навсегда? — он не мог себе дать в этом отчета, а только одно твердил: «Бесповоротно! навсегда!»

И вот он женился. После свадьбы целый вечер бражничали, так что и вечерняя заря уже с час назад потухла, когда чижик собрался на гнездышко с молодой женой. Хорошо ему было! дивно! Теплая ночь благоухала; звезды в темной синеве неба, как алмазы, играли; а он, чижик, весь горел! Восторг катился по жилам его, дивный, опьяняющий восторг! Не то петь ему хотелось, не то рыдать, но в то же время какая-то чуткая деликатность заставляла его сдерживать свои порывы. Сама Прозерпиночка, казалось, подчинилась обаянию этой страсти. Она томно закрыла глазки и, сладко вздрагивая, клюнула его носиком в темечко... Но в эту самую минуту вдруг мимо чижикова дупла пронеслась пьяная процессия. Это были братцы в сопровождении целой оравы товарищей; они с гиканьем и свистом гремели песню: «Мальбруг в поход поехал...» Заслышав эти звуки, молодая мгновенно переродилась. В ночном дезабилье выбежала она на край дупла и вплоть до поздних петухов прохохотала с юнкерами. Чижик, одевшись в мундир, стоял позади молодой жены и тоже старался веселиться. Но — увы! — он скоро убедился, что в майорском чине веселость уж не к лицу. Как он ни нудил себя, но чин, в соединении с преклонным возрастом, взяли-таки свое. Глаза его сомкнулись сами собой, а через минуту громкое сопение наполнило всю внутренность дупла. Даже последовавший затем взрыв смеха не разбудил его. Так, в мундире, застегнутом на все пуговицы, он и проспал свою медовую ночь.

С этой минуты он окончательно погиб в глазах молодой жены.

Когда он проснулся,— хотя это было еще очень рано,—

Прозерпиночки уже и след простыл. Чечеточка-девушка, которую он для прислуг нанял, доложила, что *барышня* к мамаше улетела, и будут ли дома кушать, или нет — неизвестно. «Барышня»! — это слово точно кипятком его ошпарило!

Он выглянул из дупла и прыгнул на ближайший сучок. Кругом царствовала мертвая тишина, которая предшествует пробуждению и во время которой вся природа представляется как бы неживущею. Птицы еще не проснулись; даже листья на деревьях не трепетали. Но восток уже алел, и майору показалось, что розоперстая Аврора, иронически приветствуя его, делает ему нос. Очевидно, что в эту ночь в его существовании совершилось нечто очень важное, ложившееся на все его будущее неизгладимым темным пятном; что ему предстояло выполнить какой-то долг,— весьма, впрочем, незатруднительный и всякому чижу свойственный,— но он, как раб ленивый и лукавый, этот долг не осуществил...

Приступив к всестороннему обсуждению своего положения, он прежде всего слукавил. Или, говоря словами науки, начал рассматривать дело с точки зрения причин, его породивших. По зависящим ли от него причинам он не осуществил своего долга, или по независящим? «Кабы я был этому делу причинен,— говорил он себе,— ну, тогда точно! Хоть голову с меня снимите, ежели я виноват,— слова не скажу! А то никакой с моей стороны причины нет — и на-тко что сделалось!» Но едва он придумал этот изворот, как тотчас же понял тщету его. Есть факты, относительно которых закон причинности не допускается. Они должны быть осуществлены — *неупустительно,* и никакая логомахия не воссоздаст того, что *должно было быть* и чего *не было*. Нет для него оправданий! Нет! Ни один молодой муж, ни одна любящая мать, ни один суд присяжных, ниже́ коронный суд — никакого другого приговора ему не вынесут, кроме слов: «Срам! срам! срам!»

Он должен был отразить нападение пьяной ватаги; он должен был сделать свое гнездо неприступным, должен был грудью защищать свое право на осуществление «долга», вступить, во имя долга, в кровавый бой... Qu'il mourût! [1]

— Срам-с! — повторил он автоматически и автоматически же, не снимая мундира, растрепанный, с тощим желудком, полетел *туда!*

Старая канарейка уже проснулась и сидела злая-презлая. Кроме того, что с ее Прозерпиночкой случился такой «срам», ночью прилетела к ней в гости из-за тридевять земель канарейка-кузина и вконец растравила ее своими рассказами. Она

---

[1] Пусть умер бы!

тоже выдала свою Милочку замуж за снегиря; но... какая разница! Ах, какая разница!

— Та́к Милочку муж любит! — говорит гостья,— та́к любит... C'est tout un poème! [1] Представь себе...

Гостья склонялась к уху кузины, шептала ей нечто и с радостным ужасом откидывалась назад, повторяя:

— Но представь себе удивление моей цыпочки!!!

А старая канарейка слушала и злобно скрипела носиком.

— Ну, дай бог Милочке... дай бог! — шептала она,— а вот мы... Кому счастье, а нам... Твою Милочку муж вон как обрадовал, а у нас... Кого другого, а Прозерпиночку мою, кажется, уж обглодком назвать нельзя... И полненькая, и резвенькая... и щечки, и грудка... И что ж! даже внимания, мерзавец, не обратил!

— Est-ce possible?! [2]

В эту самую минуту явился чижик. И только что хотел принести оправдание, как огорченная теща, указывая на дверь закричала:

— Сортѐ! Срам, сударь! срам! срам! срам!

А за нею, словно эхо, и кузина повторила:

— Срам! срам! срам!

Оглушенный, он хотел лететь, куда глаза глядят, но у него даже крылья как будто перешибло. Он пошел по дорожке, направляясь к своему дуплу и думая скрыть в нем свой срам; но птицы уже проснулись и все знали. И хотя ни одна ему ничего «подходящего» в глаза не говорила, а некоторые даже подлетали и поздравляли, но он совершенно ясно видел, что у всех в глазах было написано:

— Срам! срам! срам!

К вечеру, однако же, Прозерпиночка воротилась, но, не сказавши бонжур, прямо пролетела в свое гнездышко.

— Милая! миленькая! ангельчик! — свистнул ей вслед майор, и так жалобно, что чечеточка, хоть и из простого звания птичка, а прослезилась.

Но Прозерпиночка не ответила ни одним звуком, и чижик слышал только, как она лапками раздвигала в гнездышке пух, устраивая себе на ночь постельку.

— Супруга, богом мне данная! — не свистнул, а как-то взвыл майор и залился слезами.

Но и на этот призыв Прозерпиночка промолчала. Он подошел к ее постельке и склонился над нею; но она уже спала, или, скорее всего, притворялась спящею.

---

[1] Это совершенная поэма!

[2] Возможно ли?!

И эту ночь пришлось майору провести в одиночестве. Мундир, конечно, он снял, но брюки снять не решился, чтобы не сконфузить Прозерпиночку. А на другое утро, как ни рано он проснулся, Прозерпиночки уже не было: опять улетела к родителям.

Майорский мартиролог начался.

В продолжение целого месяца молодая жена ни одним словом с ним не перемолвилась. Каждый вечер прилетала она в чижиково дупло, укладывалась в гнездышке и каждое утро исчезала так таинственно и проворно, что майор никак ее не мог подстеречь. Раза четыре в течение этого времени прилетала она в сопровождении ватаги юнкеров и гимназистов, призывала чечеточку и заказывала ей богатый ужин. Но и она, и ее собутыльники самым наглым образом пили и ели на глазах у чижика и ни разу даже спасибо ему не сказали, точно он был не хозяин своего дупла, а сторож при нем. В женином семействе майора иначе не звали, как «мерзавцем».

— А «мерзавец»-то опять выигрышный билет купил! — сообщала старая канарейка загостившейся кузине.

Или:

— Скоро, кажется, «мерзавец» с ума сойдет. Задумываться начал!

Один старый кенарь (тесть) от времени до времени посещал майора, утешал его и даже обещал высечь Прозерпиночку; но обещания не выполнил, а только выманил у зятя целую уйму двугривенных.

Прошел и еще месяц. Отношения Прозерпиночки к майору несколько изменились, но не к лучшему. Канарейка постепенно вошла в свою роль, обнаглела. Она уже не разыгрывала молчальницу, но обращала к чижику свою речь таким тоном, каким должна говорить королева с каким-нибудь безвестным дворцовым истопником.

— Денег надо,— говорила она.

— Сколько-с?

— Не «сколько», а давайте!

Ни сколько, ни на какой предмет — молчок. Может быть, она поступала так с умыслом, желая повредить чижику душу; но может быть, и без умысла, «так». Душа канарейки — потемки, и ни один мудрец не разберет, где в ней кончается грациозное порхание мысли и где начинается мучительство. Как бы то ни было, чижик не прекословил. Он уходил на минуту в заднее отделение дупла и дрожащими руками выносил оттуда свою копилку. И покуда она зря черпала в россыпи серебряных пятачков и как-то странно при этом улыбалась, он чувствовал, что у него душу вынимают. Не потому, чтоб он был скуп, а по-

тому, что от природы имел потребность во всякое время знать состояние своей кассы в точности.

Ограбивши мужнину кассу, она улетала, а через час он уже видел и результаты произведенного грабежа. Прозерпиночка, во главе целого косяка улан и светских дам полулегкого поведения, с шумом и песнями пролетала мимо и садилась на ближайшую поляну. Там устраивался, на чижиков счет, веселый пикник, и вся ватага, вплоть до вечерней зари, кутила, пела, водила хороводы и по временам разлеталась в кусты для отдохновения.

Однажды вечером Прозерпиночка прилетела домой в необыкновенно возбужденном состоянии. Летала по дуплу («чуть грудочку себе не расшибла!»), кружилась, пела, смеялась, плакала... Майор смотрел на нее сначала испуганно, но потом вдруг умилился. Его голову озарила несчастная мысль, что Прозерпиночкино сердце растворилось, что испытаниям его наступил конец, что она сама идет к нему навстречу... идет для того, чтоб упоить его блаженством, блаженством, блаженством без конца! Сладкое и в то же время жгучее волнение овладело всем его существом и пробудило в нем смелость, не всякому интендантскому майору свойственную. В чаду страсти он тихонько подкрался к Прозерпиночке, в ту минуту, когда она, вперивши глаза в темное пространство, стояла у входа, и тихонько стукнул ее носиком в темечко.

— Дурак! — крикнула она ему в упор и, уклонившись от его объятий, порхнула вон из дупла.

Это был с ее стороны очень решительный шаг. До тех пор она улетала днем, теперь — улетела ночью!

На другое утро она, однако, вернулась, но целый день скучала, плакала, нигде места себе найти не могла. А вечером, едва майор засопел, опять улетела.

Так продолжалось целых две недели. Ночью — таинственное исчезновение, днем — истерика, слезы. Майор весь исстрадался, ходил за ней по пятам, держа в носике, на случай дурноты, ведерочко с водой, и слезно убеждал:

— Выкушай водицы! Откройся мне! Ну, не как мужу — увы! я этого счастья не заслужил! — а как отцу, как брату. Кто тебя, мою пичужечку, обидел?

— Дурак!!!

Наконец она не возвратилась совсем. Ждал майор день, ждал другой и решился... ждать без конца. Тяжкое время для него настало, время полного одиночества. Жена бросила; родственники, не предупредивши ни словом, скрылись,— должно быть, и впрямь старый кенарь после тетки наследство получил,— а прочим птицам ему было совестно в глаза смотреть,

потому что он все-таки не смыл своего позора, не оправдал себя. Даже девушка-чечеточка, и та расчету потребовала и где-то на чердаке с воробьем гнездо свила.

До сих пор у него хоть страдания были, страдания жгучие, острые, которые давали ему возможность метаться от боли, проклинать... и надеяться; теперь страдания остались, но приняли тупую форму, которая сковывала его движения, парализировала волю и наполняла будущее безрассветным мраком...

Между тем наступила осень; птицы усиленно захлопотали около гнезд; он один ничего не предпринимал, не решаясь, лететь ли на теплые воды, или остаться на родине. Полились дожди, задули холодные ветры; роща обнажилась и тоскливо шумела; ночи сделались долгие, темные. А он целые ночи напролет, голодный и холодный, просиживал, не смыкаючи очей, у входа своего неухиченного дупла и ждал. Сколько раз хищная сова пролетала мимо, задевая крылом за его дупло! сколько раз заглядывал в дупло кровожадный бурундук! Но, по счастливой случайности, ни сова, ни бурундук не потревожили его. Очень возможно, что, с точки зрения съедобности, он представлял для хищников уже слишком ничтожную величину; но возможно и то, что хищники знали, какой он был в свое время дельный интендантский офицер, и, не желая лишать отечество его услуг в будущем, щадили...

Понимая, что жизнь его разбита, он невольно обращал свою мысль к прошлому. Все там было так чисто, аккуратно, что сердце вчуже радовалось. Да и не без приятностей-с. Не одни интендантские мероприятия, но, например, трясогузочка-с. Что за шустренькая, аккуратненькая была девушка... точно огурчик! И тоже сначала: «Ах, какой вы уморительный!» Уморительный да уморительный, да вдруг: «Ах, миленький, какая я была глупенькая! сколько задаром времени потеряла!» Жениться бы ему на ней, а он, вместо того, с шестерыми ребятами ее бросил! Или опять: заехал он раз к перепелочке-вдове, которая постоялый двор при дороге держала и просом да гречневой крупой поторговывала. Слово за слово: «Почем просо? крупа почем-с? Чай, скучно вам одним без мужа, сударыня?» — смотрят, ан и огни везде потушили... И тут бы ему жениться следовало, а он пообещал — и был таков!

Хорошо было тогда, дивно! И чем бесчеловечнее он в ту пору с трясогузками и перепелками поступал, тем больше гордился, тем больше слыхал себе похвал. Все интендантские писаря говорили о нем: «У нас майор лихой... ишь ножками семенит, ишь похаживает — так им, дурам и надо!»

Ба! да не поступить ли опять в интендантство? — Что же та-

кое! Взял перо, написал просьбу — примут! право, с удовольствием примут!

Но едва появлялась эта мысль, как он уже гнал ее от себя. Не о трясогузках и перепелках он должен думать — нет, не о них! Отныне ему предстоит одно: изнывать от боли и ждать. Ждать свою бесценную желтенькую барышню, свою богом данную жену! Прилетит она, вот увидите, ужо прилетит!

По временам, однако ж, он возмущался. Но не сам собою, а под влиянием наущения неблагонамеренных птиц, которые прилетали к нему попросить денег взаймы. В особенности тлетворно действовал на него в этом смысле дрозд. Он начинал всегда с того, что выражал соболезнование по поводу его одиночества, и затем, переходя от одного соболезнования к другому, очень ловко инсинуировал, что по нынешнему времени и развестись ничего не стоит.

— Нанял аблаката — и дело с концом! — убеждал он,— аблакат тебе все в одночасье свертит. Право, друг, разведись! Что на нее, на шлюху, смотреть!

А кроме дрозда, и зяблик его смущал; но этот был против развода, а советовал в «волостную» прошение подать.

— Много для них чести будет, коли со всякой шлюхой разводиться придется! — говорил он,— ступай прямо в «волостную»; такую ли ей там баню зададут — до новых веников не забудет!

И вот однажды майор поддался искушению. Полетел в Петербург и прямо отъявился к аблакату Балалайкину.

— Хочу от живой жены на другой жениться — орудуй!

— С удовольствием,— ответил Балалайкин,— я сам от четырех живых жен на пятой женат и вот, как видите, даже в арестантских ротах не сиживал!

Но уже по тону, которым Балалайкин эти слова сказал, чижик понял, что проку от его ходатайства ждать нельзя. Заплатив Балалайкину двугривенный (за одно вранье!), он, скрепя сердце, направил свой полет в «волостную», но и тут потерпел неудачу.

— Приведи ее, мы выпорем,— ответили ему совершенно резонно.— А коли будешь и впредь без поличного здешнее место утруждать, мы тебя самого разложим; не посмотрим, что ты майор.

Это был, так сказать, последний проблеск бунтующей плоти. Он воротился домой и окончательно присмирел.

Прошла зима. Полузамерзший, наголодавшийся, чуть живой, чижик вылез из своего дупла и едва-едва долетел до речки. Лед был уже настолько слаб, что в некоторых местах образовались полыньи. К одной из них он приблизился, надеясь

чем-нибудь поживиться, какою-нибудь ветошью; но, увидев в воде свое изображение, так и ахнул. За зиму он до того похудел, осунулся, отощал, что мундир висел на нем как на вешалке. От прежнего аккуратно застегнутого, чистенького и сытенького чижика не осталось и следа; даже шпоры — и те неизвестно куда девались. С тоскою в сердце вернулся он в дупло и сразу утратил веру в более светлое будущее.

Что пользы, ежели он и дождется ее,— какое он сделает ей приветствие? какие представит доказательства супружеской любезно-верной преданности?

И вдруг, в один теплый майский вечер, *она* воротилась. Воротилась худая, больная, истрепанная и как будто *не в себе*. Хохолок на головке был выщипан, перышки на крыльях помяты, хвостик жиденький; даже желтенькое платьице выцвело и посерело. И вся дрожала, не то от холода, не то от стыда. Насилу чижик ее узнал.

— Вот и я пришла! — сказала она.

— Живи! — ответил ей чижик.

Только и разговору промеж них было. О прошлом — молчок, о будущем — ни гугу.

И живут с тех пор друг подле друга в одном дупле, молчат и все о чем-то думают. Может быть, ждут чуда, которое растворит их сердца и наполнит их ликованиями прощения и любви; но, может быть, сознают себя окончательно раздавленными и угрюмо ропщут. Он: «Ах, разбила ты мою жизнь, кукла бесчувственная!» Она: «Ах, заел ты мою молодость, распостылый майор!»

ВЕРНЫЙ ТРЕЗОР

Служил Трезорка сторожем при лабазе московского 2-й гильдии купца Воротилова и недреманным оком хозяйское добро сторожил. Никогда от конуры не отлучался; даже Живодерки, на которой лабаз стоял, настоящим образом не видал: с утра до вечера так на цепи и скачет, так и заливается! Caveant consules! [1]

И премудрый был, никогда на своих не лаял, а все на чужих. Пройдет, бывало, хозяйский кучер овес воровать — Трезорка хвостом машет, думает: «Много ли кучеру нужно!» А случится прохожему по своему делу мимо двора идти — Трезорка еще где заслышит: «Ах, батюшки, воры!»

Видел купец Воротилов Трезоркину услугу и говорил: «Це-

---

[1] Пусть консулы будут бдительны!

ны этому псу нет!» И ежели случалось в лабаз мимо собачьей конуры проходить, непременно скажет: «Дайте Трезорке помоев!» А Трезорка из кожи от восторга лезет: «Рады стараться, ваше степенство!.. хам-ам! почивайте, ваше степенство, спокойно... хам... ам... ам... ам!»

Однажды даже такой случай был: сам частный пристав к купцу Воротилову на двор пожаловал — так и на него Трезорка вóззрился. Такой содом поднял, что и хозяин, и хозяйка, и дети — все выбежали. Думали, грабят; смотрят — ан гость дорогой!

— Вашескородие! милости просим! Цыц, Трезорка! Ты это что, мерзавец? не узнал? а? Вашескородие! водочки! закусить-с.

— Благодарю. Прекраснейший у вас песик, Никанор Семеныч! благонамеренный!

— Такой пес! такой пес! Другому человеку так не понять, как он понимает!

— Собственность, значит, признает; а это, по нынешнему времени, ах как приятно!

И затем, обернувшись к Трезорке, присовокупил:

— Лай, мой друг, лай! Нынче и человек, ежели который с отличной стороны себя зарекомендовать хочет,— и тот по-песьему лаять обязывается!

Три раза Воротилов Трезорку искушал, прежде чем вполне свое имущество доверил ему. Нарядился вором (удивительно, как к нему этот костюм шел!), выбрал ночь потемнее и пошел в амбар воровать. В первый раз корочку хлебца с собой взял,— думал этим его соблазнить,— а Трезорка корочку обнюхал, да как вцепится ему в икру! Во второй раз целую колбасу Трезорке бросил: «Пиль, Трезорушка, пиль!» — а Трезорка ему фалду оторвал. В третий раз взял с собой рублевую бумажку замасленную — думал, на деньги пес пойдет; а Трезорка, не будь прост, такого трезвону поднял, что со всего квартала собаки сбежались: стоят да дивуются, с чего это хозяйский пес на своего хозяина заливается?

Тогда купец Воротилов собрал домочадцев и при всех сказал Трезорке:

— Препоручаю тебе, Трезорка, все мои потроха; и жену, и детей, и имущество — стереги! Принесите Трезорке помоев!

Понял ли Трезорка хозяйскую похвалу, или уж сам собой, в силу собачьей природы, лай из него, словно из пустой бочки, валил — только совсем он с тех пор иссобачился. Одним глазом спит, а другим глядит, не лезет ли кто в подворотню; скакать устанет — ляжет, а цепью все-таки погромыхивает: «Вот

он я!» Накормить его позабудут — он даже очень рад: ежели, дескать, каждый-то день пса кормить, так он, чего доброго, в одну неделю разопсеет! Пинками его челядинцы наделят — он и в этом полезное предостережение видит, потому что, ежели пса не бить, он и хозяина, того гляди, позабудет.

— Надо с нами, со псами, сурьезно поступать,— рассуждал он,— и за дело бей, и без дела бей — вперед наука! Тогда только мы, псы, настоящими псами будем!

Одним словом, был пес с принципами и так высоко держал свое знамя, что прочие псы поглядят-поглядят, да и подожмут хвост — куды тебе!

Уж на что Трезорка детей любил, однако и на их искушения не сдавался. Подойдут к нему хозяйские дети:

— Пойдем, Трезорушка, с нами гулять!

— Не могу.

— Не смеешь?

— Не то что не смею, а права не имею.

— Пойдем, глупый! мы тебя потихоньку... никто и не увидит!

— А совесть?

Подожмет Трезорка хвост и спрячется в конуру, от соблазна подальше.

Сколько раз и воры сговаривались: «Поднесемте Трезорке альбом с видами Замоскворечья»; но он и на это не польстился.

— Не требуется мне никаких видов,— сказал он,— на этом дворе я родился, на нем же и старые кости сложу — каких еще видов нужно! Уйдите до греха!

Одна за Трезоркой слабость была: Кутьку крепко любил, но и то не всегда, а временно.

Кутька на том же дворе жила и тоже была собака добрая, но только без принципов Полает и перестанет. Поэтому ее на цепи не держали, а жила она больше при хозяйской кухне и около хозяйских детей вертелась. Много она на своем веку сладких кусков съела и никогда с Трезоркой не поделилась; но Трезорка нимало за это на нее не претендовал: на то она и дама, чтобы сладѐнько поесть! Но когда Кутькино сердце начинало говорить, то она потихоньку взвизгивала и скреблась лапой в кухонную дверь. Заслышав эти тихие всхлипыванья, Трезорка, с своей стороны, поднимал такой неистовый и, так сказать, характерный вой, что хозяин, понимая его значение, сам спешил на выручку своего имущества. Трезорку спускали с цепи и на место его сажали дворника Никиту. А Трезорка с Кутькой, взволнованные, счастливые, убегали к Серпуховским воротам.

В эти дни купец Воротилов делался зол, так что когда Трезорка возвращался утром из экскурсии, то хозяин бил его арапником нещадно. И Трезорка, очевидно, сознавал свою вину, потому что не подбегал к хозяину гоголем, как это делают исполнившие свой долг чиновники, а униженно и поджавши хвост подползал к ногам его; и не выл от боли под ударами арапника, а потихоньку взвизгивал: «Mea culpa! mea maxima culpa!» [1]. В сущности, он был слишком умен, чтобы не понимать, что, поступая таким образом, хозяин упускал из вида некоторые смягчающие обстоятельства; но в то же время, рассуждая логически, он приходил к заключению, что ежели его в таких случаях не бить, то непременно он разопсеет.

Но что было особенно в Трезорке дорого, так это совершенное отсутствие честолюбия. Неизвестно, имел ли он даже понятие о праздниках и о том, что к праздникам купцы имеют обыкновение дарить верных своих слуг. Никаноры ли («сам» именинник), Анфисы ли («сама» именинница) на дворе — он, все равно что в будни, на цепи скачет!

— Да замолчи ты, постылый! — крикнет на него Анфиса Карповна,— знаешь ли, какой сегодня день!

— Ничего, пусть лает! — пошутит в ответ Никанор Семеныч,— это он с ангелом поздравляет! Лай, Трезорушка, лай!

Только раз в нем проснулось что-то вроде честолюбия — это когда бодливой хозяйской корове Рохле, по требованию городского пастуха, колокол на шею привесили. Признаться сказать, позавидовал-таки он, когда она пошла по двору звонить.

— Вот тебе счастье какое; а за что? — сказал он Рохле с горечью,— только твоей и заслуги, что молока полведра в день из тебя надоят, а по-настоящему, какая же это заслуга! Молоко у тебя даровое, от тебя не зависящее: хорошо тебя кормят — ты много молока даешь; плохо кормят — и молоко перестанешь давать. Копыта об копыто ты не ударишь, чтобы хозяину заслужить, а вот тебя как награждают! А я вот сам от себя, motu proprio [2], день и ночь маюсь, недоем, недосплю, инда осип от беспокойства,— а мне хоть бы гремушку кинули! Вот, дескать, Трезорка, знай, что услугу твою видят!

— А цепь-то? — нашлась Рохля в ответ.

— Цепь?!

Тут только он понял. До тех пор он думал, что цепь есть цепь, а оказалось, что это нечто вроде как масонский знак. Что он, стало быть, награжден уже изначала, награжден еще в то время, когда ничего не заслужил. И что отныне ему сле-

---

[1] Мой грех! мой тягчайший грех!

[2] по собственному побуждению.

дует только об одном мечтать: чтоб старую, проржавленную цепь (он ее однажды уже порвал) сняли и купили бы новую, крепкую.

А купец Воротилов точно подслушал его скромно-честолюбивое вожделение: под самый Трезоркин праздник купил совсем новую, на диво выкованную цепь и сюрпризом приклепал ее к Трезоркину ошейнику. «Лай, Трезорка, лай!»

И залился он тем добродушным, заливистым лаем, каким лают псы, не отделяющие своего собачьего благополучия от неприкосновенности амбара, к которому определила их хозяйская рука.

В общем, Трезорке жилось отлично, хотя, конечно, от времени до времени, не обходилось и без огорчений. В мире псов, точно так же, как и в мире людей, лесть, пронырство и зависть нередко играют роль, вовсе им по праву не принадлежащую. Не раз приходилось и Трезорке испытывать уколы зависти; но он был силен сознанием исполненного долга и ничего не боялся. И это вовсе не было с его стороны самомнением. Напротив, он первый готов был бы уступить честь и место любому новоявленному барбосу, который доказал бы свое первенство в деле непреоборимости. Нередко он даже с тревогою подумывал о том, кто заступит его место в ту минуту, когда старость или смерть положит предел его нестомчивости... Но увы! во всей громадной стае измельчавших и излаявшихся псов, населявших Живодерку, он, по совести, не находил ни одного, на которого мог бы с уверенностью указать: «Вот мой преемник!» Так что когда интрига задумала во что бы то ни стало уронить Трезорку в мнении купца Воротилова, то она достигла только одного — и притом совершенно для нее нежелательного — результата, а именно: выказала повальное оскудение псовых талантов.

Не раз завистливые барбосы, и в одиночку, и небольшими стайками, собирались во двор купца Воротилова, садились поодаль и вызывали Трезорку на состязание. Поднимался несосветимый собачий стон, который наводил ужас на всех домочадцев, но к которому хозяин дома прислушивался с любопытством, потому что понимал, что близко время, когда и Трезору понадобится подручный. В этом неистовом хоре выдавались голоса недурные; но такого, от которого внезапно заболел бы живот со страху, не было и в помине. Иной барбос выказывал недюжинные способности, но непременно или перелает, или недолает. Во время таких состязаний Трезорка обыкновенно умолкал, как бы давая противникам возможность высказаться, но под конец не выдерживал и к общему стону, каждая нота которого свидетельствовала об искусственном на-

пряжении, присоединял свой собственный свободный и трезвенный лай. Этот лай сразу устранял все сомнения. Заслышав его, кухарка выбегала из стряпущей и ошпаривала коноводов интриги кипятком. А Трезорке приносила помоев.

Тем не менее купец Воротилов был прав, утверждая, что ничто под луною не вечно. Однажды утром воротиловский приказчик, проходя мимо собачьей конуры в амбар, застал Трезорку спящим. Никогда этого с ним не бывало. Спал ли он когда-нибудь — вероятно, спал,— никто этого не знал, и, во всяком случае, никто его спящим не заставал. Разумеется, приказчик не замедлил доложить об этом казусе хозяину.

Купец Воротилов сам вышел к Трезорке, взглянул на него и, видя, что он повинно шевелит хвостом, как бы говоря: «И сам не понимаю, как со мной грех случился!» — без гнева, полным участия голосом, сказал:

— Что, старик, на кухню собрался? Стара стала, слаба стала? Ну, ладно! ты и на кухне службу сослужить можешь.

На первый раз, однако ж, решились ограничиться приисканием Трезорке подручного. Задача была нелегкая; тем не менее, после значительных хлопот, успели-таки отыскать у Калужских ворот некоего Арапку, репутация которого установилась уже довольно прочно.

Я не стану описывать, как Арапка первый признал авторитет Трезорки и беспрекословно ему подчинился, как оба они подружились, как Трезорку, с течением времени, окончательно перевели на кухню и как, несмотря на это, он бегал к Арапке и бескорыстно обучал его приемам подлинного купеческого пса... Скажу только одно: ни досуг, ни обилие сладких кусков, ни близость Кутьки не заставили Трезорку позабыть те вдохновенные минуты, которые он проводил, сидючи на цепи и дрожа от холода в длинные зимние ночи.

Время, однако ж, шло, и Трезорка все больше и больше старелся. На шее у него образовался зоб, который пригибал его голову к земле, так что он с трудом вставал на ноги; глаза почти не видели; уши висели неподвижно; шерсть свалялась и линяла клочьями; аппетит исчез, а постоянно ощущаемый холод заставлял бедного пса жаться к печке.

— Воля ваша, Никанор Семеныч, а Трезорка начал паршиветь,— доложила однажды купцу Воротилову кухарка.

На этот раз, однако, купец Воротилов не сказал ни слова. Тем не менее кухарка не унялась и через неделю опять доложила:

— Как бы дети около Трезорки не испортились... Опаршивел он вовсе.

Но и на этот раз Воротилов промолчал. Тогда кухарка, через два дня, вбежала уже совсем обозленная и объявила, что она ни минуты не останется, ежели Трезорку из кухни не уберут. И так как кухарка мастерски готовила поросенка с кашей, а Воротилов безумно это блюдо любил, то участь Трезоркина была решена.

— Не к тому я Трезорку готовил,— сказал купец Воротилов с чувством,— да, видно, правду пословица говорит: собаке — собачья и смерть... Утопить Трезорку!

И вот вывели Трезорку на двор. Вся челядь высыпала, чтоб посмотреть на предсмертную агонию верного пса; даже хозяйские дети окно обсыпали. Арапка был тут же и, увидев старого учителя, приветливо замахал хвостом. Трезорка от старости еле передвигал ногами и, по-видимому, не понимал; но когда начал приближаться к воротам, то силы оставили его, и надо было его тащить волоком за загривок.

Что́ затем произошло — об этом история умалчивает, но назад Трезорка уж не возвратился.

А вскоре Арапка и совсем изгнал Трезоркин образ из сердца купца Воротилова.

НЕДРЕМАННОЕ ОКО

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Прокурор, и было у него два ока: одно — дреманное, а другое — недреманное. Дреманным оком он ровно ничего не видел, а недреманным видел пустяки.

В этом царстве исстари так было заведено: как только у обывателя родится мальчик с двумя о́ками, дреманным и недреманным, так тотчас в ревизских сказках записывают: «У обывателя Куролеса Проказникова, на Болоте, уродился мальчишечка, по имени Прокурор». И потом ожидают, когда мальчишечка в совершенные лета придет.

Так было и тут. Не успел мальчишечка от земли вырасти, как ему сейчас же доложили:

— Пожалуйте!

— С удовольствием. Но в скором ли времени предвидится сенаторская вакансия?

— Ах, сделайте милость! Как скоро, так сейчас.

— То-то.

Приосанился мальчишечка, посмотрелся в зеркало, видит: какой такой оттуда хитрец выглядывает? — ан это он самый и есть. Ладно. И, не говоря худого слова, сейчас же за дело принялся: дреманным оком ничего не видит, а недреманным

видит пустяки. «Я, говорит, здесь на минутку, по дороге в сенат, а там и оба ока сомкну. Да и уши у меня, бог даст, к тому времени заложит».

Увидели мздоимцы, клеветники, душегубы, хищники и воры, что мальчишечка на них недреманным оком смотрит, и сейчас же испугались. Думали-думали, как с этим делом быть, и решили всем с недреманной стороны уйти и укрыться под сенью дреманного прокурорского ока. И сделалось с недреманной стороны так чисто, как будто ни лиходеев, ни воров, ни душегубов отроду никогда не бывало, а были и есть только обыкновенные лгуны, проходимцы, предатели, изменники и ханжи, до которых прокурору, собственно говоря, и дела нет. А мальчишечка видит, что от одного его недреманного взгляда такие чистые горизонты открылись, и радуется. «Неужто, думает, начальство усердия его во внимание не примет?»

И пошел он по судебно-административному полю гоголем похаживать. Ходит да посвистывает: берегись! в ложке воды утоплю!

Только видит: стоит человек и криком кричит: «Ограбили! батюшки, караул!» Разумеется, он — к ограбленному.

— Что ты, такой-сякой, на всю улицу зеваешь! вот я тебя!

— Помилуйте, Прокурор Куролесыч, воры!

— Где воры? какие воры? врешь ты: никаких воров нет и не бывало (а они у него под ноздрею с дреманной стороны притаились)! Это вы нарочно, бездельники, не заслуживающими внимания жалобами начальство затруднить хотите... Взять его под арест!

Идет дальше, слышит: «Мздоимцы, Прокурор Куролесыч, одолели! мздоимцы! лихоимцы! кривотолки! прелюбодеи!»

— Где мздоимцы? какие лихоимцы? никаких я мздоимцев не вижу! Это вы нарочно, такие-сякие, кричите, чтобы авторитеты подрывать... Взять его под арест!

Еще дальше идет; слышит: «Добро казенное и общественное врозь тащат! Чего вы, Прокурор Куролесыч, смотрите! Вон они, хищники-то, вон!»

— Где хищники? Кто казенное добро тащит?

— Вон хищники! вон они! Вон он какой домино на краденые деньги взбодрил! А тот вон — ишь сколько тысяч десятин земли у казны украл!

— Врешь ты, такой-сякой! Это не хищники, а собственники! Они своим имуществом спокойно владеют, и все документы у них налицо. Это вы нарочно, бездельники, кричите, чтобы принцип собственности подрывать! Взять его под арест!

Дальше — больше. «Жена мужу жизнь с утра до вечера то-

чит!» — «Муж жену в гроб, того гляди, заколотит!» — «Ни за чем вы, Прокурор Куролесыч, не смотрите!»

— Я-то не смотрю? А ты видел ли, какое у меня око? Одно оно у меня, но — ах, как далеко я им вижу! Так далеко, что и твою, бездельникову, душу насквозь понимаю! И знаю, чего вам, негодникам, хочется: семейный союз вам хочется подорвать! Взять его под арест!

Словом сказать, все союзы перебрал и везде нашел: сами по себе стоят союзы незыблемо, но крикунишки непременно им как пить дадут, ежели им своевременно уста не замазать. А когда до государственного союза мальчишечка дошел, то и разговаривать не стал. Кричит как озаренный: «Взять его! связать его! замуровать! законопатить!» Сам кричит, а недреманное око так у него колесом и вертится в глазнице.

День-деньской таким манером мальчишечка мается, союзы оберегает, а к вечеру домой отдыхать вернется. Ляжет на кровать и думает: «Все-то я в полной мере, как хочется начальству, выполнил! хищников, мздоимцев, распутников и злоупотребителей с помощью одного моего недреманного ока рассеял, а с подрывателями, кои недельными жалобами начальство утруждают, особливо распорядился! Чисто, благородно. Надеюсь, что и начальство, с своей стороны, мои труды в надлежащей мере оценит».

— Чего, бишь, мне, например, пожелать? — говорил он сам себе.— В сенат ежели — так я еще на одно ухо слышу, да сенат от меня и не уйдет... Вот кабы — хоть не теперь, а со временем — вот кабы в... да нет, это уж разве когда и обоняние я потеряю! Нет, вот сейчас, в ближайшем будущем, чего бы мне, например, пожелать?

Расстраивал-расстраивал себе воображение, да, наконец, и расстроил. «Жениться надо как можно скорее — вот что!»

И так как он для поисков невесты недреманное око в ход пустил, то, разумеется, сейчас же нашел. А именно: девицу Агриппину такой красоты, что ни в сказках сказать, ни пером описать. И при ней двести тысяч: точь-в-точь как при билете внутреннего с выигрышами займа полагается.

Женился. Отпраздновали свадьбу на славу в кухмистерской Завитаева и домой на новоселье приехали. Только смотрит мальчишечка, а новобрачная с чего-то под сень дреманного ока спряталась. Хвать-похвать: «Агриппина! где ты?»

— Не Агриппина я, но Агафья. И тезоименитство мое бывает пятого февраля.

Вот так штука! Даже побледнел мальчишечка с испугу: неужто в прохожденье его службы чертовщина вмешалась?

— Покажись... Агафья! — вымолвил он.

Смотрит: и у Агафьи, как у него, одно око дреманное, а другое — недреманное. Только у него недреманное око с правой стороны, а у нее — с левой. Точно им сама судьба определила совместно прокурорское служение проходить.

— Приданое-то у тебя есть ли?

— И приданого у меня нет. Одно недреманное око — только и всего.

Ах, прах побери, да и совсем! Была-была Агриппина, и вдруг Агафья сделалась! Стал он разыскивать, каким манером такое дело случиться могло, и оказалось, что очень просто. Покуда он недреманным оком в одну сторону стрелял, Агриппина на минуточку отлучилась, да и вышла замуж за офицера. А он за себя взял... Агафью!

Делать, однако, нечего. Недаром же Завитаеву деньги за свадьбу отданы — надо как-нибудь жить. Легли они спать, да не остереглись: смотрят друг на дружку недреманными оками — инда жутко ему стало! Ему-то жутко, а ей точно с гуся вода — даже приятно!

— Ведьма ты, что ли? — спросил он ее,— сказывай!

— Нет, я не ведьма, но твоя законная жена. А до сих пор я крадеными старыми носками на Апраксином торговала.

— Как «крадеными»? каким же образом я тебя не изловил?

— Разве ты можешь кого-нибудь изловить? Ты все в одну сторону оком стреляешь, а что у тебя под левой ноздрей делается — не видишь.

— Ну, давай вместе воров ловить, коли так. Я — справа, ты — слева.

Словом сказать, так отлично устроились, что через год у них сын родился, и тоже с недреманным оком.

— Вот так чудак! — воскликнул мальчишечка, взглянув на своего первенца.

Тут только он догадался, что как ни дорого недреманное око, а два обыкновенных глаза, пожалуй, еще того дороже.

Служба его между тем своим чередом прохождение имела. Постепенно он все тюрьмы крикунами наполнил, а хищники, мздоимцы, концессионеры и прочие подлинные потрясатели тем временем у него под сенью дреманного ока благодушествовали.

Долго ли, коротко ли так шло, только начал он со временем и на оба уха припадать. Даже недреманное око, и то постепенно слипаться стало. Самое время, значит, в сенат поспешать, покуда обоняния еще не утратил.

Слышит... зовут!

Надел он фуфайку фланелевую, носки шерстяные да сапоги валяные на ноги натянул; уши канатом законопатил, камфар-

ным маслом надушился, в шубу закутался, а Агафья, сверх шубы, шерстяным шарфом его повязала. И пошел в сенат. Идет и думает: какой такой сон на первый раз он, сидючи в сенате, увидит?

Но тут случилось нечто совсем неожиданное. Покуда он недреманным оком все вправо да вправо стрелял, а сенат взял полевее, да с дреманной стороны и притаился. Ищет Прокурор Куролесыч — и носом в воздухе потянет, и языком щелкнет, и даже руками кругом пошарит,— никак-таки нащупать сената не может.

Наконец видит: городовой на посту бодрствует. Натурально — к нему. Так и так, служивый: «Не знаешь ли, куда девался сенат?»

Взглянул на него городовой и сразу недреманную душу его разгадал.

— Знаю,— сказал он,— сенат, вот он! Вон он на солнышке играет! Ишь посматривает, как бы какой шалун на закон не наступил... Ах ты, ах! Только не про всякого у нас место в сенате припасено. Ты вот глядел недреманным-то оком в книгу, а видел фигу, так нынче этаких в здешнее место сажать не велено. Воротись лучше, калека, домой; валенки-то сними, глаза-то протри, уши промой, да и ложись с бабой на печь спать!.. А у нас нынче так в здешнем месте заведено: чтобы и голова, и прочие члены — все чтобы на своем месте было, а глаза и уши — у всех чтобы настежь!

Так и не попал Прокурор Куролесыч в сенат.

ДУРАК

В старые годы, при царе Горохе это было: у умных родителей родился сын дурак. Еще когда младенцем Иванушка был, родители дивились: в кого он уродился? Мамочка говорила, что в папочку, папочка — что в мамочку, а наконец подумали и решили: должно быть, в обоих.

Не то, впрочем, родителей смущало, что у них сын дурак,— дурак, да ежели ко двору, лучше и желать не надо,— а то, что он дурак особенный, за которого, того гляди, перед начальством ответить придется. Набедокурит, начудит — по какому праву? какой такой закон есть?

Бывают дураки легкие, а этот мудреный. Вон у Милитрисы Кирбитьевны — рукой подать — сын Лёвка, тоже дурачок. Выбежит босиком на улицу, спустит рукава, на одной ножке скачет, а сам во всю мочь кричит: «Тили-тили, Левку били, бими-бими, бом-бум!» Сейчас его изымают, да на замок в холод-

ную: сиди да посиживай! Даже губернатору, когда на ревизию приезжал, Левку показывали, и тот похвалил: «Берегите его, нам дураки нужны!»

А *этот* дурак — необыкновенный. Сидит себе дома, книжку читает, либо к папке с мамкой ласкается — и вдруг, ни с того, ни с сего, в нем сердце загорится. Бежит, земля дрожит. К которому делу с подходцем бы подойти, а он на него прямиком лезет; которое слово совсем бы позабыть надо, а он его-то и ляпнет. И смех, и грех. Хоть кричи на него, хоть бей — ничего он не чувствует и не слышит. Сделает, что ему хочется, и опять домой прибежит, к папке с мамкой под крылышко.

— Что́ с тобой, ненаглядный ты наш? сядь, миленький, отдохни!

— Я, мамочка, не устал.

— Куда ты, голубчик, бегаешь? Не скажешься никому и убежишь!

— Я, мамочка, к Левке бегал. Левка болен, калачика просит; я взял с прилавка в булочной калачик и снес.

Услышит мамочка эти слова, так и ахнет.

— Ах, убил! ах, голову с меня, несчастный, ты снял! Что́ ты наделал! Это ты, значит, калачик-то украл!

— Ка́к «украл»? что́ такое «украл»?

Сколько раз и соседи папочку с мамочкой предостерегали:

— Уймите вы своего дурака! большие он вам неприятности через свою глупость предоставит!

Но родители ничего не могли, только думали: «Легко сказать: «Уймите!», а как ты его уймешь? Как это люди не понимают, что родительское сердце по глупом сыне больше даже, чем по умном, разрывается?»

И точно, примется, бывало, папочка дурака усовещивать: «Калач есть собственность» — он как будто и понимает: «Да, папочка!» Но вдруг, в это время, откуда ни возьмись Левка: «Дай, Ваня, калачика!» Он — шмыг, и точно вот слизнул калач с прилавка! Как тут понять: украл он его или не украл?

Терпел-терпел булочник, но наконец обиделся: принес в квартал жалобу. Явился к дураковым родителям квартальный и сказал: «Как угодно, а извольте вашего дурака высечь». Плакала родительская утроба, а делать нечего. Видит папочка, что резонно квартальный говорит: высек дурака.

Но дурак ничего не понял. Почувствовавши, что больно, всплакнул, но не жаловался: «За что?» и не кричал: «Не буду!» Скорее как будто удивился: «Для чего это папочке понадобилось?»

Так и пропал этот урок даром: как был Иванушка до сечения дураком, так и после сечения дураком остался. Уви-

дит из окна, что Левка босиком по улице скачет,— и он выбежит, сапоги снимет, рукава у рубашки спустит и начнет заодно с дурачком куролесить.

— Ишь занятие нашел! — рассердится мамочка,— дурака дразнит!

— Я, мамочка, не дразню, а играю с ним, потому что ему одному скучно.

— Повертись! повертись! довертишься, что сам дураком сделаешься!

Услышит папочка этот разговор и на мамочку накинется:

— Сечь его надо, а она разговаривает! разговаривай больше,— дождешься! Кабы ты чаще ему под рубашку заглядывала, давно бы он у нас человеком был!

И все соседи папочку одобряют: во-первых, потому, что закон есть такой, чтобы дураков учить; а во-вторых, и потому, что никому от Иванушки житья не стало. Намеднись соседские мальчишки вздумали козла дразнить — он за козла вступился. Стал посередке и не дает козла в обиду. Козел его сзади рогами бьет, мальчишки спереди по чем попало тузят, а ему горюшка мало — всего в синяках домой привели! А на другой день опять с дураком история: у повара петуха отнял. Нес повар под мышкой петуха на кухню, а дурак ему навстречу: «Куда, Кузьма, петушка несешь?» — «Известно, мол, на кухню да в суп»... Как кинется на него дурак! Не успел Кузьма опомниться — смотрит, а петух уж на забор взлетел и крыльями хлопает!

Толковал-толковал ему папочка: «Петух — не твой, как же ты смел его у повара отнимать?» А он в ответ одно твердит: «Знаю я, что петух не мой, да и не поваров он, а свой собственный...»

Как ни любили дурака все домочадцы за его ласковость и тихость, но с течением времени он всех поступками своими донял. Есть ему захочется — нет чтобы мамочку попросить: «Позвольте, мол, милый друг маменька, в буфете пирожок взять»,— сам пойдет, и в буфете, и в кухне перешарит, и что попадется под руку, так, без спросу, и съест. Захочется погулять — возьмет картуз, так, без спросу, и уйдет. Раз нищий под окном остановился, а у мамочки, как на грех, в ту пору трехрублевенькая бумажка на столе лежала,— он взял да *ВСЕ* три рублика нищему в суму и ухнул!

— Батюшки! да из него Картуш выйдет! — невзвидела света мамочка.

— И непременно выйдет,— отозвался папочка,— хуже выйдет, ежели ты, вместо того чтобы сечь, лясы с ним точить будешь!

Делать нечего, высекла дурака и мамочка. Но высекла, надо прямо сказать, чуть-чуть, только чтобы наука была. А он встал, сердечный, весь заплаканный, и обнял мамочку.

— Ах, мамочка, мамочка! бедненькая ты моя мамочка!

И сделалось мамочке вдруг так стыдно, так стыдно, что она и сама заплакала.

— Дурачок ты мой ненаглядный! вот кабы нас бог с тобой вместе к себе взял!

Наконец, однако, он и себя, и мамочку едва не погубил. Гуляли они однажды всей семьей по набережной реки. Папочка мамочку под ручку вел, а он, впереди, разведчика из себя изображал. Будто бы они источники Нигера открывать собирались, так он послан вперед разузнать, не угрожает ли откуда опасность. Вдруг слышат стоны; взглянули на реку, а там чей-то мальчишечко в воде барахтается! Не успели опомниться — ан дурак уж в реку бухнул, а за дураком мамочка, как была в кринолине, так и очутилась в воде. А за мамочкой — пара городовых в амуниции. А папочка стоит у решетки да руками, словно птица крыльями, машет: «Моих-то спасайте! моих!» Наконец городовые всех троих из воды вытащили. Мамочка-то одним страхом поплатилась, а дурак целый месяц в горячке вылежал. Понял ли он, что поступил по-дурацки, или сделалось ему мамочку жалко, только как пришел он в себя, да увидел, что мамочка, худенькая да бледненькая, в головах у него сидит,— так и залился слезами! Только и твердит: «Мамочка! мамочка! мамочка! зачем нас бог к себе не взял?»

А папочка тут же стоял и все надеялся, что дурак хоть на этот раз скажет: «Простите, милый папочка, я вперед не буду!» — Однако он так-таки и не сказал.

После этого случая папочка с мамочкой серьезно совещались: ка́к с дураком быть? Ходили, обнявшись, по зале, со всех сторон предмет рассматривали и долго ни на чем не могли сойтись.

Дело в том, что папочка был человек справедливый. И дома, и в гостях, и на улице он только об одном твердил: «Всуе законы писать, ежели их не исполнять». У него даже и наружность такая уморительная была, как будто он в одной руке весы держит, а другою — то золотник в чашечку поступков подбавит, то ползолотника в чашечку возмездий подкинет. Поэтому, и принимая во внимание все вышеизложенное, он требовал, чтобы с Иванушкой было поступлено по всей строгости домашнего кодекса.

— Преступил он — следовательно, и соответствующее возмездие понести должен. Вот смотри!

И он показал мамочке табличку, в которой было изображено:

Название проступка:	Число ударов розгою:	
Отступление от правил субординации.	от 5	до 7

Но мамочка была мамочка — только и всего. Справедливости она не отрицала, но понимала ее в каком-то первобытном смысле, в каком понимает это слово простой народ, говоря о «справедливом» человеке. Без возмездий, а вроде как бы отпущения. И как ни мало она была в юридическом отношении развита, однако в одну минуту папочку осрамила.

— За что ж мы наказывать его будем? — сказала она,— за то, что он утопающего спасти хотел? Опомнись!

Тем не менее папочка настоял-таки, что дома держать дурака невозможно, а надо отдать его в «заведение».

Регулярно-спокойный обиход заведения на первых порах отразился на дураке довольно выгодно. Ничто не бередило его восприимчивости, не пробуждало в нем внезапных движений души. В первые годы даже учения настоящего не было, а только усваивался учебный материал. Не встречалось также резкой разницы и в товарищеской среде,— такой разницы, которая вызывала бы потребность утешить, помочь. Все шло тем средним ходом, который успех учения ставил, главным образом, в зависимость от памяти. А так как память у Иванушки была превосходная, да и сердце, к тому же, было золотсе, то чуть-чуть Иванушка и впрямь из дурака не сделался умницей.

— Говорил я тебе? — торжествовал папочка.

— Ну-ну, не сердись! — отвечала мамочка, как бы винясь, что она чересчур поторопилась папочку осрамить.

Но по мере того, как объем предлагаемого знания увеличивался, дело Иванушки усложнялось. Большинства наук он совсем не понимал. Не понимал истории, юриспруденции, науки о накоплении и распределении богатств. Не потому, чтобы не хотел понимать, а воистину не понимал. И на все усовещивания учителей и наставников отвечал одно: «Не может этого быть!»

Только тогда настоящим образом узнали, что он несомненный и круглый дурак. Такой дурак, которому могут быть доступны только склады науки, а самая наука — никогда. Природа поступает, по временам, жестоко: раскроет способности человека только в меру понимания азбучного материала, а как только дойдет очередь, чтобы из материала делать выводы,— законопатит, и конец.

Снова сконфузился папочка и стал мамочку упрекать, что

Иванушка в нее уродился. Но мамочка уж не слушала попреков, а только глаз не осушала, плакала. Неужто Иванушка так-таки навек дураком и останется!

— Да ты хоть притворись, что понимаешь! — уговаривала она Иванушку,— принудь себя, хоть немножко пойми, ну, дай, я тебе покажу!

Раскроет мамочка книжку, прочтет *«§ о порядке наследования по закону единоутробных»* — и ничего-таки не понимает! Плачут оба: и дурак, и мамочка. А папочка между тем так и режет: *единоутробных,* прежде всего, необходимо отличать: во-первых, от *единокровных*; во-вторых, от тех, кои, будучи единоутробными, суть в то же время и единокровные, и, в-третьих, от *червонных валетов...*

— Вот папенька-то как хорошо знает! — удивлялась мамочка, заливаясь слезами.

Видя материнские слезы, дурак напрягал нередко все свои усилия. Уйдет, во время рекреации, в класс, сядет за тетрадку, заложит пальцами уши и начнет долбить. Выдолбит и так отлично скажет урок, словно на бобах разведет... И вдруг что-нибудь такое насчет Александра Македонского ляпнет, что у учителя на плешивой голове остальные три волоса дыбом встанут.

— Садитесь! — молвит учитель,— печальная вам в будущем участь предстоит! Никогда вы государственным человеком не сделаетесь. Благодарите бога, что он дал вам родителей, которые ни в чем не замечены. Потому что, если б не это... Садитесь! и ежели можете, то старайтесь не огорчать ваших наставников возмутительными выходками!

И точно: только благодаря родительскому благонравию, дурака из класса в класс переводили, а наконец, и из заведения с чином выпустили. Но когда он домой с аттестатом явился, то мамочка, как взглянула, что́ там написано, так и залилась слезами. А папочка сурово спросил:

— Что ты, бесчувственный идол, набедокурил?

— Я, папочка, так себе,— ответил он,— это, должно быть, такое правило в заведении...

Даже не объяснился порядком; увидал на улице Левку и убежал.

Левку он полюбил пуще прежнего, потому что бедный дурак еще жальче стал. Как и шесть лет тому назад, он ходил босой, худой, держа руки граблями,— но весь оброс волосами и вытянулся с коломенскую версту. Милитриса Кирбитьевна давно от него отказалась: не кормила его и почти совсем не одевала. Поэтому он был всегда голоден, и если б не сердобольные торговки-калашницы, то давно бы с голоду помер. Но

больше всего он страдал от уличных мальчишек. Отдыху они ему не давали: дразнились, науськивали на него собак, щипали за икры, теребили на нем рубашку. Целый день раздавался на улице его вой. сопровождаемый неистовым дурацким щелканьем. Он выл от боли, но не понимал, откуда эта боль идет.

Дурак защитил Левку, обогрел, накормил и одел. Все, что для Левки было нужно, Иванушка брал без спроса; а ежели не знал, где найти, то требовал таким тоном, как будто самое представление об отказе ему было совершенно чуждо. Только у дураков бывает такая убежденность в голосе, такая непререкаемость во взорах. Никого и ничего он не боялся, ни к чему не питал отвращения и совсем не имел понятия об опасности. Завидев исправника, он не перебегал на другую сторону улицы, но шел прямо навстречу, точно ни в чем не был виноват. Случится в городе пожар — он первый идет в огонь; услышит ли, что где-нибудь есть трудный больной — он бежит туда, садится к изголовью больного и прислуживает. И умные слова у него в таких случаях оказывались, словно он и не дурак. Одно только тяжелым камнем лежало на его сердце: мамочка бессонные ночи проводила, пока он дурачество свое ублажал. Но было в его судьбе нечто непреодолимое, что фаталистически влекло его к самоуничижению и самопожертвованию, и он инстинктивно повиновался этому указанию, не справляясь об ожидаемых последствиях и не допуская сделок даже в пользу кровных уз.

Не раз родители задумывались, каким бы образом дурака пристроить, чтобы он хоть мало-мальски на человека похож был. Определил было папочка его на службу чем-то вроде попечителя местного училища (без жалованья, дескать, и дурак сойдет, а с жалованьем — даже наверное!); но дурак сразу такую ахинею понес, что исправник, только во внимание к испытанному благонравию родителей, согласился это дело замять. Тогда мамочка напала на мысль — женить дурака: может быть, бог узы ему разрешит. Подыскали невесту, молодую купеческую вдову Подвохину. Невеста из себя писаная краля была и в гостином дворе две лавки имела. Вдовела она безупречно, товар держала всегда первейшего качества и дела свои по торговле вела умело и самостоятельно. Словом сказать, лучше партии и желать не надо. Дурак, в свою очередь, тоже понравился невесте: внешность у него была приличная, поведение — кроткое. Даже ума в нем она не отрицала, как другие, но только находила, что нужно этот ум развязать. И вполне на себя надеялась, что успеет в этом.

Но у дурака все вообще инстинкты до такой степени глубоко спали, что даже эта жалостливая и скромная женщина

удивилась. Ни разу он не дрогнул от прикосновения к ней, ни разу не смутился, не почувствовал ни одной из тех неловкостей, к которым с таким сердечным жалением относятся женщины, инстинктивно угадывая в них первые, сладостнейшие трепетания любви. Придет дурак, отобедает, чаю напьется и, по-видимому, совсем не понимает, почему он находится у Подвохиной, а не дома.

— Как это вам не скучно: ничего вы не понимаете? — спросит его красавица вдова.

— Ах, нет, мне очень скучно! Говорят, будто оттого, что занятия у меня никакого нет.

— Так вы займитесь... полюбите кого-нибудь!

— Помилуйте! как же возможно не любить! всех любить надо. Счастливых — за то, что они сумели себя счастливыми сделать; несчастных — за то, что у них радостей нет.

Так это сватовство и не состоялось. Потужила вдова Подвохина и даже пообещала годок подождать, но месяц-другой потерпела, да в рождественский мясоед и вышла замуж за городского голову Лиходеева. Теперь у них уж четыре лавки в гостином дворе; по будням они во всех четырех лавках торг ведут: она — по галантерейной части, он — по бакалейной; а по праздникам исправника и прочих властей пирогом угощают.

А дурак засел дома на родительской шее и ухом не ведет. На пожары бегает, больных выхаживает, нищих целыми табунами домой приводит.

— Хоть бы господь его прибрал! — шепчет папочка потихоньку, чтоб мамочка не слыхала.

А мамочка все молится, на милость божью надеется. Просветит господь разум Иванушкин пониманием, направит стопы его по стезе господина исправника, его помощника и непременного заседателя! Должен же он какую-нибудь должность по службе получить! не может быть, чтоб для всех было дело, и только для него одного — ничего.

Только один человек на дурака иными глазами взглянул, да и тот был случайный проезжий. Ехал он мимо города и завернул к папочке, с которым он старинный-старинный приятель был. Пошли сказы да рассказы: помянули старину, об увлечениях молодости досыта наговорились, а между прочим и настоящего коснулись. Папочка двери на всякий случай притворил, и оба, что было на душе, все выложили. Объяснились. Не сказали, а подумали: «Так вот, брат, ты кто!» Разумеется, не обошлось без жалоб и на дурака; а так как с ним уж не чинились, то так-таки, в его присутствии, прямо «дураком» его и чествовали. Заинтересовался проезжий рассказами о дураке,

остался ночевать у старого приятеля, а на другой день и говорит:

— Совсем он не дурак, а только подлых мыслей у него нет — от этого он и к жизни приспособиться не может. Бывают и другие, которые от подлых мыслей постепенно освобождаются, но процесс этого освобождения стоит больших усилий и нередко имеет в результате тяжелый нравственный кризис. Для него же и усилий никаких не требовалось, потому что таких пор в его организме не существовало, через которые подлая мысль заползти бы могла. Сама природа ему это дала. А впрочем, несомненно, что настанет минута, когда наплыв жизни силою своего гнета заставит его выбирать между дурачеством и подлостью. Тогда он *поймет*. Только не советовал бы я вам торопить эту минуту, потому что как только она пробьет, не будет на свете другого такого несчастного человека, как он. Но и тогда,— я в этом убежден,— он предпочтет остаться дураком.

Сказал это проезжий и проследовал из города дальше. А папочка между тем задумался. Начал всю свою жизнь перебирать, припоминая, какие у него подлые мысли бывали и каким манером он освобождался от них? И, разумеется, как ни строго себя экзаменовал, но вышел из испытания с честью. Никогда у него подлых мыслей не бывало, а следовательно, и освобождаться от них он надобности не ощущал. Отчего же, однако, он не дурак?

Наконец порешил на том, что у старого друга ум за разум зашел. «Сидят они там, в петербургских мурьях, да развиваются. Разовьются, да и заврутся. А мы вот засели по Пошехоньям: не развиваемся, да зато и не завираемся — так-то прочнее. И врет он всё: никакого дара природы в дурачестве нет, и ежели, по милости божией, мой дурак когда-нибудь умницей сделается, то, наверное, несчастным оттого не будет, а поступит на службу, да и начнет жить да поживать, как и прочие все».

Порешивши таким родом, стал ждать: вот-вот Иванушка просияет, и его, не в пример другим, на чреду служения призовут. Ан, вместо того, в одно прекрасное утро ему объявили, что дурак совсем из дома исчез.

. . . .

Прошли годы; старики-родители очи выплакали. Не было той минуты, в которую бы они не ждали; не было той мысли, которая бы, прямо или косвенно, не относилась к исчезнувшему дураку. Все перезабыли старики, только об одном помнили: «Где он теперь? сыт ли? одет ли? много ли дураку нужно, чтоб погибнуть!» Не дай бог врагу испытывать эту

пытку родительского сердца, которое все вины на себя берет, всеми детскими стонами, в тысячекратно раздающемся эхе, раздирается!

Однако дурак воротился. Внезапно, точно так же, как и исчез. Но от прежнего цветущего здоровьем дурака не осталось и следов. Он был бледен, худ и измучен. Где он скитался? что видел? понял или не понял? — никто ничего дознаться от него не мог. Пришел он домой и замолчал

Во всяком случае, проезжий был прав: так до смерти и осталась при нем кличка: *дурак.*

СОСЕДИ

В некотором селе жили два соседа: Иван Богатый да Иван Бедный. Богатого величали «сударем» и «Семенычем», а бедного — просто Иваном, а иногда и Ивашкой. Оба были хорошие люди, а Иван Богатый — даже отличный. Как есть во всей форме филантроп. Сам ценностей не производил, но о распределении богатств очень благородно мыслил. «Это, говорит, с моей стороны лепта. Другой, говорит, и ценностей не производит, да и мыслит неблагородно — это уж свинство. А я еще ничего». А Иван Бедный о распределении богатств совсем не мыслил (недосужно ему было), но, взамен того, производил ценности. И тоже говорил: «Это с моей стороны лепта».

Сойдутся они вечером под праздник, когда и бедным, и богатым — всем досужно, сядут на лавочку перед хоромами Ивана Богатого и начнут калякать.

— У тебя завтра с чем щи? — спросит Иван Богатый.

— С пу́стом,— ответит Иван Бедный.

— А у меня с убоиной.

Зевнет Иван Богатый, рот перекрестит, взглянет на Бедного Ивана, и жаль ему станет.

— Чудно́ на свете деется,— молвит он,— который человек постоянно в трудах находится, у того по праздникам пустые щи на столе; а который при полезном досуге состоит — у того и в будни щи с убоиной. С чего бы это?

— И я давно думаю: «С чего бы это?» — да недосуг раздумывать-то мне. Только начну думать, ан в лес за дровами ехать надобно; привез дров — смотришь, навоз возить или с сохой выезжать пора пришла. Так, между делом, мысли-то и уходят.

— Надо бы, однако, нам это дело рассудить.

— И я говорю: надо бы.

Зевнет и Иван Бедный с своей стороны, перекрестит рот,

пойдет спать и во сне завтрашние пустые щи видит. А на другой день проснется — смотрит, Иван Богатый сюрприз ему приготовил: убоины, ради праздника, вó щи прислал.

В следующий предпраздничный канун опять сойдутся соседи и опять за старую материю примутся.

— Веришь ли,— молвит Иван Богатый,— и наяву, и во сне только одно я и вижу: сколь много ты против меня обижен!

— И на этом спасибо,— ответит Иван Бедный.

— Хоть и я благородными мыслями немалую пользу обществу приношу, однако ведь ты... не выйди-ка ты вовремя с сохой — пожалуй, и без хлеба пришлось бы насидеться. Так ли я говорю?

— Это так точно. Только не выехать-то мне нельзя, потому что в этом случае я первый с голоду пропаду.

— Правда твоя: хитро эта механика устроена. Однако ты не думай, что я ее одобряю,— ни боже мой! Я только об одном и тужу: «Господи! как бы так сделать, чтобы Ивану Бедному хорошо было?! Чтобы и я — свою порцию, и он — свою порцию».

— И на этом, сударь, спасибо, что беспокоитесь. Это, действительно, что кабы не добродетель ваша — сидеть бы мне праздник на тюре на одной...

— Чтó ты! чтó ты! разве я об том! Ты об этом забудь, а я вот об чем. Сколько раз я решался: «Пойду, мол, и отдам полимения нищим!» И отдавал. И что же! Сегодня я отдал полимения, а на завтра проснусь — у меня, вместо убылой-то половины, целых три четверти опять объявилось.

— Значит, с процентом...

— Ничего, братец, не поделаешь. Я — от денег, а деньги — ко мне. Я бедному пригоршню, а мне, вместо одной-то, неведомо откуда, две. Вот ведь чудо какое!

Наговорятся и начнут позевывать. А между разговором Иван Богатый все-таки думу думает: «Чтó бы такое сделать, чтобы завтра у Ивана Бедного щи с убоиной были?» Думает-думает, да и выдумает.

— Слушай-ка, миляга! — скажет,— теперь уж недолго и до ночи осталось, сходи-ка ко мне в огород грядку вскопать. Ты шутя часок лопатой поковыряешь, а я тебя, по силе возможности, награжу,— словно бы ты и взаправду работал.

И действительно, поиграет лопатой Иван Бедный часок-другой, а завтра он с праздником, словно бы и «взаправду поработал».

Долго ли, короткò ли соседи таким манером калякали, только под конец так у Ивана Богатого сердце раскипелось, что и взаправду невтерпеж ему стало. «Пойду, говорит, к само-

му На́большему, паду перед ним и скажу: «Ты у нас око царево! ты здесь решишь и вяжешь, караешь и милуешь! Повели нас с Иваном Бедным в одну версту поверстать. Чтобы с него рекрут — и с меня рекрут, с него подвода — и с меня подвода, с его десятины грош — и с моей десятины грош. А души чтобы и его, и моя от акциза одинаково свободны были!»

И как сказал, так и сделал. Пришел к Набольшему, пал перед ним и объяснил свое горе. И Набольший за это Ивана Богатого похвалил. Сказал ему: «Исполать тебе, добру молодцу, за то, что соседа своего, Ивашку Бедного, не забываешь. Нет для начальства приятнее, как ежели государевы подданные в добром согласии и во взаимном радении живут, и нет того зла злее, как ежели они в сваре, в ненависти и в доносах друг на дружку время проводят!» Сказал это Набольший и, на свой страх, повелел своим помощникам, чтобы, в виде опыта, обоим Иванам суд равный был, и дани равные, а того бы, как прежде было: один тяготы несет, а другой песенки поет — впредь чтобы не было.

Воротился Иван Богатый в свое село, земли под собою от радости не слышит.

— Вот, друг сердешный,— говорит он Ивану Бедному,— своротил я, по милости начальнической, с души моей камень тяжелый! Теперь уж мне супротив тебя, в виде опыта, никакой вольготы не будет. С тебя рекрут — и с меня рекрут, с тебя подвода — и с меня подвода, с твоей десятины грош — и с моей грош. Не успеешь и ты оглянуться, как у тебя от одной этой поровёнки во щах ежеде́нь убоина будет!

Сказал это Иван Богатый, а сам, в надежде славы и добра, уехал на теплые воды, где года два сряду и находился при полезном досуге.

Был в Вестфалии — ел вестфальскую ветчину; был в Страсбурге — ел страсбургские пироги; в Бордо был — пил бордоское вино; наконец приехал в Париж — все вообще пил и ел. Словом сказать, так весело прожил, что насилу ноги унес. И все время об Иване Бедном думал: «То-то он теперь, после поровёнки-то, за обе щеки уписывает!»

А Иван Бедный между тем в трудах жил. Сегодня вспашет полосу, а завтра заборонует; сегодня скосит осьминник, а завтра, коли бог вёдрушко даст, сено сушить принимается. В кабак и дорогу позабыл, потому знает, что кабак — это погибель его. И супруга его, Марья Ивановна, заодно с ним трудится: и жнет, и боронует, и сено трясет, и дрова колет. И детушки у них подросли — и те так и рвутся хоть с эстолько поработать. Словом сказать, вся семья с утра до ночи словно в котле кипит, и все-таки пустые щи не сходят у нее со стола. А с тех

пор, как Иван Богатый из села уехал, так даже и по праздникам сюрпризов Иван Бедный не видит.

— Незадача нам,— говорил бедняга жене,— вот и сравняли меня, в виде опыта, в тягостях с Иваном Богатым, а мы все при прежнем интересе находимся. Живем богато, со двора покато; чего ни хватись, за всем в люди покатись.

Так и ахнул Иван Богатый, как увидел соседа в прежней бедности. Признаться сказать, первою его мыслью было, что Ивашка в кабак прибытки свои таскает. «Неужели он так закоренел? неужели он неисправим?» — восклицал он в глубоком огорчении. Однако Ивану Бедному не стоило никакого труда доказать, что у него не только на вино, но и на соль не всегда прибытков достаточно. А что он не мот, не расточитель, а хозяин радетельный, так и тому доказательства были налицо. Показал Иван Бедный свой хозяйственный инвентарь, и все оказалось в целости, в том самом виде, в каком было до отъезда богатого соседа на теплые воды. Лошадь гнедая покалеченная — 1; корова бурая, с подпалиной — 1; овца — 1; телега, соха, борона. Даже старые дровнишки — и те прислонены к забору стоят, хотя, по летнему времени, надобности в них нет и, стало быть, можно было бы, без ущерба для хозяйства, их в кабаке заложить. Затем осмотрели и избу — и там все налицо, только с крыши местами солома повыдергана; но и это произошло оттого, что позапрошлой весной кормов недостало, так из прелой соломы резку для скота готовили.

Словом сказать, не оказалось ни единого факта, который обвинял бы Ивана Бедного в разврате или в мотовстве. Это был коренной, задавленный русский мужик, который напрягал все усилия, чтобы осуществить все свое право на жизнь, но, по какому-то горькому недоразумению, осуществлял его лишь в самой недостаточной степени.

— Господи! да с чего ж это? — тужил Иван Богатый,— вот и поравняли нас с тобой, и права у нас одни, и дани равные платим, и все-таки пользы для тебя не предвидится — с чего бы?

— Я и сам думаю: «С чего бы?» — уныло откликнулся Иван Бедный.

Стал Иван Богатый умом раскидывать и, разумеется, нашел причину. Оттого, мол, так выходит, что у нас нет ни общественного, ни частного почина. Общество — равнодушное; частные люди — всякий об себе промышляет; правители же хоть и напрягают силы, но вотще. Стало быть, прежде всего надо общество подбодрить.

Сказано — сделано. Собрал Иван Семеныч Богатый на селе сходку и в присутствии всех домохозяев произнес блестя-

щую речь о пользе общественного и частного почина... Говорил пространно, рассыпчато и вразумительно, словно бисер перед свиньями метал; доказывал примерами, что только те общества представляют залог преуспеяния и живучести, кои сами о себе промыслить умеют; те же, кои предоставляют событиям совершаться помимо общественного участия, те сами себя заранее обрекают на постепенное вымирание и конечную погибель. Словом сказать, все, что в Азбуке-Копейке вычитал, все так и выложил пред слушателями.

Результат превзошел все ожидания. Посадские люди не только прозрели, но и прониклись самосознанием. Никогда не испытывали они такого горячего наплыва разнообразнейших ощущений. Казалось, к ним внезапно подкралась давно желанная, но почему-то и где-то задерживавшаяся жизненная волна, которая высоко-высоко подняла на себе этот темный люд. Толпа ликовала, наслаждаясь своим прозрением; Ивана Богатого чествовали, называли героем. И в заключение единогласно постановили приговор: 1) кабак закрыть навсегда; 2) положить основание самопомощи, учредив Общество Доброхотной Копейки.

В тот же день, по числу приписанных к селу душ, в кассу общества поступило две тысячи двадцать три копейки, а Иван Богатый, сверх того, пожертвовал неимущим сто экземпляров Азбуки-Копейки, сказав: «Читайте, други! тут все есть, что для вас нужно!»

Опять уехал Иван Богатый на теплые воды, и опять остался Иван Бедный при полезных трудах, которые на сей раз, благодаря новым условиям самопомощи и содействию Азбуки-Копейки, несомненно должны были принести плод сторицею.

Прошел год, прошел другой. Ел ли в течение этого времени Иван Богатый в Вестфалии вестфальскую ветчину, а в Страсбурге — страсбургские пироги, достоверно сказать не умею. Но знаю, что когда он, по окончании срока, воротился домой, то в полном смысле слова обомлел.

Иван Бедный сидел в развалившейся лачуге, худой, отощалый; на столе стояла чашка с тюрей, в которую Марья Ивановна, по случаю праздника, подлила, для запаха, ложку конопляного масла. Детушки обсели кругом стола и торопились есть, как бы опасаясь, чтоб не пришел чужак и не потребовал сиротской доли.

— С чего бы это? — с горечью, почти с безнадежностью, воскликнул Иван Богатый.

— И я говорю: «С чего бы это?» — по привычке отозвался Иван Бедный.

Опять начались предпраздничные собеседования на лавочке перед хоромами Ивана Богатого; но как ни всесторонне рассматривали собеседники удручавший их вопрос, ничего из этих рассмотрений не вышло. Думал было сначала Иван Богатый, что оттого это происходит, что не дозрели мы; но рассудив, убедился, что есть пирог с начинкою — вовсе не такая трудная наука, чтоб для нее был необходим аттестат зрелости. Попробовал было он поглубже копнуть, но с первого же абцуга такие пугала из глубины повыскакали, что он сейчас же дал себе зарок — никогда ни до чего не докапываться. Наконец решились на последнее средство: обратиться за разъяснением к местному мудрецу и филозо́фу Ивану Простофиле.

Простофиля был коренной сельчанин, колченогий горбун, который, по случаю убожества, ценностей не производил, а питался тем, что круглый год в кусочки ходил. Но в селе про него говорили, что он умен, как поп Семен, и он вполне оправдывал эту репутацию. Никто лучше его не умел на бобах развести и чудеса в решете показать. Посулит Простофиля красного петуха — глядь, ан петух уж где-нибудь на крыше крыльями хлопает; посулит град с голубиное яйцо — глядь, ан от града с поля уж ополоумевшее стадо бежит. Все его боялись, а когда под окном раздавался стук его нищенской клюки, то хозяйка-стряпуха торопилась как можно скорее подать ему лучший кусок.

И на этот раз Простофиля вполне оправдал свою репутацию прозорливца. Как только Иван Богатый изложил пред ним обстоятельства дела и затем предложил вопрос: «С чего бы?» — Простофиля тотчас же, нимало не задумываясь, ответил:

— Оттого, что в планту́ так значится.

Иван Бедный, по-видимому, сразу понял Простофилину речь и безнадежно покачал головой. Но Богатый Иван решительно недоумевал.

— Плант такой есть,— пояснил Простофиля, отчетливо произнося каждое слово и как бы наслаждаясь собственным прозорливством,— и в оном планту значится: живет Иван Бедный на распутии, а жилище у него не то изба, не то решето дырявое. Вот богачество-то и течет все мимо да скрозь, потому задержки себе не видит. А ты, Богатый Иван, живешь у самого стёка, куда со всех сторон ручьи бегут. Хоромы у тебя просторные, справные, частоколы кругом выведены крепкие. Притекут к твоему жительству ручьи с богачеством — тут и застрянут. И ежели ты, к примеру, вчера пол-имения роздал, то сегодня к тебе на смену целых три четверти привалило. Ты — от денег, а деньги — к тебе. Под какой куст ты ни заглянешь,

везде богачество лежит. Вот он каков, этот плант. И сколько вы промеж себя ни калякайте, сколько ни раскидывайте умом — ничего не выдумаете, покуда в оном планту так значится.

ЗДРАВОМЫСЛЕННЫЙ ЗАЯЦ

Хоть и обыкновенный это был заяц, а преумный. И так здраво рассуждал, что и ослу впору. Притаится под кустом, чтоб не видать его было, и сам с собой разговаривает.

— Всякому, говорит, зверю свое житье предоставлено. Волку — волчье, льву — львиное, зайцу — заячье. Доволен ты или недоволен своим житьем, никто тебя не спрашивает: живи, только и всего. Нашего брата, зайца, например, все едят — кажется, имели бы мы основание на сие претендовать? Однако, ежели рассудить здраво, то едва ли подобная претензия могла бы назваться правильною. Во-первых, кто ест, тот знает, зачем и почему ест; а во-вторых, если бы мы и правильно претендовали, от этого нас есть не перестанут. Сверх препорции все равно не будут есть, а сколько надо — непременно съедят. Статистические таблицы, при министерстве внутренних дел издаваемые...

На этом заяц обыкновенно засыпал, потому что статистика имела свойство приводить его в беспамятство. Но выспится и опять примется здраво рассуждать.

— Едят нас, едят, а мы, зайцы, что год, то больше плодимся. Стало быть, и нам пальца в рот не клади. И летом, и зимой, посмотри на поляну — то и дело, что зайцы вдоль и поперек сигают. Заберемся мы в капустники или в овсы, или около молодых яблонь пристроимся,— пожалуй, и от нашего брата солоно мужичку придется. Да, и за нами, за зайцами, глаз да глаз нужен. Недаром статистические таблицы, при министерстве внутренних дел издаваемые...

Новый сон, новые пробуждения, новые здравые мысли. Без конца заяц умную свою канитель разводил; и так прикинет, и этак смекнет — и все у него хорошо выходило. И что всего дороже — ни карьеры он при этом в виду не имел, ни перед начальством оригинальностью взглядов блеснуть не рассчитывал (он знал, что начальство, не выслушавши его, съест), а просто-напросто сам для себя любил солидно, по-заячьи, обо всем рассудить. Дескать,

> Неправо о вещах те думают, Шувалов,
> Которые стекло чтут ниже минералов...

Вот, мол, у нас ка́к!

Сидел он однажды таким манером под кустиком, да и вздумал перед зайчихой своей здравыми мыслями щегольнуть. Встал на задние ножки, ушки на макушку взбодрил, передними лапками штуки-фигуры выделывает, а языком, слово за словом, точно горох, так и сыплет.

— Нет, говорит, мы, зайцы, даже очень хорошо прожить можем. Мы и свадьбы справляем, и хороводы водим, и пиво в престольные праздники варим. Расставим верст на десять сторожей, да и горланим. А волк услышит, да и прибежит: «Кто песни пел?..» Ну, тут, натурально, кто куда поспел! Успел улепетнуть — в другом месте пиво вари; не успел — съест тебя волк, как пить даст! И ничего ты с этим не поделаешь. Зайчиха! правду ли я говорю?

— Коли не врешь, так правду говоришь,— ответила зайчиха, которая уже за десятым мужем за этим зайцем была, и все прежние девятеро у нее на глазах напрасною смертью погибли.

— Подлый народ эти волки — это правду надо сказать. Все у них только разбой на уме! — продолжал заяц.— Сколько раз я и говорил, и в газетах писал: «Господа волки! вместо того, чтоб зайца сразу резать, вы бы только шкурку с него содрали — он бы, спустя время, другую вам предоставил! Заяц, хошь он и плодущ, однако, ежели сегодня целый косяк вырезать, да завтра другой косяк — глядь, ан на базаре-то, вместо двугривенного, заяц уж в полтину вскочил! А кабы вы чередóм пришли: «Господа, мол, зайцы! не угодно ли на сегодняшнюю волчью трапезу столько-то десятков штук предоставить?» — «С удовольствием, господа волки! Эй, староста! гони очередных!» И шло бы у нас все по закону, как следует. И волки, и зайцы — все бы в надежде были. И мы бы, и вы бы, и с одной стороны, и с другой стороны... ах, господа, господа!»

Говорил-говорил заяц и чуть было совсем не зарапортовался, как вдруг услышал, что неподалёчку, в траве, что-то шуршит. Смотрит, ан зайчиха-то его давно стречка дала, а лиса-кляузница легла на брюхо, да и ползет на него, словно поиграть с заинькой собралась.

— Вон ты какой, заяц, умный! — первая заговорила лиса,— так ты сладко растабарываешь, что век бы я тебя слушала, и все бы слушать хотелось!

Умен был заяц, а спервоначалу и он обомлел. Стоит на задних лапках, как вкопанный, не то в сторону глазами косит, куда бы стречка дать, не то обдумывает: «Вот оно, когда пришлось с здравой точки зрения на свое положение взглянуть...»

— Голодна, тетенька? — спросил он, стараясь как можно меньше робеть.

— И! что ты! господь с тобой! да я пресытехонька! разве потом что будет, а теперь — и боже меня сохрани! Здравствуй, заинька, будь здоров!

Села лиса по-собачьему и заиньку присесть пригласила; и он ножки под себя поджал. Поджал, сердечный, и все сам с собой рассуждает: «Как, мол, я ожидал, так, по-моему, и вышло. Всякому зверю свое житье: льву — львиное, лисе — лисье, зайцу — заячье. Ну-тка, вывози теперь, заячье житье!»

А лисица точно читает в его сокровенных мыслях, сидит, да, знай, заиньку похваливает.

— И откуда ты к нам, такой филосóф, пожаловал?

— Недавно я, тетенька, из-за тридевять земель, как угорелый, сюда прикатил. Жил я в своем месте, можно сказать, даже очень хорошо. И семейство у меня было, и обзаведеньице, и все такое. Целую зиму мы у помещика на скотном дворе в омете припеваючи прожили: днем спим, а ночью кленков да яблонек погрызем. Уж дело к весне шло, в лес бы собираться на дачу пора, ан к нам в омет волк пожаловал. «Какие такие звери? по какому виду? с чьего разрешения?..» Я-то, признаться, убег, а зайчиха с зайчатами...

— Слышала я об этом. Волк-то мне кумом приходится, так сказывал. «Намеднись, говорит, я целое заячье гнездо разорил, а заяц убег, так как бы нам, кума, его разыскать?» Ан ты вот он — он. Смотри, жену-то, чай, жалко было?

— Уж и не помню. Вижу, что надо бежать,— и побежал. Прибежал, смотрю — зайчиха-вдова сидит: «Давай, мол, вместе жить!» И стали жить. Жили мы с ней, нельзя похаять, исправно, а теперь вот она убежала, а я остался.

— Ах ты, горюн, горюн! Ну, дай срок, мы ее изы́мем!

Лисица зевнула, легонько куснула зайца за ляжку (он, однако, сделал вид, что не заметил), повалилась на бок, откинула голову и зажмурилась.

— Ишь ведь солнце-то жарит,— лениво пробормотала она,— словно дело делает! Сём, я вздремну, а ты тем временем сядь поближе да покалякай.

Так и сделали. Лиса задремала, а заяц с таким расчетом сел, чтоб лисе его во всякое время мордой достать было можно, и начал сказки сказывать.

— Я, тетенька, не привередлив,— говорил он,— я всячески жить согласен. И трех лет еще нет, как я на свете живу, а уж чуть не половину России обегал. Только что в одном месте оснуёшься — глядь, либо волк, либо сова, либо охотнички с облавой на тебя собрались. Беги, сломя голову, устраивайся по-новому за тридевять земель. Но я на это не ропщу, потому понимаю, что такова есть заячья жизнь. А ежели иной раз и не

понимаю, то и не понимаючи все-таки бегу. Все одно как мужики в наших местах. Он спать собрался, а под окном у него — тук-тук! «Ступай, дядя Михей, с подводой!» На дворе метель, стыть, лошаденка у него чуть дышит, а он навалит на подводу солдат, да и прет двадцать верст около саней пешком. Через сутки, гляди, опять домой вернулся, ребятам пряника привез, жене — платок на голову, всем вообще — слезы. Спроси его: «Чтó сие означает?» — он тебе ответит: «Означает сие мужицкую жизнь». Так-то и мы, зайцы. Жить — живем, а рук на себя не накладываем. Всегда мы готовы... Так ли я, тетенька, говорю?

Лиса, вместо ответа, тихо лайнула, точно во сне; заяц искоса взглянул на нее: «Не спит ли, мол, тетенька?» Не было ли у него при этом на уме, в случае чего, стречка дать? — Наверное сказать не могу, но очень возможно, что и такого рода политика в программу заячьей жизни входит. Однако хотя лиса не только глаза зажмурила, но легла на спину и даже ноги, подлая, распялила, но заяц чутьем догадался, что она это комедии перед ним разыгрывает.

— Расскажу я тебе,— продолжал он,— как у меня дядя у одного солдата в услужении жил. Поймал его солдат еще махонького и всему солдатскому обиходу выучил. Из ружья ли выпалить, артикул ли выкинуть, смаршировать ли, в барабан ли зóрю отбить — на все дядя за первый сорт был. Ездят, бывало, вдвоем по базарам, представленья показывают, а им — кто яйцо, кто копеечку, кто хлеба кусок, Христа ради, подаст. Так вот этот самый солдат житие свое дяде рассказывал.— «Жил я, говорит, в дому у родителей, и послал меня однажды батюшка сани на зиму изладить. Излаживаю я, песенки попеваю, трубочку покуриваю — вдруг десятский на двор: «Ступай, Семен, в волостную, тебя в солдаты требуют». Я, в чем был, в том и ушел; хорошо, что трубку-то в штаны спрятать успел. Ушел, да двадцать лет после того и пропонтировал [1]. А через двадцать лет воротился в свое место — ни кола, ни двора, чисто!..» Так вот оно,— прибавил рассудительно заяц,— мужичья-то жизнь как оборачивается! Сейчас он — мужик, а сейчас — солдат, и то и другое житьем называется. Так-то вот и с нами, зайцами...

— Неужто ж и вас в солдаты отдают? — спросила лиса, точно сейчас проснулась.

— Нет, нас едят,— ответил заяц как можно веселее.

---

[1] Заяц, очевидно, говорит про очень старинные времена, когда солдатская служба продолжалась не меньше 20 лет и когда рекрутов, из опасения, чтобы они не бежали в дороге, забивали в колодки. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

— И я тоже думаю, потому что какие же вы солдаты! хуже старинной гарнизы, которую славный генерал Бибиков «негодницей» звал. И дядю-то твоего, поди, солдат под конец съел?

— Нет, солдат-то умер, а дядя в ту пору бежал. Пришел домой, а заячьей работы работать не может — отвык. И тетка задаром кормить его не согласна. Вот он однажды и надумал: «Пойду в село на базар, буду комедии представлять». Да только что зачал «кавалерийскую рысь» на барабане отхватывать — его собаки и разорвали!

— И поделом: зачем публику беспокоил. Впрочем, ведь дядя-то твой, чай, и зараньше знал, что когда-нибудь да съедят его. Не собаки, так волк, не волк, так лисица. Резолюция-то вам всем одна. Ну, а покуда что, скажи мне: лисицы-то каковы в вашей стороне? Лихи, чай?

— В нашей стороне лисицы, нужно правду сказать, даже очень лихи. Я-то ни с одной близко не встречался, а видел, как однажды лисицу, у меня в глазах, охотничек заполевал. И, признаться...

Заяц хотел сказать: «обрадовался», но спохватился и оробел; однако лиса отгадала его мысль.

— Вот ведь ты кровопивец какой! — укорила она его и так больно укусила ему бок, что из раны полилась кровь.

— Ах! — взвизгнул заяц от боли, но в одну минуту сдержал себя и молодецки поправился,— это я, ваше высокое степенство, о тамошних лисах говорю, а здешние лисицы, сказывают, добрые.

— Ой ли?

— Верно говорю. В прошлом году у нас в лесу зайчик-сирота остался, так одна лисица его с своими детьми, слышь, воспитала.

— Вырастила, значит, и выпустила? Где ж он теперь, сиротка-то ваш?

— Кто его знает, где он теперь... Пропал будто. Поворовывать, говорят, начал, скружился, а наконец, и лисицу молоденькую соблазнил. За это будто бы его старуха-лисица и съела.

— Я его съела, я — та самая лисица и есть, о которой ты слышал. Только не за то я его съела, что он скружился и в разврат впал, а за то, что пора его приспела.

Лисица на минуту задумалась и щелкнула зубами, поймав блоху. Потом, не торопясь, встала, встряхнулась и совершенно добродушно спросила зайца:

— А теперь, как ты полагаешь, кого я есть буду?

Умен был заяц, а не угадал. Или, лучше сказать, у него

тогда же в уме мелькнуло: «Вот оно, заячье-то житье... начинается!» — но ему смерть не хотелось даже самому себе признаться в этом.

— Не знаю,— ответил он.

Однако и по лицу, и по голосу его так было явно, что он лжет, что лиса не на шутку рассердилась.

— Вот ты какой лгун! — сказала она.— Мне про тебя и невесть чего наговорили: и филозоф-то ты, и сердцеведец-то, а выходит, что ты самый обыкновенный, плохой зайчонко! Тебя буду есть! тебя, сударь, тебя!

Лиса отпрянула назад и сделала вид, что вот-вот сейчас бросится на зайца и съест. Но вслед за тем она села и, как ни в чем не бывало, начала задней ногой за ухом чесать.

— А может быть, ты и помилуешь? — вполголоса сделал робкое предположение заяц.

— Час от часу не легче! — еще пуще рассердилась лиса,— где ты это слыхал, чтобы лисицы миловали, а зайцы помилование получали? Разве для того мы с тобой, фофан ты этакой, под одним небом живем, чтобы в помилованья играть... а?

— Ну, тетенька, примеры-то эти бывали! — настаивал заяц, все еще хорохорясь. Но тут же, впрочем, упал духом и затосковал.

Вспомнилось ему, как он из конца в конец бегал, словно мужик-раскольщик, «вышнего града взыскуя»; как он по целым суткам в дупле, не евши, дрожал; как однажды, от лихого зверя спасаясь, он в подполицу к мужику расскакался, да благо в ту пору великий пост был, мужик-от его и выпустил. Вспомнил про своих зайчих-любушек, как он вместе с ними зайчат зоблил, и как ни с одной порядком даже надышаться не успел. И, вспоминая, то и дело втихомолку твердил:

— Ах, кабы пожить! Ах, кабы хоть чуточку еще пожить!

А лиса, тем временем, и взаправду приятный сюрприз зайцу приготовила.

— Слушай, подлый зайчишко,— сказала она,— я ведь думала, что ты в самом деле филозоф, а тебя между тем, вишь, как от одной мысли о смерти коробит. Так вот я какую для тебя вольготу придумала. Отойду я на четыре сажени вперед, сяду к тебе задом и не буду на тебя, на гаденка этакого, целых пять минут смотреть. А ты в это время старайся мимо меня так пробежать, чтобы я тебя не поймала. Успеешь улизнуть — твоя взяла; не успеешь — сейчас тебе резолюция готова.

— Ах, тетенька, где уже мне!

— Глупый! ежели и не улизнешь, так все-таки время проведешь. Делом займешься, потрафлять будешь — ан тоски-то

и убавится. Все равно, как солдат на войне: потрафляет да потрафляет — смотришь, ан и пропал!

Заяц подумал-подумал и должен был согласиться, что лиса хорошо придумала. Между делом быть съеденным все-таки вольготнее, нежели в томительно-праздном ожидании. Настоящая-то заячья смерть именно такова и есть, чтобы на всем скаку: бежишь во весь опор, ан тут тебе и капут.

«Ничего ты не понимаешь, что с тобой делается, а тебя вдруг пополам разорвали! — соображал заяц и машинально прибавил,— а может быть...»

— Ну, эти фантазии-то ты оставь! — предупредила его лиса, угадав неясную надежду, мелькнувшую у него в голове.— Ты лучше уж без фантазий... раз, два, три! господи благослови, начинай!

Сказавши это, лиса отошла на четыре сажени вперед, предварительно посадивши зайца задом к частому-частому кустарнику, чтобы никак он не мог назад убежать, а бежал бы не иначе, как мимо нее.

Села лисица и занялась своим делом, словно и не видит зайца. Но заяц нимало не сомневался, что если б она и еще на четыре сажени вперед отошла, то и тогда ни одно самомалейшее его движение не ускользнуло бы от нее. Несколько раз он вскакивал на ноги и уши на спину складывал; несколько раз он весь собирался в комок, намереваясь сделать какой-то диковинный скачок, благодаря которому он сразу очутился бы вне преследования; но уверенность, что лиса, и не видя, все видит, приводила его в оцепенение. Тем не менее лиса все-таки была, по-своему, права: у зайца, действительно, нашлось заячье дело, которое в значительной мере агонию его смягчило.

Наконец урочные пять минут истекли, застав зайца неподвижным на прежнем месте и всецело погруженным в созерцание своего заячьего дела.

— Ну, теперь давай, заяц, играть! — предложила лисица.

Начали они играть. С четверть часа лисица прыгала вокруг зайца: то укусит его и совсем уж сберется горло перервать, то прыгнет в сторону и задумается: «Не простить ли, мол?» Но даже и это было для зайца своего рода дело, потому что ежели он и не оборонялся взаправду, то все-таки лапками закрывался, верезжал...

Но через четверть часа все было кончено. Вместо зайца остались только клочки шкуры да здравомысленные его слова: «Всякому зверю свое житье: льву — львиное, лисе — лисье, зайцу — заячье».

ЛИБЕРАЛ

В некоторой стране жил-был либерал, и притом такой откровенный, что никто слова не молвит, а он уж во все горло гаркает: «Ах, господа, господа! что вы делаете! ведь вы сами себя губите!» И никто на него за это не сердился, а, напротив, все говорили: «Пускай предупреждает — нам же лучше!»

— Три фактора,— говорил он,— должны лежать в основании всякой общественности: свобода, обеспеченность и самодеятельность. Ежели общество лишено свободы, то это значит, что оно живет без идеалов, без горения мысли, не имея ни основы для творчества, ни веры в предстоящие ему судьбы. Ежели общество сознает себя необеспеченным, то это налагает на него печать подавленности и делает равнодушным к собственной участи. Ежели общество лишено самодеятельности, то оно становится неспособным к устройству своих дел и даже мало-помалу утрачивает представление об отечестве.

Вот как мыслил либерал, и, надо правду сказать, мыслил правильно. Он видел, что кругом него люди, словно отравленные мухи, бродят, и говорил себе: «Это оттого, что они не сознают себя строителями своих судеб. Это колодники, к которым и счастие, и злосчастие приходит без всякого с их стороны предвидения, которые не отдаются беззаветно своим ощущениям, потому что не могут определить, действительно ли это ощущения, или какая-нибудь фантасмагория». Одним словом, либерал был твердо убежден, что лишь упомянутые три фактора могут дать обществу прочные устои и привести за собою все остальные блага, необходимые для развития общественности.

Но этого мало: либерал не только благородно мыслил, но и рвался благое дело делать. Заветнейшее его желание состояло в том, чтобы луч света, согревавший его мысль, прорезал окрестную тьму, осенил ее и все живущее напоил благоволением. Всех людей он признавал братьями, всех одинаково призывал насладиться под сенью излюбленных им идеалов.

Хотя это стремление перевести идеалы из области эмпиреев на практическую почву припахивало не совсем благонадежно, но либерал так искренно пламенел, и притом был так мил и ко всем ласков, что ему даже неблагонадежность охотно прощали. Умел он и истину с улыбкой высказать, и простачком, где нужно, прикинуться, и бескорыстием щегольнуть. А главное, никогда и ничего он не требовал наступя на горло, а всегда только *по возможности*.

Конечно, выражение «по возможности» не представляло для его ретивости ничего особенно лестного, но либерал при-

мирялся с ним, во-первых, ради общей пользы, которая у него всегда на первом плане стояла, и, во-вторых, ради ограждения своих идеалов от напрасной и преждевременной гибели. Сверх того, он знал, что идеалы, его одушевляющие, имеют слишком отвлеченный характер, чтобы воздействовать на жизнь непосредственным образом. Что́ такое свобода? обеспеченность? самодеятельность? Все это отвлеченные термины, которые следует наполнить несомненно осязательным содержанием, чтобы в результате вышло общественное цветение. Термины эти, в своей общности, могут воспитывать общество, могут возвышать уровень его верований и надежд, но блага осязаемого, разливающего непосредственное ощущение довольства, принести не могут. Чтобы достичь этого блага, чтобы сделать идеал общедоступным, необходимо разменять его на мелочи и уже в этом виде применять к исцелению недугов, удручающих человечество. Вот тут-то, при размене на мелочи, и вырабатывается само собой это выражение: «по возможности», которое, из двух приходящих в соприкосновение сторон, одну заставляет *в известной степени* отказаться от замкнутости, а другую — *в значительной степени* сократить свои требования.

Все это отлично понял наш либерал и, заручившись этими соображениями, препоясался на брань с действительностью. И прежде всего, разумеется, обратился к сведущим людям.

— Свобода — ведь, кажется, тут ничего предосудительного нет? — спросил он их.

— Не только не предосудительно, но и весьма похвально,— ответили сведущие люди,— ведь это только клевещут на нас, будто бы мы не желаем свободы; в действительности мы только об ней и печалимся... Но, разумеется, в пределах...

— Гм... «в пределах»... понимаю! А что вы скажете насчет обеспеченности?

— И это милости просим... Но, разумеется, тоже в пределах.

— А как вы находите мой идеал общественной самодеятельности?

— Его только и недоставало. Но, разумеется, опять-таки в пределах.

Что ж! в пределах, так в пределах! Сам либерал хорошо понимал, что иначе нельзя. Пусти-ка савраса без узды — он в один момент того накуролесит, что годами потом не поправишь! А с уздою — святое дело! Идет саврас и оглядывается: а ну-тко я тебя, саврас, кнутом шарахну... вот так!

И начал либерал «в пределах» орудовать: там урвет, тут урежет; а в третьем месте и совсем спрячется. А сведущие люди глядят на него и не нарадуются. Одно время даже так

работой его увлеклись, что можно было подумать, что и они либералами сделались.

— Действуй! — поощряли они его,— тут обойди, здесь стушуй, а там и вовсе не касайся. И будет все хорошо. Мы бы, любезный друг, и с радостью готовы тебя, козла, в огород пустить, да сам видишь, каким тыном у нас огород обнесен!

— Вижу-то, вижу,— соглашался либерал,— но только как мне стыдно свои идеалы ломать! так стыдно! ах, как стыдно!

— Ну, и постыдись маленько: стыд глаза не выест! зато, *по возможности,* все-таки затею свою выполнишь!

Однако, по мере того, как либеральная затея *по возможности* осуществлялась, сведущие люди догадывались, что даже и в этом виде идеалы либерала не розами пахнут. С одной стороны, чересчур широко задумано; с другой стороны — недостаточно созрело, к восприятию не готово.

— Невмоготу нам твои идеалы! — говорили либералу сведущие люди,— не готовы мы, не выдержим!

И так подробно и отчетливо все свои несостоятельности и подлости высчитывали, что либерал, как ни горько ему было, должен был согласиться, что, действительно, в предприятии его существует какой-то фаталистический огрех: не лезет в штаны, да и баста.

— Ах, как это печально! — роптал он на судьбу.

— Чудак! — утешали его сведущие люди,— есть отчего плакать! Тебе что́ нужно? — будущее за твоими идеалами обеспечить? — так ведь мы тебе в этом не препятствуем. Только не торопись ты, ради Христа! Ежели нельзя «по возможности», так удовольствуйся тем, что отвоюешь «хоть что-нибудь»! Ведь и «хоть что-нибудь» свою цену имеет. Помаленьку да полегоньку, не торопясь да богу помолясь — смотришь, ан одной ногой ты уж и в капище! В капище-то, с самой постройки его, никто не заглядывал; а ты взял да и заглянул... И за то бога благодари.

Делать нечего, пришлось и на этом помириться. Ежели нельзя «по возможности», так «хоть что-нибудь» старайся урвать, и на том спасибо скажи. Так либерал и поступил, и вскоре так свыкся с своим новым положением, что сам дивился, как он был так глуп, полагая, что возможны какие-нибудь иные пределы. И уподобления всякие на подмогу к нему явились. И пшеничное, мол, зерно не сразу плод дает, а также поцеремонится. Сперва надо его в землю посадить, потом ожидать, покуда в нем произойдет процесс разложения, потом оно даст росток, который прозябнет, в трубку пойдет, восколосится и т. д. Вот через сколько волшебств должно перейти зерно прежде, нежели даст плод сторицею! Так же и тут, в погоне

за идеалами. Посадил в землю «хоть что-нибудь» — сиди и жди.

И точно: посадил либерал в землю «хоть что-нибудь» — сидит и ждет. Только ждет-пождет, а не прозябает «хоть что-нибудь» и вся недолга. На камень оно, что ли, попало или в навозе сопрело — поди, разбирай!

— Что за причина такая? — бормотал либерал в великом смущении.

— Та самая причина и есть, что загребаешь ты чересчур широко,— отвечали сведущие люди.— А народ у нас между тем слабый, расподлеющий. Ты к нему с добром, а он норовит тебя же в ложке утопить. Большую надо сноровку иметь, чтобы с этим народом в чистоте себя сохранить!

— Помилуйте! что уж теперь о чистоте говорить! С каким я запасом-то в путь вышел, а кончил тем, что весь его по дороге растерял. Сперва «по возможности» действовал, потом на «хоть что-нибудь» съехал — неужто можно и еще дальше под гору идти?

— Разумеется, можно. Не хочешь ли, например, «применительно к подлости»?

— Как так?

— Очень просто. Ты говоришь, что принес нам идеалы, а мы говорим: «Прекрасно; только ежели ты хочешь, чтобы мы восчувствовали, то действуй применительно».

— Ну?

— Значит, идеалами-то не превозносись, а по нашему масштабу их сократи, да применительно и действуй. А потом, может быть, и мы, коли пользу увидим... Мы, брат, тоже травленые волки, прожектеров-то видели! Намеднись генерал Крокодилов вот этак же к нам отъявился: «Господа, говорит, мой идеал — кутузка! пожалуйте!» Мы сдуру-то поверили, а теперь и сидим у него под ключом.

Крепко задумался либерал, услышав эти слова. И без того от первоначальных его идеалов только одни ярлыки остались, а тут еще подлость прямую для них прописывают! Ведь этак, пожалуй, не успеешь оглянуться, как и сам в подлецах очутишься. Господи! вразуми!

А сведущие люди, видя его задумчивость, с своей стороны, стали его понуждать. «Коли ты, либерал, заварил кашу, так уж не мудри, вари до конца! Ты нас взбудоражил, ты же нас и ублаготвори... действуй!»

И стал он действовать. И все применительно к подлости. Попробует иногда, грешным делом, в сторону улизнуть; а сведущий человек сейчас его за рукав: «Куда, либерал, глаза скосил? гляди прямо!»

Таким образом шли дни за днями, а за ними шло вперед и дело преуспеяния «применительно к подлости». Идеалов и в помине уж не было — одна мразь осталась — а либерал все-таки не унывал. «Что ж такое, что я свои идеалы по́ уши в подлости завязил? Зато я сам, яко столп, невредим стою! Сегодня я в грязи валяюсь, а завтра выглянет солнышко, обсушит грязь — я и опять молодец-молодцом!» А сведущие люди слушали эти его похвальбы и поддакивали: «Именно так!»

И вот, шел он однажды по улице с своим приятелем, по обыкновению, об идеалах калякал и свою мудрость на чем свет превозносил. Как вдруг он почувствовал, словно бы на щеку ему несколько брызгов пало. Откуда? с чего? Взглянул либерал наверх: не дождик ли, мол? Однако видит, что в небе ни облака, и солнышко, как угорелое, на зените играет. Ветерок хоть и подувает, но так как помои из окон выливать не указано, то и на эту операцию подозрение положить нельзя.

— Что́ за чудо! — говорит приятелю либерал,— дождя нет, помоев нет, а у меня на щеку брызги летят!

— А видишь, вон за углом некоторый человек притаился,— ответил приятель,— это его дело! Плюнуть ему на тебя за твои либеральные дела захотелось, а в глаза сделать это смелости не хватает. Вот он, «применительно к подлости», из-за угла и плюнул; а на тебя ветром брызги нанесло.

БАРАН-НЕПОМНЯЩИЙ

> Домашние бараны с незапамятных времен живут в порабощении у человека; их настоящие родоначальники неизвестны.
>
> *Брэм*

Были ли когда-нибудь домашние бараны «вольными» — история об этом умалчивает. В самой глубокой древности патриархи уже обладали стадами прирученных баранов, и затем, через все века, баран проходит распространенным по всему лицу земли в качестве животного, как бы нарочито на потребу человека созданного. Человек, в свою очередь, создает целые особые породы баранов, почти не имеющие между собою ничего общего. Одних воспитывают для мяса, других — для сала, третьих — ради теплых овчин, четвертых — ради обильной и мягкой волны.

Сами домашние бараны, конечно, всего меньше о вольном прародителе своем помнят, а просто знают себя принадлежащими к той породе, в которой застал их момент рождения.

Этот момент составляет исходную точку личной бараньей истории, но даже и он постепенно тускнеет, по мере вступления барана в зрелый возраст. Так что истинно мудрым называется только тот баран, который ничего не помнит и не сознает, кроме травы, сена и месятки, предлагаемых ему в пищу.

Однако грех да беда на кого не живет. Спал однажды некоторый баран и увидел сон. Должно быть, не одну месятку во сне видел, потому что проснулся тревожный и долго глазами чего-то искал.

Стал он припоминать, что такое случилось; но, хоть убей, ничего вспомнить не мог. Даль какая-то, серебряным светом подернутая, и больше ничего. Только смутное ощущение этой бесформенной серебряной дали и осталось в нем, но никакого определенного очертания, ни одного живого образа...

— Овца! а, овца! что́ я такое во сне видел? — спросил он лежащую рядом овцу, которая, яко воистину овца, отроду снов не видала.

— Спи, выдумщик! — сердито отвечала овца,— не для того тебя из-за моря привезли, чтоб сны видеть да модника из себя представлять!

Баран был породистый английский меринос. Помещик Иван Созонтыч Растаковский шальные деньги за него заплатил и великие на него надежды возлагал. Но, конечно, не для того он его из-за моря вывез, чтоб от него поколение *умных* баранов пошло, а для того, чтоб он создал для своего хозяина стадо тонкорунных овец.

И в первое время по приезде его на место баран действительно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Ни о чем он не рассуждал, ничем не интересовался, даже не понимал, куда и зачем его привезли, а просто-напросто жил да поживал. Что же касается до вопроса о том, что́ такое баран и какие его права и обязанности, то баран не только никаких пропаганд по этому предмету не распространял, но едва ли даже подозревал, что подобные вопросы могут бараньи головы волновать. Но это-то именно и помогало ему выполнять баранье дело настолько пунктуально и добросовестно, что Иван Созонтыч и сам нарадоваться на него не мог, и соседей любоваться водил: «Смотрите!»

И вдруг этот сон... Что это был за сон, баран решительно не мог сообразить. Он чувствовал только, что в существование его вторглось нечто необычное, какая-то тревога, тоска. И хлев у него, по-видимому, тот же, и корм тот же, и то же стадо овец, предоставленное ему для усовершенствования, а ему ни до чего как будто бы дела нет. Бродит он по хлеву, как потерянный, и только и дела блеёт:

— Что́ такое я во сне видел? растолкуйте мне, что́ такое я видел?

Но овцы не выказывали ни малейшего сочувствия к его тревогам и даже не без ядовитости называли его умником и филозо́фом, что, как известно, на овечьем языке имеет значение худшее, нежели «моветон».

С тех пор, как он начал сны видеть, овцы с горечью вспоминали о простом, шлёнской породы, баране, который перед тем четыре года сряду ими помыкал, но под конец, за выслугу лет, был определен на кухню и там без вести пропал (видели только, как его из кухни на блюде, с триумфом, в господский дом пронесли). То-то был настоящий служилый баран! Никогда никаких снов он не видел, никаких тревог не ощущал, а делал свое дело по точному разуму бараньего устава — и больше ничего знать не хотел. И что же! его, старого и испытанного слугу, уволили, а на его место определили какого-то празднолюбца, мечтателя, который с утра до вечера неведомо о чем блеёт, а они, овцы, между тем ходят яловы!

— Совсем нас этот аглецкой олух не совершенствует! — жаловались овцы овчару Никите,— как бы нам за него, за фофана, перед Иваном Созонтычем в ответе не быть?

— Успокойтесь, милые! — обнадежил их Никита,— завтра мы его выстрижем, а потом крапивой высечем — шелковый будет!

Однако расчеты Никиты не оправдались. Барана выстригли, высекли, а он в ту же ночь опять сон увидел.

С этих пор сны не покидали его. Не успеет он ноги под себя подогнуть, как дрема́ уже сторожит его, не разбирая, день или ночь на дворе.

И как только он закроет глаза, то весь словно преобразится, и лицо у него словно не баранье сделается, а серьезное, строгое, как у старого, благомысленного мужичка из тех, что в старинные годы «министрами» называли. Так что всякий, кто ни пройдет мимо, непременно скажет: «Не на скотном дворе этому барану место — ему бы бурмистром следовало быть!»

Тем не менее, сколько он ни подстерегал себя, чтобы восстановить в памяти только что виденный сон, усилия его попрежнему оставались напрасными.

Он помнил, что во сне перед ним проходили живые образы и даже целые картины, созерцание которых приводило его в восторженное состояние; но как только бодрственное состояние возвращалось, и образы и картины исчезали неведомо куда, и он опять становился заурядным бараном. Вся разница заключалась лишь в том, что прежде он бодро шел навстречу своему бараньему делу, а теперь ходил ошеломленный, чего-

то, сдуру, искал, а чего именно — сам себе объяснить не мог... Баран, да еще меланхолик — что, кроме ножа, может ожидать его в будущем?!

Но, кроме перспективы ножа, положение барана и само по себе было мучительно. Нет боли горшей, нежели та, которую приносят за собой бессильные порывания от тьмы к свету встревоженной бессознательности. Пристигнутое внезапной жаждой бесформенных чаяний, бедное, подавленное существо мечется и изнемогает, не умея определить ни характера этих чаяний, ни источника их. Оно чувствует, что сердце его объято пламенем, и не знает, ради чего это пламя зажглось; оно смутно чует, что мир не оканчивается стенами хлева, что за этими стенами открываются светлые, радужные перспективы, и не умеет наметить даже признаки этих перспектив; оно предчувствует свет, простор, свободу — и не может дать ответа на вопрос, что́ такое свет, простор, свобода...

По мере учащения снов, волнение барана все больше и больше росло. Ниоткуда не видел он ни сочувствия, ни ответа. Овцы с испугу жались друг к другу при его приближении; овчар Никита хотя, по-видимому, и знал нечто, но упорно молчал. Это был умный мужик, который до тонкости проник баранье дело и признавал для баранов только одну обязательную аксиому:

— Коли ты в бараньем сословии уродился,— говорил он солидно,— в ём, значит, и живи!

Но именно этого-то баран и не мог выполнить. Именно «сословие»-то его и мучило, не потому, что ему худо было жить, а потому, что с тех пор, как он стал сны видеть, ему постоянно чуялось какое-то совсем другое «сословие».

Он не был в состоянии воспроизвести свои сны, но инстинкты его были настолько возбуждены, что, несмотря на неясность внутренней тревоги, поднявшейся в его существе, он уже не мог справиться с нею.

Тем не менее, с течением времени, тревоги его начали утихать, и он как будто даже остепенел. Но успокоение это не было последствием трезвого решения вступить на прежнюю баранью колею, а, напротив, скорее свидетельствовало об общем обессилении бараньего организма. Поэтому и пользы от него не вышло никакой.

Баран,— очевидно, с предвзятым намерением,— с утра до вечера спал, как будто искал обрести во сне те сладостные ощущения, в восстановлении которых отказывала ему бодрственная действительность...

В то же время он с каждым днем все больше и больше чах и хирел, и наконец сделался до того поразительно худ, что

глупые овцы, завидев его, начинали чихать и насмешливо между собой перешептываться. И по мере того, как неразгаданный недуг овладевал им, лицо его становилось осмысленнее и осмысленнее. Овчары все до единого жалели о нем. Все знали, что он честный и добрый баран, и что ежели он не оправдал хозяйских надежд, то не по своей вине, а единственно потому, что его постигло какое-то глубокое несчастие, вовсе баранам не свойственное, но в то же время,— как многие инстинктивно догадывались,— делающее ему лично великую честь.

Сам Иван Созонтыч сочувственно относился к страданиям барана. Не раз овчар Никита намекал, что самая лучшая развязка в таком загадочном деле — нож, но Растаковский упорно отклонял это предложение.

— Плакали мои денежки,— говорил он,— но не затем я их платил, чтобы шкурой его воспользоваться. Пускай своей смертью умрет!

И вот вожделенный момент просияния наступил. Над полями мерцала теплая, облитая лунным светом, июньская ночь; тишина стояла кругом непробудная; не только люди притаились, но и вся природа как бы застыла в волшебном оцепенении.

В бараньем загоне все спало. Овцы, понурив головы, дремали около изгороди. Баран лежал одиноко, посередке загона. Вдруг он быстро и тревожно вскочил. Выпрямил ноги, вытянул шею, поднял голову кверху и всем телом дрогнул. В этом выжидающем положении, как бы прислушиваясь и всматриваясь, простоял он несколько минут, и затем сильное, потрясающее блеянье вырвалось из его груди...

Заслышав эти торжественно-агонизирующие звуки, овцы в испуге повскакали с своих мест и шарахнулись в сторону. Сторожевой пес тоже проснулся и с лаем бросился приводить в порядок всполошившееся стадо. Но баран уже не обращал внимания на происшедший переполох: он весь ушел в созерцание.

Перед тускнеющим его взором воочию развернулась сладостная тайна его снов...

Еще минута — и он дрогнул в последний раз. Засим ноги сами собой подогнулись под ним, и он мертвый рухнул на землю.

Иван Созонтыч был очень смертью его огорчен.

— И что́ за причина такая? — сетовал он вслух,— все был баран как баран, и вдруг словно его осѐтило... Никита! ты пятьдесят лет в овчарах состоишь, стало быть, должен дурью эту породу знать: скажи, отчего над ним такая беда стряслась?

— Стало быть, «вольного барана» во сне увидел,— ответил Никита,— увидать-то во сне увидал, а сообразить настоящим манером не мог... Вот он сначала затосковал, а со временем и издох. Все равно, как из нашего брата бывает...

Но Иван Созонтыч от дальнейшего объяснения уклонился.

— Сие да послужит нам уроком! — похвалил он Никиту,— в другом месте из этого барана, может быть, козел бы вышел, а по нашему месту такое правило: ежели ты баран, так и оставайся бараном без дальних затей. И хозяину будет хорошо, и тебе хорошо, и государству приятно. И всего у тебя будет довольно: и травы, и сена, и месятки. И овцы к тебе будут ласковы... Так ли, Никита?

— Это так точно, Иван Созонтыч! — отозвался Никита.

КОНЯГА

Коняга лежит при дороге и тяжко дремлет. Мужичок только что выпряг его и пустил покормиться. Но Коняге не до корма. Полоса выбралась трудная, с камешком: в великую силу они с мужичком ее одолели.

Коняга — обыкновенный мужичий живот, замученный, побитый, узкогрудый, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами. Голову Коняга держит понуро; грива на шее у него свалялась; из глаз и ноздрей сочится слизь; верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине наработаешь, а работать надо. День-деньской Коняга из хомута не выходит. Летом с утра до вечера землю работает; зимой, вплоть до ростепели, «произведения» возит.

А силы Коняге набраться не́откуда: такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Летом, покуда в ночную гоняют, хоть травкой мяконькой поживится, а зимой перевозит на базар «произведения» и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонять, его жердями на ноги поднимают; а в поле ни травинки нет; кой-где только торчит махрами сопрелая ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошел.

Худое Конягино житье. Хорошо еще, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выедут оба с сохой в поле: «Ну, милый, упирайся!» — услышит Коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается, задними — забирает, морду к груди пригнет. «Ну, каторжный, вывози!» А за сохой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в соху впился, ногами в

комьях земли грузнет, глазами следит, как бы соха не слукавила, огреха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец — и оба дрожат: вот она, смерть, пришла! Обоим смерть — и Коняге и мужику; каждый день смерть.

Пыльный мужицкий проселок узкой лентой от деревни до деревни бежит; юркнет в поселок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всем протяжении, по обе стороны, его поля сторожат. Нет конца полям; всю ширь и даль они заполонили; даже там, где земля с небом слилась, и там все поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные — они железным кольцом охватили деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вон он, человек, вдали идет; может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он все на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет и вдруг неожиданно пропадет, точно пространство само собой ее засосет.

Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают. кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало,— той силы, которая разрешила бы узы мужику, а Коняге исцелила бы наболевшие плечи.

Лежит Коняга на самом солнечном припеке; кругом ни деревца, а воздух до того накалился, что дыханье в гортани захватывает. Изредка пробежит по проселку вихрами пыль, но ветер, который поднимает ее, приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи, как бешеные, мечутся над Конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места, а он — только ушами автоматически вздрагивает от уколов. Дремлет ли Коняга, или помирает — нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что все нутро у него от зноя да от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе бог бессловесной животине отказал.

Дремлет Коняга, а над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых, не сновидения носятся, а бессвязная подавляющая хмара. Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет, а есть громадные пятна, то черные, то огненные, которые и стоят, и движутся вместе с измученным Конягой, и тянут его за собой все дальше и дальше в бездонную глубь.

Нет конца полю, не уйдешь от него никуда! Исходил его Коняга с сохой вдоль и поперек, и все-таки ему конца-краю

нет. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном — оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собою вызывает, а прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: сейчас оно помертвело, сейчас — опять народилось. Не поймешь, что́ тут смерть и что́ жизнь. Но и в смерти, и в жизни первый и неизменный свидетель — Коняга. Для всех поле раздолье, поэзия, простор; для Коняги оно — кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и все-таки не признает себя сытым. Ходит Коняга от зари до зари, а впереди его идет колышущееся черное пятно и тянет, и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему, сквозь дремоту, слышится окрик: «Ну, милый! ну, каторжный! ну!»

Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на Конягу потоки горячих лучей; никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, мороз... Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством, всякое цветение — отравою. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов; никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастия. Пускай солнце напояет природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни и ликованию — бедный Коняга знает о нем только одно: что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь.

Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования; для нее он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмеривается ему именно столько, чтобы он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его — никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие его нужно, а жизнь, способная выносить иго работы. Сколько веков он несет это иго — он не знает; сколько веков предстоит нести его впереди — не рассчитывает. Он живет, точно в темную бездну погружается, и из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа.

Самая жизнь Коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает. Поле, как головоног, присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы наружными отличками ни наде-

лил его случай, он всегда один и тот же: побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своею кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся, и там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде все он, все один и тот же, безымянный Коняга. Целая масса живет в нем, неумирающая, нерасчленимая и неистребимая. Нет конца жизни — только одно это для этой массы и ясно. Но что́ такое сама эта жизнь? зачем она опутала Конягу узами бессмертия? откуда она пришла и куда идет? — вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее... Но, может быть, и оно останется столь же немо и безучастно, как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых.

Дремлет Коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Никто, с первого взгляда, не скажет, что Коняга и Пустопляс — одного отца дети. Однако предание об этом родстве еще не совсем заглохло.

Жил, во времена оны, старый конь, и было у него два сына: Коняга и Пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, а Коняга — неотесанный и бесчувственный. Долго терпел старик Конягину неотесанность, долго обоих сыновей вел ровно, как подобает чадолюбивому отцу, но наконец рассердился и сказал: «Вот вам на веки вечные моя воля: Коняге — солома, а Пустоплясу — овес». Так с тех пор и пошло. Пустопляса в теплое стойло поставили, соломки мяконькой постелили, медовой сытой напоили и пшена ему в ясли засыпали; а Конягу привели в хлев и бросили охапку прелой соломы: «Хлопай зубами, Коняга! А пить — вон из той лужи».

Совсем было позабыл Пустопляс, что у него братец на свете живет, да вдруг с чего-то загрустил и вспомнил. «Надоело, говорит, мне стойло теплое, прискучила сыта медовая, не лезет в горло пшено ярое; пойду, проведаю, каково-то мой братец живет!»

Смотрит — ан братец-то у него бессмертный! Бьют его чем ни по́падя, а он живет; кормят его соломою, а он живет! И в какую сторону поля ни взгляни, везде все братец орудует; сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом — он уж вон где ногами вывертывает. Стало быть, добродетель какая-нибудь в нем есть, что палка сама об него сокрушается, а его сокрушить не может!

И вот начали пустоплясы кругом Коняги похаживать.

Один скажет:

— Это оттого его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял

он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибешь, и живет себе смирнехонько, весь опутанный пословицами, словно у Христа за пазушкой. Будь здоров, Коняга! Делай свое дело, бди!

Другой возразит:

— Ах, совсем не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь! Что́ такое здравый смысл? Здравый смысл, это — нечто обыденное, до пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказ по полиции. Не это поддерживает в Коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни носит! И покуда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит!

Третий молвит:

— Какую вы, однако, галиматью городите! Жизнь духа, дух жизни — что это такое, как не пустая перестановка бессодержательных слов? Совсем не потому Коняга неуязвим, а потому, что он «настоящий труд» для себя нашел. Этот труд дает ему душевное равновесие, примиряет его и со своей личною совестью, и с совестью масс, и наделяет его тою устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить! Трудись, Коняга! упирайся! загребай! и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда.

А четвертый (должно быть, прямо с конюшни от кабатчика) присовокупляет:

— Ах, господа, господа! все-то вы пальцем в небо попадаете! Совсем не оттого нельзя Конягу донять, чтобы в нем особенная причина засела, а оттого, что он спокон веку к своей юдоли привычен. Теперича хоть целое дерево об него обломай, а он все жив. Вон он лежит — кажется, и духу-то в нем нисколько не осталось,— а взбодри его хорошенько кнутом, он и опять ногами вывертывать пошел. Кто к какому делу приставлен, тот то́ дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их, калек этаких, по полю разбрелось — и все как один. Калечьте их теперича сколько угодно — их вот ни на эстолько не убавится. Сейчас — его нет, а сейчас — он опять из-под земли выскочил.

И так как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят-поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но, на счастье, как раз в самую пору проснется мужик и разрешит все споры словами:

— Н-но, каторжный, шевелись!

Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займется.

— Смотрите-ка, смотрите-ка! — закричат они вкупе и влюбе,— смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами

упирается, а задними загребает! Вот уж именно дело мастера боится! Упирайся, Коняга! Вот у кого учиться надо! вот кому надо подражать! Н-но, каторжный, н-но!

КИСЕЛЬ

Сварила кухарка кисель и на стол поставила. Скушали кисель господа, сказали спасибо, а детушки пальчики облизали. На славу вышел кисель; всем по нраву пришелся, всем угодил. «Ах, какой сладкой кисель!», «ах какой мягкой кисель!», «вот так кисель!» — только и слов про него.— «Смотри, кухарка, чтобы каждый день на столе кисель был!» И сами наелись, и гостей употчевали, а под конец и прохожим на улицу чашку выставили. «Поешьте, честные господа, киселя! вон он у нас какой: сам в рот лезет! Ешьте больше, он это любит!» И всякий подходил, совал в кисель ложкой, ел и утирался.

Кисель был до того разымчив и мягок, что никакого неудобства не чувствовал оттого, что его ели. Напротив того, слыша общие похвалы, он даже возмечтал. Стоит на столе да знай себе пузырится. «Стало быть, я хорош, коли господа меня любят! Не зевай, кухарка! подливай!»

Долго ли, коротко ли так шло, только стал постепенно кисель господам прискучивать. Господа против прежнего сделались образованнее; даже из подлого звания которые мало-мальски в чины произошли — и те начали желеи да бламанжеи предпочитать.

— Помилуйте! — говорит один,— что хорошего в этом киселе? разве это еда? попробуйте, какой он мягкой, да слизкой, да сладкой!

— Отдадимте, господа, кисель свиньям! — подхватил другой,— а сами уедем на теплые воды гулять! Нагуляемся вдосталь, а там, если уж это непременно нужно, и опять домой воротимся кисель есть.

Что же! свиньи так свиньи — право, киселю все равно, в каком ранге особа его ест. Лишь бы ели. Засунула свинья рыло в кисель по самые уши и на весь скотный двор чавкотню подняла. Чавкает да похрюкивает: «Покатаюся, поваляюся, господского киселя наевшись!» Сытости, подлая не знает; чуть замешкается кухарка, она уж хрюкает: «Подливай!» А ежели скажут: «Был кисель, да весь вышел»,— она и по углам, и по закоулкам, и под навозом мордой вышарит и уж где-нибудь да отыщет.

Ела да ела свинья и наконец все до капли съела. А господа

между тем гуляли-гуляли, да и догулялись. Догулялись и говорят друг другу: «Теперь нам гулять больше не на что; айда домой кисель есть!»

Приехали домой, взялись за ложки — смотрят, ан от киселя остались только засохшие поскребушки.

И теперь все — и господа, и свиньи — все в один голос вопиют:

— Ели мы кисель, а про запас не оставили! Чем-то на будущее время сыты будем! Где ты, кисель? ау!

ПРАЗДНЫЙ РАЗГОВОР

Нынче этого нет, а было такое время, когда и между сановниками вольтерьянцы попадались. Само высшее начальство этой моды держалось, а сановники подражали.

Вот в это самое время жил-был губернатор, который многому не верил, во что другие, по простоте, верили. А главное, не понимал, для какой причины губернаторская должность учреждена.

Напротив, предводитель дворянства в этой губернии во все верил, а значение губернаторской должности даже до тонкости понимал.

И вот, однажды, уселись они вдвоем в губернаторском кабинете и заспорили.

— Между нами будь сказано, решительно я этого не понимаю,— сказал губернатор.— По моему мнению, если бы нас всех, губернаторов, без шума упразднить, то никто бы и не заметил.

— Ах, вашество, как вы так выражаетесь! — возразил ему удивленный и даже испуганный предводитель.

— Разумеется, я это конфиденциально... но ежели говорить по совести, то опять-таки повторяю: положительно я этого не понимаю! Представьте себе: живут люди мирно, бога помнят, царицу чтут — и вдруг к ним... губернатор!! Откуда? как? что за причина?

— А та и причина, что власть! — урезонивал его предводитель,— нельзя без оной. Вверху — губернатор, посередке — исправник, внизу — тысяцкий. А по бокам — предводители, председатели, воинство...

— Знаю. Но зачем? Вы говорите: «тысяцкий»,— хорошо. Тысяцкий — это который при мужике,— понимаю и это. Теперь представьте себе: живет мужик, поле работает, пашет, косит; плодится, множится, словом сказать, круг жизни своей

производит. И вдруг, откуда-то из-под низу,— тысяцкий... Зачем? что случилось?

— Не случилось, но может случиться, вашество!

— Не верю-с. Ежели люди живут в свое удовольствие — зачем для них тысяцкий? Ежели они тихим манером нужды свои справляют, бога помнят, царицу чтут — что́ тут случиться может, кроме хорошего? И что́ тысяцкий может в данном случае устранить или присовокупить? Даст бог урожай — будет урожай; не даст бог урожаю — и так как-нибудь проживут. При чем тут тысяцкий? разве он может хоть колос единый в снопе убавить или прибавить? — Нет, он налетит, намутит, нашумит, да, того гляди, в заключение, еще в острог кого-нибудь посадит. Только и всего.

— Ну, не даром же посадит, а тоже за что-нибудь!

— Однако, согласитесь, что если б его нелегкая не принесла, все шло бы без него своим чередом, и никакого бы «что-нибудь» не случалось. Во всяком случае, в остроге никто бы не сидел. А как только он появится, так тотчас же вслед за ним и «что-нибудь» явилось.

— Ах, вашество, ведь и тысяцкие разные бывают! Вот у нас, например...

— Нет, вы меня выслушайте. Я не об личностях веду речь и не парадоксами перед вами щегольнуть хочу. Я по опыту эту музыку знаю и даже на самом себе могу пример показать. Уезжаю я, например, из губернии — и что вдруг случилось? Не успел я за заставу отъехать, как вдруг во всей губернии наступило благорастворение воздухов. Полицийместер — не скачет, квартальные — не бегут, городовые — не усердствуют. Даже и простецы, которые и о существовании моем досконально не знают, и те чувствуют, что из их жизни исчезла какая-то запятая, от которой им во всех местах больно было. Что́ сей сон означает? — спрашиваю я вас. А то, государь мой, что мой заступающий *не все то может сделать, что я могу* и что, следовательно, и служащим, и обывателям на всю эту разницу легче стало. Но вот я возвращаюсь опять к своему посту. Шум, треск, езда, беготня... Кто в фуражке ходил — бежит в треуголке; кто в полном удовольствии месяц прожил — снова приходит в унылость; все видят впереди бесконечную распостылую канитель... Да, впрочем, что же много об этом толковать! вы и на себе наверное хоть отчасти да испытали...

Действительно, предводитель вспомнил, что и за ним в этом роде грешок водился. Как только, бывало, губернатор за ворота, так он сейчас: «Эй, тарантас!» — и марш в деревню. И ходит там без оных, покуда опять начальство к долгу не при-

зовет. Только одну проформу и соблюдает, что, едучи мимо вице-губернаторской квартиры, зайдет на минуту к заступающему должность и условится:

— Уж вы, Арефий Иваныч, коли что случится, гонца пришлите!

— Чему случиться! с богом!

— Ну, так прощайте; Капитолине Сергеевне кланяйтесь. Пошевеливай!

Только его и видели.

— Есть тот грех,— сказал он,— только все-таки не оттого... Просто отдохнуть хочется... вот и пользуешься.

— То-то что «отдохнуть»! а кто отдохнуть помешал? разве в отдыхе грех какой? Никакого греха нет, а просто мешал, потому что он губернатор — только и всего. Теперь пойдем дальше. Замечали ли вы, как партикулярные люди о губернаторе отзываются, когда похвалить его хотят? «Это, говорят, хороший губернатор: он сидит смирно, никого не трогает». Вот-с. Стало быть, что всего более в губернаторе любезно — это ежели он благосклонно бездействует. И в самом деле, рассудите по совести, в чем его вмешательство в обывательских делах пользу принести может? Приехал он в губернию чуженин-чуженином — это раз; обучался он, может быть, чему-нибудь, да только не тому, чему следует,— это два. Затем: статистики он — не знает, этнографии — не разумеет; нравы и обычаи — не при нем писаны; где какая река, куда течет, почему и в каком смысле — это он разве тогда узнает, когда раз пять вдоль и поперек губернию исколесит; о железных дорогах знает только, когда и куда какой поезд отходит, чтобы в случае чего не опоздать; а зачем дорога построена, сколько в прошлом году доходов собрано, сколько в нынешнем, где и какую питательную ветвь надо провести,— все это для него — темна вода во облацех. И можно бы все это узнать, и сведения все под руками, да неинтересно и не для чего. Ничего из этих сведений не выйдет [1].

— Или насчет торгов, ремесл, промыслов: сапожное там ремесло, огороднический промысел; в одном месте рогожи ткут, в другом — косы, серпы куют: зачем? почему? Где раки зимуют?

— Вашество! — прервал предводитель расходившегося губернатора,— да ведь я — обыватель здешний, а и я этого ничего не знаю!

— Вы — другое дело; вы — предводитель. Подают вам за

---

[1] Само собой разумеется, что это только в сказке возможно. (*Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.*)

столом говядину — вам и нужды нет, откуда она. Была бы съедобна — только и всего. А я — губернатор, я должен все знать. Меня — нет-нет, да и спросят: «В каком, мол, положении у вас огородничество?»

— Да, по нынешнему времени, всего ожидать можно.

— Нынче, батюшка, чтобы всякая копейка на счету стояла, чтобы все, из чего извлечь можно,— «где, бишь, оно? не полезно ли, мол, обложить?» Вот нынче как. Ну, и отвечаешь на всякий случай, чтобы без хлопот: «Оставляет, мол, желать многого».

— Н-да, а между тем капуста у нас...

— То-то «капуста». А я только недавно об этом узнал. Намеднись подают кочан; я думал, он из Алжира — ан он из Поздеевки.

— Из Поздеевки — это верно; там и морковь, и репа — всякий овощ. Так-то всегда у нас. Мы по Эмсам да по Мариенбадам воду пить ездим, а у нас, в Поздеевке, своя вода есть, да еще лучше, потому что от мариенбадской-то воды желудок расстраивается.

— А скажите-ка, кто поздеевскую-то капусту завел? Небось губернатор? как бы не так! Мужичок, сударь. Побывал во времена оны какой-нибудь поздеевский Семен Малявка в Ростове, посмотрел, как тамошние мужички капустную рассаду разводят, да и завел, воротясь домой, у себя огородец, а глядя на него, и другие принялись.

— Это так точно, вашество,— вынужден был согласиться предводитель.

— И все у нас промыслы как-то местом ведутся. Тут — благодать, а рядом — нет ничего. Представьте себе, около этой самой Поздеевки деревня Развалиха есть,— так там об огородах и слыхом не слыхать, а все мужички до одного шерстобиты. Летом землю общим крестьянским обычаем работают, а зимой разбредутся кто куда и шерстобитничают. И тоже не губернатор завел, а побывал простой мужик Абрамко в Калязинском уезде и привез оттуда.

— Вот и понимайте теперь. Капуста, огурцы, шерстобитничество, сапоги, рогожи... все они, все обыватели! Вы думаете, у вас, в Растеряевке, колокольню кто построил? губернатор? Ан нет, купец Поликарп Аггеев Параличев ее построил, а губернатор только на освящении был да пирог с визигой ел.

— Это верно.

— А переславских сельдей кто первый коптить начал?

— Тоже верно. Не губернатор.

— А семгу-порог? а кольскую морошку? а ржевскую и коломенскую пастилу? Губернатор? а?

— Позвольте, вашество! но ведь, кроме огородничества и бакалеи, есть и других предметов достаточно...

— Например?

— Подати, например... Собирать их, взыскивать...

— А что́ такое подати? слыхали?

— Подати... это, так сказать, свидетельство принадлежности...— начал было предводитель, но запутался и умолк.

— То-то «свидетельство»... А как вы думаете, приятное это «свидетельство»? Смотрите-ка! за податьми приехал! Ах, как приятно! Диво бы секрет разведения муромских огурцов или копченья тамбовской ветчины привез... а то подати выбивать! Да и как, позвольте спросить, я это «свидетельство принадлежности» осуществлю, ежели, например, у поздеевских мужиков капуста не родится? Какая моя в этом разе роль? Разошлю по исправникам циркуляр — только и всего; а исправники наполнят губернию криком — тоже только всего. Во всяком случае, я понуждаю — не знаю, на какой предмет; исправник кричит — тоже на какой предмет, не знает. Что́ такое случилось? Куда скрылись казенные подати? Неурожай ли мужика обездолил, пьянство ли одолело, мироед ли к нему присосался, или мужик сам капризничать начал, кубышку вздумал копить? Вот ведь сколько разных случаев может быть, да и все ли еще тут! А мы суетимся, гамим, знать ничего не хотим: чтоб были подати — только и всего!

— Да, это так точно. И нагамят, и нашумят, и даже под рубашку заглянут; а какой в том результат — сами не знают! — грустно подтвердил предводитель.

Оба собеседника на минуту задумались.

Первый очнулся предводитель. Он, по-видимому, еще не отчаивался, и у него уже назрел было вопрос: «А народная нравственность? а просвещение? науки? искусства?» — как губернатор словно угадал его мысли и так строго взглянул на своего собеседника, что тот мог вымолвить только:

— А народное продовольствие?

— И вам не совестно? — вместо ответа спросил его в упор губернатор.

Предводитель покраснел. Он вспомнил, как в начале года он, в качестве председателя земской управы, разъезжал по волостям и т. д. Вспомнил и застыдился.

— Так неужто же наконец...— воскликнул он и вдруг нечто вспомнил,— позвольте! вот вам предмет: содействие к соединению общества!

— Какого такого общества?

— Здешнего-с.

— Гм... так вы думаете, что я соединяю здешнее общество?

— И вы, вашество, и супруга ваша... Лукерья Ивановна.

— Лукерья Ивановна — может быть, но я... нет! меня... увольте! Да и кому наконец этот предмет нужен... «соединение общества»... да еще здешнего?!

Собеседники окончательно умолкли. И, может быть, им пришлось бы очень неловко, если б на выручку не явился из губернского правления казначей.

Это было 30-е число месяца. В этот день, как известно, производилась некогда получка жалованья, и казначеи всех ведомств являлись к начальникам с денежными книгами, которые очищались расписками в получении.

Губернатор принял от казначея пачку, не торопясь, пересчитал деньги, положил их на стол и расписался.

— Ну-с, а это-с? — пошутил предводитель, указывая на пачку,— в каком же смысле следует понимать «это»?..

— Н-да... то есть, вы хотите сказать: «это»? — переспросил губернатор, как бы очнувшись.

— Да-с! Это-с. Именно оно самое... это-с!

— Гм... «это»?.. Это... воздаяние!

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОЖАР

(Ни то сказка, ни то быль)

В деревне Софонихе, около полден, вспыхнул пожар. Это случилось в самый развал июньской пахоты. И мужики, и бабы были в поле. Сказывали: шел мимо деревни солдатик, присел на завалинку, покурил трубочки и ушел. А вслед за ним загорелось.

Деревня сгорела дотла. Только тот порядок, где были житницы, уцелел наполовину. Мужики в одночасье потеряли все и сделались нищими. Сгорела бабушка Прасковья да еще Татьянин мальчик Петька. Мужики и бабы, завидев густой дым, бежали с поля, как угорелые, оставив сохи и лошадей. Но спасать было уже нечего. Хорошо, что скота не было дома, да навоз был только что вывезен, а то пришлось бы совсем хоть помирай. Малолетки, которые, в минуту пожара, играли на улице, спаслись в речку и отчаянно ревели. Девочки-подростки, с младенцами на руках, испуганно выглядывали на обуглившиеся избы и обнаженные остовы печей.

Тетка Татьяна была бодрая и еще молодая бобылка. Лет шесть тому назад у нее умер муж, но она продолжала дер-

жать хозяйство. Платила миру за половину надела, сама пахала, косила и жала. У нее был единственный сын, Петька, лет восьми, в котором она души не чаяла и в котором уже видела будущего мужика. Он и сам видел в себе мужика и говорил:

— Я, мама, буду мужик... хресьянин.

Вся деревня его любила. Мальчик был вострый и ласковый, и уже ходил в школу. Бывало, идет по деревне мимо стариков:

— Ну что, мужичок, помогаешь мамке? — спрашивают старики.

— Помогаю.

Между тем улица запружалась всяким мужицким хламом: мужику все дорого, все надобно. Домохозяева, окруженные домочадцами, бродили каждый по своему пепелищу и тащили все, что попадалось на глаза: старую подошву, заржавленный гвоздь, обрывок шлеи, обломок сошника и проч. У некоторых уцелели подполицы; но так как время было голодное (Петров пост), то подполицы были пусты. Один заведомый нищий, лет десять ходивший «в кусочки», метался и кричал:

— Где моя кубышка? где? кто унес? сказывайте: кто?

Бабушка Авдотья ходила взад и вперед по улице и всем показывала два обгоревших выигрышных билета внутреннего займа. Обгорели края; середка с несколькими купонами осталась цела.

— Чай, выдадут! — утешал ее староста Михей,— ишь, и нумера видны (на уцелевших купонах); ужо барыня в Питере похлопочет[1].

Старики собрались в кучу и обсуждали мирскую нужу. На всех лицах была написана душевная мука; у некоторых глаза сочились слезами. Решили идти всем миром, поклониться соседней одновотчинной деревне, чтобы дала приют погорельцам, покуда не будут устроены хотя какие-нибудь временные помещения. Затем снарядили старосту и послали верхом в город, в управу, за пособием и страховыми.

Пришел сельский батюшка и, похаживая между мужиками, утешал их.

— Кто дал? — бог! — говорил он.— Кто взял? — бог! Неужто ж он не знает?

---

[1] Факт. В 1872 году приходила к автору крестьянка села Заозерья (Углицкого уезда) и показывала два или три обгоревших по краям билета, но так, что на уцелевших посередке купонах видны были и № билета, и серия. Я просил некоторых добрых знакомых ходатайствовать в банке. Всем казалось дело несомненным; но г. Ламанский, тогдашний управляющий банком, рассудил иначе. Ни возобновить билеты, ни даже выдать за них нарицательную цену оказалось невозможным. Это, изволите видеть, польза банка. Вот как истинные сановники блюдут интересы казны! *(Прим. М. Е Салтыкова-Щедрина.)*

Мужики молча ему поклонились.

— А вы не унывайте! — продолжал батюшка,— с какого права? почему? как? кто дозволил? Скот — при вас, земледельческие орудия целехоньки, навоз вывезен — чего еще земледельцу нужно? А вы ропщете! Вот ужо управа на постройку денег отпустит; помещица — нуждающимся хлебца пришлет; и я тоже... разве я не молюсь за вас? Я не только за вас, но и за *всех* молюсь. «И всех православных христнян» — вот как.

Опять поклонились мужики, а словоохотливый батюшка продолжал:

— Коли страх божий будете в сердцах сохранять да храм божий усердно посещать, так и не увидите, как бог сторицей вознаградит. Хлеб нынче обещает жатву изрядную. Озимые отменные; яровые, бог даст, поправятся. Ужо снимете у барыни полевину — вот вы и с сеном. Свезете по возку, по другому — ан и денежки в кошеле завелись; а там озимое, ржицы па базар свезете — опять деньги; а наконец и овсецо — тоже деньги. В будущем же году и не увидите, как на месте истребленных неумолимым пламенем хижин будут красоваться новые дома, удобные и просторные, и все вы поживете в них, кийждо под смоковницею своей, и всерадостно и всецело возблагодарите господа вашего за ниспосланное вам благодеяние. Вот увидите.

А тетка Татьяна беспомощно ходила по своему пепелищу, сгребала тлеющие бревна и выкликала:

— Петь, а Петь! где ты, милый? Откликнись! — И не слыхала, как ветхий старик Калистратыч говорил ей:

— Смотри, не в лес ли он убег? Давеча видел я его. Сидел я у житницы на приступочке, как ваша-то изба занялась. Смотрю: кружится Петька по горнице, рубашонкой раздувает. Я ему кричу: «Толкни, милый, дверь, толкни!» Только кружился он, кружился, а потом и ничего не стало видно. Наверное, убёг в лес с испугу.

Но Татьяна ничего не чувствовала, кроме того, что сердце ее рвется на части.

— Петь, а Петь! где ты, милый? Откликнись! — раздавался ее вопль среди общего говора деревенского люда.

Наконец человека два сжалились над нею и пришли на помощь. Разворочали обрушившийся потолок и под дымящимися обломками его нашли труп мальчика. Вся сторона тела и лица, обращенная кверху, представляла безобразную черную массу; но та, которая прилегала к полу, осталась нетронутою.

Татьяна пошатнулась, в глазах потемнело, и из груди на всю деревню вырвался потрясающий ее вопль:

— Господи! видишь ли?

Этот вопль услыхал и батюшка, и, разумеется, поспешил с утешением:

— Ропщешь? — говорил он с ласковой укоризной,— а Иова помнишь? Нет? Так я тебе напомню! Он был богат и славен, имел детей, стада и сокровища — и вдруг, с дозволения божия, все было у него отнято: и дети, и скот, и друзья, а сам он был поражен проказою, изгнан из города и лежал у городских ворот, на гноище. Псы лизали его раны... псы! Но и за всем тем, он не токмо не возроптал, но наипаче возлюбил господа, создавшего его. И бог, видя таковую его преданность, воззрел на него. Через короткое время Иов был и здоров, и богат, и славен более прежнего. Стада умножились, детей народилось достаточно, словом сказать, все...

Однако и батюшкины увещания доходили до Татьяны в форме смутного и назойливого шума. Она устремила глаза на ту линию, которая разделяла уцелевшую часть Петькина лица от обуглившейся, и тихо шептала:

— Господи! видишь ли?

В усадьбе в это время добрая барыня, Анна Андреевна Копейщикова, праздновала день своего рождения. Собрались немногие, но искренние друзья: предводитель Кипящев с женою, исправник Шипящев с племянницею, да еще Иван Иваныч Глаз, партикулярный человек, про которого говорили, что при нем язык за зубами держать надо. Впрочем, так как тут были все люди, при которых тоже нужно было язык держать на привязи (сама Анна Андреевна говорила, что она где-то «служит»), то Иван Иваныч чувствовал себя в этой компании очень удобно. Присутствовал тут и батюшка с попадьей.

Анна Андреевна была генеральская вдова, лет сорока с небольшим, еще красивая и особенно выдающаяся роскошным бюстом на балах и вечерах, где обязательно декольте и где ее бюст приковывал к себе взоры людей всех возрастов и всех оружий. Но она раз навсегда сказала себе: *«Ni-ni — c'est fini»* [1], и всю себя отдала своим детям. За это в свете про нее говорили: *«C'est une sainte»* [2], а за патриотизм: *«C'est une fière matrone!»* [3] Как и все русские дамы, она говорила по-французски, знала *un peu d'arithmétique, un peu de géographie et un peu de mythologie (cette pauvre Léda!)* [4], долго жила за грани-

---

[1] Ни-ни — это кончено.

[2] Это — святая.

[3] Это твердая патрицианка!

[4] немножко арифметики, немножко географии и немножко мифологии (ах, эта бедная Леда!).

цей, а в последнее время сделалась патриоткой и полюбила «добрый русский народ». Три года тому назад она посетила родное Горбилево и с тех пор ездила туда каждое лето. Поставила в саду мавзолей покойному мужу и каждый день молилась. Ни с кем не знакомилась, кроме испытанных «друзей порядка», хозяйства не вела, а отдавала землю мужикам исполу и видимо экономничала. У нее был сын Сережа, правовед лет шестнадцати, и восемнадцатилетняя дочь Верочка, шустрая особа, которая тоже знала *un peu d'arithmétique et un peu de mythologie*.

Господа уже возвратились из церкви и сидели за завтраком, когда прибежали сказать, что Софониха горит. Батюшка мгновенно скрылся увещевать; прочие побежали к окнам и смотрели. За громадной тучей дыма не было видно пламени, но дым прямо летел по ветру на усадьбу, и чувствовался в комнатах горький запах его. Людей тоже не было видно, но по дороге бежали к пожарищу толпы соседних крестьян и дворовых.

— Как вы хотите, господа,— сказала, наконец, Анна Андреевна,— а я не могу оставаться равнодушной зрительницей. Ведь они — мои. Злые люди разлучили нас,— надеюсь, временно,— но я все-таки помню, что они — мои.

Но ей не дали одной совершить подвиг самоотвержения и всей компанией вызвались сопутствовать ей.

— Да и вообще это наш долг,— продолжала Анна Андреевна,— если бы даже это были и не мои крестьяне, все-таки наша священная обязанность — быть там, где страдают. Мы обеднели, мы обижены... но мы все забыли. Мы помним только, что к нам обращает взоры страждущий меньший брат!

Узнавши, что в этот день пекли хлебы для рабочих и дворовых, она велела разрезать несколько на ломти и снести погорельцам.

— А завтра опять испечете хлеба для своих... надо же! Да не забудьте солью посыпать!

Словом сказать, сделала все, что было в ее власти, и, наконец, захватила портмоне, сказав: «Это на всякий случай!» И Верочка, по примеру матери, взяла кошелек с заветными светленькими монетами.

Компания остановилась у входа в деревню, но Верочка и мамзель Шипящева не утерпели и пошли вглубь по улице.

— Скажите мужичкам, что я им две четверти ржи жертвую! — крикнула им вслед Анна Андреевна.

Минут через пять Верочка прибежала назад, вся в слезах.

— Ах, мамочка! — объявила она,— там есть бедная женщина, у которой сгорел мальчик-сын! Ах, как страшно... Что с ней делается! Батюшка увещевает ее, а она не слушается, только повторяет: «Господи! видишь ли?» Мамочка! это ужасно, ужасно, ужасно!

— Жаль бедную; но какая ты, однако ж, нервная, Вера! — упрекнула ее Анна Андреевна.— Это не годится, мой друг! Везде Промысел — это прежде всего нужно помнить! Конечно... это большая утрата; но бывают и не такие, а мы покоряемся и терпим! Помнишь: крах Баймакова и наш текущий счет... Давал шесть процентов... и что ж! Впрочем, соловья баснями не кормят. Господа! — обратилась она к окружающим,— сделаемте маленькую коллекту в пользу бедной страдалицы-матери! Кто сколько может!

Она трепетною рукою вынула из портмоне десятирублевую бумажку, положила ее на ладонь и протянула руку. Верочка тотчас же положила туда весь свой кошелек; гости тоже вынули несколько мелких ассигнаций. Только Иван Иваныч Глаз отвернулся в сторону и посвистывал. Собралось около тридцати рублей.

— Ну, вот, снеси ей! — сказала Анна Андреевна дочери,— скажи, что свет не без добрых людей. Да подтверди мужичкам насчет ржи... две четверти! Да хлеба принесли ли? Скажи, чтоб роздали! Это для утоления первого голода!

Верочка быстро побежала. Ей представлялось в эту минуту, что она — ангел-хранитель и помавает серебряными крылами в небесной лазури, с тридцатью рублями в руках. Она застала Татьяну все в том же положении. Последняя стояла с широко открытыми глазами, машинально шевелила губами, без всякого признака самочувствия. Батюшка по-прежнему стоял подле нее и рассказывал пример из истории первых мучеников времен жестокого царя Нерона. Татьяне еще не представлялся вопрос: что с ней будет? нужна ли ей изба, поле и вообще все, что до сих пор наполняло ее жизнь? или она должна будет скитаться по белу свету в батрачках?

И вдруг — ангел-хранитель.

— На́ тебе, милая! мамочка прислала! — говорила Верочка, протягивая деньги.

Татьяна ничего не поняла, даже не взглянула на милостыню.

— Бери, строптивая! — увещевал ее батюшка,— добрые господа жалуют, а ты небрежешь!

Даже мужички заинтересовались и принялись уговаривать:

— Бери, тетка Татьяна, бери, коли дают! на избу пригодится... бери!

Татьяна не шелохнулась.

Верочка постояла, положила деньги на землю и удалилась, огорченная. Батюшка поднял их.

— Ну, ежели ты не хочешь брать,— сказал он,— так я ими на церковное украшение воспользуюсь. Вот у нас паникадило плоховато, так мы старенькое-то в лом отдадим, да вместе с этими деньгами и взбодрим новое! Засвидетельствуйте, православные!

— Мамочка, она не взяла! — говорила Верочка со слезами в голосе.

Изумились.

— Однако душок-то этот в них еще есть! не выбили! —загадочно молвил Глаз.

Но на этот раз Анна Андреевна не согласилась с ним.

— Есть душок — это правда; но не следует терять из вида глубину ее горя! Только сердце матери может понять, каково потерять... сына!

Предсказание батюшкино сбылось. Года через два я проезжал мимо Софонихи и увидел сущую метаморфозу. На месте старого пепелища стоял порядок новых домов, высоких и сравнительно просторных. Крыши, правда, были крыты соломою, но под щетку, так что глаз не огорчался ни махрами, ни висящими клочьями. Новые срубы блестели на солнце, как облупленное яичко. Только на месте Татьяниной избы валялись неприбранные головешки, а сама она скрылась из деревни неизвестно куда. Должно быть, по святым местам странствует, Христовым именем. Мужики жили дружно и, следовательно, исправно. Усердно работали, платили выкупные и мирские платежи безнедоимочно, отбывали повинности: рекрутскую, подводную и дорожную. Ежели же требовалось сверх того, то и это исполняли с готовностью.

Исправник Шипящев не нахвалится ими.

— Эта деревня у меня — в первом нумере! — говорит он.— Бог в помощь, робята!

ПУТЕМ-ДОРОГОЮ

(Разговор)

Шли путем-дорогою два мужика: Иван Бодров да Федор Голубкин. Оба были односельчане и соседи по дворам, оба только что в весенний мясоед женились. С апреля месяца жили они в Москве в каменщиках и теперь выпросились у хозяина в побывку домой на сенокосное время. Предстояло

пройти от железной дороги верст сорок в сторону, а этакую махину, пожалуй, и привычный мужик в одни сутки не оплетёт.

Шли они не тóропко, не надрываясь. Вышли ранним утром, а теперь солнце уж высоко стояло. Они отошли всего верст пятнадцать, как ноги уж потребовали отдыха, тем больше, что день выдался знойный, душный. Но, высматривая по сторонам, не встретится ли стога сена, под которым можно было бы поесть и соснуть, они оживленно между собой разговаривали.

— Ты чтó домой, Иван, несешь? — спросил Федор.

— Да три пятишницы хозяин до расчета дал. Одну-то, признаться, в Москве еще на мелочи истратил, а две домой несу.

— И я тоже. Да только куда с двумя пятишницами повернешься?

— Тут и в пир, и в мир, а отец велел сказать, что какая-то старая недоимка нашлась, так понуждают. Пожалуй, и все туда уйдет.

— А у нас и хлеба-то до нового не хватит. Пришел сенокос, руки-то целый день намахаешь, так поневоле есть запросишь. Ничего-то у нас нет, ни хлеба, ни соли, а тоже людьми считаемся. Говорят: «вы каменщики, в Москве работаете, у вас должны деньги значиться...» А сколько их и по осени-то принесешь!

— Худо наше крестьянское житье! Нет хуже.

— Чего еще!

Путники вздохнули и несколько минут шли молча.

— Что-то теперь наши делают? — опять начал Федор.

— Что делают! Чай, навоз вывезли; пашут... и пашут, и боронят, и сеют; круглое лето около земли ходят, а все хлеба нет. Сряду три года то вымокнет, то сухмень высушит, то градом побьет... Как-то нынче господь совершит!

— А у меня, брат, и еще горе. К Дуньке волостной старшина увязался; не дает бабе проходу, да и вся недолга. Свах с подарками засылает; одну батюшко вожжами поучил, так его же на три дня в холодную засадили.

— И ничего не поделаешь! Помнишь, как летось Прохорова Матренка задавилась? Тоже старшина... Терпела-терпела, да и в петлю...

— Нам худо, а бабам нашим еще того хуже. Мы, по крайности, в Москву сходим, на свет поглядим, а баба — куда она пойдет? Словно к тюрьме прикованная. Ноги и руки за лето иссекутся; лицо словно голенище черное сделается, и на человека-то не похоже. И всякий-то норовит ее обидеть да обозвать...

— Давай-ка, Федя, песню с горя споем!

Стали петь песню, но с горя и с устатку как-то не пелось.

— А что, Иван, я хотел тебя спросить: где Правда находится? — молвил Федор.

— И я тоже не однова спрашивал у людей: «Где, мол, Правда, где ее отыскать?» А мне один молодой барин в Москве сказал, будто она на дне колодца сидит спрятана.

— Ишь ведь! Кабы так, давно бы наши бабы ее оттоле бадьями вытащили,— пошутил Федор.

— Известно, посмеялся надо мной барчук. Им что! Они и без Правды проживут. А нам Неправда-то оскомину набила.

— Старики сказывают, что дедушко Еремей еще при старом барине все Правды искал; да Правда-то, вишь, изувечила его.

— Прежде многие Правду разыскивали; тяжельше, стало быть, жить было, да и сердце у стариков болело. Одна барщина сколько народу сгубила. В поле — смерть, дома — смерть, везде... Придет крестьянин о празднике в церковь, а там на всех стенах Правда написана, только со стены-то ее не снимешь.

— Это правда твоя, что не снимешь. Что́ крестьянин? Он и видит, да глаз неймет. Темные мы люди, бессчастные; вздохнешь да поплачешь: «Господи, помилуй!» — только и всего. И молиться-то мы не умеем.

— Прежде ходоки такие были, за мир стояли. Соберется, бывало, ходок, крадучись, в Петербург, а его оттоле по этапу...

— Все-таки прежде хоть насчет Правды лучше было. И старики детям наказывали: «Одолела нас Неправда, надо Правды искать». Батюшко сказывал: «Такое сердце у дедушки Еремея было — так и рвется за мир постоять!» И теперь он на печи изувеченный лежит; в чем душа, а все о Правде твердит! Только нынче его уж не слушают.

— То-то, что легче, говорят, стало — оттого и Еремея не слушают. Кому нынче Правда нужна? И на сходке, и в кабаке — везде нонче легость...

— Прежде господа рвали душу, теперь — мироеды да кабатчики. Во всякой деревне мироед завелся: рвет христианские души, да и шабаш.

— Возьмем хоть бы Василия Игнатьева — какие он себе хоромы на христианскую кровь взбодрил. Крышу-то красную за версту видно; о́бок лавка, а он стоит в дверях да брюхо об косяк чешет.

— И все к нему с почтением. Старшина приедет — с ним вместе бражничает, долги его прежде казенных податей собирает; становой приедет — тоже у него становится. У него и

щи с убоиной, и водка. Летось молодой барин из Питера приезжал — сейчас: «Попросите ко мне Василия Игнатьича!..» — «Ну что, Василий Игнатьич, все ли подобру-поздорову? хорошо ли торгуете?»

— Чайку вместе попьемте... вы, дескать, настоящий добрый русский крестьянин! печетесь о себе, другим пример показываете... И ежели, мол, вам что нужно, так пишите ко мне в Петербург.

— Одворицу выкупил, да надел на семь душ! Совсем из мира увольнился, сам барин.

— А теперь мир ему в ноги кланяется, как придет время подати вносить. Миром ему и сенокос убирают, и хлеб жнут...

— Вот так легость! Нет, ты скажи, где же Правду искать?

— У бога она, должно быть. Бог ее на небо взял и не пущает.

Опять смолкли спутники, опять завздыхали. Но Федор верил, что не может этого статься, чтобы Правды не было на свете, и ему не по нраву было, что товарищ его относится к этой вере так легко.

— Нет, я попробую,— сказал он.— Я как приду, так сейчас же к дедушке Еремею схожу. Все у него выспрошу, как он Правду разыскивал.

— А он тебе расскажет, как его в части секли, как по этапу гнали, да в Сибирь совсем было собрали, только барин вдруг спохватился: «Определить Еремея лесным сторожем!» И сторожил он барские леса до самой воли, жил в трущобе, и никого не велено было пускать к нему. Нет уж, лучше ты этого дела не замай!

— Никак этого сделать нельзя. Возьми хоть Дуньку: как я приду, сейчас она мне все расскажет... Что ж я столбом, что ли, перед ней стоять буду? Нет, тут и до смертного случая недалеко. Я ему кишки, псу несытому, выпущу!

— Ишь ведь! Все говорил об Правде, а теперь на кишки своротил. Разве это Правда? знаешь ли ты, что́ за такую Правду с тобой сделают?

— И пущай делают. По-твоему, значит, так и оставить. «Приходите, мол, Егор Петрович: моя Дунька завсегда...» Нет, это надо оставить! Сыщу я Правду, сыщу!

— Ах ты, жарынь какая! — молвил Иван, чтобы переменить разговор.— Скоро, поди, столб будет, а там деревнюшка. Туда, что ли, полдничать пойдем, или в поле отдохнем?

Но Федор не мог уж угомониться и все бормотал: «Сыщу я Правду, сыщу!»

— А я так думаю, что ничего ты не сыщешь, потому что нет Правды для нас: время, вишь, не наступило! — сказал

Иван.— Ты лучше подумай, на какие деньги хлеба искупить, чтобы до нового есть было чтó.

— К тому же Василию Игнатьеву пойдем, в ноги поклонимся! — угрюмо ответил Федор.

— И то придется; да десятину сенокоса ему за подожданье уберем! Батюшко, пожалуй, скажет: «Чем на платки жене да на кушаки третью пятишницу тратить, лучше бы на хлеб ее сберег».

— Терпим и холод, и голод, каждый год все ждем: авось будет лучше... доколе же? Ин и в самом деле Правды на свете нет! так только, попусту, люди болтают: «Правда, Правда...» — а где она?!

— Наеднись начетчик один в Москве говорил мне: «Правда — у нас в сердцах. Живите по правде — и вам, и всем хорошо будет».

— Сыт, должно быть, этот начетчик, оттого и мелет.

— А может, и господа набаловали. Простой, дескать, мужик, а какие речи говорит! Ему-то хорошо, так он и забыл, что другим больно.

В это время навстречу путникам мелькнул полусгнивший верстовой столб, на котором едва можно было прочитать: «От Москвы 18, от станции Рудаки 3 версты».

— Что ж, в поле отдохнем? — спросил Иван.— Вон и стожок близко.

— Известно, в поле, а то где ж? в деревне, что ли, харчиться?

Товарищи свернули с дороги и сели под тенью старого, накренившегося стога.

— Есть же люди,— заметил Иван, снимая лапти,— у которых еще старое сено осталось. У нас и солому-то с крыш по весне коровы приели.

Начали полдничать: добыли воды да хлеб из мешков вынули — вот и еда готова. Потом вытащили из стога по охапке сена и улеглись

— Смотри, Федя,— молвил Иван, укладываясь и позевывая,— во все стороны сколько простору! Всем место есть, а нам...

БОГАТЫРЬ

В некотором царстве Богатырь родился. Баба-яга его родила, вспоила, вскормила, выхолила, и когда он с коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все четыре стороны: «Иди, Богатырь, совершай подвиги!»

Разумеется, прежде всего Богатырь в лес ударился: видит, один дуб стоит — он его с корнем вырвал; видит, другой стоит — он его кулаком пополам перешиб; видит, третий стоит и в нем дупло — залез Богатырь в дупло и заснул.

Застонала мать зеленая дубровушка от храпов его перекатистых; побежали из лесу звери лютые, полетели птицы пернатые; сам леший так испугался, что взял в охапку лешачиху с лешачатами — и был таков.

Пошла слава про Богатыря по всей земле. И свои, и чужие, и други, и супостаты не надивятся на него: свои боятся *вообще* потому, что ежели не бояться, то каким же образом жить? А, сверх того, и надежда есть: беспременно Богатырь для того в дупло залег, чтоб еще больше во сне сил набраться: «Вот ужо проснется наш Богатырь и нас перед всем миром воспрославит». Чужие, в свой черед, опасаются: «Слышь, мол, какой стон по земле пошел — никак, в «оной» земле Богатырь родился! Как бы он нам звону не задал, когда проснется!»

И все ходят кругом на цыпочках и шепотом повторяют: «Спи, Богатырь, спи!»

И вот прошло сто лет, потом двести, триста и вдруг целая тысяча. Улита ехала-ехала, да наконец и приехала. Синица хвасталась-хвасталась, да и в самом деле моря не зажгла. Варили-варили мужика, покуда всю сырость из него не выварили: ау, мужик! Всё приделали, всё прикончили, друг дружку обворовали начисто — шабаш! А Богатырь все спит, все незрячими очами из дупла прямо на солнце глядит да перекатистые храпы кругом на сто верст пущает.

Долго глядели супостаты, долго думали: «Могущественна, должно быть, оная страна, в коей боятся Богатыря за то только, что он в дупле спит!»

Однако стали помаленьку умом-разумом раскидывать; начали припоминать, сколько раз насылались на оную страну беды жестокие, и ни разу Богатырь не пришел на выручку людишкам. В таком-то году людишки сами промеж себя звериным обычаем передрались и много народу зря погубили. Горько тужили в ту пору старики, горько взывали: «Приди, Богатырь, рассуди безвременье наше!» А он, вместо того, в дупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгло да градом выбило: думали, придет Богатырь, мирских людей накормит, а он, вместо того, в дупле просидел. В таком-то году и города и селенья огнем попалило, не стало у людишек ни крова, ни одежи, ни ежева; думали: «Вот придет Богатырь и мирскую нужду исправит» — а он и тут в дупле проспал.

Словом сказать, всю тысячу лет оная страна всеми болями

переболела, и ни разу Богатырь ни ухом не повел, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет.

Что ж это за Богатырь такой?

Многострадальная и долготерпеливая была оная страна и имела веру великую и неослабную. Плакала — и верила; вздыхала — и верила. Верила, что когда источник слез и воздыханий иссякнет, то Богатырь улучит минуту и спасет ее. И вот минута наступила, но не та, которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в коей Богатырь в дупле спал. И прямо все пошли на Богатыря. Сперва один к дуплу осторожненько подступил — воняет; другой подошел — тоже воняет. «А ведь Богатырь-то гнилой!» — молвили супостаты и ринулись на страну.

Супостаты были жестоки и неумолимы. Они жгли и рубили все, что попадало навстречу, мстя за тот смешной вековой страх, который внушал им Богатырь. Заметались людишки, видя лихое безвременье, кинулись навстречу супостату — глядят, идти не с чем. И вспомнили тут про Богатыря, и в один голос возопили: «Поспешай, Богатырь, поспешай!»

Тогда совершилось чудо: Богатырь не шелохнулся. Как и тысячу лет тому назад, голова его неподвижно глядела незрячими глазами на солнце, но уже тех храпов могучих не испускала, от которых некогда содрогалась мать зеленая дубровушка.

Подошел в ту пору к Богатырю дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком — смотрит, ан у Богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели.

Спи, Богатырь, спи!

ГИЕНА

(Поучение)

Загляните в любую Зоологию и всмотритесь в изображение гиены. Ее заостренная книзу мордочка не говорит ни о лукавстве, ни о подвохе, ни, тем менее, о жестокости, а представляется даже миловидною.

Это хорошее впечатление она производит благодаря небольшим глазкам, в которых светится благосклонность. У прочих острорылых — глаза чистые, быстрые, блестящие, взор жесткий, плотоядный; у нее — глазки томные, влажные, взор — доброжелательный, приглашающий к доверию. У ксендзов такие умильные глаза бывают, когда они собе-

рутся, ad majorem Dei gloriam[1], в совести у пасомого пошарить. Или вот у чиновников, которым доверено, под величайшим секретом, праздничные наградные списки набело́ переписать, и они, чтобы всех обнадежить и, в то же время, государственную тайну соблюсти, начинают всем одинаково улыбаться.

Кто бы подумал, что это изображение принадлежит одной из тех гиен, о которых с древних времен сложилась такая нехорошая репутация?!

Древние видели в гиене нечто сверхъестественное и приписывали ей силу волшебных чар. Этот взгляд на гиену, в значительной мере, господствует и поныне между аборигенами тех стран, где привитают эти животные. Судя по рассказам Брэма, местные арабы верят, что человек сходит с ума от употребления мозга гиены и что колдуны пользуются этим, чтобы вредить ненавистным им людям. Мало того: арабы убеждены, что гиены не что иное, как замаскированные волшебники, которые днем являются в виде людей, а ночью принимают образ зверя, на погибель праведных душ.

Очевидно, россказни эти столь же мало правдоподобны, как и та басня, которую я слышал от одной купчихи в Замоскворечье: «Знаю-де я гиену, которая днем в человеческом виде дорогих гостей принимает, а чуть смеркнется, берется за перо и начинает — в гиенском образе — «газету писать»...» Какой вздор!

Впрочем, о полосатой гиене Брэм отзывается довольно снисходительно, хотя, разумеется, особенных добродетелей за ней не видит. Но ведь у зверей вообще ни добродетелей, ни пороков не водится, а водятся только свойства. Самый вой полосатой гиены, по свидетельству Брэма, далеко не так противен, как рассказывают,— и нередко он забавлялся, слушая его. Наоборот, вой пятнистой гиены имеет, действительно, характер «какого-то ужасного хохота, который всякой верующей душе, с живым воображением, легко приписать дьяволу и его адской компании». Так что ежели, читая, например, куранты, вы слышите страшный хохот, «который можно приписать дьяволу», то знайте, что он принадлежит пятнистой гиене и что эта разновидность гиены есть самая опасная и ненавистная из всех.

Об этой гиенской особи у Брэма никаких сведений нет, но нужно вообще заметить, что его рассказ о гиенах несколько спутан. И, очевидно, эта спутанность происходит именно оттого, что тип гиены-оборотня как будто ускользнул от него.

---

[1] к вящей славе божией.

К счастию, он не ускользнул от той замоскворецкой купчихи, о которой я упомянул выше и которая, положительно, видела такую гиену собственными глазами.

— Посмотреть на нее — милушка! — рассказывала она,— а как начнет она хрюкать да хохотать... хохочет-хохочет, да вдруг как захныкает... Господи, спаси и помилуй!

Тем не менее нет сомнения, что именно эту разновидность имеет Брэм в виду, когда говорит, что гиены обладают отвратительно резким голосом, издают противный запах и при еде поднимают такое кряхтение, крик и хохот, что суеверным людям вполне естественно кажется, будто беснуются все черти ада. Сверх того, эта гиена нападает только на слабых, спящих и беззащитных (а конечно, еще того лучше, коли жертва связана) и, кроме того, нередко заходит днем в дома и уносит маленьких детей. Вообще дети — любимое лакомство гиены-оборотня. Ночью она забирается в жилища мамбуков (одно из кафрских племен), проходит мимо телят, не трогая их, и из-под одеял спящих матерей утаскивает детей.

Изловить живую гиену не особенно трудно, и потому содержатели зверинцев довольно дешево приобретают их и в клетках показывают публике. Заключенная в клетку, гиена по целым часам лежит на боку, как колода, потом вдруг вскочит, смотрит невыразимо глупо, трется об решетку и от времени до времени заливается хохотом, который пронизывает до мозга костей.

За всем тем, по свидетельству того же Брэма, насколько гиена ехидна, настолько она и труслива. Однажды случилось ему заночевать в компании на берегу Голубой реки, как вдруг, вблизи самого костра, появилась гиена и затянула свою раздирающую песню. Однако ж, стоило собравшейся компании, в ответ на эту песню, захохотать, как незваная гостья испугалась и немедленно бежала. В другой раз, в городе Сенааре, возвращаясь в полночь из гостей, Брэм в одной из городских улиц встретил порядочное стадо гиен. Но одного камня, брошенного в них, было достаточно, чтобы разогнать все стадо.

Гиен можно даже приручать. Удовольствия, конечно, это занятие доставить не может, но, в видах подробнейшего исследования нравов этого животного, подобные попытки не бесполезны. Достигается приручение довольно легко: стоит только чаще прибегать к побоям и к купанью в холодной воде. Прирученные таким образом гиены, рассказывает Брэм, завидевши его, вскакивали с радостным воем, начинали вокруг него прыгать, клали передние лапы ему на плечи, обнюхивали лицо, наконец поднимали хвост совсем прямо кверху и высовывали вывороченную кишку на $1^1/_2$—2 дюйма из зад-

него прохода. Одним словом, человек восторжествовал и тут, как везде; только вот высунутая кишка — это уж лишнее.

А впрочем, видеть *радость* гиены... это тоже в своем роде...

«Но что же означает вся эта история и с какою целью она написана?» — быть может, спросит меня читатель.— А вот именно затем я ее и рассказал, чтобы наглядным образом показать, что «человеческое» всегда и неизбежно должно восторжествовать над «гиенским».

Иногда нам кажется, что «гиенское» готово весь мир заполонить, что оно и одесную, и ошую распространило криле и вот-вот задушит все живущее. Такие фантасмагории случаются нередко. Кругом раздается дьявольский хохот и визг; из глубины мрака несутся возгласы, призывающие к ненависти, к сваре, к междоусобью. Все живое в безотчетном страхе падает ниц; все душевные отправления застывают под гнетом одной удручающей мысли: изгибло доброе, изгибло прекрасное, изгибло человеческое! Все, словно непроницаемым пологом, навсегда заслонено ненавистническим, клеветническим, гиенским!

Но это — громадное и преступное заблуждение. «Человеческое» никогда окончательно не погибало, но и под пеплом, которым временно засыпало его «гиенское», продолжало гореть.

И впредь оно не погибнет, и не перестанет гореть — никогда! Ибо для того, чтобы оно восторжествовало, необходимо только одно: осветить сердца и умы сознанием, что «гиенство» вовсе не обладает теми волшебными чарами, которые приписывает ему безумный и злой предрассудок. Как только это просветление свершится, не будет надобности и в приручении «гиенства» — зачем? оно все-таки не перестанет смердить, да и возни с приручением много,— а будет оно само собой все дальше и дальше удаляться вглубь, покуда, наконец, море не поглотит его, как древле оно поглотило стадо свиней.

Dixi [1].

ПРИКЛЮЧЕНИЕ С КРАМОЛЬНИКОВЫМ

(Сказка-элегия)

Однажды утром, проснувшись, Крамольников совершенно явственно ощутил, что его нет. Еще вчера он сознавал себя сущим; сегодня вчерашнее *бытие* каким-то волшебством превратилось в *небытие*. Но это небытие было совершенно осо-

---

[1] Я высказался.

бого рода. Крамольников торопливо ощупал себя, потом произнес вслух несколько слов, наконец посмотрелся в зеркало; оказалось, что он — тут, налицо, и что, в качестве ревизской души, он существует в том же самом виде, как и вчера. Мало того: он попробовал мыслить — оказалось, что и мыслить он может... И за всем тем для него не подлежало сомнению, что его нет. Нет того *не-ревизского* Крамольникова, каким он сознавал себя накануне. Как будто бы перед ним захлопнулась какая-то дверь или завалило впереди дорогу, и ему некуда и незачем идти.

Переходя от одного предположения к другому и в то же время с любопытством всматриваясь в окружающую обстановку, он взглянул мимоходом на лежавшую на письменном столе начатую литературную работу, и вдруг все его существо словно электрическая струя пронизала...

Не нужно! не нужно! не нужно!

. . . .

Сначала он подумал: «Какой вздор!» — и взялся за перо. Но когда он хотел продолжать начатую работу, то сразу убедился, что, действительно, ему предстоит провести черту и под нею написать: *Не нужно!!*

Он понял, что все оставалось по-прежнему,— только душа у него запечатана. Отныне он волен производить свойственные ревизской душе отправления; волен, пожалуй, мыслить; но все это ни к чему. У него отнято главное, что составляло основу и сущность его жизни: отнята та лучистая сила, которая давала ему возможность огнем своего сердца зажигать сердца других.

Он стоял изумленный; смотрел и не видел; искал и не находил. Что-то бесконечно мучительное жгло его внутренности... А в воздухе между тем носился нелепо-озорной шепот: «Поймали, расчухали, уличили!»

— Что́ такое? что́ такое случилось?

Положительно, душа его была запечатана. Как у всякого убежденного и верящего человека, у Крамольникова был внутренний храм, в котором хранилось сокровище его души. Он не прятал этого сокровища, не считал его своею исключительною собственностью, но расточал его. В этом, по его мнению, замыкался весь смысл человеческой жизни. Без этой деятельной силы, которая, наделяя человека потребностью источать из себя свет и добро, в то же время делает его способным воспринимать свет и добро от других,— человеческое общество уподобилось бы кладбищу. Это было бы не общество, а склад трупов... И вот теперь трупный период для него наступил. Обмену света и добра пришел конец. И сам он, Кра-

мольников,— труп, и те, к которым он так недавно обращался, как к источнику живой воды для своей деятельности,— тоже трупы... Никогда, даже в воображении, не представлял он себе несчастия столь глубокого.

Крамольников был коренной пошехонский литератор, у которого не было никакой иной привязанности, кроме читателя, никакой иной радости, кроме общения с читателем. Читатель не олицетворялся для него в какой-нибудь материальной форме и тем не менее всегда предстоял перед ним. В этой привязанности к отвлеченной личности было что-то исключительное, до болезненности страстное. Целые десятки лет она одна питала его и с каждым годом делалась все больше и больше настоятельною. Наконец пришла старость, и все блага жизни, кроме одного, высшего и существеннейшего, окончательно сделались для него безразличными, ненужными...

И вдруг, в эту минуту,— рухнуло и последнее благо. Разверзлась темная пропасть и поглотила то «единственное», которое давало жизни смысл...

В литературном цехе такие, направленные исключительно в одну сторону, личности по временам встречаются. Смолоду так односторонне слагается их жизнь, что какие бы случайности ни сталкивали их с фаталистически обозначенной колеи, уклонение никогда не бывает ни серьезно, ни продолжительно. Под грудами наносного хлама продолжает течь настоящая жильная струя. Все разнообразие жизни представляется фиктивным; весь интерес ее сосредоточивается в одной светящей точке. Никогда они не дают себе отчета в том, какого рода случайности ждут на пути, никогда не предусматривают, не стараются обеспечить тыл, не предпринимают разведок, не справляются с бывшими примерами. Не потому, чтобы проходящие перед ними явления и зависимость их от этих явлений были для них неясны, а потому, что никакие предвидения, никакие справки — ни на йоту не могут видоизменить те функции, прекращение которых было бы равносильно прекращению бытия. Нужно убить человека, чтобы эти функции прекратились.

Неужели именно это убийство и совершилось теперь, в эту загадочную минуту? Что́ такое случилось? — Тщетно искал он ответа на этот вопрос. Он понимал только одно, что его со всех сторон обступает зияющая пустота.

Крамольников горячо и страстно был предан своей стране и отлично знал как прошедшее, так и настоящее ее. Но это знание повлияло на него совершенно особенным образом: оно было живым источником болей, которые, непрерывно возобновляясь, сделались наконец главным содержанием его жиз-

ни, дали направление и окраску всей его деятельности. И он не только не старался утишить эти боли, а, напротив, работал над ними и оживлял их в своем сердце. Живость боли и непрерывное ее ощущение служили источником живых образов, при посредстве которых боль передавалась в сознание других.

Знал он, что пошехонская страна исстари славилась непостоянством и неустойчивостью, что самая природа ее какая-то не заслуживающая доверия. Реки расползлись вширь, и что ни год, то меняют русло, пестрея песчаными перекатами. Атмосферические явления поражают внезапностью, похожею на волшебство: сегодня — жара́, хоть рубашку выжми, завтра — та же рубашка коло́м стоит на обывательской спине. Лето короткое, растительность бедная, болота неоглядные... Словом сказать — самая неспособная, предательская природа, такая, что никаких дел загадывать вперед не приходится.

Но еще более непостоянные в Пошехонье судьбы человеческие. Смерд говорит: «От сумы да от тюрьмы не открестишься»; посадский человек говорит: «Барыши наши на воде вилами писаны»; боярин говорит: «У меня вчера уши выше лба росли, а сегодня я их вовсе сыскать не могу». Нет связи между вчерашним и завтрашним днем! Бродит человек словно по Чуровой долине: пронесет бог — пан, не пронесет — пропал.

Какая может быть речь о совести, когда все кругом изменяет, предательствует? На что́ обопрется совесть? на чем она воспитается?

Знал все это Крамольников, но, повторяю, это знание оживляло боли его сердца и служило отправным пунктом его деятельности. Повторяю: он глубоко любил свою страну, любил ее бедноту, наготу, ее злосчастие. Быть может, он усматривал впереди чудо, которе уймет снедавшую его скорбь.

Он верил в чудеса и ждал их. Воспитанный на лоне волшебств, он незаметно для самого себя подчинился действию волшебства и признал его решающим фактором пошехонской жизни. В какую сторону направит волшебство свое действие? — в этом весь вопрос... К тому же и в прошлом не все была тьма. По временам мрак редел, и в течение коротких просветов пошехонцы несомненно чувствовали себя бодрее. Это свойство расцветать и ободряться под лучами солнца, как бы ни были они слабы, доказывает, что для всех вообще людей свет представляет нечто желанное. Надо поддерживать в них эту инстинктивную жажду света, надо напоминать, что жизнь есть радование, а не бессрочное страдание, от которого может спасти лишь смерть. Не смерть должна разрешить узы, а восстановленный человеческий образ, просветленный и очищенный от тех посрамлений, которые наслоили на

нем века подъяремной неволи. Истина эта так естественно вытекает из всех определений человеческого существа, что нельзя допустить даже минутного сомнения относительно ее грядущего торжества. Крамольников верил в это торжество и всего себя отдал напоминаниям о нем.

Все силы своего ума и сердца он посвятил на то, чтобы восстановлять в душах своих присных представление о свете и правде и поддерживать в их сердцах веру, что свет придет и мрак его не обнимет. В этом, собственно, заключалась задача всей его деятельности.

Действительно, волшебство не замедлило вступить в свои права. Но не то благотворное волшебство, о котором он мечтал, а заурядное, жестокое пошехонское волшебство.

Не нужно! не нужно! не нужно!

К чести Крамольникова должно сказать, что он ни разу не задался вопросом: за что? Он понимал, что, при полном отсутствии винословности, подобного рода вопрос не только неуместен, но прямо свидетельствует о слабодушии вопрошающего. Он даже не отрицал нормальности настигшего его факта,— он только находил, что нормальность в настоящем случае заявила себя чересчур уже жестоко и резко. Не раз приходилось ему, в течение долгого литературного пути, играть роль anima vilis [1] перед лицом волшебства, но, до сих пор, последнее хоть душу его оставляло нетронутою. Теперь оно эту душу отняло, скомкало и запечатало, и как ни привычны были Крамольникову капризы волшебства, но на этот раз он почувствовал себя изумленным. Весь он был словно расшиблен, везде, во всем существе, ощущал жгучую и совсем новую боль.

И вдруг он вспомнил о «читателе». До сих пор он отдавал читателю все силы вполне беззаветно; теперь в его сердце впервые шевельнулось смутное чаянье отклика, сочувствия, помощи...

И его инстинктивно потянуло на улицу, как будто там его ожидало какое-то разъяснение.

Улица имела обыкновенный пошехонский вид. Крамольникову показалось, что перед глазами его расстилается немое, слепое и глухое пространство. Только камни вопияли. Люди сновали взад и вперед осторожно и озираясь, точно шли воровать. Только эта струна и была живая. Все прочее было проникнуто изумлением, почти остолбенением. Однако ж Крамольникову сгоряча показалось, что даже эта немая улица нечто *знает*. Ему этого так страстно хотелось, что он вопль камней принял за вопль людей. Тем не менее отчасти он не

---

[1] подопытного существа.

ошибался. Действительно, там и сям раздавалось развязное гуденье. То было гуденье либералов, недавних друзей его. Одних он обгонял, другие шли навстречу. Но увы! никакого оттенка участия не виделось на их лицах. Напротив, на них уже успела лечь тень отступничества.

— Однако! похоронили-таки вас, голубчик! живо! — сказал один,— строгонько, сударь, строгонько! Ну, да ведь тоже и вы... нельзя этого, мой друг; я вам давно говорил, что нельзя! Терпели вас, терпели,— ну, наконец...

— Но чтó же такое «наконец»?

— Да просто «наконец» — и все тут! скучно стало. Нынче не разговаривать нужно, а взирать и, буде можно,— усматривать. Вам, сударь, следовало самому зараньше догадаться; а ежели вам претило присоединиться от полноты души,— ну, так хоть слегка бы: «Разбирайте, мол, каков я там... внутри!» А то все сплеча! все сплеча! Ну, и надоело.— Я и сам — разве, вы думаете, мне сладко? Не со вчерашнего дня, чай, меня знаете! Однако и я поразмыслил да посоветовался с добрыми людьми... Господи, благослови... Бух!

Другой сказал:

— Да, любезный друг, жаль вас, очень жаль! приятно было почитать. Улыбнешься, вздохнешь, а иногда и дельное что-нибудь отыщешь... Даже приятелям, бывало, спешишь сообщить. В канцеляриях цитировали. У меня был знакомый, который наизусть многое знал. Но, с другой стороны, есть всему и предел. Настали времена, когда понадобилось другое; вы должны были понять это, а не дожидаться, пока вас прихлопнут. Чтó такое это «другое» — выяснится потом, но не теперь... Вот я, вслед за другими, смотрел-смотрел, да и говорю жене: «Надо же!» Ну, и она говорит: «Надо!» Я и решился.

— На что же вы решились?

— Да просто — идти общим торным путем. Не заглядываясь по сторонам, не паря ввысь, не думая о широких задачах... Помаленьку да полегоньку. Оно скучненько и серенько, положим, но ведь, с одной стороны, блистать-то нам не по плечу, а с другой стороны — семейство. Жена принарядиться любит, повеселиться... Сам тоже: имеешь положение в свете, связи, знакомства; видишь, как другие вперед да вперед идут,— неужто же все потерять? Вы думаете, я так-таки навсегда... нет, я тоже с оговорочкой. Придут когда-нибудь и лучшие времена... Вот, например, ежели Николай Семеныч... Кормило-то, батюшка, нынче... Сегодня Иван Михайлыч, а завтра Николай Семеныч... Ну, тогда и опять...

— Да ведь Николай-то Семеныч — вор!

— Вор! Ах, как вы жестоко выражаетесь!

Наконец третий просто напрямки крикнул на него:

— И за дело! Будет с вас! Вы, сударь, не только себя, но и других компрометируете — вот что! Я из-за вас вчера объяснение имел, а нынче и не знаю, есмь я или не есмь! А какое вы имеете право, позвольте вас спросить? «В приятельских отношениях с господином Крамольниковым, говорит, а посему...» Я — туда-сюда. «Какие же, говорю, это приятельские отношения, вашество? так, буффон — отчего же после трудов и не посмеяться!» Ну, дали покамест двадцать четыре часа на размышление, а там что будет. А у меня между тем семья, жена, дети... Да и сам я в поле не обсевок... Можно ли было этого ожидать! Повторяю: какое вы имеете право? ах-ах-ах!

Крамольников не счел нужным продолжать беседу и пошел дальше. Но так как на пути его стоял дом, в котором жил давний его однокашник, то он и зашел к нему, думая хоть тут отвести душу.

Лакей принял его радушно; по-видимому, он ничего еще не знал. Он сказал, что Дмитрия Николаича нет дома, а Аглая Алексеевна в гостиной. Крамольников отворил дверь, но едва переступил порог гостиной, как сидевшая в ней дама взвизгнула и убежала. Крамольников отретировался.

Наконец он вспомнил, что на Песках живет старый его сослуживец (Крамольников лет пятнадцать назад тоже служил в департаменте Грешных Помышлений), Яков Ильич Воробушкин. Человек этот был большой почитатель Крамольникова и служил неудачно. С лишком десять лет тянул он лямку столоначальника, не имея в перспективе никакого повышения и при каждой перемене веяния дрожа за свое столоначальничество. Робкий и неискательный от природы, он и на частной службе приютиться не мог. Как-то с самого начала он устроил себя так, что ему самому казалось странным чего-нибудь искать, подавать записки об уничтожении и устранении, слоняться по передним и лестницам и т. д. Раз только он подал записку о необходимости ободрить нищих духом; но директор, прочитав ее, только погрозил ему пальцем, и с тех пор Воробушкин замолчал. В последнее время, однако ж, он начал смутно надеяться, стал ходить в ту самую церковь, куда ходил его начальник, так что последний однажды подарил ему половину заздравной просфоры (донышко) и сказал: «Очень рад!» Таким образом, дело его было уже на мази, как вдруг...

Крамольникову отворила дверь старая нянька, сзади которой, из внутренних дверей, выглядывали испуганные лица детей. Нянька была сердита, потому что нежданный посетитель помешал ей ловить блох. Она напрямки отрезала Крамольникову:

— Нет Якова Ильича дома; его из-за вас к начальнику позвали, и жив он теперь или нет — неизвестно; а барыня в церкву молиться ушли.

Крамольников стал спускаться по лестнице, но едва сделал несколько шагов, как встретил самого Воробушкина.

— Крамольников! простите меня, но я не могу поддерживать наши старые отношения! — сказал Воробушкин взволнованным голосом.— На этот раз, впрочем, я, кажется, оправдался, но и то наверное поручиться не могу. Директор так и сказал: «На вас неизгладимое пятно!» А у меня жена, дети! Оставьте меня, Крамольников! Простите, что я такой малодушный, но я не могу...

. . . .

Крамольников воротился домой удрученный, почти испуганный.

Что отныне он был осужден на одиночество — это он сознавал. Не потому он был одинок, что у него не было читателя, который ценил, а быть может, и любил его, а потому, что он утратил всякое общение с *своим* читателем. Этот читатель был далеко и разорвать связывающие его узы не мог. Напротив, был другой читатель, ближний, который во всякое время имел возможность зажалить Крамольникова до смерти. Этот остался налицо и нагло выражал, что самая немота Крамольникова ему ненавистна.

Смутно проносилось в его уме, что во всех отступничествах, которых он был свидетелем, кроется не одно личное предательство, а целый подавляющий порядок вещей. Что все эти вчерашние свободные мыслители, которые еще недавно так дружелюбно жали ему руки, а сегодня чураются его, как чумы, делают это не только страха ради иудейска, но потому, что их придавило.

Их придавила жажда жизни; а так как жажда эта вполне законна и естественна, то Крамольникову становилось страшно при этой мысли. «Неужто,— спрашивал он себя,— для того, чтобы удержать за собой право на существование, нужно пройти сквозь позорное и жестокое иго? Неужто в этом загадочном мире только то естественно, что идет вразрез с самыми заветными и дорогими стремлениями души?»

Или опять: почти всякий из недавних его собеседников ссылался на семью; один говорил: «Жена принарядиться любит»; другой: «Жена» — и больше ничего... Но особенно тяжко выходило это у Воробушкина. Семья ему душу рвала. Вероятно, он лишал себя всего, плохо ел, плохо спал, добывал на стороне работишку — все ради семьи. И, за всем тем, добывал так мало, что только самоотверженность Лукерьи Васильевны

(жены Воробушкина) помогала переносить эту нужду. И вот, ради этого малого, ради нищенской подачки...

Что́ же это такое? Что́ такое семья? Как устроиться с семейным началом? Как сделать, чтобы оно не было для человека египетской язвой, не тянуло его во все стороны, не мешало быть гражданином?

Крамольников думал-думал, и вдруг словно кольнуло его.

«Отчего же,— говорил ему внутренний голос,— эти жгучие вопросы не представлялись тебе так назойливо *прежде,* как представляются *теперь?* Не оттого ли, что ты был прежде раб, сознававший за собой какую-то мнимую силу, а теперь ты раб бессильный, придавленный? Отчего ты не шел прямо и не самоотвергался? Отчего ты подчинял себя какой-то профессии, которая давала тебе положение, связи, друзей, а не спешил туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицом к лицу с этими стонами, а волновался ими только отвлеченно?

Из-под пера твоего лился протест, но ты облекал его в такую форму, которая делала его мертворожденным. Все, против чего ты протестовал,— все это и поныне стоит в том же виде, как и до твоего протеста.

Твой труд был бесплоден. Это был труд адвоката, у которого язык измотался среди опутывающих его лжей. Ты протестовал, но не указал ни того, что́ нужно делать, ни того, как люди шли вглубь и погибали, а ты слал им вслед свое сочувствие. Но это было пленное раздражение мысли,— раздражение, положим, доброе, но все-таки только раздражение. Ты даже тех людей, которые сегодня так нагло отвернулись от тебя,— ты и их не сумел понять. Ты думал, что *вчера* они были иными, нежели сегодня.

Правда, ты не способен идти следом за этими людьми; ты не способен изменить тем добрым раздражениям, которые с молодых ногтей вошли тебе в плоть и кровь. Это, конечно, зачтется тебе... где и когда? Но теперь, когда тебя со всех сторон обступила старость, с ее недугами, рассуди сам, что́ тебе предстоит?..»

Post scriptum от автора. Само собой разумеется, что все написанное выше — не больше как сказка. Никакого Крамольникова нет и не было; отступники же и переметные сумы водились во всякое время, а не только в данную минуту. А так как и во всем остальном все обстоит благополучно, то не для чего было и огород городить, в чем автор и кается чистосердечно перед читателями.

ХРИСТОВА НОЧЬ

(Предание)

Равнина еще цепенеет, но среди глубокого безмолвия ночи под снежною пеленою уже слышится говор пробуждающихся ручьев. В оврагах и ложбинах этот говор принимает размеры глухого гула и предостерегает путника, что дорога в этом месте изрыта зажорами. Но лес еще молчит, придавленный инеем, словно сказочный богатырь железною шапкою. Темное небо сплошь усыпано звездами, льющими на землю холодный и трепещущий свет. В обманчивом его мерцании мелькают траурные точки деревень, утонувших в сугробах. Печать сиротливости, заброшенности и убожества легла и на застывшую равнину, и на безмолвствующий проселок. Все сковано, беспомощно и безмолвно, словно задавлено невидимой, но грозной кабалой.

Но вот в одном конце равнины раздалось гудение полночного колокола; навстречу ему, с противоположного конца, понеслось другое, за ним — третье, четвертое. На темном фоне ночи вырезались горящие шпили церквей, и окрестность вдруг ожила. По дороге потянулись вереницы деревенского люда. Впереди шли люди серые, замученные жизнью и нищетою, люди с истерзанными сердцами и с поникшими долу головами. Они несли в храм свое смирение и свои воздыхания; это было все, что они могли дать воскресшему богу. За ними, поодаль, следовали в праздничных одеждах деревенские богатеи, кулаки и прочие властелины деревни. Они весело гуторили меж собою и несли в храм свои мечтания о предстоящем недельном ликовании. Но скоро толпы народные утонули в глубине проселка; замер в воздухе последний удар призывного благовеста, и все опять торжественно смолкло.

Глубокая тайна почуялась в этом внезапном перерыве начавшегося движения,— как будто за наступившим молчанием надвигалось чудо, долженствующее вдохнуть жизнь и возрождение. И точно: не успел еще заалеть восток, как желанное чудо совершилось. Воскрес поруганный и распятый бог! воскрес бог, к которому искони огорченные и недугующие сердца вопиют: «Господи, поспешай!»

Воскрес бог и наполнил собой вселенную. Широкая степь встала навстречу ему всеми своими снегами и буранами. За степью потянулся могучий лес и тоже почуял приближение воскресшего. Подняли матерые ели к небу мохнатые лапы; заскрипели вершинами столетние сосны; загудели овраги и реки; выбежали из нор и берлог звери, вылетели птицы из гнезд;

все почуяли, что из глубины грядет нечто светлое, сильное, источающее свет и тепло, и все вопияли: «Господи! Ты ли?»

Господь благословил землю и воды, зверей и птиц и сказал им:

— Мир вам! Я принес вам весну, тепло и свет. Я сниму с рек ледяные оковы, одену степь зеленою пеленою, наполню лес пением и благоуханиями. Я напитаю и напою птиц и зверей и наполню природу ликованием. Пускай законы ее будут легки для вас; пускай она для каждой былинки, для каждого чуть заметного насекомого начертит круг, в котором они останутся верными прирожденному назначению. Вы не судимы, ибо выполняете лишь то, что вам дано от начала веков. Человек ведет непрестанную борьбу с природой, проникая в ее тайны и не предвидя конца своей работе. Ему необходимы эти тайны, потому что они составляют неизбежное условие его благоденствия и преуспеяния. Но природа сама себе довлеет, и в этом ее преимущество. Нет нужды, что человек мало-помалу проникает в ее недра — он покоряет себе только атомы, а природа продолжает стоять перед ним в своей первобытной неприступности и подавляет его своим могуществом. Мир вам, степи и леса, звери и пернатые! и да согреют и оживят вас лучи моего воскресения!

Благословивши природу, воскресший обратился к людям. Первыми вышли навстречу к нему люди плачущие, согбенные под игом работы и загубленные нуждою. И когда он сказал им: «Мир вам!» — то они наполнили воздух рыданиями и пали ниц, молчаливо прося об избавлении.

И сердце воскресшего вновь затуманилось тою великою и смертельную скорбью, которою оно до краев переполнилось в Гефсиманском саду, в ожидании чаши, ему уготованной. Все это многострадальное воинство, которое пало перед ним, несло бремя жизни имени его ради; все они первые приклонили ухо к его слову и навсегда запечатлели его в сердцах своих. Всех их он видел с высот Голгофы, как они метались вдали, окутанные сетями рабства, и всех он благословил, совершая свой крестный путь, всем обещал освобождение. И все они с тех пор жаждут его и рвутся к нему. Все с беззаветною верою простирают к нему руки: «Господи! Ты ли?»

— Да, это я,— сказал он им.— Я разорвал узы смерти, чтобы прийти к вам, слуги мои верные, сострадальцы мои дорогие! Я всегда и на всяком месте с вами, и везде, где пролита ваша кровь,— тут же пролита и моя кровь вместе с вашею. Вы чистыми сердцами беззаветно уверовали в меня, потому только, что проповедь моя заключает в себе правду, без кото-

рой вселенная представляет собой вместилище погубления и ад кромешный. Люби бога и люби ближнего, как самого себя — вот эта правда, во всей ее ясности и простоте, и она наиболее доступна не богословам и начетчикам, а именно вам, простым и удрученным сердцам. Вы верите в эту правду и ждете ее пришествия. Летом, под лучами знойного солнца, за сохою, вы служите ей; зимой, длинными вечерами, при свете дымящейся лучины, за скудным ужином, вы учите ей детей ваших. Как ни кратка она сама по себе, но для вас в ней замыкается весь смысл жизни и никогда не иссякающий источник новых и новых собеседований. С этой правдой вы встаете утром, с нею ложитесь на сон грядущий и ее же приносите на алтарь мой в виде слез и воздыханий, которые слаще аромата кадильного растворяют сердце мое. Знайте же: хотя никто не провидит вперед, когда пробьет ваш час, но он уже приближается. Пробьет этот желанный час, и явится свет, которого не победит тьма. И вы свергнете с себя иго тоски, горя и нужды, которое удручает вас. Подтверждаю вам это, и как некогда с высот Голгофы благословлял вас на стяжание душ ваших, так и теперь благословляю на новую жизнь в царстве света, добра и правды. Да не уклонятся сердца ваши в словеса лукавствия, да пребудут они чисты и просты, как доднесь, а слово мое да будет истина. Мир вам!

Воскресший пошел далее и встретил на пути своем иных людей. Тут были и богатеи, и мироеды, и жестокие правители, и тати, и душегубцы, и лицемеры, и ханжи, и неправедные судьи. Все они шли с сердцами, преисполненными праха, и весело разговаривали, встречая не воскресение, а грядущую праздничную суету. Но и они остановились в смятении, почувствовав приближение воскресшего.

Он также остановился перед ними и сказал:

— Вы — люди века сего и духом века своего руководитесь. Стяжание и любоначалие — вот двигатели ваших действий. Зло наполнило все содержание вашей жизни, но вы так легко несете иго зла, что ни единый скрупул вашей совести не дрогнул перед будущим, которое готовит вам это иго. Все окружающее вас представляется как бы призванным служить вам. Но не потому овладели вы вселенною, что сильны сами по себе, а потому, что сила унаследована вами от предков. С тех пор вы со всех сторон защищены, и сильные мира считают вас присными. С тех пор вы идете с огнем и мечом вперед и вперед; вы крадете и убиваете, безнаказанно изрыгая хулу на законы божеские и человеческие, и тщеславитесь, что таково искони унаследованное вами право. Но говорю вам: придет время — и недалеко оно,— когда мечтания ваши рассеются в прах. Сла-

бые также познают свою силу; вы же сознаете свое ничтожество перед этою силой. Предвидели ли вы когда-нибудь этот грозный час? смущало ли вас это предвидение за себя и за детей ваших?

Грешники безмолвствовали на этот вопрос. Они стояли, потупив взоры и как бы ожидая еще горшего. Тогда воскресший продолжал:

— Но во имя моего воскресения я и перед вами открываю путь к спасению. Этот путь — суд вашей собственной совести. Она раскроет перед вами ваше прошлое во всей его наготе; она вызовет тени погубленных вами и поставит их на страже у изголовий ваших. Скрежет зубовный наполнит дома ваши; жены не познают мужей, дети — отцов. Но когда сердца ваши засохнут от скорби и тоски, когда ваша совесть переполнится, как чаша, не могущая вместить переполняющей ее горечи,— тогда тени погубленных примирятся с вами и откроют вам путь к спасению. И не будет тогда ни татей, ни душегубцев, ни мздоимцев, ни ханжей, ни неправедных властителей, и все одинаково возвеселятся за общею трапезой в обители моей. Идите же и знайте, что слово мое — истина!

В эту самую минуту восток заалел, и в редеющем сумраке леса выступила безобразная человеческая масса, качающаяся на осине. Голова повесившегося, почти оторванная от туловища, свесилась книзу; вóроны уже выклевали у нее глаза и выели щеки. Самое туловище было по местам обнажено от одежд и, зияя гнойными ранами, размахивало по ветру руками. Стая хищных птиц кружилась над телом, а более смелые бесстрашно продолжали дело разрушения.

То было тело предателя, который сам совершил суд над собой.

Все предстоявшие с ужасом и отвращением отвернулись от представившегося зрелища; взор воскресшего воспылал гневом.

— О, предатель! — сказал он,— ты думал, что вольною смертью избавился от давившей тебя измены; ты скоро сознал свой позор и поспешил окончить расчеты с постыдною жизнью. Преступление так ясно выступило перед тобой, что ты с ужасом отступил перед общим презрением и предпочел ему душевное погубление. «Единый миг,— сказал ты себе,— и душа моя погрузится в безрассветный мрак, а сердце перестанет быть доступным угрызениям совести». Но да не будет так. Сойди с древа, предатель! да возвратятся тебе выклеванные очи твои, да закроются гнойные раны и да восстановится позорный твой облик в том же виде, в каком он был в ту минуту, когда ты лобзал предаваемого тобой. Живи!

По этому слову, перед глазами у всех, предатель сошел с древа и пал на землю перед воскресшим, моля его о возвращении смерти.

— Я всем указал путь к спасению,— продолжал воскресший,— но для тебя, предатель, он закрыт навсегда. Ты проклят богом и людьми, проклят на веки веков. Ты не убил друга, раскрывшего перед тобой душу, а застиг его врасплох и предал на казнь и поругание. За это я осуждаю тебя на жизнь. Ты будешь ходить из града в град, из веси в весь и нигде не найдешь крова, который бы приютил тебя. Ты будешь стучаться в двери — и никто не отворит их тебе; ты будешь умолять о хлебе — и тебе подадут камень; ты будешь жаждать — и тебе подадут сосуд, наполненный кровью преданного тобой. Ты будешь плакать, и слезы твои превратятся в потоки огненные, будут жечь твои щеки и покрывать их струпьями. Камни, по которым ты пойдешь, будут вопиять: «Предатель! будь проклят!» Люди на торжищах расступятся перед тобой, и на всех лицах ты прочтешь: «Предатель! будь проклят!» Ты будешь искать смерти и на суше, и на водах — и везде смерть отвратится от тебя и прошипит: «Предатель! будь проклят!» Мало того: на время судьба сжалится над тобою, ты обретешь друга и предашь его, и этот друг из глубины темницы возопит к тебе: «Предатель! будь проклят!» Ты получишь способность творить добро, но добро это отравит души облагодетельствованных тобой. «Будь проклят, предатель! — возопиют они, — будь проклят и ты, и все дела твои!» И будешь ты ходить из века в век с неусыпающим червем в сердце, с погубленною душою. Живи, проклятый! и будь для грядущих поколений свидетельством той бесконечной казни, которая ожидает предательство. Встань, возьми, вместо посоха, древесный сук, на котором ты чаял найти смерть,— и иди!

И едва замерло в воздухе слово воскресшего, как предатель встал с земли, взял свой посох, и скоро шаги его смолкли в той необъятной, загадочной дали, где его ждала жизнь из века в век. И ходит он доднесь по земле, рассеевая смуту, измену и рознь.

ВОРОН-ЧЕЛОБИТЧИК

(Сказка)

Все сердце у старого ворона изболело. Истребляют вороний род: кому не лень, всякий его бьет. И хоть бы ради прибытка, а то просто ради потехи. Да и само вороньё измалодушни-

чалось. О прежнем вещем карканье и в помине нет; осыплют воро́ны гурьбой березу и кричат зря: «Вот мы где!» Натурально, сейчас — паф! — и десятка или двух в стае как не бывало. Еды прежней, привольной, тоже не стало. Леса кругом повырубили, болота повысушили, зверье угнали — никак честным образом прокормиться нельзя. Стало воронье по огородам, садам, по скотным дворам шнырять. А за это опять — паф! — и опять десятка или двух в стае как не бывало! Хорошо еще, что воро́ны плодущи, а то кто бы кречету, да ястребу, да беркуту дань платил?

Начнет он, старик, младших собратий увещевать: «Не каркайте зря! не летайте по чужим огородам!» — да только один ответ слышит: «Ничего ты, старый хрен, в новых делах не смыслишь! нельзя, по нынешнему времени, не воровать. И в науке так сказано: коли нечего тебе есть, так изворачивайся. И все так нынче живут: дела не делают, а изворачиваются. Пропадать, что ли, нам! Мы еще где до́ свету встанем, снимемся с гнезд и весь лес обшарим — везде хоть шаром покати. Ни ягоды лесной, ни пичуги малой, ни зверя упало́го. Даже червь, и тот в землю зарылся».

Слышит старый ворон эти речи и глубокую думу думает. Трудные бывали на его памяти времена. Целыми годами преследовала вороний род бескормица, без числа воронье погибало. Но тогда было правило: есть у тебя когти — рви ими свою грудь, а на чужой кусок не зарься! Однако и тогда уж было приметно, что недолго воронье эту школу выдержит. Смотреть, как другие живут припеваючи, а самому добровольно умирать с голода — от одного этого хоть чье хочешь сердце изноет.

И наука, кстати, на помощь пришла: клюй, что можешь и где можешь! Удастся набить зоб — летай на свободе сытый и веселый; не удастся — виси простреленный на огороде, вместо чучела! На то война.

Когда принес его сюда, едва оперившегося, старый батько из-за тридевять морей, места здесь были вольные. Лес да вода — и глазом не окинешь. В лесу всякой ягоды, всякого зверя, птицы — всего вдоволь; в воде рыба кишмя кишела. Начальником и тогда у них был, как и теперь, ястреб, но тогдашний ястреб и сам по себе был по горло сыт, да и прост был, так прост, что и до сих пор об его простоте анекдоты ходят. Любил, правда, молоденькими воронятами полакомиться, но и тут справедливость наблюдал: сегодня из одного гнезда унесет вороненка, завтра из другого, а ежели видит, что гнездо бедное, упалое, так и безо всего улетит. И подати тогда были не тяжелые: по яйцу с гнезда, да по перу с крыла, да с каждых десяти

гнезд по вороненку орлу в презент. Отбыл повинность — и спи на оба уха.

Но чем дальше шло, тем глубже и глубже все изменялось. Облюбовал вольные места человек и начал с того, что пустил в ход топор. Леса поредели, болота стали затягиваться, река обмелела. Сначала по берегу реки появились займки, потом деревни, села, помещичьи усадьбы. Стук топора гулким эхом раздавался в глубинах лесных, нарушая обычное течение жизни зверей и птиц. Старейшины вороньего племени уже тогда предсказывали, что грозит что-то недоброе, но молодое вороньё с веселым карканьем кружилось около человеческих жилищ, словно приветствуя пришельцев. Строгие заветы предков наскучили молодым сердцам; лесные глубины опостылели. Потребовалось новое, диковинное, неизведанное. Вороньё разделилось на партии; начались пререкания, усобицы, рознь...

Одновременно с этими изменениями произошли изменения и в высших орнитологических сферах. Старый ястреб оказался стоящим не на высоте своей задачи. Он мог управлять только при патриархальных порядках, но когда отношения усложнились, когда на каждом шагу в воронье существование врывались новые элементы, административное чутье окончательно его покинуло. Главные начальники называли его старым колпаком; вороньё оспаривало его власть и бесцеремонно каркало ему в уши всякую чепуху. Он же, вместо того, чтоб пресечь зло в самом корне, только благосклонно хлопал глазами и шутя говорил: «Вот ужо, придет реформа, узнаете вы, как кузькину мать зовут!» Наконец и ожидаемая реформа пришла. Старика сдали в архив, а прислали вместо него начальником совсем молодого ястреба, да в помощь к нему, в видах пущего контроля, поставили кречета.

Прилетели новые начальники и сказали вороньему племени немилостивое слово. «Я вас к одному знаменателю приведу!» — цыркнул ястреб, а кречет прибавил: «И я тоже». Сказавши это, объявили, что отныне налоги увеличиваются против прежнего втрое, выдали окладные листы и улетели.

Началось окончательное разорение. Вороньё роптало: «Налоги установили немилостивые, а новых угодьев не предоставили!» — раздавалось по лесу; но ни ястреб, ни кречет не внимали жалобам воронья и посылали копчиков ловить смутьянов, которые зря пустые речи в народ пущают. Много было тогда гнезд разорено, много вороньего племени в плен уведено и отдано на съедение волкам и лисицам. Думали, что вороньё, испугавшись, на хвосте дани принесет. Но вороньё от испуга только металось и жалобно каркало: «Хоть режьте, хоть стреляйте, а даней нам взять неоткуда!»

Так оно и посейчас идет: вороньё разоряется, а казна не наполняется. Что и добудет ворона на стороне, и то копчик на пути отнимет. Словом сказать, хуже нельзя. Надумало было вороньё новых мест искать и летунов вперед для разведок отправило, но они улететь — улетели, а назад не воротились. Может быть, заблудились, может быть, по пути копчики задавили, а может быть, и сами собой с голоду погибли. Да и шутка сказать — с насиженных мест неведомо куда лететь! Нет нынче вольных мест! всюду проник человек! И ему тесно стало. Идет вперед с топором; стонут леса, бегут звери, а он с утра до вечера корчует пни, расчищает пашню, рубит избу, а ночью дрожит в землянке от холода и голода в ожиданье, когда-то вся эта сутолока в порядок придет.

Думал-думал старый ворон и наконец надумал: «Надо лететь всю правду объявить». Только стар он и слаб — долетит ли? Ведь лететь — дорога не близкая. Сначала надо ястребу челом бить, потом кречету, а наконец и к коршуну, который в ту пору вороньим племенем, вроде как начальник края, правил.

У птиц тоже, как и у людей, везде инстанции заведены; везде спросят: «Был ли у ястреба? был ли у кречета?», а ежели не был, так и бунтовщиком, того гляди, прослывешь.

Наконец, однако ж, снялся ранним утром с гнезда и полетел. Видит, сидит ястреб на высокой-высокой сосне, уж сытый, и клюв когтями чистит.

— Здравствуй, старче! — приветствовал его ястреб благодушно,— зачем пожаловал?

— Прилетел я к твоему степенству правду объявить! — горячо закаркал старый ворон,— гибнет вороний род! гибнет! человек его истребляет, дани немилостивые разоряют, копчики донимают... Мрет вороний род, а кои и живы — и тем прокормиться нечем.

— Вот как! А не от нерадивости ли вашей все эти беды на вороний род опрокинулись?

— Сам ты знаешь, что нерадивости в нас нет. С утра до ночи мы шарим и корму доглядываем. Живем в трудах, как честному воронью жить надлежит, только добыть что-нибудь честным образом невозможно стало.

Ястреб на минуту задумался, словно не решался настоящее слово выговорить, но наконец сказал:

— Изворачивайтесь!

Однако решение это не удовлетворило, а только пуще взволновало ворона.

— Знаю я, что нынче все изворотами живут,— горячо ответил он,— да прост на это наш вороний род. Другие миллионы

крадут, и все им как с гуся вода, а ворона украдет копейку — ей за это смерть. Подумай, разве это не злодейство: за копейку — смерть. А ты еще учишь: «Изворачивайтесь!» Прислан ты к нам начальником, чтоб защищать нас от обид, а явился первым разорителем и угнетателем! Доколе мы будем терпеть? Ведь ежели мы...

Ворон не договорил и испугался: не легко, видно, правду-то объявлять.

Но ястреб, как сказано было выше, был сыт и смотрел на незваного гостя благодушно.

— Знаю, не договаривай,— сказал он,— давно мы эту песню слышим, да покуда бог еще миловал... А ты все-таки на ус себе намотай: прилетел ты ко мне правду объявить, да на первом же слове и запнулся... Все ли ты сказал?

— Всё покамест,— отвечал ворон, продолжая робеть.

— Ну, так я тебе вот что отвечу: правда твоя давно всем известна; не только вам, вóронам, а и копчикам, и ястребам, и коршунам. Только не ко двору она в наше время пришлась, а потому, сколько об ней ни объявляй, хоть на всех перекрестках кричи — ничего из этого не выйдет. А когда наступит время, что она сама собою объявится,— этого покуда никто не знает. Понял?

— Понял я одно: что вороньему роду конец пришел! — с горечью ответил ворон.

— Ну, коли не понял, давай разговаривать. Говоришь ты, что человек вас истребляет — но разве можем мы, птицы, против человека идти? Человек порох выдумал — а мы чем на это ответить можем? Выдумал человек порох — и палит в нас, чтó вздумается, то над нами и делает. Мы все равно, что мужики: со всех сторон в них всяко палят. То железная дорога стрельнет, то машина новая, то неурожай, то побор новый. А они только знай перевертываются. Каким таким манером случилось, что Губошлепов дорогу заполучил, а у них после того по гривне в кошеле убавилось — разве темный человек может это понять? А дело-то простое: Губошлепов порох выдумал, а мужики, ровно черви, только в навозе копаться умеют. А ежели ты червь, так и живи, как червю жить подобает. Червю и вы, воронье, потачки не даете,— вспомни-ка! что если б он на вас гвалт поднял, не вы ли бы первые удивились: «Червь, мол, ползущий, а тоже разговаривает!» Так-то, старче! Кто одолеет, тот и прав. Понял теперь?

— Погибать, значит, надо? Ах, какое жестокое ты слово сказал! — затосковал ворон.

— Жестоко ли мое слово, или не жестоко, не в том суть, а в том, что и я правды от тебя не утаил. Не той правды, которой

ты ищешь, а той, которую, по нынешнему времени, всякий в расчет принимать должен. Но будем продолжать разговор. Ты говоришь, что копчики корм у вас на лету отнимают, что я сам, ястреб, ваши гнезда разоряю, что мы не защитники ваши, а разорители. Что ж: вы кормиться хотите — и мы кормиться хотим. Кабы вы были сильнее — вы бы нас ели, а мы сильнее — мы вас едим. Ведь это тоже правда. Ты мне свою правду объявил, а я тебе — свою; только моя правда воочию совершается, а твоя за облаками летает. Понял?

— Погибать! погибать надо! — продолжал твердить старый ворон, почти не сознавая действительного значения ястребовых речей, но инстинктивно чувствуя, что они заключают в себе нечто неслыханно жестокое.

Ястреб оглянул челобитчика с головы до хвоста, и так как был сыт, то захотелось ему пошутить над стариком.

— А хочешь, я тебя съем! — сказал он; но, увидев, что ворон инстинктивно сделал скачок назад, продолжал,— ну тебя! тощ ты и стар — какая это еда! Ну-тка, распахни-ка жилет!

Ворон распустил крылья и сам удивился: кости да кожа, ни пуху, ни перьев нет — волк голодный, и тот на такую птицу не позарится.

— Вот видишь, каков ты стал. А все оттого, что о правде думаешь. Кабы ты по-вороньи, без думы, жил — такой ли бы ты был! А впрочем, пора и кончить. Жалуешься ты еще, что поборы с вас, воронья, немилостивые берут,— и это правда. Но подумай: с кого же брать? Воробьи, синицы, чижи, зяблики — много ли они могут дать? рябчики, глухари, стрепета, дятлы, кукушки? — эти живут каждый сам по себе, их и днем с огнем не отыщешь. Одно вороньё живет обществом, как настоящие мужики, и притом само о себе непрестанно возглашает — что́ же удивительного, что оно в ревизские сказки попало? А коли попал в ревизские сказки — держись! Если же в последнее время и впрямь сборы тяжелее прежнего стали, то, стало быть, так нужно. Потребностей больше — и сборов больше: это хоть кого хочешь спроси. Так-то вот, старче. Ты правду сказал, и я правду сказал; а чья правда крепче — на это отвечает ваше воронье житье. Ну, а теперь лети восвояси, а я вздремнуть хочу.

Однако ворон не возвратился восвояси, а направил полет к кречету.

«Будь, что будет,— думал он, тяжело взмахивая старческими крыльями,— а я доведу дело до конца! Если и кречет моей правды не примет, то полечу в губернию к самому коршуну, а от правды не отступлюсь!»

Кречет жил в впадине горного ущелья, и доступ к нему был

очень труден. У порога его жилища сидел дежурный копчик и принимал просителей. На этот раз дежурным оказался известный всему вороньему роду копчик Иван Иваныч, фаворит кречета (слухи шли даже, что он его побочный сын), который поручал ему самые важные и секретные дела. Это был лихой малый, с виду добродушный, с благосклонными и даже изысканными манерами. Не прочь был и побалагурить, и кутнуть где-нибудь за облачком, и полетать с девушками-чечеточками в горелки, и даже одолженье другу-приятелю сделать; но все это благодушие оставалось при нем лишь до тех пор, покуда он находился вне службы. Как только он приступал к исполнению обязанностей (особливо секретных поручений), то мгновенно преображался. Становился холоден, суров и исполнителен до жестокости. Прикажут ему настичь — он настигнет; прикажут удавить — задавит. Если птица и вдвое больше и сильнее его, он таким кубарем к ней подлетит, что та загодя начинает уж кричать и метаться от тоски. Вообще птицы, которые бывали у него в переделке, при одном имени его трепетали от страха.

— Не проспался, старик? — иронически приветствовал челобитчика Иван Иваныч.

Старый ворон понял, что здесь уже все известно. И у птиц существуют свои лазутчики, через которых не только действия, но и тайные помышления обывателей известны.

— Какой уж у стариков сон! — уклончиво отвечал он.

— Правду объявлять прилетел? — продолжал копчик,— ну, да, впрочем, это твое дело. Доложить?

— Да, уж сделай такую милость.

Иван Иваныч юркнул в впадину и около часа там оставался. Ворон, с замиранием сердца, ждал его появления. Наконец он показался.

— Велено тебе сказать,— молвил он,— что растабарывать с тобой некогда. Правда твоя искони всем известна, да, стало быть, есть в ней порок, ежели она сама собой не проявляется. Беспокойный у тебя нрав, пустые ты речи в народ пущаешь. Давно бы за это съесть тебя надо, да, слышь, стар ты, худ и немощен. К начальнику края, чай, теперь полетишь?

— Нет уж, что уж...— хотел было утаиться ворон.

— Не запирайся! насквозь я тебя вижу! Что же, лети! только как бы тебе очи за твою правду не выклевали.— Смотри, не прогадай! Да ты, поди, и дороги не знаешь; видишь, вон, облако, там, над самым этим облаком,— там и есть.

Несмотря на предсказание копчика, во́рон решился довести свое челобитье до конца. Долгим и кружным путем взбирался он, ночуя в покинутых звериных норах и пропитываясь ягодами, изредка попадавшимися на отрогах гор. Наконец он вре-

зался в облако, и перед глазами его предстало волшебное зрелище.

Несколько смежных горных вершин, покрытых снегом, пламенели в лучах восходящего солнца. Издали казался точно сказочный за̀мок, у подножия которого застыли облака, а наверху, вместо крыши, расстилалась бесконечная небесная лазурь.

Коршун сидел на скале, окруженный целой массой разнообразнейших птиц. По правую сторону его сидел белый кречет, помощник его и советник; у ног кувыркались всех сортов чиновники особых поручений: попугаи, ученые снегири и чижи; сзади хор скворцов докладывал утреннюю почту; в сторонке, на отдельной вершине, дремали совы, филины и нетопыри, образуя из себя нечто вроде губернского совета; вороны во множестве мелькали вдали, с перьями за ушами, строчили указы, предписания и донесения и кричали: «С пылу, с жару! по пятачку за пару!»

Коршун был ветхий старик и от старости едва-едва скрипел клювом. В ту минуту, когда у ног его опустился во̀рон, он только что пообедал и в полудремоте, смежив очи, покачивал головой, несмотря на оглушающий говор и шум. Однако появление челобитчика произвело среди птиц некоторый переполох, благодаря которому коршун встрепенулся.

— С просьбицей, старче? — спросил он ворона ласково.

— Прилетел я из-за тридевяти земель правду твоему великостепенству объявить! — начал во̀рон восторженно, но тут же был остановлен кречетом.

— Не разводи риторики! — холодно прервал его последний,— докладывай дело без украшений, ясно, просто, по пунктам. Что тебе надобно?

Начал ворон по пунктам свое челобитье излагать: человек вороний род истребляет, копчики, ястреба, кречета донимают, сборы немилостивые разоряют... И каждый раз, как кончит он один пункт, коршун поскрипит клювом и молвит:

— Правда твоя, старче!

Сердце играло в груди старого во̀рона при этих подтверждениях. «Наконец-то! — думалось ему,— увижу я эту правду, по которой сызмлада тоскую! Послужу своему племени, поревную за него!» И чем дальше лилось его слово, тем горячее и горячее оно звучало. Наконец он высказал все, что у него было на душе, и замолк.

— Все ли ты сказал? — спросил его коршун.

— Все,— ответил ворон.

— У ястреба, у кречета челом бил?

— Бил и у них.

Он кратко изложил свой разговор с ястребом, а также свое неудавшееся свидание с кречетом.

— Так вот что́ я тебе на твою правду скажу,— молвил коршун,— больше двухсот лет я сижу на этом утесе и хоть бочком да на солнце смотрю... Но Правде и до сих пор ни разу взглянуть в лицо не мог.

— Но почему же? — в недоумении каркнул ворон.

— А потому, что вместить ее птице не под силу. Ежели кто об себе думает, что он правду вместил, тот и выполнить ее должен; а мы, стало быть, не можем выполнить — оттого и смотрим на нее исподлобья. Думается: «Авось-либо она мимо пройдет!»

Коршун на минуту задумался и продолжал:

— Жестокое тебе слово ястреб сказал, но правильное. Хороша правда, да не во всякое время и не на всяком месте ее слушать пригоже. Иных она в соблазн ввести может, другим — вроде укоризны покажется. Иной и рад бы правде послужить, да как к ней с пустыми руками приступиться! Правда не ворона — за хвост ее не ухватишь. Посмотри кругом — везде рознь, везде свара; никто не может настоящим образом определить, куда и зачем он идет... Оттого каждый и ссылается на *свою* личную правду. Но придет время, когда всякому дыханию сделаются ясными пределы, в которых жизнь его совершаться должна,— тогда сами собой исчезнут распри, а вместе с ними рассеются как дым и все мелкие «личные правды». Объявится настоящая, единая и для всех обязательная Правда; придет и весь мир осияет. И будем мы жить все вкупе и влюбе. Так-то, старик! А покуда лети с миром и объяви вороньему роду, что я на него, как на каменную гору, надеюсь.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА

Прекраснейшую сегодня проповедь сказал, для праздника, наш сельский батюшка.

— Много столетий тому назад,— сказал он,— в этот самый день пришла в мир Правда.

Правда извечна. Она прежде всех век восседала с Христомчеловеколюбцем одесную отца, вместе с ним воплотилась и возжгла на земле свой светоч. Она стояла у подножия креста и сораспиналась с Христом; она восседала, в виде светозарного ангела, у гроба его и видела его воскресение. И когда человеколюбец вознесся на небо, то оставил на земле Правду как живое свидетельство своего неизменного благоволения к роду человеческому.

С тех пор нет уголка в целом мире, в который не проникла бы Правда и не наполнила бы его собою. Правда воспитывает нашу совесть, согревает наши сердца, оживляет наш труд, указывает цель, к которой должна быть направлена наша жизнь. Огорченные сердца находят в ней верное и всегда открытое убежище, в котором они могут успокоиться и утешиться от случайных волнений жизни.

Неправильно думают те, которые утверждают, что Правда когда-либо скрывала лицо свое, или — что еще горше — была когда-либо побеждена Неправдою. Нет, даже в те скорбные минуты, когда недальновидным людям казалось, что торжествует отец лжи, в действительности торжествовала Правда. Она одна не имела временного характера, одна неизменно шла вперед, простирая над миром крыле свои и освещая его присносущим светом своим. Мнимое торжество лжи рассевалось, как тяжкий сон, а Правда продолжала шествие свое.

Вместе с гонимыми и униженными Правда сходила в подземелья и проникала в горные ущелия. Она восходила с праведниками на костры и становилась рядом с ними перед лицом мучителей. Она воздувала в их душах священный пламень, отгоняла от них помыслы малодушия и измены; она учила их страдать всладце. Тщетно служители отца лжи мнили торжествовать, видя это торжество в тех вещественных признаках, которые представляли собой казни и смерть. Самые лютые казни были бессильны сломить Правду, а, напротив, сообщали ей вящую притягивающую силу. При виде этих казней загорались простые сердца, и в них Правда обретала новую благодарную почву для сеяния. Костры пылали и пожирали тела праведников, но от пламени этих костров возжигалось бесчисленное множество светочей, подобно тому, как в светлую утреню от пламени одной возжженной свечи внезапно освещается весь храм тысячами свечей.

В чем же заключается Правда, о которой я беседую с вами? На этот вопрос отвечает нам евангельская заповедь. Прежде всего, люби бога, и затем люби ближнего, как самого себя. Заповедь эта, несмотря на свою краткость, заключает в себе всю мудрость, весь смысл человеческой жизни.

Люби бога — ибо он жизнодавец и человеколюбец, ибо в нем источник добра, нравственной красоты и истины. В нем — Правда. В этом самом храме, где приносится бескровная жертва богу,— в нем же совершается и непрестанное служение Правде. Все стены его пропитаны Правдой, так что вы,— даже худшие из вас,—входя в храм, чувствуете себя умиротворенными и просветленными. Здесь, перед лицом распятого, вы утоляете печали ваши; здесь обретаете покой для смущенных

душ ваших. Он был распят ради Правды, лучи которой излились от него на весь мир,— вы ли ослабнете духом перед постигающими вас испытаниями?

Люби ближнего, как самого себя,— такова вторая половина Христовой заповеди. Я не буду говорить о том, что без любви к ближнему невозможно общежитие,— скажу прямо, без оговорок: любовь эта, сама по себе, помимо всяких сторонних соображений, есть краса и ликование нашей жизни. Мы должны любить ближнего не ради взаимности, но ради самой любви. Должны любить непрестанно, самоотверженно, с готовностью положить душу, подобно тому, как добрый пастырь полагает душу за овец своих.

Мы должны стремиться к ближнему на помощь, не рассчитывая, возвратит он или не возвратит оказанную ему услугу; мы должны защитить его от невзгод, хотя бы невзгода угрожала поглотить нас самих; мы должны предстательствовать за него перед сильными мира, должны идти за него в бой. Чувство любви к ближнему есть то высшее сокровище, которым обладает только человек и которое отличает его от прочих животных. Без его оживотворяющего духа все дела человеческие мертвы, без него тускнеет и становится непонятною самая цель существования. Только те люди живут полною жизнью, которые пламенеют любовью и самоотвержением; только они одни знают действительные радования жизни.

Итак, будем любить бога и друг друга — таков смысл человеческой Правды. Будем искать ее и пойдем по стезе ее. Не убоимся козней лжи, но станем дóбре и противопоставим им обретенную нами Правду. Ложь посрамится, а Правда останется и будет согревать сердца людей.

Теперь вы возвратитесь в домы ваши и предадитесь веселию о празднике рождества господа и человеколюбца. Но и среди веселия вашего не забывайте, что с ним пришла в мир Правда, что она во все дни, часы и минуты присутствует посреди вас и что она представляет собою тот священный огонь, который освещает и согревает человеческое существование.

Когда батюшка кончил и с клироса раздалось: «Буди имя господне благословенно», то по всей церкви пронесся глубокий вздох. Точно вся громада молящихся этим вздохом подтверждала: «Да, буди благословенно!»

Но из присутствовавших в церкви всех внимательнее вслушивался в слова отца Павла десятилетний сын мелкой землевладелицы Сережа Русланцев. По временам он даже обнаруживал волнение, глаза его наполнялись слезами, щеки горели, и сам он всем корпусом подавался вперед, точно хотел о чем-то спросить.

Марья Сергеевна Русланцева была молодая вдова и имела крохотную усадьбу в самом селе. Во времена крепостной зависимости в селе было до семи помещичьих усадьб, отстоявших в недальнем друг от друга расстоянии. Помещики были мелкопоместные, а Федор Павлыч Русланцев принадлежал к числу самых бедных: у него всего было три крестьянских двора да с десяток дворовых. Но так как его почти постоянно выбирали на разные должности, то служба помогла ему составить небольшой капитал. Когда наступило освобождение, он получил, в качестве мелкопоместного, льготный выкуп и, продолжая полевое хозяйство на оставшемся за наделом клочке земли, мог изо дня в день существовать.

Марья Сергеевна вышла за него замуж значительное время спустя после крестьянского освобождения, а через год уже была вдовой. Федор Павлыч осматривал верхом свой лесной участок, лошадь чего-то испугалась, вышибла его из седла, и он расшиб голову об дерево. Через два месяца у молодой вдовы родился сын.

Жила Марья Сергеевна более нежели скромно. Полеводство она нарушила, отдала землю в кортому крестьянам, а за собой оставила усадьбу с небольшим лоскутком земли, на котором был разведен садик с небольшим огородцем. Весь ее хозяйственный живой инвентарь заключался в одной лошади и трех коровах; вся прислуга — из одной семьи бывших дворовых, состоявшей из ее старой няньки с дочерью и женатым сыном. Нянька присматривала за всем в доме и пестовала маленького Сережу; дочь — кухарничала, сын с женою ходили за скотом, за птицей, обрабатывали огород, сад и проч. Жизнь потекла бесшумно. Нужды не чувствовалось; дрова и главные предметы продовольствия были некупленные, а на покупное почти совсем запроса не существовало. Домочадцы говорили: «Точно в раю живем!» Сама Марья Сергеевна тоже забыла, что существует на свете иная жизнь (она мельком видела ее из окон института, в котором воспитывалась). Только Сережа по временам тревожил ее. Сначала он рос хорошо, но, приближаясь к семи годам, начал обнаруживать признаки какой-то болезненной впечатлительности.

Это был мальчик понятливый, тихий, но в то же время слабый и болезненный. С семи лет Марья Сергеевна засадила его за грамоту; сначала учила сама, но потом, когда мальчик стал приближаться к десяти годам, в ученье принял участие и отец Павел. Предполагалось отдать Сережу в гимназию, а следовательно, требовалось познакомить его хоть с первыми основаниями древних языков. Время близилось, и Марья Сергеевна в большом смущении помышляла о предстоящей разлуке с сы-

ном. Только ценою этой разлуки можно было достигнуть воспитательных целей. Губернский город отстоял далеко, и переселиться туда при шести-семистах годового дохода не представлялось возможности. Она уже вела о Сереже переписку с своим родным братом, который жил в губернском городе, занимая невидную должность, и на днях получила письмо, в котором брат соглашался принять Сережу в свою семью.

По возвращении из церкви, за чаем, Сережа продолжал волноваться.

— Я, мамочка, по правде жить хочу! — повторял он.

— Да, голубчик, в жизни главное — правда,— успокоивала его мать,— только твоя жизнь еще впереди. Дети иначе не живут, да и жить не могут, как по правде.

— Нет, я не так хочу жить; батюшка говорил, что тот, кто по правде живет, должен ближнего от обид защищать. Вот как нужно жить, а я разве так живу? Вот, намеднись, у Ивана Бедного корову продали — разве я заступился за него? Я только смотрел и плакал.

— Вот в этих слезах — и правда твоя детская. Ты и сделать ничего другого не мог. Продали у Ивана Бедного корову — по закону, за долг. Закон такой есть, что всякий долги свои уплачивать обязан.

— Иван, мама, не мог заплатить. Он и хотел бы, да не мог. И няня говорит: «Беднее его во всем селе мужика нет». Какая же это правда?

— Повторяю тебе, закон такой есть, и все должны закон исполнять. Ежели люди живут в обществе, то и обязанностями своими не имеют права пренебрегать. Ты лучше об ученье думай — вот твоя правда. Поступишь в гимназию, будь прилежен, веди себя тихо — это и будет значить, что ты по правде живешь. Не люблю я, когда ты так волнуешься. Что ни увидишь, что ни услышишь — все как-то в сердце тебе западает. Батюшка говорил вообще; в церкви и говорить иначе нельзя, а ты уж к себе применяешь. Молись за ближних — больше этого и бог с тебя не спросит.

Но Сережа не унялся. Он побежал в кухню, где в это время собрались челядинцы и пили, ради праздника, чай. Кухарка Степанида хлопотала около печки с ухватом и то и дело вытаскивала горшок с закипающими жирными щами. Запах прелой убоины и праздничного пирога пропитал весь воздух.

— Я, няня, по правде жить буду! — объявил Сережа.

— Ишь с коих пор собрался! — пошутила старуха.

— Нет, няня, я верное слово себе дал! Умру за правду, а уж неправде не покорюсь!

— Ах, бóлезный мой! ишь ведь чтó тебе в головку пришло!

— Разве ты не слыхала, что́ в церкви батюшка говорил? За правду жизнь полагать надо — вот что́! в бой за правду идти всякий должен!

— Известно, что́ же в церкви и говорить! На то и церковь дана, чтобы в ней об праведных делах слушать. Только ты, миленький, слушать слушай, а умом тоже раскидывай!

— С правдой-то жить оглядываючись надо,— резонно молвил работник Григорий.

— Отчего, например, мы с мамой в столовой чай пьем, а вы в кухне? разве это правда? — горячился Сережа.

— Правда не правда, а так испокон века идет. Мы люди простецкие, нам и на кухне хорошо. Кабы все-то в столовую пошли, так и комнат не наготовиться бы.

— Ты, Сергей Федорыч, вот что! — вновь вступился Григорий,— когда будешь большой — где хочешь сиди: хошь в столовой, хошь в кухне. А покедова мал, сиди с мамашенькой — лучше этой правды по своим годам не сыщешь! Придет ужо батюшка обедать, и он тебе то же скажет. Мы мало ли что делаем: и за скотиной ходим, и в земле роемся, а господам этого не приходится. Так-то!

— Да ведь это же неправда и есть!

— А по-нашему так: коли господа добрые, жалостливые — это их правда. А коли мы, рабочие, усердно господам служим, не обманываем, стараемся — это наша правда. Спасибо и на том, ежели всякий свою правду наблюдает.

Наступило минутное молчание. Сережа, видимо, хотел что-то возразить, но доводы Григория были так добродушны, что он поколебался.

— В нашей стороне,— первая прервала молчание няня,— откуда мы с маменькой твоей приехали, жил помещик Рассошников. Сначала жил, как и прочие, и вдруг захотел по правде жить. И что ж он под конец сделал? — Продал имение, деньги нищим роздал, а сам ушел в странствие... С тех пор его и не видели.

— Ах, няня! вот это какой человек!

— А между прочим, у него сын в Петербурге в полку служил,— прибавила няня.

— Отец имение роздал, а сын ни при чем остался... Сына-то бы спросить, хороша ли отцовская правда? — рассудил Григорий.

— А сын разве не понял, что отец по правде поступил? — вступился Сережа.

— То-то, что не слишком он это понял, а тоже пытал хлопотать. Зачем же, говорит, он в полк меня определил, коли мне теперь содержать себя нечем?

— В полк определил... содержать себя нечем...— машинально повторял за Григорием Сережа, запутываясь среди этих сопоставлений.

— И у меня один случай на памяти есть,— продолжал Григорий,— занялся от этого самого Рассошникова у нас на селе мужичок один — Мартыном прозывался. Тоже все деньги, какие были, роздал нищим, оставил только хатку для семьи, а сам надел через плечо суму, да и ушел, крадучись, ночью, куда глаза глядят. Только, слышь, пачпорт позабыл выправить — его через месяц и выслали по этапу домой.

— За что? разве он худое что-нибудь сделал? — возразил Сережа.

— Худое не худое, я не об этом говорю, а об том, что по правде жить оглядываючись надо. Без пачпорта ходить не позволяется — вот и вся недолга. Этак все разбредутся, работу бросят — и отбою от них, от бродяг, не будет...

Чай кончился. Все встали из-за стола и помолились.

— Ну, теперь мы обедать будем,— сказала няня,— ступай голубчик, к маменьке, посиди с ней; скоро, поди, и батюшка с матушкой придут.

Действительно, около двух часов пришел отец Павел с женою.

— Я, батюшка, по правде жить буду! Я за правду на бой пойду! — приветствовал гостей Сережа.

— Вот так вояка выискался! от земли не видать, а уж на бой собрался! — пошутил батюшка.

— Надоел он мне. С утра все об одном и том же говорит,— сказала Марья Сергеевна.

— Ничего, сударыня. Поговорит и забудет.

— Нет, не забуду! — настаивал Сережа,— вы сами давеча говорили, что нужно по правде жить... в церкви говорили!

— На то и церковь установлена, чтобы в ней о правде возвещать. Ежели я, пастырь, своей обязанности не исполню, так церковь сама о правде напомнит. И помимо меня, всякое слово, которое в ней произносится,— правда; одни ожесточенные сердца могут оставаться глухими к ней...

— В церкви? а жить?

— И жить по правде следует. Вот когда ты в меру возраста придешь, тогда и правду в полном объеме поймешь, а покуда достаточно с тебя и той правды, которая твоему возрасту свойственна. Люби маменьку, к старшим почтение имей, учись прилежно, веди себя скромно — вот твоя правда.

— Да ведь мученики... вы сами давеча говорили...

— Были и мученики. За правду и поношение следует принять. Только время для тебя думать об этом не приспело.

А притом же и то сказать: тогда было время, а теперь — другое, правда приумножилась — и мучеников не стало.

— Мученики... костры...— лепетал Сережа в смущении.

— Довольно! — нетерпеливо прикрикнула на него Марья Сергеевна.

Сережа умолк, но весь обед оставался задумчив. За обедом велись обыденные разговоры о деревенских делах. Рассказы шли за рассказами, и не всегда из них явствовало, чтобы правда торжествовала. Собственно говоря, не было ни правды, ни неправды, а была обыкновенная жизнь, в тех формах и с тою подкладкою, к которым все искони привыкли. Сережа бесчисленное множество раз слыхал эти разговоры и никогда особенно не волновался ими. Но в этот день в его существо проникло что-то новое, что подстрекало и возбуждало его.

— Кушай! — заставляла его мать, видя, что он почти совсем не ест.

— In corpore sano mens sana [1],— с своей стороны прибавил батюшка.— Слушайся маменьки — этим лучше всего свою любовь к правде докажешь. Любить правду должно, но мучеником себя без причины воображать — это уже тщеславие, суетность.

Новое упоминовение о правде встревожило Сережу; он наклонился к тарелке и старался есть; но вдруг зарыдал. Все всхлопотались и окружили его.

— Головка болит? — допытывалась Марья Сергеевна.

— Болит,— ответил он слабым голосом.

— Ну, поди, ляг в постельку. Няня, уложи его!

Его увели. Обед на несколько минут прервался, потому что Марья Сергеевна не выдержала и ушла вслед за няней. Наконец обе возвратились и объявили, что Сережа заснул.

— Ничего, уснет — и пройдет! — успокоивал Марью Сергеевну отец Павел.

В вечеру, однако ж, головная боль не только не унялась, но открылся жар. Сережа тревожно вставал ночью в постели и все шарил руками около себя, точно чего-то искал.

— Мартын... по этапу за правду... что такое? — лепетал он бессвязно.

— Какого он Мартына поминает? — недоумевая, обращалась Марья Сергеевна к няне.

— А помните, у нас на селе мужичок был, ушел из дому Христовым именем... Давеча Григорий при Сереже рассказывал.

— Все-то вы глупости рассказываете! — рассердилась Марья Сергеевна,— совсем нельзя к вам мальчика пускать.

---

[1] В здоровом теле здоровый дух.

На другой день, после ранней обедни, батюшка вызвался съездить в город за лекарем. Город отстоял в сорока верстах, так что нельзя было ждать приезда лекаря раньше как к ночи. Да и лекарь, признаться, был старенький, плохой; никаких других средств не употреблял, кроме оподельдока, который он прописывал и снаружи, и внутрь. В городе об нем говорили: «В медицину не верит, а в оподельдок верит».

Ночью, около одиннадцати часов, лекарь приехал. Осмотрел больного, пощупал пульс и объявил, что есть «жаро́к». Затем приказал натереть пациента оподельдоком и заставил его два катышка проглотить.

— Жарок есть, но вот увидите, что от оподельдока все как рукой снимет! — солидно объявил он.

Лекаря накормили и уложили спать, а Сережа всю ночь метался и пылал как в огне.

Несколько раз будили лекаря, но он повторял приемы оподельдока и продолжал уверять, что к утру все как рукой снимет.

Сережа бредил; в бреду он повторял: «Христос... Правда... Рассошников... Мартын...» и продолжал шарить вокруг себя, произнося: «Где? где?..» К утру, однако ж, успокоился и заснул.

Лекарь уехал, сказав: «Вот видите!» — и ссылаясь, что в городе его ждут другие пациенты.

Целый день прошел между страхом и надеждой. Покуда на дворе было светло, больной чувствовал себя лучше, но упадок сил был настолько велик, что он почти не говорил. С наступлением сумерек опять открылся «жарок» и пульс стал биться учащеннее. Марья Сергеевна стояла у его постели в безмолвном ужасе, усиливаясь что-то понять и не понимая.

Оподельдок бросили; няня прикладывала к голове Сережи уксусные компрессы, ставила горчичники, поила липовым цветом, словом сказать, впопад и невпопад употребляла все средства, о которых слыхала и какие были под рукою.

К ночи началась агония. В восемь часов вечера взошел полный месяц, и так как гардины на окнах, по оплошности, не были спущены, то на стене образовалось большое светлое пятно. Сережа приподнялся и потянул к нему руки.

— Мама! — лепетал он,— смотри! весь в белом... это Христос... это Правда... За ним... к нему....

Он опрокинулся на подушку, по-детски всхлипнул и умер.

Правда мелькнула перед ним и напоила его существо блаженством; но неокрепшее сердце отрока не выдержало наплыва и разорвалось.

ПЕСТРЫЕ ПИСЬМА

ПИСЬМО I

Несколько месяцев тому назад я совершенно неожиданно лишился употребления языка. Не то чтоб дар слова совсем оставил меня, но язык мой сделался способен произносить только служительские слова: «Чего изволите?», «как прикажете», «не погубите!» — вот и все. А прежде я говаривал довольно-таки смело. Например: «Коли я ничего не сделал, стало быть, и бояться мне нечего», или: «Коли я никого не трогаю, стало быть, и меня никто не тронет»... И вдруг, словно с цепи сорвался: «Не погубите!»

Сначала я испугался. Ежели простое физическое косноязычие может отравить человеку жизнь, то еще более отравляющих элементов заключает в себе косноязычие нравственное. Со страхом спрашивал я себя: ужели изречения, вроде «ежели я ничего не сделал» и т. д., заключают в себе такой угрожающий смысл, для прекращения которого требовались бы натиск и быстрота? Но ежели это так, то кто же может поручиться, что со временем и такое изречение, как «ваше превосходительство, не погубите!» — не будет сочтено равносильным призыву к оружию?

Очевидно, это было новое и совсем особенное проявление внезапности, которого я еще не испытал.

Внезапность не составляет для меня новости. Я родился на лоне ее, воспитывался под ее сенью и до такой степени с ней освоился, что даже никогда не спрашивал себя, ушибет она меня или помилует. Но я должен сказать, что до последнего времени внезапность имела несовершенный, переходный характер, и это в значительной мере помогало уживаться с нею. Внезапностей было много, и они постоянно друг друга побивали. Нелегко было ориентироваться в этом разнообразии сменяющихся внезапностей, но при известном навыке все-таки можно было нечто угадать. Это называлось «ловить момент».

Поймал момент — пользуйся! Не поймал — пеняй на себя! Игра была не весьма нравственная, но настолько замысловатая, что могла заинтересовать. Ныне — эта переходная форма, очевидно, исчерпала все свое содержание. Внезапность окончательно отказалась от экскурсий в сферу случайных веяний, которые своею противоречивостью подрывали ее; она сделалась единою неизменною, сама себе довлеющею. «Моменты» упразднены; ловить больше нечего.

Но это-то именно и пугало меня. Перспектива внезапного приурочения к служительским словам, без надежды, что придет другая внезапность и разрушит чары колдовства,— эта перспектива казалась чересчур уж суровою. Неясная тревога сжимала сердце мучительными предчувствиями; душа тосковала, мысль безнадежно искала просвета...

Однако прошел месяц, прошел другой — и пелена сама собой спала с моих глаз. Недоразумения исчезли, тревога утихла, а положение до такой степени выяснилось, что в какую сторону ни оглянись — везде лучше не надо быть.

Прежде всего я привык, или, говоря точнее, принюхался. Нельзя было не принюхаться, потому что кругом вся атмосфера пропахла прочными служительскими словами. Я не утверждаю, что эти запахи сделались мне достолюбезными, но они такой густой, непроницаемой массой заполонили весь мой домашний обиход, что, незаметно для меня самого, все факторы моей жизнедеятельности сами начали работать применительно к новой атмосфере и подчиняясь ее давлению.

Я очень хорошо знаю, что привычка играет в жизни человека роль по преимуществу бессознательную и что, следовательно, она в большинстве случаев служит источником бесчисленных недомыслий и даже безнравственностей; но ведь для того, чтоб чувствовать себя вполне удобно в атмосфере служительских слов, именно это и нужно.

С безнравственностью нельзя ужиться иначе, как с помощью безнравственности же, с бессмыслием — иначе, как при помощи бессмыслия.

Нужно такое счастливое стечение обстоятельств, которое отняло бы у человека способность отличать добро от зла и заглушило бы в нем всякое представление об ответственности. Вот эту-то именно задачу и выполняет привычка. И при этом она выполняет ее совершеннее и с несравненно меньшей суровостью, нежели другие факторы, в том же смысле споспешествующие, как, например: трусость, измена, предательство и т. п.

И трусость, и измена, и предательство предполагают известную долю насильства и боли, и — что всего важнее — ни-

мало не обеспечивают от мучительных пробуждений совести, тогда как привычка обвивает человека бархатной рукой и бережно и ласково погружает его в мягкое ложе беспечального служительского жития...

Любо дремать, зарывшись по уши в пуховики; любо сознавать, что эти пуховики представляют своего рода твердыню. Забравшись в нее, человек не только освобождается от обязанности относиться критически к самому себе и к окружающей среде, не только становится на недосягаемую высоту патентованной благонамеренности, но и делается безответственным перед судом своей собственной совести. Ибо о каком же суде совести может быть речь, коль скоро самая совесть, вместе со всеми прочими определениями человеческого существа, потонула в омуте привычки?..

Но, кроме привычки, в деле умиротворения мне много помог и опыт. Опыт — это, так сказать, консолидированный свод привычек прошлого. Все уступки, компромиссы, соглашения, которыми так богата история личная и общая, все малодушия, обходы и каверзы — все это складывается, по мере осуществления, в кучу, надпись на которой гласит: опыт или мудрость веков. Действия героические, подвиги самоотвержения, факты, свидетельствующие о беззаветной преданности идее,— все это не более как красивые безумства, от которых никаких подспорий в жизни ожидать нельзя. Правда, что эти безумства освещают тьму будущего и что плодами их несомненно воспользуются грядущие поколения; но ведь, с одной стороны, подвижничество необязательно и не всякий может его вместить, а с другой стороны, как еще на эти красивые безумства поглядеть: иное, быть может, пользительно, а другое, пожалуй, и неблаговременно. Тогда как в той куче, которая именуется мудростью веков, за что ни возьмись — все пользительно. Трудность только в том разве состоит, как разобраться в куче, чтобы вытащить именно ту бирюльку, которая как раз впору. Но, во-первых, все бирюльки более или менее впору; а во-вторых, в данном случае из затруднения выручают очень простые приемы, которые тоже освещены опытом, например: загад, навык, наметка, глазомер...

Итак, привычка — приготовила мягкое ложе; опыт — обставил его всевозможными подтверждениями прошлого. Те боли, которые чувствовались вначале, очень скоро утратили свою жгучесть ввиду целой массы преданий, фактов и анекдотов, которые в один голос вопияли, что искони в основе человеческого счастья лежали служительские мысли и служительские слова. Сущность этих мыслей и слов формулируется кратко: «спасай себя!» — и человек, который серьезно посвятил себя

осуществлению этой задачи и без задних мыслей признал законность ее, может быть заранее уверен, что благополучие его обеспечено. И — что́ всего важнее — обеспечено без особых усилий. Ибо стоит только отдать себя во власть волне современности, и она сама собой устроит такую блаженную обстановку, при которой воистину ничего другого не остается, как воскликнуть (не с мысленными оговорками, как бывало некогда, а по сущей совести и от полноты душевной): «Ежели я ничего не делаю — стало быть, и бояться мне нечего!»

«Ничего не делаю» — это идеал; но его все-таки не следует понимать буквально. Всмотримся ближе в его содержание, и мы убедимся, что он вмещает бесконечное множество разнообразнейших и деятельнейших подробностей. Сегодня поют девки в «Аркадии», завтра — будут петь в «Ливадии», послезавтра — в «Jardin des familles russes». И у всякой девки особые приметы, о которых во все концы гласит стоустая молва. Сегодня пьянство у Донона, завтра — у Дюссо, послезавтра — у Бореля. Изредка — газетные столбцы, от которых несет исподним бельем чичиковского Петрушки...

Вот это-то именно и разумеют, когда говорят: «Ежели я ничего не делаю, стало быть...»

И совсем не так подла эта жизнь, как думают унылые люди. Мудрость веков самым несомненным образом свидетельствует, что с незапамятных времен так жили люди и не только не считали себя посрамленными, но даже от времени до времени восклицали: «Не постыдимся вовек!» Воистину обольщают себя те, которые думают, что так называемое общество когда-нибудь волновалось высшими вожделениями. В сущности, волновались только немногие, и, уж конечно, никто не скажет, чтоб существование этих немногих сколько-нибудь напоминало о благополучии. Почвенный же и русловой люд всегда и неизменно имел в виду только служительское благополучие. И он был по-своему прав, ибо какая надобность изнывать над отыскиванием новых жизненных идеалов, рискуя при этом прогневить начальство и насмешить массу однокорытников, тогда как существуют идеалы вполне формулированные, ни от кого не возбраненные и для всех однокорытников равно любезные?

Я знаю, что унылые люди все-таки не убедятся моими доводами и будут продолжать говорить: «Стыдно!» Но что́ такое стыд? — спрашиваю я вас. Предложите этот вопрос любому прихвостню современности, и он, не обинуясь, ответит: «Стыд есть вывороченная наизнанку наглость». Или, говоря иными словами, и стыд и наглость — игра слов, в которой то или другое выражение употребляется, глядя по делу. Поэтому когда

до слуха моего доходит слово «стыд», то мне всегда кажется, что мимо пролетела муха и, никого не обеспокоив, исчезла в пространстве.

Итак, будем благополучны и не постыдимся. К этому приглашают нас привычка и опыт, а наконец и рассуждение... Да, хоть и кажется с первого взгляда, что в атмосфере служительских слов для рассуждения нет места, однако это справедливо лишь отчасти.

Рассуждение бывает большое и среднее (малое, как чересчур обидное, пускай останется в стороне). Большое рассуждение в служительском деле не только не имеет приложения, но даже прямо препятствует. Собственно говоря, его следует даже предварительно покорить, если хочешь удачно разрешить задачу: кто истинно счастливый человек? Случается, конечно, что и большое рассуждение может служить источником чистейших наслаждений; но тут уже предполагаются особенные люди и особенная, споспешествующая обстановка. Для людей средних и при средней обстановке потребно рассуждение среднее. Оно одно укажет человеку в перспективе безопасное служительское счастье, одно поможет примириться с этим счастьем и преподаст средства для его осуществления.

Это среднее рассуждение как раз кстати явилось ко мне на помощь. Оно убедило меня, что прежде всего следует обеспечить безопасность процесса своего личного существования. Жажда жизни, независимо от всяких обстановок (дурных или хороших), сама по себе столь существенна, что ей вполне естественно подчиняются все другие жизненные стремления и определения. Жить надо — вот главное, хотя бы слово «жить» было равносильно выражению «маяться». Люди, которые годами изнемогают под бременем непосильных физических страданий, люди, у которых судьба отняла не только радости, но и самое обыкновенное спокойствие,— и те омертвелыми руками цепляются за жизнь и коснеющим языком твердят: «Жизнь есть ликование». Жизнь — это жестокая неизбежность, и не всякому дано поднять против нее знамя бунта. Поэтому самая простая справедливость требует, чтобы существа, над которыми вечно висит этот дамоклов меч, имели, по малой мере, возможность принимать его удары без особенного изумления.

Услуги среднего рассуждения в этом случае неоцененны. Оно с необыкновенною ясностью убеждает, что жизнь обязательна, и затем указывает, для соглашения с нею, именно на те средства, которые в данную минуту благовременны. Оно не поведет в область эмпиреев, заблуждений и риска, а прямо предложит оголенную от всяких экскурсий жизнь, не блестящую и не особенно интересную, но зато общепризнанную и

вполне защищенную. Но, главное, оно докажет, что все старое. колеблющееся, дававшее только кажущийся простор, исчезло навсегда! Да-с, навсегда-с. Что корабли сожжены, и, следовательно, ничего другого не остается, как совсем забыть о том, что они когда-то были. . . . .

. . . .

Таким образом, привычка — воспитывает и предрасполагает; опыт — свидетельствует и подтверждает; рассуждение — убеждает и преподает нужные средства. Совокупность всех этих функций производит в результате — психологический момент.

Именно этот психологический момент и выручил меня в трудную минуту.

Во-первых, он ввел меня в заколдованный круг патентованных русских пословиц.

Во-вторых, он убедил меня, что жизнь обязательна и что сохранить и обеспечить спокойное течение ее можно только при помощи приспособлений, вполне отвечающих требованиям современности.

В-третьих, он доказал, что какие бы усилия я лично ни употреблял, как бы широко ни захватывал, хотя бы даже «жег сердца глаголом» (на что, впрочем, ни малейше не претендую),— все-таки изолировать меня можно во всякое время, и никто этого не заметит.

Таковы три элемента, при помощи которых достигается современное человеческое благополучие. Но для того, чтобы последнее не оставалось только возможностью, но получило практическое осуществление, необходимо, чтобы упомянутые сейчас элементы были восприняты не только сознательно, но и вполне искренно. «Мало обличать — любить надо»,— прорицали когда-то наши «почвенники», тонко инсинуируя, что обличение равносильно отсутствию патриотизма и измене. Я же от себя в превосходной степени прибавлю: «Мало любить; надо, сверх того, представить несомненные таковой любви доказательства». Раз эти доказательства представлены, можно смело глядеть в глаза будущему.

Я не стану говорить здесь ни о пользе русских пословиц в качестве жизненного подспорья, ни о том, что принцип самосохранения искони служил главным регулятором поступков и действий почвенного человека,— все это вещи общеизвестные. Но не могу не остановиться несколько подольше на вопросе о человеческой изолированности,— вопросе тоже небезызвестном, но который на наших глазах приобрел очень решительные и резкие формы.

Я личным опытом основательно и бесповоротно убедился,

что человеку, который живет и действует вне сферы служительских слов, ниоткуда поддержки для себя ждать нечего. Сколько раз в течение моей долгой трудовой жизни я взывал: где ты, русский читатель? откликнись! — и, право, даже сию минуту не знаю, где он, этот русский читатель. По временам, правда, мне казалось, что где-то просвечивают какие-то признаки, свидетельствующие о самосознании и движении вперед; но чем глубже я уходил в ту страну терний, которая называется русской литературой, тем более и более убеждался в бесплодности моих чаяний. Нет тебя, любезный читатель! еще не народился ты на Руси! Нет тебя, нет и нет.

Русский читатель, очевидно, еще полагает, что он сам по себе, а литература — сама по себе. Что литератор пописывает, а он, читатель, почитывает. Только и всего. Попробуйте сказать ему, что между ним и литературной профессией существует известная солидарность,— он взглянет на вас удивленными глазами. «Ах, нет! — скажет он,— лучше я совсем не буду «связываться», чем добровольно наложу на себя какое-то обязательство!»

И как скажет, так и сделает. И когда затем для писателя наступит трудная минута, то читатель в подворотню шмыгнет, а писатель увидит себя в пустыне, на пространстве которой там и сям мелькают одинокие сочувствователи из команды слабосильных.

Это не вероломство, не предательство и даже, пожалуй, не трусость; но, во всяком случае, несомненно бессилие.

Мне скажут, быть может, что у писателя должны быть в запасе свои личные силы, в которых он обязывается почерпать для себя устойчивость... Да, но какие же это силы, коль скоро самой простой мышеловки достаточно, чтобы обратить их в прах?

Спрашивается теперь: ежели ни изнутри, ни извне нельзя ожидать для жизни защиты — где же ее искать?

. . . .

Именно так я и поступил. Сначала испугался, но затем очень быстро очнулся и беспрекословно погрузился в пучину служительских слов.

Теперь я жуирую. Целое лето провел в переездах из Аркадии в Ливадию и кончил тем, что получил флюс. Это загнало меня на зимние квартиры, где, в ожидании открытия «Palais de Cristal», я перехожу от Дюссо к Донону и от Донона к Борелю. И хотя по-прежнему «ничего не делаю», но понимаю, что между прежним моим ничегонеделанием и нынешним — целая бездна. Прежнее мое «ничегонеделание» означало фырканье, фордыбаченье, форс, озорство; нынешнее — ровно ни-

чего не означает, но зато пользу приносит. Ибо ни в Аркадию, ни к Дюссо, ни в «Palais de Cristal» — никуда я не могу прийти без кошелька; а раз кошелек при мне, я тут же воочию вижу, как благодаря ему кругом расцветает промышленность и оживляется торговля.

И я чувствую, как доверие, которое совсем было утратил, вновь постепенно ко мне возвращается. И дружественные мне тайные советники (в течение длинной жизни я их целую сотню наловил), которые еще так недавно при встречах обдавали меня холодом и говорили притчами, теперь вновь начинают одобрительно кивать в мою сторону, как бы говоря: еще одно усилие — и... ничего в волнах не будет видно!

ПИСЬМО II

Так как вы, вероятно, позабыли о происшествии, которое в июле 1883 года взволновало весь петербургский чиновничий мир, то постараюсь вкратце восстановить его в вашей памяти. Пропал статский советник Никодим Лукич Передрягин. Жил он на даче, на Сиверской станции Варшавской железной дороги, и утром, в воскресный день, пошел в лес по грибы. Ушел и не возвращался. На другой день охотник из местных крестьян нашел в лесу трехугольную шляпу и лукошко, до половины наполненное подосиновиками, и представил свою находку местному уряднику. Оказалось, что эти вещи принадлежали Передрягину...

Такова голая фабула загадочной драмы, столь неожиданно омрачившей мирное течение дачной жизни. Я помню удручающее впечатление, которое произвело это происшествие на сиверских дачников. Место это и сейчас довольно дикое. Нет в нем ни «Аркадий», ни «Ливадий» и вообще никаких распутств, которыми знаменует себя вступившая в свои права цивилизация. По всему правому берегу излучистой речки, на далекое пространство, тянется сплошной хвойный лес, и покуда только самая незначительная его часть подверглась захвату под дачи. В этом лесу великое изобилие ягод, грибов, пернатых и... зверей. Зверей множество, а ни городовых, ни подчасков нет. Один урядник на всю палестину — спрашивается: какую он может предоставить защиту? Стало быть, ежели даже зайцы составят злоумышленное общество с целью пожирания статских советников, то и они имеют возможность свое мерзкое намерение привести в исполнение беспрепятственно. До тех пор никто не сознавал возможности такой перспективы, но после исчезновения Передрягина она представилась до того

явною и в то же время унизительною, что все лето прошло в неописанной тоске. Ночные прогулки при луне прекратились; девицы перестали ходить на станцию навстречу женихам; детям позволяли резвиться только в виду дачных балконов; и тут же, по какой-то странной ассоциации идей, мясник начал поставлять провизию очень сомнительного качества. Но когда, в довершение всего, узнали, что у крестьян во ржах залег беглый солдат, то наняли по подписке отряд калек, вооружили их дубинками и приказали за восемь желтеньких бумажек в месяц защищать жизнь и достояние дачников, так точно, как в том перед Страшным судом ответ дать надлежит. Но и за всем тем, как только дождались половины августа, так тотчас же все разом потянулись в город.

В Петербурге, между чиновниками, переполох оказался еще решительнее. Прежде всего вопрос ставился принципиально: ежели стали пропадать статские советники, то чего же могут ожидать советники титулярные и другие? — Очевидно, им предстоит исчезать поминутно, и притом без всякой обстановки, открыто, на виду у всех. Влез, например, титулярный советник в вагон конки — и поминай как звали! Или: встретился титулярный советник на улице, и только что вы протянули ему руку — глядь, а его уж нет.

Кто же будет дела вершать? кто будет смазывать и пускать в ход эту машину, которая, подобно громадному головоногу, присасывается ко всему, к чему ни прикоснутся ее всепроникающие щупальца? Ах, господа, господа! куда мы идем? где мы живем?

Но, помимо принципиальной постановки вопроса, в чиновнических волнениях очень важную роль играла и самая личность пропавшего статского советника. Передрягина любили, потому что он был малый на все руки и имел бойкое перо. Когда требовалось мыслить либерально — он мыслил либерально; когда нужно было мыслить консервативно — он мыслил консервативно. Однажды он, по поручению, написал проект: «О расширении, на случай надобности, области компетенций»; а в другой раз, тоже по поручению, написал другой проскт: «Или наоборот». А может быть, и оба проекта разом написал: как вашему превосходительству угодно? Сверх того, Никодим Лукич и в частной жизни всем сумел угодить: был приветлив, гостеприимен, любил угостить. И жена у него была белая и рассыпчатая и называлась Акулиной Ивановной. Каждое воскресенье, утром, бывали у них пироги, а вечером на шести столах играли в винт. На одном столе — тайные советники, на двух — действительные статские, на трех — статские. Прочие же чины, собравшись в гостиной, говорили Акулине Ивановне

комплименты. И в заключение: «Милости просим на дорожку закусить!» Разумеется, эти jours fixes начинались только с открытием осеннего сезона, так что, собственно говоря, исчезновение Передрягина до половины сентября было бы, пожалуй, и не очень чувствительно; но кто же может поручиться, что к сентябрю он отыщется? Ввиду такой невзгоды кровь застыла в жилах чиновников, и они, позабыв стыд, открыто обвиняли начальство в бездействии. Так что не было во всем Петербурге того статского советника, который бы при встрече с другим статским советником не вопиял во всеуслышание: «Куда же мы, однако, идем?» — и в ответ на этот вопль не услышал бы: «Да, батюшка, идем! идем, сударь, идем».

С своей стороны, и публицист Скоморохов не преминул подкинуть угольков в разгоревшуюся суматоху. В длинной передовице «Куда мы идем?» (этот вопрос ныне сделался чем-то вроде кошмара) он доводил до сведения публики о новом дерзком подвиге врагов порядка и приписывал исчезновение Передрягина интригам газеты «Чего изволите?». Возникла полемика. Газета «Чего изволите?» на первый раз ответила довольно игриво. С одной стороны, она категорически отрицалась от всякого участия в столь преступном деле; но, с другой стороны, ей, видимо, было лестно, что на нее возводят именно *такую* напраслину. Стало быть, и она не лыком шита; стало быть, и она свою лепту... не в этом деле, конечно, но вообще... Это малодушное стремление за один раз поймать двух зайцев очень ловко подметила газета «Нюхайте на здоровье!» и нимало не медля обострила формулированное Скомороховым обвинение, снабдив его некоторыми ядовитыми выдержками, из которых половину, впрочем, выдумала сама. Тогда «Чего изволите?» обиделась и сказала, что это наконец подло; а «Нюхайте на здоровье!» отвечала: и я знаю, что подло,— давно уж мне все говорят, что я подлая,— да ведь это к делу не относится; а вот как-то вы насчет статского советника Передрягина ответите? кто его предательски выкрал? и где он в настоящую минуту находится? Ась?

Словом сказать, полемика приняла обычный, по обстоятельствам времени, характер и, быть может, кончилась бы безвременною гибелью газеты «Чего изволите?», если бы Передрягин сам не выступил на сцену, чтобы положить предел беспокойствам, возникшим по его поводу.

На днях он возвратился на свою квартиру в Гусевом переулке, прожив в безвестной отлучке ровно год и четыре месяца. Судя по его рассказу, исчезновение его произошло самым естественным образом.

Будучи страстным охотником до грибов, рано утром в

праздничный день он отправился в лес. Там он до такой степени увлекся своею страстью, что незаметно углубился в самую чащу. И вдруг, в то самое время, когда его взору предстало целое море разнообразнейших тайнобрачных, он почувствовал, что сзади кто-то сильно ударил его по плечу. И в то же время чье-то горячее дыхание обдало его лицо.

То был медведь. Натурально, Передрягин света невзвидел. В одно мгновение перед ним пролетела вся его жизнь и тут же утонула в какой-то зияющей бездне. Эта бездна знаменовала смерть. Хотя он знал, что все люди смертны, а следовательно, и Кай смертен; хотя, сверх того, он был вполне уверен, что его вдове будет назначена пенсия вне правил,— однако мысль о роковом конце все-таки нередко заставляла его вздрагивать. Он любил начальство, любил жену, любил пироги и понимал, что pallida mors[1] одним прикосновением своей косы может навсегда обратить в прах и его самого, и предметы его привязанностей. Встретившись теперь со смертью так близко, он стоял как окаменелый и, ничего не понимая, смотрел медведю в глаза. Но прошла минута, другая, и медведь не только не отнимал у него жизни, но приветливо и тихо рычал, как бы стараясь внушить к себе доверие. И в заключение, перевернув Передрягина лицом к востоку, вполне отчетливо произнес: «Айда́!»

Шли они трое суток сплошным лесом, и в течение всего времени медведь всячески покоил и оберегал своего пленника. Питал он его ягодами и дивиим медом; но когда Передрягин жестами объяснил, что этого недостаточно, то сбегал за десять верст в помещичью усадьбу и украл с плиты жареного поросенка. Даже спички и папиросы у него за пазухой нашлись, так что и эта прихоть была предусмотрена и удовлетворена. А для ночлегов медведь выбирал моховые болота, и, уложив Передрягина на мягком ложе, сам, не смыкаючи очей, караулил его на случай внезапного нападения. Словом сказать, приключение получило такую комфортабельную обстановку, что, даже едучи в вагоне второго класса, Никодим Лукич так не жуировал.

На четвертые сутки волшебное зрелище открылось глазам Передрягина. На обширной поляне, с трех сторон окруженной лесом, а с четвертой упирающейся в озеро, копошилось несметное количество медведей. По-видимому, это был народ молодой и веселый, потому что все поголовно находились в беспрерывном движении: резвились, бегали взапуски, кувыркались, играли в чехарду и т. д. Но более всего удивило пленника то,

---

[1] бледная смерть.

что в некоторых местах пылали костры. «Ежели есть костры,— весело сказал он себе,— то должны быть и котлы; а ежели есть котлы, то должна быть и кашица». И сердце его окончательно взыграло, когда он увидал, что из толпы отделились два человека в вицмундирах и направились к нему.

О, радость! то были два сослуживца Передрягина, тоже статские советники и в той же мере, как и он, оправдывавшие доверие начальства. Оба заведовали отделениями: один — Семен Михайлович Неослабный — Отделением завязывания узлов; другой — Петр Самойлыч Прелестников — Отделением развязывания таковых. Совместное существование обоих отделений представлялось чрезвычайно полезным, потому что, как только, бывало, Семен Михайлович завяжет узелок, так Петр Самойлыч сейчас его развяжет, а потом Семен Михайлович опять завяжет, а Петр Самойлыч опять развяжет. А покуда они делали свое дело, Никодим Лукич похаживал и отмечал: узел первый, узел второй и т. д. И когда заметок накоплялось достаточно, то из них составлялась «Статистика узлов, сколько таковых завязано и сколько развязано, а для чего — неизвестно». В заключение же подводился баланс: приход с расходом верен, и в кассе — ничего.

Все трое жили душа в душу, и все трое были счастливы и к повышению достойны. В этом волшебном мире, где одни пишут проекты «Или наоборот», другие — завязывают узлы, третьи — развязывают их, а четвертые радостно потирают руки, восклицая: «Приход с расходом верен!» — в этом мире и Передрягин, и Неослабный, и Прелестников не только чувствовали себя как рыба в воде, но были серьезно убеждены, что всякая попытка выйти из него есть бунт и потрясение основ.

Так вот с какими ребятами привел бог встретиться Передрягину. Оказалось, что Неослабный нанимал дачу на Суйде и был выкраден три недели тому назад, ночью прямо с постели. Прелестников же проводил лето в окрестностях Луги и, назад тому с месяц, взят с прогулки в глазах урядника и уведен в плен. Но так как оба они числились в отпуску, то в Петербурге до сих пор их исчезновение не было известно.

— Здешние медведи совсем особенные,— сказал Неослабный после первых радостных излияний,— много они нашего брата в плену держат. А две недели тому назад даже полковницкую вдову Волшебнову, да не одну, а с племянницей Клеопатринькой, прямо с поезда сняли и привели.

— Для чего же мы им занадобились? — полюбопытствовал Передрягин.

— Для реформ. Народ молодой; на воле жить захотели —

вот и скучно показалось в скотском виде оставаться; реформ захотелось. А сами собой совершить не умеют.

— Какие же такие реформы они затевают?

— Да как вам сказать... всего хочется! А что́ именно для них полезнее — это уж *мы* должны определить. Вот я — полицию реформирую, а коллега мой — по части юстиции реформы как блины печет. Помаленьку да понемножку,— может быть, со временем и польза выйдет. Три недели тому назад об огне в здешнем месте и не слыхать было, а теперь, смотрите, какие костры горят!

— Но какие же вы имеете виды... например, по части юстиции?

— Насчет юстиции мнения в здешнем лесу разделились. Одни говорят: для нас и палок достаточно; другие: надо завести настоящие суды, как на Литейной. Вот Петр Самойлыч и смекает: палки — само собой, а суд — само собой. Чтобы всем было хорошо.

— А по финансовой части они статского советника Печатникова залучили,— перебил Прелестников,— этот им деньги с картинками печатает. И экономист у них есть. Этот говорит: прежде всего нужно, чтобы торговый баланс был. Да спрос, да предложение, да разделение труда, да накопление богатств, а об распределении мы в следующий раз поговорим. Когда все это у вас будет, тогда, мол вы будете жить по-благородному!

— К сухопутной части они капитана Пешедралова приспособили, а к морской — лейтенанта Жевакина. Жевакин наденет мешок с козой, а Пешедралов в барабан бьет; а они представляют, как малые ребята в поле горох воруют. Это, изволите видеть, они до неприятеля ползком добираются, врасплох его хотят застать.

— И для дам у них дело нашлось: полковница молодых медведиц жеманиться учит, а Клеопатринька «Науку о женихах» преподает.

— Ну, а я-то зачем понадобился?

— Должно полагать, что конституции писать заставят. Давненько они по департаментам человечка для конституций ищут, сейм у них на всякий случай уж заведен. Сейм-то есть, а конституций нет — вот и выходит, что все их решения как будто незаконные...

Вспомнил Никодим Лукич свои департаментские труды по части конституций и мысленно сказал себе: «Ну, это еще не ахти что! дело знакомое, я его в один час кругом пальца обведу!» Однако дальнейшие сведения, полученные от друзей, заставили его задуматься. Во-первых, конституцию предстояло писать надвое: летнюю, как медведи должны поступать, когда

на воле по лесу ходят, и зимнюю, какие они сны должны видеть, когда в берлоге лапу сосут. Во-вторых, и правительства настоящего у этих новоявленных реформаторов не было: ни президента, ни ответственных министров. Вместо всего этого существовала какая-то самочинная юнта, состоявшая из пяти самых проказливых медведей, которые по вопросу о пользе конституций не только разноголосили, но каждый, с обдуманным заранее намерением, нарочно мычал по-своему, в пику остальным.

Всю эту разноголосицу предстояло уладить. Одним — вторить в тон, других — ловким образом провести, остальных — «обломать». Все эти «штуки» были известны Передрягину по департаментской практике как свои пять пальцев; но он уже не скрывал от себя, что труда предстоит много, труда серьезного, упорного.

Я не буду подробно рассказывать о ходе занятий статского советника Передрягина. Во-первых, это привело бы меня к оценке конституций, что́, по моему убеждению, неблаговременно и щекотливо. Во-вторых, сколько мне известно, Никодим Лукич сам приготовляет к выпуску в свет обширное сочинение под названием: «Год в плену в стране Топтыгиных», и я не желал бы, чтобы этот почтенный труд, благодаря моей нескромности, утратил интерес новизны.

Тем не менее от некоторых позаимствований я все-таки воздержаться не могу.

Прежде всего я должен засвидетельствовать, что Передрягин вел свое дело крайне осторожно и умно и под конец даже проявил не совсем обыкновенную твердость души. Как человеку опытному и проницательному, ему неоднократно представлялся вопрос: что, в сущности, означает его внезапное, почти волшебное появление в стране Топтыгиных? Игра ли это простого случая, или же тут следует видеть косвенную командировку, устроенную с ведома начальства и даже по инициативе его? Нередко начальство задается целями, опубликование которых считается неблаговременным, и потому для достижения их прибегает к косвенным командировкам... Ежели это так,— а Передрягин все больше и больше склонялся к убеждению, что *именно* так,— то, очевидно, ему предстоит сообщить своим действиям такое направление, чтобы впоследствии, давая об них отчет, он мог ожидать не порицания, а одобрения своего начальства. Одним словом, он решился действовать, *не забегая вперед, но и не отступая назад*. Ни тпру ни ну.

В этих видах он первоначально внес в сейм свой проект: «Или наоборот», как уже бывший в рассмотрении и не приве-

денный в действие лишь за ненаступлением благоприятной минуты. Впечатление, произведенное проектом, было очень хорошее. Он приходился как раз впору Топтыгиным, так что если бы при этом еще влепить членам сейма по десятку горяченьких, то, наверное, они приняли бы «передрягинскую конституцию» par acclamation[1]. Но тут вмешалась полковница Волшебнова, поддержанная Жевакиным, и стала доказывать, что предложение Передрягина находится в прямом противоречии с «Наукой о женихах»...

Говоря по совести, никаких особенных противоречий не было, и оппозиция Волшебновой имела совсем другую подкладку, весьма неказистую. Дело в том, что на первых порах Передрягин имел неосторожность повздорить с Жевакиным, а Волшебнова между тем рассчитывала выдать за последнего Клеопатриньку. В сущности, пререкание вышло из пустяков, так что если бы Никодим Лукич мог предвидеть последствия, то, конечно, сдержал бы себя. Речь шла о предстоящей постройке кораблей. Для Топтыгиных это дело было совершенно новое, да, признаться сказать, едва ли и нужное; однако так как им брюхом захотелось флотов, то Жевакину было поручено представить необходимые к осуществлению сего предположения. Но когда жевакинский доклад поступил в сейм, то произошли весьма важные разногласия. Передрягин доказывал, что корабли, ради прочности, нужно строить из картона с небольшим лишь прибавлением хорошей бумаги (докладной); Жевакин же, ища популярности и желая как можно скорее стать во главе флота, утверждал, что предлагаемый Передрягиным способ слишком медлен и обременителен для казны и что на первый раз можно удовольствоваться кораблями из старой афишечной бумаги. «Но будут ли таковые для супостатов вредительны?» — не без ядовитости спросил Передрягин и одним этим вопросом сразу «провалил» жевакинский проект...

Эту неудачу Волшебнова приняла к сердцу и поклялась отомстить. И в данную минуту исполнила свою клятву. С помощью искусных диалектических приемов и нескольких ловких передержек она сорвала сейм и провалила передрягинскую затею навсегда.

Тогда Никодим Лукич сделал очень ловкий ход. До ноября он провел время в экивоках; но, как только на землю пал первый снег, он тотчас же изготовил «зимнюю конституцию» и внес ее в сейм. Конституция заключала только одну статью: «С наступлением зимы всякий да заляжет в берлогу и да сосет

---

[1] без голосования.

лапу». Разумеется, интрига и тут с обычною наглостью начала доказывать, что предложенный Передрягиным проект есть не что иное, как подвох, пущенный с целью окончательно похоронить конституционный вопрос; но было уже поздно. Берлоги стояли уже совсем готовые, и большинство Топтыгиных ходило сонное, мечтая единственно об удовольствиях предстоящей спячки. Благодаря этому веянию «зимняя конституция» прошла громадным большинством, и принятие ее ознаменовалось обычными празднествами. Выкатили народу несколько бочек краденого вина и наняли хор снегирей петь песни. Но соловьев, за суровым временем, добыть не могли.

Зима прошла благополучно. Охотничьих облав в этой местности не бывает, и Топтыгины наслаждаются такою обеспеченностью, какая и людям не всегда достается в удел. Но, чтó всего замечательнее, и статские советники, увидев себя среди этого сонного царства, не выдержали.

«Сначала мне сие удивительным казалось,— пишет по этому поводу Передрягин — как это живые существа почти половину года во сне проводят; но так велико было обаяние внезапно обступившей нас тишины, что и мы с товарищами, как ни крепились, но недели через две тоже вынуждены были общему примеру последовать. А в том числе и госпожа Волшебнова с родственницею».

Тем не менее с наступлением весны конституционный вопрос, силою обстоятельств, настойчивее прежнего выступил на очередь. Топтыгины вышли из берлог и не знали, как поступать. Ибо зимняя конституция предвидела только сосание лапы, а такой конституции, которая бы о прочих поступках упоминала, припасено не было. Приступили к Передрягину; но последний, освежившись четырехмесячным отдыхом, понял, что почва, на которую ему предстоит вступить, далеко не безопасна. Сверх того, он вспомнил, что, будучи уже однажды призван к ответу по поводу проекта о расширении компетенций, он и тогда избегнул ответственности единственно потому, что дал начальству клятву ни о каких компетенциях впредь не помышлять. Сообразив все это, он принял бесповоротное решение. Без запальчивости, но твердо он заявил, что для существ, которые для реформ отыскивают по департаментам статских советников, совершенно достаточно одной зимней конституции. «Есть народы и почище вас,— сказал он,— но и те довольствуются зимней конституцией и под сению ее благополучно почивают». Словом сказать, на все топтыгинские настояния ответил решительным отказом.

Услышав это, Топтыгины совсем ошалели. Произошли волнения и даже неистовства, в которых, к сожалению, не послед-

нюю роль играла полковница Волшебнова. Никодим Лукич пострадал.

Нужно прочитать в подлиннике скорбную повесть этих страданий, чтобы получить понятие о том запасе нравственной чистоты, которым должен был обладать безвестный статский советник, вознамерившийся лучше пожертвовать своею популярностью, нежели нарушить данную клятву. Но пусть читатель узнает об этом из сочинения самого Передрягина. Я же скажу здесь кратко: все лето прошло в поступках самого безумного свойства. Топтыгины, не получив удовлетворения в главном своем домогательстве, и к прочим реформам сделались равнодушны; они твердили одно: «Зачем нам суды, зачем кутузка, зачем баланс, коль скоро мы не понимаем, по какой причине и на какой предмет»?

Вообще я должен сознаться, что вся эта история представлялась бы очень странною и исполненною всякого рода загадочностей, если бы Передрягину не удалось наконец выяснить, в чем собственно заключался ее секрет. С течением времени, все более и более всматриваясь в окружающую его среду, он сделал открытие чрезвычайной важности. А именно, убедился и неопровержимыми фактами доказал, что существа, державшие его в плену, совсем не медведи, а особого рода «брату́шки», которые еще в древности самочинно развелись в глухой местности Лужского уезда и доднесь там жуируют, уклоняясь от выполнения рекрутской повинности и платежа податей. Многие века они жили в диком состоянии, не имея прочных жилищ, не заводя ни полиции, ни юстиции, ни народного просвещения и не подавая о себе ревизских сказок, как вдруг, несколько лет тому назад, очнулись. Очнулись без повода и даже без надобности, сами не зная зачем. И, узнав, что в Петербурге есть статские советники, которые умеют для братушек конституции писать, стали подыскивать и для себя таковых.

Я не буду перечислять здесь факты, приводимые Передрягиным в доказательство справедливости сделанных им открытий. По мнению моему, эта справедливость всего лучше подтверждается катастрофою, которою в конце концов разрешилась эта суматоха.

Известно, что когда жизнь начинает предъявлять требования, то вместе с тем в обществе обнаруживается брожение. Брожение это преимущественно выражается в появлении бесчисленного множества разномастных политических партий, которые не пренебрегают никакими средствами, чтобы подсидеть друг друга. В особенности же ожесточенно и даже бесчестно действует в этих случаях партия старых, отживающих порядков. Составленная из людей мелкосамолюбивых, с потухшими

сердцами, воспитанная в дурных привычках ябеды, своекорыстия и любоначалия, растерявшая в течение продолжительной и бесплодной житейской суматохи всякий жизненный смысл и все человеческие побуждения, кроме одного: злобы,— эта партия на первых порах лицемерно подлаживается к заставшему ее врасплох движению и затем коварно подстерегает всякое колебание, всякий ошибочный шаг, чтобы броситься на своих противников и моментально их задушить.

Такого рода староверческая партия существовала и среди братушек Лужского уезда.

Топтыгинское возрождение изумило староверов своею неожиданностью и испугало крайнею живостью своих первых проявлений. Тем не менее они притворились подчинившимися и даже старались выказать самих себя в возможно смирном и даже презренном виде. Но в действительности они только выжидали благоприятного момента и, постепенно переходя от одного коварства к другому, то подстрекая, то сея вражду, вошли наконец в секретные переговоры с местным урядником.

И — увы! — я не могу скрыть, что душою и руководителем этого предательства был статский советник Никодим Лукич Передрягин...

Времена созрели.

В конце минувшего сентября, ровно через четырнадцать месяцев после пленения Передрягина, в ту минуту, когда неурядица среди топтыгинского племени достигла размеров поистине нетерпимых, до веселой поляны, обитаемой братушками, донеслись звуки приближающегося колокольчика. Топтыгины тотчас же догадались, что эти звуки возвещают приезд из Луги начальства...

Переборка пошла очень быстро. Зачинщики сейчас же были отделены и препровождены; прочие братушки — тщательно переписаны и внесены в ревизские сказки. Затем имуществу Топтыгиных была произведена опись и оценка, причем открыт склад воровских вещей, из коих некоторые, как, например, двадцать дюжин дамских кальсон, очевидно, были украдены по недоразумению. Оценен был и громадный запас еловых шишек, между которыми оказалось и несколько геморроидальных. Этот плод многолетнего труда целого племени был опечатан и сдан под расписку старейшине, с тем чтобы впоследствии найти для него сбыт на иностранных рынках. Что касается до статских советников и прочих инструкторов, то их с первым же поездом отправили в Петербург для распределения по подлежащим ведомствам. И в заключение с полковницей Волшебновой и ее родственницей было поступлено по произволению.

Замечательно, что при этой переборке всего больше пострадали вожаки из партии староверов. Хотя нельзя было отрицать, что казенный интерес, столь продолжительное время поруганный, лишь благодаря их рвению вступил наконец в свои права, но, с другой стороны, чувство справедливости убеждало, что староверы действовали в этом случае не столько за совесть, сколько за страх. В сущности, ведь они-то, по преимуществу, и поддерживали в течение столетий тот порядок вещей, который помогал Топтыгиным уклоняться от рекрутства и от платежа податей. Стало быть, совсем не усердие, а только злоба, вызванная утратой привилегированного положения, сделала их поборниками казенного интереса.

— Сегодня вы усердие и покорность выказываете,— сказал им урядник Справедливый, на которого были возложены все труды по воссоединению заблудших братушек,— а завтра вы опять начнете кляузничать и отвиливать от узаконенных властей!

Одним словом, воздаяние было полное и справедливое. А через месяц к братушкам была проведена столбовая дорога, и на каждую берлогу выдан отдельный окладной лист. Так что в настоящее время ни урядник, ни сборщик податей уже не встречают больше препятствий при исполнении своих обязанностей.

И живут себе Топтыгины как у Христа за пазушкой. Смирно, благородно, без конституций.

Что́ же сталось с Передрягиным? — получил ли он за свою твердость соответственную награду? спросят меня читатели.

Как это ни прискорбно, но на последний вопрос я могу ответить только отрицательно. Почтеннейший Никодим Лукич не только не получил награды, но даже вынужден был подать в отставку.

Причиною всему было слово «конституция».

Хотя и Прелестников и Неослабный по совести засвидетельствовали о неуклонной борьбе Передрягина с конституционалистами, но они не могли скрыть, что в первое время своего плена Никодим Лукич довольно-таки ходко пошел навстречу топтыгинским затеям и что, во всяком случае, он, а не кто другой, был автором пресловутой «зимней конституции», которая на целых полгода отдалила раскрытие злонамеренных укрывательств, грозивших казне безвременным оскудением.

Разумеется, распоряжение не замедлило.

Теперь Передрягин скромно живет с своею Акулиной Ивановной и довольствуется обществом титулярных советников.

Статские советники его опасаются; действительные статские советники хотя и не выказывают явной боязни, но действуют надвое. Что же касается тайных советников, то они просто-напросто дразнятся: «конституционалист! конституционалист!»

Тем не менее Передрягин не унывает и даже, по-видимому, совсем примирился с своим новым званием. На днях я его встретил идущим в контору «Полицейских ведомостей», куда он нес для опубликования объявление. Объявление это гласило:

НОВОСТЬ!! СТАТСКИЙ СОВЕТНИК ПЕРЕДРЯГИН!!!

(Знаменская, Гусев переулок, 29)

Изготовляет КОНСТИТУЦИИ для всех стран и во всех смыслах. Проектирует реформы судебные, земские и иные, а равно ходатайствует об упразднении таковых. Имеет аттестаты. Вознаграждение умеренное. Согласен в отъезд.

И вы увидите, что объявление это, чего доброго, возымеет действие, и Передрягин получит заказ.

ПИСЬМО III

Чаще и чаще приходится слышать, что жить становится скучно и тяжело. И нельзя сказать, чтобы эти сетования были безосновательны. Не в смысле сокращения суммы так называемых развлечений — их даже чересчур достаточно — и не в смысле увеличивающейся с каждым днем суммы утрат и несбывшихся надежд, а просто потому, что понять ничего нельзя. Самые противоречивые течения до такой степени перепутались и загромоздили пути, что человек чувствует себя как бы в застенке, в котором вдобавок его ударило по темени. Он измучен не столько реальностью настигающих его зол, сколько бесплодностью своих метаний и сознанием, что жизненный процесс хотя и не прекратился, но в то же время утерял творческую силу. Жизнь утонула в массе подробностей, из которых каждая устраивается сама по себе, вне всякого соответствия с какой бы то ни было руководящей идеей. Неоткуда взяться этой идее; неоткуда и незачем. Прошедшее — несостоятельно, будущее — загромождено.

Я знаю, что нет недостатка в попытках разобраться в удручающих жизнь противоречиях; но, говоря по совести, эти попытки не только ничего не объясняют, но даже еще больше запутывают понимание предстоящих задач. Все они, как бы ни

были разнообразны их формы и клейма, свидетельствуют только об ощущении боли и о том, что это ощущение в одинаковой мере присуще всем, которые не одним прозябанием, но и работою мысли принимают участие в совершающемся жизненном процессе. Всем присуще,— начиная от самых ядовитых и нагло-торжествующих и кончая самыми наивными и пригнетенными.

В самом деле, в чем выражаются эти попытки? Какие дают они разрешения, какие открывают перспективы безнадежно мятущейся массе замученных и недоумевающих людей? — Чтобы ответить на эти вопросы, достаточно, не заходя далеко, остановиться на современной русской публицистике.

С одной стороны, раздаются голоса, изрыгающие проклятия, призывающие к ябеде, человеконенавистничеству, междоусобию. Нельзя, конечно, отрицать, что эта проповедь имеет смысл вполне определенный и что она даже производит массу частного зла; но самая бессодержательность ее отправных пунктов уже свидетельствует о ее творческом бессилии. Не проклятиями исправляется жизнь и не человеконенавистничеством насаждается мир и благоволение в сердцах — этого самые закоснелые личности не могут не понимать. Стало быть, если они упорствуют в человеконенавистничестве, то не потому, чтобы верили в зиждительные свойства его, а потому лишь, что проклятия представляют своеобразную формулу, в которую выливается общий всей современности бессильный вопль против массы недоделок, недомолвок и встречных течений. Но при этом очень возможно и то, что проповедь ненависти, благодаря сложившимся обстоятельствам, сделалась и небезвыгодным ремеслом...

С другой стороны, в ответ кляузе, слышатся голоса наивных, которые тоже чего-то ищут и нечто стараются разъяснить. Но, в сущности, они не разъясняют, но лишь уклоняются и оправдываются. Положение поистине унизительное, хотя, по обстоятельствам, совершенно понятное. Существует некоторая загадочная подкладка в спорах, касающихся современности,— подкладка, благодаря которой одна сторона вступает в состязание заранее торжествующею, а другая — заранее виноватою, хотя и не знает за собой ни одного факта, на который могло бы опереться обвинение. Ни для кого не тайна, что в современных полемиках речь идет совсем не о вопросах, которые ставит жизнь, а о чем-то постороннем, чему вполне произвольно присвояется название «образа мыслей». И так как «правильный» образ мыслей сделался как бы монополией кляузы, то понятно, что противная сторона прежде всего обязывается обелить себя перед лицом кляузы и только уже по выпол-

нении этого считает себя вправе выложить, в форме рискованного предположения, ту скромную крупинку истины, какая имеется в запасе. Или, говоря другими словами, чтобы пустить эту крупинку в обращение, необходимо предварительно надеть Петрушкины (чичиковского Петрушки) порты и уже в этом виде дерзать. Спрашивается: каких результатов может достигнуть разъяснение, обставленное такими условиями?

Как плод недоделок и недомолвок, появились на сцену «кризисы». Ни о каких кризисах в старые годы не слыхивали, а тут вдруг повалило со всех сторон. То хлебный кризис, то фабричный, то промышленный, то железнодорожный, наконец денежный, торговый, сахарный, нефтяной, даже пшеничный. Не говоря уж о кризисе совести, который, по-видимому, никому жить не мешает. И, очевидно, этот новый бич — не выдумка так называемых отрицателей и потрясателей, а самая несомненная правда, потому что сами оракулы современности (они же изрыгатели проклятий) только о кризисах и говорят. Все, без различия партий, на этой почве сошлись; все в один голос вопиют: кризисы! еще кризисы! нет отбою от кризисов! И не только вопиют, но даже во все зараженные места пальцем тычут (вот, дескать, где, и вот, и вот!), а исцеления все-таки преподать не умеют.

Это напоминает мне провинциалку-барыню, которую я в старые годы знавал и которая тоже беспрерывно страдала кризисами. Все доктора, к кому она ни обращалась, в один голос говорили: «Это, сударыня, кризис!» — но затем все же, получив трехрублевку за визит, считали свою задачу выполненною. Да и что другое могли сказать убогие провинциальные эмпирики, коль скоро и сами они (дело происходило в сороковых годах в одной из самых глухих провинций) никаких «средствиц», кроме гофманских капель, бобковой мази да липового цвета, не знали.

— У кого же вы теперь лечитесь, Любовь Ивановна? — спросил я однажды, застав ее удрученною каким-то совсем новым кризисом.

— Да что, голубчик, все перепробовала: и лекарей, и знахарей, и колдунов — нет мне облегченья! Теперь... оборотень лечит!

— Как оборотень?

— Какие бывают оборотни! ни то человек, ни то хавронья. Наговорили мне об нем с три короба; сказывали, будто бы дух от него здоровый... Да вряд ли. Чавкает... ну, роется... воняет... это так! А чтобы он настоящим манером облегчить мог — не верю!

Хорошо, что впоследствии природа Любови Ивановны взя-

ла свое, и добрая женщина освободилась-таки от угнетавших ее кризисов; но скажите по совести, до какой безнадежности она должна была дойти, чтобы доверить свою жизнь... оборотню!

Но — что́ всего знаменательнее — указывая на кризисы, люди всех партий непременно приплетают к ним реформы. Все в одно слово утверждают, что именно в реформах и заключается весь секрет. Только одни прибавляют: «недореформили!» — а другие: «перереформили!»

Я не буду останавливаться на людях первой разновидности. Голоса их имеют столь же мало значения в общем политиканствующем концерте, как и воркотня того «слуги», который на театральной сцене при поднятии занавеса метет комнату (ворчит, а все-таки метет) и с негодованием сообщает, что уж двенадцатый час в исходе, а господа все еще почивают... И вдруг справа: «Иван! одеваться!» — слева: «Иван! чаю!» — из глубины: «Иван! принесли ли афиши?» И мчится Иван как угорелый, не только позабыв о недавней воркотне, но весь, с верхнего конца до нижнего, проникнутый одною мыслью: что́, ежели эту воркотню подслушал барин и ударит его за нее по затылку?!

Но люди второй разновидности, те, которые на самое возникновение реформаторской деятельности (независимо от ее содержания) смотрят как на катастрофу, породившую все дальнейшие злосчастия,— эти люди заслуживают того, чтобы побеседовать об них подробнее, ибо в настоящее время они — авторитет. Каждый день они каркают: погибнем! погибнем! погибнем! — так что от одних этих паскудных проклинаний становится жутко жить. Вся улица гремит их угрозами, все столбцы пропахли их мудростью, и кто знает, далеко ли время, когда, быть может, и канцеляристы проникнутся убеждением, что кляуза и судаченье представляют наилучшее средство если не для того, чтобы выпутаться из затруднительных обстоятельств, то, по крайней мере, для того, чтобы хоть временно «отписаться» от них.

Я охотно допускаю, что совершившиеся реформы не для всех приятны и что, следовательно, единомыслия в их оценке ожидать нельзя. Но для того, чтобы с успехом вести по их поводу упразднительную пропаганду, недостаточно ненавидеть, проклинать и подсиживать, а необходимо ясно и определительно указать, ка́к с ненавидимым предметом поступить. Некоторым из реформ уже четверть века минуло, а большинство приближается к концу второго десятилетия. Ведь это уже в известном смысле храм славы, а совсем не наваждение, по поводу которого достаточно сказать: «дунь и плюнь!» — и ни-

чего не будет. Но если б даже и возможно было сим легким способом освободиться от храма славы, то все-таки надо и самим знать, и для других сделать понятным, какой иной храм славы предполагается соорудить на место только что выстроенного и уже предполагаемого к упразднению.

Ежели, как можно догадываться, безмятежное житие, проектируемое кляузниками на место реформенной жизни, должно заключаться в том, что люди, причастные ему, будут служить безмолвными объектами для всевозможных оздоровительных затей, то эта перспектива едва ли кого-нибудь соблазнит. Потому что даже простодушнейшие из простодушных — и те уже понимают, что, при известной обстановке, выражения: «оздоровительное предприятие» и «битье по темени» имеют значение не только равносильное, но даже с некоторым преферансом в пользу второго.

Что битье по темени, точно так же, как и сечение, никогда не обладало творческой силой — история доказала нам это достаточно. От начала веков исправник сек мужика, полагая, что через это числящаяся на нем недоимка полностью поступит в казначейство, а недоимка и доднесь на мужике числится. Стало быть, сеченьем нимало интереса казны не соблюли, а только спину мужику понапрасну испортили.

Конечно, большинство исправников оправдывает себя в этом случае тем, что мужик при совершении экзекуции не только не прекословил, но даже по окончании ее благодарил за науку. Стало быть, говорят они, он сам чувствовал, что сеченье ему на пользу. Однако едва ли на этот раз можно поверить мужику на слово. Почему он молчит и даже благодарит — это тайна, которую не особенно мудрено разгадать. А именно: он молчит и благодарит потому, что ежели он будет «разговаривать», то исправник, пожалуй, не затруднится и опять его «разложит».

Точно то же бесплодное будущее предстоит и битью по темени. Ни фабричный, ни даже пшеничный кризис не прекратятся оттого, что люди ополоумеют. Очень возможно, что эти ополоумевшие, подобно сейчас упомянутому мужику, будут кланяться и благодарить, но секрет этой благодарности будет столь же легко объясним, как и в предыдущем случае. Стало быть, кризисы останутся в своей силе, да вдобавок получится еще громадная масса проломленных голов. Неужели это может кого-нибудь утешить?

Но, кроме того, здесь является и другой очень важный вопрос: кого стукать и за что?

Ежели стукать так называемую интеллигенцию, то она не только не виновна в кризисах, но, можно сказать, даже впол-

не равнодушна к ним. В сущности, и сахарные, и всякие другие кризисы задевают ее так мало, что едва ли она даже видит нужду в определении тех убытков, которые она несет от них. Она беспрекословно уплачивает лишний грош в одном месте и идет в другое место, чтоб уплатить другой лишний грош. И при этом отлично помнит, что совать нос не в свое дело не следует. Конечно, не может она, от времени до времени, не рассуждать (а в том числе и о кризисах), но в этом уже виновны университеты, гимназии и кадетские корпуса, где совершенно открыто внушается, что человеку свойственно рассуждать. Но, кроме того, ежели даже о словах говорится: verba volant [1],— то для мыслей у нас и крыльев-то не заведено: где родятся, там и умирают. Вот почему, когда года три тому назад изо всех щелей выползли кляузники, вооруженные проектами истребления интеллигенции, то громадная масса интеллигентов даже протестовать не пыталась, а только в недоумении спрашивала себя: за что́?

Ежели стукать мужика, то он еще менее виноват в появлении кризисов, хотя преемственность их в особенности живо отдается на его боках. Мужик и до сих пор не знает, что в существование его заползли какие-то кризисы, но для него не тайна, что с кризисами или без оных он все-таки повинен работе. И работает. Мне возразят, быть может, что, во внимание к таковым похвальным качествам, ни один кляузник и не выступил с проповедью об истреблении мужика: пускай, дескать, плодится и множится.— Согласен, действительно, об истреблении мужика проектов не было; однако ж ни один беспристрастный человек не будет отрицать, что о подкузмлении его мечтали и мечтают очень многие. За что?

Существует и еще кляузное мнение: в самом, дескать, правительстве накопилось бесконечное множество антиправительственных элементов, которые, пользуясь своим привилегированным положением, преднамеренно поддерживают в стране смуту, служащую источником всех кризисов. Но, во-первых, это мнение вполне обстоятельно опровергается существованием знаменитого 3-го пункта для сменяемых, и кабинетных собеседований — для несменяемых. Во-вторых, если бы даже раскол, о котором идет речь, и не был баснею, то, прежде чем направо и налево раздавать клички, следовало бы определить, откуда этот раскол пришел и не имеется ли органической причины, которая делает его неистребимым. И, в-третьих, наконец, где найти компетенцию, которая, не будучи посвящена в тайну правительственных намерений, имела бы возможность

[1] слова улетают.

безошибочно установлять признаки правительственности и антиправительственности? Ужели достаточно заявить себя кляузником, чтобы присвоить себе монополию такой компетенции?

Повторяю: проклятия останутся только проклятиями, человеконенавистничество пребудет только человеконенавистничеством. Не из могил, разрываемых гиенами, услышится живое слово... нет, не из них!

Ах, кляузники, кляузники! ведь дело совсем не в укорах и завинениях задним числом; дело не в ябедах и не в подтасовках, а в том, чтобы жизнь не калечила живых. Ежели слово «реформы» до того постыло, что даже слышать его больно, то пусть будет заменено другим... например, хоть «регламентацией». Ежели и «регламентация» окажется подозрительною (она отзывается отчасти социализмом, отчасти аракчеевщиною), то замените ее «постепенным, при содействии околоточных надзирателей, благопоспешением». И это будет хорошо. Не в словах сила, и нет той номенклатуры, с которою нельзя было бы помириться; но пускай же исчезнет то постыдное пустоутробие, которое выдает камень за хлеб и полоумный донос — за содействие.

———

Оскудение полное. Тем не менее так как мысль не может окончательно умереть, то она и под игом всевозможных недоумений продолжает свою работу. Но, очутившись вне живоносной струи руководящих начал, она исключительно устремляется к мелочам обыденной жизни и в них ищет утолить присущую ей потребность творчества.

Отсюда — громадная масса проектов и проектцев, удручающая нашу современность. Я не утверждаю, чтобы между ними не было практически полезных, снабженных весьма интересными справками и изложенных прекраснейшим слогом, но не могу скрыть, что даже полезнейшие построены на «песце», зависят от массы случайностей и вследствие этого осуждены на полную неустойчивость.

Много мы знали полезных выдумок и многие из них видели даже в действии; но польза, которая от них ожидалась, прежде всего парализировалась их внутреннею изолированностью. В общем укладе жизни не было для них ни соответствия, ни поддержки, и это сказывалось до такой степени резко, что едва ли можно указать хотя на одно явление этой категории, которое при самом рождении не стояло бы под угрозой всеминутного упразднения. Мы созидаем и вслед за тем разрушаем, потом опять возвращаемся к разрушенному и, воссоздав его, вновь разрушаем. Плотина, которая сдерживала бы напор

пораженного паникою произвола, не только не существует, но даже самая мысль о ее необходимости представляется небезопасною.

Тем не менее неустойчивость отнюдь не обескураживает прожектеров. И это вполне понятно, потому что человек самый простодушный, чувствуя боль во всех суставах, не может не употреблять усилий, чтобы освободиться от нее. Но еще более понятно то, что человек этот, игнорируя общие законы, управляющие жизнью, останавливается в недоумении перед мало-мальски широкой задачей и спешит отыграться на подробностях.

Простодушие ценит только непосредственные практические применения, а ничто так легко не поддается практической разработке, как подробности. Мир подробностей — мир простодушных людей, и ежели вы сообразите, какое разнообразие подробностей представляет даже самая бедная содержанием жизнь, то убедитесь, что прожектеры могут черпать из этого источника, нимало не опасаясь, что он когда-нибудь истощится.

Повторяю: и количество и разнообразие ходячих проектов поистине изумительны. И чем больше проект напоминает принцип разделения труда, в силу которого рабочий на всю жизнь осуждается выделывать одну двадцатую часть булавочной головки, тем большую претензию предъявляет он на авторитетность. Чем он низменнее, тем благовременнее и назойливее. Многие даже утверждают, будто бы в основе большинства современных выдумок — прямо или косвенно, но *непременно* лежит воровство; но я считаю это мнение чересчур уже рискованным. Меня гораздо более поражает и оскорбляет то, что всякий одержимый чесоткою празднолюбец, не обинуясь, приурочивает свою личную чесотку к лику недугов общественных и государственных.

Низменность и бессвязность большинства сыплющихся со всех сторон оздоровительных предприятий таковы, что даже породили мнение о вырождении человеческого рода. Старики, по крайней мере, положительно утверждают, что в былые времена рассуждали обстоятельнее, не «растекались мыслью по древу», а, начавши долбить стоящий на очереди сук, долбили его во всех смыслах и до конца. И в пример приводят решения и поступки, которые хотя и сданы в архив, но в свое время задали-таки копоти. Тогда как ныне — возьмите любой оздоровительный проект, и вы прежде всего убедитесь, что содержание его напоминает пирог, в котором вместо съедобной начинки затисканы стружки, глина, песок и другой строительный материал. А затем и внешности приличной нет налицо. Начнет человек: *«так как»* — а об *«то»* позабудет; или

начнет с *«хотя»,* а ни *«тем не менее»,* ни *«но»* и в помине нет. Даже многоточия в ход пошли — на что похоже!

— Фельетоны так писать дозволительно, а не проекты-с,— негодовал на днях бесшабашный советник Дыба,— скажите на милость, начали прибегать к многоточию! Ведь многоточие-то, государь мой, волнение чувств означает. А разве таковое приличествует в вопросе столь несомненной важности, как общественное оздоровление?

Я не буду, однако ж, рассматривать, насколько правы сетующие старики, хотя вообще думаю, что они многое позабыли и весьма малому научились. Не стану также приводить примеры полезных оздоровительных проектов, вроде обуздания гласности, упразднения судейской несменяемости, неограниченного выпуска кредитных билетов, учреждения элеваторов и т. п. Не стану, во-первых, потому, что всё, что́ я могу сказать об этих предметах, исчерпывается следующими немногими словами: может быть, хорошо выйдет, а может быть, и нехорошо, и даже зловредно. Я и сам рад бы какой-нибудь оздоровительный проект написать, но что же я, сидя у себя в кабинете, знаю? Чем я могу руководиться, кроме цифр, в качестве отправного пункта, и логики, в качестве орудия для вывода? Допустим, что я — человек вполне добросовестный и недюжинного ума, что взятая мною цифра верна и что сделанное мною на основании ее построение вполне согласно с законами логики; но могу ли я поручиться, что не упустил из вида тех примесей, которые при всяком практическом применении всплывают со дна жизни, вопреки всяким цифрам о построениях. Насколько, например, моя выдумка может потерпеть от вмешательства воровства, лихоимства, нравственной расшатанности, неряшества или даже наконец от такой пустой и нелепой вещи, как провинциальный этикет? Я знаю, конечно, что эти дрянные примеси вполне устранимы, а может быть, даже знаю, при каких условиях они устранимы (впрочем, и тут не выдаю своего мнения за непогрешимое); но до тех пор, пока этих условий не существует, ни о чем ничего сказать не могу, кроме: может быть, хорошо, а может быть, так нехорошо, что завтра же переделывать придется.

А во-вторых, если бы я, даже не останавливаясь перед этими соображениями, и начал вкривь и вкось рассуждать, то, наверное, меня на первых же шагах остановят люди, более меня опытные и компетентные. И хорошо сделают, ибо фортуна поступила со мною жестоко, отдав всю мудрость и опытность в удел столоначальников, а мне (впрочем, быть может, и вам, читатель) предоставив бродить на помочах и спотыкаться.

Итак, область серьезного и дельного для меня недоступна. Я и не стараюсь проникнуть в нее и, право, без зависти взираю на вереницы коллежских регистраторов, перед которыми настежь растворяется запертая для меня дверь. Я знаю, что существует другая область: область нелепого и смешного, на воротах которой написано: «Entrée libre» [1], и в которую я, вместе с другими профанами, могу входить вполне свободно. Почему свободно? — а потому, во-первых, что смешное и несерьезно-нелепое предполагается исходящим от людей мизерных, значения не имеющих, то есть вообще таких, которых можно «касаться», не рискуя быть обвиненным в потрясении основ. А во-вторых, и потому, что смешное и нелепое сами по себе настолько невинны, что и спотыкающийся, подобно мне, человек ничего, кроме невинного упражнения, извлечь из подобной темы не может.

Как бы то ни было, но я пользуюсь этой свободой и благодарю.

Из числа моих школьных сверстников, оставшихся в живых, ничей удел не кажется мне столь желательным, как тот, который выпал на долю Федоту Архимедову. И выпал, надо сказать правду, совершенно незаслуженно, единственно благодаря счастливо сложившимся обстоятельствам.

В школе мы называли Архимедова «Федот, да не тот», и эта кличка удивительно к нему шла. Что-то несвойственное в нем было, какая-то заколдованность, абсентеизм. Уроки он отбывал почти всегда исправно, но учителям почему-то казалось, что не он лично отвечает урок, а какая-то сущая в нем чертовщина; вел он себя добропорядочно, но надзирателям казалось, что эта добропорядочность в нем не то чтобы лицемерная, а как бы невменяемая. Поэтому и баллы ему, как в учении, так и в поведении, ставились очень умеренные. И он не протестовал против несправедливости, а только при случае горько улыбался; но эта горькая улыбка была до того беззаветно-нелепа, что ему тут же сбавляли за нее еще балл или два в поведении,— как будто он произвел невесть какое дебоширство. Ни с кем он не был дружен и ни к какому занятию не оказывал предпочтения. Охотнее всего играл в свайку; но и тут устроится в одиночку где-нибудь в уголку и сам себе задает редьки. В рекреационные часы он и по зале, и по саду ходил всегда один,— и непременно задумавшись; но никто не мог определить, действительно ли он думает, или у него болит голова. Некоторые даже утверждали, что у него в голове за-

[1] «Вход свободен».

велось мышиное гнездо, и приставали к нему, спрашивая, выпросталась ли старая мышь и не беспокоят ли его своей беготней молодые мышата. Однако ж этот вопрос — только он один — приводил его почти в исступление. Он, как бешеный, бросался в толпу обидчиков, ничего не разбирая, сыпал ударами направо и налево, швырял чернильницами, и, разумеется, взаимно украшенный синяками, попадал в конце концов в карцер. Между тем как прочие товарищи интересовались литературой и втихомолку зачитывались журналами, он в продолжение всего шестилетнего курса читал исключительно один и тот же № «Репертуара» (Песоцкого), в котором был помещен водевиль «Отец, каких мало». Читал постоянно и не мог начитаться. И в довершение всего лицо у него было похоже на подмалеванный портрет, в котором художник тщетно пытался что-то изобразить и наконец бросил, подписав внизу: «Галиматья».

По выходе из школы он вместе с другими товарищами обязательно поступил на службу. Однако ж и новое начальство довольно долго не могло приспособиться к нему и разгадать: тот ли он Федот или не тот. Поэтому на первых порах на него возлагались работы самые легкие, так сказать, идиотские; но даже и в них он не обнаруживал ни мастерства, ни виртуозности. Запишет, бывало, бумагу во входящий реестр и не беспокоится. Все беспокоятся, у всех сердце болит, а ему как с гуся вода! И, может быть, служебные дела его и до сего дня шли бы тихим ходом, если бы, на его счастье, в служебной атмосфере не последовало нового веяния. Неизвестно почему, но, конечно, не без основания, на Федотов явилось в бюрократических сферах усиленное требование. От них одних ожидалось усердие не по разуму, а на их непреклонность в соблюдении канцелярской тайны возлагались самые горячие упования. «Федотов нужно! никого, кроме Федотов!» — раздался клич по всему лагерю, и в согласность этому кличу произошли существенные перемены и в том ведомстве, в котором служил Архимедов. Старый начальник был сменен, и на его место посажен другой — тоже Федот, да не тот. Оба Федота любили сами себе сваечные редьки задавать, оба — ничего не читали, кроме водевиля «Отец, каких мало», и у обоих — под портретом написано было: «Галиматья». Взглянули они друг на друга, да так и ахнули. И с этой минуты служебная карьера Архимедова была обеспечена.

И точно, с первого же абцуга дело пошло у них как по маслу и в настоящее время доведено до такого совершенства, как дай бог всякому. Подчиненный-Федот — докладывает, а начальник-Федот — понимает; начальник-Федот — приказы-

вает, а подчиненный-Федот — понимает. И не видят оба, как время летит. Все сослуживцы дивятся и говорят, что они при дьявольском наваждении присутствуют, а им что за дело!

И лезет да лезет Федот Архимедов по лестнице, виденной Иаковом во сне, и, наверное, до чего-нибудь долезет. В последнее время он почти сряду получил три награды: к рождеству его сделали делопроизводителем комиссии для Рассмотрения Предшествующих Заблуждений; постом он получил дифтерит, а к святой — орден Тако́ва. И живет себе припеваючи в великолепной казенной квартире и с часу на час ожидает курьера. А некоторые даже присовокупляют, что он каждое утро казанским мылом моется и лоделавандом рот полощет, дабы в случае чего не оплошать. Что ж! казанское мыло не одному Федоту открывало путь к почестям!

Так вот, этот самый Федот с чего-то начал ко мне похаживать. Придет, рассядется в кресле, вынет платок, опрысканный какими-то ни с чем не сообразными духами, и начнет вытирать им между пальцев. И чтобы я не возмечтал о себе по поводу его визита чего-нибудь лишнего, непременно скажет:

— Я потому к тебе зашел, что нахожу нелишним от времени до времени окунуться в волны общественного мнения...

Оговорившись таким образом, он начинает, не торопясь, разматывать предо мной один за другим нагноившиеся в его голове прожекты. Прожектов этих у него напасено ровно столько, сколько есть звезд на небе, и хоть, по всем вероятиям, ни одному из них не предстоит осуществления (чересчур уж они смелы), тем не менее это не мешает им циркулировать в сферах и даже утруждать внимание. Ибо, при всеобщем современном оголтении, Федоты изображают собой силу, с которой нельзя не считаться и выслушивать которую — обязательно.

В большинстве случаев эта «сила» всплывает на поверхность случайно (как это уже и рассказано мною выше); но, раз всплывши, она устраивается настолько прочно, что сдвинуть ее с занятой позиции представляется делом весьма нелегким. Секрет заключается в том, что Федоты быстро и издалека угадывают друг друга и, угадавши, составляют из себя, так сказать, ассоциацию взаимного застрахования. Во главе этой ассоциации становится Федот первый, который где-то имеет «руку» и, следовательно, считает себя вправе колобродить, не стесняясь ничем, кроме усердия не по разуму. У первого Федота имеет руку Федот второй, у второго Федота — третий и т. д. Все заимствуются светом друг у друга, и все колобродят. Колобродят серьезно, сосредоточенно и сердито, так что ежели в разгар этого колобродства подвернется профан

и попробует выказать не то чтобы несогласие, а только равнодушие, то ему, наверное, несдобровать.

В силу таких счастливых условий колобродил и Федот Архимедов. Сознавая себя Федотом по преимуществу, он не ограничивался тем, что разводил свои колобродства в тесном кругу подобных ему Федотов, но находил наслаждение угнетать ими и людей, совершенно посторонних. А в том числе и меня.

Все кризисы постепенно прошли через горнило его умопомрачения, все одинаково вызывали на его лице озабоченное выражение, и все он приурочивал к одной и той же причине: разнузданности. Долгое время он ограничивался в разговорах со мною одними общими местами на эту тему, но наконец не выдержал и раскрыл мне подробности своего плана.

— Ты уже знаешь,— сказал он мне,— что, по мнению моему, прежде всего необходимо уничтожить разнузданность. Раз мы успеем в этом, жизнь естественным порядком войдет в надлежащую колею. Внутренние враги рассеются, а с внешними мы, с божьею помощью, и сами справимся. Надеюсь, что ты ничего не имеешь против этого результата?

Разумеется, я не только не имел ничего, но был даже очень рад. На то враги и существуют, чтобы их обуздывать. Но так как время ныне стоит загадочное, то и я счел нужным ответствовать загадочно. То есть не отрицал, но и безусловного согласия не изъявлял.

— Как тебе сказать, душа моя,— резонировал я,— может быть, оно и хорошо выйдет, а может быть, и нехорошо. Обуздывать, вообще говоря, полезно и даже всегда благовременно; однако не мешает при этом иметь в виду и следующее: а что, если вдруг понадобится снова разнуздывать?! кто будет тогда виноват в безвременном обуздании?! Но, с другой стороны, может случиться и так: ежели мы оставим разнузданность необузданною, то как бы потом не пришлось быть в ответе за то, что мы своевременно ее не обуздали. Словом сказать, все в этом предприятии сводится к пословице: и перевернешься — бьют, и не перевернешься — бьют. Вот чего я боюсь.

Высказавши это мнение, я вдруг очнулся: что, бишь, такое я сказал? К счастью, Архимедов не только не казался изумленным, но даже понял.

— Ты слишком осторожен,— укорил он меня.— Завесу будущего приподнимать полезно, но не всегда. Есть вещи, которые необходимо приводить в исполнение сразу, не рассуждая. Рассуждение — вот корень угнетающего нас зла. Рассуждая, я, конечно, всегда рискую встретиться с препятствиями. Сперва придет одно препятствие, потом другое, третье, и наконец

накопится такое множество, что для разборки их потребуется целая комиссия, которая после десяти лет неусыпных трудов, подобно тебе, резюмирует свою мысль в трех словах: бабушка надвое сказала. Но это мы уж давно знаем; это написано в виде эпиграфа во главе всех наших начинаний, и, к сожалению, мы нимало не делаемся оттого благополучны. Нам нужно совсем другое, а именно: отзвонил, и с колокольни долой. Правду ли я говорю?

— Как тебе сказать, мой друг?.. Быть может, без рассуждения, выйдет и хорошо, но может быть, и нехорошо. А равным образом — и насчет звону. Иной звонарь бухает в колокол зря, а другой — старается попасть в тон... Словом сказать, загвоздка.

Но он даже не ответил на мое возражение, а самодовольно выпрямился и сказал:

— Ну, уж насчет звону... можешь не беспокоиться: с лишком тридцать пять лет я звоню, и, кажется... Но не будем увлекаться голословными препирательствами, а обратимся к фактам, которые, я надеюсь, лучше всяких рассуждений тебя убедят в моей правоте.

И тут-то вот он, пункт за пунктом, развил передо мной свой проект об уничтожении разнузданности.

По его мнению, наша современность представляла два главных вместилища разнузданности: во-первых, современную молодежь, во-вторых, печать. Он не отрицал, впрочем, что если копнуть, то могут открыться и еще два-три вместилища (например: земство, суд, акцизное ведомство, контроль), но покуда еще позволял себе смотреть сквозь пальцы на их «недостойную игру». Зато на вопросах о молодежи и печати он сосредоточил все свое внимание и изучил их до тонкости.

— Относительно нашей молодежи,— начал он,— я полагаю, что прежде всего необходимо упорядочить ее воспроизведение...

И, прочитав на моем лице испуг, поспешил успокоить меня:

— Не прекратить — я соглашаюсь, что это было бы чересчур радикально,— но «упорядочить». Не пугайся и выслушай меня до конца. Наблюдения сведущих людей показывают нам с последнею очевидностью, что качества, как физические, так и нравственные, наследственно переходят от производителей к производимым. Каким образом это происходит — никому не известно: но таков закон природы. Отец, обладающий большим носом, передает его по наследству сыну, а в некоторых случаях, к несчастию, и дочери. Точно то же явление замечается и относительно характера (особенно, ежели характер строптив), и ежели бывают исключения из этого общего правила,

то они доказывают лишь вмешательство посторонних факторов, которого никакой закон ни предотвратить, ни предусмотреть не может. Следовательно, дабы получить молодое поколение, вполне соответствующее требованиям благоустройства и благочиния, необходимо главнейшим образом упорядочить производительную среду. Но где мы отыщем эту среду? Ежели мы будем искать ее среди наших сверстников, то вряд ли поиски наши приведут к плодотворному результату. Мы, старики, свое дело сделали. Что с возу упало, то пропало. Тщетно стараться об упорядочении того, что́ самою природою до такой степени упорядочено, что может сказать о себе только: на нет и суда нет. Конечно, найдутся и среди нас... между прочим, не скрою и о себе... но это уже, так сказать, особливое благоволение природы, на которое закон смотрит как на явление в высшей степени приятное, но не обязательное... Не правда ли, mon vieux? [1] так ведь я говорю?

— То есть как тебе сказать... Конечно, в таких делах молодые люди более компетентны, но, с другой стороны, ежели взглянуть на дело с точки зрения осмотрительности...

— Ну, ну, что уж! не оправдывайся, бог простит! Итак, продолжаем. Истинная производительная сила, та, которая производит обязательно и с увлечением, сосредоточивается в самом молодом поколении. И вот от этой-то именно силы, то есть от ее доброкачественности или недоброкачественности, и зависят судьбы будущего. Или, говоря языком науки: «Всякий молодой человек, воспроизводящий в лице ребенка подобие самого себя, не только удовлетворяет этим естественной склонности к самовоспроизведению, но в то же время влияет и на дальнейшие судьбы своего отечества». Это аксиома, или, лучше сказать, краеугольный камень, на котором должен произрасти цвет будущего. Заручившись этим основанием, я говорю себе: так как состав и свойство грядущих поколений находятся в тесной зависимости от состава и свойств ныне действующего молодого поколения, то, дабы усовершенствовать первое, необходимо произвести в последнем такой подбор людей, который представлял бы несомненное ручательство в смысле благонадежности. Или, говоря языком науки, необходимо, наряду с прочими возникшими в последнее время институтами, образовать еще институт племенных молодых людей, признав чисто правоспособными только тех молодых людей, кои добрым поведением и успехами в древних языках (а на первое время хотя бы в одном из них,— прибавил он снисходительно) окажутся того достойными; тем же, которые подобного руча-

---

[1] старина.

тельства не представят, предоставить доказывать свою правоспособность от дела сего особо. Так ли я говорю?

— Как бы тебе сказать...

— Позволь. Твоя речь впереди,— перебил он меня нетерпеливо.— Прошу заметить, что я ни экзаменов, ни пробных лекций, ничего такого не требую. Хорошо вел себя в школе, знаешь наизусть две-три басни Федра (но надобно знать их твердо, мой друг!) — иди и шествуй! Хоть сейчас под венец. Наше ведомство не токмо не встретит препятствий, но даже окажет деятельнейшее в сем смысле содействие. И еще заметь: я и строптивого не обескураживаю. Я, так сказать, только отчисляю его по инфантерии, но не навечно, ибо в то же время говорю: старайся оправдаться, и ежели представишь подлинное удостоверение — дерзай! И чем больше будет раскаивающихся, тем полнее будет наша радость. Одного не могу допустить и не допущу: это, чтоб элементы неблагонадежные или сомнительные могли проникнуть в корпорацию правоспособных... нет! не допущу!

— Но неужели же те, которые, по упорству или по нерадению, все-таки не выучат двух-трех басен Федра,— неужели они будут навсегда осуждены влачить безотрадное существование по инфантерии?

— Всенепременно; в этом заключается вся экономия предлагаемого мною проекта. Впрочем, не огорчайся; ведь это только издали кажется страшно; но как только дело дойдет до практики, то опасения твои, наверное, дойдут до минимума. Инстинкт самовоспроизведения настолько силен в человеке, что даже самые строптивые будут прилагать старания к скорейшему духовному и нравственному возрождению. А сверх того, право, не так уж трудно выучить две-три басни Федра, чтоб из-за этого подвергать себя столь существенному лишению. Немного терпения и очень много твердости со стороны наблюдающих — и ты увидишь, что в самое короткое время за кадрами останутся только закоснелые.

— Но ежели...

— Никаких «ежели» в проекте моем не допускается. Вопрос поставлен ясно и категорически, а сверх того, чтобы кадры не номинально только, а действительно оставались замкнутыми, имеется в виду неусыпное наблюдение и строго соображенная система взысканий. Прорваться не будет возможности. Сначала, конечно, в отношении к покушающимся будут пущены в ход меры кротости и убеждения, потом — взыскания, постепенно усиливаемые, и наконец...

— Ах!

— И я знаю, что жестоко, но иначе нельзя. И ты увидишь,

что благодаря содействию племенных молодых людей следующее же поколение получит совсем другую окраску. О разнузданности не будет и в помине, а ежели и останутся отдельные индивидуумы, имеющие унылый и недоброкачественный вид, то они мало-помалу изноют сами собой.

Он умолк и самонадеянно смотрел на меня, выжидая одобрения. Но любоыптство мое настолько было задето за живое, что я уже и сам пожелал некоторых пояснений.

— Но мужички,— спросил я,— неужели и они...

— О, нет! до них мой проект не касается! — разубедил он меня,— крестьянское сословие может плодиться и множиться на прежних основаниях! Для усмирения крестьянской разнузданности существуют специальные установления: волостная управа, волостные суды, клоповники и наконец... чик-чик! Этого вполне и надолго будет достаточно... разумеется, если какая-нибудь комиссия и тут не подпустит... Но как ты находишь мой проект в целом? не правда ли, он в настоящую точку бьет?

— Как тебе сказать? Конечно, может выйти хорошо, но может выйти и нехорошо. Ведь Рыков думал: «Дай-ка я оживлю земледелие и торговлю»,— и, разумеется, ждал, что выйдет хорошо. Однако теперь он за свою выдумку сидит на скамье подсудимых. А почему? — потому что это была его личная выдумка, которою он увлекся, да что-нибудь и упустил... А может быть, и подпустил...

— Рыков! — какие, однако ж, у тебя тривьяльные сравнения?

— Ах, нет, я не об том... Я говорю только: если у тебя все пойдет как по маслу, то выйдет хорошо; если же, например, люди, зачисленные по инфантерии, прорвутся в действующие кадры, хотя бы даже в качестве посторонней стихии... Ну, не сердись! не сердись! это я по простоте... Наверное, ты уже все зараньше предуготовил и предусмотрел, и следовательно... Отлично выйдет! отлично! Одно только меня интригует: каким путем ты додумался до такой изумительной комбинации? Ужасно это любопытно!

— Каким путем! — Наблюдал, размышлял, прислушивался, сопоставлял... Свои личные наблюдения проверял наблюдениями добрых друзей, и наоборот. Я, голубчик, еще в то время, когда реформы только что начались, уже о многом думал. И многое предусмотрел и даже предупреждал, но... Впрочем, оставим эти дурные воспоминания и обратимся к предмету нашего собеседования. Теперь мне предстоит изложить мои предположения относительно другого вместилища современной разнузданности — печати.

Федот остановился и испытующе взглянул на меня. Очевидно, он вспомнил, что я до известной степени не чужд печати, и это как будто стеснило его. Разумеется, я поспешил его разуверить.

— Итак, будем откровенны! — начал он.— Впрочем, это будет для меня тем легче, что, в сущности, я совсем не враг печати, а только желаю, так сказать, оплодотворить ее.

Он опять остановился и, как бы предвидя, что все-таки нельзя обойтись без того, чтоб не огорчить меня, взял мою руку и крепко, по-товарищески, ее сжал.

— Да не стесняйся, голубчик! говори! — убеждал я, растроганный до глубины души.

— Итак, будем откровенны,— вновь начал он после некоторого колебания.— Небезызвестно тебе, что в настоящее время печать служит предметом очень тяжких обвинений. Я считаю, впрочем, излишним излагать здесь многообразную сущность этих обвинений: она известна тебе, по малой мере, столь же подробно, как и мне. Нельзя похвалить современную печать, мой друг! нельзя! И хотя я стараюсь быть беспристрастным, но, во всяком случае, не могу не признать, что дело поставлено очень и очень неправильно! И я уверен, что ты сам внутренно соглашаешься со мной, хотя, конечно, по чувству солидарности, и не высказываешь... Признайся! ведь соглашаешься? а?

— Что ж, коли тебе все уж известно...

— Ну, вот видишь! я так и знал! Есть что-то такое в этой печати, чего ни под каким видом нельзя допустить. И даже в самой форме. Вызывающее что-то... дерзкое! А притом и не всегда понятное. Вот почему многие заявляют открыто, что печать следует или совсем упразднить, или, по малой мере, надеть на нее намордник!

— Намордник!!

— Да, намордник. И заметь, это говорят люди, которые в общежитии слывут за людей обязательных, мягких и вежливых. Они мягки и обязательны во всем... кроме литературы! Как только речь коснется литературы... намордник! Я, однако ж, этого мнения н-не раз-де-ля-ю!

Он произнес последние слова с некоторою торжественностью, так что я не воздержался и воскликнул:

— Федот! ты великодушен!

— Я только справедлив,— ответил он томно.— Тем не менее, не разделяя мнения столь крайнего, я в то же время понимаю, что меры необходимы, и меры решительные. И имею основание думать, что такие меры... возможны!

— О!

— Не пугайся, выслушай меня. Вероятно, ты уж заметил, что в основе всех моих предположений лежит, главным образом, не упразднение, а упорядочение. Или, лучше сказать, возрождение. Так поступаю я и в данном случае. Многие противопоставляют моей системе спасительный страх, но я нахожу, что последний уже в значительной мере утратил свое обаяние. С самого пришествия варягов мы живем под действием спасительного страха, а дурные страсти как были разнузданы при Гостомысле, так и теперь остаются разнузданными. Друг мой! что́ пользы в том, что мы, подобно Сатурну, будем глотать своих детей?! Проглотим одного, проглотим другого, третьего, четвертого... что ж дальше? Не расточать надобно, а собирать в житницы — вот мой девиз. Этот девиз, как тебе известно, я применил к той части моего проекта, которая касается нашей молодежи; его же предполагаю применить и к печати.

— О!

— Вот вкратце содержание моих предположений по этому предмету. Печать, говорю я, сама по себе не могла бы существовать, если бы не существовало деятелей печати. Ежели деятели печати хороши, то и печать хороша; ежели деятели дурны или вредны, то и печать дурна или вредна. Это... аксиома. А ежели это аксиома, то очевидно, что сущность или, так сказать, стрела всякого проекта, написанного в здравом уме и твердой памяти, должна быть направлена не против печати собственно, а против ее деятелей. Так оно у меня и выходит. Деятелей печати я разделяю на два разряда: к первому отношу современных литераторов и публицистов; ко второму — публицистов и литераторов будущего. Что касается первых, то на их возрождение надежда плохая. Они слишком закоснели в дурных привычках, слишком избалованы. Поэтому я полагаю удобнейшим оставить их под действием спасительного страха, под коим они доднесь пребывали, не чувствуя от того для себя отягощения...

— Ну, не совсем-таки без отягощения...

— Извини меня, но, со стороны господ писателей, это уже прихоть! Все вам предоставлено, все! И предостережения, и предупреждения, и советы! Если же и затем... согласись со мной, что самая снисходительная система дальше идти не может, не рискуя попасть пальцем в небо. Впрочем, повторяю: на нынешний состав литературы я и не полагаю никаких надежд. Alea jacta est[1]. Что будет, то будет, а будет, что бог даст. Намордников я не предлагаю, но думаю, что сама природа наконец возмутится и явится на помощь к благонамерен-

[1] Жребий брошен.

ным людям с естественной развязкой. Уже достаточное количество сошло с арены, остальные... не замедлят! Жалко, но делать нечего — таков закон природы! Ну-с, а затем прошу тебя выслушать меня внимательно, потому что я приступаю.

— С большим удовольствием, хотя не могу не сказать, что мнение твое насчет современной литературы...

— Ни слова об этом. Ежели я не требую намордников, то и идти дальше по пути послаблений нимало не желаю. Словом сказать, я возлагаю упования на будущее. В этих видах я связываю мои предположения о возрождении печати с проектом об упорядочении молодого поколения вообще. Ты видел, как нетрудно и даже легко достигается последнее, а по последнему можешь судить и о первом. Как скоро образуется благодаря содействию племенных молодых людей молодое поколение, усовершенствованное и очищенное от неблагонадежных элементов, то вместе с тем получатся и питательные кадры, из которых имеют пополняться ряды деятелей печати. Но здесь — как, впрочем, и везде — возникает несколько очень существенных вопросов, которые необходимо разрешить вперед. Вопрос первый: следует ли сделать вход в литературную среду общедоступным? Или же полезнее будет ограничить число деятелей печати определенным комплектом? Я долго колебался между этими двумя системами, но, по обсуждении доводов pro и contra [1], пришел к такому заключению: первая хороша — вообще, вторая — в частности. А так как наше время — не время широких задач, то хотя и с болью в сердце, но приходится предпочесть частное общему. В этих видах я полагал бы на первых порах комплект действующих литераторов ограничить числом 101. Сто — это потребность настоящего; один — это, так сказать, окно, из которого открываются перспективы будущего. Где есть один, там есть начало новой сотни, или, по крайней мере, надежда на оную — вот! Или, говоря точнее, я не только не закрываю дверей будущего, но, напротив, приглашаю достойнейших: идите! вот этот *сто первый* укажет вам путь к славе!

— Прекрасно! — воскликнул я.— Стало быть, ты все-таки сознаешь, что и литературе не чужд путь славы...

Но он вместо ответа только махнул рукою и продолжал:

— Второй вопрос касается организации. Не имея в виду прецедентов, которые указывали бы, как в данном случае поступить, я был вынужден довольствоваться собственною изобретательностью. И посему полагал бы: сто русских литераторов разделить на десять отрядов, по десяти в каждом, а сто

---

[1] за и против.

первому литератору предоставить переходить по очереди из одного отряда в другой до тех пор, пока время не укажет на необходимость образования нового, одиннадцатого отряда, к которому он и примкнет. Во главе этих отрядов, на первое время, я предполагаю поставить старейшин из числа деятелей современной русской литературы, но исключительно из таких, которые, по преклонности лет, уж мышей не ловят. При этом я отдал бы предпочтение составителям хрестоматий, которым, по свойству их занятий, все роды литературы доступны. Когда все будет готово, тогда, по совершении молебствия и по воспоследовании пригласительного сигнала, отряды начнут между собой полемику. Но полемику благородную, и притом сливающуюся в одном общем чувстве признательности.

Он остановился, чтобы передохнуть, и я воспользовался этим, чтобы слегка походатайствовать.

— Вот ты упомянул о старейшинах,— робко инсинуировал я,— вот кабы...

— Имею в виду,— обнадежил он меня кратко.— Затем продолжаю. Вопрос третий: следует ли членам литературных отрядов присвоить штатное содержание, или же удобнее считать их занятия безмездными? На этот вопрос отвечают трояко: одни — в утвердительном смысле; другие — в отрицательном и, наконец, третьи говорят: следует, но в виде частного пособия, и притом келейно. Отрицательной системы я не допускаю вовсе, потому что она до известной степени подрывает принцип ответственности, и притом уже доказала на деле свою несостоятельность. Систему келейных пособий я тоже не могу одобрить, потому что она, страдая тем же недостатком, как и система отрицательная, имеет, сверх того, и еще неудобство: так называемые субсидии сто́ят казне, по малой мере, столь же дорого, как и гласно выдаваемое жалованье. Затем остается система утвердительная, которую я и принимаю. Но что касается размера предполагаемых содержаний, то таковой поставлен мною в зависимости от состояния бюджета. Хорош бюджет — и жалованье хорошо; дурен бюджет — нет ничего. Но расписываешься в получении и в том, и в другом случае — обязательно.

— Вот-то будут о ниспослании хорошего бюджета бога молить! — невольно вырвалось у меня.

— Га! ты понял теперь, в чем заключается соль моего проекта! Вот это-то именно мне и нужно. Да-с, перестанут господа публицисты хихикать над бюджетом! перестанут-с! будут бога молить-с! Но пора кончить. Остается четвертый и последний вопрос: какому порядку надлежит следовать в видах пополнения отрядов, как при образовании их, так и на случай

убылей? На это я отвечаю кратко: те же правила, какие проектированы мною для признания правоспособности молодых людей, могут быть применены и здесь. В среде племенных молодых людей деятели печати составят как бы status in statu;[1] это будут деятели племенные по преимуществу. Только одно лишнее требование я считаю полезным допустить — это знание латинских пословиц и изречений. Знание это сообщает слогу колоритность, а писателю дает вид, как будто он нечто знает, но только не все сказать хочет. Затем остальное — пускай устроит жребий!

Он кончил и заторопился. На этот раз он даже не поинтересовался моим мнением: до такой степени рельефно выступала в его сознании непререкаемость проекта. Впрочем, он обещал невдолге вновь меня посетить и изложить мне свои проекты относительно упорядочения судов и земства.

— А при этом, быть может, придется нам коснуться и элеваторов,— присовокупил он, загадочно подмигнув мне глазом.

ПИСЬМО IV

Чтобы «Пестрые письма» воистину оправдывали это название, позвольте мне сделать небольшую экскурсию в область прошлого.

До «катастрофы» моя соседка, добрая Арина Михайловна Окóнцева, жила очень смирно. К этому времени ей было уж за тридцать, а мужу ее, Севастьяну Игнатьичу, годом-двумя побольше. Имение у них было из средних — по старому счету, душ триста; но, как люди старозаветные и неприхотливые, они довольствовались и малым. А так как, сверх того, они из деревни не выезжали, то это малое настолько граничило с изобилием, что дом Окóнцевых представлял собой полную чашу, в которой все говорило о запасливости и предусмотрительности домовитой хозяйки.

И муж, и жена жили душа в душу. Она взяла на себя все хлопоты по домашнему обиходу и по управлению имением; на нем — лежала только сладкая обязанность любить ее. Осьмнадцати лет Ариша была бодрою, свежею и сильною девушкой; такою же казалась она Севастьяну Игнатьичу и в тридцать лет, хотя значительно пошла в кость, обзавелась усиками и фигурой скорее напоминала солидно скроенного мужчину, нежели деликатную даму. С своей стороны, и Севастьян

[1] государство в государстве.

Игнатьич, в глазах Арины Михайловны, оставался все тем же обаятельным гусаром, каким он был, когда впервые пропел перед нею модный в то время романс: «Гусар, на саблю опираясь», хотя через пятнадцать лет благодаря усиленной выкормке он скорее напоминал средних лет скопца, нежели лихого корнета. Время не наложило своей всевластной руки на их взаимные отношения. Как в первую, так и в последнюю минуту оба помнили и понимали одно: он — что она Ариша, она — что он Савося. И что лучшего ничего они не выдумают, как любить друг друга.

Богатств у них не было, но не было и затей, которые заставляли бы чувствовать отсутствие богатства. Было все «свое», и в этом «своем» они себе не отказывали. Своя живность, свое варенье, свои наливки, свои смоквы, свое тепло, свой простор. Все некупленное, и притом являющееся как будто само собой, без усилий, без думы, точно волна за волной плывет, а за этой волной и еще волна виднеется. Поесть захотят — поедят; посидеть захотят — посидят, а не то, так и походят. Приемов они не делали и с гостями скучали (глаза при гостях у них слипались), хотя от хлебосольства не отказывались. Всего охотнее, по случаю всегдашней взаимной любви, они оставались с глазу на глаз, вдвоем.

Встанут, бывало, часов в восемь утра, Ариша по хозяйству исчезнет, а Савося временно останется один в целой анфиладе комнат. Посидит он и походит, как вздумается; иногда подумает, а иногда и так в окошко поглядит; и во всяком случае чего-нибудь покушает («пить» она ему дозволяла только одну рюмку водки перед обедом). Но пройдет час, другой, и он уже начинает просовывать голову в коридор, выглядывая, не пройдет ли мимо Ариша. И, разумеется, поймает.

— Ариша! ты?

— Ах, ты мо-о-ой!

Поцелуются, и опять каждый за дело. Опять пройдет час, другой...

— Ты, что ли, Ариша?

— Ах, ты мо-о-ой!

И не увидят, как день пролетит. А вечером, еще восьми часов на дворе нет, Савося уж начинает торопиться. Перестанет ходить и усядется в кресло, точно невесть как уморился. Увидев Савосю в этом положении, Арина Михайловна и с своей стороны начинала спешить. Заказавши завтрашнюю еду, она шла к мужу и говорила:

— Что, петушок, к курочке под крылышко баиньки собрался?

Словом сказать, тем горячее они любили друг друга, что и

любовь у них была «своя», некупленная. Но в особенности преданно и горячо любила она. Почему-то она предполагала, что Савося, как бывший гусар, должен иметь вкусы изысканные. А так как она с каждым годом все больше и больше шла в кость, то и ставила мужу в большую заслугу, что он, несмотря на это, не только ни разу ей не изменил, но никогда ни на одну горничную завистливым оком не взглянул.

— Что́ я такое — мужик мужиком! — открывалась она ключнице Платонидушке,— кожа на мне словно голенище выростковое, на руках — мозоли, на ногах — сапожнищи! Ты думаешь, он этого не понимает? — Понимает, мой друг! ах, как понимает! И ему, голубчику, любовинки-то хочется! И чтобы беленькая, и чтобы нежненькая... А он вместо того одну меня, бабу-чернавку, любит. Должна ли я это ценить?

И вознаграждала Савосю за любовь тем, что окружала его всевозможными попечениями. Ветру не давала на него венуть, любимые его блюда наперечет знала и нарочно по коридору лишний раз пробегала (хотя дела у нее всегда по горло было) на случай, не выглянет ли Савося из комнат.

Детей им бог не дал, копить было не для кого. Таким образом, они имели полную возможность жить исключительно для себя. Конечно, божьего добра зря не транжирили, но и не скопидомствовали, а только всемерно друг друга холили, чувствуя, как мягко подхватывает их волна за волной, и зная наперед, что и конца этим ласкающим волнам не предвидится.

И крестьяне, и дворовые не могли нахвалиться ими; говорили: «У нас не господа, а ангелы». Никого они не обременяли ни непосильной работой, ни оброками, а довольствовались тем и другим лишь в той мере, в какой это было нужно, чтоб в господском доме полная чаша была. И чтобы не в одних господских покоях, но и в застольной, и на скотном и конном дворах — везде чтобы изобилие и сытость царствовали. Чтобы девка — так девка, корова — так корова, петух — так петух,— вот у нас как!

Денег в доме Око́нцевых в обращении мало водилось. Было у Арины Михайловны «маменькино приданое», но оно хранилось в «Совете», и проценты с него ежегодно присовокуплялись к капиталу. Что касается до текущего дохода, то он почти всецело получался натуральными произведениями, из которых только малая часть поступала в продажу. Вообще на деньги Око́нцевы смотрели как на что-то исключительное, волшебное, долженствующее прийти на выручку в «черный день». Для обихода на наличные деньги приобреталась только бакалея и материал для одежды, и все «покупное» расходовалось до крайности расчетливо и даже скупо. Кассой заведовал Се-

вастьян Игнатьич, который приходил в неописанное волнение всякий раз, когда предстоял по хозяйству денежный расход. Раза два в год он усчитывал себя, и ежели оказывался излишек, то супруги уезжали на короткое время в Москву (в «Совет»), где Севастьян Игнатьич вел переговоры с приказными, что-то «вынимал» и что-то «клал», но при этом вел свои операции в таком секрете, что никогда ни один сосед не пронюхал, что у Окóнцевых пахнет деньгами, и не попросил взаймы.

Это была идиллия, содержание которой не разнообразилось даже проявлениями так называемых патриархальных отношений. Соседи-помещики смеялись над неповрежденной годами страстностью счастливых супругов и сочиняли по этому поводу пикантные анекдоты; но Окóнцевы жили такою замкнутой жизнью, что никакое судаченье не доходило до них. Зато им довольно часто приходилось выслушивать реприманды по поводу слабого управления крепостными людьми. Время тогда было серьезное и предусмотрительно во всех частях согласованное. Человек представлялся чем-то вроде сатанина сосуда, который надлежало держать тщательно закупоренным, так как, при малейшей оплошности, сатана выскочит и начнет чертить. Но ежели таково было представление о человеке вообще, то по отношению к крепостному человеку оно являлось уже совсем непререкаемым. Окóнцевых предостерегали (преимущественно с точки зрения дурного примера); предсказывали, что они и сами раскаются, но будет поздно; и специально указывали на Макарку-идола, который от корму да от праздности, того гляди, с жиру лопнет. После подобных увещаний Савося нередко задумывался и прищуривал один глаз, как бы искушаемый вопросом: не вспрыснуть ли Макарку-идола, чтобы ходил веселее? Но Ариша замечала эту задумчивость и успокаивала мужа одним словом: «пустяки». Никогда даже колебаний по этому поводу ей на ум не входило.

— Детей нам бог не дал,— говорила она,— чего захочется, и без тиранства всего у нас вдоволь, а они на-тко что выдумали: людей ти́госить!

И жили они среди этой идиллии, забытые не только исправником, но даже становым приставом, жили счастливые, довольные, сытые... до самого дня «катастрофы».

Слухи о приготовлении к «катастрофе» дошли до них поздно. Сельский батюшка за третным жалованьем в город поехал и застал там большой съезд. А на постоялом дворе ему сказали, что дворяне съехались, потому что им дозволено насчет «воли» просить. Но Окóнцевы не вдруг поверили, а истолковали съезд дворян в том смысле, что, как прежде бывало, «пошушукаются, пошушукаются дворняжки, да и разъедутся».

Однако ж месяца через два пришла из губернии печатная разграфленная бумага на имя Арины Михайловны Окóнцевой, владелицы сельца Присыпкина с деревнями. Требовали статистику.

— Статистику требуют,— сказал Севастьян Игнатьич, прочитавши бумагу,— вот, прочти!

Ариша прочла и побледнела.

— Разорвать, что ли? — предложил он нерешительно.

— Разорви! — ответила она, не задумавшись.

Это было первое открытое неповиновение властям, которое Севастьян Игнатьич позволил себе в течение всей своей смирной жизни. Разорвавши бумагу и предавши клочки сожжению, он, по-видимому, успокоился; но спокойствие это было только наружное. Ни он, ни Арина Михайловна уже *не могли забыть*. Домашний обиход не изменился, но в сердца заполз страх будущего. «Отнимут! — неотступно мелькало в уме Севастьяна Игнатьича, и ему казалось, что стены господского дома, в котором росла и провела жизнь его Ариша (имение было ее, а он только свою красоту в дом принес), начинают колебаться. «Отнимут!» — шептала, с своей стороны, и Арина Михайловна и автоматически вперяла взор в Платонидушку, словно думая: «Вот она, эта самая птица... вот она, сейчас полетит!»

Так и не написал Савося статистики.

— Никакой я бумаги не получал! врете вы! — малодушно отпирался он, когда становой пристав напоминал ему о скорейшем ответе.

— Вам же хуже будет, Севастьян Игнатьич! — уговаривал его становой,— теперича в губернии господа собрались; стараются, как бы для господ помещиков получше сделать,— ну, и надобно, значит, всё по сущей правде показать. Земля, мол, чернозем, луга — человека в траве не видать, а опричь того, тáльки, грибы, куры, бараны — покорно прошу вознаградить!

— А они вместо награжденья-то обложением пожалуют...

— Помилуйте! каким же манером?

— Да без всякого манера — так. Коли у вас чернозем, скажут, так пожалуйте по рублику серебрецом с десятинки! да с лугов, да с талек, да с кур... Да еще за фальшь, за то, что ты глину за чернозем показал... пожалуйте!

Тем не менее, несмотря на то, что многие Севастьяны Игнатьичи статистики не доставили, дело освобождения состоялось. Господа Окóнцевы собственными глазами увидели, как однажды утром потянулся мимо усадьбы народ в ближайшее село к обедне и часа через три-четыре воротился назад. А после обеда Платонидушка доложила барыне, что на посаде мужички водку пили.

— Теперь будут пить — не беспокойся! теперь... будут! — решила Арина Михайловна, но без гнева, а скорее в тоне пророчества, который она с этих пор и усвоила себе навсегда.

Обстоятельства, в которых очутились Окóнцевы, были тем более затруднительны, что вплоть до самого осуществления эмансипационного дела и муж, и жена были уверены, что оно уничтожится измором. Поэтому никаких бумаг они не принимали, и даже когда становой *оставил* на столе в конверте печатный экземпляр «Положения», то и его велели подальше убрать. Тем не менее факт совершился, и надобно было жить....

Можно ли приказывать или нельзя? как поступать с кушаньем, со стиркой белья, с топкой печей, с уборкою комнат? И поступать не когда-нибудь, в более или менее отдаленном будущем, а именно сегодня, сейчас?

Как ни странны были эти вопросы, но они первые — или, лучше сказать, они одни — пришли на ум. Допустим, что сегодняшний обед еще вчера был заказан,— ну, с этим еще как-нибудь можно... ну, рыбки солененькой, рыжичков... Но завтрашний обед? что такое этот завтрашний обед и вообще все завтрашнее — утопия это или достоверность?

Для Севастьяна Игнатьича перемена была не столько чувствительна, потому что он и сегодня, как вчера, шагал взад и вперед по анфиладе, не принимая участия в распоряжениях; но Арина Михайловна положительно почувствовала себя как в каменном мешке. *Вчера* она мелькала по дому, расспрашивая, приказывая, объясняя; *сегодня* — внезапно спуталась и оторопела. Точно она куда-то шла, хотела что-то нужное сделать, и вдруг забыла. Остановилась, смотрит во все глаза и даже не усиливается припомнить.

В доме все стихло; господа — уклонялись, дворовые — выжидали. Что-то существенное перестало действовать в этом механизме, какой-то скрытый рычаг, который приводил его в движение. Так бывает, когда в доме умер главный человек, и никто еще не определил себе с ясностью, как и что нужно делать, чтобы опять все мало-мальски наладилось. Сперва нужно покойника похоронить, а потом уж и об «делах» думать.

Недели через две к барскому дому подъехали троечные сани, и из них выскочил молодой человек. Он надел в передней цепь на шею, вошел в комнаты и отрекомендовался участковым мировым посредником.

— Так-с,— ответил Севастьян Игнатьич и до того сконфузился, что даже не подал молодому человеку руки и не предложил сесть.

Молодой человек с минуту поколебался и сел без приглашения.

— Я приехал к вам,— начал он,— чтобы предложить, не пожелает ли ваша супруга приступить к составлению уставной грамоты?

— Не желаем-с.

Молодой человек, услышав этот неожиданно-ясный ответ, окинул Савосю удивленным взором.

— То есть, в каком смысле? — недоумевал он.

— Не «в смысле», а просто не желаем-с.

— То есть, покуда или вообще?

— Не «покуда» и не «вообще-с»... не желаем-с!

— Но в таком случае я вынужден буду лично выполнить за вашу супругу эту обязанность.

— Это... смотря-с...

— Как это... «смотря»?

— Смотря-с... только и всего.

— В таком случае... до приятного свидания!

— Но мы... не желаем-с!

Молодой человек шаркнул ножкой и ретировался, а Севастьян Игнатьич проводил его до передней и, покуда он укутывался, раз десять повторил одну и ту же фразу:

— Но мы... не желаем-с!

Молодой человек был в великом смущении. Как усердный малый, он успел уж почти весь участок объехать, но еще нигде подобного приема не встретил. В ином месте его встречали общим подколодным шипением, в котором принимали участие даже малолетки; в другом — неслись к нему навстречу с распростертыми объятиями и с возгласом: «Приветствуем вас, благую весть приносящего!» Но, во всяком случае, везде с ним настоящий разговор разговаривали и везде предлагали вместе хлеба-соли откушать. И вот, наконец, выискался дом, где ему только какие-то рыцарские слова говорят. «Не желаем-с!» Ах, черт побери, они «не желают»! И не желайте, любезнейшие! и никто вас не принуждает! Только помните...

Однако вот будет потеха, ежели весь уезд, по примеру Окóнцевых, вместо исполнения благих предначертаний начнет рыцарские слова говорить?!

А Севастьян Игнатьич между тем тотчас по отъезде посредника кликнул Аришу, и затем с час они, обнявшись, ходили по зале, о чем-то по секрету совещаясь. После обеда Савося, спустивши предварительно в окнах шторы, заперся в кабинете, вынул из потайного ящика ломбардные билеты, несколько раз прикинул их на счетах, потом сосчитал наличность, и к вечернему чаю его работа была готова. Оказалось,

что маменькино приданое, вместе с наросшими па него процентами и с ежегодными присовокуплениями из доходов, представляло круглую цифру в шестьдесят тысяч рублей. Результат этот, по-видимому, настолько удовлетворил супругов, что весь остальной вечер они были веселы.

На другой день начались сборы. Укладывали всё вообще, кроме громоздких вещей. Ящики с не особенно нужными вещами запирали в кладовую, а что понужнее — готовилось к отправке. Очевидно, господа торопились воспользоваться последним зимним путем; но куда и надолго ли они собрались — никто не знал. На другой день благовещенья, рано утром, господа съездили на могилки к Аришиным родителям, и когда дорожный возок был окончательно уложен и снаряжен, созвали в зал дворовых людей и простились.

— Еду от вас. Не могу! — сказал Севастьян Игнатьич.— За службу — благодарю. Хоть вы и не мои были, а барынины, а все-таки, по ее великой ко мне милости (он сделал низкий поклон в сторону Арины Михайловны... «Ах, что ты, Савося!»), я за вами много лет покоен был. И ежели кто от меня обиду видел — простите!

— И меня простите! — прибавила Арина Михайловна, низко кланяясь.

— Провизию, которая в погребах осталась,— продолжал Севастьян Игнатьич,— барыня вам жалует. А о том, как вам быть до решенья судьбы, спрашивайте у вышнего начальства, а мы тому не причинны. Живите!

В тот же день мировой посредник получил от присыпкинской барыни бумагу следующего содержания:

«Господину мировому посреднику.

Не желая быть свидетелями оного происшествия, каковое, кроме разорения, не иначе, как к общей гибели почитаем, выезжаем мы с мужем из имения сельца Присыпкина и возлагаем на вас. И в случае будет выдана за сие от вышнего начальства награда, а равно и насчет угодьев, как-то: лесов, пустошей, рыбных ловлей и прочего, то просим таковое выслать по жительству.

Жена корнета Ирина Окóнцева».

А внизу была особая приписка рукою Арины Михайловны: «Я папеньку покойного вашего знала и уверена, что он сего бы не допустил».

Однако ж искусственное возбуждение, поддерживавшееся новостью факта и дорожными сборами, упало с первых же шагов по вступлении супругов в область вольной жизни.

Арина Михайловна, впрочем, выдерживала постигшую ее невзгоду довольно стойко, но Севастьян Игнатьич сразу раскис. Вдобавок ехать пришлось по пути, уже почти разрушенному, и на целые сутки дольше обыкновенного. На четвертый день приехали в Москву и остановились на постоялом дворе у Сухаревой. Тотчас же по приезде Севастьян Игнатьич стал жаловаться, что у него вздохи точно клещами зажало, но за лекарем не послал: думал, что и без лекаря от липового цвета пройдет. А через неделю Арину Михайловну постигло великое горе, о котором она и в мыслях никогда не держала: Севастьян Игнатьич скончался.

Сверх ожидания, Арина Михайловна перенесла свою потерю довольно мужественно. Но в Присыпкино не воротилась, а устроилась навсегда в Москве, и с этой минуты окончательно закоснела. Не озлобилась, а именно закоснела, то есть начала все невзгоды, не только личные, но и государственные, как-то: войны, неурожаи, эпидемии, хищения, недоимки и проч., неизменно приурочивать к «катастрофе». Проворуется ли кто — это оттуда идет; произойдет ли грандиозное убийство — это оттуда идет; поразит ли целую губернию неурожай — это оттуда идет; случится ли на железной дороге крушенье поезда — это оттуда идет. Гессенская муха, кузька, новые суды, суслики, расхищение власти, свобода книгопечатания, ослабление религиозного чувства — всё оттуда. Она не злорадствовала, не ехидствовала, а только любила прорицать: «Не то еще будет! вот погодите!» Казалось, у нее был наготове целый каталог бедствий, и она цитировала то одно, то другое, автоматически приговаривая: «Это еще цветочки, а вот ужо́ ягодки будут!»

Между тем личное ее положение, в сущности, было совсем не дурное. В ломбарде у нее лежал приличный капитал, который она с выгодою поместила в пятипроцентных банковых билетах. И дом для жительства своего, в одной из Мещанских, она задешево приобрела, и устроилась на новоселье как нельзя лучше. Выписала из Присыпкина все барское добро, не исключая и мебели, составила себе небольшой штат из старой присыпкинской дворни, села у окошка в то самое вольтеровское кресло, в котором некогда покойный Севастьян Игнатьич после обеда дремал, и начала шерстяной шарф вязать. Провизия в то время была еще не особенно дорога, денег было достаточно; дрова, правда, кусались — ну, да погодите! ужо́ то ли еще будет! После деревенской хозяйственной сутолоки она точно на дно реки опустилась. Никому до нее дела нет, и ей ни до кого и ни до чего дела нет. Скучновато, но зато покойно. Сидит она у окошка, и все ей на улице видно. Кто ни пройдет,

ни проедет, она ко всем постепенно присматривалась. Вот это «здешний» идет — аблакат; вот и это «здешний» же — он «не при занятиях» состоит, но по имени его звать Иваном Иванычем. А вот это «чужой» прошел — куда это он лыжи навострил? Ишь, спешит, точно в аптеку торопится. А вот кто-то у Семен Семеныча звонится. Звонится, звонится, не отпирают бедному, а дождик так на него и льет. Наконец, однако, отперли. Выглянула в дверь баба, злая-презлая! Она, должно быть, блох у себя в белье ловила, а ей посетитель помешал — ах, пропасти на вас, шатунов, нет!

— Дома Семен Семеныч?

— Ни свет, ни заря ушел. Его у нас одна заря выгонит, а другая вгонит!

Дверь с азартом захлопывается, и посетитель задумчиво вперяет взоры в глубь Четвертой Мещанской, как бы испытуя: где ты, Семен Семеныч? ау! — А Семен Семеныч, с «Гамлетом» в руках, с Гамлетом в сердце и с Гамлетом в голове (есть в Москве чудаки, которые до сих пор Мочалова да Цынского забыть не могут!), тут же, неподалечку, перед Сухаревой башней в восторженном оцепенении стоит и мысленно разрешает вопрос: кто выше — Шекспир или Сухарева башня?

Словом сказать, всю подноготную Арина Михайловна знала и отлично к ней прижилась. А вдобавок, спустя немного после «катастрофы», и еще деньги к ней привалили. Мировой посредник не попомнил Савосинова невежества и добросовестно занялся имением Арины Михайловны. И уставную грамоту написал, и на выкуп крестьян выпустил, и занадельную землю по частям распродал, так что у Ариши очутился новый капитал тысяч в шестьдесят. Жить бы да поживать при таком капитале, а она вместо того заладила: «Погодите! не то еще будет! вот увидите!»

И точно: нужно было сквозь особенные очки смотреть, чтобы не видеть, что светопреставление уж на носу. А так как Арина Михайловна без очков свой шерстяной шарф вязала, то, разумеется, она видела.

Началось с того, что волю вину объявили. И с боков, и напротив, и наискось стены домов расцветились вывесками «распивочно и навынос». Все Мещанские наполнились стоном. Одно хлопанье кабацкими дверьми, одно визжание кабацких блоков способны были расстроить самые крепкие нервы. Арина Михайловна не могла привыкнуть к этим звукам; беспрерывно она вздрагивала, крестилась и, глядя в окно, прорицала:

— Ишь пьяница! ишь поперек улицы, словно на печи, на снегу разлегся! Погодите, то ли еще будет! Сотнями мертвые тела по улицам подымать будут!

Потом явились новые суды, и застонали Иверские ворота, заскрежетал Страстной бульвар... Вой подьячих был так пронзителен, что, вместе с эманациями Охотного ряда, явственно доносился до самой Крестовской заставы. Опять пришлось Арине Михайловне вздрагивать и прорицать.

— И за что только старичков обидели? — жалела она подьячих,— разве за то, что дешевенькие они были, именно разве только за это! Ах, да то ли еще будет! погодите, и не то увидим ужó!

Наконец подоспело и земство... Тут уж сам квартальный сказал: «Ну, теперь, брат, капут!» А Арина Михайловна сначала было не поняла — думала, что дворянам будут жалованье раздавать, но потом вдруг все сделалось для нее ясно.

— Пойдут теперь во все стороны тащить! — прорицала она.— Вот помянете мое слово: оглянуться не успеем, как всё до последней нитки растащат!» Останется один пшик!

Даже привольное житие в собственном доме не удовлетворяло ее; даже капитал не примирял с веяниями нового жизненного уклада.

— На что мне капитал? — говорила она,— вот кабы ангел мой был жив — тогда, действительно... Еще лукавый с этими деньгами попутает...

Увы! она имела некоторое основание поминать о лукавом. Во-первых, Иван Иваныч (тот самый, который «не при занятиях» состоял), как только узнал, что она выкупную ссуду получила, так сейчас же к ней свах прислал. Во-вторых, какой-то молодой приказный, из самого квартала, мимо ее дома ходить повадился. Ходит да посвистывает, и как только поравняется с окном, около которого она сидит, так сейчас же руку к сердцу прижмет и глазами взыграет... Насилу она от него отделалась! Помощнику квартального трехрублевенькую пожертвовала, так он раза четыре его, козла несытого, в кутузку сажал и только по пятому разу смирил. И, в-третьих, ей самой, несмотря на то, что со смерти Савоси прошло уж пять лет, беспрестанно чудилось, что ее «ангел», словно живой, выглядывает в дверь и ищет ее. «Ариша! ты, что ли?..»

А вдруг это выглядывает не Савося... а «лукавый»?

Нельзя не опасаться «лукавого». Нельзя, живучи в Четвертой Мещанской, не ожидать с часу на час появления его. Москва — такой большой город, и притом до того простодушно затеянный, что в нем только и есть два сорта людей: лукавые да простофили, из коих первые хайлó разевают, а вторые в разинутое хайлó сами лезут. Лукавые больше в центре города ютятся: простофили — по окраинам жмутся, а в том числе и во всех четырех Мещанских. От времени до времени, однако ж,

«лукавые» делают на окраины набеги, и тогда простофили, как куры, только крыльями хлопают, но прекословить не пробуют.

На этот раз «лукавый» объявился в образе молодого, черноглазого брюнета, Тимофея Удалого.

В одно прекрасное утро он явился к Арине Михайловне, подошел к ручке, назвал ее тетенькой, а себя сыном кузины Маши.

— Какой же это Маши?.. словно я не помню! — смутилась Арина Михайловна,— была у меня троюродная сестра... как будто Даша... так та, кажется, за Недотыкина вышла.

— За Недотыкина — это сначала; а потом за корнета Мстислава Удалого. А теперь папенька с маменькой скончались-с.

— Не знаю; помнится, была не Маша, а Даша, а впрочем... Как же ты обо мне, мой друг, узнал?

— Иду по улице и вижу: дом госпожи Окóнцевой. Тут все и открылось.

— Ну, что ж... коли племянник — видно, так богу угодно. Садись, гость будешь.

Арина Михайловна совсем растерялась: до такой степени она отвыкла от людского общества. Думала одна-одинешенька век скоротать, а тут вот родственник проявился — как его из дому выгонишь? И чужих сирот грешно не приголубить, а тем паче троюродных. А вдобавок и Тимофей не полез сразу нахалом, а повел дело умненько. Посидел недолго и на вопрос тетеньки, при какой он службе состоит, объяснил, что он просто «молодой человек» — только и всего.

— Это что же за звание такое: «молодой человек»? поди, чай, присутствие какое-нибудь есть?

— Комитет-с,— скромно объяснил Удалой,— дама-старушка председательствует, а прочие старушки присутствуют-с. А я при них — молодой человек-с!

На этом свидание и кончилось. В сущности, ничего угрожающего не произошло, но, как на грех, у Арины Михайловны сердце с чего-то заныло. Глаза у него окаянные, у этого Тимофея,— это она сразу заметила. Сам весь почтительный, а глаза — большущие, большущие! — так вот и подманивают, так ядом и поливают! Как взглянет он этакими-то глазищами, да ежели тут оплошать...

И пообедала она в этот день без аппетита, и вечер скучно провела; а укладываясь на ночь в постель, прямо сказала Платонидушке:

— Вот и родственничек проявился! погоди! ужó и не то еще будет!

И затем целую ночь проворочалась без сна, и всё думала:

«Возьмет он меня, как поморенную курицу, ощиплет, да и съест, как ему вздумается!»

Время, однако ж, шло, а Удалой продолжал вести себя благородно. Приходил только по воскресеньям, но не к обеду, а к тому времени, как тетенька от обедни воротится и за самовар сядет. Выпьет чашечку и он, посидит у стенки, расскажет, в каком году когда Москва-река вскрылась или что прежде к масленой балаганы под Новинским строили, а нынче их на Девичье Поле перевели,— и уйдет.

Тем не менее Арине Михайловне почему-то казалось, что он это только зубы ей заговаривает, а исподтишка сеть на ее погибель раскидывает. Она и сама не могла себе уяснить причину этих опасений, но убеждение, что в Тимофее кроется нечто угрожающее, с каждым днем зрело в ней больше и больше. И откуда он выскочил? Сидела она смирнехонько, ни о чем не думала, а он шел, распостылый, мимо, да и пришел. И выгнать его нельзя, потому он кузины Маши сынок... Маша или Даша... ах, прах тебя побери! И должность за собой объявил: «при старушках... молодой человек!» — вот какая должность! Не быть тут добру, не быть! недаром сразу сердце зачуяло! «При старушках»... «кузина Маша»... Вытаращит глазищи да дурманом ей душу и поливает! А она сидит и ждет... дура, ах, дура! Вот увидите, не то еще будет!

Встревоженная предчувствиями, она с любовью обращалась к недавнему прошлому, когда она жила в Присыпкине, и «ангел» ее был жив, и никаких сетей они не боялись, а жили, жили, жили... И продолжали бы жить и поднесь, кабы не оно... ах, кабы не это «злое, ужасное дело»! И «ангел» ее был бы жив, и она бы за ним, как за каменной стеной, жила. А теперь куда она одна-одинешенька поспела! Куда ни обернись, везде словно капканов наставили. В ряды за покупками пойдешь — пожалуйте к мировому! в церковь помолиться пойдешь — пожалуйте к квартал! Намеднись вышла этак-то соседка Марья Ивановна погулять, а домой только на третий день воротилась. Водили ее по мытарствам, водили и по судам, и по участкам, и по кварталам, наконец уж сам обер-полицийместер взошел: «В чем же вы, сударыня, виноваты?»

— Никак нынче с жизнью не сообразишь,— жаловалась она сама себе,— законов много, да иное, по старости, в забвенье пришло, а в другом, по новости, еще смаку не нашли. И правители есть — вон он, правитель, тротуар гранит, ишь, каблучками постукивает! — да словно они в отлучке, и воротятся ли, нет ли — неизвестно. И деньги есть, только чьи они — тоже неизвестно. Ни́-то мои, ни́-то чужие, и в какой силе — тоже не знаю. Вчера он был рубль, а сегодня, сказывают, он

уж не рубль, а полтинник. Каким манером? почему? Вон мать Митрофания деньги-то присовокупляла, присовокупляла, а ее за это по Владимирке...

Удалой заметил эту наклонность ее к прорицаниям и поддерживал ее в этом настроении. Как ни придет, непременно какую-нибудь судебную проказу расскажет, а иногда и соединенную судебно-земскую.

— В баламутовском земстве господин управский председатель сумму присвоил, а суд его, милая тетенька, оправдал-с.

— Это, мой друг, чтоб и на предбудущее время воровали. И пусть воруют! воруйте, батюшка, воруйте! Нынче по этой части свободно, потому везде голь да шмоль завелась — как тут деньгам уцелеть! Вот хоть бы насчет Присыпкина — сколько лет и я им владела, и маменька владела, и бабенька, и прочие которые... И все говорили: мое! А теперь спроси, чье оно? был дом, был сад, скотный двор был, погреба — чьи теперь они? где? Платонидушка летось тетку в Присыпкине навестить ходила: искали мы, искали, говорит, того места, где барский дом стоял, так и не нашли! Ни нам, ни вам — словно в воздухе растаял! Так вот, мой друг, с имением, с настоящим имением, с недвижимым — какое чудо случилось! А деньги ему что — тьфу!

Или:

— В Петербурге, тетенька, один чиновник начальнику нагрубил, а суд его оправдал-с.

— И поделом начальнику. Не ходи в суды, сам распорядись. А ежели сам распорядиться не умеешь, предоставь другим, а себя в сторонке держи. Вот я: сколько времени за ворота не выхожу — а почему — потому знаю, что только потоль я и жива. Выдь я на минуту — сейчас меня окружат. Пойдут во все стороны теребить, один сюда, другой туда — смотришь, ан суд да дело! Они-то правы из суда вышли, а я, простофиля, в дурах осталась. Нет, нынче только держись... как раз!

Но больше всего заинтересовал Арину Михайловну процесс червонных валетов. В подробности этого дела она вслушивалась с захватывающим интересом, а смелые подвиги главного валета положительно приводили ее в восторг.

— Так-таки до сих пор его и не нашли? — спрашивала она в волнении.

— Так и не нашли-с. И представьте себе, тетенька, какие он штуки выкидывает! Его по всей Москве ищут, а он в своем квартале по вольному найму письмоводством занимается. Однажды даже к самому председателю письмо написал: я, говорит, завтра самолично в суд явлюсь. Ну, тот и ждет, думает,

что с повинной. А он придти-то пришел, да в зале между публикой все время и просидел!

— Вот так ловко!

— Его, тетенька, в Бакастовом трактире ищут, а он в «Крыму» с арфистками отличается. Они — в «Крым», а он к цыганам в «Грузины» закатился! Наследит им следов — ищи да свищи!

— Да, нынче этим ловкачам... только им одним и житье!

— Нынче, тетенька, ежели кто с дарованием, так даже очень хорошо можно прожить. Главное дело, выдумку надо в запасе иметь, чтобы никто такой выдумки не ожидал. Сегодня — он купец, завтра — генерал, послезавтра — архиерей... Квартальные-то — «ах-ах-ах, никак, это он самый и есть!» — а его уж и след простыл!

— Так, так, так. «Он» по воле гуляет, а простофиля за него в кутузке сидит. Это — так! только этого и можно, по нынешнему времени, ожидать. Поди, он и сию минуту где-нибудь финты-фанты выкидывает.

— Теперь, милая тетенька, и следы его потеряли. Может быть, в земстве где-нибудь скрывается-с.

— Ха-ха! именно так! Именно, именно в земстве. Суды ищут — земство покроет; земство ищет — суды покроют... так, так, так!

В этот день Арина Михайловна даже обедать его оставила, а он и после обеда осмелился посидеть.

— Хотите, тетенька, я вас в ералаш с двумя болванами научу?

И она согласилась. Сперва даром играли, а потом по ореху за пуан, и он ей сразу целый фунт проиграл. Наконец, в десятом часу, когда он прощаться стал, Арина Михайловна посмотрела на него пристальнее обыкновенного, и не удержалась.

— Что́ это у тебя глаза-то... словно волшебные! — сказала она не то шуткой не то конфузясь,— ишь ведь ты как глядишь! нехорошо это, мой друг, дурно! Ежели и есть в тебе что-нибудь этакое, так ты должен стараться себя победить!

— Это у меня, тетенька, от природы-с. У папеньки такие глаза были и ко мне от него перешли. Ах, тетенька, ведь я сирота!

Он произнес последние слова так жалобно и при этом так крепко прижал губы к ее руке, что она не могла его не пожалеть. Ей было с небольшим сорок лет, и сердце ее еще не зачерствело. Напротив того, от спокойной жизни она даже расцвела. Мужчина в сорок лет, действительно, вступает в период холодного рассуждения и осмотрительности, а женщина в эту пору именно и становится неосмотрительною. Покуда есть у нее

молодость да красота — она кокетством занимается; а чуть дело под гору пошло — у нее и ушки на макушке. Именно это самое случилось и с Ариной Михайловной. По уходе Удалого все сомнения относительно его личности окончательно рассеялись. Она всё припомнила. Действительно, у нее была кузина, не Даша, а Маша, которая сначала за Недотыкина вышла, а потом овдовела и вышла... да, именно, за Удалого и вышла! И папенька-покойник сколько раз, бывало, говаривал: где-то теперь наша «удалая» хвосты треплет... а это она самая и была! Да и о Мстиславе Удалом она где-то слыхала... когда, бишь?.. в девицах еще, должно быть, когда была, а только наверное слышала... Стало быть, Тимофей-то и взаправду приходится ей племянником.

Ах, эти сироты! ни отца у него, ни матери! Вон и сертучонко на нем... ничего еще сертучок, а все-таки... А приодень-ка его да пригладь — то ли из него выйдет!

Я не буду описывать здесь подробности последовавшего затем сближения, так как не мастер в воспроизведении любовных эпопей, да и к делу они в настоящем рассказе не относятся. Но не могу не отметить, что в короткое время Арина Михайловна совсем растерялась. Она настолько подчинилась охватившей ее страсти, что даже о внутренней политике позабыла и перестала прорицать. Пускай суды оправдывают! пускай расхищают власть! пускай из земских сундуков исчезают мужицкие денежки! пускай железнодорожные поезды друг друга в лоб бьют! — дела ей ни до чего нет. Вся она, всем своим существом, неслась к ненаглядному «сироте», который случайно шел мимо, да и пришел. Пришел и напоил ее жизнь теплом, светом, счастьем! Даже на деньги она получила совсем новый взгляд, и ежели не говорила прямо, что они на то и даны, чтоб их тратить, то потому только, что она просто-напросто тратила, не размышляя, в силу каких логических построений она так поступала.

С своей стороны, Удалой был весьма признателен. Когда она подарила ему сюрпризом щегольскую сюртучную пару, то он с таким увлечением бросился целовать ее руки, что она, вся взволнованная, автоматически твердила:

— Ну вот! ну вот! вот он как радуется... ах, бедный ты мой!

На что он скромно и жалобно ответил:

— Ах, тетенька! ведь я — сирота.

За первым подарком последовали другие. Прекраснейшая скунсовая шуба, потом шапка-боярка, потом часы, а также и деньги. Он не просил денег — ужасно он был на этот счет деликатен,— но она настояла. Она понимала, что молодому человеку нельзя без денег. У него есть товарищи, друзья, с кото-

рым ему и повеселиться хочется, и покутить,— ну, вот тебе, мой друг, пятирублевенькая, повеселись! Молодое естественно к молодому льнет — это не нами заведено, не нами и кончится. Так-то и он, сироточка. С нею — какая она ему пара! — посидит, поскучает, вроде как жертву ей принесет, а на уме у него все-таки, как бы в театр, да на девушек посмотреть, да с товарищами песенки попеть! А на веселье-то деньги нужны — где ему, сироте, взять? А ей для кого деньги беречь? Детей у нее нет, близких родственников — тоже; к нему же, сиротке троюродному, все со временем перейдет!

Словом сказать, опять в жизни Арины Михайловны началась идиллия; но на этот раз в подлинность ее верила только она одна. И Платонидушка, и старый Савосин камердинер, Евсеич, инстинктивно возненавидели Удалого и не выражали ему своего пренебрежения только потому, что барыня при первых же в этом смысле попытках внушила им, что она никого служить себе не вынуждает, что ежели кто ею недоволен, то на место недовольных не трудно сыскать, других, довольных...

Однажды, однако ж, Тимоня (она начала звать его уменьшительным именем), вопреки своей обычной деликатности, вдруг совершенно неожиданно озадачил ее вопросом:

— А что, тетенька, у вас много денег?

Услышавши эти слова, она ужасно смутилась. Как будто что-то в этом роде уже не раз мелькало у нее в голове, и она до смерти этого боялась. Не потому, чтоб она жалела денег,— она даже, что́ есть на свете расчетливость, позабыла,— а потому, что ей было *стыдно*. И вот наконец оно пришло. «Вот оно!» — подумалось ей как-то само собою, и она почти со страхом его спросила:

— На что тебе?

— Так. Вы, тетенька,— женщина; с деньгами обращались мало. Получаете проценты с капитала, а тот ли это процент, и в каком смысле его следует понимать — это вам неизвестно. А процент-то, он разный. Одно дело — пять копеек с рубля, другое — десять и двадцать, а наконец, и капитал на капитал.

В голосе которым он высказал эту финансовую теорию, не слышалось ни нетерпения, ни особенной алчности, но при слове «процент» у Арины Михайловны словно голову туманом застлало. Она сидела, опершись подбородком на одну руку, а пальцами другой руки перебирала но столу. И молчала, точно даже забыла, что нужно что-нибудь ответить.

— Вы, тетенька, гневаетесь? — спросил он ее с ласковым укором.

— Ах, нет! что ты! что ты! Это я так... Об чем бишь ты спрашивал? об деньгах?

— Так, глупость в голову пришла... Оставимте этот разговор! забудьте, тетенька, прошу вас, забудьте!

— Что ж тут такого — отчего не поговорить? Поговорим! Ну, ну, хорошо, не сердись! Коли не хочешь говорить, так и не будем... Да отстань, беспутный... не стану! Бог с ними, с деньгами — только грех от них! Ты бы лучше к товарищам пошел, повеселился бы... хочется? а?

— Позвольте, тетенька!

— И прекрасно. Вот тебе красненькая, сделай себе удовольствие! Ах, сироточка ты мой, сироточка! Тетеньку свою пожалел? а? А подумал ли ты, мой друг, что если бы все-то капитал на капитал ..

— Оставьте, тетенька! прошу вас, оставьте! Простите, не буду! Простили? — ну вот, и паинька! Можно ручку поцеловать?

Весь этот вечер Арина Михайловна была взволнована. В мыслях ее носился хаос, но она чутьем угадывала, что готовится что-то чрезвычайное. И вот опять, после недавних дней забвения, перед ней воскресло прошлое, а вместе с ним и та причина всех причин, которая разбила это прошлое. «Всё оттуда, всё оно, это злое, ужасное дело!» — твердила она себе, ворочаясь с боку на бок в тишине бессонной ночи. Кабы не оно, жила бы она теперь в Присыпкине, и Савося при ней, и всего было бы у них вдоволь! И индюшечка своя, и курочка своя, и картофельцу, и морковки... Уж Савося денег не растранжирил бы! он за десятирублевенькой-то сто раз бы в ящик сходил, прежде чем расстаться с нею! А она — на-тко! каждый день! каждый день! То пятирублевенькую, то десятирублевенькую... вынь да положь! И куда только он, распостылый, деньги изводит... не иначе, как с мамзелями проклажается! А к ней придет: тетенька! позвольте ручку поцеловать... нá, мой друг! А за обедом соусá до бламанжеи... а чтó провизия-то, по нынешнему времени, стóит? И что такое случилось? каким манером? куда она, куда? Конец-то, конец-то будет ли? Ах, Савося!

Но Савося не приходил, а камень между тем был брошен, и Арина Михайловна убедилась, что до тех пор она не успокоится, покуда не вытащит его.

— Что ты такое насчет процентов вчера говорил? — начала она на другой день уже сама.

— Забудьте, милая тетенька! прошу вас, забудьте!

— Зачем забывать! коли что выгодное предвидится, так мне и самой любо! Я вот теперь пять копеек со своих билетов получаю... мало, что ли? говори!

— Мало, тетенька, так мало... даже обидно! Уж десять-то процентов — это вам всякий с удовольствием даст!

— А как же с билетами-то с моими... себе, что ли, он их возьмет, или так?

— Извините, тетенька, я вас не понимаю.

— То-то вот: не понимаешь, а судишь! Опричь, что ли, он мне десять процентиков отсчитает, а билеты само собой, или уж с билетцами с моими распроститься придется... ау, голубчики!

— Он, тетенька, билеты на деньги переведет да деньгами, по окончании, и рассчитается. А кроме того, проценты.

— А ежели он билеты-то возьмет да и с ними и ухнет?

— Помилуйте, а обеспечение? Дом, например, или имение... Да позвольте, я к вам Фому Фомича приведу: он для вас это дело кругом пальца обвертит.

Привели Фому Фомича. Перед Ариной Михайловной предстал седенький, но еще бодрый старичок, в синем сюртуке старого фасона и в чистой коленкоровой манишке. В этот день он выбрился, вымыл лицо мылом, волоса помадой вымазал, сапоги со скрипом надел, точно к причастию собрался. Брови у него были густые и стояли дыбом; из продолговатых ноздрей лез волос; на щеках и на носу запекся фиолетовый румянец. Вел он себя солидно, и когда Арина Михайловна попросила его сесть, то сначала сказал: «Постою-с», а потом сел. Но когда, во время беседы, собеседница, хотя и невзначай, возвышала голос, то он, как бы под влиянием страха, привставал. Говорил ровным и приятным тенорком; когда сморкался, то, в знак почтения, отвертывался в сторону, а когда на колокольне раздавался звон — хотя бы это был бой часов — творил крестное знамение. Сначала он рассказал, что у жены его двадцать лет тому назад ноги отнялись — так и до сих пор она на кровати без движенья лежит; что родители у него были дмитровские мещане, а он с течением времени в Москву переписался; что у него двое детей: сын да дочь; сына он, за непочтение, проклял, а дочь за хорошим человеком замужем, и теперь они рыбную ловлю в Хапиловском пруде снимают, и, слава богу, сыты. Затем повел речь о купцах и сделал общее замечание, что у них в настоящее время от прежнего благосостояния остались только жены толстые, семьи большие, свои лошади и злые собаки при домах; но денег уж нет. Поэтому в Москве теперь ничем не занимаются, только ищут. Кому не очень нужно, тот восемь копеек на рубль дает; ежели у кого нужда средственная, тот дает десять и двенадцать копеек; а ежели у кого зарез — не прогневайся, и все тридцать заплатит. Но не иначе, как под верное обеспечение. Таким манером оно и идет. Который сыщет — тот как будто на время поправится, а который не сыщет — баланец подводит.

— Так что, ежели у кого теперича свободный капитал есть,— говорил он,— тот хорошую пользу может получить. Только нужду надо рассматривать, а по ней и процент назначать. Вот у меня знакомый купец Трифонов, в Ножёвой линии торгует,— тому хоть и не нужно, а и он, для обороту течения, восемь процентов с радостью даст. Опять же другой есть купец, Сыров Карп Дементьич,— тому средственно деньги нужны, он десять — двенадцать копеек заплатит. А тут же, на углу, господин Фарафонтьев — этот и за двадцать пять копеек в ножки поклонится. Вот как, сударыня.

— Ну, двадцать-то пять уж грех! — посовестилась Арина Михайловна.

— Много нынче греха, сударыня. Ежели все-то сосчитать, так камня на камне в Москве не останется. Бывают, доложу вам, и такие дела: взбесится купеческий сын и зачнет, при жизни родителей, капиталы объявлять — ну, этот и рубль на рубль с удовольствием посулит. Только я вам, сударыня, на такие дела идти не советую. По-моему, лучше десять копеек на рубль получить, только чтобы верно!

Словом сказать, говорил резонно. С своей стороны, и Арина Михайловна внимательно выслушала предложения старичка, и даже не оставила их без возражения.

— Боюсь я,— сказала она,— не твердо нынче у нас. Законы хоть и есть, да сумнительные; ни́-то следует их исполнять, ни́-то не следует; правители есть, да словно в отлучке... Наменись у соседки двух куриц со двора свели — она в квартал, а приказные над ней же смеются. Не в то, вишь, место пришла. Ступай, говорят, к Калужской заставе... Ближнее место!

— А у нас обеспечение, сударыня, будет. В случае чего мы и запрещенье наложим. И насчет правителей вы напрасно беспокоитесь: у нас их даже в излишестве-с. Только вот в центру никак не могут попасть — это так! Не беспокойтесь, сударыня. У нас все будет по-благородному; как взял, так и отдай. А проценты — вперед-с!

Одним словом, «лукавый» одержал полную победу. Только одну сделку с совестью допустила Арина Михайловна: объявила не весь свой капитал, а тысяч сорок утаила. Фома Фомич повернул дело круто. На другой же день к Арине Михайловне явился будущий залогодатель, купец Воротилин, молодой мужчина, плотный, точно из древесной накипи выточенный, веселый, румяный, с русою бородой и с серыми глазами навыкате. И он девушек знает, и девушки его знают — по всей Дербеновке слава об нем гремит. Он объявил, что хотя деньги занимает единственно «для обороту течения», но десять копее-

чек заплатит с удовольствием; что дом, который будет служить обеспечением, чист как огурчик и, за всеми расходами, дает с ходу десять тысяч; что еще на днях Кон Коныч под этот дом ему сто тысяч предлагал, да он не взял, потому что предпочитает дело делать по-благородному. Затем Арину Михайловну начали по Москве возить и в один день окрутили. Сначала отслужили у Иверской молебен и поехали к Триумфальным воротам дом смотреть. Приехали, встали все вчетвером на тротуаре по другую сторону улицы,— видят: действительно стоит дом трехэтажный, каменный, белою краской выкрашен. Средний этаж под трактирным заведением, вверху — номера («ежели, примерно, у нас с вами, мадам, рандеву — так вот сюда с»,— фамильярно пояснил Воротилин, и Арина Михайловна хотя поморщилась, но смолчала: расстроить «дело» побоялась); внизу, по одну сторону ворот, «заведеньице», по другую — портерная; в одном подвале — прачки живут, в другом — ночлежников пускают; во дворе — все помещение снимают извозчики. Пошли и во двор; Арину Михайловну так и ошибло запахом навоза и трактирных помоев; но Воротилин и Фома Фомич с наслаждением вдыхали гнусные ароматы, которые так и валили из всех надворных отверстий этого дома.

— Деньги-то и завсегда так пахнут,— хвалился Воротилин,— а клопа здесь сколько! кажется, ежели весь собрать, так Москву-реку запрудить можно!

Мало этого: «для верности» («чтобы вам, мадам, без сумления было») дворника Антона кликнули; и дворник тоже удостоверил, что дом настоящий, московский, и квартирант в нем живет тоже настоящий, что хозяин хоть сколько угодно плату на него набавляй, все равно этому квартиранту деваться некуда.

Осмотревши дом, поехали на Плющиху, в переулок, к нотариусу. А там уж и закладная готова, и надпись внизу: «Я, нотариус Печенкин, в своем собственном присутствии», и т. д. Словом сказать, всё как следует.

— Теперь остается только вручить-с,— сказал господин Печенкин торжественно,— вы, Арина Михайловна, Спиридону Прохорычу денежки пожалуете, а Спиридон Прохорыч — закладную-с. Так и обменяетесь. А расходы — на счет залогодателя.

И тут Воротилин выказал себя веселым и податливым малым. Хотя Арина Михайловна привезла в уплату не деньги, а банковые билеты, но он за разницей не погнался, а принял билеты рубль за рубль, и проценты вперед полностью отдал.

— Убытку я тысячи две, барыня, через вас потерпел,— сказал он,— ну, да уж что с вами поделаешь! видно, в дру-

гом месте наживать надо. Только вот что: вспрыснуть нашу сделочку требуется,— это уж как угодно!

Но Арина Михайловна наотрез отказалась. Тогда Воротилин уж совсем нагло стал ее упрашивать — «хоть Тимофея Стиславича на сегодняшний день одолжить, а к завтрему мы вам его опять в полное ваше удовольствие во всей красоте предоставим». Арина Михайловна совсем заалелась и поспешила уехать домой.

Дома она вдруг почувствовала гнетущую пустоту. Как будто душу из нее вынули или такое надругательство сделали, что она ничего настоящим манером понять не может, а только чувствует, что ноги у нее подкашиваются. Несколько раз она запирала закладную в денежный шкапчик и опять ее оттуда вынимала, и всякий раз ее поражали слова: «Я, нотариус Печенкин, в собственном своем присутствии...» Что-то как будто неладно; словно насмешкой какой-то звучат эти странные слова... И не с кем ей посоветоваться, некому показать, не у кого спросить! А всё оно, всё это «злое, ужасное дело»! Кабы не «оно», сидела бы она теперь... Савося! ангел-хранитель! неужто ты так и попустишь! Ох, грешная, прегрешила! ох, прегрешила!

Никогда она не проводила такой мучительной ночи. Почти совсем глаз не смыкала и всё припоминала. Никакой у нее ни Даши, ни Маши не было. Была кузина Наташа Недотыкина, дяденьки Сатира Платоныча дочь, так и та умерла: муж искалечил. Вот о Мстиславе Удалом она точно что слышала... когда, бишь? — помнится, что еще в девках она в то время была, а впрочем, может, и от Севастьяна Игнатьича. Однако, может быть, и Маша... какая это Маша-кузина у нее была? Не смешал ли Тимоня? Не в Савосиной ли родне была кузина Маша? Ах, это — «злое, ужасное дело»! Понаделали каких-то нотариусов да какие-то «собственные свои присутствия» — ну, как тут не пропасть?! Как не погибнуть в этом омуте оголтелого, озлобленного хищничества, где всякий думает только о том, как бы ближнего своего заглотать?! Что ему счастье человеческое? Что ему человеческая жизнь? — тьфу! Ах, это «злое, ужасное дело» — вот оно к чему привело!

Полная этих разрозненных мыслей, она в невыразимой тоске вскакивала с постели и ходила взад и вперед по комнатам. Ходила-ходила, пока утомление снова не загоняло ее в постель. Но ежели ей и удавалось на короткое время забыться, то и во сне на нее нападал волк, впивался когтями в ее грудь и начинал грызть.

Утро встало холодное, мглистое. Во многих домах еще с огнями сидели, а двери у кабаков уж визжали. Арина Михай-

ловна села на обычном месте у окна и сквозь заиндевевшие стекла автоматически смотрела на темные силуэты прохожих, стремившихся по направлению к кабаку. Один, другой, третий — вон их сколько! Бессознательно она выпила чай и съела целую гривенную просвиру, потому что, не спавши ночь, была голодна. Затем, когда уж совсем рассвело, она начала ждать. Пробило девять, десять часов, а Удалого — нет как нет. Он, впрочем, и прежде никогда в эту пору не приходил, но ей почему-то казалось, что *сегодня* он *обязан* был прийти. Наконец, пробило и двенадцать.

Арина Михайловна не вытерпела — захватила закладную и поехала. Реакция произошла в ней так быстро, что она почти уж не сомневалась. Приехала к Триумфальным воротам, вошла в ворота «заложенного» дома и кликнула дворника Антона. Такого не оказалось.

— Как же это? вчера мы все вчетвером здесь были и с Антоном разговаривали! — добивалась она с какой-то горькой настойчивостью.

— Может, и разговаривали с Антоном, только дворника такого у нас нет.

«Вот оно!» — мелькнуло у нее в голове.

В переулке, на Плющихе, она даже дома, в котором вчера помещалась нотариальная контора, не могла признать. Все дома были на один манер, и ни на одном не было нотариальной вывески. Ей почудилось, что она в ад попала и бесы около нее кружатся. Вот Фома Фомич, вот Воротилин-купец, а вот и он... сам Тимоня! Ишь, распостылый, глазищи вытаращил! так петлю за петлей и закидывает!

«Как предсказала, так и сбылось! — подумалось ей,— взял ты меня, поморенную курицу, ощипал и как захотел, так и скушал!»

С Плющихи она поехала на Тверскую, уже к настоящему нотариусу, вынула закладную и показала:

— Вот я вчера совершила...— взгляните!

Нотариус чуть не прыснул со смеха, но взглянул на нее и воздержался.

— Надо к прокурору-с,— сказал он,— не медлите-с!

Однако она жаловаться прокурору не пожелала, а поехала к Иверской, вспомнив, как вчера она о счастливом «свершеньи» молилась. Тут она долгое время стояла, как потерянная, вперив глаза в образ и не молясь; но когда раздались слова канона: «потщися! погибаем!» — она вышла вперед и, вся дрожа, словно в лихорадке, произнесла:

— Владычица... видела?! Ты... Ты... Ты... видела?!

Наконец воротилась домой и с криком: «Все оно! все это

злое, ужасное дело!» — упала на постель и так мучительно зарыдала, что все домашние сбежались в соседнюю комнату и, бледные и оцепенелые, ждали окончания кризиса.

С следующего же дня жизнь Арины Михайловны пошла поновому. Она чувствовала, что весь воздух около нее пропитался срамом, что она сама вся с ног до головы срамная, срамная, срамная! И ежели она не убежала из этого срамного дома, то потому только, что бежать отсюда некуда. Но мысль о возможности жаловаться или хлопотать ни разу не представилась ее уму. Этакой срам, да еще нести его на суд — боже избави! Надо его погребсти, надо совсем забыть этот срамной угар, в котором она растеряла и ум, и стыд, и память о прошлых, когда-то счастливых днях!

Как женщина хозяйственная, она тотчас же сократила размеры своей жизни, сообразно с теми средствами, которые давал ей уменьшенный на две трети капитал. Однако штат прислуги решилась не трогать. По-прежнему при ней остались и Платонидушка, и Евсеич, и дворник Палладий, тоже из присыпкинских дворовых. Никому из них она ничего не открыла, но все видели ее недавнее возбуждение и хлопоты, и понимали, что с барыней случилось что-то чрезвычайное. И втайне радовались, что Тимошке пучеглазому в их тихий, старозаветный дом навсегда дорога запала.

Устроивши свой домашний обиход, Арина Михайловна уселась в кресло и замолчала. Даже от окна отодвинулась, потому что однажды ей показалось, будто бы он прокатил мимо на лихаче и сделал ей ручкой. Вязальные спицы быстро шевелились в ее руках; шарф поспевал за шарфом. Думала ли она о чем-нибудь во время этой работы — трудно сказать; скорее всего, мысли мелькали в ее голове урывками, не задерживаясь и пропадая бесследно вслед за своим зарождением. Но скоро и это времяпровождение пришлось оставить, потому что шарфы дарить было некому, а шерсть между тем денег стоила. Пасьянсов никаких она не знала, а в ералаш с тремя болванами хотя и попробовала сыграть, но это занятие слишком живо напоминало *его*. Со всех сторон она чувствовала себя беспомощною. Ничего она не знала, ни к чему не чувствовала охоты. Однако жила же она прежде? И не как-нибудь жила, не сложа руки сидела, а целый день устраивала и ухичивала. Ах, это «злое, ужасное дело»! Но теперь даже и к этой сердечной боли, к этой причине всех причин, она начала относиться как-то тупо. Извне ничто до нее не доходило; даже того лакейского говора она не слышала, который по вся дни стоном стоит над Москвою. Некому было рассказать ей ни о новых проказах суда, ни о земских «штуках», ни о желез-

нодорожных крушениях. Ничто не питало ее мысли, ничто не подавало повода восклицать: «Вот погодите! ужо еще не то будет!» Она знала, конечно, наверное, что будет что-то ужасное; но так как подтвердительного факта под руками у нее не было, то прорицания, даже в ее собственных глазах, приобретали характер совершенно бесцельной назойливости.

И вне дома, и в доме — все умерло. Тишина водворилась такая, что каждое хлопанье наружными дверьми, сообщавшими барские покои с кухней, гулко раздаваясь по всему дому, заставляло ее вздрагивать. Прислуга приходила в комнаты только затем, чтобы зажечь в сумерки лампу в зале, накрыть на стол, принять, подать, и затем вновь скрывалась по своим углам. Арина Михайловна сидела одна в своем кресле и дремала.

1-го мая она отрезала у билетов купоны и лично поехала в банк получать деньги. Теперь уж она никому, кроме банка, не доверяла, хотя прежде обыкновенно разменивала купоны в первой попавшей банкирской конторе. Еще скажут, что купоны не настоящие, или фальшивыми деньгами наградят — почём она знает! С тех пор как это «злое, ужасное дело» сделалось — всего можно ждать. Даже в банке объявления стали вывешивать: просят не ходить разиня рот, ежели у кого деньги в кармане есть. Что *ему* деньги! уж ежели место, на котором стоял присыпкинский дом, Платонидушка не могла найти, так деньги *ему*... тьфу!

Выезд этот на время ее оживил. Она и в ряды съездила, шерсти купила, но во время разъездов так крепко зажимала в руку маленький кожаный сак с деньгами, что разве уж жизнь у нее отнимут, только разве тогда... ну, да тогда и денег ей, пожалуй, не нужно! Приехавши домой, она разделила полученную сумму на шесть равных кучек (с мая до ноября), а затем села в кресло и опять на время разрешила себе шарф вязать. А может быть, со временем она подберет все связанные шарфы под тень, пришьет бок к боку, и выйдет у нее прекраснейшее одеяло.

С наступлением красных летних дней сделалось веселее. Отворили окна, и из соседнего сада полились весенние запахи. Сначала цветущей черемухой запахло, потом зацвела сирень, липа. Вместе с началом этого цветения начала мало-помалу затягиваться и душевная рана Арины Михайловны.

Денег только мало. Всего две тысячи в год — и в пир, и в мир.

Тут и поземельные отдай, и страховку заплати, и на ремонт по дому ча́сточку отдай. На сладенькое-то да на лакоменькое и нет ничего. А она, признаться, избаловалась, привыкла. Еще

Савося-покойник ее избаловал. Подадут, бывало, индюшку, и непременно они из-за попова носа поспорят. Оба его любят; только он — ее заставляет взять, а она — его; возьмут наконец, да и поделят. А теперь, сколько времени, она и в глаза индюшечки не видала! Но в особенности ее тяготил дом. Тепло в нем, привольно, но зато он четверть дохода ее съедает. Того гляди, зимой надо будет парадную половину заколотить, в двух каморочках приютиться, чтобы лишних дров не тратить. И все-таки ей казалось, что лучше она щи да кашу будет есть, нежели с квартиры на квартиру переезжать.

— Иная, пожалуй, наймет квартиру-то да еще жильцов пустит,— говорила она,— около них и питается. И идет у них с утра до вечера шум да гам, песни да пляски, винище да табачище, а она сиди в своей каморке да помалчивай. Неужто ж и мне так жить!

И вот судьба, как бы в ответ на ее сетования, улыбнулась ей. Однажды сидит она у окна и видит — мимо дому знакомый отец диакон идет. В руке узелок плотно зажал, полы у ряски по ветру развеваются, волосы в беспорядке, лицо радостно озабоченное, на лбу капли пота дрожат. Очевидно, торопится.

— Куда больно экстренно, отец диакон? — окликнула его Арина Михайловна.

— Некогда, сударыня, спешу,— ответил он.— В «банку» бегу, как бы к приему не опоздать. Вон сколько денег набрал! А из «банки», извольте, и к вам забегу.

Действительно, управившись в банке, отец диакон сообщил Арине Михайловне нечто весьма серьезное. Оказывалось, что народился благодетельный для России финансист, который «залюбовь» всем по десяти копеек с рубля платит. И живет этот финансист в граде Скопине-Рязанском, и оттоле на всю Россию благодеяния изливает. Кто принесет ему тыщу — тому он сто рублей, кто две тыщи — двести. Живи как у Христа за пазушкой. Хочешь все истратить — все истрать; хочешь прикопить — прикапливай; накопишь — опять к нему неси. А он наберет денег, да из интереса желающим раздает. Иному — под обеспечение, другому — который, значит, потрафить сумел, мнение об себе приятное внушил,— просто «залюбовь», под расписку. Садись и пиши: столько-то тыщ сполна получил, а когда будут деньги — отдам. Только и всего. И так он этою выдумкою всех обрадовал, что теперича ежели у кого хоть грош в мошне запутался — все к нему бегут. Потому дело чистое, у всех на виду. И «банка» такая при господине Рыкове выстроена, которая у одних берет деньги, а другим выдает, а Скопин-град за всё про всё отвечает. Стало быть, чуть какая

заминочка, сейчас можно этот самый град, со всеми потрохами, сукциону продать. А кроме того, и объявление от господина Рыкова печатное ко всем разослано, а под ним подписано: «Печатать дозволяется. Цензор Бируков»[1]. Стало быть, и со стороны начальства одобрение видится.

— Вот и наш причт заблагорассудил,— объяснился отец диакон,— какие у кого рублишки сбереглись — все в град Скопин при просительном письме к господину Рыкову препроводить. А причетники так даже ложки у кого светленькие были, и те продали, в чаянии, что господин Рыков впоследствии угобзит. Для этого, собственно, я и в государственный банк бегал, вроде как доверенный. Сдал наличность полностью — и прав. А оттуда она по телеграфу — в Скопин-град.

Отец диакон остановился и издал губами звук, ка́к деньги по телеграфу в Скопин побегут.

— И вам, сударыня, советую,— продолжал он.— Конечно, по нынешнему времени, и пятнадцать копеечек под верный залог охотно дадут, да залоги-то ныне... ищи его потом да свищи! А тут, в «банке», разлюбезное дело! положил деньги, и уповай!

Рассказал отец диакон, точно на бобах развел, напился чаю и ушел. А Арина Михайловна задумалась. Как ни рассчитывай, как ни сокращай себя, а на две тысячи рублей, имея на руках целый дом, трудно прожить. А господин Рыков между тем на тот же самый капитал четыре тысячи выдаст — ведь это разом удвоит ее доход. Ежели она даже не очень понравится господину Рыкову, так и тогда он восемь-то копеечек, наверное, даст. Восемь копеек — это уж *всем* дают. И причтам церковным, и раненым, а кто по интендантской части деньги нажил — тем больше. Что, ежели и она, по примеру прочих... положим, не весь капитал, а тысяч этак тридцать... вот девятьсот рубликов и в карман!.. Это ежели по восьми копеек, а коли по десяти... тут уж другой будет разговор! И расходы по дому, и отопление, и прислуга — всё тут. А диакон, он деньгам счет знает; не полезет он с бухты-барахты: извольте, господин Рыков, наши денежки получить! нет! он почешет да и почешет затылок, прежде нежели мошну выворотить.

В принципе Арина Михайловна решила вопрос очень скоро. Тут не частный человек, вроде Воротилина, деньги берет, а банк — все равно, что ломбард. Банка не спрячешь. И притом дело ведется чисто, у всех на знати: сколько одних проверок! Уж ежели тут неверно, стало быть, и везде неверно: и билеты

---

[1] Очевидно, что о. диакон ошибся: цензора Бирукова в это время не было в цензурном ведомстве. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

ее неверны, и дом неверен — ложись в гроб и умирай! Однако и за всем тем, как женщина, недавно еще выдержавшая глубокое материальное и нравственное потрясение, она все-таки решилась предварительно самолично удостовериться, в каком смысле следует понимать город Скопин и точно ли находится в нем банк, о котором с такой выгодной стороны отозвался отец диакон. Слыхала она про Скопин, когда еще в девках была, что это тот самый город, в котором никому жить незачем,— ну, да ведь иногда и калеку бог умудрит. У нас и сплошь так бывает: лежит куча навоза, и вдруг в ней человек зародится и начнет вертеть. Вертит-вертит — смотришь, начал-то он с покупки для города новой пожарной трубы, а кончил банком! Вот ты его и понимай!

Села Арина Михайловна на машину и поехала. Видит: город не город, село не село. Воняет. Жителей — десять тысяч. И в том числе две тысячи кредиторов. Со всех концов России слепые да хромые собрались, поселились в слободке, чтоб поближе к процентам жить, и уповают. Тут и попы заштатные, и увечные воины, и даже один интендант. Интендант жениться собрался. Пошла она по городу банк искать, пришла на площадь, а он тут как тут: пожалуйте! Она было прочь бежать: сгинь-пропади! — ан нет, бежать не приказано! Делать нечего, пришлось к директору с повинной идти. Тот слова не сказал, сразу десять процентов определил и бумажку ей в руки дал: идите к бухгалтеру. Бухгалтер взял билеты, раскрыл большущую книгу и сказал:

— У нас, сударыня, на итальянский манер. Сначала вот в этом месте тридцать тысяч запишем — это будет «loro»; значит: ваше. А потом их же вот в этом месте запишем — это будет «nostro»; значит: наше. И нашим, и вашим. А затем вот вам, сударыня, фитанец — значит: адью!

Так и уехала она из Скопина, не солоно хлебавши.

— Так у них просто, так просто! — рассказывала она отцу диакону, приехавши в Москву,— сначала налево записали, потом — направо, и, окрутивши таким манером, выдали фитанец!

— Вот до чего люди дошли! — умилился отец диакон.

Прожила Арина Михайловна таким образом лет пять сряду, и, нечего сказать, благородно прожила. Проценты получала своевременно и сполна, и не раз подумывала о том, не свезти ли ей и остальные десять тысяч к господину Рыкову, но откладывала да откладывала — так и просидела, не выполнивши своего намерения. И так как ничто столь не украшает человека, как спокойное житье, то она мало-помалу начала и об «этом злом и ужасном деле» забывать. Напротив, стала находить, что «некоторое» даже хорошо вышло. Благодетельный

для России финансист уж народился, а со временем, чего доброго, народится и благодетельный для России публицист. То-то пойдут у нас смехи да утехи! Присыпкино-то, думали, пропало, а оно, вдруг, опять... тьфу! тьфу! тьфу! Как бы только не сглазить! Но ей и без Присыпкина настолько хорошо, что она даже дичиться людей перестала. К ней ходит и отец диакон, и отец протопоп, и супруги ихние, а иногда зайдет выкушать чашку чаю и сам господин квартальный. Сидят они и разговаривают, как нынче всем хорошо и какая это для всех лёгость, что г. Рыков в Скопине «банку» открыл и оттуда на всю Россию благодеяние изливает. Однажды даже сам Семен Семеныч зашел к ней, прочитал монолог из «Гамлета», потом вскочил, за что-то ее обругал, крикнул: «Ах, ничего-то вы, идолы, не понимаете!» — и убежал к Сухаревой башне.

Словом сказать, жилось хорошо, а ожидалось еще лучше.

И вот, одним утром, сидела она на своем любимом месте и, по обыкновению, вязала шарф. Вдруг видит, что отец диакон, *как и в тот раз,* на всех рысях бежит. Но узелка у него в руках уж нет, и лицо бледное и растерянное.

— Что случилось, отец диакон? — крикнула она ему.

— «Банка» лопнула! бегу!

Недавно, проездом через Москву в деревню, я воспользовался промежуточным между поездами временем, чтобы поросенка купить. Сделавши это, вспомнил об Арине Михайловне и отыскал ее.

Дом свой в Четвертой Мещанской она уже продала и живет теперь у Сухаревой, в каком-то неслыханном переулке, в крохотной квартирке, по стенам которой зимой потоки бегут. Живет бедно: как говорится, с хлеба на квас. Состарелась, поседела, осунулась; блуза висит на ней, как на вешалке. Из прислуги осталась при ней только Платонидушка, да и та еле бродит. Евсеич определился в какую-то газету вольнонаемным редактором (изумительно! только в Москве да в Петербурге это и бывает!), а Палладий догадался и умер.

В то же время в Арине Михайловне совершилась и еще одна, довольно важная, перемена. Она выписывает «Куранты» и усердно читает их. И всякий раз, как прочтет какое-нибудь карканье, начинает и в свою очередь прорицать: «Погодите! то ли еще ужо будет!» Платонидушка потихоньку пожаловалась мне, что «барыню» объедают и опивают какие-то литераторы от Иверской (вместо прежних приказных, по случаю свободы книгопечатания, завелись), которые от времени до времени украшают задние столбцы «Курантов» заявлениями, извещениями и удивлениями. Соберутся, жрут водку, удивляются и

судачат. А когда уж, что называется, до зела напьются, возьмут друг дружку за руки и застонут: «Погодите! то ли еще будет! вот увидите!»

Меня Арина Михайловна приняла довольно холодно, даже закусить не пригласила, хотя я видел, что в стороне, на столике, стоит штоф и тарелка с ломтиками углицкой колбасы. Должно быть, иверских литераторов поджидала.

ПИСЬМО V

Вы, конечно, уж знаете, что господство хищения кончилось. Что касается до меня, то я узнал об этом из газет и, признаюсь откровенно, сейчас же поверил. Еще так недавно на наших глазах происходил такой грандиозный обмен хищений, что многие не без основания отводили этому явлению ту же роль, какую играет обмен веществ в жизни отдельного индивидуума. И вдруг прилетает весть: обмен веществ прекратился! Каким образом? с чего? — Да так, ни с того ни с сего. Прекратился, и будет с вас.

И радостно, и жутко. Что-то будет? как-то вынесет общество столь внезапную утрату? что́ станется с нашими раутами, пикниками, катаньями на тройках и другими увеселениями? выдержит ли неизбежный кризис торговля модными, бакалейными и гастрономическими товарами? Перед кем и на какой предмет будут обнажать себя наши дамочки? отыщет ли общество новые основы для жизнедеятельности или просто-напросто возьмет да и захиреет?

Повторяю: и радостно, и жутко...

Откуда, однако ж, взялась эта добрая весть? — кто первый ее распубликовал? — Оказалось, что первый пустил ее в обращение Подхалимов, известный отметчик, корреспондент и публицист. Я — к Подхалимову. «Любезный друг! неужто ты не солгал?» — «Верно, говорит, вот и доказательство». Смотрю и глазам не верю: «Печатать дозволяется. Цензор Бируков».

О, коли так — стало быть, и сомнения не может быть!

Бируков — он, наверное, все заранее рассчитал и предусмотрел. Простофиль — около концессий пристроил, хищников — по церковным попечительствам раскассировал. Наживайтесь, простофили! а вы, хищники, кладите зубы на полку. Sapienti sat [1].

«Не обличать надо, а любить»,— говаривал покойный Прутков, а я с своей стороны присовокупляю: не сомневаться

[1] Мудрому достаточно.

надо (сомневаться-то всякий умеет!), а радоваться. Да, кстати, и ближних о приключившейся радости уведомлять. Поэтому я прежде всего сообщил о вычитанном мною известии нашему деревенскому старосте. «Знай, Денис,— писал я ему,— что господство хищения кончилось — это мне сам Подхалимов подтвердил. Стало быть, деньги, которые прежде на сей предмет с мужичков сходили, останутся у них в мошне. А потому, ежели впредь потравы или порубки в моих дачах окажутся, то я буду в оба смотреть и никаких послаблений не допущу: теперь есть чем штрафы платить». А через месяц получил от старосты ответ: «И мы насчет хищеньев через урядника обнадежены, и хищеньев теперь у нас нет, а кои мужички допреж сего воровали, те и сейчас друг у дружки взаимно поворовывают; только надо полагать, что сие вскорости прекратится, потому что в настоящем случае у нас в деревне только подковы остались, а лошади все до одной на уплату хищеньев пошли. И что вы насчет потрав пишете — оное я объявлял, и мужички платить штраф согласны, только просят, не будет ли милости ради такого случая два ведра на общество выставить?»

Разумеется, я не только разрешил, но на радостях написал к мужичкам цидулу:

«Друзья!

Называю вас этим именем, потому что теперь вы уж не меньшие братья, а самые достоверные друзья. В вас, как нынче во всех газетах объявлено, здравый смысл проявился, а по слабому нашему времени это ах как дорого! Берегите оный, не пропивайте. А ежели кому хочется выпить, то поступайте так: одну рюмку — перед завтраком, другую — перед обедом, а третью — перед ужином. Под сим условием и я разрешил Денису просимые два ведра выставить, и буду весьма огорчен, ежели хотя некоторые из вас воспользуются сим случаем. чтобы здравого смысла лишиться. Только насчет штрафов — чтобы верно было. Помните, друзья, что у нас, интеллигентов, с тех пор как хищения кончились, только на штрафы и надежда осталась, а здравого смысла мы еще до хищеньев лишились. А еще будет лучше, ежели вы, с помощью крестьянского банка, всю угоду у меня купите. Я лишнего немного возьму, а вам это удовольствие доставит. Вы знаете, что я и прежде хищником не был, а теперь и рад бы, да руки коротки: не приказано. А ежели не приказано — значит, аминь. И вам не советую. Будьте здоровы, друзья!

Отставной помещик Сицилистов».

Отославши это письмо, я, однако ж, задумался.

Как они должны быть счастливы, думалось мне, что господство хищения кончилось! Все эти фасоны и фестоны, которые мы, правящие классы, граня мостовые, выдумываем,— всё это в конце концов ведь на *них* обрушивается! Кузьма Прутков, от нечего делать, уфимскую землю задешево похитил, а у Васьки Чувашенина от этого фестона загривок болит. Столоначальник департамента Преуспеяний и Прогрессов кратчайший способ без пороха палить изобрел, а у обывателей деревни Проплеванной мурашки по спине ползут. Губошлепов концессию получил, а в селе Ненаедове бабы воем воют. Феденька Кротиков ряд резвых циркуляров издал, а у дедюхинских мужиков животы с толокна подвело. Tout s'enchaîne, tout se lie dans ce monde[1], как сказал некогда Ламартин.

Сам Подхалимов (теперь он, конечно, без слез вспомнить об этом не может) был в свое время не прочь похищничать. Пойдет, бывало, по гостиному двору и крикнет клич: «А нуте, брюханы! чтоб было по стольку-то рублей с каждого купеческого брюха, а не то я в газетине мораль на вас пущать буду!» И как сказал, так и сделает. А заугольниковский мужик, бывало, дивится: с чего, мол, это ситцевая рубашка вдруг на полтину дороже стала? Ан она вон куда, на подметки Подхалимову, полтина-то ушла!

Купец купца к мировому потащил — корела судебные издержки плати! Кредитка под залог туляковских домов зря деньги выдала — мордва убытки возмещай! Посчитайте-ка, ан денег-то и многонько выйдет.

И ни дедюхинские мужики, ни Васька Чувашенин, ни ненаедовские бабы никогда ничего и ни об чем не знали. Думали, что это «так». Не знали, что губошлеповскую концессию надо гарантировать, прутковское хищение оформить, кротиковские циркуляры оплатить, выдумку счастливого столоначальника — осуществить. Да, признаться сказать, едва ли было и желательно, чтоб они понимали и знали.

Относительно деревни самое главное условие — это чтоб она как можно дольше сохранила невинность. В противном случае она захандрит. Поэтому те, которые, видя в губошлеповских распутствах отчасти неизбежное зло, а отчасти свойственное цивилизованному обществу украшение, принимают меры, чтобы слухи об этих интеллигентных распутствах не проникли в деревню,— поступают, по мнению моему, совершенно резонно. Пускай хоть дулебы, древляне, радимичи и проч. останутся вне района интеллигентного растления; пускай хоть они спа-

---

[1] Все связано, все сцеплено в этом мире.

сутся. Деревня обязывается знать твердо свой окладной лист — и ничего больше. Что пользы знать, что гужеед Губошлепов и проворный Мовша Гудков впились в этот окладной лист и разъедают его точно так же, как мириады мелких, но жадных паразитов разъедают мощный организм кита? Такого рода знание не может ни возвеселить, ни удовлетворить, а только наведет на сердце сухоту. Спите, други, и почивайте!

Но ежели хорошо, чтобы деревня оставалась в неведении, то, разумеется, еще будет лучше, если и самого материала, на основании которого составляются несвойственные деревне знания, не окажется налицо. Или, говоря другими словами, вполне резонно и предусмотрительно поступают и думают только те, которые ни в Губошлеповых, ни в Кротиковых не видят ни неизбежного зла, ни свойственного цивилизации украшения. Право, Губошлеповы вовсе не так необходимы и не так изящны, как это кажется с первого взгляда, и общество, будь оно хоть расцивилизованное, прожить без них очень может. Говорят, будто бы они настолько въелись в интимную жизнь общества, настолько овладели умами и волей интеллигенции, что полное их устранение представляет трудности почти непреоборимые. Но, прежде всего, «почти» еще далеко не значит «совсем». Я согласен, что сладить с Губошлеповым довольно трудно, но попробовать и постараться все-таки можно. Например, ежели напустить на него анти-Губошлеповых — и даже не «напустить», а только дать им возможность появиться, то Губошлепов сам догадается, чем пахнет, и будет постепенно себя сокращать. То же самое и относительно Гудковых, Кротиковых и проч. Разом всех их вытравить — нельзя, но понемножку — можно. Это хоть кого угодно спросите.

Но есть и еще одно веское соображение в пользу ограждения обывательской невинности, не прибегая к фортелям, а непосредственно воздействуя на самое хищничество. А именно: как искусно ни оберегайте деревню от вторжения несвойственных знаний, последние, рано или поздно, все-таки проникнут в нее. Деревня уже давно не живет тою изолированною жизнью, которая позволяла смотреть на нее, как на отрезанный ломоть. Редок он теперь, тот пещерный мужичок, который родился, жил и умирал в неведении интеллигентных затей. Нынешний мужичок многое видел лично, многое из виденного на ус себе намотал и многое другим, не видавшим, порассказал. Он знает, как Губошлепов с Гудковым в столицах помахивают, и только еще не сообразил, какая существует связь между этим помахиваньем и им, проплеванским корелой. А что, ежели эту связь возьмет на себя объяснить ему окладной лист? Право, едва ли можно наверное поручиться, что это дело

нестаточное. Но, сверх того, и сами интеллигенты нынешние стали против прежнего куда легкомысленнее. Нет, нет, да и откроют сами себя. Поедет, например, интеллигент на тройке за город — вот тебе десять рублей на водку! Приедет на зверя охотиться — вали всей деревней в загонщики,— вот вам сто, двести рублей! Нет чтобы поприжаться: у меня, дескать, денежки трудовые, ой-ой, как много я шевелить мозгами должен, чтобы их добыть! «Плёв сто рублёв!» — только это неумное восклицание и перекатывается из края в край. А где ты, позволь спросить, рубли-то взял? откуда они в мошну-то к тебе наползли... ах, сделай милость!

Вот почему я и говорю: ежели проницательно поступают те, кои оберегают деревню от вторжения несвойственных знаний, то еще более проницательными являют себя те, кои устраняют самый материал, служащий для этих знаний основанием.

Этих-то последних деятелей, по-видимому, и имел в виду Подхалимов, возвещая изумленному миру, что господство хищения кончилось.

Да, дожили-таки мы — вот до чего мы дожили! Губошлепов с тоски в монахи постригся; Соломон Мерзавский все имение нищим роздал и поступил кассиром в общество доброхотной копейки; Мовша Гудков плачет, но ест акрид... ах, аспиды, аспиды! Это ли не результат? это ли не волшебное представление? Живио! браввиссимо! bis, bis!

Но не приврал ли, однако, Подхалимов? Как будто чересчур уже волшебно у него выходит... «Кончилось»... «постригся в монахи»... «роздал нищим имение»... Что-то как будто густо... Какие слова тут настоящие, какие — лишние? Подхалимов — малый ловкий, но он не прочь поврать, а еще больше любит порадоваться и других обрадовать. Он, того гляди, и от себя сочинит, лишь бы иметь случай поликовать в своей газетине. Спрос нынче на газетные ликования большой; и сверху, и снизу, и с боков только и слышатся голоса: да ликуйте же, наконец! Вот Подхалимов и проникся этой потребностью. Во-первых, он, по природе, к ней всегда был предрасположен, а во-вторых, за ликования-то нынче по десяти копеек со строчки платят, за сетования — по пяти, а уныние, нытье и прострацию и совсем прочь гонят. Так что если б явился, например, с того света доктор Фауст и объявил, что результат усилий человеческой мысли и жизни исчерпывается словом *ничто,* что все поросята, наверное, в один голос бы завопили: как «ничто!» а земские учреждения? а свобода книгопечатания? а новые суды? а решение кассационного департамента за № таким-то?..

Так вот не упустил ли, в самом деле, Подхалимов чего-нибудь в радостных попыхах?

Сознаюсь откровенно: этот вопрос предстал передо мной не совсем своевременно; но, раз возникнув, он уже неотступно преследовал мою возбужденную мысль. Я так давно живу на свете, так много видел и, главное, так много помню, что, помимо убеждений рассудка, один жизненный опыт заставляет меня относиться к газетным известиям с осторожностью. Я помню, что когда впервые появилось слово «хищение» и в газетах раздались по его поводу стенания, то меня озадачило стремление публицистов щегольнуть перед читателем новою новинкою. Совсем тут никакой новинки не было. Хищение, сиречь высасывание выморочных соков, известно было издревле, и издревле же значилось во всех азбуках под всевозможными рубриками. Если же и воспоследовала, лет двадцать тому назад, в этом отношении какая-нибудь реформа, то она коснулась только внешних приемов, размеров и названия. В древности слова «хищение» не было, но зато было слово «лафа», и вся дореформенная Русь отлично понимала, что слово это означает именно высасывание выморочных соков. Но так как конструкция этого слова слишком отзывалась провинциализмом и татарщиной, то понятно, что с поднятием уровня образованности почувствовалась потребность и в поднятии уровня терминологии. Отсюда — замена слова «лафа» словом «хищничество». То же поднятие уровня образованности не могло не повлиять и на внешние приемы высасывания, устранив всё режущее и грубо-реальное и сообщив этому занятию характер порядочности и даже некоторой щеголеватости. А дороговизна съестных припасов, увеличение таможенного тарифа на предметы роскоши и непомерное вздорожание кокоток довершили остальное, расширив понятие о выморочности до таких размеров, о которых, конечно, и во сне не снилось скромным эксплуататорам «лафы».

Старая, дореформенная Русь вовсе не была чужда процессу сосания; она только понимала его без вывертов, вполне конкретно. Объект сосания представлялся ей в форме сочащегося мяса, к которому она припадала и зубами, и губами, и языком и от которого отваливалась только тогда, когда вместо лафы оставалось сухое, безвкусное волокно. Даже в переносном смысле она недалеко отступала от этого конкретного представления; даже и тут ее, по преимуществу, привлекал непосредственный процесс сосания и те результаты, которые были ясны и доступны для самого неповрежденного ума.

Бывало, кто-нибудь из «тутошних» место исправника получит — про него говорили: «Теперь ему будет не житье, а ла-

фа». Или сутяга между «тутошними» проявится и начнет «прочих жителей» разбоем, ябедою и волокитою донимать — про него говорили: «Ему лафа; он такого страху на всех нагнал, что перед ним слова никто не пикнет!» Или «умница» подходящего «дурака» на распутьи обретет и начнет его «чистить» — про него говорили: «Этому человеку лафа с неба свалилась; теперь только не зевай!» Или, наконец, так человек устроится, чтобы ничего не делать, а только спать да жрать,— про него говорили: «Такую он лафу обрящил, что умирать не надо!» Даже красивую женщину (жену или любовницу) называли «лафою» и говорили: «Ну, брат, дорвался ты до лафы; теперь смотри на нее да стереги!»

Естественно, что для нашего образованного времени подобные представления и слишком грубы, и слишком узки. Нынче исправницкими доходами никого не удивишь, да и «дураком», ежели он в единственном числе, сыт не будешь, а надо, чтоб, по крайней мере, хоть небольшое стадо дураков было в резерве. Поэтому и придумали: воровать с таким расчетом, чтобы, во-первых, нельзя было с достоверностью указать, кто именно обворован, да и сам обворованный не умел бы себе объяснить, действительно ли он обворован или только сделался естественною жертвою современного веяния; и, во-вторых, чтобы воровство, оставаясь воровством по существу, имело все признаки занятия не только не предосудительного, но вполне приличного, а в некоторых случаях даже и полезного.

Разрешить эту задачу взялись «хищники». «Хищниками», однако ж, их называют только газеты, да и то не все (некоторые даже указывают на них как на сынов отечества); сами же себя, в домашнем быту, они называют «дельцами», а в шуточном тоне — воротилами.

Открывает, например, плут Архиканаки торговлю деньгами. С утра до вечера он твердит: продать-купить, купить-продать, обертывается, перевертывается, сперва в одну книгу запишет, потом в другую; словом сказать, занимается «делом». А соки между тем капля по капле так и текут через открытый кран в заранее приготовленное сокохранилище... Или: издает Феденька Кротиков циркуляр совершенно философического содержания; не упоминает ни о «барашке в бумажке» (очень древнее выражение, нечто вроде пещерной конституции), ни даже о дивидендах (выражение позднейшее, стоящее на рубеже древней и новейшей истории, но нынче и его уж стремятся упорядочить), а только Цицеронову речь «De officiis» [1] на русские нравы перелагает — смотришь, а незримое сокохрани-

[1] «По нравственному обязательству...»

ще наполняется да наполняется... Или: выхлопатывает Губошлепов концессию — сиречь, право за умеренную плату возить обывателей взад и вперед по железной дороге: польза-то какая! — и при сем только одно слово прибавляет: «с гарантиею» (пять процентов, не больше, да и то «в случае, ежели») — и что ж! соки так и плывут в поставленные на каждой станции сокоприемники!

Таковы внутренние и внешние признаки явления, прославившего себя под именем «хищничества». Но не соблазняйтесь его показным изяществом, а отыщите сокохранилище и постарайтесь угадать «простофилю», который наполнил это сокохранилище приличествующим содержанием. Ежели вы это выполните, то, наверное, убедитесь, что между «хищничеством» и «лафою» существует столь же несомненная преемственность, как между черевиком деревенской молодухи и изящной ботинкой модной кокотки. Неуклюж и тяжел деревенский черевик, но не подлежит спору, что он — отец легковесной кокоткиной ботинки.

Вот два факта, в непререкаемости которых мы даже ни на минуту усомниться не можем. Во-первых, древнее предание и, во-вторых, недавняя практика. Ввиду такой устойчивости и общепризнанности явления, столь мало загадочного,— как надлежит поступить? Поверить ли на слово газетчикам, возвещающим его внезапное исчезновение, или же, напротив, отнестись к газетным ликованиям с благоразумною осмотрительностью?

По моему мнению, в таких случаях всего правильнее поступать надвое: прежде всего обрадоваться, дабы тем засвидетельствовать; а потом, буде для продолжительной радости не представится надлежащего питания, то постараться привести дело в ясность.

Именно так я и сделал. Сначала и сам обрадовался, и мужичков поспешил обрадовать (ништо им! за два ведра они и не такую радость на плечах вынесут!), а по прекращении радости — решил дело привести в ясность.

Сидел-сидел, думал-думал — что за чудо, не могу концы с концами свести, да и шабаш! Начнешь строить силлогизм, первые два термина как-нибудь поймаешь, а третий хоть и не лови! Скользит, как вьюн: вон он, вон он — ан нет его!

Нет, думаю, так нельзя. Пойду опять к Подхалимову, объяснюсь. Пускай он докажет,— не на основании одной бируковской подписи (помилуйте! разве это доказательство!), а ясно и осязательно,— что хищничество воистину поражено остракизмом и не возвратится даже под скромным наименованием «лафы». И что в будущем нас ожидает тишь и гладь — хоть шаром покати!

———

Я застал Подхалимова в самом приятном душевном настроении. Накануне он написал какое-то неслыханное число строчек, а наутро получил за каждую по гривеннику. Он только что возвратился из утреннего обхода, во время которого собирал материал для завтрашних строчек, и, в ожидании адмиральского часа, благодушествовал. А вечером — опять в обход, и затем, на сон грядущий, часа четыре сряду — строчки, строчки, строчки. Сколько посидит, столько и напишет. Собачья это жизнь, господа!

Подхалимов был малый легкий и веселый, и никогда ни о чем не думал. Материал для строчек он находил как-то внезапно: выйдет на улицу — тут и есть. Иногда он и по домам за материалом ходил — и тоже препятствий не видел. Осмотрит, воротится домой, а строчки так сами собой и льются из-под пера: на лестнице — ковер, в гостиной — ковер, на входной двери — медная доска, давно, впрочем, не чищенная; звонки — электрические, в кабинете — письменный стол. Такова квартира, а коли есть квартира — стало быть, есть и хозяин. Вот и он: на носу пенсне, причесан гладко, но волосы длинные, пиджак подержанный, панталоны не первой молодости, подошвы на сапогах — налицо, сморкается часто, и притом в фуляровый платок. Запасшись этими данными, придет Подхалимов домой, посидит, а через два часа уже шлет в типографию «оригинал», убежденный, что человека так живьем и сжевал.

Жадности в нем особенной не замечалось. Гонорар он любил, но не до безумия. Есть деньги — он говорит: вот они! нет денег — говорит: надо идти на улицу! Пойдет, в участке побывает, в камеру к мировому судье заглянет, в окружном суде справится, плутократов (так называл он содержателей ссудных касс и менял) обойдет — сколько тут строчек-то выйдет! А ежели по гривеннику за строчку — вот и жить можно. Но по временам его озаряла мысль: «Сделаю девицам удовольствие!» — и так как осуществление этой мысли требовало более или менее серьезных издержек, то он отправлялся в гостиный двор и облагал тамошних старожилов по стольку-то с купеческого брюха. А вечером нанимал несколько троек, приглашал менее обласканных фортуною публицистов, прихватывал соответственное количество девиц и бешеным аллюром мчался всей компанией в «Самарканд».

Несмотря на легкость, с которою доставались ему деньги, лишних у него никогда не было. Как человек одинокий, он мог бы устроить себе порядочную домашнюю обстановку, но он предпочитал оставаться бездомным, ютился в меблированных комнатах, одевался в магазине готовых платьев, курил вонючие папиросы (за то только, что они назывались «Слава»)

и водился с такими субъектами, одно приближение которых позывало на тошноту. Вообще он не чувствовал ни малейшей потребности в жизненных удобствах, и только в одном не мог себе отказать: в ежедневном посещении Палкина трактира. Здесь он проводил лучшие часы своей жизни; но при этом не преследовал никаких гастрономических целей, а просто любил на загаженном диване посидеть и полежать. Он знал поименно не только всех половых, но поварят и кухонных мужиков; разговаривал по душе с швейцаром, буфетчику делал shake hands[1], смотрел на плавающих в сажалке стерлядей, и ежели замечал исчезновение какой-нибудь особенно крупной рыбины, то спрашивал, кто ее съел; без надобности ходил на кухню и в ватерклозет, и вообще старался показать, что он у Палкина как дома. Обедал всегда по карте — два неизменных блюда: московскую селянку и жареную утицу — и расплачивался аккуратно каждый день. Пил изрядно, но пьян не напивался, а только жуировал. Замечательно, что он как будто даже принуждал себя, как будто изобретал, каким бы способом побольше денег издержать, чтобы купец Палкин остался доволен. В этом заключалось его самолюбие. На водку сыпал направо и налево: Андрею — за то, что селянку ему подавал, Ивану — за то, что на машине вал переменил, Семену — за то, что воротился из деревни, Никанору — за то, что собрался в деревню. И со всеми был необыкновенно любезен: буфетчику сообщал новейшие внутренние известия, а метрдотелю (из тирольцев) такие штуки-фигуры руками показывал, что тот себя от восторга не помнил. Но перед купцом Палкиным стеснялся, и ежели, во время разговора с ним, замечал где-нибудь у себя в одежде расстегнутую пуговицу, то немедленно ее застегивал.

Хозяевам газетины, при которой он состоял публицистом и корреспондентом, он был предан до самозабвения, хотя обыкновенно называл их «мироедами». Какой смысл имело в его устах это слово, ругательный или ласкательный,— разобрать было невозможно. Скорее всего — просто разнузданный. Не завидовал он им нисколько, и даже тогда, когда ему однажды за верное сообщили, что за истекший год от одних объявлений «мироеды» получили какую-то чудовищную сумму,— он только вымолвил: «Вот бы теперь самое время их обокрасть!» Но, разумеется, тут же и позабыл. Никогда хозяева не приглашали его к себе в качестве гостя, но он и этим не обижался, а только говорил: «Свиньи!» Поручения хозяйские он выполнял быстро и буквально: нужно к Покрову сбегать — сбегает;

[1] пожимал руку.

оттуда в Колтовскую улицу — и туда слетает. «И никогда ведь, ироды, на извозчика не предложат!» — только и слышали его ропоту в таких случаях. Писал тоже всяко: и забористо, и благодушно, и хлёстко, и с «прохвалою» — как для хозяйского интереса пригоднее. Умиление, по обстоятельствам, потребуется — он умилится; ликование — он возликует; вера в славное будущее — он и от веры не прочь. Только унывать не любил, а по части «прострации» даже смешные каламбуры отпускал. Но ежели потребуется серьезно уронить слезу — он слова не скажет, уронит. «Нельзя, скажет, без сердечной боли видеть, как многие, вместо того, чтобы уповать...» И пойдет, и пойдет. А потом утрет слезу — смотришь, и опять всем весело. Словом сказать, на все руки парень: колесом вертится, на канате пляшет, сядет задом наперед на лошадь и за хвост держится. В гостином дворе брюханы так и покатываются: «Ах, каторжный!»

Хозяйских врагов (разумея под этим именем всех прочих газетчиков и даже их сотрудников) он считал своими личными врагами и от всей души ненавидел. Но когда враг умирал или иным образом со сцены деятельности сходил, то отдавал ему должную справедливость: это, говорит, был противник, с которым приятно было дело иметь. Так что и при жизни ругательски человека ругает, и по смерти на могилу его напакостит. Но не от злобы, а от собачьей жизни.

О происхождении его никто ничего достоверного не знал. Сам он говорил о родителях своих неохотно; но когда его уж чересчур допекали вопросами об этом предмете, то восклицал: «Да, батюшка, родился я! могу сказать! рродился!» Вследствие этого в редакции «нашей уважаемой газеты» мнения об его родопроисхождении разделились надвое. Одни утверждали, что он родился в Москве на Дербеновке, другие — что тайну его появления на свет следует отыскивать в известной песне: «Ехал принц Оранский». И он ни первого, ни второго мнения серьезно не опровергал.

Наружность у него была тоже несамостоятельная: сейчас — брюнет, сейчас — блондин. Отсвечивает. Голова — сквозная, звонкая: даже в бурю слышно, как одна отметка за другую цепляется. В глазах — ландшафт, изображающий Палкин трактир. Язычина — точно та бесконечная лента, которую в старину фокусники из горла у себя выматывали. Он составлял его гордость.

Но Подхалимов был несомненно талантлив и несомненно восприимчив — и это многих подкупало. Была в нем даже искорка добродушия. Все это вместе взятое заставляло говорить: если б этого человека выдержать, золото, а не человек

бы из него вышел! Но так как выдержке неоткуда было взяться (у нас, в литературном мире, как и везде, всякий только о том думает, как бы особняком устроиться), то талантливость послужила лишь для прикрытия нравственной неустойчивости. Другой, более характерный субъект, при подобной силе восприимчивости, пришел бы к озлоблению, а он даже не *смирился,* но прямо вошел во вкус.

Я лично не питал к Подхалимову никакого враждебного чувства, а просто смотрел на него как на жертву общественного темперамента. Случайно встречаясь с ним, я не испытывал особенной радости, но в то же время и не без любопытства прислушивался к его пестрой болтовне. Как хотите, а ведь его статьи служили украшением столбцов распространенного литературного органа, а совсем плохому писаке такая роль не под силу. Развязность его, нередко переходившая в прямую наглость, казалась мне наносною, охватившею его согласно с обстоятельствами времени и места. А когда он, внезапно очнувшись от угара пестрых слов, говорил: «Это я не от злобы, а от собачьей жизни!» — то мне сдавалось, что и моей вины тут капля есть. Да, виноват и я. Виноват тем, что я бессилен, что слова мои мимо идут и се не бе. Однако чьи же слова когда-нибудь шли не мимо, позвольте спросить?

Но есть и еще вопрос, близко касающийся Подхалимова. Теперь он и ликует, и умиляется, и иронизирует, и скорбит: что ему вздумается, то и сделает. Но заглядывает ли он когда-нибудь в будущее,— не в то будущее, на которое намекает шумно бегущий жизненный поток,— туда ему, Подхалимову, пожалуй, и резону нет заглядывать,— а в свое собственное, личное будущее?

Бедный Подхалимов!

Когда я пришел к Подхалимову, он лежал с ногами на кровати, а в головах у него сидел субъект, от которого несло водами Екатерининского канала. Комната была светла и довольно просторна, но табачного дыма скопилось столько, что неприятно было дышать.

— Кого я вижу! Отче (он называл меня так, ввиду преклонности моих лет)! — воскликнул хозяин, вставая с постели.— Уж не собрались ли открыть гласную кассу ссуд? А мы только что о них беседовали. Садитесь, пожалуйста! Рекомендую: бывший казанской части дипломат по внутренней политике, господин Ончуков, а ныне от занятий освобожден и возымел намерение открыть кассу ссуд. Сначала кассу ссуд откроет, потом убийство совершит, а в заключение попадет на каторгу. Вот и карьера.

— Что вы, Григорий Григорьич! кажется, вам мои правила

довольно известны! — не то обиделся, не то пошутил господин Ончуков.

— Оттого и говорю, что известны. А слышали ли вы, отче, как он на днях одного юнца подсидел?.. хочешь, расскажу?

— Ах, что вы! что вы-с! ведь это тайность-с! — испугался господин Ончуков.

Ежели тайность, так зачем ты ко мне с тайностью лез? Вот видите ли, сидит этот самый господин, от которого не розами пахнет...

— Нет, уж позвольте! ничего я вам такого не говорил! Сделайте ваше такое одолжение, увольте! Прекратите-с! — решительно взмолился господин Ончуков.

— Не интересно ведь это, Подхалимов! оставьте! — присоединился и я с своей стороны.

— Ну, ладно, все равно, потом расскажу. А теперь брысь, Анчутка! видишь, «чистые» гости пришли!

Ончуков помялся на месте, глянул исподлобья как-то подозрительно — и, к удивлению, глянул не на Подхалимова, а на меня — и исчез.

— Погодите говорить! он у двери подслушивает! — обязательно предупредил меня Подхалимов.— Береги нос, Анчутка! сейчас дверь отворю!

Послышались торопливо удаляющиеся шаги.

— Ну-с, отче, чем потчевать прикажете? Чаю? кофе? Мороженого? селедочки?

— Я на минуту, только два слова спросить пришел. Скажите, Подхалимов: вы не соврали, возвещая в «вашей уважаемой газете», что господство хищения кончилось?

— Господи! никак, вы уж во второй раз по этому случаю беспокоитесь! Да неужто я в самом деле так уж решительно и намекал?

— Совершенно решительно.

— Что хищения прекратились... совсем? Странно. Действительно, что-то в этом роде как будто было... Но чтобы так-таки прямо... с тем чтоб на службу ни по каким ведомствам впредь не определять... Да вам-то, наконец, не все ли равно? Есть хищения, так есть, нет их, так нет! Эка беда!

— Ну, нет, это совсем не так безразлично, как вы полагаете! Поймите, Подхалимов, ведь это не реформа какая-нибудь, которую взял, похерил, и никто не заметит. Это целая нравственно-обычная революция! Старые идолы в прах повергнуты, старые предания нарушены, история прекратила течение свое... вот ведь это чем пахнет!

— Скажите, сколько, однако ж, я накуролесил! И это, так сказать, «в минуту жизни трудную»... За «оригиналом» из ти-

пографии пришли — я и черкнул... но нет, впрочем; я лучше уж откровенно перед вами сознаюсь. Призывают меня «мироеды» и спрашивают: «Можете вы, Подхалимов, «стихотворение в прозе» написать?» Ну, я... мне что ж!

— А я, по милости вашего легкомыслия, впросак попал. К мужичкам в деревню написал: радуйтесь! Губошлепова на цепь посадили! Кротикова — в заштат отчислили! Знаете, чем такие известия пахнут?

— Ах, беда!

— Вот вы всегда так, Подхалимов; вы и теперь шутите. Удивительно, право, как вас земля за такие проделки не поглотит!

— А по-моему, так еще удивительнее, что вы столько лет живете, а до сих пор всякое лыко в строку пишете.

— Но как же вас читать? Неужто, взявши газету, нужно предварительно сказать себе: все, что тут написано, есть мистификация.

— Не мистификация, а «так». «Так» — и ничего больше. На вашем месте я, главным образом, обращал бы внимание не на сущность газетной статьи, а на то, как она написана, игриво или возвышенно, забористо или благодушно. А что касается до меня, то ежели моя статья подходит под одно из этих определений,— я и доволен.

— Да ведь это же и есть мистификация!

— Мистификация — это ежели преднамеренно, а тут, повторяю, просто «стихотворение в прозе» — и только. Это — «морсó», которое в случае крайности можно в какую угодно хрестоматию поместить.

— Ах, Подхалимов, Подхалимов! Неужели вам не страшно жить?

— Перемогаю себя — оттого, должно быть, и живу. Страшно сделается — я пою: «Страха не страшусь, смерти не боюсь!» — как рукой снимет! Гнать их, отче, надо, страхи-то,— вот и не страшно будет!

— Следовательно, одним пением спасаетесь? думать не желаете?

— Пишу — стало быть, все-таки, как ни на есть, думаю; без того нельзя. Но прямолинейным быть не желаю и до чертиков додумываться не вижу надобности. Смотрю на мир непредубежденными глазами и нахожу, что все идет своим чередом:

И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек...

Это вы во всех хрестоматиях найдете; стало быть, ежели вы «плакать» желаете, то к этому источнику и обратитесь. Но и

тут имейте в виду, что хрестоматии на то и издаются, чтобы метафоры и синекдохи в них подтверждение находили. Следовательно... а впрочем, хотите, я к завтрему передовицу на манер Феофана Прокоповича напишу?

— Любопытно. О чем, например?

— Как вам сказать... ну, хоть о правосудии. Сегодня напишу, что правосудие бодрствует, завтра — что правосудие на оба ока спит; сегодня — что в голову гидре ударено и на хвост наступлено (слог-то какой!), завтра — что у гидры новая голова и новый хвост выросли.

— Отлично. Но не будем разбрасываться, Подхалимов, и возвратимся к первоначальному предмету нашей беседы. Скажите, ведь были же какие-нибудь факты, которые послужили вам отправным пунктом для передовицы, о которой идет речь?

— Как фактам не быть? За фактами никогда дело не станет. Есть факты, которые свидетельствуют, что хищение прекратилось (таковы: предписания, распоряжения, благие начинания и т. п.), и есть факты, которые свидетельствуют, что хищения продолжают круг своего действия (таковы: отчеты общих собраний промышленного общества, банков и т. п.). Стало быть, все зависит от того, как посмотреть. Ежели одним оком взглянуть — есть хищения; ежели другим — нет хищений. Но, кроме того, есть еще читающая публика. Огорчена наша публика, отче! так огорчена всевозможными летописями и хрониками из области хищничества, что голосом вопить начинает: утешьте вы меня! скажите, что господство хищения кончилось! Вот мои «мироеды» и догадались, что теперь самый раз «стихотворение в прозе» пустить. Ну, и набрали же они в это утро пятаков!

— Но ведь это явный обман! Можно подумать, что вы только одну цель и в виду держите: как бы кого-нибудь в дураках оставить! Остроумно, что ли, это вам кажется, или так уж само перо у вас лжет?.. ах, Подхалимов, Подхалимов!

— А вы позабыли, отче, что еще Пушкин сказал: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман»? — это, во-первых. А во-вторых, вы хоть и читаете нашу газету, но многого не доглядываете. В том же №, где возвещалось о прекращении хищников, напечатана целая хроника, явно свидетельствовавшая, что хищничество нимало не чувствует себя обескураженным. Но, сверх того, неужто вы, кроме нашей, никаких других газет не читаете? Напрасно. Читайте хоть «Пошехонские куранты» — несомненную пользу получите. Хроники хищений вы там, правда, не найдете, но зато «Куранты» свои задние столбцы всевозможным добровольцам в полное

распоряжение предоставили. И тут вы не то, что мелкие факты, а целые проекты громаднейших хищений обретете». Тут и элеваторы предлагают, и запретительных пошлин требуют (кто чем торгует, тот и соответственное обложение проектирует), и замену книгопечатания билетопечатанием проповедуют, а на днях один неунывающий плутократ проект об отдаче казны в бессрочную аренду акционерной компании сочинил... Да вот увидите: скоро такое столпотворение пойдет, что зги божьей за тучей проектов не видно будет! Ситцевые фабриканты будут домогаться, чтоб каждому из них от казны известный доход гарантирован был; землевладельцы начнут вопиять, чтоб казна гарантировала им верный урожай и выгодный сбыт сельских произведений; торговцы благовонными товарами потребуют, чтобы для всех франтов было обязательно употребление таких-то и таких-то духов. Того гляди, мужички пожелают, чтоб им гарантировали исправную плату податей...

— Вот тут-то бы вам и ополчиться!

— Могу и это. Но, стало быть, не ко двору. Впрочем, и «мироеды» мои от ополченья не прочь — они ведь у меня лихие! — да и у них руки, видно, коротки. А может быть, и на розничную продажу не надеются. Прытки мы, но не сильны.

— Однако какие ужасные нравы?

— У нас нынче насчет нравов даже очень просторно. Только размеры «куша» и стесняют. Кому — знатный размер приличествует; кому — средний; кому — малый. Но все-таки везде на первом плане — «куш». Недавно, доложу вам, у одного «репортера» маменька скончалась — ну, он и пошел с похоронным счетом по коммерсантам, да через три-четыре часа все расходы покрыл, а лишки к Палкину снес.

— А что, ежели коммерсант-то соберется с духом, да в шею попрошайку?

— Нельзя, стало быть.

Подхалимов остановился на минуту, иронически взглянул мне в глаза и с расстановкой произнес:

— Печать-то ведь — сила! Так ли, отче?

Признаюсь, у меня даже в глазах зарябило от этого вопроса. Что-то далекое пронеслось передо мною, далекое, светлое, бодрое. Ни один из бывших свидетелей этого далекого — я не исключаю даже старших из Подхалимовых — не может вспомнить о нем без умиления. Где-то, когда-то я слышал эти самые слова, не в этой обстановке, не из этих уст, но слышал, несомненно, слышал. Я помню, что они поднимали мой дух и наполняли мое сердце сладостною тревогою. Эта тревога не обескураживала меня, а как бы даже подстрекала: вперед!

Вместе с другими я верил, что печать, есть сила и что этой силе суждено развиваться и сделаться несокрушимою. Быть может,— говорил я себе,— процесс этого развития совершится туго, не без горьких перипетий — пожалуй, даже не без утрат... Все это я допускал, но и за всем тем ни на минуту не переставал утверждать, что печать есть сила и пребудет ею вовек. И никогда я не предполагал...

Нет, никогда! никогда, даже в самые черные дни, я не мог представить себе, чтобы сила печати могла осуществиться в тех поразительных формах, в каких я узнал ее здесь, в эту минуту! Каким образом это случилось? Какое злое волшебство передало эту силу в руки Подхалимовых, сделало ее орудием для обложения сборами «брюханов»? Когда это произошло? и как-таки никто этой перестановки не заметил?

Очевидно, процесс перемещения новоявленной силы из одного центра в другой произошел постепенно и втихомолку. Первоначальные притязания печати, должно быть, оказались чересчур цельными и разномастными, чтобы привести к соглашению. Это было, впрочем, совершенно естественно, покуда речь шла о соглашении по существу. Но дело в том, что в пылу споров по существу утрачено было из виду, что печать и сама по себе, в качестве общественной силы, требует огражденья, для всех мнений и партий одинаково обязательного. Даже в этом индифферентном смысле никакого соглашения не состоялось. Напротив того, в самом непродолжительном времени состоялись вероломства, предательства, отступничества, в сопровождении целой свиты легкомыслий, свидетельствовавших о полном отсутствии дисциплины. Распря, постепенно переходя с почвы принципов на почву уязвленных самолюбий, приняла наконец такие размеры, что в одно прекрасное утро на фронтоне храма печати сами собой выступили слова: *образ мысли.*

Принципы были побеждены, и в то же время всякая надежда, что слово «печать» когда-нибудь получит объединяющий смысл, исчезла навсегда.

Вот этот-то момент и подстерегали Подхалимовы. Они поняли сразу, что ни принципы, ни руководящие идеалы — не ко двору; что светоч мысли не освещает и не убеждает, а производит раздражение и панику, полную грядущих отмщений; что, следовательно, ежели печать хочет быть силою, то она должна отыскивать почву для этой силы в той низменной сфере, которая не оставляла бы никаких сомнений насчет ее принципиального ничтожества. А именно, в сфере мелочей, прожектерства и личного, так сказать, наглядно-физического обличения.

И вот сначала выступили Подхалимовы *вчерашние,* которые еще во дни возрождения руку набили. Выступили и поразили всех юркостью и непринужденною остротою ума. Они первые наглядно доказали, что можно жить и без принципов. За ними появились Подхалимовы *нынешние,* такие, у которых даже литературных преданий не было, а были только недюжинные способности по части исследования корней и нитей, шантажа и обескуражения «брюханов». Первые говорили: «Приятно этакой в некотором роде арбуз так щелкнуть, чтоб он по всем швам треснул!» Вторые прибавляли: «И при сем, чтоб у него из всех щелей ассигнации поползли».

— Нынче, я вам скажу, по умственной части тихо,— продолжал между тем Подхалимов,— зато бойко по части промышленной и коммерческой. Вот эту-то ноту мы и разработываем. Без содействия печати нынче ни одно промышленное предприятие шагу ступить не может. Вся возделывающая, производящая, эксплуатирующая и спекулирующая Россия раздробилась на бесчисленное множество клиентур, которые сами признали свою подсудность печати. Стало быть, речь идет только о качестве клиентуры. Кто покрупнее клиентуру захватит, тот и умница; но уж, во всяком случае, тут не фунтом икры пахнет, как во времена Булгарина.

— Однако, мне кажется, что ведь и разработка промышленно-торговых интересов, несмотря на свой специальный характер, не исключает возможности честного отношения к делу?

— Гм... миллионами ведь тут, отче, пахнет, миллионами.

— Помилуйте, Подхалимов! сами же вы сейчас рассказывали о репортере, который с похоронным счетом по «брюханам» путешествовал,— надеюсь, что ему и во сне миллионы не снились!

— Ах, что вы! разве я о нем! Ведь и в нашем деле есть табель о рангах, да еще престрогая! Один — к миллионам приставлен, другой — к сотням тысяч, третий — к тысячам, а четвертый — около десятков с удовольствием руки погреет.

— Но как вы не перегрызетесь друг с другом? Ведь досадно, я думаю, в четвертом-то ранге состоять да зубами щелкать, особливо ежели сознаешь себя способным и достойным.

— Не скажу, чтобы особенно было досадно. Тут судьба, и как-то сразу это делается понятным. Возьму для примера себя: я себе цену знаю, но только и всего. Не продешевлю, но и дорожиться не стану. Ежели дело не моей компетенции, я за него не возьмусь, а направлю по адресу. Есть «деятели печати» гораздо в худшем против меня положении, но и те, покуда здоровы, не ропщут. Вот ежели силы слабеть начнут — тогда капут. Но я лично могу и кризис выдержать: я и

помимо репортерства работу найду. У меня — перо! а в наше просвещенное время это порядочная-таки редкость!

— Вот вы на эту *другую* работу и употребили бы ваше «перо»?

— Нельзя. Для этого нужно, чтобы в личном существовании человека решительный переворот произошел. Наша деятельность въедчива; не результатами она заманивает — об результатах думать нет времени,— а самым процессом своим. В этот процесс вошло такое множество случайных и друг от друга не зависящих подробностей, что каждый день втягиваешь в себя по-новому. Я не работаю, а увлекаюсь. Увлекаюсь каждый день по-новому, не так, как вчера. Пишу и думаю: ну, теперь нужно полагать, что «он» восчувствует! «Он» — это мой *сегодняшний* избранник, которого я *вчера* и в уме не держал. Я не помню моего вчерашнего дня и не загадываю о завтрашнем; но сегодняшняя моя мысль вполне для меня ясна. Сегодня я создал себе такой-то пункт, и ежели я в ударе, то, одно за другим, выведу из него все последствия. Весело, бойко, неутомимо. Мне и работать весело... ежели я «в ударе». Ничто другое не привлекает, уйти от работы не хочется. Вот и судите теперь, легко ли при таких данных на другую работу перейти?

— Но ведь это своего рода хроническое опьянение, и я положительно не понимаю, каким образом оно может не изнурить. А сверх того, сдается мне, что для литературного деятеля не мешает подумать и о репутации порядочности, а такого рода работой ее не приобретешь.

— Да, относительно низших классов ваше замечание справедливо. Мы, анонимная сила, действительно живем как в чаду, и об относительной ценности нашей знают только в редакциях да в нашем интимном кругу, да, пожалуй, еще в трактирах, где мы завсегдатайствуем. Анонимами мы родились и анонимами же бо́льшая часть из нас сойдет в могилу. Но о высших рангах — не говорите так. Те уж вышли из опьянения, а репутация пришла к ним сама собой, как приходит она ко всякому хищнику, который рвет крупные куски, а мелкими пренебрегает. Вы скажете, может быть, что эта репутация непрочная, фиктивная,— ну, да ведь ежели кто к потомству не апеллирует, тому и фиктивная репутация за настоящую сойдет. Действия этих высших деятелей розничной публицистики уже до такой степени говорят о выдержке, что они сумели создать в свою пользу особое право самопротиворечия, которое зараньше гарантирует им свободу отступничества. Посмотрите, как какой-нибудь Скоморохов подступает к вопросу: точно кошка с мышкой играет. Сначала пробный шар пустит,

будто стороной что-то слышал, и при этом сознается, что покуда еще не имеет достаточных данных для суждения. Затем слегка помолчит и опять попробует. Слева заглянет, справа пощупает, предоставит какому-нибудь добровольцу на задах нескладицу проурчать — и опять притворится спящим. И вдруг у него сердце защемит! И любовь к отечеству, и интерес к казне, и нужды промышленности — чтó есть в печи, всё на стол мечи! Вопрос растет, и с каждым днем осложняется. Независимо от pièce de résistance[1], появляются публицистические приправы: либерализм, нигилизм, упразднение властей и т. п. Это он пугает и в то же время товар лицом показывает. Наконец, когда приправа возымела действие, начинается «апофеоз»... Рыба клюнула; данайцы восчувствовали. Ибо ко всякому вопросу пригнана соответствующая рыбина, соответствующий данаец. Достигнув цели, газета временно успокоивается; репутация ее, в качестве узорешительницы, установлена, а заправилы ее исподволь подыскивают новый вопрос и оттачивают перья для нового похода... Вот как идет дело в высших публицистических сферах. Тут уж не о скачущем штандарте идет речь, а о служении на чреде государственной; не статейками пахнет, а актами мудрости... черт побери!

— Прекрасно, но зачем же вы «черт побери» прибавили? ведь вы и сами в этом водовороте кружитесь... Как хотите, а неприятно поражает в вас эта двойственность!

— Привычка, отче; да, в сущности, и сказать что-нибудь другое трудно. Впрочем, не в том дело; надеюсь, вы теперь понимаете, что печать есть действительно сила, которую игнорировать не полагается. Только не та печать, по которой вы, государь мой, периодически тоскуете.

— Ну, да, разумеется, не та. Стало быть, вы в конце концов своим положением довольны?

— Не ропщу. У меня клиент, по преимуществу, мелкий. Один домогается благосклонного отзыва, другой — благосклонного умолчания, третий — и сам не знает, чего ему нужно. Вот Ончуков, например, который уж раз приходит,— всё спрашивает: ловко ли будет, ежели он по пятнадцати процентов в месяц станет с заемщиков брать?

— Неужели вы, однако, и эту «идею» в ваших передовицах проводить будете?

— Нет, он еще погодит; это он так, бескорыстного сочувствия ищет. Заметьте, отче, что даже самый темный жулик — и тот жаждет, чтоб ему посочувствовали или, по крайней мере, хоть пожалели об нем. Один ему скажет: «Молодец!», другой:

---

[1] главного блюда.

«Э, да ты еще не совсем такой негодяй, как о тебе повествуют!» — он и доволен. Нет ничего тяжелее, как глотать втихомолку свои собственные мерзавства,— с этим уж только самые отпетые сживаются. Большинство ищет хоть частицу удручающего его негодяйства вынести на свет, чтобы облегчить себя.

— Но каким манером вы сходитесь с такими людьми?

— Вся моя жизнь на народе проходит — вот и схожусь. В трактирах, в судах, в участках, на конках — везде люди. Вся улица человечеством полна. Нужно же привести эту массу в известность, расчленить, разметить по группам. Я сознаюсь, что до сих пор совсем не это дело у меня на первом плане стояло, но уверен, что работа ассимилирования человеческого материала все-таки своим порядком идет. Может быть, этот материал соскользнет и бесследно, но, может быть, нечто и задержится. Провидения не искушаю, и кризиса, который сразу оборвал бы меня и заставил бы обратиться внутрь,— не призываю. Но ежели наступит критическая минута, я убежден, что найду свой материал налицо. И, быть может, буду в состоянии подлинную картину почтеннейшей публике предоставить. Только вот таланта хватит ли? или же то, что мы теперь называем талантом, есть не более, как усовершенствованное тряпичкинство?

Высказавши последние слова, Подхалимов остановился, как бы сожалея, что чересчур уж далеко зашел в область самообличения. Я, с своей стороны, тоже понял, что, как ни затягивай беседы с Подхалимовым, результат получится только один: будет двоиться в глазах. В эту минуту он, пожалуй, и посентиментальничать был не прочь, а через полчаса блеснет в глаза подходящий сюжет,— и опять штандарт поскакал.

— Ну, прощайте,— сказал я,— желаю вам! Уж ежели вы сами специальную табель о рангах для себя облюбовали, то не задерживайтесь на низших ступенях, а дерзайте! Бесплодно на судьбу не ропщите — это и смешно, и неинтересно,— но и мироедам в зубы не смотрите. И ежели увидите, что из ропота может воспоследовать полезный для вас плод, то средством этим не пренебрегайте.

Возвращаясь от Подхалимова, я некоторое время чувствовал себя как в тумане. Я не только не разрешал себе вопроса о хищничестве, но даже перестал им интересоваться, забыл о нем. Совсем другая мысль назойливо билась в голове: откуда пришла и зачем понадобилась эта беспощадная жестокость в извращении внутренней сущности явлений, которые, будучи

взяты сами по себе, занимают далеко не последнее место в ряду отличительных определений человеческой природы?

Что такое Подхалимов? — бесспорно, это восприимчивый, отзывчивый и очень даровитый человек. Вот определение, которое ближе всего подходит к нему, ежели отрешиться от того гадливого чувства, которое вызывается его практическою деятельностью.

Восприимчивость и отзывчивость составляют едва ли не самое драгоценное достояние человека. Без них немыслима ни деятельная честность, ни постижение идеи общего блага. Только восприимчивый человек может всего себя отдать на служение высшему идеалу; только в нем может созреть идея о человечестве и ожидающих его перспективах; только он способен возвыситься до самоотвержения. Признать законность самоотвержения как фактора человеческой жизнедеятельности — это уже значит внести в жизнь элемент правды и человечности; но познать на деле сладость самоотвержения — это значит дать такое доказательство превосходства человеческой природы, против которого не может быть и возражения.

Вот каким поистине поразительным проявлениям может дать начало человеческая восприимчивость; вот сколько света, тепла, бодрости она может внести в существование человека! И что же: та же самая восприимчивость помогает Подхалимову разбираться в сору постыднейших отбросков, прилепляться к ним всем существом, перебегать от одного хищника к другому, встряхивать рыночных «брюханов», поднимать на смех «простофиль», тешить их бесплодными фикциями. Жарь, жарь, жарь...

Понимает ли Подхалимов, что он лжет, или не понимает? Участвует ли хоть капля сознательности в той фальши, которую он распространяет вокруг себя, или эта фальшь льется из него сама собой, как льется вода из незапертого крана?

Но какой странный, почти неимоверный процесс перерождения должен был произойти в промежутке двух полюсов, чтобы вместо служения высшим идеалам получалось подлавливанье подходящих сюжетцев, вместо самоотвержения — вышучивание «простофиль»!

Кто виноват в этом превращении? Как оно создалось? Ссылаются обыкновенно (и, пожалуй, не без основания) на общее падение нравственного уровня; но в этом-то падении кто виноват?

Точно то же следует сказать и о даровитости. Даровитость племени делает его светочем мира; даровитость отдельного индивидуума делает его светочем страны. При низком уровне даровитости нет ни хорошего управления, ни умственной

жизни, ни материальных успехов, ни развития. Нет цветения. Все блага, которыми в данную эпоху пользуется страна, приносятся ей даровитостью сынов ее; а жажда этих благ так жива и естественна, влияние их на расширение жизненных горизонтов так бесспорно, что это одно вполне объясняет, почему даровитые люди занимают исключительное положение в среде своего народа и общества.

И вот перед нами экземпляр несомненно даровитого индивидуума,— Подхалимов! Экземпляр, который, кроме вольного обращения, распутства и полного индифферентизма в деле убеждений, ничего другого стране своей дать не может! Не колдовство ли это?

В последнее время чаще и чаще приходится слышать жалобы на оскудение русской литературы. Говорят: старые таланты допевают свои последние песни, новых — не нарождается. Тут и адвокатуру приплетают, и педагогическую деятельность, и другие более или менее доступные профессии: вот, дескать, куда ушла даровитость русского культурного человека. Но, по моему мнению, во всех этих жалобах и ссылках нет ничего, кроме недоразумения. Прочитайте любое из подхалимовских упражнений, которые он с такою легкостью из себя ежедневно выливает, точно у него в запасе неистощимая бутылка,— и вы в каждой строке найдете больше таланта, больше жизненной о́бразности, нежели во всех «последних песнях» потухающих стариков. Не об отсутствии даровитости идет речь, а об том, что Подхалимов сумел дать своему таланту омерзительную, гнусную, бесчестную окраску. И не в том беда, что он разменял себя на мелочи,— он справедливо выразил в разговоре со мною уверенность, что работа ассимилирования человеческого материала идет в нем своим чередом и даст в свое время плод,— а в том, что эти мелочи до такой степени запакощены, до того провоняли, что подло к ним близко подойти.

И такой же, ежели не горший, плод даст и происходящий в нем процесс ассимилирования человеческого материала. Очень возможно, что в результате этого процесса окажется картина очень широкая и написанная рукою мастера; но каждый штрих ее будет запечатлен подлостью и тем обязательным присутствием низменности, которую приводит за собой продолжительное и упорное общение с постыднейшими проявлениями торжествующего бесстыжества.

И опять те же вопросы: кто же виноват в этом перерождении? Каким образом оно создалось? Ежели же и тут непосредственным виновником окажется упадок общего нравственного уровня, то кто в этом упадке виноват?

Публичность, которою мы пользуемся, чересчур скудна. Вся она сосредоточивается в печати, а печать, по обстоятельствам, всецело эксплуатируется Скомороховыми и Подхалимовыми. Все, что мы знаем о нашей родной стране,— все выходит из этого источника. Скоморохов — явно лжет и подтасовывает; Подхалимов — неизвестно чему веселится и скачет с штандартом. Скоморохов, под видом защиты принципов порядка и устойчивости, бессовестно пользуется ими в качестве полемического приема, чтоб зажать рот своим противникам; Подхалимов — от всяких принципов отшучивается и напрямки заявляет, что, кроме уныния и скуки, ничего они обществу дать не могут. Таковы установившиеся нравы, а последние, в свою очередь, определили и отношение печати к читателю. Читатель — это «простофиля», который обязывается оставаться в угаре недоумения и неведения.

И за всем тем, Подхалимов сказал правду: никогда печать с такою резкостью не заявляла о своей силе. Но какая печать? и какого качества ее сила? — вот в чем вопрос.

ПИСЬМО VI

По вторникам у генерала Чернобровова устроивались интимные рауты. Генерал был отставной и старенький, лет под восемьдесят. В свое время и полком командовал, и по инфантерии числился, и губернатором был, а потом его обидели. А он — простил. Получил пенсию, да аренду, да «так», и поселился на Песках. Семейства у него не было, кроме старушки жены, которая лет сорок тому назад от советников губернского правления амурные письма на златообрезной бумаге получала и тоже давно всем простила. Жили они скромно, но без нужды, и по вторникам (через два в третий) устроивали вечеринки.

Собирались на эти вечеринки, по преимуществу, старые губернаторы. Генералы: Краснощеков, Пучеглазов и Балаболкин. Тайные советники: Гвоздилов и Покатилов. Из не-губернаторов рауты посещал инженер-полковник Купидонов, который в древности первые мостки через Неву построил, да статский советник Набрюшников, который, с писарских чинов, вместе с Покатиловым, в качестве наперсника, всю службу проделал. Купидонов обыкновенно привозил генеральше сюрприз: либо икры зернистой, либо семги, либо копченого сига, и за эту галантерейность играл в компании роль молодого человека, что, впрочем, очень к нему шло, потому что он обыкновенно приходил в лосинах. Набрюшников не приносил ни-

чего, кроме преданного сердца и замечательно исправного аппетита. Всех их в свое время обидели, и все они простили, кроме, впрочем, Набрюшникова, который за себя простил, но за Покатилова — никогда-с!

Люди эти были и различного происхождения, и различного воспитания, но их соединило, с одной стороны, общее губернаторство, с другой — общая обида. Чернобровов, Краснощеков и Покатилов были настоящие столбовые, имели приличные и благосклонные манеры, хранили предания дворянской изнеженности и любили пофрондировать. В древности таких губернаторов ценили и называли «хозяевами». В частности, Чернобровов славился открытою физиономией, с помощью которой так искусно управлял вверенным краем, что только через двадцать лет понадобилось отправить туда сенаторскую ревизию. Краснощеков славился пылкостью. Наскочит совсем не на того исправника, на которого нужно, обругает, но, как рыцарь, первый сознает свою ошибку и скажет: «Ну-ну, ничего! вперед пригодится!» Покатилов — был умница, и рапорты его приводили сенат в восхищение (один из местных садоводов даже одну разновидность георгины в честь Покатилова назвал «утешение сената»). Так что когда их в ту пору разом, в числе двадцати генералов, обидели и он приехал в Петербург объясниться: за что? — то ему только одно слово и сказали в ответ: «так». С этим он и отъехал.

Все трое были женаты на родных сестрах: Прасковье Ивановне, Лукерье Ивановне и Людмиле Ивановне, вследствие чего и губернии, которыми управляли их мужья, назывались их именами: Парашина, Лушина и Милочкина.

Гвоздилов был происхождения темного, характер имел угрюмый и вступал в собеседование урывками, как будто знал за собой какое-то необыкновенно постыдное дело и боялся проговориться. Был слух, будто он с откупщиком повздорил. Он утверждал, что откупщик ему фальшивую десятирублевую бумажку всучил, а откупщик говорил, что отдал всё по чести как следует, а сам-де губернатор свою собственную фальшивую бумажку всучить хочет. Тогда Гвоздилов нагрянул на откупщика в подвале, а откупщик в Петербург уехал, и через месяц — Гвоздилова обидели. В древности о таких губернаторах говорили: «У нас губернатор и на губернатора-то не похож». Пучеглазов и Фрол Терентьич Балаболкин были выслужившиеся кантонисты аракчеевской школы, которые вместо носков носили онучи, а деньги прятали за голенище; впрочем, под старость, из всего губернаторского прошлого они помнили только одну фразу: «Направляй кишку в огонь! направляй!» В древности о таких губернаторах совсем ничего не говорили,

а только ожидали, что еще немножко — и ось земная либо переломится, либо покривится. Что касается до Купидонова, то он в 805-м году был найден принцем Оранским в корзинке на мосту и в той же корзинке был сдан в институт путей сообщения, с тем, дабы, по пришествии в совершенные годы, употреблять его для постройки мостов.

Тем не менее повторяю: несмотря на различие воспитания, происхождения и характеров, все эти люди соединялись под одним знаменем во имя общей обиды, которую они, впрочем, простили.

От времени до времени на этих раутах появлялся еще кузен хозяйки, действительный тайный советник Крокодилов, человек сравнительно не старый (лет под шестьдесят), но до того уже исслужившийся, что желудок у него ничего, кроме кашицы из свода законов, не варил. Но он оставался не больше получаса. Посидит, выпьет чашку жиденького чая и спешит дальше, потому что ему надо карьеру делать.

Итак, соберутся часам к восьми все восемь генералов, сначала досыта наиграются, потом сядут за ужин и начнут припоминать. Припоминают прошлые деяния, приводят примеры губернаторской осмотрительности, дипломатической тонкости, распорядительности и благоразумной экономии; сами с собой полемизируют, но не настойчиво, а больше затем, дабы в полемике еще вящее к прославлению прошлого основание почерпать; сравнивают прошедшее с настоящим и, надо сказать правду, порядочные-таки недочеты в последнем усматривают. Но не сквернословят прямо, а только правду говорят да от времени до времени вздыхают: людей нет! Наговорятся, наедятся и разбредутся, часу в первом, по Пескам.

Живя с Чернобрововыми на одной лестнице, дверь против двери, я знал об этих раутах и, разумеется, горел желанием попасть на них. Во-первых, хотелось мнения солидных людей о современной политике знать: как и что; можно ли ожидать или совсем нельзя. Я у кормила никогда не стаивал, а они целую жизнь всё по морю — ах, по морю, да по хвалынскому, в косной лодочке погуливали, да и причалили наконец благополучно к Пескам. Понятно, что у них сформировался взгляд, а у меня не сформировалось ничего. Во-вторых, мне всего шестьдесят лет, а им каждому под восемьдесят катит — сколько ума в этот двадцатилетний период накопилось? А в-третьих, и купидоновской икры хотелось отведать, а если бог поможет, то и обыграть стариков гривен этак на шесть. Словом сказать, я и спал и видел, как бы в компании с хорошими людьми посидеть и заодно с ними портить воздух сетованиями и воздыханиями.

А так как я каждодневно встречался с генералом на лестнице, то, вероятно, и он наконец догадался, что у меня сердце не на месте. По крайней мере, утром, в один из вторников, кухарка моя предварила меня: «Вас нынче будут к генералу на вечер звать».

А через час, когда я встретился с генералом на подъезде, он, после обыкновенных приветствий, благосклонно протянул мне руку и сказал:

— Что́ бы вам, молодой человек, по-соседски... вечерком? Поиграем, попьем, поедим, с Прасковьей Ивановной познакомитесь. У вас еще целая жизнь впереди — может быть, и полезное что-нибудь от стариков услышите. Прошу.

Разумеется, я не преминул. В восемь часов завсегдатаи были уже налицо, а из женского пола, кроме хозяйки, присутствовали еще сестры ее: Людмила Ивановна Краснощекова и Лукерья Ивановна Покатилова. Как я уже сказал выше, все три были в свое время губернаторшами, и, следовательно, все три вкусили сладостей и отрав власти.

Когда я появился, беседа была в полном ходу. Лукерья Ивановна рассказывала, как она однажды в Москву из «своей» губернии ездила. Сначала по своей губернии ехали — ну, натурально... «Тише, сумасшедшие, тише! куда вы сломя голову летите!..» — «Не беспокойтесь, ваше превосходительство, мы в ответе!..»— «Ну, коли так, бог с вами; поезжайте!» Потом въехали в губернию к генералу Колпакову,— ну, и натерпелась же она тут! Ямщики закладывают — не закладывают; смотрители — ну, буквально, ходя спят! лошади бегут — не бегут.. Исполать вам, ваше превосходительство, одолжили! нечего сказать, в порядке свою губернию содержите! И вдруг... Милочкина губерния пошла! Полетели! ну, так летели, так летели! это... это... ну, просто какое-то волшебство! Но только если бы сломалась ось... ах!

— Да, были лошади! были! — отозвался генерал Краснощеков,— и лошади были, и колокольчики были, и езда была, и ямщики были! Все было!

Он на мгновение поник головой и многозначительно, густой октавой, присовокупил:

— И страх был.

— А страх божий есть начало премудрости,— вставил свое слово генерал Чернобровов.

— Божий страх — это само по себе,— возразил Краснощеков,— это ежели кто к обедне ленится ходить — ну, того действительно припугнуть не мешает... Но страх вообще — вот что важно!

— Притом же — не знаю, как теперь,— а в наше время страх божий епархиальному начальству подведом был; следовательно, и вмешиваться в пределы чужого ведомства губернатору не подобало,— присовокупил «умница» Покатилов.

— А помните, сестрица, как, бывало, флигель-адъютант к рекрутскому набору приедет! — сменила Лукерью Ивановну Прасковья Ивановна.— Ах, что это за приятный гость был! Только при них, бывало, и отдохнешь... особенно граф Вьюшин-Стречков! Никогда об этих противных делах — всегда около дам! «Mesdames! нынче в Петербурге платья совсем в обтяжку носят; mesdemoiselles! нынче шестую фигуру совсем не так танцуют! Les messieurs en avant! Chaîne des dames! balancez! messieurs saluez vos dames... c'est ça!» [1] Мужья, бывало, трепещут; Степан Михайлович мой подойдет ко мне и шепчет: «Помилуй, матушка, ведь это око царево»,— а я и в ус себе не дую! «Граф! извольте-ка распорядиться, чтоб пятую кадриль начинали!» — «Madame, je suis sur les dents!» [2] — «Ну, что̀ с вами делать, противный: садитесь... вот тут! Хотите, Сонечку Волшебнову позову... признайтесь, ведь влюблены? Сонечка, mon enfant! [3] садитесь вот тут, рядом с графом, да постарайтесь, чтобы ему не скучно было!» Усадишь их, а сама пойдешь кавалеров своих побранить. Ах, господа, господа! девицы одни ходят, а вы забрались в угол да анекдоты рассказываете... хоть бы вы с графа пример брали! Музыканты! вальс!

— А помните катанье на масленице в traineau monstre! [4]

— А пикники в загородном саду! А балы во время выборов! И вдруг, в самый разгар бала, полицеймейстер: «Ваше превосходительство! в Раздерихинской слободе пожар!» — «Это в овраге?» — «Точно так, ваше превосходительство!»

Под шумок этих разговоров Набрюшников распечатывал карточные колоды и усаживал игроков. Усадили и меня, как младшего, с дамами, по сотой. Но генерал был прав, предваряя, что я вынесу из его раута много полезного для себя. В каких-нибудь полчаса я уже узнал главные основания, на которых зиждилась дореформенная губернаторская власть. А именно: страх (впрочем, не божий, а вообще), быстрая езда на почтовых, поддержание в обществе единодушия, при содействии пикников, и пожары,— и все шло прекрасно.

---

[1] Кавалеры, вперед! Дамы, образуйте цепочку и делайте па! Кавалеры, приветствуйте ваших дам! Вот так!

[2] Сударыня, я изнемогаю от усталости!

[3] дитя мое!

[4] в огромных санях.

Я не стану распространяться о том, как мы играли в карты и какие при этом происходили интересные (а иногда даже и странные) случаи. В десять часов старики начали уж зевать, и все поспешили за ужин. Обыкновенно в это время генералы ложились спать, но по вторникам дозволяли себе небольшую льготу, поочередно собираясь, для критики существующих установлений, то у Чернобрововых, то у Краснощековых, то у Покатиловых, так как прочие были люди бессемейные, а Купидонов, кроме того, вел дома предосудительную жизнь.

За ужином я познал и еще одну руководящую истину, но она уже касалась не оснований дореформенной губернаторской власти, а тех, на которых зиждется отставное человеческое существование вообще и губернаторское в особенности. А именно: из всех присутствующих только бывшие кантонисты Пучеглазов и Балаболкин рвали твердую пищу зубами, прочие же сосали, так что когда наконец подали манную кашу, то у всех из груди вырвался крик восторга.

Когда первые требования аппетита были удовлетворены, началась критика существующих установлений. Было что-то трогательное в этих стариках, которые могли бы еще послужить, если б не были так безвременно остановлены в самом пылу своего административного бега. И что всего печальнее: судьба, лишившая их возможности совершать славные деяния, не лишила их памяти. Они всё помнили, всё до последней нитки, даже бумагу, на которой печатались губернские ведомости,— и ту помнили. Только у кантонистов память, по-видимому, совсем отшибло; но и они, разрывая зубами пищу, потихоньку бормотали: «Направляй кишку! направляй, направляй, направляй!» Стало быть, и они нечто представляли себе: пожар, драку, вообще что-нибудь такое, на что, по преимуществу, было направлено их административное остроумие. Впрочем, нужно сказать правду: во время диспутов кантонисты большею частью дремали.

Рассмотрение современных установлений началось с того, что Гвоздилов сообщил вычитанный им в газетах слух о том, что действия комиссии Несведения концов с концами в непродолжительном времени имеют вступить в новый фазис. Высказавши это, Гвоздилов, однако ж, вспомнил, что у него на душе лежит постыдное дело, и умолк. Но искра была уже брошена и, разумеется, сейчас же произвела в сердцах соответствующее воспламенение.

— Вот они у меня, эти комиссии, где! — первый воскликнул генерал Краснощеков, ударяя себя кулаком по затылку.

Но Краснощеков был пылкий, и потому мнения его автори-

тетом не пользовались. Чернобровов первый не согласился с ним.

— Не в комиссиях сила,— возразил он резонно,— а в том, какие комиссии, в какое время и на какой предмет. Кто суть члены? своевременно или преждевременно? Поставлен ли вопрос прямо: вот вам предмет, рассуждайте! — или же о предмете умолчено? Ежели все сие предусмотрено, взвешено и определено, то почему же комиссиям и не быть?

— Да уж дождемся мы когда-нибудь с этими комиссиями...— продолжал кипеть генерал Краснощеков; но Чернобровов вновь и столь же солидно остановил его.

— Позвольте, Капитон Федотыч, так сгоряча нельзя. Критический взгляд необходим, но на какой предмет и в какое время? Сегодня мы будем говорить сгоряча, завтра сгоряча — когда же нибудь и опомниться надо! И в наше время нередко бывали комиссии — вспомните-ка! Но какие комиссии? — в этом-то и загвоздка. Скажу вам из собственной практики случай: я сам в одной комиссии участником был и очень хорошо помню. Собрали нас в ту пору сорок семь полковников, положили перед нами два пистолета: один кремневый, другой ударный — который лучше, господа? Не вопрос о пистолетах предложили, а прямо так-таки в натуральном виде два пистолета: тот или другой? А при сем особого содержания за присутствование не присвоили, чаем не поили, табаком не потчевали, а посадили старого генерала презусом и сказали: сидите и дело делайте. Так и тут один молодой полковник выискался, который чуть было нас всех не подкузьмил. «Позвольте, говорит, ваше превосходительство, взгляд на славное историческое прошлое бросить!» — «Извольте, говорит презус».— «Известный законодатель Ликург...» — «Те-те-те! нет, это уж аттàнде-с!.. вот вам пистолет...» — «Ваше превосходительство! только на минуточку!» — «Извольте, что с вами делать! Говорите, но не задерживайте!» — «Затем, когда несметные полчища татар..» — «Позвольте, об татарах мы с вами на досуге побеседуем, а теперь извольте говорить по долгу присяги, не обинуясь: вот два пистолета — который лучше?» — «Вот этот-с».— «Садитесь. Следующий!» И всех таким образом в одночасье окрутил. «Следующий, следующий, следующий!.. Считайте, господин секретарь, голоса!» Стали считать — никак сосчитать не могут: всё выходит поровну. А презус, между прочим, своего голоса не подает. — «Не хочу, говорит, греха на душу брать! А вот, говорит, мы что сделаем: позвать фельдфебеля Охременко! Охременко! какой пистолет лучше?» — «Как же возможно, вашескородие, сравнить!» — «Господин секретарь! извольте записать в журнал: вот этот!» Написали журнал, мы

в тот же день его подписали, на другой откланялись — и по домам!

— Да, были комиссии, были! — согласился генерал Краснощеков,— и комиссии были, и исправники были... все было! И страх был.

К сожалению, Чернобровов увлекся воспоминаниями и продолжал:

— И что же, сударь, потом случилось! Пошли мы с этими пистолетами под Севастополь — смотрим, а нам комиссариат, вместо кремней, чурки крашеные поставил! А должно вам сказать, что перед этим все адресы подавали, а между прочим и комиссариатские чиновники.. «Станем грудью... докажем врагу... до последней капли крови...» Ну, мы идем и думаем: неужто ж после такого, можно сказать, всенародного заявления они с нами подлость сделают? Начали палить — щелкают наши курки, а пальбы нет! Тут-то вот и оказалось...

Только тут Чернобровов спохватился, что, кажется, через край уж хватил. С минуту смотрел он на всех удивленными глазами, как бы спрашивая самого себя: что такое я слышу? Однако помолчал, помолчал и поправился.

— Вот и выходит,— заключил он,— не в том сила, что комиссия, а в том, какая комиссия и на какой предмет!

— То-то, что нынче комиссии-то...— начал было Гвоздилов, но вспомнил, что у него на душе постыдное дело, обробел и умолк.

— Знаю я это и не одобряю. Конечно, если б и перед нами не положили прямо *вот этих* двух пистолетов, а сказали: рассуждайте о пистолетах вообще, а между прочим и о тесаках,— весьма возможно, что и мы бы изрядный огород нагородили. Но именно этого-то и умели в старые годы избегнуть. Ежели речь о пистолетах шла, так именно вот об *этих;* ежели об административных предметах — так вот об *этих.* Вот как. Но, разумеется, ежели каждый член комиссии, пользуясь сим случаем, будет о своих собственных душевных ранах говорить,— а именно сим личным характером и отличаются нынешние комиссии,— то понятно, что конца-краю разговорам не будет!

— Я слышал,— сфискалил Набрюшников,— что недавно в этой самой комиссии один член говорил, говорил, а остановиться не может. Наконец до того договорился, что даже Анна на шее у него покраснела. Смотрят — ан с ним истерика!

— Это дело возможное,— подтвердил Чернобровов,— а я о чем же говорю? О том именно я и говорю, что ежели комиссия, то нужно прежде всего определить: для чего, по какому случаю и на какой предмет. Вот вам два пистолета — и кончен бал. И чтобы без статистики. Вы только одно сообразите:

нынче иной шутя слово кинет, да возьмет да статистикой его пригвоздит: свиней столько-то, баранов столько-то. Статистику-то эту он сам, едучи дорогой, сочинит, а смотришь, и настоящую статистику потревожить нужно, чтобы слова-то эти к настоящему знаменателю привести. Приедет он из Чухломы — готовь для него одну статистику. А там, гляди, из Наровчата другой едет — и для него опять готовь статистику. А статистика-то ведь времени требует, поди-ка над ней посиди! А ему что! он кидает себе да кидает словами, и очень рад.

— Я бы, с своей стороны, со всеми этими комиссиями строго поступил,— отозвался умный Покатилов,— рассадил их по комнатам, содержание прекратил, запер на ключ, да и ушел. Вот вам, сидите, покуда не кончите.

— И кончили бы! — сочувственно откликнулся Набрюшников.

— Направляй кишку! направляй! — вдруг без всякого резона крикнул Пучеглазов, так что все вздрогнули.

— А я о чем же говорю? — возобновил собеседование Чернобровов, когда первое впечатление испуга прошло.— Объясните предмет, говорю я, и очертите круг (генерал очертил пальцем на скатерти круг); вот здесь! и чтобы за пределы этого круга — ни-ни! Или *тот* пистолет, или *этот*, а не пистолеты вообще. И при сем чтобы в срок. Кончите в срок — исполать! Не кончите — стыдно, сударь! В старину так оно и бывало. Скажут: стыдно — и понимаешь, что стыдно. А нынче слово-то это в забвение пришло; скажут ему, а он только кудрями встряхнет.

— И прежде — не всегда...— чуть-чуть не проговорился Гвоздилов, но вспомнил и замолчал.

— Многого нынче не понимают! многого! — прогневался Краснощеков,— я помню, когда я губернатором был, так за версту, бывало, становому погрозишь, а он уж понимает! Тридцать верст не кормя во все лопатки улепетывает, и всё не может пальца этого позабыть!

— То было время, а теперь другое,— резонно пояснил умный Покатилов.

— Какое такое особенное время? И тогда было время, и теперь время — все времена одинаковы!

— Ну, что уж тут, друг мой! — вступился Чернобровов,— что правда, то правда! Tempo... Tempo... Набрюшников! скажи, братец!

— Tempora mutantur, ваше превосходительство, et nos mutamur in illis [1].

---

[1] Времена меняются, и мы меняемся с ними.

— Слышишь, мой друг! А по-русски это значит: капельмейстер другой темп взял, и мы по-другому восплясали... Что делать! Когда мы у кормила стояли, губернаторская-то власть...

Чернобровов вздохнул и умолк; но сделанное им напоминание уронило новую искру в сердца и причинило новое воспламенение. На арену выдвинулась новая неизбывная рана, в форме вопроса о губернаторской власти.

Все помнят, как волновал этот вопрос русское общество в половине шестидесятых годов. Теперь он несколько поутих; но тогда образовалась целая публицистическая доктрина, которая называла себя последним словом науки и которая без обиняков вопияла: дадут губернаторам власть (почему-то вдруг всем показалось, что это самые беззащитные существа) — и всё процветет; не дадут — и всё завянет.

Если не дадут — произойдет бесплодная и иссушающая централизация; если дадут — произойдет умеренная, но плодотворная децентрализация. Что лучше?

Взгляните на Соединенные Северо-Американские Штаты — пример, наиболее для нас подходящий. А с другой стороны, примите в соображение пагубные результаты, которые произвело ограничение губернаторской власти во Франции. Сам Наполеон III понял это. А Токевиль подтвердил, Монталамбер присовокупил, и Гнейст запечатлел. Что касается до губернаторов того времени, то о них и говорить нечего: все они в один голос утверждали, что Токевиль прав. Не помню, что именно я лично тогда об этом вопросе думал — кажется, впрочем, надвое: и так хорошо, и этак недурно, смотря по тому, как лучше; но, во всяком случае, внезапное возобновление забытых дебатов на Песках, в ночную пору и в сейчас описанной обстановке, до того живо воскресило в моей памяти недавнее прошлое, что я в одну минуту помолодел и весь превратился в слух. Как и следовало ожидать, застрельщиком в данном случае явился «умница» Покатилов.

— В наше время,— сказал он,— губернаторская власть стояла твердо, но в то же время была свободна от нареканий, ибо находилась в пределах и требовала осмотрительности.

Сказал и умолк. И все присутствующие, не исключая даже кантонистов, утвердительно покачали головами, как будто для них быть осмотрительными столь же легко, как для обыкновенного обывателя быть твердым в бедствиях.

Но на меня эта profession de foi [1] произвела удручающее

[1] Исповедание веры.

впечатление. Признаюсь откровенно, с некоторых пор я смотрю на твердость власти совсем другими глазами.

Во-первых, я не только не смешиваю власти с осмотрительностью, но, напротив, вижу в последней некоторое препткновение; во-вторых, о пределах я даже и не мыслю: до такой степени самое упоминовение о них представляется мне несвойственным. И всем этим я обязан «последнему слову науки», выработанному современною русскою публицистикой.

Ступит на горы — горы дрожат,
Ляжет на воды — воды кипят.

Вот в каком виде понимает власть «последнее слово науки», и в каком не перестает рекомендовать ее русская публицистическая доктрина, начиная с шестидесятых годов. Последняя советует, от времени до времени, даже не без умысла допускать известную дозу неосмотрительности, дабы с ее помощью осуществить твердость власти в принципиальной ее чистоте. И я не только разделял это убеждение, но вместе с Токевилем восклицал: катать так катать! По-американски: all right![1]

Несомненно, что дореформенная власть была обставлена очень серьезными усложнениями; но несомненно и то, что усложнения эти не способствовали ее развитию, но составляли больное место, против которого и протестовало последнее слово науки. И что ж! Именно в пользу этих-то усложнений и раздалось здесь прочувственное слово! Где раздалось? — в среде одряхлевших и обиженных старцев, которые, по самой природе своей, скорее должны быть склонны к упрощению, нежели к усложнению!

— Позвольте, ваше превосходительство,— обратился я к Покатилову,— с одной стороны, твердость власти, с другой — пределы... осмотрительность... что-то я не понимаю! Так ли это? Не говорит ли нам последнее слово науки, что осмотрительность равносильна колебанию и что для освежения власти, от времени до времени, не бесполезно даже с умыслом выходить из пределов осмотрительности?

— Например-с?

— Допустим, например, что исправник, в видах испытания, предпримет мероприятие...

— Зачем-с?

— Положим, хоть бы для того, чтобы доказать, что распоряжение, даже и не вполне законное, должно быть выполнено...

— Всенепременно-с. Ежели распоряжение последовало, то

---

[1] все в порядке!

оно должно быть выполнено. Но зачем же непременно незаконное? Почему не начать прямо с «законного»-с?

— Зачем? Почему? Да просто вздумалось, захотелось. Взял да и сделал!

— Направляй кишку! направляй! — гаркнул спросонья Балаболкин (точно он слышал мои слова и хотел выразить мне сочувствие), но так громко, что с Людмилой Ивановной сделалось дурно.

— Ты бы, Фрол Терентьич, потише бредил! ведь этак нетрудно и навек человека уродом сделать! — вскинулся Краснощеков на оторопелого кантониста и затем, обращаясь ко мне, прибавил: — Есть в ваших словах некоторое основание, молодой человек, есть!

— Твердость власти и осмотрительность! — продолжал я, поощренный сочувствием Краснощекова,— но ежели я, облеченный властью, не обладаю осмотрительностью, ежели природа не наделила меня этим даром? Ежели, напротив, она наделила меня рыцарскою пылкостью и способностью следовать первым необдуманным движениям благородного сердца? Ужели я из-за этого навсегда должен быть лишен возможности осуществить власть?

— На это я могу вам, молодой человек, сказать следующее: в наше время даже лишенный осмотрительности человек силою вещей становился осмотрительным или, по крайней мере, вынужден был неосмотрительности своей давать другое назначение. Да-с.

И видя, что лицо мое продолжает выражать недоумение, умница поднял кверху указательный палец и продолжал:

— Обстановка была — только и всего.

И затем начал по пальцам пересчитывать:

— Губернский прокурор был — раз-с; губернский штаб-офицер был — два-с. Вот вам, с первого же абцуга, два лица, у которых и обязанностей других не было, кроме одной: неослабно иметь в виду начальственную неосмотрительность.

— Вспомните, однако, ваше превосходительство, что ведь, в сущности, это был лишь источник пререканий, который и начальство немало огорчал!

— Действительно-с. Именно так эти действия и назывались. Но в наше время слов не боялись, ибо всякому было ведомо, что за пререканиями скрывается власть, сама себя проверяющая. Если б не существовало пререканий, какое зрелище представилось бы глазам нашим? Не знаю, как вы на этот предмет смотрите, но я весьма опасаюсь, что мы увидели бы пространство, отданное в распоряжение неосмотрительному

человеку, который ни сам себя сдержать не в силах, ни обстановки под руками не имеет, которая благовременно его в чувство привести бы могла!

— И сколько мы видим примеров...— начал было Набрюшников, который, в качестве доброго подчиненного, до сих пор преимущественно помаваниями головы свидетельствовал о своем сочувствии, но теперь, очевидно, не мог уже сдерживать постигшего его умиления.

— Я не вижу даже надобности скрывать, что и на самом себе эти примеры испытал,— прервал его Покатилов.— Расскажу вам, какой однажды со мной случай был. Задумала моя Лукерья Ивановна пикник в загородной роще устроить. Прекрасно. Выдумали они там дроги какие-то необыкновенные, чтоб полгорода на них усадить, и натурально ко мне: позволь да позволь в эти дроги пожарных лошадей запрячь! Я — туда-сюда; однако переговорил с полицеймейстером, тот, с своей стороны, обнадежил,— бери, матушка! А на другой день ко мне штаб-офицер: «Но ежели, говорит, пожар?» Я опять туда-сюда: и полициймейстера за бока, и почему же, говорю, так-таки уж непременно и пожар? — а он уперся на своем: «Но ежели, говорит, пожар?» И что же-с! подосадовал я, признаться, однако вижу: полковник-то ведь прав! Протянул ему руку и говорю: благодарю, полковник! если б не вы, я, быть может, против закона бы поступил! Позвольте вас спросить: так ли мне следовало, на основании «последнего слова науки», поступить?

— По моему мнению, на основании последнего слова науки, полковнику никогда бы и в голову не пришло настаивать в таком деле, *которое вам лучше известно.*

— И я полагаю, что по нынешнему времени он бы не настаивал. Но в старые годы так не полагали; а если б полагали иначе, так управляемым и деваться, пожалуй, было бы некуда.— А в скором времени после того и другой казус со мной случился. Открылась в городе вакансия частного пристава, а меня кума давно уж о месте для мужа просила. Вот я и говорю ей: с богом, кума! А на другой день ко мне прокурор прикатил. «Это, говорит, духовная симония! Я, говорит, обязан буду донести!» Ну, и тут опять: подосадовал я, подосадовал, да и должен был согласиться, что прокурор прав! Как об этом новая наука-то ваша говорит?

Я хотел ответить, что такие действия наука называет расхищением власти; но величие покатиловской души до того подавило меня, что я безмолвствовал.

— А я вам скажу, как она говорит,— продолжал неумолимый старик,— она видит в таковых поступках противодей-

ствие... А наша, старинная, наука видела в них содействие, и лиц, на которых это содействие было возложено, именовала «надзором». Да-с, было такое слово в старину, которое ныне даже у старожилов из памяти исчезло. И начальство, с своей стороны, ежели и огорчалось, как вы говорите, пререканиями, то огорчались больше столоначальники, коим приходилось таковые разрешать; настоящее же начальство, напротив, радовалось, ибо знало, что ежели власть в соответственном виде проявлять себя желает, то надзором за подчиненными ей органами она не подрывает, а укрепляет себя. Может быть, это укрепление устроено было на старинный манер, но все-таки оно существовало, и никому в голову не приходило сказать, что оно не укрепление, а потрясение. Позвольте спросить: чтó, ежели бы я, воспользовавшись последним словом науки, поехал на пожарных лошадях на пикник, а у меня бы в это время полгорода огнем бы выдрало? Или если бы я, по слабости человеческой, губернию куме предоставил, а она, в свою очередь, прочим кумовьям ее раздарила? Утешительный ли бы получился от сего для начальства результат?

Вопрос был поставлен так решительно, что даже кантонисты испугались и вытаращили глаза, а генерал Краснощеков, который в свое время, вероятно, не раз отдавал губернию на подержание куме, смутился и молчал. Что касается до Набрюшникова, то он находился в таком восхищении, что без слов декламировал руками.

— Но ведь несомненно, что подобные действия, рано или поздно, и сами собой вышли бы наружу,— попытался я возразить.

— Сами собой-с? или, говоря другими словами, при помощи скандала-с? через посредство газетных корреспондентов-с? Покорнейше благодарю-с.

Умница привстал и поклонился; за ним, машинально, тот же жест повторил и Набрюшников.

— Но разве непременно необходим скандал? а келейно?

— Нельзя-с. Коль скоро обстановка нарушена и некому, в законном порядке, начальственную неосмотрительность ограничить, другого выхода, кроме скандала, нет-с. Да в наше время, признаться, келейностей-то и не признавали. Открыто действовали, не опасались. В сорок седьмом году, когда Фрол Терентьич Балаболкин по неосмотрительности три четверти города спалил, а остальную четверть, по строптивости характера, в кандалы заковал, прислали за ним из Петербурга фельдъегеря, посадили в тележку и увезли-с.

Все взоры на минуту устремились на Балаболкина, который, не подозревая, что о нем идет речь, тяжело сопел и в по-

полудремоте бормотал: «Направляй кишку! направляй! направляй! направляй!»

Лицо его было бледно, как бы измучено, и в то же время выражало совсем нерезонную непреклонность. С первого взгляда по этому лицу нельзя было угадать, что именно этот человек в состоянии предпринять, но ежели скажут — всему поверить можно. Что касается до меня, то в свое время и я слыхал рассказы об этом путешествии на тележке, но, признаюсь, считал их баснословием. И вдруг бог привел встретиться лицом к лицу с самим виновником торжества!

А «умница» между тем продолжал:

— А как вы о губернских правлениях полагаете? Легко было с ними ладить? Разве те они были, что теперь? Разве мог я советником помыкать: извольте, государь мой, подавать в отставку; вы мне не нравитесь, вы с дамами обращаться не умеете? В наше время, сударь, у советника-то поясница железная была, голос как у протодиакона; весь он, бывало, пропитанный сводом законов ходит, и у всех, на обеде ли, на вечеринке ли,— везде первый гость. И у преосвященного — свой человек. У меня один такой-то был, так я каждый день с ним до седьмого пота спорил. Я говорю свое, а он — свое; иногда — я его, иногда — он меня. Неприятно оно — что и говорить! — но, с другой стороны, и тут для начальствующего лица проверка. Пробовал было я, на первых порах, начальству докучать: возьмите, говорю, от меня сего строптивого чиновника! — а мне в ответ: «Не угодно ли, предварительно, факты таковой строптивости представить!» Факты-с! вот ведь какое слово было! а нынче и выговорить-то его порядком не всякий сумеет!

— Но ведь они взятки брали, советники ваши! Кому же это наконец не известно!

— Не отрицаю, дело возможное-с. Только скажу вам одно: если бы люди с таким умом и с такими познаниями жили в нынешнее время, то, судя по нынешней жадности, миллионерами бы они были — вот что-с! А я между тем из современников моих только одного советника губернского правления и знал, который настоящее состояние себе составил. Да и тот впоследствии в монахи постригся, а капиталы свои на Афон пожертвовал.

— И все-таки позволяю себе думать, что относительно фактов можно было бы и поснисходительнее взглянуть. Ведь губернское правление — это, так сказать, домашнее учреждение, в котором и допустить разноголосицу неудобно. А притом же советник-то, об увольнении которого вы просили, подчиненный ваш был... отчего же бы вам удовольствие не сделать?

— Да вы читали ли, молодой человек, «Учреждение губернских правлений»? Прочтите-с. Это не закон, а музыка-с. Никаких домашних учреждений в государстве не полагается-с. И учреждения, и формы — все пригнано так, чтобы пределы обозначить. И советники совсем не подчиненные были, а члены коллегии-с. Бывало, принесут журналы-то губернского правления, так в ином пальца три толщины, и всякий об особенном деле трактует! И весь он задом наперед написан: сперва конец, потом начало, а середину — сам ищи! Читаешь — и постепенно тебя объемлет. А в заключение: подтвердишь.

— И подтверждали-с! — весь сияя восторгом, воскликнул Набрюшников.

— А затем и посторонние ведомства. Нынешняя наука в них препятствие видит, а старая видела полезное разделение властей. И это, в свою очередь, пределы полагало. Я полагаю: вот так поступить, а, например, ведомство государственных имуществ — вот этак. Мы и переписываемся.

— Воля ваша, а это положительное расхищение власти!

— По-нынешнему — так. Даже странным кажется, ежели кто возражает. А в старину требовалось, чтоб власть сама себя оправдывала, а не ради того одного властью называлась, что ей мундир присвоен. Мундир давал внешние преимущества — этого и достаточно. Бывало, у обедни в соборе — я впереди всех стою; у головы на пироге — мне первый кусок; на бале в польском — я с предводительшей в первой паре; в заседании комитета — я на председательском месте; по губернии на ревизию поехал — от границы до границы уезда впереди исправник скачет; в уездный город приехал — купцы хлеб-соль подносят; уезжать собрался — провожают... Польщен, уважен, почтен, сыт — каких еще знаков больше!

При этом кратком перечне почестей, которыми окружена была дореформенная губернаторская власть, у всех стариков глаза разгорелись. Даже Гвоздилов позабыл, что у него на душе постыдное дело лежало, и щелкнул языком.

— А то, помилуйте! мундир во всей силе остался, а обстановка — упразднена!

— Ваше превосходительство! но разве можно так решительно утверждать, что обстановка упразднена? А суды? а земство? Разве это...

— Знаю-с; но ведь последнее слово науки в этих учреждениях расхищение власти усматривает. Я же, с своей стороны, скажу вам: суды и прежде, и нынче — всегда судами были. Всегда они особняком стояли, а ежели последнее слово науки и дразнится независимостью, так это, во-первых, одно пустословие, а во-вторых, к вопросу о прерогативах власти совсем

не относится. И прежде выберут, бывало, отставного прапора в председатели,— смыслу в нем ни капельки, а попробуй-ка кто-нибудь коснуться к нему! Что же касается земства, то разве наука ваша принимает его всурьёз? И тут она только дразнится и малодушествует. Ах, молодой человек, молодой человек! нынче даже сенат — и тот предостерегающее значение утратил... Сенат-с!!

При упоминовении о сенате в комнате водворилась такая тишина, что даже лакей, убиравший со стола тарелки, и тот остановился как вкопанный. Первый нарушил очарование Набрюшников, но и то шепотом, единственно по чувству преданности.

— Нынче даже радуются, ежели сенат огорчен,— шепнул он соседу своему, Купидонову.

— Всё упразднено-с,— заключил Покатилов слабеющим голосом,— «надзор» — упразднен-с, коллегия — упразднена-с, а что вновь установлено, то в смешном и вредном виде представляется...

«Умница» махнул рукою и умолк. На его место, в роли обличителя, выступил генерал Чернобровов.

— Сенат-с,— сказал он,— а особливо московские оного департаменты... Это, я вам доложу, в своем роде антик был! Указы-то, бывало, охапками с почты таскают, так что ежели посторонний человек при этом случится, так только руками разведет: неужели, мол, на всю эту охапку отвечать надо? А там спустя время пойдут и донесения на охапку: «Зачем, по присланному из сената указу, исполнения учинить невозможно». Принесут, бывало, из губернского правления охапку рапортов — иной в палец толщины — так только об одном думаешь: все ли тут откровенно написано? И ежели чуть где заметишь: «К сему необходимо присовокупить», или вообще умствование какое-нибудь — «те-те-те, голубчик! прошу от умствований уволить! сенат и сам разберет, что худо, что хорошо,— нечего его наводить!» Вот, мой друг, какие мы, старики, чувства к сенату питали!

— Всякий, бывало, ябедник, и тот в сенат,— заикнулся было Гвоздилов, но вспомнил, что у него на душе постыдное дело лежит, и замолчал.

— И ябедники свою долю пользы приносили-с,— холодно заметил ему Покатилов.

— Ябедники! Но ведь это язва! — воскликнул я.

— И они предел полагали-с.

Я был побежден. Какой, однако ж, изумительный механизм! сколько гарантий! Губернский прокурор — раз, губернский штаб-офицер — два, губернское правление — три, посторонние

ведомства (в том числе и начальник земской конюшни) — четыре, почтмейстер — пять, ябедники — шесть. И в облаках — сенат... московские оного департаменты!

И никто не жаловался, что много, никто не кричал: караул! власть расхищают! Вот бы когда хоть чуточку пожить!

Правда, что перед моими глазами сидели такие два экземпляра минувших дней, которые не весьма свидетельствовали в пользу устойчивости гарантий, а именно: Балаболкин и Пучеглазов (а очень вероятно, и Гвоздилов с Краснощековым); но ведь зато Балаболкин и проехался с жандармом в тележке. Что же касается до Пучеглазова, то он и до сих пор хорошенько не знает, каким образом он губернаторства лишился. Догадывается, только, что, должно быть, правитель канцелярии подсунул ему прошение об отставке подписать, а его и уволили. Так ведь и это своего рода гарантия. Кабы дать Пучеглазову волю, как этого требует последнее слово науки, так он, чего доброго, всю бы губернию сквозь строй прогнал, а правитель канцелярии понял это и упредил.

Было двенадцать, но никому и в голову не приходило, что это час привидений. Напротив, все продолжали сидеть за столом, совсем как бы живые. Но если б не крикнул в эту минуту на соседнем дворе петух — конечно, нельзя поручиться, какое превращение могло бы произойти!

Однако все обошлось благополучно, и любезный хозяин первый ободрил нас, подновив потухающую беседу рассуждениями на тему распорядительности.

— Вот вы сейчас о пределах слышали,— сказал он,— но не думайте, что ежели кто предел исполнил, тот уж освобождался от распорядительности. Требовалось, чтоб губернатор и в пределах оставался, и в то же время хозяином во всей губернии был, чтоб везде сам. Дорогу березками обсадить, пожарную трубу выписать, новый шрифт для губернской типографии приобрести, мостовые в городе исправить, бульвар устроить, фонари на улицах завести — вот задачи, которые, в старину, каждый начальник губернии обязан был выполнить. А затем и все остальное. Условился я, например, с начальником земской конюшни, чтоб по всей губернии лошади у крестьян были саврасые,— и выполнил. И не мерами строгости и понуждения я результатов достиг, а единственно с помощью распорядительности. И так эта масть у нас прижилась, что после того сколько ни старались создание мое разрушить, а и теперь еще в захолустьях крепкая саврасая порода сердце поселянина радует!

— Его превосходительство изволили московский тракт березками усадить,— присовокупил Набрюшников, почтительно

указывая на Покатилова,— а после них приказали эти березки рубить. И что же-с! даже посейчас в ином месте березка целехонька стоит!

— Так вот что́ значит, мой друг, распорядительность! — обратился ко мне Чернобровов,— только раз ее стоит проявить, так потом века невежества пройдут, но и те плоды ее вполне истребить не смогут! Хоть одна березка, а все-таки останется.

— И просвещение, и продовольствие, и народная нравственность, и холера, и сибирская язва, и оспа — в одной горсти было! — вторил Чернобровову Набрюшников.

— И на все хватало времени. А нынче куда все это девалось? Говорят: отошло... но куда?

— Да туда же, куда и все прочее: измором изныло! — несколько раздраженно откликнулся Покатилов.

Воцарилось глубокое и скорбное молчание, до краев переполненное вздохами. Прасковья Ивановна потихоньку встала и отворила в соседней комнате форточку.

— Ваше превосходительство! ведь вы такую картину современности нарисовали, что трудно даже представить, как люди жить могут! — обратился я к Покатилову.

— Разве жизнь от нас зависит-с? Предоставлено нам жить — и живем-с.

Эти странные слова еще больше усилили общее уныние. А тут еще и Краснощеков подбавил.

— Бывало, я еду по губернии — и понимаю! — воскликнул он, грозя очами,— и себя самого, и других — все понимаю! Направо посмотрю и налево посмотрю — вижу-с! Чуть ежели что — стой! вылезу из экипажа и распоряжусь-с! А нынче «он» что? Потуда он себя и чувствует, покуда из квартиры до вокзала железной дороги, облаком одеянный, едет! Приехал, сел в вагон — что «он» такое? — кладь-с! Везут его, как и всякую прочую кладь, а куда везут — он не знает! Силу пара остановить не может, рельсы с дороги снять — не имеет права! задний ход дать — не умеет! А ежели на станции шуметь начнет — сейчас протокол. И пойдут перед всем честным народом разбирать, в какой силе он шум производил «при исполнении» или просто в качестве разночинца. Срам-с.

— Направляй кишку! — взвыл во сне Балаболкин и в то же время так сильно покачнулся вбок, что едва не свалился со стула.

Это была последняя вспышка; приближался процесс старческого разложения. У всякого что-нибудь затосковало. У Чернобровова — нога, у Покатилова — лопатка, у Краснощекова — поясница. Все чувствовали потребность натереться на

ночь маслицем и надеть на голову колпак. Даже дамы не без умысла любопытствовали, какое сегодня число?

Увы! передо мною приподнят был лишь край таинственной завесы, скрывавшей прошлое! Собственно говоря, я получил более или менее ясное представление только о «пределах»; о творческой же деятельности дореформенных губернаторов я знал только одно: что они могли распространить саврасую масть. Но как они относились к сокровищам, в недрах земли скрывающимся? Как понимали вопрос о движении народонаселения? Одобряли ли заведение фаланстеров? доставляли ли в срок сведения, необходимые для издания академического календаря, и в каком смысле: тенденциозные или наивные? Признавали ли пользу травосеяния? верили ли в чудеса, или считали оные лишь полезным мероприятием в видах обуздания простолюдинов? Находили ли достаточною существующую астрономическую систему, или полагали оную, для пользы службы, отменить? провидели ли гессенскую муху, сусликов, кузьку, скопинский банк, саранчу? Какими идеалами руководились при определениях, увольнениях и перемещениях? — вот сколько вопросов разом пронеслось передо мной, и все они остались такою же загадкой, как и в то утро, когда генерал Чернобровов благосклонно почтил меня приглашением.

По примеру прочих, я уже собрался встать, как встретил устремленный на меня взор Купидонова, который как бы говорил: так неужто же от меня и научиться уж нечему?

— Может быть, и вы имеете что-нибудь сказать, полковник? — обратился я к нему.

— Немногое,— ответил он,— но тоже в своем роде... Первые мостки через Неву я еще при блаженной памяти Александре I устраивал и затем ежегодно, весною и осенью, в течение тридцати лет, нес на себе эту обязанность. И сошлюсь на всех: каковы были дореформенные мостки и каковы нынешние?! Только и всего.

Он простер руку и щелкнул языком. Но уже вряд ли кто из стариков порядком слышал его слова. Только Прасковья Ивановна слегка плеснула руками, но и то, по правде сказать, больше в знак благодарности за провесную белорыбицу, которую Купидонов в этот вечер для закуски доставил.

Через пять минут я был уж дома. В душе у меня была музыка, так что когда кухарка, вся заспанная, отворяла мне дверь, то первые мои слова, обращенные к ней, были:

— Ах, Мавра, Мавра! ты спишь, а того и не подозреваешь, что я весь вечер сегодня провел... с утешением сената!

ПИСЬМО VII

И что же на другой день оказалось!!

Что весь вчерашний вечер я провел среди членов тайного общества «Антиреформенных Бунтарей»!

Покатилов — глава и основатель общества; Краснощеков — человек судьбы, долженствующий, в случае надобности, выехать на белом коне; Пучеглазов — правая рука; Балаболкин — левая; Набрюшников — вестник; Гвоздилов — предатель. Словом сказать — вся обстановка, не исключая и дам, на которых возложено щипание корпии и приготовление бинтов.

Как, однако ж, обманчива наружность! До сих пор я представлял себе члена тайного общества не иначе, как в виде взъерошенного человека, который питается сильно действующими веществами и пóходя изрыгает из себя подпольные прокламации,— и вдруг что же увидел? — Самых обыкновенных плешивых стариков, которые даже твердой пищи разжевать не в силах, которые не то говорят, не то урчат и вообще ведут себя до того тлетворно, что без хорошего вентилятора с ними невозможно быть! А между тем в них-то именно и засело потрясение основ! Поди угадай!

Общество Антиреформенных Бунтарей имеет обширные разветвления по всей России, но существенные распоряжения разрабатываются предварительно на Песках и отсюда уже расходятся, в виде лозунгов, по всем захолустьям. В провинции главный контингент общества составляют отставные исправники, при благосклонном содействии господ предводителей дворянства. В столице — отставные губернаторы, при благосклонном содействии любителей, не пожелавших, чтоб имена их были известны.

У общества имеется свой устав и своя печать. Устав написан так, что можно читать и сверху и снизу и затем, вынув середку, опять читать. Печать изображает птицу с распростертыми крыльями, обращенную головою вниз; под нею девиз общества: «Поспешай обратно».

Цель общества: восстановление московских департаментов сената. А сверх того — и всё остальное.

Махинации общества долго оставались незамеченными; но в последнее время за ними стали следить, так как дошло до сведения, что для Краснощекова уже приторговывают белого коня. И ежели бы вчера вечером околоточный не позабыл подать свисток, то очень может быть, что теперь...

— Мавра! Мавра! куда я попал!

Все это сообщил мне Купидонов. Он тоже член общества, но притворный. С помощью икры, провесной белорыбицы и

других, не особенно ценных, подарков он успел овладеть доверием женщин и через них узнать корни и нити. В последнее время он приобрел очень ценное сведение: узнал имя извозчика, у которого продается белый конь. На всякий случай Купидонов тоже вооружен свистком, который он мне и показывал. Видом своим этот свисток напоминает трубу, которую мы в свое время услышим на Страшном суде.

Тем не менее Купидонов рассказывал все это так непоследовательно и противоречиво, что я долгое время не знал, следует ли мне испугаться или не следует. Так, например, сначала он сказал, что свисток ему подарил «генерал» в знак особливого к нему доверия. Но через минуту хвалился, что он этот самый свисток приобрел по случаю у отставного околоточного за шесть гривен. То же самое и насчет коня: никак нельзя было понять, слепой он или зрячий... Однако, рассудив зрело, я пришел к убеждению, что испугаться во всяком случае безопаснее. Может быть, Купидонов и пустяки нагородил, а все-таки недаром пословица говорит, что береженого бог бережет.

На этом основании я сейчас же раскрыл все ящики моего письменного стола и, к ужасу своему, нашел в них два глубоко компрометирующих письма. В одном меня уведомляли, что в конспиративной квартире три заговорщика уже собрались и с нетерпением ожидают четвертого, дабы «приступить». В другом — сообщали, что «рецепт порошка возвращается с благодарностью»... Поди доказывай, что в первом письме говорится о «винте», а не о революции, а во втором — зубном порошке, а не о динамите! Сейчас же, тайно от кухарки Мавры, я сжег оба документа и пепел развеял по ветру. Затем взял шапку и побежал к Чернобровову, чтобы заявить ему о своем несочувствии...

Но было уже поздно: вся наша лестница была запружена понятыми. А через час нас всех направили «в комиссию»... Тайных советников повезли в извозчичьих каретах, меня — повели пешком.

Молчание.

Современники не должны знать о такого рода делах, ибо они секретные. Впоследствии, когда тайности мрака времен сами собой выступят на скрижали истории, потомки с удивлением узнают, в каких преступлениях погрязли их предки. А до тех пор я могу открыть только следующее: что лишь благодаря целому ряду ловко обдуманных alibi я успел выйти из дела неповрежденным...

. . . .

Через два часа наше дело округлили и уже собрались от-

пустить нас на все четыре стороны, как вдруг при проверке арестантов оказалось, что одного нет налицо: Гвоздилов бежал из-под стражи. Сию минуту разослали во все стороны хожалых, а через короткое время один из них принес вицмундир Гвоздилова, найденный на берегу Невы, за Калашниковскою пристанью. Увы! почтенный старик предпочел добровольную смерть ожидавшему его позору разоблачения.

Потужили, составили протокол и, как водится, рассказали несколько анекдотов из жизни покойного, не к стыду его относящихся. И так как адмиральский час уже наступил, то презус округлительной комиссии велел подать водку и, наполнив рюмку, помянул безвременно погибшую жертву охранительного недоразумения. Причем счел не лишним выразить предположение, что с самого основания Петербурга Гвоздилов явил собой едва ли не первый пример тайного советника, обретшего забвение своих вин в хладных объятиях Невы, но что, впрочем, нужно надеяться, что сей первый пример будет и последним. Ибо даже в самые горькие минуты жизни человек не имеет права распоряжаться сим драгоценным даром творца, но обязан с покорностью выжидать начальственных по сему предмету распоряжений.

Наконец момент расставания наступил. Объявляя нам свободу, презус комиссии нашел полезным произнести напутственное слово, допустив в нем некоторые, не лишенные язвительности, оттенки.

— Господин тайный советник Покатилов! — сказал он, обращаясь к главе заговорщиков,— что преступление, в котором обвиняетесь вы и ваши почтенные единомышленники, было действительно вами совершено, это не подлежит для меня никакому сомнению. Вы собирались по ночам в конспиративной квартире; вы замышляли переворот в пользу восстановления московских департаментов сената, а затем и всего остального; у вас найдены значительные запасы корпии и бинтов, что свидетельствует, что замыслу вашему не чуждо было и предположение о кровопролитии... Все это доказано достоверными свидетельскими показаниями, так что ежели бы к действиям вашим применить общепринятые понятия о возмездии, то я не ручаюсь, что вы вышли бы отсюда неповрежденными. Но комиссия наша рассудила иначе. Она нашла, что намерения ваши столь благовременны и столь тайным советникам свойственны, что мне ничего другого не остается, как сказать вам: идите с миром и продолжайте вашу благонамеренно-преступную деятельность! Об одном прошу вас: будьте осмотрительны в выборе ваших соумышленников! Не

увлекайтесь мишурою популярности! не допускайте необдуманных и опасных сближений! Помните, что коварство на каждом шагу подстерегает вас и что благодаря ему *благо*временное может сделаться неблаговременным и *благо*намеренное — неблагонамеренным.

Затем, обратившись ко мне, он продолжал:

— Вы свободны. Благодаря вашей ловкости Немезида правосудия и на сей раз остается неудовлетворенною. Но знайте, что ежели настоящее исследование не дало вполне непререкаемых улик для определения характера и состава содеянного вами преступления, то намерения, которые одушевляют вашу общую деятельность, ни для кого уже не составляют тайны. Довольно! без возражений! Я не для того обращаю к вам речь, чтобы вступать с вами в пререкания, а для того, чтоб вы прониклись моими благими пожеланиями и приняли их к руководству. Sapienti sat [1].

Высказавши это, презус щелкнул каблуками (хотя он был штатский, но торжественность минуты до такой степени покорила его, что он без шпор не мог себя мыслить) и вышел. На прощанье он послал воздушный поцелуй в сторону тайных советников, а в мою сторону погрозил очами.

Я возвращался из комиссии с понурой головой и с завистью смотрел на генерала Краснощекова, который шел впереди, горделиво выгнув шею и выделывая ногами лансады. К тому же я чувствовал, что у меня что-то ползет по спине: очевидно, это был клоп, которым, в отместку за отсутствие улик, меня снабдили в комиссии. Несколько раз я порывался нанять извозчика, чтоб поскорее попасть домой; но извозчики пристально осматривали меня с головы до ног и, ни слова не говоря, настегивали лошадей. Очевидно, печать преступления, несмотря на короткое время, уже успела лечь неизгладимым клеймом на моем челе.

Тщетно исследовал я свое житие, чтоб уяснить себе, что́ именно могло внушить почтеннейшему презусу округлительной комиссии столь невыгодное мнение об общем характере моей деятельности,— я не припоминал в прошлом ни одного факта, который подтверждал бы это мнение. Правда, что я либерал — это так точно, ваше превосходительство! — но либерал до такой степени скромный и смирный, что даже в участке, в графе: «чем занимается»,— прописан: «всего опасается». Живу я уединенно, беседую с кухаркой Маврой и не только оружия, но даже простого тесака у себя в квартире не имею. Один только и есть за мной грех: от времени до времени

---

[1] Мудрому достаточно.

пописываю — ну, да ведь нельзя же совсем уж закоченеть, потому только что кругом дым коромыслом стоит...

Но и в писаниях своих я в высшей степени скромен. Я не препятствую так называемым консерваторам быть консерваторами, не обвиняю их ни в измене, ни в революционных замыслах и не удивляюсь, что из их лагеря сыплются насмешки и обличения на либерализм. Все это в порядке вещей, все так и следует. Но когда эти люди для защиты своих мнений прибегают к предательским полемическим приемам — признаюсь, это меня возмущает. По моему мнению, это — гнусность, в которой нет надобности ни для оживления столбцов, ни для розничной продажи.

Поэтому, когда я устно или печатно заявляю, что всякое убеждение, какова бы ни была его окраска, может и должно быть защищаемо без подвохов (а я покуда именно только этого и добиваюсь), то мне положительно никогда не приходит на мысль (или, по крайней мере, до сих пор не приходило), чтобы подобное заявление заключало в себе попытку на потрясение основ и непризнание авторитетов. Я просто-напросто призываю к честности и опрятности — и ничего больше...

Но, к сожалению, приходится убедиться, что, при известных обстоятельствах, и потрясения, и посягательства — все бледнеет и стирается перед вопросами о каких-то личных привилегиях самого низменного свойства. Так что если б я завел в своей квартире целый склад тесаков, то в глазах очень многих людей это действие представлялось бы менее вредным, нежели, например, выражение удивления по поводу какого-нибудь бесшабашного публициста, который, засевши по уши в грязь, брызжет ею во всех, имеющих дерзновение не признавать его мудрецом.

Так, мало-помалу, мельчает и вырождается старинная распря между либералами и охранителями. Содержание спора все больше и больше тускнеет, а на место его выступают микроскопические детали и подвохи, которым, ради декорума, присвоивается наименование ловких приемов. И очень возможно, что недалеко время, когда, по воле всемогущих судеб, либерализм совсем очутится вне боя, а охранители, почувствовав себя окончательно свободными от всякой узды, будут на всей своей воле без пороху палить в пустое пространство...

Я знаю, найдутся читатели, которые скажут, что все описанное выше не только преувеличено, но просто-напросто представляет сплошную небывальщину. Замечание это, впрочем, нимало меня не смутит, потому что я и сам вполне с ним

согласен. Я лучше, нежели кто-нибудь, знаю, что в натуре не было ни умницы Покатилова, ни рыцаря Краснощекова, ни жен их, ни наперсников, ни конспиративной квартиры на Песках, ни тайного общества Антиреформенных Бунтарей. Никогда ничего подобного я не видал, о необходимости восстановления московских департаментов сената ни от кого не слыхал и за подобные разговоры ни в какую комиссию призываем не был. Но и за всем тем, я утверждаю по совести, что все написанное мною об этом предмете с подлинным верно и что ежели, например, не существует в натуре общества антиреформенных бунтарей, то существует дух времени, который нельзя назвать иначе, как антиреформенно-бунтарским, и который с каждым днем приобретает все бо́льшую и бо́льшую авторитетность.

Я утверждаю, что этим духом пропитана вся влиятельно-интеллигентная Россия и что конспиративные сетования, раздающиеся на Песках (зри выше), во сто крат менее карикатурны, нежели те, которые на каждом шагу приходится слышать и на улицах, и в публичных местах, и — по преимуществу — в салонах и кабинетах. Везде мы встречаемся с несомненными сивыми меринами, которые пропагандируют несомненно полоумные фантазии и бреды и, не обинуясь, присвоивают им наименование политических и административных программ.

Поэтому, ежели читатель справедлив, и притом не ограничивается одним буквальным пониманием читаемого, то он будет вынужден признать, что в предыдущем моем письме я не только ничего не преувеличил, но, во многих отношениях, стоял далеко ниже действительности. А сверх того, у меня имеется в запасе и еще одна оправдательная оговорка: подождите! Почем вы знаете, чем чревато будущее? Ведь перспективы бредов до такой степени растяжимы, что никакая карикатура не в силах наметить границу, где обязательно должен завершиться их цикл.

По моему мнению, в общем нестройном хоре антиреформенной разнузданности умница Покатилов выделяется с несомненною для себя выгодою. Сопоставления, на которых он основывает свои тяготения к дореформенности, не лишены некоторых странностей, но в то же время свидетельствуют о замечательном остроумии и подлинной резонности. Логический ум старого практика не допускает ни разброда, ни скачков, ни игры в прятки, ни даже рыцарских порываний неведомо куда (в чем достаточно изобличается, например, благородный генерал Краснощеков), но прямо укрывается под сень закона и в нем отыскивает все, что нужно для того, чтоб уте-

шить сенат. Покатилов отнюдь не притворяется, являясь горячим защитником гарантий; нет, он воистину понимает, что без гарантий невозможно существовать ни правящим, ни управляемым. Конечно, обстановка, в которой он представляет себе обеспеченность, несколько устарела и, в сущности, сама не весьма обеспечена, но это уж вина не его, а его времени. Он воспитан в идеалах самой простецкой обстановки и других, более утонченных форм легальности не знает. Но так как он относится к своим «простым» идеалам без малейшего глумления, и притом всякому недовольному его действиями охотно рекомендует: идите, жалуйтесь! вон сколько гарантий начальством для вас наготовлено! — то, очевидно, в нем происходит в это время процесс, довольно близкий к представлению об ответственности. Ибо как ни прост обыватель, но и ему, ввиду указания гарантий, может прийти в голову: а что, в самом деле! пойду да и пожалуюсь!

На что, собственно, Покатилов негодует? — он негодует на то, что мундир остается в прежней силе, а обстановка упразднена. По его мнению, мундир, лишенный обстановки, прикрывает собой самочинную пустоту, которая может извлечь из себя только один звук: фюить!.. Но разве можно в слове «фюить» видеть какую-нибудь гарантию?

Но что важнее всего: требуя гарантии для жизни вообще, умница Покатилов понимает, что гарантия эта прежде всего ограждает его самого. Несмотря на свое властное положение, он никогда не причислял себя к сонмищу богов, но положительно сознавал себя смертным. Все великие дела на земле были совершены «смертными» — отчего же и ему, обсадившему березками московский тракт, не признать себя таковым? Ничего тут унизительного нет. А коль скоро он с этим примирился, то и отношения его к прочим власть имеющим лицам, и к управляемым, и даже к природе приобрели более человечный характер. Он не артачился, когда жандармский штаб-офицер предупреждал его, что пожарные лошади существуют не для пикников, и не фордыбачил, когда прокурор являлся с протестом против отдачи губернии или части ее в распоряжение родственникам кумы. Напротив, и в том, и в другом случае он приклонял ухо и, выслушавши протест, подвергал его всестороннему и зрелому обсуждению. Согласитесь, что это с его стороны было и мило, и вполне согласно с законами.

Точно то же и относительно управляемых. Зная, что существуют особливо аккредитованные лица, которым достоверно известно, что он, Покатилов, не для того прислан, чтобы неистовствовать и сокрушать, а для того, чтобы приклонять ухо

и, по мере возможности, оказывать удовлетворение, он не бросался на управляемого как озаренный, не огорошивал его, а с терпением выслушивал его речи, хотя бы они были и не вполне внятны. На первых порах и он, по поводу этой невнятности, немало скверных слов потратил; но когда однажды жандармский штаб-офицер ему доложил: «Ах, ваше превосходительство! ведь и вы не всегда внятно изволите говорить!» — то он запомнил эти слова и раз навсегда сказал себе, что задача умного администратора не в том состоит, чтобы совмещать в своем лице глубокомысленных Платонов и быстрых разумом Невтонов, а в том, чтобы обладать снисходительностью и терпением. Ибо нужды обывательские так скромны, что не требуют ни быстроты разума, ни глубокомыслия, а только простой справки с законами и бывшими примерами. На этом основании он даже и ябедников не особенно преследовал. Говорят, будто бы он их боялся; но я позволяю себе думать, что не один страх заставлял его так поступать, но и убеждение, что сословие ябедников представляет собою убежище, в котором находит себе защиту поруганная общественная совесть.

Что же касается до отношений к природе, то смягчение их является как естественное последствие общего умиротворения административных нравов. Администратор, который не состоит в постоянной борьбе с законом и не ставит себе задачей повреждение управляемых, встречает солнечный восход с несравненно бóльшим умилением, нежели администратор, который накануне растоптал закон и самочинно огорчил целую уйму обывателей. И не по тому одному его умиляет солнышко, что он считает его своим двоюродным братцем, но и потому, что лучи его одинаково светят и правящим, и управляемым, и вообще всю природу согревают и оживляют. Пускай не он один, а все вообще радуются и согреваются — он не только этому не препятствует, но готов даже содействие оказать.

Ныне все это изменилось. Увы! из нынешних администраторов едва ли найдется такой, который может свободно на солнце взглянуть... А почему? — потому что такое уж нынче веяние: и в звере, и в птице, и в земле, и в водах, и даже в светилах небесных — во всем видеть посягательство и грубиянство, которое необходимо усмирить.

Повторяю: формы, в которые облекались идеалы Покатилова, были несколько неуклюжи, но самое зерно этих идеалов несомненно заслуживало сочувствия и похвалы. Он, прежде всего, пламенел перед законом и не только не позволял себе выражаться, что такой-то закон издан впопыхах, а такой-то представляет собой плод бунтующей плоти, но даже к из-

вестному афоризму: «по нужде и закону премена бывает» — относился с величайшею осмотрительностью. «Бывает премена,— говорил он,— но лишь тогда, когда таковая в законодательном порядке утверждена». Равным образом, он не молол суконным языком, что сенат есть учреждение крамольническое, но, пылая к нему сыновнею любовью, всякое разъяснение с его стороны принимал яко дар, а порицание или похвалу — яко мзду и воздаяние. Одним словом, сознавая себя лишь спицей в колеснице, он, вместе с другими спицами, скромно вертелся в подлежащем колесе, трепеща и ревнуя, так точно, как в том перед богом, на Страшном его суде, ответ дать надлежит.

Вот каков был умница Покатилов. Конечно, это был в своем роде антик, которому за его непреоборимое уважение к закону не напрасно было присвоено наименование «Утешение сената»; однако ж я очень хорошо помню целую школу администраторов, которые воспитаны были в страхе сенатском, и нимало этим не тяготились. И хотя не все последователи этой школы были столь же непреоборимы, как Покатилов, однако ни один из них человеческою своею слабостью хвалиться во всеуслышание не дерзал.

Очень возможно, что таковые качества тайного советника Покатилова побудили и презуса округлительной комиссии отнестись к злоумышлениям его с благосклонною симпатией. Но, по мнению моему, это было с его стороны недоразумение. Презус, очевидно, не понял покатиловских идеалов или, лучше сказать, понял только ту их часть, которая выражала стремление к восстановлению московских департаментов сената. Мысль о гарантиях (а она-то именно и составляла главное зерно) положительно ускользнула от него, и я убежден, что если б он ее понял...

Но не будем увлекаться гаданиями, а лучше подивимся мудрости Покатилова, который и в самом бунтарстве своем явил несомненную проницательность.

Он понял, что с гарантиями, по нынешнему времени, соваться не приходится, и потому преднамеренно утопил свою мысль в целом море белиберды. Белиберда — это, так сказать, воздух, которым дышим, хлеб, которым мы питаемся. Это не только существеннейший признак времени, но и отличнейшая во всех смыслах рекомендация. Во всех видах она хороша: и как pièce de résistance[1], и в виде гарнира. Без ее содействия — всуе будет труждаться зиждущий, с ее помощью — даже восстановление московских департаментов сената представляется лишь вопросом времени...

---

[1] главное блюдо.

Но и за всем тем, сравните белиберду покатиловскую с тою, которую источает его дальний родственник, тайный советник Крокодилов, и вы удивитесь, какое существует разнообразие белиберд и как громадно может быть расстояние между ними.

Небо — и земля; солнце — и сальная свеча; слон — и моська; мраморные палаты — и скромный дощатый киоск для проходящих...

Никогда антиреформенные бунтари не действовали так решительно, никогда не распложались в таком множестве, как в наше время. Вся интеллигентствующая Россия охвачена сетью конспиративных белиберд, которые не могут определить предмета своих вожделений и протестуют единственно под влиянием взбудораженного темперамента. В глазах знаменосцев кутерьмы весь существующий порядок, поскольку в нем слышится стремление к установлению принципа законности, есть не что иное, как плод нечаянного недоразумения. Это не порядок, а мир призраков, на который стоит лишь дунуть, чтоб птица с письмом «поспешай назад» — немедленно доставила его по адресу.

Но что всего замечательнее, нигде это противоестественное, во имя белиберды протестующее, движение не распространено так сильно, как в той среде, которая, по самой своей профессии, обязывается стоять на страже установившихся порядков.

Нет той мелкой сошки, которая не угрожала бы или не глумилась, смотря по темпераменту. Долго сдержанные инстинкты разнузданности нашли неожиданно-свободный исход, а бестолочь, десятками лет накоплявшаяся в умах, вышла из берегов и, как в половодье, гневно разлилась во все стороны. Это уже не протест, исход которого более или менее гадателен, а целая победа, сразу доведенная до бесчинства. Над чем бесчинство? Над порядком, который на каждой странице кодекса носит наименование «установленного», — над порядком, благодаря которому сыты, обуты и одеты те самые, которые ежеминутно, и прямо, и косвенно, его подрывают.

Прислушайтесь к беспутному го́мону, перекатывающемуся из края в край и окончательно находящему убежище в торжествующей части нашей так называемой прессы,— и вы убедитесь, что сам баснословный петух не отличит, что в этой неистовой околесице жемчужное зерно и что — навоз. И не отличит по очень простой причине: ничего, кроме навоза, тут нет. Одно вполне ясно в этой сутолоке: на каждом шагу продается отечество. Продается и при содействии элеваторов, и

при содействии транзитов, и даже при содействии джутовых мешков. Все это, в сущности, нимало белибердоносцев не интересует, а представляет лишь один из современных таинственных лозунгов (несменяемость, динамит, конституция и т. п.), дающих некий повод для надругательства.

Живые притаились в могилах; мертвые самочинно встали из гробов и ходят по стогнам, стуча костями. Кладбищенское волшебство заменило здоровую, реальную жизнь. Такие слова вновь вошли в обиход, которые считались давно упраздненными; такие мысли приобрели авторитет, от которых недавно даже осел отказывался: что вы! никогда ничего подобного я не мыслил! На днях мне случилось в одной из газет вычитать «правду», в четырех строчках некоторым обывателем нацарапанную,— клянусь, я и не подозревал, чтобы человеческий язык был способен выговорить те звуковые сочетания, которые в этой «правде» без малейшего затруднения в обнаженном виде осуществлены!

Я не говорю, чтобы такое положение вещей могло считаться серьезно-угрожающим, но не скрываю от себя, что многое в этом случае зависит от того, глубоко ли укоренилась белиберда, или же корни ее расползлись только по поверхности.

В первом случае умственное оскудение может со временем все функции общественной жизни извратить и довести до негодности; во втором — это оскудение настигнет лишь те слои общества, которые, за свое дурное поведение, окажутся вполне того заслуживающими.

Но даже в этом последнем, смягченном виде умственная атрофия представляется далеко не безопасною. Ежели знаменосцы белиберды и не настолько сильны, чтобы пропитать бессмыслицей весь общественный организм, то все-таки у них имеется в руках целая номенклатура мелких уколов, с помощью которых представляется возможность сделать массу частного зла. У нас это частное зло как будто даже и в счет не идет. Исчез человек, наложил на себя руки, дошел до последней степени отчаяния — велика важность! Нам надо целую уйму погибших людей, чтобы встревожиться и признать в этом факте достойное внимания явление...

Ах, господа, господа! согласитесь, однако, что и единичный человек — все-таки человек! В мире червей, конечно, не особенно существенно, если раздавлен какой-то *один* червяк. На червяка наступают нечаянно, да и ему самому быть раздавленным не так больно, потому что он ничего не предвидит и, следовательно, ни к чему не готовится. Но человек сознает и предусматривает; он видит ногу, которая занесена над ним, он знает, зачем она занесена, и зрелище это, несомненно,

должно породить в нем соответствующие ощущения. Какие?

Эта легкая возможность частного зла совершенно удовлетворительно объясняет тайну успехов белиберды. Герои, которые в состоянии дать отпор, составляют исключение, а средний человек, которым кишит вселенная, судорожно цепляется за свою неповрежденность. Он-то своими боками и демонстрирует властность белиберды. Он охотно сторонится перед белибердой, поддакивает ей, лишь бы она прошла, не заметив его. И нередко действительно проскальзывает, хотя и не без мучительных изворотов. Ибо и белибердоносцы враждуют и препираются между собою; и они образуют партии, между которыми приходится выбирать. Так, в данную минуту человека зарекомендовывает *вот эта* белиберда, а не *та;* не покатиловская, например, а крокодиловская... Следовательно, и поддакивать нужно *вот этой* белиберде, а не *той*. Как тут угадать?

Мало кликнуть клич: поспешай назад! — надобно с точностью указать, в какой именно киоск надлежит поспешать. Мало сказать: нам ничего не нужно, кроме помоев,— надобно с достоверностью определить вкус, цвет и запах искомых помоев. Как разобраться в этом разнообразии? как угадать, какая белиберда надежнее, какой предстоит более прочная будущность?

Белиберда, не только требующая безусловной сдачи на капитуляцию, но и доходящая в этих требованиях до прихотливости — кто скажет, что это реальность, а не постыднейшее сновидение обезумевшего от страха раба?

А еще говорят о преувеличениях, о карикатуре, о клевете... О, маловеры!

Однако каким же образом жить? Каким образом устроиться с чувством самосохранения, которое все-таки нельзя не принимать в расчет? Герои, конечно, легко отыщут выход и из самых мучительных затруднений, но повторяю: не о героях идет здесь речь, а о тех средних людях, которые совершают средние, законом не возбраняемые, дела и прежде всего желают осуществить свое право на существование.

Каким образом им спастись? то есть не одно брюхо спасти, но и хоть с эстолько души?

К счастию, у меня есть старинный друг и товарищ, Глумов, у которого всегда на всякие вопросы ответ готов. Это — несомненный мудрец. В древности он, наверное, выдумал бы пифагоровы штаны, а в наше время ограничивается тем, что знакомит друзей с наилучшими приспособительными приемами, при помощи которых можно припеваючи жизнь провести. С са-

мых ранних лет он только и делает, что приспособляется, и наконец до того вошел во вкус, что во всеуслышание заявляет, что если б отнять у жизни необходимость приспособлений, то она сделалась бы столь же безвкусною, как каша без масла.

— Непременно нужно, чтобы нас что-нибудь подергивало,— говорит он,— какое-нибудь чтобы мы мучительство впереди видели, которое заставило бы нас приспособиться... Иначе мы и вовсе спустя рукава жить начнем.

Только раз в жизни блеснуло у него в голове, что и без приспособлений прожить можно. Это было в конце пятидесятых годов, когда всем вообще приспособления до того надоели, что даже звери радостным рычанием приветствовали эру освобождения от них.

— Теперь,— говорил мне в то время Глумов, потирая руки,— только через одно приспособление еще пройти надо, а именно: приспособиться, как на будущее время без приспособлений прожить...

Но не успел он закончить процедуру этого самоприспособляющегося приспособления, как уже вновь, потирая руки, возвещал:

— А вот и опять приспособления пошли! а я-то, профан, разлетелся! чуть было и совсем не отвык, да, к счастию, остерегся! И вот теперь сразу на старый манер все детали наладил, и опять у меня житьишко как по маслу пойдет.

С тех пор, какие бы перемены в температуре ни происходили, он как стал на страже, так и не сходит с позиции. Аккуратно каждый год подписывается на куранты — и следит. Прочитает об элеваторах — к элеваторам готовиться начнет; прочитает о транзите — к транзиту готовиться начнет; прочитает о джутовом мешке — не знает, как быть. И всем объявляет: «Теперь меня хоть на куски режь!» А в последнее время впал в такое забвение чувств, что прямо на себя в благоприятном свете клевещет: «У меня, говорит, ни чувства, ни ума — ничего не осталось! весь я, и с головой и с потрохами, насквозь приспособился!»

Само собою разумеется, что усердие это даром ему не прошло. Не успели мы оглянуться, как он уж и местечко хорошенькое ненароком заполучил. Прежде, вот видите ли, его поодаль держали, опасались, как бы «он не отмочил», а теперь убедились, что в нем даже мочи,— кроме необходимого, для облегчения, количества,— не осталось, и в соответствие сему отвели где-то в провинции прехорошенький киоск. Сидит он там да приспособляется, а временем и в Петербург наедет. Справится, какие новые фасоны приспособлений вышли, и — опять домой, в киоск.

В один из таких наездов он и обо мне вспомнил. У курьера, по соседству, младенца от купели воспринимал, да и надумался: «Дай, думает, зайду! я ведь теперь уж так приспособился, что и заподозрить меня нельзя!» Взял да и пришел. Разумеется, у подъезда не сразу за ручку схватился, а потоптался-таки минуту-другую, но наконец с шумом распахнул дверь, взлетел в третий этаж: с нами крестная сила... урррра!

Радостным излияниям конца не было. «Как дела? все ли у тебя по киоску благополучно?» — «Все, кажется, слава богу, благополучно!» — «Ну, слава богу лучше всего», и т. д. Словом сказать, обычный дружески-светский разговор.

— Ну, а ты как? — обратился он ко мне.

— Да что... нехорошо, брат, мне!

— Что так?

Да вот, мол, так и так. Начал я ему излагать, и что больше, то хуже выходит. Тайный, мол, советник Крокодилов на новый суд ударил; левое крыло уж перебил пополам, а правым хоть суд еще и помахивает, однако уверенности на полное восстановление полета уж нет.

— Что́ так?

Не успел я докончить, как уже лицо Глумова потемнело.

— Ну?

А еще, мол, прибыл сюда «сведущий» корнет Отлетаев и говорит, нимало не стесняясь: все, мол, надобно уничтожить: и земство, и суды, а отыскать вместо всего благонадежного отставного прапорщика и ему препоручить: пускай всем помыкает. А Крокодилов ему в ответ: ах, как это хорошо!

— Ну?

— Помилуй, любезный друг! чего же еще нужно?

— А тебе что за дело?

Я так и ахнул: вот этого-то именно вопроса я и не ожидал. Удивительно это, право. Всю жизнь только и чувствуешь, как этот вопрос долбит тебе голову, а вот когда надобно, чтобы он возымел практическое действие,— тут-то именно его и нет как нет. Существуют, должно быть, такие вопросы, относительно которых и опыт веков, и воспитательные афоризмы — все оказывается всуе и втуне. Никогда они не укладываются так плотно в сознании, чтобы не было совестно сразу их формулировать.

— Послушай, голубчик, да ведь необходимо же, до известной степени, принимать в расчет, что существуют разговоры, которые изнурительным образом влияют на мозги...

— Мозги? какие мозги? по какому случаю? на какой предмет? Взять его под сумление!

Глумов встал в позу Любима Торцова и при последней

фразе вытянул правую руку с устремленным указательным перстом, как делывал актер Садовский. Глумов, сколько я помню, и прежде любил копировать Садовского в роли Торцова; но теперь он, по-видимому, сделал из этого копирования приспособительный прием. Вот, мол, господа милостивцы, я каков! всякое коленце для вашего увеселения отколоть готов! Хотите — сцену из народной жизни сейчас расскажу!

— Глумов! да выслушай же меня! — взмолился я,— ведь Крокодилов проходу не дает! поймает, возьмет за пуговицу и держит. И говорит... ах, что он говорит! А в заключение: «Надеюсь, что вы вполне с моим мнением согласны?»

— А ты что на это?

— Я???!

И этого вопроса я не ожидал. Я? что, бишь, я такое делал, покуда Крокодилов разглагольствовал? Кажется, я... Но позвольте, однако ж... я!! что такое я?

— Но что же такое — я? — пробормотал я в ответ,— что я могу? С одной стороны — Крокодилов, с другой... я!!! согласись...

— Понимаю и соглашаюсь. Собеседования с Крокодиловым, особливо ежели он держит тебя за пуговицу, действительно нельзя назвать безопасными. Это — верно. Но затем возникает вопрос: можешь ли ты избежать этих собеседований или не можешь?

— Как же их избежишь? Ведь Крокодилов — имя собирательное: уйдешь от одного, попадешь к другому...

— И это верно. Действующая практика именно в таком смысле и разрешает этот вопрос. Я, братец, и сам, как увидел себя в плену у Крокодиловых, то воскликнул: эк их из всех щелей наползло! ну, теперь уж не выкарабкаешься! Но тут же, впрочем, весеĺенько прибавил: ничего, наше дело привычное! жили в плену у Покатиловых, жили в плену у Гвоздиловых; поживем и у Крокодиловых!

— Зачем же, однако, ты это прибавил, да еще «весеĺенько»?

— Да так, любезный друг, должно быть, само собой, по старой привычке прибавилось. Чудно́ словно! столько пленов перетерпели и все-таки никак от пленов не отвертимся!

— И силу крокодиловскую одолеть не можем; но объясни же, по крайней мере, откуда эта сила взялась?

— Вот-вот-вот. Именно этот самый вопрос я себе в ту пору и предложил. Откуда, мол? что за причина? И по некотором размышлении решил так. Прежде всего с того крокодиловская сила взялась, что мы, простецы, «сладкую привычку жить» никак в себе ограничить не можем. Ругаем мы эту жизнь

распостылую, а у самих только и есть одна мысль в голове: ах, хоть бы чуточку нам пожить позволили! Вот Крокодилов этим и пользуется. Возьмет тебя за пуговицу, растабарывает, а ты перед ним осклабляешься, подтанцовываешь. Это значит, что ты «живешь». Или увидит тебя Крокодилов по другую сторону улицы — не успеет пальцем поманить, а ты уж стремглав навстречу его тайным помышлениям летишь. И это значит, что ты «живешь». Ты мог бы пройти мимо, мог бы притвориться невидящим, мог бы, наконец, в проходные ворота шмыгнуть, а ты вместо того останавливаешься, нарочно в глаза лезешь: позвольте в присутствии вашем пожить! Неужто же он не видит этого? — Ах, голубчик, не только он *это* видит, но и тебя самого, со всеми твоими потрохами, насквозь видит! — Эге, говорит он, так вот его на чем подловить можно! — И напирает, и напирает, до тех пор, покуда не уткнет носом в самый оный киоск: живи!

— Глумов! но разве можно ставить людям в вину, что «сладкая привычка жить»,— в существе своем вполне законная,— сопрягается для них с такими осложнениями?

— Я и не обвиняю, а только объясняю. И говорю: Крокодилов только до некоторой степени силу свою самолично создает, в значительной же мере он от нас, простецов, ее получает. Все в нас наиблагоприятнейшим образом для него сложилось. «Сладкая привычка жить» — это само по себе; но рядом с нею, и как отличнейшее к ней дополнение, еще другая особенность: необыкновенная готовность к приспособлениям. Вспомнилось мне на днях случайно, как меня в детстве у папаши прощенья просить заставляли, так, поверишь ли, так я и ахнул: вот они, с которых пор, приспособленья-то наши, начались! Огорчишь, бывало, папашу, а прощенья просить не хочется. Вот мамаша с тетеньками и похаживает около тебя. «Разве тебя убудет от того, что ты скажешь папеньке: пардон, папá?» — уговаривает мамаша. «Разве у тебя язык отвалится?» — убеждает одна тетенька. «Разве у тебя заболит головка?» — подбадривает другая тетенька. Слушаешь-слушаешь эти предики, возьмешь да и выпалишь: «Пардон, папà!» И что ж, действительно, как по-писаному, так и сбывалось. Ни самого меня не убывало, ни язык не отваливался, ни голова не болела... Прошло детство, настала настоящая жизнь, и что дальше, то больше. Стон кругом стоит: разве тебя убудет? разве язык у тебя отвалится? Тут и литература, и наука, и нравственный кодекс — всё тут. А вдали, в перспективе, дилемма: с одной стороны, храм славы с надписью: «Не убудет»; с другой — волчье существование среди науськиваний и шипений. Спрашивается: как с этим быть? как без срама устро-

иться с «сладкой привычкой жить», которая, как ты сам сейчас сказал, в существе своем, вполне законна? Тут-то вот Крокодиловы и подстерегают тебя: цып-цып-цып...

На этом наша беседа и кончилась. Вызвана она была вопросом: как с этим быть? и разрешилась... тем же вопросом.

ПИСЬМО VIII

Если бы не одно дельце, да дядя Захар Иваныч вовремя удержался, то был бы он воротилою, наравне с прочими.

Дядя Захар Иваныч Стрелов — старик старый. Родился он в 1812 году, во время француза, и, следовательно, теперь ему с лишком семьдесят лет. Однако он еще довольно проворно семенит ногами, да и руки у него еще цепкие, так что если бы попала в них взятка, то, мне кажется, он мог бы ее ухватить. Сверх того, он сохранил вкус к жизни, любит поесть и выпить, но лицо у него начинает уже походить на лицо младенца, который только что начал понимать зажженную свечу и радуется, когда ею перед глазами машут. Этому сходству много способствует лысина во всю голову, напоминающая голое колено. Новых порядков он не любит, не исключая даже нового обмундирования. В шкафу у него висит старинный путейский мундир, с расходящимися сзади фалдочками, и он, от времени до времени, надевает его, подходит к зеркалу, поиграет фалдами и вздохнет.

Во время коронации императора Николая он был уже кадетом, а в начале тридцатых годов получил первый офицерский чин и в качестве инженера рыл канавы в Шлюшине[1].

Хищником, в современном значении этого слова, он не был — в то время люди были для этого слишком бесхитростны,— но взятки брал более чем охотно и в казне черпал неупустительно. Уже в Шлюшине он изыскивал недурные, в этом смысле, случаи. Выроет, бывало, один кубик, а напишет два: один — кесарю, другой — себе. Скопивши таким образом сокровище, он не только сам жил в свое удовольствие, но и доставлял удовольствие другим. Съездит на лодке в Петербург, накупит конфект, апельсинов и угощает шлюшинских дам. Сверх того, был мастер устроивать вечеринки, пикники; словом сказать, был душою общества. Поэтому дамы говорили

---

[1] Народное название Шлиссельбурга. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

о нем: «точь-в-точь кавалергард!» Он же, придя в умиление от такой похвалы, сравнивал исправничиху с княгиней Шептаевой, а предводительшу — с графиней Подстаканниковой, которые, по его словам, составляли цвет тогдашнего петербургского бомонда и принимали его в своих салонах за то, что он им привозил в презент копченых ладожских сигов.

В сороковых годах он был уже штабс-капитан и почувствовал у себя в кармане такие деньги, что хоть подполковнику не стыдно. Сороковые годы, вообще, были странные годы. С одной стороны, Грановский, Белинский и их кружок (обратившийся потом в стадо свиней), с другой стороны — Стрелов, крепостные дела и целая армия исправников и становых. Смешение человеческого образа с звериным. Кстати, в это время уже начал ходить слух, что Петербург намереваются соединить с Москвой железным путем. Надеялись, что в Петербурге подешевеет икра. Дядя Захар нюхнул в воздухе и унюхал, что тут уже не шлюшинскими кубиками пахнет. Причислился к главному управлению и начал похаживать по коридорам, в надежде попасть на глаза власть имущему. Стрелов был подвижен, изворотлив и юрок, имел хорошенькое брюшко и веселую турнюру, что при тогдашней амуниции выходило очень мило. Станет дяденька передом — у него пупочек играет; станет задом — играют фалдочки; не удивительно, что зоркий глаз начальника, при первой же встрече в коридоре, заметил его.

— Кто этот расторопный офицер? — спросил генерал.

Назвали Стрелова.

— Мне такие люди нужны!

Объяснились. Начальник возложил его на лоно, подчиненный — так и прилип к лону. В скором времени Стрелов очутился в самом сердце железнодорожных вожделений, и как только почувствовал, что навстречу ему ходит лафа, то съездил в Муромские леса, набрал там шайку и держал атаманам такую речь:

— Вы будете у меня заместо подрядчиков и строителей. Если кто у вас спросит: кто ты таков? — то не отвечайте: я муромский разбойник, а говорите: десятник, поставщик и т. п. Слушайте теперь. Вот, примерно, перед вами рельс; сто́ит он, положим, хоть двадцать рублей, а мы запишем сорок. Если спросят: кто ставил? — говорите: разбойник... то, бишь, подрядчик Кудимыч. Вот и всё. А когда уйдут спрашиватели, мы возьмем да двадцать рублей отдадим кесарю, а из других двадцати десять возьму я себе за выдумку, а остальные десять — вам на вино. Любо ли?

— Любо! любо! — крикнули в ответ атаманы-молодцы.

— Или: вот вам глина, вот камень, шпалы, песок, рабочие силы,— продолжал дядя, припоминая строительные элементы.— И везде одна половина — кесарева, другая — наша. Любо ли?

— Любо! любо!

И деятельность по дороге закипела. Дядя Захар бегал и ездил днем по работам, а ночью метал разбойникам банк. Денег появилась такая масса, что не знали, куда девать. Выписывали из Петербурга прелестниц и где-нибудь в селе Едрове устроивали афинские вечера. На одном таком вечере цыганку Стешку исщипали так, что для того, чтоб замять дело, потребовалось отдать табору не меньше двадцати тысяч рублей. Поливали друг друга шампанским, поили шампанским реку, загоняли на станции лошадей, чтобы побывать вечером в Александринке, с риском попасть на гауптвахту, или чтоб какой-нибудь крале, поселенной в Едрове с специальною целью увеселять муромских разбойников, доставить букет. Словом сказать, груды денег извлекались из недр казначейских кладовых, распределялись по карманам и исчезали неведомо куда.

В самый разгар этого распутства Стрелов женился. Он уже настолько имел в ломбарде, что мог без боязни глядеть вперед. Партия ему представилась прекраснейшая, даже знаменитая. России, лет пятнадцать тому назад, подчинился один из касимовских князей, Абдулка. Но искренности его подчинения не сразу поверили, а посадили в кибитку и приказали возить взад и вперед по Касимовскому уезду, покуда он не познает света истинной веры. Разумеется, он познал очень скоро; его окрестили, наименовали Михаилом и оставили за ним княжеский титул с фамилией Мамалыгина. Тогда же окрестили его дочь, назвав Надеждой и поместив в Екатерининский институт. Там ее выпоили, но училась она плохо, что не помешало ей в свое время прийти в совершенный возраст и сделаться невестой. Вот на нее-то и обратил взоры дядя Захар Иваныч. С месяц времени кормил он Абдулку в палкинском трактире шашлыком, а будущую невесту — шепталой, и наконец получил согласие. Ему лестно было ездить с визитами с женой, у которой на карточках было напечатано: «Надежда Михайловна Стрелова, рожденная княжна Мамалыгина». При этом он намекал, что жена его происходит по прямой линии от Мехмеда-Кула, «сибирских стран богатыря», который первый воскликнул: «Нет, лучше смерть, чем жизнь поносна!», а за ним этот возглас стали повторять и прочие армии и флоты.

Теперь бы майору Стрелову остепениться и начать бы жить да поживать с капитальцем и молодой женой, но его лукавый попутал. Дорога велась по ровному месту, а он рапортовал,

что срыл гору, и потребовал сверхсметного назначения. На его несчастие, место это было хорошо знакомо, и потому рапорт его произвел изумление. Любостяжание его заметили где-то очень высоко и послали фельдъегеря... Фельдъегерь, вместо двадцати четырех часов, судил всего двадцать четыре минуты, посадил Стрелова в тележку и привез в Петербург. Покуда он сидел в кутузке и мыкался по мытарствам, Надежда Михайловна отчаянно вопияла:

— Неужто я буду солдаткой?

Но дело кончилось благополучнее, нежели можно было ожидать. Начальство вспомнило прежние заслуги майора (он несколько таких гор прежде срыл) и велело ему подать в отставку, вместо того чтоб забрить лоб.

Стрелов поселился безвыездно в деревне и считал деньги. Очень редко он наезжал в Петербург, и именно только в тех случаях, о которых будет упомянуто ниже. Жена его, от скуки, народила груду детей, которые впоследствии все сделались инженерами. Наступило полное одиночество, которое еще более отравлялось воспоминаниями о прошлых блестящих днях.

— И черт меня попутал,— жаловался майор, раскладывая пасьянс,— в другом месте две горы мог бы срыть, а тут из-за одной гору́шки пропадаю!

Он видел окончание монументальной дороги и строил воздушные за́мки. Теперь он был бы уж полковником и, наверное, заведовал бы дистанцией. Некоторое время он вел переписку с прежними друзьями, посылал им откормленных индюков, просил похлопотать, но постоянно получал в ответ: «Ничего не поделаешь!» Наконец друзья совсем замолчали, и он мало-помалу окунулся на самое дно реки забвения.

Но вот в воздухе почуялись новые веяния. Сначала радовались, потом стали тужить. Наконец Подхалимов открыл эпоху упразднения хищничества и торжества покаяния...

Повторяю: дядя Захар не был хищником в современном значении этого слова. В его время было в моде казнокрадство и взяточничество, и дядя следовал общей моде. Хищничество же народилось позднее, совершенно неожиданно, и не устранило ни воровства, ни взяточничества (на всякий случай), а только презирало их. Да и нельзя было не презирать, потому что с этими явлениями сопрягались разные постыдные поступки. Тут встречались и мертвые тела, и подчистки, и преднамеренные описки, и взлом сундуков. Все это можно было на картинке написать. В хищничестве, напротив того, все так тонко, чисто и даже благородно, что о картинках и речи не может быть.

Но и в хищничестве имеются подразделения. Бывает хищничество простое, и бывает сложное. В первом можно указать на действующих лиц и на претерпевших. Сверх того, оно до известной степени наказуемо, и состав его можно без труда определить. Разнствует оно от воровства тем, что пошло далее сферы становых приставов и обставило себя благороднее. Иногда оно надевает на себя даже личину государственного интереса: заселение отдаленного края, культура, обрусение и т. д. В сложном хищничестве действующих лиц совсем нет, и только приходится удивляться, каким образом человек, которого, незадолго перед сим, знали без штанов, в настоящую минуту ворочает миллионами. Сложное хищничество есть порядок вещей, ничего больше.

Дядя с грехом пополам мог додуматься до простого хищничества; однако и тут он понимал, что без связей ничего не поделаешь. Чтоб захватить землицы по гривеннику за десятину, нужно иметь «руку», уметь угадывать момент, кланяться, просить, что́ требовало времени и изнурительных хождений. Что же касается до сложного хищничества, то он положительно его не постигал и только, наравне с другими простецами, ахал.

— Без штанов знал! без штанов! — восклицал он,— а теперь в соболях ездит! Лошади не лошади, экипаж не экипаж! Занимает целый дворец, задает банкеты; во всех комнатах картины с голыми женщинами! Жену — купил, а потом предоставил, а сам двух француженок содержит! Ну, скажите на милость, зачем ему понадобились две? И каким образом все это случилось?

Он забывал при этом и свое прошлое, и свои теперешние вожделения, и даже то, что он был бы несказанно счастлив, если б очутился на месте этого голоштанника, который теперь в соболях ходит.

Тем не менее жажда хоть что-нибудь урвать заставляла его довольно чутко прислушиваться к новым веяниям и от времени до времени посещать Петербург.

Что такое веяние? это — одно из выражений той паскудной терминологии, которая получила у нас право гражданственности тридцать лет тому назад. Означает оно: вот что нужно делать, чтоб как можно больше напакостить.

Вся эта терминология есть плод личной алчности и совершенного отсутствия представлений об интересе общественном. Здесь нет речи ни об отечестве, ни о согражданах, ни об общем благе. Одна обнаженная алчность — только и всего.

Таких веяний в нашем обществе было много, но я намечу лишь главнейшие. Во-первых, веяние радостных ожиданий;

во-вторых, веяние горестных утрат; в-третьих, веяние хищничества; в-четвертых, веяние сапогов всмятку, и наконец...

В первый раз, после многих лет воздержания, дядя Захар посетил Петербург в эпоху радостных ожиданий. Тогда говорили: земля наша обильна; и на поверхности, и в недрах — всего у нас довольно, и для себя, и для Европы. Европа гниет и переживает себя, а мы возрождаемся. До сих пор мы жили как слепые, по милости крепостного права, а теперь вольный труд все наши богатства откроет. В особенности отличался по части пророчеств и предвидений публицист Кокорев, который даже в кучах навоза открывал золотые россыпи.

Хорошее это было время, светлое, хотя, как потом оказалось, не особенно умное. Но кто же мог думать, что из всех этих чаяний ничего не выйдет путного, кроме переворачивания давно истлевшего хлама? Многие, скрывавшиеся до тех пор в заветных кубышках, миллионы увидели тогда свет, побывали в «Обществе жизненных продуктов», в «Сельском хозяине» и проч.— и пропали неводомо куда. Где они теперь? Не может же быть, чтоб не нашли себе пристанища и хоть кого-нибудь да не оплодотворили. Не тогда ли было положено начало тому грандиозному финансовому распутству, которое впоследствии дало такой пышный цвет?

То было время севооборотов, покупки машин, продажи выкупных свидетельств и, преимущественно, трактирных безобразий. Денег появилось множество; почти вся Россия была выменена на выкупные свидетельства. Явились ростовщики и кровопийцы, которые скупали эти свидетельства за грош. Но владельцы не обращали на это внимания, в надежде, что вольный труд вознаградит сторицею.

— Видели вы жнею, которую я купил у Бутенопа? Приезжайте, батюшка, посмотрите, как чисто работает! А моя сеноворошилка? А мои плужки? Прелесть! — раздавалось из края в край,— теперь мне рабочих на две трети меньше надо будет.

А через неделю жнея и сеноворошилка лежали в сарае поломанные, и баба по-старому копошилась в море ржи, которое сгоряча не по разуму насеяли.

Крестьянин скоро раскусил помещика и втихомолку посмеивался. Помещик, ни к чему не приготовленный, ленивый и беспечный, способен был только питаться надеждами и зря бросать деньги. Он не понимал, что для того, чтоб извлекать из сельского хозяйства двугривенные, нужно вставать с зарею, целые дни бродить по полю и, придя вечером домой, усчитывать себя.

Впрочем, некоторые (а в том числе и дядя Захар) спохватились и пустили в ход «прижимку». Отрезывали хитросплетенные наделы, обработывали землю исполу, донимали крестьян штрафами и хождением по судам и наконец занялись ростовщичеством.

Но вообще, несмотря на чаяния и упования, общий голос был: всего у нас довольно; и несметные сокровища в настоящем, и светлые перспективы в будущем, только людей нет. Публицист Кокорев говорил это громко, советовал пустить в ход добрую чарку вина, и цензура ему в том не препятствовала.

Дядя Захар подслушал эти жалобы и явился на клич.

Разумеется, он остановился у меня и не без уверенности объявил:

— Теперь мое дело выигранное. Нужны люди, а я человек бывалый, опытный и не без царя в голове, чего еще?

— Но ведь вы, дядя, не из сочувствующих? — возразил я.

— Что ты, что ты! Христос с тобой! Я, брат, всему сочувствую. Я и адрес из первых подписал. Приехал в ту пору в собрание губернатор: «Господа, говорит, надо доказать...» Ну, я и доказал: обмакнул перо в чернильницу, дай бог счастливо!

— Да, но с мужичками-то вы все-таки не очень охотно расстались.

— Я-то? да я мужичка даже очень люблю. Дай только мне...

Он выспросил у меня, перед кем и в каких канцеляриях предстоят хождения, и на другой же день начались поиски. Он ходатайствовал неутомимо, с утра до ночи, возвращался домой измученный и часто разочарованный, но все-таки надеющийся.

— Вот говорили, что людей нет! — восклицал он,— а их тут, куда ни придешь, труба нетолченая!

Счастие, однако же, по-видимому, улыбнулось ему. Прошедшее его, за общей суматохой, было забыто; люди стояли у дела совсем новые, и перед ними предстал тоже новый человек, свежий деревенский коренник, с чувством говоривший о меньшем брате. Его выслушивали с видимым интересом, расспрашивали, сколько может сжать в день баба, сколько может в день скосить, вспахать и забороновать мужик, существуют ли у крестьян огороды, конопляники, отхожие промыслы, ремесла, сам-сколько родится рожь, овес, ячмень, сколько требуется муки в год на продовольствие одного едока и т. д. Он отвечал на вопросы бойко, но не спеша. Докладывал, что если мужик чувствует в чем-нибудь недостатки, то этому виной крепостное право; что ежели нет травосеяния, то этому

виной тоже крепостное право; что ежели вообще сельское хозяйство в упадке, то и тут благодаря крепостному праву. При этом присовокуплял, что он уже в то время мечтал, когда мечтания строго воспрещались... Словом сказать, отрекомендовал себя с самой отрадной стороны.

Но тут он увидел вещий сон.

Я помню, он пришел к чаю пасмурный и задумчивый. Едва дотронулся до калача и долгое время сидел молча и барабанил по столу пальцами. На вопросы мои отвечал односложно и невнятно.

— Что с вами, дядя? — наконец спросил я его.

— Сон видел, голубчик!

— Неужели сон может так встревожить?

— Сон сну рознь; иной и может встревожить. Представь себе: вижу я во сне громадную стаю собак, и я будто бы между ними в собачьем виде. Только прочие собаки все об четырех ногах, а у меня будто бы только три, а четвертая оторвана. И будто бы я за стаей никак поспешить не могу, а ковыляю сзади всех... Вот!

— Так что же такое?

— А то и есть, что не добиться мне ничего: что-нибудь да случится.

— Эх, дядя, никто как бог! Может быть, и на трех ногах вы скорее добежите, нежели другие на четырех.

— Дай бог, дай бог! Но сомнительно. Поверь, что такие сны недаром. Уехать, видно, мне обратно в Муром, не солоно хлебавши.

Прошло еще несколько недель, а дядя не только ничего не терял в глазах начальства, а, напротив, все больше и больше нравился. Он уже успел убедить, что как только наступит вольный труд, то мы одним овсом Европу победим. Позабыв о вещем сне, он ходил веселый и радостный, ел с аппетитом, пил в меру, вечером ездил на Минералки и перемигивался с мамзель Сузеттой. Наконец однажды пришел к обеду домой и с торжеством объявил:

— Ну, теперь можешь меня поздравить! Сегодня я получил верное слово...

И вдруг он поперхнулся: на столе лежал адресованный на его имя пакет.

В пакете было приглашение пожаловать для личных объяснений.

— Это вы срыли гору на ровном месте? — спросил его начальник.

Дядя стукнул каблуками и отретировался.

Кто-то шепнул...

Возвратившись домой, дядя выпил сряду несколько рюмок водки и поскрипел зубами, а дня через два выехал в Муром.

Увы! он, наверное, воспрянул бы духом, если б знал, что в ту же ночь я видел продолжение его вещего сна. Снилось мне: добежала стая собак до пирога и в колебании остановилась: одни предлагали сейчас же разнести пирог на части, другие пытались отстаивать и защищать. Но защитники делали свое дело так неуверенно и неумело, что нападающие без труда одолели. Пирог был разорван мгновенно. Затем собаки смеряли друг друга глазами и стали грызться...

Польский мятеж дядя Захар как-то пропустил и догадался только тогда, когда дело подошло к концу и началось обрусение. В это же время и в Петербурге что-то замутилось: начались пожары, покушения, допросы, судьбища, высылки; явились корни и нити. Кликнули клич. Обрусители, задешево получившие куски конфискованных земель, уже были готовы Они отчасти продали земли, отчасти сдали их в аренду жидам, леса законтрактовали на сруб и первые явились на клич. Разумеется, это были избранники. Вслед за ними явился и майор Стрелов.

На этот раз он остановился не у меня, а где-то в номерах на Мещанской. Должно быть, он и меня заподозрил. Немедленно явился он к генералу и имел с ним непродолжительное объяснение.

— Прежде чем удовлетворить вашей просьбе, я требую, чтобы вы были вполне откровенны,— сказал генерал, проницательным оком взглянув на просителя.

Дядя смутился и совсем машинально ответил:

— Срыл гору...

— На ровном месте?

— Точно так, вашество! — выпалил дядя.

— Это нехорошо; казну следует беречь, она царская. Но я вам не судья и надеюсь, что с тех пор вы исправились. Мне люди нужны, и именно люди, готовые загладить... Василий Андреич! — обратился он к секретарю,— запишите майора Стрелова. Вам скажут, майор, что нужно делать. Кстати: отчего вы не явились в Западный край?

— В деревне жил, вашество, не поспел, как по вашему манию все уже пришло в настоящий вид...

— Жаль-с. Мне и тогда нужны были люди.

Стрелов бросился вперед с очевидным намерением поцеловать генерала в плечико, но генерал уклонился.

Ах, какое это было время! Мрачное, наполненное привиденьями и каким-то удушливым безмолвием. Улицы были почти

пусты. Немногие встречавшиеся люди смотрели испуганно, ничего не понимая. В окнах домов не было видно по вечерам огней, точно всё живущее куда-то спряталось. Приезжавшие с дач спешили скорее окончить дела и уезжали обратно. По ночам слышались оклики дворников и бряцание оружия по тротуарам. Ночные посещения производились наудачу, случайно, без малейшей системы. Больше всего пострадали либералы, так как предполагалось в них начало и корень всех последующих бед. Кто мог сжечь старую переписку — сжег; дорогие имена, дорогие речи — все приносилось в жертву. Кто не успевал сжечь или жаль было расстаться с дорогими собеседниками, тот впоследствии горько раскаивался. Ужасно было, ужасно! Но необходимо...

— Нельзя-с,— говорили оправдавшимся,— вы, положим, оказались жертвой ошибки, но, согласитесь, без этого нельзя. Такое теперь время, что нужно жертвовать собою.

И «жертвы ошибок» уходили домой утешенные.

Дядя действовал так усердно, что вскоре обратил на себя внимание; он действительно кого-то «поймал» и, во всяком случае, каждый вечер таскал вороха бумаг в подлежащую канцелярию. Его переименовали в штатский чин и обещали подумать об нем.

— Мне бы, вашество, хоть в губернию! — умолял он,— жена, воспитание детей...

— Да, но покамест и здесь дела много; прежде надо главное кончить; надо зло вырвать с корнем, начавши с самого начала, с заводчиков. Никого не жалейте, хотя бы... Главное зло — либералы; надо сорвать с них личину, потому что они заразили даже правящие классы. Долгогривые — эти уж потом явились... это — жертвы орудия! От либералов все пошло; если б не они, государство наше было бы сильно и грозно по-прежнему, и все мы были бы благополучны...

— Точно так, вашество!

— Гм... да... но, надеюсь, что вы на будущее время гор на ровных местах рыть не будете? — пошутил генерал с ангельской улыбкой.

— Никак нет-с, вашество!

— Ну-с, до свидания. Сегодня вам предстоит трудовая ночь. Надеюсь!

Я числился тогда в либералах и проводил время в самом деморализирующем страхе. Ночью за входною дверью и за стеною соседней квартиры чудились шорохи. Еще минута — и звонок... пожалуйте! На дачу я не поехал. Такая тоска сосала сердце, что, казалось, никуда не убежишь. Чтоб заглушить ее, я ездил по вечерам в «Демидрон» и, возвращаясь

домой, подъезжал к воротам в гнетущем смущении. Даже дворники заметили это, и так как я совершенно ни с того ни с сего увеличил им помесячную подачку, то они ободряли меня, говоря: «Ничего, бог милостив!»

«Как-то они меня аттестуют в квартале? — думалось мне.— Дворник! шутка сказать!»

Однако для меня все обошлось благополучно; я подозревал, что тут помог мне дядя. Мало-помалу и кругом стихло. Ни корней, ни нитей не было найдено, а обнаружился полный сумбур и совершенная общественная несостоятельность. Много оказалось вздорного хлама, а главное, испуга, испуга — без конца. Наконец наступила осень, и все вздохнули. В это же время, одним утром, появился у меня и дядя Захар.

— Дядя! давно вы здесь? — воскликнул я в умилении.

— Давно, месяца с три. У тебя не остановился, потому что... ну, да ты сам отлично понимаешь, почему...

— Понимаю... Ах, дядя, дядя! Что же вы делали в эти три месяца?

— А поступал, как следует всякому сыну отечества поступать. Сколько, братец, я этих долгогривых да стрижек перетаскал... страсть! Но главное — либералы. От них все зло. Я, душа моя, помню, как они меня в ту пору травили.

— Ну, уж и травили! ведь у всех свои убеждения. Да и где же кого-нибудь травить — либералам. Даже в лучшие времена их травили, а не они.

— Нет, это атта́нде. Я помню, как «он» меня на одну доску с канальей-поваром ставил. И я стою, и повар стоит, а он... судит. Я, голубчик, тогда два дня со всей семьей без обеда сидел, а потом, вместо повара, судомойку нашли.

— Да ведь это было сделано по закону?

— Какой закон? — книжка какая-то. Неужто закон только в пользу хамов? — нет, закон — так закон, а кроме того, и Священное писание: рабы да повинуются — вот это закон!

Дядя помолчал с минуту и потом с азартом продолжал:

— А сколько твоя тетя в то время вытерпела! — представь себе, никто не кланяется! Да этого мало: как ни придешь, в лакейскую ли, в девичью ли,— нет никого! «Где ты, шельма, была?» — «Нужно же мне погулять, человек тоже...» Человек! Она — человек! мерзавка! А «он» ездит по своему участку и популярничает. «Прасковья Ивановна! здравствуйте!» — Это Пашке-то! И ведь ни разу он ко мне обедать не заехал: всё на постоялый двор, а тут, кстати, и распивочная продажа... Пришлет мне повестку — и я туда же беги! Наслякощено, нагажено, в соседней комнате мужичье чай и водку пьет — срам! А он сидит и улыбается, и Прасковья Ивановна улыбается.

Ах, что было, что было! Тяжело, мой друг, и до сих пор тяжело!

Дядя снова смолк и скорбно склонил голову под гнетом горьких воспоминаний.

— А вы вещих снов теперь не видите, дядя? — спросил я, чтоб переменить разговор.

— Нет, я нынче вообще снов не вижу. Теперь мое дело верное. И я поревновал, и за меня поревнуют. Не только обещали, но даже верное слово дали. И знаешь, куда? — в вашу губернию! в самое что ни на есть гнездо...

— Ну, дай вам бог!

Дядя позавтракал у меня и ушел. Недели две я опять не видал его, как вдруг он приходит, расстроенный и смущенный.

— Опять этот сон! — вымолвил он глухим голосом.

— Дядя! ведь это несносно! Вы намеренно расстраиваете себя! — разуверял я его.

— Вот увидишь!

Действительно, конкурентов на злачные места явилось такое множество, что всех «достойных» было немыслимо удовлетворить. Пришлось принимать в соображение сторонние ходатайства. За одного просила графиня Шассé-Круазé, за другого — баронесса Думкопф, за третьего — сам князь Сампантрé, за четвертого — железнодорожник Губошлепов и т. д. Среди этой общей травли дядя был незаметно оттерт.

Он явился ко мне и бросил на стол бумагу:

— На, прочти!

В бумаге было изображено, что в настоящую минуту для коллежского советника Стрелова подходящего места в виду не имеется; но что заслуги его оценены по достоинству, и, вероятно, в неотдаленном будущем одна из первых вакансий будет предоставлена ему.

— Да, держи карман! Нашли дурака! — воскликнул с горечью дядя,— что же, по-ихнему, я должен пропекаться в Петербурге и ждать?.. кукиш с маслом! Жить целый год на Мещанской, в протухлых номерах, и каждый день шататься по канцеляриям... мерси боку! И без того кучу денег прожил, а теперь и еще. Нет, зло не в либералах, а вот в этих Сампантрé да Шассé-Круазé... Довольно с меня. Я не ропщу, но... Видел к себе милость генерала — ну, и будет! Надежду Михайловну жаль; она, бедняжка, думала хоть в губернии повеселиться — и что ж!

Дядя опять надолго исчез, сообщив, однако, канцелярии свой адрес. На всякий случай.

К сожалению, на этот раз я продолжения вещего сна не видал.

В третий раз дядя приехал в самый разгар железнодорожной свалки.

Деятели того времени разделялись на два разряда: на званых, знавших все ходы и выходы, и на незваных, явившихся внезапно, сбоку припека. Последние принадлежали к числу деревенских жантильомов, проживших выкупные свидетельства, продавших «лишние земли» и жаждавших поправиться. В особенности выделялись те из них, которые имели в Петербурге так называемую «руку»: старых сослуживцев, родственников и т. д.

— А что, не попытать ли от Углича до Пошехонья дорожку провести? — мечтали они,— мне тетя Анюта отхлопочет!

И жены принимали участие в этих мечтаниях и усиленно поощряли их.

— Конечно, поезжай! — говорили они,— надо пользоваться; тетя Анюта теперь — сила!

Пускались в ход последние гроши. Петербургское население значительно увеличилось от наплыва искателей; гостиницы были полны. Жаждущие наживы сидели по номерам, ели шатобрианы и ожидали, предварительно исколесив весь город. Множество празднолюбцев ходило из дома в дом, изумляя тетенек и кузин неожиданностью проектов и повсюду суля участие в учредительских паях. Некоторые даже успевали. Проекты их, конечно, так и остались проектами, но тетя Анюта помогала пристегнуться к какому-нибудь другому предприятию, и благодаря ее назойливости празднолюбец уезжал домой не с пустыми руками.

Многие прожектеры из соседей по деревне и ко мне тогда захаживали. Одни — с готовыми проектами, другие — так, послушать, что умные люди говорят. Но из последних редкие воздерживались. Посидят, поговорят, выпьют, закусят — и вдруг:

— А что, ежели соединить Тверь с Калугою железным путем? Ведь препитательная вышла бы дорожка!

Присядут к столу — и через полчаса проект готов, благо разграфленная бумага для статистических сведений продавалась в изобилии. Тотчас же все графы наполнялись словно волшебством: сапоги, сапоги, сапоги! А из Корчевы — лапти.

Однажды, около одиннадцати часов утра, в квартире моей раздался звонок. Звонили громко, самоуверенно, как звонят люди, у которых в кармане верный проект.

Оказался дядя.

— Приехали? — спросил я совсем некстати.

— Да, надоело хлопать глазами да облизываться. Ведь

Губошлепов-то у меня десятником на дороге служил, а теперь, поди, какие куски рвет.

— Стало быть, проектец привезли?

— Так, лёгонький. Но в общей государственной сети необходимый. От Нижнего в Харьков, а может быть, и дальше, коли бог поможет. В Бахмут, Кременчуг — мало ли мест найдется!

— Вот как!

— Да, это будет — дорога! Надо тебе сказать, что теперь главный торговый центр не в Москве и не в Петербурге, а в Нижнем. Там слияние Оки с Волгой, двух важнейших водных артерий; там ярмарка, где встречаются отдаленный Восток с отдаленным Западом, где можно найти все, чего только пожелаешь, от ювелирного украшения, от тончайшей кашемировой шали и изысканного наряда, которому позавидует любая блестящая красавица, до лаптя, которого вожделеет мужик. Оттуда наконец сибирский тракт. Скоро ли мы дождемся сибирской железной дороги, а оттуда всё везут да везут. Куда? — в Москву, в Петербург? — Но там и без того своего довольно. Напротив того, Малороссия, с Харьковом в центре, даже в гвозде нуждается. Вот самый естественный исток. А в Харькове, в свою очередь, хлебные богатства, сало, шерсть — опять исток на север, где в этом нуждаются.

— Скажите на милость! — изумился я.

— А при этом дорога пройдет через мое имение; стало быть, и я останусь не без выгоды. Я, брат, умненько все это подстроил. Сначала Горбатов, потом Муром (питательная ветвь в Арзамас), Темников, Шацк, Спасск-Тамбовский (питательная ветвь в Ардатов), Моршанск... А оттуда сделаю в Харьков. Кроме отправных пунктов, сколько тут по дороге добра найдется!..

— Да, пожалуй, и не увезете, ежели всё...

— Увезем, не беспокойся! Пусть только разрешат. А не разрешить — нельзя: так все очевидно.

— Можно мне полюбопытствовать?

— С удовольствием, даже прошу. Я не делаю из этого секрета, и ежели ты найдешь что-нибудь заметить, то говори прямо. Я буду даже благодарен. Ты прочтешь, другой прочтет — смотришь, кто-нибудь и заинтересуется.

Через час мы уже сидели за бумагами.

— Вот это объяснительная записка,— говорил дядя,— мы ее после прочтем, а вот тебе карта дороги. Видишь: Горбатов, Муром, Темников, Шацк... Вот здесь Надежда Михайловна красный кружок поставила, а я его после подчистил — это наша Куриловка. Здесь предполагается устроить станцию с

буфетом и остановку в 20 минут. Поезды будут так расписаны, что каждый будет у нас или завтракать, или обедать, или ужинать. А кому угодно чай или кофе пить — милости просим!.. Буфет будет содержать наш повар Аким, так что мы даже стола дома иметь не будем, а всё со станции. Масло, молоко мы будем ставить на станцию свое; телят, индюшек, гусей, поросят — всё тащи на станцию. У нас в пруде крупные караси водятся, и их, стариков, туда же. А ягоды? овощи? фрукты? — всему найдется близкий и выгоднейший рынок. Кроме того: дрова, шпалы — всё из собственных лесов. А со станции мы будем получать отменнейшее удобрение. Всякий поезд что-нибудь унесет и что-нибудь оставит, не говоря уже о служащих. При станции постоялый двор — опять сбыт, опять удобрение. В заключение, жетоны на даровой проезд по железным дорогам целого мира — всему семейству. Я и тебе пришлю.

Я поблагодарил и невольно при этом облизнулся: так он отчетливо и вкусно все мне объяснил.

— А теперь смотри: вот статистические таблицы! — сказал он.

Он развернул лист разграфленной бумаги, на котором я прочитал:

НИЖЕГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Название местностей	Предметы перевозки	Пуды	Фунты	Особые примечания
Нижний-Новгород с ярмаркой . . .	Рыбный товар: осетрица, белужина, севрюжина, сельди, балыки, икра	000	00	
	Щепной товар	000	00	
	Кожевенный, сапожный и шубный товар	000	00	
	Дары Сибири и Урала: пушной товар, чай, золото, минералы, дичь и проч.	000	00	
	Произведения Востока: халаты, шали, термаламы, ковры и проч.	000	00	
	Мануфактура: холсты, полотна, ситцы, набойки и проч. . .	000	00	
	Ювелирные и модные изделия	000	00	
	Монументы, памятники старины и проч.	000	00	
Семеновский и Макарьевский уезд	Пушные: медвежьи, волчьи и заячьи шкуры	000	00	
	Рогожи, циновки, мочало, лыки, лапти	000	00	
	Старопечатные книги и прочие принадлежности раскола . .	000	00	

Название местностей	Предметы перевозки	Пуды	Фунты	Особые примечания
Горбатовский уезд	Замки секретные и простые, отмычки, ножи перочинные, столовые и хлебные, сошники, гвозди, сундуки и проч. . . .	000	00	
Муромский уезд .	Муромские огурцы	000	00	
	Муромские разбойники . . .	000	00	
	Грибы всех сортов, сушеные, соленые, маринованные и проч.	000	00	
Арзамасский уезд	Гуси	000	00	
	Произведения искусств	000	00	
Темниковский уезд	Тележные кузовà, колеса, деревянные оси, мочало, рогожи и проч	000	00	
Харьков и так далее	Малороссийское сало, хлеб всех сортов, скот	000	00	
	Итого	000	00	

С минуту стоял я очарованный. Не может быть, чтобы такого проекта не разрешили,— думалось мне. Мало-помалу, однако, рассудок вступил в свои права.

— Ноль-ноль-ноль! Какая же это статистика? — вымолвил я.

— Это, любезный друг, не есть важно. У меня в самой статистике служит человек, который какие угодно цифры проставит, да и особые примечания напишет. Эти цифры, может, хотя и противоречат официальным данным, но ведь всем известно, как у нас собирается официальная статистика; здесь же проставленные цифры суть плод опытных наблюдений, несомненных и верных... Вот он как напишет — и все будет прекрасно!

— О, коли так... Но почему же вы думаете,— Горбатовский, например, уезд... почему вы предполагаете, что он *все* свои замки́ повезет в Харьков, а не в Сибирь, не в Алатырь, куда тоже, пожалуй, дорогу поведут?

— Непременно в Харьков. Торговля, душа моя, это такая вещь, что где вернее и быстрее ожидается оборот, туда она и тянет. Везде хоть гвоздь сделать умеют; везде есть свои слесаря, а следовательно, и замки́; в Харькове ничего и в заводе нет. Есть только сало.

— Да, коли так, то действительно... Ну, а как насчет пассажирского движения?

— Мужичья будет ездить пропасть. Вот первый и второй классы — эти будут прихрамывать. Видишь, я не скрываю от тебя и слабых сторон моей дороги.

— Но в таком случае нельзя ли устроить так?.. Просить —

так просить. Объявить, например, обязательным, чтобы однажды в год *весь* Харьков побывал в Нижнем и *весь* Нижний — в Харькове. Ну, пикники, что ли, такие об масленице и святой устроить...

— А в имении у меня полчаса остановки: блины, куличи, яйца... Да, это ид-де-я! Только трудненько будет ее провести с нашим русским сквалыжничеством. У меня, впрочем, тоже проектец про запас припасен, но уж не знаю...

— В чем же он состоит?

— Да очень просто: обложить каждого пассажира обязательно по двугривенничку на предмет вознаграждения за увечья и смерть. Необременительно, а для пассажиров — прямая выгода: обеспечение в будущем. За увечья будем платить по таксе; за смерть — смотря по человеку. За крестьянскую бабу и ста рублей за глаза довольно.

— И выгодно это для вас будет?

— Ничего, детишкам на молочишко останется. Предположи, что по дороге проедет — ну, мало триста тысяч человек в год. С каждого по двугривенному — это шестьдесят тысяч рублей. А заплатим за увечья много-много пять тысяч.

— Ах!

— Да, голубчик, на все требуется сметка, все нужно предвидеть и взвесить зараньше — тогда и будет все ладно. А впрочем, соловья баснями не кормят. Пора и в поход.

Целый месяц после того дядя прожил в Петербурге, и я его видел только урывками. Вставал спозаранок, пил чай один и исчезал на целый день. Сначала он мне кое-что рассказывал, но потом замолк. Стороной я слышал, что он был у Губошлепова, но тот отвечал, что у него своих делов по горло, а чужими заниматься недосуг. Тогда дядя напомнил ему про былое.

— Что было, то быльем поросло,— равнодушно ответил ему Губошлепов,— вместе горы рыли, и вы попользовались достаточно. А теперь я желаю.

Один из бывших сослуживцев,— теперь уже власть имущий,— к которому он тоже явился, сказал:

— Проект твой превосходный, и я даже удивляюсь, как никому прежде не пришло на ум... Харьков, Нижний — это именно... К сожалению, ты опоздал. Наше казначейство так скудно средствами, что может уделить нам лишь несколько миллионов в год. Эти миллионы уже распределены на несколько лет вперед, и сеть утверждена окончательно. Но после, когда все предположенное будет выполнено,— милости просим!

— Но неужто ж нельзя... сверх того?

— Невозможно. Не велено даже с представлениями входить.

Дядя бросился к евреям; но там потребовали, чтобы он обрезался. К чести его, я могу сказать, что он не согласился отступить от прародительских верований.

Тогда он начал искать, нельзя ли найти путь к чьей-нибудь «любезненькой». «Любезненькую» нашел и даже порастряс там немало денег. Надежды его оживились...

Но вдруг он явился однажды утром к чаю, махнул рукою и сказал:

— Сегодня уезжаю в Муром!

— Что так?

— Сон видел...

Наконец я виделся с дядей на этих днях. Он уже служит предводителем, известен как человек, который держит свое знамя твердо и грозно, и слухи о его благонамеренном нахальстве доходили даже до Петербурга. К тому же на этот раз он поступил толковее: не поехал прямо мозолить глаза своим проектом, а послал его куда следует заблаговременно, и успел заинтересовать. Последовало приглашение прибыть в Петербург.

— Тс... новости! — сказал он, являясь ко мне на постой.

— Новости... из Мурома?

— А ты думал откуда? Нынче и все новости из Мурома да из Кирсанова. У нас — источник всего, а вы, петербургские, только пережевываете.

Затем он свез просвирку от муромских чудотворцев и начал свою пропаганду.

Проект его носил заглавие:

ВРЕМЯ НЕ ТЕРПИТ!!

ПРОЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ

В сущности, это был проект всеобщего упразднения; но так как ныне все уже согласны, что в упразднении-то и заключается обновление, то терминология его была принята без особенных затруднений.

Он предлагал упразднить все: суды, земство, крестьянское самоуправление. Даже исправников и становых приставов. О кабаках говорил с оговоркой: вредны, но на них зиждется... Все уезды он делил на попечительства, по числу наличных дворян-землевладельцев или их доверенных, и с подчинением всех попечителей предводителю. В руках попечителей перепутана была власть судебная, административная и полицей-

ская. Они заведовали народною нравственностью, образованием, зрелищами, играми и забавами. Обязаны были устранять вредные обычаи и искоренять сквернословие. Но преимущественно смотреть, чтоб мужик не ленился. Своевременно созывать сходки и объяснять крестьянам их обязанности и необходимость повиновения. За хорошее поведение дарить мужикам кушаки, а бабам — платки.

Проект был прост и ясен, как день, и потому не удивительно, что имел успех. Фамилия Стрелова повторялась в салонах. Его приглашали, с ним совещались. Дамочки называли его не иначе, как «le bourru bienfaisant»[1]. Но, сверх того, ему и пообещали. Замечательно, что и тут не обошлось без завистников: кто-то шепнул о срытой горе; но на этот раз извет не имел успеха и даже был встречен с некоторым неудовольствием.

— Все в свое время горы рыли! — отвечали изветчику,— то было время, а теперь — другое; господин Стрелов понял это лучше, нежели кто-нибудь, и конечно...

Дядя ходил радостный и полный надежд. Проект его был приобщен к числу прочих, с тем, что его примут в соображение в своем месте и в свое время. Пройдут десятки лет, народится новое поколение, и какой-нибудь трудолюбивый собиратель старинных курьезов прочтет его и напечатает с эпиграфом:

> Вот как жили при Аскольде
> Наши деды и отцы...

Словом сказать, жизнь вновь улыбнулась дяде, как в эпоху ранней молодости. Ни одного вечера не видал я его дома — все на раутах среди дам или в мудрой беседе со старцами.

Но здесь я должен оговориться и поспешить приведением этой истории к концу. История вообще (в том числе и настоящая) обязана относиться к современности сдержанно. Нет ничего раздражительнее, как современность, и историк напрасно будет усиливаться в соблюдении справедливости при оценке фактов. Его всегда упрекнут в пристрастии. Еще Гоголь сказал: напиши что-нибудь про одного титулярного советника — все титулярные советники примут на свой счет. Точно так и тут: напишите какую угодно небылицу — все современные небылицы в лицах примут на свой счет.

Кончаю. В заключение скажу только, что дядя Захар теперь фигурирует в губернии, величается вашеством, и солдаты на тюремной гауптвахте выбегают, когда он проезжает мимо...

Вещих снов он не видит.

---

[1] «Добрый ворчун».

ПИСЬМО IX

В пестрых письмах было бы ненатурально не упомянуть о пестрых людях, заполонивших в настоящее время вселенную. Исправляю в этом письме сделанный мною пропуск.

Пестрое время, пестрые люди. Оттого и жить трудно стало; не на кого положиться, не во что верить; везде шатание, пустодушие, пестрота. Чего не ждешь, то именно и случится; от кого не чаешь — тот именно и стукнет тебе по темени. Дурное, спутанное время. Проворовались людишки, остатки совести потеряли.

Общий признак, по которому можно отличать пестрых людей, состоит в том, что они совесть свою до дыр износили. А взамен совести выросло у них во рту по два языка, и оба лгут, иногда по очереди, а иногда — это еще постыднее — оба зараз. Жизнь их представляет перепутанную, бессвязную и не согретую внутренним смыслом театральную пьесу, содержание которой исключительно исчерпывается переодеванием. Всем они в течение своей жизни были: и поборниками ежовой рукавицы, и либералами, и западниками, и народниками, даже «сицилистами», как теперь говорят. Но нигде не оставили ни скрупула своей души, потому что оставить было нечего. Все их искусство всегда состояло в том, чтобы выждать потребный момент и как можно проворнее переодеться и загримироваться. Словом сказать, это вполне оголтелые, в нравственном отношении, люди,— люди, у которых что ни слово, то обман, что ни шаг, то вероломство, что ни поступок, то предательство и измена.

За всем тем необходимо различать три сорта пестрых людей. Во-первых, те, которые сами себе выработали пестрое сердце и пестрый ум и преднамеренно освободили себя от всех стеснений совести. Это коноводы и зачинщики. Они пишут передовые статьи, шныряют по улицам, забираются в публичные места, пишут доносы, проникают в передние власть имеющих лиц — и везде каркают, везде призывают кару. И в либеральном смысле каркают, и в ежово-рукавичном, хотя в последнем уже по тому одному энергичнее, что самое представление о ежовой рукавице необходимо сплетается с представлением об энергии. По наружному виду их можно, по временам, принять за фанатиков убеждения, но они просто фанатики казенного или общественного пирога. Злы они неимоверно, потому что хоть и в форме робкого шепота, а все-таки доходит до них напоминание о предательстве. И вот благодаря этим напоминаниям, рядом с вожделением к пирогу, в них возникает потребность отомстить за все прежние

переодевания. А на ком же слаще излить месть отравленной души, как не на бывших случайных единомышленниках, свидетелях этих переодеваний?

Во-вторых, люди, которые пестрят ради шкурного спасения. Собственно говоря, их даже нельзя причислить к категории пестрых людей. Это не пестрота, а истязание, вымученный ответ на допрос с пристрастием. Ужасно несчастные эти люди. Помните, я однажды рассказал, как свинья Правду чавкала, а Правда перед свиньей запиналась, изворачивалась и бормотала. Так вот это самое и есть тот же процесс. Из всех истязаний чавканье живого тела — самое ужасное, и потому люди, которые ему подвергаются, приобретают растерянный и испуганный вид. По собственной инициативе они не пестрят, а только поддакивают. Но быть свидетелем этих поддакиваний — не дай бог никому.

Третий сорт «пестрых людей» представляют собою те, которым фея жизни, при рождении, пестрое ремесло, в виде дара, в колыбель положила. Таковы, например, все Молчалины. Всю жизнь свою они издерживают на пестрые дела, но что означает эта пестрота, полезна она или вредна и даже сопровождается ли какими-нибудь осязательными последствиями и для кого именно — ничего не знают. Большинство так и умирает, не догадавшись. Жалко этих людей, со стороны глядя, но сами они неудобства такого существования не сознают. Они обязательно принимают пестроту к исполнению и, исполнив, что по программе следует, обязательно же сдают свою работу другим бессознательно пестрым людям, а сами исчезают в могиле.

Первообразом пестрых людей, разумеется, служит индивидуум первой категории. Остальные две категории составляют только естественный и неизбежный придаток.

Первообраз потому представляется наиболее мучительным и опасным, что он был некогда нашим сочувствователем и затем, совершив обряд переодевания, подкрался к нам внезапно и исподтишка и впился своими когтями. Правда, мы и прежде замечали в нем наклонность к переодеваниям, но добродушно подсмеивались над нею, не придавая этому факту особенного значения. Между тем эта наклонность росла и росла и наконец выросла в меру совершеннолетия. А я уверен, что он и теперь, заглядывая по временам в будущее, думает: ежели «веяние» и переменится, то я всегда успею заново переодеться и загримироваться.

И он загримируется, и опять все забудется, и опять мы отведем ему место среди «своих». Мы — люди убеждения, люди

естественного и логического преуспеяния, люди, беззаветно отдавшие своей стране все свои душевные помыслы и силы. Я не однажды ратовал против этой повадливости; но предостережения мои не имели успеха. Это, впрочем, и понятно. Честным и убежденным сердцам столь же мало свойственны злопыхательство и мстительность, сколько они естественны в людях переодеваний. Как я уже сказал выше, последние мстят не за обиды, которых им никто не наносил, а за собственную душевную оголтелость, за то, что есть живые свидетели этой оголтелости.

Я живо помню время, когда впервые народилась идея хождения в народ. В основе этой идеи лежала отнюдь не пропаганда «науки преступлений», как ябедничали тогда взбудораженные и еще полные жизненности крепостники (да не живы ли они и теперь?), а внесение луча света в омертвелые массы, подъем народного духа. Распространение грамотности и здравых понятий о силах природы и отношениях к ним человека — вот что стояло на первом плане. Расскажите эпизоды этой печальной истории и подробности возбужденной ею паники любому культурному немцу,— и вы увидите на его лице только недоумение. Он вспомнит свою добрую молодость, вспомнит, как он, целым обществом, с посохом в руках, исходил пешком все уголки Германии, посетил ее горы и долины, изучая родную страну и входя в непосредственное общение с ее народом. И непременно скажет, что все это послужило к пользе народной, к поднятию общего уровня народного самосознания и к освежению самой культурной среды.

Вероятно, из Германии пришла и к нам идея хождения в народ. И все тогда сгруппировались вокруг нее, все горели нетерпением и энтузиазмом, и ежели не объявляли о своих намерениях во всеуслышание, то единственно по привычке опасаться, что всякое честное начинание искони является у нас подозрительным. Были в числе энтузиастов и «переодеватели» и, наравне с прочими, горели и плескали руками.

Я не принимал в этом движении непосредственного участия,— у меня было и есть свое собственное дело,— но всегда относился к нему с сочувствием. Кроме прямой пользы для народа и для правящих классов, я не видел никаких угроз в будущем. Находя по чистой совести, что управлять народом, уже вступившим в период самосознания, гораздо славнее и легче, нежели управлять полудикой толпой, гонимой страхом, я так, в этом смысле, и вел мою беседу с читателем. Я никогда не претендовал на роль вожака; я уклонялся от разговоров о распределении богатств, предоставляя решение этого вопроса будущему; не говорил ни о нивелировании, ни о нис-

проверженни, ни о крамоле и даже не выражался, что мы танцуем на вулкане. Никаких вулканов я не замечал, да и теперь не вижу, хотя времени прошло с тех пор достаточно. Я призывал к справедливости — только и всего.

Тем не менее известно, как встречены были мои беседы и каких постыдных издевок они мне стоили со стороны так называемых охранителей.

Но бодрые люди шли и шли. В числе их внезапно, но, повидимому, вполне искренно, очутился и Семен Скорняков.

Скорняков был моим сверстником по школьной скамье. В школе он был скорее нелюбим, нежели любим, и нелюбим потому, что чересчур уж ласково глядел в глаза начальству. Последнее благоволило к нему и ставило в пример, исключая, впрочем, учителя латинского языка, который почему-то называл его крокодилом.

— Что ты, крокодил, все хнычешь (действительно, когда его обижали, то он не плакал, а хныкал)? — говаривал он.— Знаешь, как твои собратья из Нила купающихся ребят утаскивают, гложут их и при сем хнычут? Так и ты со временем. Правду будешь глодать и хныкать.

И странное дело! — когда учитель это говорил, то всем казалось, что Скорняков вот-вот сейчас захнычет. Но он в ответ только застенчиво опускал глаза, точно просил у учителя прощения, что огорчил его.

По выходе из школы Скорняков, благодаря своим скудным средствам, не последовал примеру товарищей, отдавших себя в жертву портным и лихачам-извозчикам. По крайней мере, этот угар ежели и был, то прошел в нем очень скоро. Напротив, он выработал в себе вкус к книжке, поступил вольнослушателем в университет и через два года сдал кандидатский экзамен.

Вкус к книжке сблизил нас, так что некоторое время мы даже вместе жили. Я тогда уже начал пописывать, впрочем, только мелкие рецензии. И Скорнякову доставал работу. То было время самого разгара распри между западниками и славянофилами. Разумеется, мы не были не только первостепенными, но даже третьестепенными деятелями в этом движении, но все-таки следовали за общим литературно-полемическим потоком. Я был горячий и искренний поклонник Белинского и Грановского; Скорняков тоже выдавал себя за западника, но с оговорками и как бы оставляя себе лазейку в будущем.

— А община?! — говорил он, многозначительно поднимая указательный перст.

Теперь все это до того стерлось, что самые рубрики сделались пустопорожними выражениями. Теперь большинсто сла-

вянофилов убедилось, что есть община и община; что община, на которой они созидали благополучие и силу России, не обеспечивает ни от пролетариата, ни от обид, приходящих извне; что, наконец, будущая форма общежития, наиболее удобная для народа, стоит еще для всех загадкою. Напротив, по странной случайности, бывшие западники, ставши ближе к кормилу, примирились с общиной, потому что с нею сопряжена круговая порука. Не нужно сложной мозговой работы, чтобы управлять.

Но тогда все кипело и рвалось сразиться...

Для Скорнякова, однако ж, западническое кипение получило очень скорый, хотя и случайный, конец. Умер его отец, и он вынужден был поселиться в Москве. С этих пор для меня он надолго исчез. По-видимому, тут впервые у него зародилась мысль о карьере. В Москве он успел приютиться под крылышко одной из дам-патронесс, очень еще интересной старушки, и через нее пробился в славянофильский кружок. И тут он выдающейся роли себе не нашел, а был только «вхож»,— и за это спасибо. Славянофилы того времени были люди богатые, титулованные, имели в Петербурге связи и родство и жили под прикрытием митрополичьей рясы. Скорнякову не понравились, однако ж, их напыщенность, чванство и семинарская надменность, но он решился терпеть во имя будущего и вскоре сделался ревностным прозелитом. Писал в «Москвитянине» филиппики против западников и громил последних на чем свет стоит. Хомяков ему улыбался, Юрий Самарин подавал два пальца, Погодин показал свое книгохранилище (вместо гонорара за статьи), Константин Аксаков целовал. В заключение патронесса определила его чиновником особых поручений к важному лицу.

Здесь он чуть было опять не сделался западником, потому что важное лицо не любило славянофилов и называло их кутейниками. Но оно же не любило и западников, подозревая их в замыслах к ниспровержению порядка. Потому Скорняков решился сделаться простым здоровым русским человеком, таким же, каким был его начальник. С этою целью он выработал себе особую русскую точку зрения, в основе которой лежало исполнение предписаний начальства.

В это время судьба завела меня в один из отдаленных уголков России, где я пробыл около восьми лет, забытый и оставленный. О Скорнякове, разумеется, я никаких сведений не имел.

1856-й год опять нас столкнул. Пошли слухи об эмансипации, и оба мы ликовали, что наконец сравнялись с Европой.

— Вот увидишь, какую роль будет играть наша община! — восклицал он.

Мне, впрочем, и самому начинало казаться, что община скажет что-то новое. «Упраздните крепостное право, и сейчас же на сцену выступит община!» — вот как тогда говорили все, и даже западники, которые стояли тогда во главе движения и уже провидели удобство круговой поруки.

Когда все было кончено и новое «Положение» издано, Скорняков стал задумываться. Он уже высмотрел исподволь людей, которые готовы были появиться на смену деятелям «Положения», и под рукой наводил справки.

— Знаешь ли что? — говорил он мне,— не слишком ли мы поспешили? То есть, ты понимаешь, я совсем не в том смысле... Это дело святое, необходимое... но тем не менее годик-другой...

— Эй, Скорняков! Виляешь хвостом! — возражал я, впрочем, нимало не сердясь.

— Нет, совсем не то. Я только говорю, что бедные помещики... Ведь это все-таки представители нашей культуры...

Вдруг он опять исчез из Петербурга. Одновременно с этим исчезновением на столбцах одной «уважаемой» московской газеты начали появляться размашистые статьи, в которых проливались слезы в пользу бедных помещиков, а о мужике рассказывались смешные, а отчасти и возмутительные анекдоты. Обвинялись, по преимуществу, мировые посредники, а за ними и все вообще сочувствующие новосозданному порядку вещей. Прямо говорилось, что они революционеры, нивеляторы и подрыватели основ. Прошли слухи, что в составлении этих статей, и не без косвенного поощрения, принимает деятельное участие Скорняков. Действительно, он был там. Писал и спереди, и сзади; спереди — клеветал серьезно и убежденно, сзади — в шутливом русском тоне. Статьи эти были замечены.

— Вы имеете перо,— прогудел ему некоторый сановник,— держите его бодро на страх разрушителям и на пользу добрым порядкам. Это теперь нужнее, нежели когда-нибудь.

Прошла питейная реформа, но Скорняков не соблазнился ею. Он говорил, что дивиденд — дело преходящее и немного даже зазорное и что истинное его назначение — внутренняя политика, которая, конечно, вознаградит его превыше всяких дивидендов.

И он не ошибся. До тех пор он был только многообещающим бутоном, но невдолге этот бутон распустился в пышный и далеко разливающий аромат цветок. Карьера его двинулась быстро и блестяще. Прежде всего он попал в обрусители. Исполнял свято предначертания, но в то же время и сам почтительно представлял соображения. И делал это так ловко, что предначертателю оставалось только сказать: «Вот именно моя мысль! вы именно угадали ее». За эту ловкость и скром-

ность он получил, кроме всего прочего, хороший кусок пирога и уверенность, что на будущее время он «необходим».

Вслед за тем он опять появился в Петербурге и тут уже прогремел не на шутку. Имя его сделалось страшно, и даже наружность изменилась. Лицо обрюзгло и получило коричневый тон; глаза горели плотоядно; голос сделался громкий и вылетал как из пустой бочки. Из крокодила благообразного выработалось настоящее чудовище. Он не перебегал с одной стороны улицы на другую, как делают более робкие предатели, но шел прямо вперед, выпячивая грудь, размахивая руками и изрыгая хулу. Однажды он встретился со мной на Невском, но даже не поздоровался, хотя мы много лет не видались, а только погрозил мне пальцем. Стало быть, даже относительно старого однокашника он уже не считал себя обязанным стесняться. Любимою его поговоркою в то время было: «Нас не обманешь, мы сами там были»,— и он повторял ее с неизреченным нахальством человека, который вполне убежден, что он до того негодяй, что может сказать себе: «Ну, что ж! негодяй так негодяй!»

Какую массу злых, постыдных и, в сущности, бесполезных дел совершил он в короткое время,— это трудно перечислить. Плакали отцы, плакали матери, а он, сильный медным лбом и с камнем в груди, шел дальше и дальше вглубь. Он достиг того адского равновесия, что уже не мстил за свои прежние переодевания, но указывал на них как на подготовительный материал: вот, мол, через какую школу я прошел! Сами товарищи по ремеслу дивились ему; некоторые его сдерживали, но большинство благоговело перед ним.

— Всякий из нас,— говорили они,— имеет какую-нибудь личную исходную точку. Иной сводит счеты за прошлые обиды, другой — ради семьи хлопочет, третий — сословный интерес стережет. У Скорнякова — ничего назади нет. Он один как перст; в прошлом никто его не обидел, никто ничего у него не отнял; о сословном интересе он и не знает... Это единственный, в своем роде, образец опричника беспримесного, надрывающего себя ради целей, имеющих только абстрактное значение.

Судебная реформа тоже не обошлась без него; но, разумеется, он предпочел стоячую магистратуру сидячей. Отмежевавши себе сферу внутренней политики, он обвинял безоговорочно, хотя более бойко, нежели доказательно. Вместо доказательств и разбора побудительных причин у него были в запасе заветные слова, которые заграждали уста защите. И чем чаще пускал он их в оборот, тем больше преуспевал.

— И ничего другого не нужно! — повторяли хором все еди-

номышленники,— коли любишь — прикажи, а не любишь — откажи. Без разговоров.

Только один выживший из ума член английского клуба, князь Селищев, ничего не уразумев из рассказов про успехи Скорнякова, выразился:

— Нынче куда ни посмотришь — везде хамы да крапивное семя. Прежде были Кочубеи, Панины, Долгорукие, Голицыны, а нынче — Скорняковы да Боголеповы. Хам он, ваш Скорняков, оттого ему и везет! А скоро придет пора — и санкюлоты явятся. Ça ira...[1] Я уж десять лет в деревню поэтому не езжу и детей за границей держу...

Конечно, Скорняков первый посмеялся, услышав рассказ об этой княжеской бутаде; однако, на всякий случай, поместил в своей записной книжке заметочку: «Князь Селищев — выживший из ума старик, но дети его...»

В последнее время Скорняков, по-видимому, угомонился. Приобрел прекраснейшее (хотя и не первенствующее) служебное положение и подает мудрые советы. Но из всех его советов самый ясный и отчетливый выражается в двух словах: «искоренить и истребить». И ему внимают, и, быть может, недалеко время, когда он...

Он помнит, что князь Селищев назвал его хамом, и крепко надеется, что это звание послужит ему рекомендательным письмом. По временам глаза его источают блудящие огни, и он бессознательно бормочет: «Буду — не буду, буду — не буду...»

Будет?!

Вторая категория пестрых людей — это люди, замученные жизнью. Жизнь к ним пришла в виде западни, из которой они не имеют ни сил, ни уменья выбраться. Попались и бьются там, не подавая голоса.

В последнее время таких людей развелось очень много. Всякий пестрый человек первой категории приводит за собой массу подневольных. Живут они особняком и при встрече с старыми знакомыми мгновенно исчезают. Но что они переживают, оставаясь одни, сами с собой... что переживают!! Каждый день приносит им к исполнению новую измену, и каждый день они должны вынести эту измену на своих плечах, зная, что это измена, проклиная ее и все-таки прикованные к ней несокрушимою цепью. Отбыв дневную жизненную повинность и подводя ей итоги, они должны сознавать, что все ими сделанное чуждо их убеждению, что последнее затоптано в грязь... как? почему?

[1] Это придет...

А между тем это убеждение несомненно существовало и даже некогда составляло гордость и радование жизни. И как нарочно, в те скорбные минуты, когда прошлое уже затмилось настоящим, когда оно поругано и побито, памятливая совесть всего охотнее возвращается к этому прошлому. Припоминаются былые речи, старые образы... все припоминается, все.

Ходит пестрый человек взад и вперед по комнате до усталости, до изнеможения. Звонок. Пришел «посидеть» знакомец из «новых». Пришел, может быть, для того, чтобы испытать сердце человеческое и потом сфискалить.

— Ну, вот, и вы с нами,— говорит он,— не правда ли, так-то лучше?

— Да, да, и я... конечно, конечно... Надо же.

— А читали вы записку, которую подал L.?

— Да, да, читал... прекрасно, прекрасно.

— И так тонко дано почувствовать! И в то же время горячо, с огоньком!

— Да, тонко и, в то же время, действительно... но, впрочем, нам-то что ж!

— Как что ж? Мы ведь тоже в этой колеснице значимся! Дело, стало быть, общее.

И так далее.

Посидит знакомец, выпьет чашку чая и уйдет. А новообращенный сядет к рабочему столу и начнет подготовлять работу к завтрашнему дню. Из каждой строки этой работы явственно сочится одно слово: искоренить. Прежде он был сторонником и ревнителем женского образования, теперь — придумывает подвохи в ущерб ему; прежде он видел в свободе величайшее благо человеческих обществ, теперь — он называет ее не иначе как разнузданностью; прежде он признавал суд общественной совести, как наилучшее мерило для оценки человеческих деяний, теперь — он утверждает, что в основе этого суда лежит одна анархия. И он излагает это отчетисто, ясно, спеша поспеть к сроку, ибо знает, что завтра же все эти новые измышления должны быть пущены в ход. Одно только умеряет его стыд — это нелепость написанного и надежда, что сама жизнь отвернется от нее.

Каким путем люди приходят к такой раздвоенности мысли и чувства — все в этом вопросе смутно и спутанно. Едва ли, впрочем, тут не играет значительной роли недостаток материальных средств и происходящая от того зависимость. Многие не придают этому факту никакого значения, и даже не без презрения отзываются о нем. И, в большинстве случаев, это презрение идет от тех, которые исподлобья пускают жадные

взоры на виднеющийся вдали пирог. Но не нужно забывать, что бедность и недовольство выброшенным судьбою куском есть факт до того бесспорный, что ради него возникают не только частные преступления, но общественная рознь, междоусобия и всевозможные неурядицы. А еще менее надо забывать, что большинство людей состоит не из героев, а из простых смертных. Там, где герой возвышается до самоотвержения, простой смертный ограничивается одним сочувствием, далее которого его экспансивная сила не идет. Простой смертный есть зритель по преимуществу, и надо уж и то ставить ему в заслугу, ежели зрелище самопожертвованья умиляет и согревает его сердце любовью к ближнему.

Затем, в деле подневольной апостазии имеют громадное значение жизненные ошибки. Служение убеждению не терпит суеты. Оно строго до неумолимости и в своей логичности не пугается частных крайних выводов. Раз допущенное уклонение уводит человека все дальше и дальше от предначертанной линии, и возврат к исходному пункту делается не только трудным, но и немыслимым.

Все, которые вышли вместе, уже далеко, да и возвратный путь исковеркан и завален наносным хламом до того, что нужны нечеловеческие усилия, чтоб пробраться сквозь трущобу. Приходится или оставаться на том месте, где застало самосознание, и горько сетовать на свое легкомыслие, или идти далее, все уклоняясь и уклоняясь, и совсем отдаться в жертву мамоне.

Наконец есть и третья причина: это внезапно охватившая общество со всех сторон паника. Законы, порождающие панику и управляющие ею, до сих пор неизвестны. Она представляется нам в форме обезумевшего пса, случайно сорвавшегося с цепи. Она бежит вперед, брызжа бешеною слюною и изъязвляя всех, кто стоит на ее пути. Происходит общий переполох; со дна общества подымаются чудовища. Парение мысли, идеалы будущего, чистота души — все погибает в этом адском водовороте, уступая место бешеному лаю и наглому смеху остервенившихся чудовищ. И нужно громадную силу воли, чтобы устоять среди этой торжествующей душевной оголтелости и не сделаться хотя невольным ее сообщником. Целая масса сложивших оружие идет за колесницей победителей, осужденная на рабство. И если бы история не указывала на просвет из этой кромешной тьмы, то мир давно был бы отдан в жертву безнадежности и отчаянию.

Разумеется, я указал здесь лишь на самые характеристические черты процесса превращения. Существует множество других, второстепенных и третьестепенных, которые присущи каж-

дому отдельному индивидууму. Но главным двигателем все-таки является отсутствие героизма.

Спрашивается: что такое героизм?

Позволяю себе думать, что героизм представляет собой явление вполне бесспорное лишь в применении к открытиям и изобретениям, которые обнажают тайны природы и делают их доступными для человечества. Люди, совершающие полярные экспедиции, проникающие в неизведанные страны, люди, проливающие свет и благосостояние в темные народные массы,— вот герои, которые, так сказать, пишут историю человечества и производят в его судьбах действительные повороты. Что же касается до героизма политического, то это — явление преходящее, вызываемое данной минутой. И, быть может, недалеко время, когда в нем не будет больше надобности. Исчезнут истязания, умолкнут вопли — и тогда поистине наступит «время, всех освещающее».

Третья категория — это plebs, или, как говорят в сельском хозяйстве, живой рабочий инвентарь. Это — материал, который всякое новое веяние находит готовым. Люди эти всем восхищаются, особливо стилем бумаг и остротою пера. «Вот так загнул! — восклицают они в восторге,— поди расхлебай!» Сплошной массой наполняя канцелярии, они до того сродняются с атмосферой «своего места», что перестают даже различать, чем там пахнет.

Грибоедов воспроизвел этот тип в своем бессмертном Молчалине. Это человек, в пеленках познавший натиск судьбы и потому готовый отдать себя в рабство кому угодно и куда угодно, готовый поклониться и истинному богу, и пустому идолу, не имея ни способности, ни навыка проникать в сущность вещей. Одно качество, которое до известной степени смягчает его суетливую готовность,— это отсутствие злостности. Все в деятельности этих людей запечатлено неразумением и твердой решимостью удержать за собой тот нищенский кусок, который им выбросила судьба. Это неразумение, эта прирожденная, несознанная приниженность спасает их от проклятий.

Тем не менее внешние признаки, в которых выражается то или другое веяние, они отличают прекрасно. Знают, что Петр Иваныч — не то, что Федор Семеныч, что каждый из них «загибает» по-своему и что за каждым следует своя свита. Понимают, что когда Петр Иваныч в ходу, то Федора Семеныча с его свитой следует избегать, и наоборот. Умеют опускать очи при встрече, делать вид, что не узнают или не замечают,

охотно прислушиваются к слухам и в особенности выказывают тревожное расположение духа перед праздниками, когда Петры Иванычи сменяют Федоров Семенычей, а Федоры Семенычи — Петров Иванычей. Не то, чтоб они видели впереди какую-нибудь угрозу — «без нас не обойдутся!» — говорят они с гордостью,— но все-таки надо хотя накануне почиститься и переменить белье, чтобы хоть по наружности предстать в новом образе.

Деятельной роли они не играют. Встают с места, когда входит начальство, и садятся, когда оно уходит. Ежели начальник — бель-ом, то они радуются; ежели начальник маленький и мозглявый, то и тут не печалятся, а говорят: «Птичка невеличка, да ноготок востёр». Все начальники хороши, и всё идет прекрасно в наилучшем из миров. Нередко им приходится совершать дела прямо вредные; но так как сущность вещей закрыта для них, то они всю свою деятельность вообще прикрывают словом: «мероприятие», и затем никаких душевных тревог уже не ощущают.

Ни в обществе, ни в публичных местах их не встретишь, кроме известных улиц, которые в определенные часы бывают запружены ими. Издали видно, как в толпе людей всякого наименования спешит маленький пестрый человек в «свое место», чтобы за утро пустить несколько стрел в неведомое пространство. Куда летят эти стрелы, кого они уязвляют — это тайна, в которую он никогда не проникнет.

Дома он счастлив. Рассказывает ходячие канцелярские анекдоты и восхищается начальством.

— Какая сегодня записка насчет либералов к нам от NN поступила — просто роман! — сообщает он жене.

— Расчухали наконец! — радуется и жена.

— Да, пора-таки, а не то... Ведь от них все зло пошло! И так далее.

По праздникам он режет пирог той самой рукой, которая неведомо кому разбила существование. Ежели у него есть дети, то он радуется на них и спрашивает, хорошо ли учили уроки и довольны ли ими начальники. Этим людям никогда не приходит в голову, что дети могут со временем ужаснуться той обстановки и тех разговоров, среди которых они выросли. Вообще никакого представления о той грызущей семейной боли, которая сторожит их впереди, они не имеют. Идут без ясно определенной цели до тех пор, пока боль сама не подкрадется и не заставит изойти кровью сердца их. Вместе с этой болью подкрадутся и старческие немощи, и они будут изнемогать под этим двойным бременем... опять-таки без разумения.

И благо им, ибо разумение не устраняет и не утишает болей, а только мучительнее и мучительнее растравляет сердечные раны.

В сущности, это прирожденные жертвы общественного темперамента. Общество искони воспитало в себе особую среду и заранее обрекло ее. Выход из нее представляет редкую случайность, область которой несколько расширилась лишь в последнее время, благодаря большей доступности публичного образования. Но в то же время расширилась и область больных мест.

Повторяю: все три категории пестрых людей одинаково вредны, каждая в своей сфере; но люди двух последних не могут не возбуждать сожаления, хотя бы с той точки зрения, что, в качестве рабов, они несут только иго апостазии, не пользуясь ее осязаемыми благами В награду за эту отрицательную заслугу суд истории пройдет о них молчанием.

На этом я заканчиваю «Пестрые письма».

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ
И
НЕОКОНЧЕННОЕ

СКАЗКИ

МАЛА РЫБКА, А ЛУЧШЕ БОЛЬШОГО ТАРАКАНА

Воблу поймали, вычистили внутренности и вывесили на веревочке на солнце: пускай провялится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался.

И стала вобла жить да поживать [1].

— Хорошо теперь мне,— говорила вяленая вобла,— ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести — ничего у меня не будет! Все лишнее выветрили, вычистили и вывялили, и буду я свою линию полегоньку до потихоньку вести!

Что бывают на свете лишние мысли, лишняя совесть, лишние чувства — об этом, еще живучи на воле, вобла слышала. И никогда, признаться, не завидовала тем, которые такими излишками обладали. От рождения она была вобла степенная, не в свое дело носа не совала, за «лишним» не гналась, в эмпиреях не витала и неблагонадежных компаний удалялась. Еще где, бывало, заслышит, что пискари об конституциях болтают,— сейчас налево кругом и под лопух схоронится. Однако же и за всем тем не без страху жила, потому что не ровен час, вдруг... «Мудреное нынче время! — думала она,— такое мудреное, что и невинный за виноватого как раз сойдет! Начнут, это, шарить, а ты *около* где-нибудь спряталась — ан и *около* пошарят! Где была? по какому случаю? каким манером? — Господи, спаси и помилуй!» Стало быть, можете себе представить, как она была рада, когда ее изловили и все мысли и чувства у ней выхолостили! «Теперь милости просим! — торжествовала она,— когда угодно и кто угодно! теперь у меня все доказательства налицо!»

---

[1] Я знаю, что в натуре этого не бывает, но так как из сказки слова не выкинешь, то, видно, быть этому делу так. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

Что́ именно разумела вяленая вобла под названием «лишних» мыслей и чувств — мне неизвестно; но что, действительно, на наших глазах много лишнего завелось — с этим и я не согласиться не могу. Сущности этого лишнего никто еще не называл по имени, но всякий смутно чувствует, что куда ни обернись — везде какой-то привесок выглядывает. И хоть ты что хочешь, а надобно этот привесок или в расчет принять, или так его обойти, чтобы он и не подумал, что его надувают. Все это порождает тьму новых забот, осложнений и беспокойств вообще. Хочется, по-старинному, прямиком пройти, ан прямик буреломом завалило, промоинами исковеркало — ну, и ступай за семь верст киселя есть. Всякий партикулярный человек нынче эту тягость сознает, а какое для начальства от того отягощение — этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Штаты-то старинные, а дела-то новые; да и в штатах-то в самых уж привески завелись. Прежде у чиновника-то чугунная поясница была: как сел на место в десять часов утра, так и не встает до четырех — все служит! А нынче придет он в час, уж позавтракавши; час папироску курит, час куплеты напевает, а остальное время — около столов колобродит. И тайны канцелярской совсем не держит. Начнет одно дело перелистывать — «Посмотрите, какой курьез!», за другое возьмется — «Глядите! ведь это — отдай всё, да и мало!» Наберет курьезов с три короба, да к Палкину обедать. А как ты удержишься, чтобы курьезом стен Палкина трактира не огласить! Да ежели, я вам доложу, за каждую канцелярскую нескромность будет каторга обещана, так и тогда от нескромностей не уйти!

Спрашивается: с кем же тут начальству подняться! У всех есть пособники, а у него нет; у всех есть укрыватели, а у него нет! Как тут остановить наплыв «лишнего» в партикулярном мире, когда в своей собственной цитадели, куда ни вскинь глазами — везде «лишнее» так и хлещет через край!

Нет, как хотите, а надо когда-нибудь эти привески счесть, да и присмотреться к ним. Узнать: откуда они пришли? зачем? куда пролезть хотят?

Очень, впрочем, возможно, что вобле эти вопросы и на ум совсем не приходили. Однако, повторяю: и она, вместе с прочими, когда на воле жила, чувствовала, что от привесков ей мат. И только тогда, когда ее на солнце хорошенько провялило и выветрило, когда она убедилась, что внутри у нее ничего не осталось,— только тогда она ободрилась и сказала себе: «Ну, теперь мне на все наплевать!»

И точно: теперь она, против прежнего, сделалась куда солиднее и благонадежнее. Мысли у ней — резонные, чувства — никого не задевающие, совести — на медный пятак. Сидит себе

с краю и говорит, как пишет. По улице пойдет, встретится с кем-нибудь — откровенно мнение свое выскажет и всех основательностью восхитит. Не рвется, не мечется, не протестует, не клянет, а резонно об резонных делах калякает. О том, что тише едешь, дальше будешь, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан, что поспешишь — людей насмешишь и т. п. А всего больше о том, что уши выше лба не растут.

— Ах, воблушка! как ты скучно на бобах разводишь! точно тебя тошнит! — воскликнет собеседник, ежели он из свеженьких.

— И всем скучно сначала,— стыдливо ответит воблушка.— Сначала — скучно, а потом — хорошо. Вот как поживешь на свете, тогда и об воблушке вспомнишь, скажешь: «Спасибо, что уму-разуму учила!»

Да нельзя и не сказать спасибо, потому что, ежели по правде рассудить, так именно только одна воблушка в настоящую центру попала. Бывают такие обстановочки, когда подлинного ума-разума и слыхом не слыхать, а есть только воблушкин ум-разум. Люди ходят как сонные, ни к чему приступиться не умеют, ничему не радуются, ни о чем не печалятся. И вдруг в ушах раздается убаюкивающий шепот: «Потихоньку да полегоньку, двух смертей не бывать, одной не миновать...» Это она, это воблушка шепчет! Спасибо тебе, воблушка! правду ты молвила: двух смертей не бывать, а одна искони за плечами ходит!

Не явись на выручку воблушка, одно бы оставалось — пропáсть. Но она не только на убежище указала, а целую цитадель создала. Вот уж там-то все шито да крыто, там-то уж ни о каких привесках и слыхом не слыхать! Есть захотелось — ешь! спать вздумалось — спи! Ходи, сиди, калякай! К этому и привесить-то ничего нельзя. Ты никого не тронешь, и тебя никто не тронет. Спите, други, почивайте!

— И откуда у тебя, воблушка, такая ума палата? — спрашивают ее благодарные пискари, которые, по милости ее советов, целы остались.

— От рожденья бог меня разумом наградил,— скромно отвечает воблушка,— а сверх того, и во время вяленья мозг у меня в голове выветрился... С тех пор и начала я умом раскидывать...

И действительно: покуда наивные люди в эмпиреях витают, воблушка только умом раскидывает и тем пользу приносит. Никакие клеветы, никакое человеконенавистничество, никакие змеиные передовые статьи не действуют так воспитательно, как действует скромный воблушкин пример. «Уши выше лба

не растут!» —ведь это то самое, о чем древние римляне говаривали: «Respice finem!» Только более ко двору.

Хороша клевета, а человеконенавистничество еще того лучше, но они так сильно в нос бьют, что не всякий простец вместить их может. Все кажется, что одна половина тут наподлена́, а другая — налгана́. А главное, конца-краю не видишь. Слушаешь или читаешь и все думаешь: «Ловко-то ловко, да что́ же дальше?» — а дальше опять клевета, опять яд... Вот это-то и смущает. То ли дело скромная воблушкина резонность? «Ты никого не тронь — и тебя никто не тронет!» — ведь это целая поэма! Тускленька, правда, эта пресловутая резонность, но посмотрите, как цепко она человека нащупывает, как аккуратно его обшлифовывает! Когда клевета поизмучает, да хлевный яд одурманит, когда человек почувствует, что нет во всем его организме места, которое бы не ныло, а в душе нет иного ощущения, кроме безграничной тоски,— вот тогда-то и выступает воблушка с своими скромными афоризмами. Она бесшумно подкрадывается к искалеченному и безболезненно додурманивает его. И, приведя его к стене, говорит: «Вон сколько каракуль там написано — это для тебя занятие! Всю жизнь разбирай — всего не разберешь!»

Смотри на эти каракули, и ежели есть охота — доискивайся их смысла. Тут все в одно место скучено: и заветы прошлого, и яд настоящего, и загадки будущего. И над всем лег густой слой всякого рода грязи, погадок, вешних потоков и следов непогод.

Все это отлично поняла вяленая вобла, или, лучше сказать, не сама поняла, а принес ей это понимание тот процесс вяления, сквозь который она прошла. Все поприща поочередно открывались перед ней, и на всяком она службу сослужила. Везде она свое слово сказала, слово пустомысленное, бросовое, но именно как раз такое, какого, по обстоятельствам, лучше не надо.

Затесавшись в ряды бюрократии, она паче всего на округлении периодов настаивала. Без округления, резонно утверждала воблушка, никак следы замести нельзя. На свете существует множество всяких слов, но самые опасные из них — это слова прямые, настоящие. Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из-за них изъяны выглядывают. А ты пустопорожнее слово возьми, да и начинай им кружить. И кружи, и кружи; и с одной стороны загляни, и с другой забеги; умей «к сожалению, сознаться» и в то же время не ослабеваючи уповай; сошлись на дух времени, но не упускай из вида и разнузданности страстей. Тогда изъяны стушуются сами собой, а останется одна воблушкина правда. Та вожделенная

правда, которая помогает нынешний день пережить, а об завтрашнем — не загадывать.

Забралась вяленая вобла и в ряды «излюбленных» — и тут службу сослужила. Поначалу излюбленные довольно-таки гордо себя повели: «Мы-ста, да вы-ста... повергнуть наши умные мысли на усмотрение!» Только и слов. А воблушка сидит себе скромненько в углу и думает про себя: «Ладно! моя речь еще впереди». И действительно: раз повергли, в другой — повергли, в третий — опять было повергнуть собрались, да концов с концами свести не могут. Вот тут-то воблушка и оказала себя. Выждала минутку, когда у всех в горле пересохло, и говорит: «Повергать, говорит, мы только тогда можем, коли нас спрашивают, а ежели не спрашивают, то должны мы сидеть смирно и получать присвоенное содержание».— «Как так? почему?» — «А потому, говорит, что так исстари заведено: коли спрашивают — повергай! а не спрашивают — сиди и памятуй, что выше лба уши не растут!» И вдруг от этих простых воблушкиных слов у всех словно пелена с глаз упала!

— Откуда у тебя такая ума палата? — обступили ее со всех сторон,— ведь кабы не ты, мы, наверное бы, с Макаром, телят не гоняющим, познакомились!

А воблушка скромно радовалась своему подвигу и объясняла:

— Оттого я так умна, что своевременно меня провялили. С тех пор меня точно свет осиял: ни лишних чувств, ни лишних мыслей, ни лишней совести — ничего во мне нет.

— Правильно! — согласились излюбленные люди и тут же раз навсегда постановили: — Коли спрашивают — повергать! а не спрашивают — сидеть и получать присвоенное содержание...

Пробовала вяленая вобла и заблуждения человеческие судить — и тоже хорошо у ней вышло. Тут она наглядным образом доказала, что ежели лишние мысли и лишние чувства без нужды осложняют жизнь, то лишняя совесть и тем паче не ко двору. Лишняя совесть наполняет сердца робостью, останавливает руку, которая готова камень бросить, шепчет судье: «Проверь самого себя!» А ежели у кого совесть, вместе с прочей требухой, из нутра вычистили, у того завсегда камней — полна пазуха. Смотрит себе вяленая вобла, не сморгнувши, на заблуждения человеческие и знай себе камешками пошвыривает. Каждое заблуждение у ней под номером значится, и против каждого камешек припасен — тоже под номером. Остается только нелицеприятную бухгалтерию вести. Око за око, номер за номер. Ежели следует искалечить полностью — полностью искалечь. Ежели следует искалечить в частности — искалечь

частицу. И та́к она этою своею резонностью всем понравилась, что про совесть скоро никто и вспоминать без смеха не мог...

Но больше всего была богата последствиями добровольческая воблушкина деятельность по распространению здравых мыслей в обществе. С утра до вечера не уставаючи ходила она по градам и весям, и все одну песню пела: «Не расти ушам выше лба! не расти!». И не то, чтоб с азартом пела, а солидно, рассудительно, так что и рассердиться на нее было не за что.

Надо сказать, впрочем, правду: общество, к которому обращались поучения воблы, не представляло особенной устойчивости. Были в нем и убежденные люди, но более преобладал пестрый человек.

Убежденные люди надрывались, мучались, метались, вопрошали и, вместо ответа, видели перед собой запертую дверь. Пестрые люди следили в недоумении за их потугами и в то же время ощущали присутствие железного кольца, которое с каждым днем все больше и больше стягивалось. «Кто-то нас выручит? кто-то подходящее слово скажет?..» — ежемгновенно тосковали они, озираясь кругом.

При таких условиях обыкновенно наступает короткий период задумчивости: пестрые люди уже решились, но, для начала, еще стыдятся. Затем пестрая масса начинает мало-помалу волноваться. Больше, больше — и вдруг вопль: «Не растут уши выше лба, не растут!»

Общество отрезвилось. Происходит процесс поголовного освобождения от лишних мыслей, лишних чувств и лишней совести. Это зрелище до такой степени умилительное, что даже клеветники и человеконенавистники на время умолкают. Они вынуждены сознаться, что простая вобла, с провяленными молоками и выветрившимся мозгом, совершила такие чудеса отрезвления, о которых они и гадать не смели.

. . . .

Но увы! — этому скромному торжеству был сужден скорый и немилостивый конец. Не успело оно достигнуть своего апогея, как человеконенавистничество уже прозрело. Оно поняло, что ежели будет принят воблушкин метод мирного приведения рода человеческого в остолбенение, то в кознодействах его не встретится больше надобности. Что здание свар, лжей и клевет, с таким усилием воздвигнутое, окажется стоящим на песке и рухнет само собой...

Тревожимые опасениями, злопамятные открыли поход.

— Прекрасно,— говорили они,— мы с удовольствием допускаем, что общество отрезвилось, что химера упразднена, а на место ее вступила в свои права здоровая, неподкрашенная

жизнь. Но надолго ли? но прочно ли наше отрезвление? — вот в чем вопрос. В этом смысле мирный характер, который ознаменовал процесс нашего возрождения, наводит на очень серьезные мысли. До сих пор мы знали, что заблуждения не так-то легко полагают оружие даже перед очевидностью совершившихся фактов, а тут вдруг, нежданно-негаданно, благодаря авторитету пословицы — положим, благонамеренной и освященной вековым опытом, но все-таки не более как пословицы — является радикальное и повсеместное отрезвление! Полно, так ли это? искренно ли состоявшееся на наших глазах обращение? не представляет ли оно искусного компромисса или временного modus vivendi, допущенного для отвода глаз? И нет ли в самых приемах, которыми сопровождалось возрождение, признаков того легковесного либерализма, который, избегая такие испытанные средства, как ежовые рукавицы, мечтает кроткими мерами разогнать тяготеющую над нами хмару? Не забывается ли при этом слишком легко, что общество наше есть не что иное, как разношерстный и бесхарактерный агломерат всевозможных веяний и наслоений, и что с успехом действовать на этот агломерат можно лишь тогда, когда разнообразные элементы, его составляющие, предварительно приведены к одному знаменателю?

Некоторое время, впрочем, эта инсинуация оказывала мало действия. Слишком уже явную услугу оказала воблушка, чтоб можно было легко потрясти ее авторитет. По милости ее, был найден настоящий, здоровый тон жизни, который сейчас же усвоили, сначала в салонах, потом в трактирах, потом... Дамочки радова́лись и говорили: «Теперь у нас балы начнутся». Гостинодворцы развертывали материи и ожидали оживления промышленности.

Но увы! — балы кончились, и все шампанское, какое было в трактирах, было за здоровье воблушки выпито... надо было идти дальше. Кроме торжеств и ликований, предстояло еще нечто, о чем в пылу восторгов не подумали. А именно: необходимо отыскать «здоровое дело», к которому можно было бы «здоровый тон» применить.

И вот тут-то совершилось нечто необыкновенное. Оказалось, что понятие об деле так смутно, что никто даже по имени не может его назвать. Все говорят: «Надо дело делать», но какое — не знают. А вобла похаживает между тем среди возрожденной толпы — и тоже ничего не знает, и только самодовольно выкрикивает: «Не растут уши выше лба! не растут!»

— Помилуй, воблушка! да ведь это только «тон», а не «дело»,— возражают ей,— дело-то какое предстоит — вот ты что́ скажи!

А кроме того, тут же сбоку выскочил и другой вопрос: если настоящее дело наконец и откроется — кто его делать будет?

— Вы, Иван Иваныч, будете дело делать?

— Где мне, Иван Никифорыч! Моя изба с краю... вот разве вы...

— Что́ вы! что́ вы! разве я об двух головах! ведь я, батюшка, не забыл...

И таким образом все. У одного — изба с краю, другой — не об двух головах, третий — чего-то не забыл... Все глядят, ка́к бы в подворотню проскочить, у всех сердце не на месте и руки как плети...

«Уши выше лба не растут!» — хорошо это сказано, сильно, а дальше что́? На стене каракули читать? — и это хорошо, а дальше что́? Не шевельнуться, не пикнуть, не рассуждать? — прекрасно и это, а дальше что́?

И чем старательнее выводились логические последствия, вытекающие из воблушкиной доктрины, тем чаще и чаще становился поперек горла вопрос: «А дальше что́?»

Разумеется, произошло колебание, которым и воспользовались клеветники и человеконенавистники.

«Само по себе взятое,— говорили и писали они,— учение вяленой воблы не только не заслуживает порицания, но даже может быть названо вполне благонадежным. Но дело не в доктрине и ее положениях, а в тех приемах, которые употреблялись для ее осуществления и насчет которых мы, с самого начала, предостерегали тех, кому ведать о сем надлежит. Приемы эти были положительно негодны, как это уже и оказалось теперь. Они носили на себе клеймо того же паскудного либеральничанья, которое уже столько раз приводило нас на край бездны. Так что ежели мы еще не находимся на дне оной, то именно только благодаря здравому смыслу, искони лежавшему в основании нашей жизни. Пускай же этот здравый смысл и теперь сослужит нам свою обычную службу. Пусть подскажет он всем, серьезно понимающим интересы своего отечества, что единственно целесообразный прием, при помощи которого мы можем придти к какому-нибудь результату, представляют ежовые рукавицы. Об этом напоминают нам предания прошлого; о том же свидетельствует смута настоящего. Этой смуты не было бы и в помине, если б наши предостережения были своевременно выслушаны и приняты во внимание. Caveant consules! — повторяем мы, и при этом прибавляем, для незнающих по-латыни, что в русском переводе выражение это значит: не зевай!»

Таким образом, оказалось, что хоть и провялили воблу, и внутренности у нее вычистили, и мозг выветрили, а все-таки

в конце концов ей пришлось распоясываться. Распоясываться за то, что, вместе с лишними чувствами, лишнею совестью, из нее и понятие об ежовых рукавицах выпотрошили. Этого было вполне достаточно, чтоб из торжествующей она превратилась в заподозренную, из благонамеренной — в либералку. И в либералку тем более опасную, чем благонадежнее была мысль, легшая в основание ее пропаганды.

И вот в одно утро совершилось неслыханное злодеяние. Один из самых рьяных клеветников ухватил вяленую воблу под жабры, откусил у нее голову, содрал шкуру и у всех на виду слопал...

Пестрые люди смотрели на это зрелище, плескали руками и вопили: «Да здравствуют ежовые рукавицы!» Но История взглянула на дело иначе и втайне положила в сердце своем: «Довести об этом до сведения потомства».

ПЕСТРЫЕ ПИСЬМА

ПЕСТРЫЕ ЛЮДИ

Пестрое время, пестрые люди. Оттого и жить нехорошо стало. Не на что положиться, не во что верить — везде шатание, пустодушие, подвох. Чего не ждешь, то именно и сбудется, от кого не чаешь — тот именно и стукнет тебя по темени. Трудное, спутанное время. Проворовались людишки, остатки совести потеряли.

Общий признак, всем пестрым людям свойственный, заключается именно в том, что у них совесть в сердцах затуманилась. И в то же время во рту два языка выросло, и оба по очереди лгут, и еще хуже, как оба вместе начнут лгать. Жизнь их представляет перепутанную и не согретую внутренним смыслом пьесу, содержание которой исключительно исчерпывается переодеваниями. Всем они в сей жизни были: и поборниками ежовой рукавицы, и либералами; и западниками, и народниками; даже социалистами. Но нигде не оставили ни скрупула своей души, своей совести, потому что оставить было нечего. Все их искусство в том состоит, чтоб угадать потребный момент и как можно проворнее переодеться и загримироваться. Только ежовая рукавица как будто производит настолько усиленное движение в их потрохах, что, дорвавшись до нее, они даже забывают о грядущих переодеваниях... Но может быть, впрочем, не забывают, а думают: всегда переодеться успеем!

Словом сказать, совсем это бесчестные и нравственно-оголтелые люди, у которых что ни слово, то обман, что ни шаг, то вероломство, что ни поступок, то предательство и измена.

За всем тем необходимо различать три сорта пестрых людей.

Во-первых, те, которые сами себе выработали пестрое сердце и пестрый ум и преднамеренно освободили себя от всех

стеснений совести. Это — коноводы и зачинщики. Они пишут передовые статьи, шныряют по улицам, забираются в публичные места, пишут доносы, проникают в передние власть имеющих лиц — и везде каркают, везде призывают кару. И в либеральном смысле каркают, и в ежово-рукавичном, хотя в последнем уже потому одному энергичнее, что самое представление о ежовой рукавице необходимо сплетается с представлением об энергии. По наружному виду их можно по временам принять за фанатиков убеждения, но они просто фанатики казенного или общественного пирога. Злы они неимоверно, потому что хоть и в форме робкого шепота, а все-таки до ушей их доходит напоминание о предательстве. И вот, благодаря этим напоминаниям, рядом с вожделением к пирогу, в них возникает потребность отомстить за все старые переодевания. А на ком же слаще излить месть отравленной души, как не на бывших случайных единомышленниках, свидетелях этих переодеваний?

О пестрых людях этой категории я говорить не буду: боюсь. Ужасно стыдно это слово произнести, а приходится. Во-первых, потому, что это слово, исчерпывающее целое положение вещей, а во-вторых, потому, что в нынешнем лексиконе и слов-то непостыдных совсем не осталось.

Во-вторых, люди, которые пестрят ради шкурного спасения. Собственно говоря, их даже нельзя причислить к категории пестрых людей. Это не пестрота, а истязание; вымученный ответ на допрос с пристрастием. Ужасно несчастные это люди. Помните, я однажды рассказал, как свинья Правду чавкала, а Правда перед свиньей запиналась, изворачивалась и бормотала. Так вот это самое и есть, тот же процесс. Из всех истязаний чавканье живого тела самое ужасное, и поэтому люди, которые ему подвергаются, приобретают растерянный и замученный вид. По собственной инициативе они никогда не пестрят, а только поддакивают. Но быть свидетелем этих поддакиваний — не дай бог никому.

Об этой категории пестрых людей я тоже не буду говорить: мучительно. Да вряд ли и подходят для сказки такие сюжеты.

Третий сорт пестрых людей представляют собой те, которым фея жизни при рождении пестрое ремесло, в виде дара, в колыбель положила. Таковы, например, все Молчалины. Всю жизнь свою они издерживают на пестрые дела, но что означает эта пестрота, полезна она или вредна, и даже сопровождается ли какими-нибудь осязательными последствиями и для кого именно — ничего не знают. Большинство так и умирает не догадавшись. Жалко этих людей, со стороны глядя, но сами они неудобств такого существования не сознают. Они обяза-

тельно принимают пестроту к исполнению и, исполнив, что по программе следует, обязательно же сдают свою работу другим бессознательно-пестрым людям, а сами исчезают в могиле.

Вот об этих пестрых людях можно в сказках рассказывать, потому что существование их не представляет ни торжества, ни истязания. Это «такая уж жизнь» — и больше ничего.

ПОСЛАНИЕ ПОШЕХОНЦАМ

Господа Пошехонцы.

Я надеюсь, что вы не будете на меня в претензии за то, что я решаюсь по душе побеседовать с вами. Беседа эта, по моему мнению, тем более уместна, что за последнее время довольно-таки накопилось недоразумений, в которых вы — непосредственно или косвенно, но тем не менее несомненно — приняли участие.

Содержание моей беседы будет, впрочем, не новое. Я буду, с одной стороны, говорить о малодушии, благодаря которому жизненное распутство ниоткуда не встречает не только гласного, но и молчаливого отпора; буду говорить о повадливости, благодаря которой то же распутство уже не прячется за углом, но повсюду проникает с улыбающимся лицом, и не только не получает по оному, но пользуется правами открытого соблюдничества; буду говорить о предательстве, благодаря которому распутство сделалось силою, готовою победить мир. С другой стороны, я буду говорить о необходимости поддержать честную мысль, честное дело, честных людей; буду говорить о том, что только торжество честного дела и честной мысли может доставить уверенность в завтрашнем дне, без которой немыслимо пользование жизнью ни личною, ни общественною; наконец, буду говорить о том, что действительно живет только тот, кто пользуется благами жизни открыто, на основании прирожденного человеку права, а не тот, кто урывками и исподтишка крадет у жизни случайно выбрасываемые на дорогу крохи...

Повторяю: предметы эти не новые; но они любопытны в том отношении, что вы, господа пошехонцы, всегда стараетесь прижаться к сторонке, когда заходит об них речь. Мы, дескать, тут ни при чем; это не мы, а кошка; мы бы и рады идти в поход, да ведь над нами века висят; тут и исторический гнет, и логика событий, и организация, и путаница и т. д. и т. д.

Признаюсь, однако ж, эти оговорки кажутся мне если не прямо подозрительными, то, по крайней мере, требующими поверки. Ибо если принять их на веру, то не будет ли уж чересчур легка для вас жизнь, господа пошехонские обыватели? Ежели уж и вообще-то устранить принцип ответственности, как вы его сами от себя устраняете, то ведь вам, пожалуй, останется только срывать цветы удовольствия и сладко игнорировать, что у жизни, кроме цветов, имеются и шипы.

Говоря по совести, претензия столь прихотливая не может быть признана ни основательною, ни даже безвредною. Она неосновательна потому, что ничем не обусловлена, потому что в зародыше ее лежат не заработок или заслуга вообще, а одно праздношатание. Она вредна, потому что, вместо делателей<?>, наполняет жизнь жужжаньями трутней и ставит последних в привилегированное и веселое положение. Она вводит в заблуждение насчет характера самой жизни, возводя последнюю на степень праздничного гулянья, тогда как на самом деле она есть страда́.

Не скрою: самая поспешность, с которою вы отрицаетесь от всякого непосредственного участия в известного рода жизненных явлениях, показывает, что вы до известной степени не чужды стыда, но ведь представление о стыде нимало не исключает представления об ответственности. Напротив того, стыд тогда только и получает настоящую ценность, когда он становится деятельным жизненным началом, находящим себе оправдание в принципе ответственности. Или, говоря другими словами, стыд есть первый приступ к ответственности, на которой зиждется все человеческое жизнестроительство.

Поэтому, мне кажется, теперь самое время установить эту ответственность, подвергнув более или менее подробному анализу (насколько мои скромные силы позволят) отношения, существующие между обывателями пошехонской страны и некоторыми жизненными явлениями, которые по важности своей не могут не отзываться так или иначе на общем благополучии пошехонской страны.

Не бойтесь, однако ж. Я не поведу вас ни в дебри, ни в трущобы и не стану требовать от вас ни геройства, ни чрезмерных жертв. Я буду указывать вам лишь на дела средние, какие нам с вами приличествуют. Даже кошелька вашего (знаю я, как вы его прячете, коль скоро идет речь не о бакалейных и красных товарах) коснусь весьма умеренно.

Начнемте с литературы.

Знаете ли вы, господа пошехонцы, что такое литература? — Сомневаюсь. Думаю, что вы на этот предмет такой взгляд имеете: литература — это ха-ха-ха или хи-хи-хи. И много-

много, если: «il y a là dedans un joli mouvement oratoire»[1]. Что возбудило в известном случае ваш смех, а в другом заставило вас задуматься — надо полагать, что вы это сознаете... Но, извините меня, мне кажется, что сознание ваше едва ли переходит за предел той минуты, в продолжение которой живые образы непосредственно стоят перед вашими глазами, а горячие речи непосредственно касаются вашего слуха. Прошла минута, замер последний звук, дочитано последнее слово — и на дне сознания остался осадок, в виде «ха-ха-ха», или смутного воспоминания о joli mouvement oratoire. «Ха-ха-ха... что бишь такое?» — Ах нет, ха-ха-ха — это прежде было, а сейчас, напротив — c'était très sérieux...[2] что́ бишь такое?

Спутались вы, господа. С одной стороны вас одолевает жизнь — или, лучше сказать, жизненное мелькание, с другой стороны вас давят традиции, с которыми вы с детства сжились. Путаница эта до такой степени мешает вам разобраться в расценке нарождающихся впечатлений, что вы положительно не знаете, как быть: признать ли для себя обязательными новые течения и принять в них непосредственное участие, или же ухитриться, чтоб только как-нибудь пережить их.

Дело в том, что вы и до сих пор всем сердцем принадлежите старой, дореформенной литературе (замечу раз навсегда: я не о Шекспирах и Дантах говорю, а о средней литературе), и в ней одной находите усладу и утешение. Она искони давала вам известные поблажки, которые вы высоко ценили, и, прежде всего, не заставляла вас ставить вопрос: что такое я читаю? Все предлагавшееся ею было вполне ясно и вам свойственно. Так называемая изящная словесность рассказывала вам отчасти о браках с препятствиями, отчасти об адюльтерах. Так называемая наука уведомляла вас о месте погребения Овидия, о стоимости древней гривны, о значении слова «навьё» и т. д. Первою — вы упивались, второю — гордились. Первая, как в зеркале, отражала перипетии вашей собственной жизни, замкнувшейся в известном цикле обрядов и примирившейся с ними. Вторая — ничего не отражала, но представляла собой некоторое загадочное сокровище, к которому вы суеверно приближались, чтоб смахнуть насевшую пыль и сказать: n'en parlons pas — c'est sérieux![3]

Ни та, ни другая не действовали на вас возбуждающим образом, не требовали экстраординарных умственных усилий, не укоряли, не бичевали. Властители ваших дум шли с вами

[1] «В этом есть красивый ораторский жест».
[2] очень важно.
[3] не говорите — это важно!

об руку, изображали *ваших* папашу и мамашу, *ваших* братцев и сестриц, нянюшку Архиповну, дворецкого Лукьяныча и, наконец, неизбежного корнета Белобородовского гусарского полка, который одним своим появлением перевернул вверх дном всю эту идиллию и, в заключение, довел до продажи с аукциона вашу родовую Заманиловку. И были тут страницы, написанные страстно и горячо, встречались лица, на воспроизведение которых потрачены были громадные запасы мастерства.

В новой пореформенной литературе ничего подобного нет. Понятно, что обстоятельство это должно было застать вас врасплох и даже, быть может, заронить в вас подозрение, не исчезла ли литература совсем с лица земли?

Я вовсе не намерен слагать дифирамбы новой литературе; я даже заранее соглашаюсь с теми, которые укоряют ее в малосилии и малоталантливости. Но дело совсем не в обилии талантов, а в том, что наш жизненный процесс до такой степени усложнился, а внутреннее его содержание настолько преобразилось, что литература решительно не могла остаться при прежних задачах. Я не говорю, что прежние задачи совсем упразднены, но уже и то важно, что не представляется необходимости смаковать их или ревниво следить за их развитием и вообще видеть в них единственный корм, пригодный для напитания читателя. И браки, и безбрачия, и супружеская верность, и адюльтер — все это продолжает входить в общую картину в качестве составного элемента, но элемент этот признается уже общеизвестным и достаточно обследованным. Поэтому, ежели, например, хотят сказать, что такой-то Петр Иваныч, *между прочим,* был несчастлив в семейной жизни, то говорят просто: семейная жизнь Петра Иваныча сложилась неудачно,— и затем идут дальше, не останавливаясь на том, как Петр Иваныч лазил через плетень, и как его едва не разорвали собаки, покуда он добивался своего будущего семейного несчастия. Идут дальше — потому что процесс добывания семейного несчастия над всеми Петрами Иванычами повторялся и повторяется в одних и тех же формах, и всякая новая попытка восстановить его подробности может только без всякой надобности ослабить действия других элементов, более настоятельно предъявляющих свои права на участие в жизненном процессе, которые только что наметились и которые для своего уяснения требуют совсем других картин, других образов, других приемов и даже других слов.

Вот эта-то новая жизненная стихия и составляет предмет исследования современной литературы. Воззвать к жизни то, что изнывало в глубинах преисподней, осветить дебри, в кото-

рые никогда не проникал луч света,— согласитесь, что это задача небезынтересная и тем более не легкая, что ее дала непосредственно сама покончившая с старыми счетами жизнь, дала внезапно, почти насильственно, без всякого участия последовательной литературной традиции.

Ни хвалить, ни порицать за это современную литературу я не буду; она делает то дело, к которому призвана фаталистически и которое не может обойти, не рискуя обречь себя на полное бессилие. Но для вас, господа пошехонцы, для вас, которые потихоньку вздыхаете по литературе, содержание которой составляли перипетии помещичьих вожделений, нелишне объяснить, что она зачахла не без причины и что отсутствие усложнений, которые с этими вожделениями сопрягались, нимало не облегчило современного литературного ремесла. Напротив того, <тем, которые> полагают, что современное литературное делание представляет те же приятства, какие представляла разработка браков с препятствиями, нелишне будет пояснить, что тут есть очень существенная разница. И именно такого рода разница, которая делает современное литературное ремесло подвижничеством, преисполненным, с одной стороны, негодованием, скорбью и всякого рода волнениями, а с другой — таких душевных движений, в которых и самому себе сознаться нелегко.

Быть может, вы скажете мне: «однако ж ведь мы и новенькое почитываем!» — Прекрасно. Я охотно допускаю, что вы не только «почитываете», но многое даже нравится вам, интересует. Но ведь дело не в том, чтобы только интересоваться теми осложнениями, которые постепенно врываются в жизнь и которые литература всегда первая прозревает и формулирует, а в том, чтоб эти осложнения вошли в ваш обиход, чтоб вы признали их *своими*. Ибо только тогда читаемое будет задерживаться в вашей памяти, и только тогда вы не будете попадать впросак и восклицать «ха-ха-ха» по такому поводу, который требует выражения: c'est très sérieux (или наоборот).

Отсюда проистекает та двойственность, которая составляет характеристическую черту ваших отношений к современной литературе. Нельзя сказать, чтоб вы не «почитывали», но вы не живете той жизнью, которою живет литература, вы не страдаете ее страданиями и, разумеется, не принимаете к сердцу ее интересов. Самое чтение ограничивает относительно вас свои услуги только тем, что дает вам известную сумму впечатлений. Вы раздражаетесь этими впечатлениями и даже, быть может, применяете к ним более или менее своеобразный критериум, но вы не воспитываете и не развиваете их. Или, говоря другими словами, вы мимоходом берете у литературы

то, что вам нравится, и мимоходом же бросаете взятое на распутии, оставаясь теми же нетронутыми пошехонцами, какими вы могли бы быть, если б литература даже не ставила перед вами никаких вопросов и не вызывала никаких осложнений.

Согласитесь, что ваше отношение к литературе дореформенной было совсем иное. Там вы не только интересовались, но и соволновались и сострадали. И, право, причина этих страданий и волнений лежала не столько в силе художественного мастерства, сколько в том, что и дореформенный писатель, и дореформенный читатель — оба предъявляли к жизни одни и те же умственные и нравственные притязания, разнствуя, быть может, только в размерах.

Эта одинаковость уровня притязаний влекла за собой для писательского ремесла такие льготы, о которых оно нынче и мечтать не может. Описывая деяния всем близкие и всем одинаково любезные, дореформенный писатель не вводил в свои писания ни политической, ни социальной подкладки, никого не пугал, ни на чье миросозерцание руки не накладывал, а сладко лелеял и убаюкивал, стараясь при этом быть верным местному колориту. А вследствие этого и обыватели относились к писателям, как братья менее одаренные относятся к братьям особливо одаренным, и не только не чуждались их (не говорили: пожалуй, еще попадешься с ними), но расточали им льстивые слова. Про одного выражались: вот наша слава! другого называли украшением России и т. д. Понятно, что при таких условиях представление об ответственности не только не преследовало писателя по пятам, но едва ли, даже в возможности, представлялось ему с достаточной ясностью.

Теперь — ответственность на первом плане. Жизнь утратила прежнюю простоту и однообразие и переполнилась явлениями столь трудными, сложными и новыми, что разложение и определение их возможно не иначе, как при посредстве совести и ее суда. Вторжение совести в писательское ремесло представляет такой существенный шаг, который совершенно изменил характер литературной деятельности. Писательская совесть вносит свет в сумятицу фактов; она помогает разместить их и сделать им надлежащую оценку. Эта оценка фактов (форма ее для меня безразлична) составляет несомненное и самое дорогое право современного писателя. Но в то же время она налагает на него и ответственность. Ответственность тем более тяжела, что жизненная стихия, которая главным образом выступила вперед, имеет окраску, по преимуществу, политическую и социальную, вторжение которой, независимо от внутреннего содержания, уже составляет для робких сердцем более или менее серьезную угрозу.

Что современный писатель не может действовать иначе, как под прикрытием совести, это доказывается целой массой пройдох (тоже плод современности), которые, за неимением совести, придумывают для себя таковую и за эту обретенную совесть потом запрашивают надлежащие цены. И им дают эти цены, потому что нынче всякому уже известно, что только слово, в основании которого лежит совесть, может оказывать надлежащее действие и что без этого убежденного слова даже московские планы нельзя защитить. Поэтому вторжение совести странным образом способствовало вторжению пройдох. Пройдоху призывают и говорят:

ПЕСТРЫЕ ПИСЬМА

Я не сторонник летних заграничных экскурсий. И хлопотливо, и неуютно, и дорого. А отсутствие близких людей и нетвердое знание чужих языков и обычаев просто-напросто делает из заграничных путешествий пытку. В большинстве случаев эти экскурсии оправдываются необходимостью восстановить расшатанное здоровье или желанием хоть на время отрешиться от забот и волнений, которые приносят за собой каверзы внутренней политики; но перспективы эти осуществляются очень редко. Отчужденность и отсутствие живых интересов не восстанавливают физических сил, а еще больше расшатывают их, не заставляют забывать домашние кляузы, подвохи и предательства, а, напротив, еще настойчивее удерживают их в памяти и при этом сообщают им формы, еще более мучительные, нежели те, которые представляла недавняя действительность. Насильственная праздность наполняет жизнь гнетущими видениями, в которых бесчисленными отражениями повторяется все, только что пережитое, все то, от чего думал уйти, что мечтал позабыть. Чужое — не ассимилируется; свое — преследует неотступно, и притом самое горькое, безнадежное. Дома хоть бирюльки какие-нибудь отвлекают, хоть борьба какая-нибудь; в этой борьбе: одни во имя пустяков нападают, другие — во имя пустяков обороняются; тут даже этого «дела» нет, а есть только воспоминание об нем, воспоминание, от которого сжимается сердце, деморализуется дух.

[Эта пытка в значительной мере подрывает и надежды, возлагаемые на восстановление, но, кажется, даже эти последние в значительной степени подрываются пыткою одиночества, осложненного присутствием секретного элемента соглядатайства, которое даже в самых несомненных буколиках умеет

подслушать мятежные звуки, и в самом несомненном одиночестве — сообщество и злоумышление.

Впрочем, относительно последнего обстоятельства я должен оговориться. Оно действует возмущающим образом лишь на очень нервных людей, и то больше с точки зрения сострадания к русским финансам. Ужасно жалко, а отчасти и оскорбительно сознавать себя в районе наблюдения какого-нибудь горохового шута, который даже подлежащему порядку идей вполне чужд, но еще оскорбительнее думать, что всю эту чепуху он производит не на свой кошт; что он ест, пьет и веселится, что он городит вздор, принимает одни слова за другие — и получает за это какие-то суммы, которые у нас не были бы лишними для других действительно <полезных> целей. Но откиньте эту нервность, плюньте на соглядатайство — и вы поймете, что, по самой бессмысленности своей, оно ничего угрожающего иметь не может. А коль скоро поймете, то и возмущаться перестанете.]

ПРИМЕЧАНИЯ

Подготовка текста
и текстологические разделы
комментария:

В. Н. Баскаков — «Сказки»

В. Э. Боград — «Пестрые письма»

Комментарии:

В. Н. Баскаков, А. С. Бушмин —
раздел V статьи «Сказки», примечания к отдельным сказкам

А. С. Бушмин —
разделы I—IV статьи «Сказки»

К. И. Тюнькин —
«Пестрые письма»

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ВЕ — «Вестник Европы».

ГПБ — Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград.

Изд. 1886 — «Пестрые письма. Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина)», типография М. М. Стасюлевича. СПб., 1886.

Изд. 1887 — «23 сказки М. Е. Салтыкова (Щедрина). Издание второе, с приложением «Рождественской сказки»». СПб., типография М. М. Стасюлевича, 1887.

Изд. 1933—1941 — Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений в двадцати томах. М., ГИХЛ, 1933—1941.

ИРЛИ — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, Ленинград.

ЛН — «Литературное наследство».

М. вед.— «Московские ведомости».

НВ — «Новое время».

ОД — «Общее дело», эмигрантская газета, Женева.

ОЗ — «Отечественные записки».

РБ — «Русское богатство».

РВ — «Русский вестник».

Р. вед.— «Русские ведомости».

«Салтыков в воспоминаниях» — сборник «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина. М., Гослитиздат, 1957.

СПб. вед.— «Санкт-Петербургские ведомости».

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва.

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив, Ленинград.

СКАЗКИ

I

«Сказки» — одно из самых ярких творений и наиболее читаемая из книг Салтыкова. За небольшим исключением, они создавались в течение четырех лет (1883—1886), на завершающем этапе творческого пути писателя. О мотивах, побудивших Салтыкова к написанию сказок, высказывались разные предположения. Наиболее ранними по времени и совершенно наивными являются попытки объяснить появление сказок частными фактами личной биографии писателя: или приступами мучительной болезни, мешавшими ему сосредоточить мысль на более сложной творческой работе; [1] или тем, что, скучая по детям во время заграничных поездок, Салтыков писал им письма забавного, сказочного содержания и под влиянием этих обстоятельств набрел на сказочную литературную форму [2]. Другие усматривали «нечто неожиданное в том, что суровый сатирик русского общества Салтыков обратился на склоне своих лет к волшебной сказке» [3].

Исходя из таких представлений о «неорганичности», «неожиданности» сказочной формы в творчестве Салтыкова, предпринимались попытки объяснить ее то как средство борьбы с цензурой, то как следствие воздействия на писателя литературно-сказочной — зарубежной и отечественной — традиции, или, наконец, традиции фольклорной сказки. Все это, конечно, могло играть какую-то роль. В частности и в особенности — народно-поэтическая традиция.

Интерес к фольклору проявился у Салтыкова тотчас же, как писатель возобновил свою литературную деятельность после возвращения из ссылки в 1856 году. Правда, в «Губернских очерках» это выразилось преимущественно в использовании духовных стихов для характеристики быта и настроений простонародья. В то же время писатель касался вопросов народной поэзии в статьях о Кольцове и о книге инока Парфения (см. т. 5 наст. изд.). К этому же времени относится и прямое признание Салтыкова о его влечении к стилю народной сказки и первый опыт в этом роде. В письме к И. С. Аксакову от 17 декабря 1857 года он сообщал, что в задуманной книге рассказов «Умирающие» решил «употребить в дело сказочный тон». Книга не была осуществлена, но предназначавшаяся для нее сказка об Иванушке-дурачке была написана и позднее включена под заглавием «Сон» в очерк «Скрежет зубовный» (1860).

Однако, как справедливо заметил Н. К. Пиксанов, салтыковская сказка

---

[1] Вл. Кранихфельд. На память о Щедрине.— «Утро юга», Ростов н/Д., 1914, 6 января, № 5, с. 3.

[2] А. Е. Грузинский. Новая сказка Салтыкова-Щедрина.— «Красный архив», т. II, 1922, с. 226.

[3] Л. Гроссман. Салтыков-сказочник.— Собр. соч., т. IV. М., 1928, с. 107.

«так оригинальна, так не похожа на сказки литературные и народные в своем существе, элементы традиции так в ней переработаны, что теряет остроту вопрос, откуда именно позаимствовал Салтыков те или иные элементы художественной формы для своих сказок» [1].

Сказочная форма в сатире Салтыкова не подсказана какими-либо частными фактами биографии писателя или только цензурными условиями его деятельности, она не является неожиданной творческой находкой или просто следствием увлечения фольклорной и литературной традицией в области этого жанра. Некоторые из этих фактов оказывали свое дополнительное, стимулирующее действие, но ни один из них в отдельности, ни все они, взятые вместе, не раскрывают происхождения салтыковской сказки.

Сказка, хотя она и представляет собою лишь один из жанров Салтыкова, органически близка его художественному методу, она тесно взаимодействует с другими его произведениями. Отдельные указания на это были сделаны еще современниками писателя (Н. К. Михайловским, К. К. Арсеньевым, А. М. Скабичевским и Е. М. Гаршиным) [2], а затем дополнены Р. В. Ивановым-Разумником [3]. Справедливо суждение В. Я. Кирпотина, выраженное в форме общего тезиса: «В фантазии народных сказок Щедрин чувствовал нечто родственное с собственными художественными приемами» [4].

Изучение творческой истории «Сказок» Салтыкова убеждает, что они подготовлялись исподволь, как бы стихийно вызревали в недрах его сатиры в силу таких присущих его творческому методу приемов, как художественное преувеличение, фантастика, иносказание, сближение обличаемых социальных явлений с явлениями животного мира. Писатель не столько заставлял служить своим целям уже выработанные фольклором образцы, сколько шел навстречу им. Эта особенность творческого метода сатирика, в свою очередь, обусловила свободное вхождение в его художественную систему традиционных фольклорных элементов, которые впадали в мощный поток

---

[1] Н. К. Пиксанов. О классиках. М., 1933, с. 181—182.

[2] Сказки Салтыкова в момент их появления в периодической печати и в сборнике «23 сказки» вызывали в текущей критике многочисленные и, как правило, положительные отзывы. Но, кроме статей Н. К. Михайловского, К. К. Арсеньева, А. М. Скабичевского и Е. М. Гаршина да нескольких отзывов писателей и деятелей искусства (о них будет сказано в соответствующих местах комментария), эта критическая литература не представляет ныне сколько-нибудь значительного интереса (см.: Л. М. Добровольский. Библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине. 1848—1917. Изд-во АН СССР, М.— Л., 1961). Систематическое научное изучение сказок Салтыкова началось в советские годы. За это время появилось несколько комментированных изданий сказок и целый ряд специально им посвященных исследований (см.: «Библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине. 1918—1965». Составил В. Н. Баскаков. «Наука», М.— Л., 1966).

[3] М. Е. Салтыков (Щедрин), Соч., т. V. ГИЗ, М.— Л. (см. комментарий).

[4] В. Кирпотин. «Сказки» Салтыкова-Щедрина.— «Год XXII. Альманах XV», М., ГИХЛ, 1939, с. 388.

собственной творческой фантазии писателя и видоизменялись в нем до утраты всяких следов стороннего источника. Можно сказать, что салтыковская сказка самостоятельно возникала по типу фольклорных сказок, а последние лишь способствовали ее формированию.

«Сказки» Салтыкова, появившиеся на завершающем этапе его творчества,— это зрелые плоды, завязи которых обнаруживаются уже в самых ранних произведениях писателя. В этом смысле особенно примечательны его сказки, написанные в форме животного эпоса.

К зоологизмам Салтыков прибегал, начиная с повести «Запутанное дело» (1848), представив здесь класс эксплуататоров в образе «голодных волков». В «Губернских очерках» (1856—1857), где впервые определилось сатирическое дарование Салтыкова, зоологические уподобления попадаются довольно часто. Писатель отмечает в портретах персонажей «телячье выражение», «зверообразную лютость», «нечто плотоядное», «свиное выражение»; в характеристику нравственного облика чиновников он включает сравнения с голодным псом, лесным зверем, шакалом, плотоядным животным; в губернских аристократах он обнаруживает свойства коршуна, зубастой щуки, величие, свойственное индейскому петуху. Подобных примеров можно было бы выписать из «Губернских очерков» несколько десятков. Как особо любопытные случаи, отметим упоминание о Трезоре и чиновнике-пискаре, которые спустя почти тридцать лет станут героями сказок «Верный Трезор» и «Премудрый пискарь».

Еще более частое применение зооэпитетов к человеку наблюдается в цикле «Сатиры в прозе» (очерк «Клевета», 1861). Использованный в «Клевете» для эпизодического сравнения *каплун* годом позже озаглавил собою особый очерк, где весь сюжет построен на принципе сближения интеллигентов, равнодушных к практическим задачам общественной борьбы, с каплуном-птицей. Полемизируя с сотрудниками журнала «Эпоха», издававшегося братьями Достоевскими, Салтыков заключил свою статью «Литературные мелочи» (1864) памфлетом «Стрижи», который явился первым по времени опытом сатирика, последовательно выполненным в «орнитологической» форме.

Использование образов животного мира становится в сатире Салтыкова особенно широким, начиная с «Признаков времени». В очерке этого цикла «Литературное положение» (1868), где публицисты-обыватели уподоблены зайцам, а поэты — соловьям в клетке, намечаются некоторые мотивы таких будущих сказок, как «Орел-меценат», «Здравомысленный заяц» и др.

Частота применения зоологических сравнений, их разнообразие и та свобода, с какой они включаются в характеристику социальных типов, свидетельствуют о том, что здесь мы имеем дело с одним из наиболее излюбленных и привычных ходов поэтической мысли сатирика.

Самое существо задач обличения психики представителей эксплуатирующих групп и классов закономерно подводило сатирика к зоологическим уподоблениям. Художественный эквивалент для помещика-мракобеса

намечен в образе зверя. Он одичал, весь оброс волосами, «ходил же все больше на четвереньках<...> Но хвоста еще не приобрел» («Дикий помещик»). Пройдет еще некоторое время, и процесс оформления «хвостатого» героя завершится[1]. В мае 1881 года в очерках «За рубежом» появится драматическая сцена «Торжествующая свинья», а в журнальную публикацию «Современной идиллии», где еще в декабре 1882 года читателям стала известна знаменитая «Сказка о ретивом начальнике», в январе 1883 года войдет «Злополучный пискарь». После этого в течение 1883—1886 годов Салтыковым будет написано четырнадцать сказок, населенных разнообразной фауной.

Дополним сказанное примерами из наблюдений, относящихся к творческой истории отдельных сказок.

«Медведь на воеводстве» (1884) — сатира на административные принципы самодержавия. Тема сказки восходит ко многим ранее созданным Салтыковым произведениям, и прежде всего к «Помпадурам и помпадуршам» и к «Истории одного города». В свою очередь, и художественный прием уподобления представителей помещичьего класса медведю возникает довольно рано. Так, в рассказе 1863 года «Деревенская тишь» помещик Сидоров видит себя во сне превратившимся в медведя и испытывает удовольствие от того, что в этом новообретенном зверином образе торжествует физическую победу над своим непокорным слугой Ванькой. «Дикий помещик» в одноименной сказке 1869 года, оказавшись без мужиков, звереет, приобретает ухватки и облик медведя. В рассказе того же года «Испорченные дети» есть упоминание о «принце Шармане, обращенном в медведя злым волшебником». Примерка медвежьего костюма к соответствующим социальным типам завершилась к 1884 году созданием сказки «Медведь на воеводстве», где царские сановники преобразованы в сказочных медведей, свирепствующих в лесных трущобах.

«Карась-идеалист» — еще более наглядный пример синтеза идейно-художественных мотивов, ранее встречавшихся в целом ряде произведений Салтыкова. В них, с одной стороны, неоднократно появляются образы одиночек-«правдоискателей», отважно пытающихся склонить жестоких правителей к сострадательности и добродетели и трагически погибающих (общественный ходок Евсеич в «Истории одного города», Андрей Курзанов в «Пошехонских рассказах» и др.). Сказка «Карась-идеалист» продолжила этот трагический мотив наивного правдоискательства и явилась аккордом в разоблачении утопических надежд на умиротворение хищников и деспотов.

С другой стороны, изображая социальные антагонизмы, Салтыков ча-

---

[1] Любопытно, что читатели уже накануне появления салтыковских сказок в жанре животного эпоса предчувствовали такую возможность в творчестве сатирика и высказывали пожелание «нарисовать хвостатых и рогатых чертей <...> Отчего бы, в самом деле, Щедрину <...> не попробовать свой талант в этом жанре» («Моск. телеграф», 1882, 5 февраля, № 35, с. 2). Возможно, что такого рода советы способствовали движению творческой мысли писателя в соответствующем направлении.

сто прибегал к уподоблению враждующих лагерей прожорливым щукам и дремлющим в неведении карасям; напоминал пословицу: «На то и щука в море, чтобы карась не дремал», и временами воплощал идею этой пословицы в образные картины. «Горе «карасям», дремлющим в неведении, что провиденциальное их назначение заключается в том, чтоб служить кормом для щук, наполняющих омут жизненных основ!» («Благонамеренные речи»; «Кандидат в столпы», 1874). В подобных эпизодах вызревала идейно-образная система сказки о трагическом столкновении карася со щукой

Устойчивость мотивов, подводящих к этой сказке, свидетельствует, что ситуация, представленная в ней, воплотила идею, давно и глубоко волновавшую писателя. Но, конечно, сказка «Карась-идеалист» является не только итогом длительных наблюдений и раздумий писателя. Для уяснения смысла сказки еще большее значение имеют условия времени ее появления, яркий отпечаток которых она несет на себе. В обстановке правительственной реакции 80-х годов образ прожорливой щуки, давно уже вошедший в арсенал изобразительных средств сатирика, оказался как никогда уместным и эффективным.

Процесс формирования идейных мотивов и поэтической формы сказок «Медведь на воеводстве» и «Карась-идеалист» характерен в известной мере и для многих других салтыковских сказок [1]. Сами задачи сатирической типизации диктовали привнесение в человеческие образы тех или иных зоологических оттенков. Появлялись соответствующие эпитеты и сравнения с животными, возникали отдельные эпизоды, сцены, вставные сказки и, наконец, обособленные сказки в форме животного эпоса. Это не означает, что сказки явились лишь следствием внутреннего развития определенных сюжетных и идейных мотивов. Сами эти мотивы повторялись, варьировались, развивались, обогащались именно в силу того, что в сознании писателя наслаивались все новые и новые впечатления от фактов реальной действительности, не позволявшие мотивам замереть, побуждавшие писателя двигать найденную художественную форму до ее полного завершения.

Появление целой книги сказок в первой половине 80-х годов объясняется, однако, не только тем, что к этому времени Салтыков овладел жанром сказки. В обстановке правительственной реакции сказочная фантастика в какой-то мере служила средством художественной «конспирации» для идейно-политических замыслов писателя, формально затрудняла применение к ним буквы цензурного устава. Приближение формы сатирических произведений к народной сказке открывало также писателю путь к более широкой читательской аудитории. Поэтому в течение нескольких лет Салтыков с увлечением работает над сказками. В эту форму, наиболее доступную народным массам и любимую ими, он как бы переливает все идейно-тематическое богатство своей сатиры и, таким образом, создает своеобразную малую сатирическую энциклопедию для народа.

---

[1] См. об этом подробнее в кн.: А. Бушмин. Сказки Салтыкова-Щедрина. М.— Л., Гослитиздат, 1960, с. 6—73.

II

По широте затронутых вопросов и обозрения социальных типов книга сказок занимает первое место в наследии Салтыкова и представляет собою как бы художественный синтез творчества писателя.

Жизнь русского общества второй половины XIX века запечатлена в салтыковских сказках во множестве картин, миниатюрных по объему, но огромных по своему идейному содержанию. В богатейшей галерее типических образов, исполненных высокого художественного совершенства и глубокого смысла, Салтыков воспроизвел всю социальную анатомию общества, коснулся всех основных классов и социальных группировок — дворянства, буржуазии, бюрократии, интеллигенции, тружеников деревни и города, затронул множество социальных, политических, идеологических и моральных проблем, широко представил и глубоко осветил всевозможные течения и оттенки общественной мысли — от реакционных до социалистических.

Самый общий и основной смысл произведений сказочного цикла заключается в развитии идеи непримиримости социальных противоречий в эксплуататорском обществе, в развенчании всякого рода иллюзорных надежд на достижение социальной гармонии помимо активной борьбы с господствующим режимом, в стремлении поднять самосознание угнетенных и пробудить в них веру в собственные силы, в пропаганде социалистических идеалов и необходимости общенародной борьбы за их грядущее торжество.

В сказке «Медведь на воеводстве» самодержавная Россия символизирована в образе леса, и днем и ночью гремевшего «миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие — победный клик». Эти слова могли бы быть поставлены эпиграфом ко всему сказочному циклу и служить в качестве идейной экспозиции к картинам, рисующим жизнь классов и социальных групп в состоянии непрекращающейся междоусобной войны.

В сложном идейном содержании сказок Салтыкова можно выделить четыре основные темы: сатира на правительственные верхи самодержавия и на эксплуататорские классы, обличение поведения и психологии обывательски настроенных кругов общества, изображение жизни народных масс в царской России, разоблачение морали собственников-хищников и пропаганда социалистического идеала и новой нравственности. Но, конечно, строгое тематическое разграничение салтыковских сказок провести невозможно, и в этом нет надобности. Обычно одна и та же сказка наряду со своей главной темой затрагивает и другие. Так, почти в каждой сказке писатель касается жизни народа, противопоставляя ее жизни привилегированных слоев общества.

Резкостью сатирического нападения непосредственно на деспотизм самодержавия выделяются три сказки: «Медведь на воеводстве», «Орел-меценат» и «Богатырь». В первой из них сатирик издевательски высмеял административные принципы, а во второй — псевдопросветительскую прак-

тику самодержавия, в третьей же, своеобразно повторяя тему «Истории одного города», заклеймил презрением царизм вообще, уподобив его гниющему трупу мнимого богатыря.

Карающий смех Салтыкова не оставлял в покое представителей массового хищничества — дворянство и буржуазию, действовавших под покровительством правящей политической верхушки и в союзе с нею. Они выступают в сказках то в обычном социальном облике помещика («Дикий помещик»), генерала («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»), купца («Верный Трезор»), кулака («Соседи»), то — и это чаще — в образах волков, лисиц, щук, ястребов и т. д.

Салтыков воссоздает полную социального драматизма картину общества, раздираемого антагонистическими противоречиями, высмеивает лицемерие разного рода прекраснодушных апологетов насилия и «разбоя» — историков, публицистов, поэтов, с восхищением писавших об актах великодушия «хищников». Один волк обещал помиловать зайца («Самоотверженный заяц»), другой волк однажды отпустил ягненка («Бедный волк»), орел простил мышь («Орел-меценат»), добрая барыня подала погорельцам милостыню, а священник обещал им счастливую загробную жизнь («Деревенский пожар»). Сатирик ниспровергает все эти фальшивые панегирики хищникам, усыпляющие бдительность их жертв. Разоблачая ложь о великодушии и красоте «орлов», он говорит, что «орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны<...> хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют».

В 80-е годы мутная волна реакции захватила интеллигенцию, средние, разночинные слои общества, породив настроения страха, упадничества, соглашательства, ренегатства. Поведение и психология «среднего человека», запуганного правительственными преследованиями, нашли в зеркале салтыковских сказок сатирическое отражение в образах «премудрого пискаря», «самоотверженного зайца», «здравомысленного зайца», «вяленой воблы», российского «либерала».

В «Премудром пискаре» сатирик выставил на публичный позор малодушие той части интеллигенции, которая в годы политической реакции поддалась настроениям постыдной паники. Изображением жалкой участи обезумевшего от страха героя сказки, пожизненно замуровавшего себя в темную нору, сатирик высказал свое предостережение и презрение всем тем, кто, покоряясь инстинкту самосохранения, уходил от активной общественной борьбы в узкий мир личных интересов.

В сказке «Самоотверженный заяц», написанной одновременно с «Премудрым пискарем», Салтыков изобличал другую сторону рабской психологии — покорность и иллюзорные надежды на милосердие хищников, воспитанные в массах веками классового гнета и возведенные на степень добродетели. В самоотверженном зайце повиновение пересиливает инстинкт самосохранения. Заглавие сказки с удивительной точностью очерчивает ее смысл. Слово *заяц,* которое всегда в переносном смысле служит синонимом трусости, дано в неожиданном сочетании с эпитетом *самоотверженный.*

Самоотверженная трусость! Уже в одном этом заглавном выражении Салтыков проникновенно постиг противоречивость психологии подневольной личности, извращенность человеческих свойств в обществе, основанном на насилии.

С глубокой горечью показывал Салтыков в сказке о самоотверженном зайце, что волки еще могут верить в покорность зайцев, что рабские привычки еще сильны в массе. Но должны ли зайцы верить волкам? Помилует ли волк? Могут ли, способны ли вообще волки миловать зайцев?

На этот вопрос писатель ответил отрицательно сказкой «Бедный волк», показав в ней, что «волк всего менее доступен великодушию». Социальный смысл этого иносказания заключается в доказательстве детерминированности поведения эксплуататоров «порядком вещей». Медведь, убедившись в том, что волк не может прожить без разбоя, урезонивал его: «Да ты бы,— говорит,— хоть полегче, что ли...»

Рационализаторская идея о регулировании волчьих аппетитов всецело овладела «здравомысленным зайцем», героем сказки того же названия. В ней высмеиваются попытки теоретического оправдания рабской «заячьей» покорности, либеральные рецепты приспособления к режиму насилия, философия умиротворения социальных интересов. Трагическое положение труженика герой сказки возвел в особую философию обреченности и жертвенности. Убежденный в том, что волки зайцев «есть не перестанут», здравомысленный «филозо́ф» выработал соответствующий своему пониманию идеал усовершенствования жизни, который сводился к проекту более рационального поедания зайцев (чтоб не всех сразу, а поочередно).

Сказка о «здравомысленном зайце» и предшествующая ей сказка о «самоотверженном зайце», взятые вместе, исчерпывают сатирическую обрисовку «заячьей» психологии как в ее практическом, так и теоретическом проявлении. В первом случае речь идет о холопской психологии несознательного раба, во втором — об извращенном сознании, выработавшем вредную холопскую тактику приспособления к режиму насилия. Поэтому к «здравомысленному зайцу» сатирик отнесся более сурово.

Если идеология «здравомысленного зайца» оформляет в особую социальную философию и теорию поведение «самоотверженных зайцев», то «вяленая вобла» одноименной сказки выполняет такую же роль относительно житейской практики «премудрых пискарей». Проповедью идеала умеренности и аккуратности во имя шкурного самосохранения, своими спасительными рецептами—«тише едешь, дальше будешь», «уши выше лба не растут», «ты никого не тронешь, и тебя никто не тронет» — вобла оправдывает и прославляет низменное существование «премудрых пискарей», которые, «по милости ее советов, неискалеченными остались», и тем самым вызывает их восхищение.

Мораль «вяленой воблы» обобщает характерные признаки общественной реакции 80-х годов. Процесс «вяления», омертвления и оподления душ, покорившихся злу и насилию, начался раньше, но эпоха реакции «усыновила» воблу и дала ей «широкий простор для применений». Пошлые призывы

воблы потому так и пришлись ко времени, что они помогали людям, утратившим гражданское достоинство, «нынешний день пережить, а об завтрашнем — не загадывать».

Трагикомедия либерализма, представленная в «Здравомысленном зайце» и «Вяленой вобле», нашла великолепное завершение в сатире «Либерал». Сказка замечательна не только тем, что в истории ее героя, легко скатившегося от проповеди «идеала» к «подлости», остроумно олицетворена эволюция русского буржуазного либерализма, в полной мере раскрывшаяся в последующее время, в период революционных схваток 1905—1917 годов. В ней рельефно раскрыта психология ренегатства вообще, вся та система софизмов, которыми отступники пытаются оправдать свои действия и в собственном сознании и в общественном мнении.

Салтыков всегда проявлял непримиримость к тем трусливым либералам, которые маскировали свои жалкие общественные претензии громкими словами. Он не испытывал к ним другого чувства, кроме открытого презрения, выражавшегося нередко (как в «Вяленой вобле» и «Либерале») в формах сатирического гротеска. Из этого, однако, не следует заключать, что таково было вообще отношение Салтыкова к российскому либерализму. Последний в своих лучших проявлениях в 80-е годы был еще действенной силой общедемократического движения, и Салтыков, понимая это, не игнорировал наличия в либерализме честных, хотя и ограниченных в своих программных требованиях деятелей и сближался в ряде вопросов с ними. Такое отношение к либеральной интеллигенции, включающее элементы и критики и солидарности, достаточно определенно проявилось, например, в «Письмах к тетеньке». Еще более сложным было отношение Салтыкова к тем честным наивным мечтателям, представителем которых является заглавный герой знаменитой сказки «Карась-идеалист». Как искренний и самоотверженный поборник социального равенства, карась-идеалист выступает выразителем общественных идеалов самого Салтыкова и вообще передовой части русской интеллигенции — идеалов, сильно окрашенных в тона утопического социализма. Но наивная вера карася в «бескровное преуспеяние», в возможность достижения социальной гармонии путем одного морального перевоспитания хищников, обрекает на неминуемый провал все его высокие мечтания, а его самого на гибель. Хищники не милуют своих жертв и не внемлют их призывам к великодушию. Волк не тронулся самоотверженностью зайца, щука — карасиным призывом к добродетели. Гибнут все, кто пытался, избегая борьбы, спрятаться от неумолимого врага или умиротворить его,— гибнут и премудрый пискарь, и самоотверженный заяц, и его здравомысленный собрат, и вяленая вобла, и карась-идеалист. Все меры морального воздействия на хищников, все апелляции к их совести остаются тщетными. Ни рецепты «здравомысленных зайцев» из либерального лагеря о рационализации волчьего разбоя, ни «карасиные» идеи о возможности «бескровного преуспеяния» на путях к социальной гармонии не приводят к ожидаемым результатам.

Беспощадным обнажением непримиримости социальных противоречий,

изобличением идеологии и тактики сожительства с реакцией, высмеиванием наивной веры простаков в великодушие хищников салтыковские сказки подводили читателя к осознанию необходимости и неизбежности социальной революции.

«Карася-идеалиста» художник И. Н. Крамской справедливо назвал «высокой трагедией»[1]. Сущность трагизма, запечатленного в сказке,— в незнании прогрессивной интеллигенцией истинных путей борьбы со злом при ясном понимании необходимости такой борьбы. Эта главная трагедия — трагедия тщетности идейных исканий — осложнена в судьбе карася-идеалиста, проглоченного щукой, как и в судьбе некоторых других героев маленьких салтыковских комедий, заканчивающихся кровавой развязкой («Премудрый пискарь», «Самоотверженный заяц», «Здравомысленный заяц»), не столь высоким, но более чувствительным трагизмом жестокого времени, обрекавшего на гибель поборников социальной справедливости. На них лежит трагический отблеск эпохи Александра III, ознаменовавшейся свирепым правительственным террором, разгромом народничества, полицейскими преследованиями интеллигенции.

Наибольшим драматизмом отмечены те страницы салтыковских сказок, где рисуются картины массового пореформенного разорения русского крестьянства, изнывавшего под тройным ярмом — чиновников, помещиков и буржуазии. Здесь рассказано о беспросветном труде, страданиях, сокровенных думах народа («Коняга», «Деревенский пожар», «Путем-дорогою»), о его вековой рабской покорности («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»), о его тщетных попытках найти правду и защиту в правящих верхах («Ворон-челобитчик»), о стихийных взрывах его негодования против угнетателей («Медведь на воеводстве», «Бедный волк») и т. д. Через все эти изумительные по своей правдивости, лаконичности и яркости зарисовки крестьянской жизни проходит мотив поистине страдальческой любви писателя-гуманиста к народу. И даже картины природы запечатлели в себе великую скорбь о крестьянской России, задавленной грозной кабалой. На темном фоне ночи взор автора улавливает прежде всего «траурные точки деревень», «безмолвствующий проселок», многострадальные массы людей «серых, замученных жизнью и нищетою, людей с истерзанными сердцами и поникшими долу головами» («Христова ночь»).

Источником постоянных и мучительных раздумий писателя служил поразительный контраст между сильными и слабыми сторонами русского крестьянства. Проявляя беспримерный героизм в труде и способность превозмочь любые трудности жизни, крестьянство вместе с тем безропотно, покорно терпело своих притеснителей, пассивно переносило гнет, фаталистически надеясь на какую-то внешнюю помощь, питая наивную веру в пришествие добрых начальников.

С горькой иронией изобразил Салтыков рабскую покорность крестьян-

---

[1] «И. Н. Крамской, его жизнь, переписка и художественно-критические статьи». СПб., 1888, с. 499.

ства в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил». Громаднейший мужичина, мастер на все руки, перед протестом которого, если бы он был на это способен, не устояли бы генералы, безропотно подчиняется тунеядцам. Дал им по десятку яблок, а себе взял «одно, кислое». Сам же веревку свил, чтобы генералы держали его ночью на привязи. Да еще благодарен был генералам за то, что они «мужицким его трудом не гнушалися». Трудно себе представить более рельефное изображение силы и слабости русского крестьянства в эпоху самодержавия.

Никогда не утихавшая боль писателя-демократа за русского мужика, вся горечь его раздумий о судьбах своего народа, родной страны сконцентрировалась в тесных границах сказки «Коняга» и высказалась в жгучих словах, волнующих образах и исполненных высокой поэтичности картинах. В сказке, от начала до конца ее, звучит трагическая нота, вся сказка пропитана чувством тревоги гуманиста за судьбу подневольного труженика и чувством гнева писателя против идеологов социального неравенства. Примечательно, что в сказке крестьянство представлено и непосредственно в образе мужика, и в параллельном образе — Коняги. Человеческий образ казался Салтыкову недостаточным для того, чтобы воспроизвести всю ту скорбную картину каторжного труда и безответных страданий, которую являла собою жизнь крестьянства при царизме. Художник искал более выразительного образа — и нашел его в Коняге, «замученном, побитом, узкогрудом, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами». Коняга — символ силы народной и в то же время символ забитости, вековой несознательности. Коняга, как и мужик в сказке о двух генералах,— это громадина, не осознавшая своей мощи и причин своего страдальческого положения, это — «не умирающая, не расчленимая и не истребимая», но плененная сила.

Где выход из плена? Салтыков мучительно ищет ответа, но эти поиски не дают утешительных результатов. Как глубокий и трезвый мыслитель, он не верил в возможность осуществления социальной гармонии без активной борьбы. Участие широких масс в освободительном движении он считал решающим фактором коренных общественных преобразований. Но в мировоззрении Салтыкова, которое было ограничено кругом идей крестьянского демократа-социалиста, представление о массовой преобразующей силе связывалось прежде всего с крестьянством. В то же время исторический опыт внушал Салтыкову сомнения относительно способности крестьянства к самостоятельной организованной и сознательной борьбе. Отсутствие близкой перспективы вызволения мужика из вековечного «плена» явилось причиной тех глубоких идейных переживаний и скорбных настроений писателя, которые отразились в сказке о многострадальном бессловесном Коняге.

Эта сказка, как и сказка-элегия «Приключение с Крамольниковым», свидетельствует, что в 80-е годы в мировоззрении Салтыкова назревали серьезные перемены. Он по-прежнему оставался социалистом-утопистом — и в то же время обострялось его критическое отношение к теориям утопического социализма. Он оставался крестьянским демократом — и вместе с

тем усиливались его сомнения в способности крестьянства стать организованной общественной силой. Он был сторонником «мирных», легальных способов социально-политических преобразований — и все более убеждался, что в условиях самодержавной России они не оправдывают надежд.

Идейные тревоги, пережитые Салтыковым в 80-е годы, М. С. Ольминский не без основания определил как «трагедию переходного момента от утопического к научному социализму»[1]. До понимания исторической роли рабочего класса он не дошел, закончив свою литературную деятельность в преддверии пролетарского этапа освободительного движения.

Главной причиной долготерпения угнетенных масс Салтыков как просветитель-демократ считал отсутствие у них политической сознательности, понимания своего значения как общественной силы. Воссоздавая в «Сказках» картину крестьянских бедствий, он последовательно проводил идею о необходимости противопоставить эксплуататорам мощь народную. Он настойчиво внушал «замученному Коняге» и «измалодушничавшему воронью» («Ворон-челобитчик»), запуганным и доверчивым «людишкам» («Богатырь»), что их притеснители — жестоки, но не столь могущественны, как это представляется устрашенному сознанию. Он стремился поднять сознание масс до уровня их исторического призвания, вооружить их мужеством и верой в свои дремлющие силы, разбудить их огромную потенциальную энергию для коллективной самозащиты и активной освободительной борьбы.

Салтыков не разделял мелкобуржуазных концепций о возможности достижения социального идеала только путем морального исправления эксплуататоров. В понимании причин социального зла и путей его искоренения он не придавал моральному фактору решающего значения и не связывал с ним далеко идущих надежд. Вместе с тем он не преуменьшал огромного значения нравственности — стыда и совести — как действенного начала в общественной борьбе. И в этом смысле он может быть назван великим моралистом. Не чужда была ему и мысль о воздействии на «эмбрион стыдливости» в людях привилегированной верхушки общества. Поэтому наряду с политическими и социальными проблемами он так или иначе постоянно касался в своем творчестве и проблем моральных. В частности, среди его сказок есть такие, которые посвящены преимущественно осмеянию и отрицанию морали эксплуататоров. Это — «Пропала совесть», «Добродетели и Пороки», «Дурак», «Баран-непомнящий», «Христова ночь», «Рождественская сказка», «Приключение с Крамольниковым».

Первые три из перечисленных сказок — сатира на исторически изжившие себя моральные принципы привилегированных классов. Писатель показывает полное извращение всех нравственных категорий в паразитических слоях общества. Здесь совесть превращена в «негодную тряпицу», от которой каждый стремится поскорее избавиться («Пропала совесть»). Здесь добродетели ловко уживаются с пороками на почве лицемерия («Добро-

---

[1] М. Ольминский. Статьи о Щедрине. М., Гослитиздат, 1959, с. 32.

детели и Пороки»). Здесь все подлинно высокие человеческие достоинства признаются ненормальными, опасными и подвергаются жестокому гонению («Дурак»).

Давно занимавшая творческое воображение Салтыкова и оставшаяся неосуществленной мысль о создании произведения (под названием «Паршивый»), героем которого должен был бы явиться самоотверженный поборник социальной справедливости, революционер типа Чернышевского или Петрашевского,— эта мысль нашла свое частичное претворение в сказке «Дурак». В ней представлена свободная от всех нравственных пороков привилегированного общества личность гуманиста — правда, не в образе революционера, а в опрощенном, соответственно народной сказке, образе прирожденного крестьянского «праведника», который «не понимал» и потому не признавал никаких требований официального морального кодекса. Разумеется, жизнь одинокого протестанта, взгляды и поступки которого находились в непримиримом конфликте с господствующей средой, должна была закончиться трагически. Финальный эпизод сказки — внезапное исчезновение, а затем, по прошествии многих лет, возвращение измученного Иванушки — намекает на административную кару, постигшую героя. Такова была участь многих «справедливых людей» из народа, и Салтыков своей сказкой выражал им сочувствие.

Как и в сказке «Дурак», любовь к ближнему в ее социалистической трактовке — основной мотив «Христовой ночи» и «Рождественской сказки». Мотивом любви к ближнему и «религиозной» формой его художественного воплощения эти два произведения Салтыкова больше всего напоминают народные рассказы и сказки Льва Толстого. Однако Толстой и Салтыков расходятся в своем понимании способов служения ближнему. Если первый полагал, что моральное самоусовершенствование человека, чисто нравственное проявление любви к ближнему, христианское смирение и всепрощение уже сами по себе достигают цели, ведут в конечном счете к коренному преобразованию всей общественной жизни, то Салтыков противопоставил толстовской проповеди нравственного перевоспитания социальных верхов идею активного протеста. Об идейных расхождениях двух великих современников в трактовке моральных проблем свидетельствует, в частности, такой факт. Салтыков, идя навстречу сделанному ему Толстым предложению, послал в марте 1887 года пять сказок в «Посредник». Ознакомившись с ними, Чертков писал Толстому 19 марта 1887 года, что в каждой из сказок «есть что-нибудь прямо противоположное нашему духу; но когда указываешь на это, то он <Салтыков> говорит, что всю вещь написал именно для этого места, и никак не соглашается на пропуск» [1]. Из свидетельств Черткова известно также, что особенное внимание Толстого обратила на себя «Рождественская сказка». Но и она, по словам Черткова, вызывала у него противоречивое чувство. С одной стороны, он нашел ее «изумитель-

---

[1] *ЛН*, т. 13/14, М., 1934, с. 517.

ной» и хотел бы издать ее в «Посреднике», с другой — будто бы отказался от этого ввиду «нехристианского» конца [1].

Внести сознание в народные массы, вдохновить их на борьбу за свои права, пробудить в них понимание своего исторического значения, осветить им светом демократического и социалистического идеала путь движения к будущему — в этом состоит основной идейный смысл «Сказок» и вообще всей литературной деятельности Салтыкова, и к этому он неутомимо призывал своих современников из лагеря передовой интеллигенции. И какие бы сомнения и огорчения ни переживал писатель относительно пассивности народной массы в настоящем, он никогда не утрачивал веры в пробуждение ее сознательной активности, в ее решающую роль, в ее конечное, может быть, как ему казалось в 80-е годы, очень отдаленное торжество.

III

Иносказательная манера Салтыкова, содействуя преодолению цензурных препятствий и изображению явлений жизни в живописном и остроумном виде, имела вместе с тем, как это с горечью отмечал сам писатель, и свою отрицательную сторону. Она не всегда была доступна широкому кругу читателей. Совершенствуя ее, Салтыков достиг в своих сказках такой формы, которая оказывалась наименее уязвимой для цензуры и в то же время отличалась высоким художественным совершенством и большей доступностью. И все же в иносказательном арсенале сатирика есть один прием, который нуждается в особом пояснении.

Свои самые сокровенные убеждения, которые невозможно было высказать непосредственно от своего лица или идейно родственного автору персонажа, писатель в ряде сказок (как и во многих других своих произведениях) высказал устами совершенно чуждых ему идейно персонажей, например, высших царских сановников (губернатор в «Праздном разговоре», начальник края коршун в «Вороне-челобитчике») и служителей религиоз-

---

[1] С. А. Макашин предлагает здесь существенную поправку, сообщив для настоящей статьи следующее:

«В. Г. Чертков ошибся, назвав «Рождественскую сказку» вместо нужной здесь «Христовой ночи», у которой действительно «нехристианский» конец (Христос «воспылал гневом»). В «Рождественской сказке» такого конца нет, и она была издана «Посредником» в 1887 году. Это позволяет считать, что в числе сказок, посланных Салтыковым в «Посредник», *пятой* была именно «Христова ночь». Тем самым ликвидируется пробел в сообщении М. Чистяковой «Л. Н. Толстой и Салтыков», где указаны лишь *четыре* сказки: «Бедный волк», «Самоотверженный заяц», «Пропала совесть», «Рождественская сказка» (*ЛН*, т. 13/14, с. 518). К сожалению, предлагаемая поправка пришла мне в голову не тогда, когда при моем участии подготавливалась к печати статья Чистяковой, в связи с чем состоялась моя встреча с Чертковым, а уже после выхода в свет т. 13/14 «Лит. наследства». Свои сомнения и новые предположения я изложил Черткову во второй беседе, и он согласился с ними».

ного культа (в «Рождественской сказке»). Этот прием порождал и продолжает порождать принципиальные ошибки в трактовке идейного содержания произведений.

В сказках, где с проповедями социальной справедливости выступают представители власти и церкви, некоторые критики (Головин, Скабичевский, Кранихфельд) усматривали политическое поправение и религиозное смирение Салтыкова, выражение надежд писателя на пробуждение совести в правящих верхах. Большинство советских исследователей и комментаторов, напротив, полагало, что сатирик в этих сказках высмеивает лицемерную либеральную демагогию представителей власти и церкви. Наконец, некоторые исследователи выражали недоумение, почему сатирик иногда свои заветные мысли излагает от лица своих идейных противников. Так, например, Н. К. Пиксанов, отмечая, что, к неожиданному удивлению читателей, в сказке «Ворон-челобитчик» тираду о неизбежности наступления века социальной справедливости произносит сильнейший начальник над вороньем — коршун, сделал следующее заключение: «Не всегда ясно и самому Салтыкову, какие же силы выведут людей из круга «натуральных злодейств», кто и как уничтожит классовую борьбу» [1].

Перечисленные точки зрения являются плодом бо́льших или ме́ньших недоразумений, порожденных сложностью эзоповской специфики рассматриваемой группы сказок. Не вдаваясь в подробный анализ их идейно-художественной структуры, обратим внимание только на то, что обычно ускользает от внимания читателей и исследователей.

Основной идейный смысл «Праздного разговора», представляющего собою своего рода вариацию на тему антипомпадура («Единственный. Утопия»), заключается в отрицании самодержавия как власти паразитической, антинародной, мешающей историческому развитию общества и потому заслуживающей упразднения.

Какими же приемами удалось Салтыкову беспрепятственно провести через цензуру эту острую политическую тему? Под флагом высмеивания чудаковатого губернатора — «вольтерьянца» «прошлых» времен, который вздумал повольнодумствовать в «конфиденциальной» беседе с предводителем дворянства. Для самого губернатора развиваемые им мысли — не более как «праздный разговор», временная причуда. Но мысли, высказанные губернатором,— это мысли демократа Салтыкова. Сатирик одновременно и высмеял пустую игру помпадура в либерализм, и использовал его праздную болтовню для изложения своих взглядов.

Прием пропаганды социалистических идей устами враждебного автору персонажа нашел свое применение и в сказке о вороне-челобитчике, олицетворяющем мужицкого ходока-правдоискателя. Ворон тщетно прошел все правительственные инстанции, не встретив нигде сочувствия, добрался до самого начальника края — коршуна — и услышал от него вдохновляющее слово о неизбежности наступления эпохи социального равенства. Одни ком-

[1] Н. Пиксанов. О классиках. М., 1933, с. 200—201.

ментаторы усматривали в столь неожиданных высказываниях царского сановника сатиру на официальную демагогию, другие — замаскированное, по цензурной необходимости, выражение позитивных взглядов самого автора. Верной является, конечно, вторая точка зрения [1].

Коршун сказал ворону-челобитчику: «Посмотри кругом — везде рознь, везде свара; никто не может настоящим образом определить, куда и зачем он идет... Оттого каждый и ссылается на *свою* личную правду. Но придет время, когда всякому дыханию сделаются ясными пределы, в которых жизнь его совершаться должна,— тогда сами собой исчезнут распри, а вместе с ними рассеются как дым и все мелкие «личные правды». Объявится настоящая, единая и для всех обязательная Правда; придет и весь мир осияет». Эти слова дают резкую обличительную оценку общества, в котором господствует социальная рознь, и рисуют будущее общество социального равенства, основанное на единой и для всех обязательной правде.

Сцены встречи ворона-челобитчика с ястребом и кречетом, предшествующие разговору с коршуном, со всей силой показывают бесполезность поисков правды у жестоких, неправедных правителей, равнодушных к народному горю. На последней инстанции правдоискателя встречает сам Салтыков. Но слова социалистической правды автор мог высказать, лишь обрядившись в одежду своих врагов.

Салтыкову не свойственна апелляция к религии и церкви, он прекрасно понимал и неоднократно разоблачал в своей сатире их реакционную сущность. В связи с этим на первый взгляд кажется неожиданным, что в сказочном цикле писатель дважды — в «Христовой ночи» и «Рождественской сказке» — прибегает к религиозно-мифологическим образам и формам христианской проповеди. Идеи, развиваемые в этих произведениях, посвященных моральным проблемам, в сущности глубоко враждебны религиозным догматам. С точки зрения новой морали Салтыков обличает такие характерные явления 80-х годов, как предательство и политическое ренегатство («Христова ночь»), и призывает к гражданскому подвижничеству («Рождественская сказка»).

Почему же Салтыков прибегнул к «религиозной форме», не соответствующей сущности его социального и поэтического мировоззрения?

Во-первых, по справедливому заключению С. А. Макашина, сообщенному для настоящей статьи, Салтыков, не принимая Евангелия в его религиозном значении, вместе с тем был, подобно всем утопическим социалистам (Фурье, Сен-Симон и др.), не чужд социальному этизму в его евангельской оболочке. В частности, социально-этическому пафосу Салтыкова в «Христовой ночи» соответствовал евангельски-библейский пафос изложения моральных максим.

Во-вторых, выбор «религиозной формы» повествования, несомненно затемняющей, особенно с точки зрения современного читателя, подлинный

---

[1] Она была впервые высказана в комментарии Е. И. Покусаева в кн.: М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. Саратов, 1941, с. 144.

смысл пропагандируемых автором идей, был, так сказать, навязан писателю конкретно-историческими условиями времени. Салтыков сознательно шел в данном случае на некоторый ущерб развитию своих взглядов для того, чтобы обойти формально-уставные рогатки цензуры. Рассматриваемые произведения он готовил для «пасхальных» и «рождественских» номеров «Русских ведомостей» с очевидным намерением не выходить из традиционных рамок таких праздничных публикаций.

И наконец третье и, может быть, самое главное. Все — и приуроченность произведений к церковным праздникам, и проповедническая тональность повествования, и евангельская облицовка образов — все свидетельствует о том, что «Христову ночь» и «Рождественскую сказку» Салтыков предназначал в первую очередь для широкого круга читателей, приноравливая образы и стиль к уровню их сознания, находившегося во власти религиозных представлений. Новое вино было влито в старые мехи. И хотя основной смысл этих «религиозных» по форме произведений не имеет в себе ничего религиозного, все же цель их написания заключалась не специально в борьбе с религией, как полагают иные комментаторы, и не в приобщении писателя к религиозным настроениям, как считали некоторые прежние критики, введенные в заблуждение своеобразной формой повествования, а исключительно в стремлении Салтыкова провести наиболее доступным образом свои взгляды в широкую читательскую среду. К этому прибегали и другие литературные современники Салтыкова. В частности, 1885 и 1886 год — год появления «Христовой ночи» и «Рождественской сказки» Салтыкова — ознаменован рядом значительных произведений, основанных на использовании религиозно-мифологических образов, церковных легенд, народных суеверий, народно-сказочных мотивов. Это прежде всего народные рассказы Толстого («Свечка», «Два старика», «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях»), «Сказание о гордом Аггее» Гаршина, «Сказание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды» Короленко, «Сказание о Феодоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине» Лескова.

Общим для авторов всех этих произведений является стремление воздействовать на «простонародье», на того читателя, сознание которого находилось под воздействием религиозной идеологии. Применительно к последнему создавалась и соответствующая поэтическая форма рассказа. Что же касается пропагандируемых в этой форме идей, то они могли быть не только различны, но и прямо противоположны у отдельных писателей. В народных рассказах Толстого и родственных им легендарных «сказаниях» Гаршина и Лескова проводились религиозные идеи непротивления злу насилием и нравственного совершенствования; произведения же Салтыкова и Короленко полемически развивали мысль о необходимости активной борьбы с насилием. Если у Толстого, Гаршина и Лескова выбор формы религиозного сказания в известной мере диктовался внутренним содержанием развиваемого учения, то для Салтыкова и Короленко эта форма была лишь своеобразной художественной тактикой.

Прием использования Салтыковым для выражения своих взглядов

идеологически чуждых персонажей, продиктованный условиями тяжелой политической реакции, отличается рискованной двусмысленностью. Вместе с тем этот прием свидетельствует, что писатель был исполнен веры в пытливый ум передового русского читателя. Благодаря этому приему Салтыкову удавалось даже в годы глухой реакции воздействовать на общественное мнение не только гневным обличением социального зла, но и пропагандой демократических и социалистических идеалов в их позитивной форме.

IV

«Сказки», представляя собою итог многолетней работы писателя, синтезируют идейно-художественные принципы Салтыкова, его оригинальную манеру письма, многообразие его изобразительных средств и приемов, достижения его мастерства в области сатирической типизации, портретной живописи, диалога, пейзажа, они ярко демонстрируют силу и богатство его юмора, его искусство в применении гиперболы, фантастики, иносказания для реалистического воспроизведения жизни. Поэтому «Сказки» являются именно той книгой Салтыкова, которая наилучшим образом раскрывает читателю богатый духовный мир и многогранную творческую индивидуальность русского художника-мыслителя, шедшего в авангарде общественно-литературного движения своего времени.

Богатое идейное содержание щедринских сказок выражено в общедоступной и яркой художественной форме, воспринявшей лучшие народно-поэтические традиции «Сказка,— говорил Гоголь,— может быть созданием высоким, когда служит аллегорическою одеждою, облекающею высокую духовную истину, когда обнаруживает ощутительно и видимо даже простолюдину дело, доступное только мудрецу» [1]. Таковы именно салтыковские сказки. Они написаны настоящим народным языком — простым, сжатым и выразительным.

Слова и образы для своих чудесных сказок сатирик подслушал в народных сказках и легендах, в пословицах и поговорках, в живописном говоре толпы, во всей поэтической стихии живого народного языка. Связь сказок Салтыкова с фольклором проявилась и в традиционных зачинах с использованием формы давно прошедшего времени («Жил-был...»), и в употреблении присказок («по щучьему веленью, по моему хотенью», «ни в сказке сказать, ни пером описать» и т. д.), и в частом обращении сатирика к народным изречениям, всегда поданным в остроумном социально-политическом истолковании.

Близость сатиры Салтыкова к произведениям народно-поэтической словесности наиболее заметно обнаруживается не в композиции, жанре или сюжетах, а в образной стилистике. Сатирика привлекал в фольклоре прежде

---

[1] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VIII. Изд-во АН СССР, 1952, с. 483.

всего склад народной речи, образность народного языка. Отсюда его интерес к народным афоризмам, закрепленным в пословицах и поговорках. Сатирик находил их и непосредственно в живой разговорной речи[1], и в соответствующих сборниках своего времени. Документальным свидетельством этого может служить автограф, относящийся к середине 50-х годов, с записью 52-х пословиц и поговорок, взятых из публикаций Ф. Буслаева и И. Снегирева. Ю. М. Соколов, опубликовавший и прокомментировавший листок с этими записями и проследивший их использование в произведениях писателя, сделал следующий вывод относительно функций пословичных и поговорочных изречений в сатире Щедрина: «По всему видно, что пословицы не только служили дополнительным материалом художнику для характеристики того или другого персонажа, но <...> давали толчок к созданию писателем фабульной ситуации»[2]. Справедливо также относительно некоторых сказок Салтыкова замечание Я. Эльсберга о том, что они выросли из пословиц и поговорок[3].

И все же, несмотря на обилие фольклорных элементов, салтыковская сказка, взятая в целом, не похожа на народные сказки, она ни в композиции, ни в сюжете не повторяет традиционных фольклорных схем. Сатирик не подражал фольклорным образцам, а свободно творил на основе их и в духе их, творчески раскрывал и развивал их глубокий смысл в соответствии со своими замыслами, брал их у народа, чтобы вернуть народу же идейно и художественно обогащенными. Поэтому даже в тех случаях, когда темы или отдельные образы салтыковских сказок находят себе близкое соответствие в ранее известных фольклорных сюжетах, они всегда отличаются оригинальным истолкованием традиционных мотивов, новизной идейного содержания и художественным совершенством[4]. Здесь, как и в сказках Пушкина и Андерсена, ярко проявляется обогащающее воздействие художника на жанры народной поэтической словесности.

Опираясь на богатейшую образность сатирической народной сказки,

---

[1] С. А. Макашин пишет: «В речевом обиходе матери сатирика и всей окружавшей его детство среды крепостных и дворовых пословица и поговорка играли большую роль. С ранних лет Салтыков должен был, таким образом, усваивать и сатирическую направленность, и афористичность мышления, присущие этому виду народного творчества. А эти элементы образовали впоследствии существеннейшие стороны не только живой речи сатирика, но и его художественного стиля» (С. Макашин. Салтыков-Щедрин, Биография, т. 1, изд. 2-е. М., Гослитиздат, с. 93).

[2] Ю. Соколов. Из фольклорных материалов Щедрина.— *ЛН*, т. 13/14. с. 501.

[3] Я. Эльсберг. Стиль Щедрина. М., Гослитиздат, 1940, с. 416.

[4] Исследователи отмечают три случая наибольшего сближения в сюжетах и образах между сказками народными и сказками салтыковскими. Это «Сказка о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», «Байка о щуке Зубастой» и салтыковские «Злополучный пискарь», «Премудрый пискарь», «Карась-идеалист»; народные сказки об Иване-дураке и сказка сатирика «Дурак»; народные сказки о богатом и бедном братьях или соседях и «Соседи» Салтыкова.

Салтыков дал непревзойденные образцы лаконизма в художественной трактовке сложных общественных явлений. Каждое слово, эпитет, метафора, сравнение, каждый образ в его сказках обладают высоким идейно-художественным значением, концентрируют в себе, подобно заряду, огромную сатирическую силу. В этом отношении особенно примечательны те сказки, в которых действуют представители зоологического мира.

Образы животного царства были издавна присущи басне и сатирической сказке о животных, являвшейся, как правило, творчеством социальных низов. Под видом повествования о животных народ обретал некоторую свободу для нападения на своих притеснителей и возможность говорить в доходчивой, забавной, остроумной манере о серьезных вещах. Эта любимая народом форма художественного повествования нашла в сказках Салтыкова широкое применение.

Мастерским воплощением обличаемых социальных типов в образах зверей достигается яркий сатирический эффект при чрезвычайной краткости и быстроте художественных мотивировок. Уже самим фактом уподобления представителей господствующих классов и правящей касты самодержавия хищным зверям сатирик заявлял о своем глубочайшем презрении к ним. Социальные аллегории в форме сказок о зверях предоставляли писателю некоторые преимущества и в цензурном отношении, позволяли употреблять более резкие сатирические оценки и выражения. В сказке «Медведь на воеводстве» Салтыков называет Топтыгина «скотиной», «гнилым чурбаном», «сукиным сыном», «негодяем» и т. п.— все это без применения звериной маски было бы невозможно сделать по отношению к царским сановникам, которых сатирик имеет в виду в данном случае.

«Каждую вещь,— писал Андерсен,— следует называть ее настоящим именем, и если боятся это делать в действительной жизни, то пусть не боятся хоть в сказке!»[1] Точно так же поступал Салтыков: чтобы назвать губернатора или другого царского сановника «скотиной», он предварительно превратил его в сказочного медведя. Конечно, царская цензура распознавала замаскированные замыслы писателя и принимала все зависящие от нее меры, но нередко оказывалась перед невозможностью предъявить ему формальные обвинения.

«Зверинец», представленный в щедринских сказках, свидетельствует о великом мастерстве сатирика в области художественного иносказания, о его неистощимой изобретательности в иносказательных приемах. Выбор представителей животного царства для иносказаний в салтыковских сказках всегда тонко мотивирован и опирается на прочную фольклорно-сказочную и литературно-басенную традицию, и всего заметнее — на традицию Крылова. Справедливо отмечалось, что некоторые салтыковские сказки представляют собою прозаическую разновидность басенного жанра[2] и что

---

[1] Г.-Х. Андерсен. Сказки и истории. Перевод с датского. Т. II. Л., Гослитиздат, 1969, с. 431.

[2] И. Эйгес. К вопросу об эволюции басни как жанра.— «Русский язык в советской школе». М., 1931, № 1, с. 25—29.

в них получили своеобразное и более сложное идеологическое истолкование образы и мотивы крыловских басен [1].

Затаенный смысл сказочных иносказаний Салтыкова постигается как из самих образных картин, соответствующих поэтическому строю народных сказок или басен, так и благодаря тому, что сатирик нередко сопровождает свои образы прямыми намеками на их скрытое значение.

Топтыгин чижика съел. «Все равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довел» («Медведь на воеводстве»).

«Ворона — птица плодущая и на все согласная. Главным же образом, тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица» («Орел-меценат»).

«У птиц тоже, как и у людей, везде инстанции заведены; везде спросят: «Был ли у ястреба? был ли у кречета?», а ежели не был, так и бунтовщиком, того гляди, прослывешь» («Ворон-челобитчик»).

Такой прием переключения повествования из плана фантастического в реалистический, из сферы зоологической в социальную делает салтыковские иносказания, как правило, прозрачными и общедоступными.

«Очеловечивание» звериных фигур своих сказок Салтыков осуществляет с большим художественным тактом, позволяющим сохранить «натуру» образов. Разумеется, иносказание, предназначенное выразить социальный смысл, не достигает цели, если действия зверя в сказке или басне ограничиваются только тем, что ему природой позволено. Этому требованию не удовлетворит ни одна даже самая «выдержанная» басня. Важно, чтобы выбор образов для сравнения не был случайным, чтобы художник был остроумен и находчив в распределении ролей и чтобы прямой смысл и подразумеваемый смысл образа были поэтически согласованы.

В сказках Салтыкова зайцы изучают «статистические таблицы, при министерстве внутренних дел издаваемые», и пишут корреспонденции в газеты; медведи ездят в командировки, получают прогонные деньги и стремятся попасть на «скрижали Истории»; птицы разговаривают о капиталисте-железнодорожнике Губошлепове; рыбы толкуют о конституции и даже ведут диспуты о социализме. Но в том-то и состоит поэтическая прелесть и неотразимая художественная убедительность салтыковских сказок, что как бы ни «очеловечивал» сатирик свои зоологические картины, какие бы сложные социальные роли ни поручал он своим «хвостатым» героям, последние всегда сохраняют за собой основные свои натуральные свойства.

Коняга — это доподлинно верный образ забитой крестьянской лошади; медведь, волк, лиса, заяц, щука, ерш, карась, орел, ястреб, ворон, чиж — все это не просто условные обозначения, не внешние иллюстрации, а поэтические образы, живо воспроизводящие облик, повадки, свойства представителей животного мира, призванного волею художника дать едкую паро-

---

[1] Н. Л. Степанов. Мастерство Крылова-баснописца. М., «Сов. писатель», 1956, с. 265—266.

дню на общественные отношения буржуазно-помещичьего государства. В результате — перед нами не голая, прямолинейно тенденциозная аллегория, а высшее мастерство художественного иносказания, сохраняющее реальность сопоставляемых образов.

В своих сказках Салтыков воплотил не только повседневные проявления общественной жизни, социальной борьбы, административного произвола, но и сложные процессы общественной мысли своего времени. И если принять во внимание всю эту сложность поставленных писателем задач, то нельзя не восхищаться тем мастерством, с каким представил Салтыков большие коллизии эпохи в миниатюрных картинах сказок, с каким он заставил своих незадачливых героев — волков и зайцев, щук и карасей — разыграть на этой ограниченной сцене сложные сюжеты социальных комедий и трагедий.

Едва ли, например, можно было доходчивее, ярче, остроумнее передать идею о социальном антагонизме и о деспотической сущности самодержавия, чем это сделано в сказках «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве». С такой же классической ясностью и неподражаемой изобретательностью представлены все лукавые извороты и метаморфозы либерализма в сказках «Вяленая вобла» и «Либерал».

Противопоставление бесправных народных масс господствующей верхушке общества составляет один из важнейших идейно-эстетических принципов Салтыкова. В его сказке действуют лицом к лицу, в непосредственном и резком столкновении представители антагонистических классов Мужик и генералы, мужики и дикий помещик, Иван Бедный и Иван Богатый, заяц и волк, заяц и лиса, «лесные мужики» и воеводы Топтыгины, Коняга и Пустоплясы, карась и щука и т. п. В целом книга салтыковских сказок — это живая картина общества, раздираемого внутренними противоречиями. Рядом с глубокой драмой жизни трудящихся Салтыков показывал позорнейшую комедию жизни дворянско-буржуазных слоев общества. Отсюда постоянное переплетение трагического и комического в салтыковских сказках, беспрерывная смена чувства симпатии чувством гнева, острота конфликтов и резкость идейной полемики.

Принцип социального контраста находит свое выражение не только в построении образной системы, резком противопоставлении персонажей, выборе зоологических масок, но и в тех полемических диалогах действующих лиц, в форме которых развертывается содержание целого ряда сказок. Блестящим примером мастерского диалога может служить «Карась-идеалист». Сюжет сказки, с первых слов («Карась с ершом спорил...») и до последних («Вот они, диспуты-то наши, каковы!»), развивается в быстро сменяющихся эпизодах полемики карася то с ершом, то со щукой, и в этих спорах необычайно стремительно и ярко обрисовывается внутренний облик каждого участника диспутов: наивного идеалиста, циничного скептика, прожорливого хищника.

Нет ни возможности, ни необходимости говорить здесь о многих других особенностях, характеризующих салтыковские сказки как оригиналь-

ные творения искусства слова. Отметим лишь, что эти сказки, где представлены картины жизни всех социальных слоев общества, могут служить как бы хрестоматией образцов салтыковского юмора во всем богатстве его эмоциональных оттенков и художественных проявлений. Здесь и презрительный сарказм, клеймящий царей и царских вельмож («Медведь на воеводстве», «Орел-меценат»), и веселое издевательство над дворянами-паразитами («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»), и пренебрежительная насмешка над позорным малодушием либеральной интеллигенции («Премудрый пискарь», «Либерал»), и смешанный с грустью смех над доверчивым простецом, который наивно полагает, что можно смирить хищника призывом к добродетели («Карась-идеалист»).

Салтыков-Щедрин был великим мастером иронии, то есть тонкой, скрытой насмешки, облеченной в форму похвалы, лести, притворной солидарности с противником. В этой ядовитейшей разновидности юмора Салтыкова превосходил в русской литературе только один Гоголь. В «Сказках» салтыковская ирония блещет всеми красками. Сатирик то восхищался преумным здравомысленным зайцем, который «так здраво рассуждал, что и ослу впору», то вдруг вместе с генералами возмущался поведением тунеядца мужика, который спал «и самым нахальным образом уклонялся от работы», то будто бы соглашался с необходимостью приезда медведя-усмирителя в лесную трущобу, потому что «такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по-своему норовил. Звери — рыскали, птицы — летали, насекомые — ползали; а в ногу никто маршировать не хотел».

Обличая носителей социального зла, изображая их в смешном виде, писатель возбуждал к ним в обществе чувство активной ненависти, воодушевлял народную массу на борьбу с ними, поднимал ее настроение и веру в свои силы.

Небольшой объем, народность художественной формы, острота трактовки жгучих социальных проблем, богатое идейное содержание, выраженное в ярких, впечатляющих образах,— все это сообщало салтыковским сказкам, так сказать, оперативный характер и обеспечивало им широкое хождение в читательской среде.

«Сказки» Салтыкова сыграли благотворную роль в революционной пропаганде, и в этом отношении они выделяются из всего творчества писателя. Документальные и мемуарные источники свидетельствуют, что салтыковские сказки постоянно находились в арсенале русских революционеров-народников и служили для них действенным оружием в борьбе с самодержавием. Отдельные сказки Салтыкова перепечатывались в столичных и провинциальных изданиях, а те из сказок, которые были запрещены царской цензурой («Медведь на воеводстве», «Орел-меценат», «Вяленая вобла» и др.), распространялись в нелегальных изданиях — русских и зарубежных.

К «Сказкам» Салтыкова проявлял интерес Ф. Энгельс [1]. Ими неоднократно пользовались русские марксисты в своей публицистической деятель-

---

[1] См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 36, с. 522.

ности. В. И. Ленин блестяще истолковал многие идеи и образы салтыковских сказок, применив их к условиям политической борьбы своего времени.

Отмечая «гигантское, всемирно-историческое значение» пробуждения человека в «коняге», Ленин резко выступал против реакционных экономистов народнического лагеря, которые, считая труд «святой» обязанностью забитого и задавленного крестьянина, тем самым внушали веру, что «ему навеки суждена «святая обязанность» быть конягой» [1]. Он клеймил черносотенцев как «диких помещиков» и разоблачил в помещичьем либерализме 1905 года вожделения «дикого помещика» [2]. Буржуазный либерализм кадетов охарактеризован Лениным как «софистика вяленой воблы» [3], а меньшевики, тяготевшие к союзу с либералами, как премудрые пискари пресловутой прогрессивной «интеллигенции»... [4] Припоминая салтыковского карася-идеалиста, Ленин разъяснял: «...Пока есть у демократии политические караси, будет чем жить и щукам либерализма» [5].

Оказали свое воздействие сказки Салтыкова и на дальнейшее развитие русской литературы. Не без их влияния создавались, в частности, «Русские сказки» М. Горького [6], сатирические стихи В. Маяковского и Демьяна Бедного.

«Сказки» Салтыкова — это и великолепный художественный памятник минувшей эпохи, и действенное средство нашей сегодняшней борьбы с пережитками прошлого и с современной буржуазной идеологией. Вот почему они и в наше время не утратили своей яркой жизненности, по-прежнему остаются в высшей степени полезной и увлекательной книгой миллионов читателей.

V

Сказочный цикл, включающий тридцать два произведения, создавался Салтыковым на протяжении восемнадцати лет (1869—1886). Работа над сказками проходила весьма неравномерно. В 1869 году было опубликовано три сказки («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик»), в 1880 году — одна («Игрушечного дела людишки») [7], а остальные написаны в 1883—1886 годах, то есть в течение четырех лет.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1, с. 403, 421.

[2] Там же, т. 10, с. 70.

[3] Там же, т. 15, с. 251.

[4] Там же, т. 14, с. 199.

[5] Там же, т. 20, с. 117.

[6] «Полагаю,— писал Горький,— что влияние Салтыкова в моих сказках вполне ощутимо» (М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 30 М., Гослитиздат, 1956, с. 360).

[7] В 1880 г. сатирик написал два небольших произведения собственно в жанре сказки — «Сенаторскую ревизию» и «Архиерейский насморк». Однако эти сказки предназначались не для печати, а для чтения в кругу близких сатирику людей. Об истории автографов этих сказок см. в информационной заметке «Неопубликованные сатиры М. Е. Салтыкова-Щедрина».— «Лит. газета», 1941, 2 марта, № 9; сказка «Архиерейский насморк» опубликована С. А. Макашиным (*ЛН*, т. 67, М., 1959, с. 405—406).

Рассматривая сказки в порядке написания, можно наблюдать вполне определенную эволюцию их жанровой формы. В 1869 году Салтыков начинал со сказок, в которых социальные типы выступают в их человеческих образах. Но уже в третьей из этих сказок («Дикий помещик») в человеческие черты образа привнесен зоологический элемент. В сказочно-фантастических эпизодах, вошедших в цикл очерков «За рубежом» («Торжествующая свинья», 1881) и в «Современную идиллию» («Злополучный пискарь», 1883), параллельно действуют лица, представленные и в человеческих и в зоологических образах. Приступив вслед за этим к написанию самостоятельного сказочного цикла, Салтыков в течение полутора лет (с января 1883 по май 1885 г.) творит преимущественно в форме животного эпоса.

Произведения, которыми закончил писатель свою работу над сказочным циклом во второй половине 1886 года, по своему жанру, стилю и тональности заметно отличаются от предшествующих им сказок.

Во-первых, сатирический смех, определявший господствующую тональность прежних сказок, сменяется здесь то элегией по поводу злосчастья, опутавшего угнетенные массы, то гневным, без смеха, негодованием на владык мира, то вдохновенно-патетическим призывом к бесстрашной борьбе с презренным, погрязшим в ничтожестве врагом. Ослабление юмора в произведениях, завершающих сказочный цикл, объясняется как тем, что они посвящены прежде всего проблемам народной жизни, горьким раздумьям писателя о судьбах крестьянства и о перспективах освободительной борьбы, так и резким обострением болезни, вследствие чего, жаловался Салтыков, юмор, который был его главною силой, «совсем исчез».

Во-вторых, в произведениях 1886 года (за исключением «Гиены» и «Ворона-челобитчика») Салтыков не прибегает к зоологическим образам и отходит (опять-таки за исключением «Ворона-челобитчика») вообще от жанра сказки в собственном смысле слова. Они представляют собою или обработку преданий — «Христова ночь (Предание)» и поверий — «Гиена (Поучение)», или лирический монолог — «Приключение с Крамольниковым (Сказка-элегия)», или типичный салтыковский сатирический рассказ — «Праздный разговор», или, наконец, рассказ социально-бытового характера — «Деревенский пожар (Ни-то сказка, ни-то быль)», «Путем-дорогою (Разговор)», «Рождественская сказка», который перебрасывал мост от «Сказок» к последовавшей за ними книге «Мелочи жизни», составившей новое звено в эволюции салтыковского реализма. Подзаголовки, к которым в прежних сказках Салтыков не прибегал, обозначали этот сознаваемый самим автором отход произведений 1886 года от жанра сказки к рассказу («Ни-то сказка, ни-то быль») Любопытно, что и «Ворона-челобитчика», восходящего по форме к сказкам 1883—1885 годов, Салтыков сопроводил теперь подзаголовком «сказка», чтобы указать на жанр произведения, попавшего по времени написания в «несказочное» окружение.

Таким образом, сказки по своему жанровому составу не являются однородными. В полном смысле слова сказками являются только двадцать четыре произведения. Особняком стоят «Игрушечного дела людишки». Этот сатирический рассказ, задуманный как начало особой и впоследствии неосуществленной «кукольной» серии, нашел здесь случайный «приют». Что же касается остальных семи произведений, написанных в 1886 году, почти или вовсе лишенных элемента сказочности, то все же и их включение в сказочный цикл имеет свою достаточную мотивировку. Не совпадая со сказками по жанровому признаку, они родственны им малым объемом, характером проблем и общедоступным стилем повествования. Все произведения цикла, независимо от жанра, тесно взаимодействуют, находятся в идейной перекличке. Например, «Рождественская сказка», к жанру сказки в строгом смысле не относящаяся, развивает применительно к условиям 80-х годов идею ранней сказки «Пропала совесть», а рассказ «Путем-дорогою», написанный в форме разговора двух мужиков о поисках Правды, является своеобразной вариацией сказки «Ворон-челобитчик». Поэтому частичные жанровые отклонения внутри сказочного цикла не нарушают его проблемно-тематического и художественного единства.

Несомненно, что сказочный цикл, подобно вообще салтыковским циклам, был задуман как в известной мере единое и последовательное развитие определенных проблем в ряде взаимосвязанных произведений. Не осуществленные по разным причинам замыслы и большие и малые цензурные осложнения и катастрофы нарушали как последовательность работы над осуществлением плана сказок, так и порядок их публикации и композицию окончательного свода в отдельных прижизненных изданиях.

Вернувшись к работе над сказочным циклом в декабре 1882 года, Салтыков подготовил к февральской книжке «Отеч. записок» три сказки — «Премудрый пискарь», «Самоотверженный заяц» и «Бедный волк». Они были уже набраны, но изъяты автором, так как в январе журнал получил второе предостережение и Салтыков боялся, что сказки вызовут третье предостережение и закрытие журнала. Только в январе 1884 года их удалось напечатать в журнале. В февральском номере журнала Салтыков поместил было вторую серию сказок — «Добродетели и Пороки», «Медведь на воеводстве (Топтыгин 1-ый)», «Обманщик-газетчик и легковерный читатель» и «Вяленая вобла». Но и они были вырезаны по требованию цензуры, а в связи с этим не могли появиться и сказки, подготовленные для мартовской книжки — «Медведь на воеводстве (Топтыгин 2-й и Топтыгин 3-й)», «Орел-меценат», «Карась-идеалист». В апреле 1884 года журнал был закрыт. Таким образом из девяти сказок 1883—1884 годов, предназначавшихся для «Отеч. записок», Салтыков сумел напечатать там только три.

Запрещение журнала состоялось именно в тот момент, когда писатель работал над сказками с большим увлечением. «Теперь,— сообщал он Кавелину 12 мая 1884 года,— приходится сделать ломку, а удастся ли она — не знаю. Голова до сих пор полна совсем другим и, между прочим, сказ-

ками<...> Надобно отказаться от этой книги, которая не повредила бы мне».

Решив все же завершить задуманный цикл сказок, Салтыков действительно прибегнул к «ломке» в пределах жанра, что и сказалось весьма заметно на «Чижиковом горе» — первой сказке, написанной после закрытия «Отеч. записок» и опубликованной в декабре 1884 года в «Рус. ведомостях». Сказка представляет собою сатиру на буржуазно-дворянскую семью. Салтыков не был доволен сказкой. «...Я чувствую,— писал он Соболевскому 9 января 1885 года,— что два-три «Чижиковых горя» — и репутация моих сказок будет значительно подорвана. Феоктистов, может быть, правду сказал, что партикулярные дела совсем для меня не подходят». И после «Чижикова горя» Салтыков продолжает интенсивно работать над сказками («Такой уж стих на меня напал»). Но, усиливая их фантастический колорит, он отказывается от «партикулярных» сюжетов как ослабляющих, по его представлению, силу его сатиры, хотя это и сделало невозможным своевременное появление некоторых сказок в легальной печати.

Многие сказки при прохождении в печать встретились с цензурными препятствиями, что сказывалось на сроках их опубликования и обязывало автора вносить некоторые смягчающие поправки.

Для легального опубликования «Ворона-челобитчика», претерпевшего двухлетние мытарства, потребовалось приглушение ряда наиболее острых мест, и он появился только накануне смерти Салтыкова. Сказки «Медведь на воеводстве», «Вяленая вобла», «Орел-меценат» и «Богатырь» при жизни автора вообще не могли пробиться через цензурные барьеры.

Цензурная история сказок свидетельствует об исключительной идейной стойкости Салтыкова. Конечно, было неизбежным некоторое приглушение идейной остроты произведений. Однако постоянным оставалось стремление писателя преодолевать цензурные препятствия средствами иносказательного мастерства.

Цензурные задержки и запрещения обусловили широту подпольного распространения сказок в России и воспроизведение их в зарубежной эмигрантской печати. Круг нелегально печатаемых или издаваемых за границей сказок ограничен восемью произведениями, в разной степени испытавшими на себе цензурные гонения: «Премудрый пискарь», «Самоотверженный заяц», «Бедный волк», «Добродетели и Пороки», «Медведь на воеводстве», «Обманщик-газетчик и легковерный читатель», «Вяленая вобла», «Орел-меценат».

В России сказки расходились небольшими тиражами в литографированных и гектографированных изданиях, осуществлявшихся летучей гектографией Народной партии, Общестуденческим союзом, гектографией «Общественная польза». Печатались они обычно по спискам или по неправленым корректурным гранкам «Отеч. записок», в связи с чем содержали большое количество ошибок и отклонений от окончательного текста сказки. Первыми в 1883 году вольной гектографией «Общественная польза» были

выпущены брошюры под заглавием «Сказки для детей изрядного возраста. М. Е. Салтыкова», включавшие «Премудрого пискаря», «Самоотверженного зайца», «Бедного волка». Это издание в течение 1883 года (до публикации сказок в «Отеч. записках») в разных форматах выпускалось восемь раз (шесть раз с указанием даты выпуска и два раза без указания). Издание распространялось участниками «Народной воли», о чем свидетельствует печать на ряде сохранившихся экземпляров («Книжная агентура Народной воли»). Одно из изданий с обозначением даты выпуска в отличие от всех других содержит только одну сказку — «Премудрый пискарь».

Затем последовали нелегальные издания сказок, изъятых Салтыковым из корректурных гранок февральского номера «Отеч. записок» за 1884 год. Весной — летом 1884 года в Москве появились два нелегальных издания, воспроизводившие сказки «Медведь на воеводстве» и «Добродетели и Пороки» по неправленым гранкам «Отеч. записок». Первое из них, отпечатанное Летучей гектографией Народной партии, имело заглавие «Новые сказки Щедрина». Появилось оно, видимо, в начале мая 1884 года: под переписанным от руки текстом сказок подпись *«Щедрин»* и дата «1884 года 29 апреля». В том же году появились два выпуска литографированного издания под заглавием «(Новые) сказки для детей изрядного возраста. Щедрин», осуществленного Общестуденческим союзом. В первом из выпусков были напечатаны «Добродетели и Пороки» и «Медведь на воеводстве», во втором — «Вяленая вобла» и «Обманщик-газетчик и легковерный читатель». В 1892 году, к тому времени так и не разрешенная к печати, появилась отдельным гектографированным изданием «Вяленая вобла» [1], а в 1901 — «Орел-меценат». Последнее издание было осуществлено «в пользу Киевской кассы помощи политическим ссыльным и заключенным Красного Креста» [2].

Зарубежные публикации сказок производились первоначально на страницах газеты «Общее дело», выходившей в Женеве при непосредственном участии Белоголового, одного из ближайших друзей писателя. Здесь были напечатаны «Премудрый пискарь», «Самоотверженный заяц», «Бедный волк», «Добродетели и Пороки», «Медведь на воеводстве (Топтыгин 1-й)», «Вяленая вобла», «Орел-меценат». Вскоре после газетной публикации эти произведения выпускались издательством М. Элпидина в Женеве в виде сборников и отдельных брошюр.

---

[1] Об этом издании см. в статье В. Гиппиуса «Салтыков и русская нелегальная печать в 1884 г.».— *ЛН*, т. 13/14, с. 537—542. Варианты «Вяленой воблы» по московскому литографированному изданию и по женевскому изданию М. Элпидина приведены в кн.: М. Е. Салтыков-Щедрин. Соч., т. V. М.— Л., ГИЗ, 1927, с. 501—502.

[2] Сведения о нелегальных и зарубежных изданиях сказок содержатся в «Сводном каталоге русской нелегальной и запрещенной печати XIX века» в 9 частях (М., 1971) и в справочнике Л. М. Добровольского и В. М. Лаврова «Библиография М. Е. Салтыкова-Щедрина», т. 1, М. Е. Салтыков-Щедрин в печати. Л., 1949.

Как и в русской нелегальной печати, в Женеве первой была напечатана в 1883 году брошюра «Три сказки для детей изрядного возраста. Н. Щедрина», содержавшая «Премудрого пискаря», «Самоотверженного зайца» и «Бедного волка». Впоследствии эта брошюра переиздавалась М. Элпидиным в 1890 и 1895 годах, а в 1903 году была выпущена в Берлине Г. Штейницем в качестве 69-го выпуска «Собрания лучших русских произведений».

В 1886 году издательство М. Элпидина напечатало второй сборник под заглавием «Новые сказки для детей изрядного возраста. Н. Щедрина». В него вошли «Добродетели и Пороки», «Медведь на воеводстве» и «Вяленая вобла». Фотомеханическое воспроизведение этого сборника в 90-е годы появилось дважды (в 1893 г.; третье издание вышло без обозначения года). В 1903 году Г. Штейниц выпустил эту брошюру в Берлине в качестве 72-го выпуска «Собрания лучших русских произведений». Одновременно с названным изданием, в 1886 году, издательством Элпидина был осуществлен выпуск в свет сказки «Орел-меценат» отдельной брошюрой. Эта сказка в 1891 и 1898 годах переиздавалась Элпидиным, а в 1904 году вошла в изданную в Берлине Г. Штейницем брошюру «Три революционные сатиры» («Собрание лучших русских произведений», вып. 77), в Берлине же годом раньше И. Рэде осуществил отдельное издание сказки «Медведь на воеводстве» [1].

Не все из задуманного для цикла сказок Салтыков успел написать. По письмам Салтыкова и воспоминаниям Белоголового и Л. Ф. Пантелеева известны заглавия и отчасти содержание неосуществленных сказок. О первой из них Салтыков сообщал Некрасову 22 мая 1869 года: «Я хочу написать детский рассказ под названием «Повесть о том, как один пономарь хотел архиерейскую службу сослужить» и посвятить ее Антоновичу». В феврале 1884 года он писал Михайловскому: «Ужасно обидно: задумал я сказку под названием «Пестрые люди» написать (об этом есть уже намек в сказке «Вяленая вобла»), как вдруг вижу, что Успенский о том же предмете трактует! [2] Ну да я свое возьму не нынче, так завтра». Замысел сказки был в 1886 году преобразован в последнее из «Пестрых писем».

В мае 1885 года Салтыков сообщал Соболевскому о том, что он пишет новую сказку «Собаки», которую собирается скоро прислать в «Рус. ведомости». Сказка, очевидно, не была написана, так как никаких дальнейших упоминаний о ней в письмах Салтыкова не встречается.

Как свидетельствует Белоголовый, Салтыков задумал в середине 1885 года одновременно с «Богатырем» написать еще две сказки — «Забытая балалайка» и «Солнце и свиньи», «но обе эти сказки еще не были им

---

[1] Сведения о нелегальных и зарубежных изданиях объединены во вступительной статье и в комментариях к отдельным сказкам не повторяются.

[2] Салтыков имел в виду очерк Г. Успенского «Наконец нашли виноватого!» (в серии «Волей-неволей»), напечатанный в февральской книжке *ОЗ* за 1884 г.

достаточно обдуманы»[1]. В первой из них, как указывает мемуарист, он хотел представить идеолога позднего славянофильства И. С. Аксакова. Во второй сатирик, по-видимому, намеревался развить идею той драматической сцены, которая под названием «Торжествующая свинья, или Разговор свиньи с Правдою» вошла в шестую главу очерков «За рубежом». Напомним, что свинья начинает свое наступление на Правду отрицанием существования солнца на небе, заявляя: «А по-моему, так все эти солнцы — одно лжеучение». Известно, что «лжеучением» реакционеры называли обычно идеи демократии и социализма. По-видимому, защите именно этих идей и намеревался Салтыков посвятить сказку «Солнце и свиньи».

Шестая из не осуществленных Салтыковым сказок была задумана на тему о ссыльном революционере, который, несмотря на все гонения, остается непреклонным в своих убеждениях. Из писем Салтыкова известно, что в 1875—1876 годах он собирался написать рассказ «Паршивый» о трагической судьбе и мужестве революционера, прототипом для которого должны были бы послужить «Чернышевский или Петрашевский». Цикл «Культурные люди», для которого проектировался рассказ, остался незавершенным. Через десять лет Салтыков хотел посвятить этой же теме сказку и говорил о ней Пантелееву как о «почти готовой»[2] Замысел сказки о политическом изгнаннике не был осуществлен, очевидно, прежде всего ввиду цензурных трудностей, но отдельные мотивы этого замысла нашли свое отражение в сказках «Дурак» и «Приключение с Крамольниковым».

Приводим таблицу появления сказок в русской легальной, нелегальной и эмигрантской печати:

Название сказки	Первая публикация в русской легальной печати	Публикация в нелегальной русской печати	Публикация в русской эмигрантской печати
1 Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил	*ОЗ*, 1869, № 2		
2 Пропала совесть	Там же		
3 Дикий помещик	*ОЗ*, 1869, № 3		
4 Игрушечного дела людишки	*ОЗ*, 1880, № 1		
5 Премудрый пискарь	*ОЗ*, 1884, № 1	Сказки для детей изрядного возраста. 1883	*О.Д*, 1883, сентябрь
6 Самоотверженный заяц	Там же	»	»
7 Бедный волк	Там же	»	»
8 Карась-идеалист	сб. «XXV лет», 1884		

[1] *«Салтыков в воспоминаниях»*, с. 598.
[2] Там же, с. 190.

	Название сказки	Первая публикация в русской легальной печати	Публикация в нелегальной русской печати	Публикация в русской эмигрантской печати
9	Добродетели и Пороки	Сб. «XXV лет» 1884	Новые сказки Щедрина. 1884	*О.Д*, 1884, ноябрь
10	Обманщик-газетчик и легковерный читатель	Там же	(Новые) сказки для детей изрядного возраста. Щедрин. Вып. 2. М., 1884	
11	Чижиково горе	*Р. вед.*, 1884, 25 декабря		
12	Недреманное око	*Р. вед.*, 1885, 15 января		
13	Дурак	*Р. вед.*, 1885, 12 февраля		
14	Верный Трезор	Книжки «Недели», 1885, февраль		
15	Коняга	*Р. вед.*, 1885, 13 марта		
16	Кисель	Там же		
17	Баран-непомнящий	*Р. вед.*, 1885, 23 апреля		
18	Здравомысленный заяц	*Р. вед.*, 1885, 19 мая		
19	Соседи	*Р. вед.*, 1885, 2 июня		
20	Либерал	*Р. вед.*, 1885, 23 июня		
21	Праздный разговор	*Р. вед.*, 1886, 15 февраля		
22	Христова ночь	*Р. вед.*, 1886, 7 сентября		
23	Путем-дорогою	Там же		
24	Приключение с Крамольниковым	*Р. вед.*, 1886, 14 сентября		
25	Деревенский пожар	*Р. вед.*, 1886, 19 сентября		
26	Гиена	23 сказки, 1886		
27	Рождественская сказка	*Р. вед.*, 1886, 25 декабря		
28	Ворон-челобитчик	сб. «Памяти Гаршина», 1889		
29	Медведь на воеводстве	Полн. собр. соч., т. IV, изд. 5, 1906		*О.Д*, 1884, декабрь
30	Орел-меценат	Там же		*О.Д*, 1886, январь

31	Богатырь	Красный архив, 1922	
32	Вяленая вобла	*Изд 1933—1941*, т. XVI	(Новые) сказки для детей изрядного возраста. Щедрин. Вып. 2. М., 1884

Цензурные гонения не позволили сатирику дать полный свод своих сказок. В сентябре 1886 года появилось первое издание сборника сказок — «23 сказки», а в октябре 1887 года — второе, пополненное «Рождественской сказкой». В сборники эти не вошло восемь сказок. Три сказки 1869 года («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик») Салтыков не включил потому, что они уже печатались трижды и последний раз в книге, которая еще не была распродана[1]. Не вошли в сборник и пять сказок, не получивших цензурного разрешения («Медведь на воеводстве», «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Ворон-челобитчик», «Богатырь»)

В последние месяцы жизни Салтыков готовил к изданию Собрание своих сочинений, в котором намеревался дать полный цикл сказок. Однако и на этот раз в VIII томе Собрания, вышедшем в 1889 году, уже после смерти автора, было помещено только двадцать восемь произведений сказочного цикла: добавились «Повесть о том...», «Пропала совесть» и «Дикий помещик», но из не пропущенных ранее цензурой сказок сюда попал только «Ворон-челобитчик», которого к этому времени все же удалось напечатать в сборнике «Памяти Гаршина». Сказки «Медведь на воеводстве», «Орел-меценат» и «Вяленая вобла», распространявшиеся в русских и зарубежных подпольных изданиях, легально были напечатаны в России лишь в 1906 году, в пятом издании Полного собрания сочинений Салтыкова (прилож. к «Ниве», изд. А. Ф. Маркса). Сказка «Богатырь» затерялась в архиве писателя и впервые издана только в 1922 году, а к своду сказок присоединена в 1927-м[2].

Поскольку запрещенные цензурой сказки не вошли в состав сводов их, изданных Салтыковым, определение места этих сказок внутри цикла представляется делом сложным. Хотя датировка написания почти всех сказок, с точностью в пределах 1—2-х месяцев, без особого труда устанавливается по переписке Салтыкова и времени публикации, все же она не решает вопроса о композиции цикла. Во-первых, такая датировка еще недостаточна для восстановления точной хронологической последовательности написания сказок, а во-вторых, писатель, проектируя свод сказок, не имел намерения строго держаться хронологического принципа.

В сборнике «23 сказки» произведения расположены по годам: 1883—1886,— а в группе каждого года — по признаку тематической близости. Так, например, в серии 1885 года сказки «Коняга» и «Кисель», опубликованные

[1] «Сборник. Рассказы, очерки, сказки. Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина). Издание второе». СПб., 1883.

[2] М. Е. Салтыков (Щедрин). Соч., т. V. М.— Л., ГИЗ, 1927.

в марте, расположены после апрельских, майских и июньских, то есть поставлены рядом с первыми сказками 1886 года («Праздный разговор», «Деревенский пожар», «Путем-дорогою»). Сделано это, по-видимому, потому, что во всех этих сказках речь идет преимущественно о народной массе. Отсюда мы можем заключить, что если бы Салтыков имел возможность опубликовать в сборнике все тридцать две сказки, то порядок их расположения в полном своде определялся бы сочетанием хронологического и тематического принципов.

Вопрос, таким образом, осложняется не только недостаточной точностью некоторых датировок, но также — и это главное — не всегда известной нам авторской точкой зрения на идейно-тематическую взаимосвязь сказок. Некоторые салтыковские сказки представляют собою сложную идейную конструкцию и не легко поддаются тематической классификации, оставляя большое место для субъективных толкований.

В настоящем томе, как и в издании 1933—1941 годов, композиция сказочного цикла восходит к двум прижизненным изданиям, сформированным самим Салтыковым. Изменения в композиции цикла, установленной автором, связаны с дополнениями, которые вносились в его состав в 1890, 1906 и 1927 годах. Эти дополнения складываются из двух разнородных групп: сказки 1869 года и произведения, принадлежащие к сказочному циклу, но по цензурным условиям в легальной печати при жизни Салтыкова не появлявшиеся. Они вводились в цикл применительно к положенному в основу его композиции совмещению хронологического и тематического принципов построения. Сказки 1869 года вошли в качестве первого звена цикла; изъятые из «Отеч. записок» в феврале 1884 года сказки «Медведь на воеводстве» и «Вяленая вобла» и в марте того же года «Орел-меценат», «Карась-идеалист» поставлены вслед за январской серией этого года, а сказки «Богатырь» и «Ворон-челобитчик», не появившиеся в 1886 году в «Рус. ведомостях» из-за цензурных опасений, включены в группу сказок этого года.

Сказки 1869 года в настоящем томе печатаются по тексту второго издания «Сборника» (1883). Сказки, при жизни Салтыкова в легальной печати не публиковавшиеся и в его прижизненные сборники не входившие, печатаются по тексту корректурных гранок — «Медведь на воеводстве», «Вяленая вобла», рукописей — «Богатырь», восьмого тома сочинений Салтыкова, вышедшего в 1889 году,— «Ворон-челобитчик», и четвертого тома Полного собрания сочинений Салтыкова, изданного А. Ф. Марксом в 1906 году,— «Орел-меценат». Остальные произведения входили в книгу «23 сказки» и воспроизводятся по тексту ее второго издания (1887), что в дальнейшем особо не оговаривается.

Тексты сказок проверены по всем предшествующим публикациям, сохранившимся корректурным гранкам и рукописям.

Рукописи произведений сказочного цикла хранятся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде и в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве.

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ

(Стр. 7)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 2 (вып. в свет 10 февраля), стр. 591—598, под заглавием «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил. (Писано со слов коллежского советника Рудомазина)», с цифрой «I», относящейся к циклу «Для детей», вместе со сказкой «Пропала совесть» и рассказом «Годовщина». Без подписи; в оглавлении: *М. Е. Салтыков (Н. Щедрин).*

Тема сказки наметилась у Салтыкова в очерке 1867 года «Старый кот на покое» («Помпадуры и помпадурши»), в административно-философском трактате уволенного в отставку помпадура под заглавием «Что, ежели бы я жил на необитаемом острове и имел собеседником лишь правителя канцелярии?». Работа над будущей сказкой велась, очевидно, в декабре 1868—первой половине января 1869 года. Первоначальное заглавие — в наборной рукописи с авторской правкой *(ЦГАЛИ)* — «Два генерала. (Писано со слов коллежского советника Рудомазина)».

В *ОЗ* Салтыков напечатал сказку в качестве первого звена начатого совместно с Некрасовым цикла «Для детей», вскоре распавшегося (см. наст. изд., т. VII, стр. 636—637). В гранках появились добавления о появлении генералов на необитаемом острове (см. стр. 7 наст. кн.), о частном приставе Б., опознанном в пойманном осетре (стр. 10), замечание о «Моск. ведомостях» (стр. 12). В корректуре же Салтыков заменил откушенный у одного из генералов «конец уха» орденом.

В 1878 году писатель включил «Повесть» в сборник «Сказки и рассказы». Здесь появились заключительные слова сказки: «веселись, мужичина!», был снят подзаголовок, а заглавие впервые представлено в полном виде: при журнальной публикации слово «один» выпало, сохранившись лишь в одном из двух приложенных к номеру оглавлений. При последующих перепечатках в «Сборнике» (1881, 1883) текст сказки изменениям не подвергался. После смерти автора, в соответствии с оставленным им планом издания Сочинений, «Повесть» включена в сказочный цикл.

В этой сказке, положившей начало сказочному циклу, Салтыков показал, что источником материального и всякого иного благополучия социальных верхов является труд мужика. Подробнее см. в общей статье (стр. 423—424).

Сразу же после получения в Ницце номера «Отеч. записок» Герцен в письме к Огареву от 14/2 марта 1869 года спрашивал: «А читал ли ты в «От. з.» «Историю двух генералов», это прелесть»[1]. Высоко ценил эту сказку Тургенев, позаботившийся о переводе ее на французский язык[2]. Он

---

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XXX, кн. 1. М., Изд-во «Наука», 1964, с. 58

[2] «И. С. Тургенев в воспоминаниях современников», т. II. М., Гослитиздат, 1969, с. 148—149.

читал ее публично 15/27 мая 1879 года на литературно-музыкальном утре в пользу русской колонии в Париже[1]. Хорошо знал сказку Л. Толстой[2]. Тема сказки использована в шараде «Вот плот плывет...» из пьесы Толстого «Плоды просвещения» (IV, 6).

Стр. 7. *Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре...*— Речь идет о штатских «генералах» (действительных статских советниках). В рукописи сказки — «Инспекторский департамент», появление которого навеяно введением в действие 1 января 1869 г. «Положения о Военном министерстве», упразднявшего Инспекторский департамент этого министерства. Понизив ранг учреждения, сняв указание на правительственное постановление и сделав своих генералов отставными, Салтыков обеспечил себе свободу сатирического изображения их.

Стр. 8. *...служил еще в школе военных кантонистов учителем каллиграфии...*— Эти школы существовали до 1856 г. Преподавание каллиграфии, как и служба в кавалерии, в салтыковской сатире служит обычно признаком примитивности, духовной нищеты персонажа.

Стр. 9. *..откусил у своего товарища орден...*— В рукописи один генерал откусил у другого сначала палец, а потом «конец уха».

...идете в департамент...— Замену Инспекторского департамента «какой-то регистратурой» Салтыков провел непоследовательно.

Стр. 10. *«Шекснинска стерлядь золотая»* — из «Приглашения к обеду» Державина

...держащего в пасти кусок зелени.— Во всех прижизненных изданиях осетр держит в пасти «кусок зелени», в VIII томе Сочинений (1889) — «кусок чего-то», а в издании А. Ф. Маркса — «кусок слени», то есть плотной слизи, покрывающей рыбу зимой. В *изд. 1933—1941* текст возвращен, как и в наст. изд., к редакции, восходящей к автографу.

Стр. 11. *Все, на что бы они ни обратили взоры,— все свидетельствовало об еде.*— Пародируемые корреспонденции отнесены, между прочим, не только к Москве, но и к тем городам, где Салтыкову когда-то приходилось служить (Вятка, Тула, Пенза, Рязань).

ПРОПАЛА СОВЕСТЬ

(Стр. 13)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 2, стр. 598—609, с цифрой «II»; подробнее см. на стр. 447.

Сохранилась часть наборной рукописи *(ИРЛИ)*, от слов «...перебить посуду и вылить вино в канаву...» (см. стр. 17), написанная рукою

[1] «И. С Тургенев в воспоминаниях современников», с. 221—222.

[2] «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II, М., Гослитиздат, 1960, с. 254.

Е. А. Салтыковой с правкой автора, совпадающая с текстом журнальной публикации [1].

В 1878 году сказка после незначительного редактирования вошла в сборник «Сказки и рассказы». В 1881 и 1883 годах сказка переиздавалась в «Сборнике» без изменений.

В сказке «Пропала совесть» Салтыков, поднимая этические проблемы, изображает процесс деморализации как неизбежное следствие социально-политических принципов буржуазно-дворянского и всякого иного общества социального неравенства и несправедливости. Писатель хочет передать читателю свою веру в преобразующую силу «совести», веру в будущее, в то, что уже растут и вскоре выступят на сцену новые поколения, готовые к восприятию идей социальной справедливости и к победоносной борьбе за нее.

Стр. 15. *Хожалый* — рассыльный при полиции, а также всякий низший полицейский чин.

Стр. 21. *...железнодорожного изобретателя...* — Имеется в виду изобретательность Самуила Давыдыча по части махинаций в получении концессий от правительства на строительство железных дорог, приносивших огромные барыши.

Стр. 22. *Плясаше — играше...* — реминисценция из Библии (Вторая кн. Царств, VI, 21).

...отчего бы вам, например? ..а?... — То есть не согласен ли Самуил Давыдыч перейти в православие.

ДИКИЙ ПОМЕЩИК

(Стр. 23)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 3, (вып. в свет 10 марта), стр. 123—130, под заглавием «Дикий помещик. (Писано со слов помещика Светлоокова)», с цифрой «IV», относящейся к циклу «Для детей». Подпись: *Н. Щедрин.*

Сохранилась наборная рукопись *(ИРЛИ)*, рукой Е. А. Салтыковой, с незначительной правкой и подписью автора; текст ее соответствует журнальному.

Включая сказку в книгу «Сказки и рассказы» (1878), Салтыков снял подзаголовок и произвел в ее тексте несколько мелких изменений. Были внесены незначительные изменения и при публикации сказки в «Сборнике» (1881).

Предметом сатирического осмеяния в сказке является «глупость» дворянско-помещичьего класса периода его начавшегося исторического распада. Историческими реалиями сказки являются пореформенное положение

[1] Написана сказка, очевидно, незадолго до публикации, как и большинство других, что в дальнейшем особо не оговаривается.

временно-обязанных крестьян и надельное землевладение. Подробнее см. в общей статье (стр. 416—417, 437).

Стр. 24. *Сократил он их так, что некуда носа высунуть...* — Размежевание земель производилось как правило в интересах помещика: выделяемый надел уменьшался до минимума, предусмотренного Положением. Сохранялась и усиливалась чересполосица. Она предоставляла помещику широкие возможности экономической эксплуатации крестьян (аренда, штрафы).

Стр. 26. *«Дамский каприз»* — разновидность пасьянса.

Думает, какие он машины из Англии выпишет... — Реакционно-крепостническая газета «Весть», убедившись в бессилии затормозить реформационный процесс, выступила с идеей введения в широких масштабах в сельском хозяйстве машинной техники (иностранной), чтобы восполнить даровую рабочую силу, отнятую у помещиков крестьянской реформой. Однако подобные заявления, не учитывавшие технической безграмотности русского помещика, только больше подрывали и без того слабую экономическую базу помещичьих хозяйств.

Стр. 27. *Евфрат и Тигр* — две реки из четырех, орошавших, согласно Библии, земной рай — Эдем (Бытие, II, 8—14).

...без винной и соляной регалий... — то есть без соответственных налоговых платежей.

Стр. 28. *...не пахнет ли водворением каким?* — То есть высылкой на поселение.

Князь Урус-Кучум-Кильдибаев. — В журнальной публикации была фамилия Урус-Кугуш-Кильдибаев, которая совпадала с фамилией четвертого глуповского градоначальника, отличавшегося безумной отвагой и бравшего приступом город Глупов (см. наст. изд., т. 8, стр. 277).

Древний Исав — старший из сыновей-близнецов библейских Исаака и Ревекки, родившийся «косматым» (Бытие, XXV, 25).

ПРЕМУДРЫЙ ПИСКАРЬ

(Стр. 30)

Впервые — *ОД*, Женева, 1883, сентябрь, № 55, стр. 2—4, в качестве первого номера вместе со сказками «Самоотверженный заяц» и «Бедный волк», под редакционной рубрикой «Сказка для детей изрядного возраста», без подписи. В России впервые — *ОЗ*, 1884, № 1 (вып. в свет 16 января), стр. 275—280, третьим номером в публикации под общим заглавием «Сказки». Подпись: *Н. Щедрин.*

Сохранился черновой автограф ранней редакции (*ИРЛИ*), отличающийся от журнальной публикации большим количеством вариантов стилистического характера и отсутствием ряда фраз или их частей, введенных в текст при перебеливании рукописи.

Сказка написана в декабре 1882 — первой половине января 1883 года и вместе со сказками «Самоотверженный заяц» и «Бедный волк» набрана для февральской книжки *ОЗ*, но из-за цензурных опасений изъята Салтыковым. В сентябре по инициативе Элпидина осуществлена публикация запрещенных сказок в Женеве в *ОД*[1].

В декабре 1883 года, воспользовавшись приездом в Петербург А. Н. Островского, Салтыков обратился к его брату, М. Н. Островскому, члену Государственного совета и министру государственных имуществ, с просьбой о содействии в публикации изъятых в феврале 1883 года сказок. М. Н. Островский, прочитав сказки, передал Салтыкову, чтобы он «смело печатал их в январской книжке и что он ручается, что никаких неприятностей за это для «Отеч. зап.» не будет»[2].

Текст сказки при подготовке первого издания сборника «23 сказки» был просмотрен Салтыковым. Приводим один вариант *ОЗ*, совпадающий с рукописью.

К стр. 31, абзац «Но он, пискарь-сын...». Вместо: «Был он пискарь просвещенный <...> и стал устраиваться» — в сборнике было: «Надо глядеть в оба,— сказал он себе,— а нето как раз пропадешь!» — и стал жить да поживать». Замена указанной фразы в отдельных изданиях сборника, возможно,— результат вмешательства его издателя — Стасюлевича, который по своим общественно-политическим убеждениям был весьма близок изображаемому в сказке пискарю. Возможно, однако, что и сам Салтыков, хорошо зная Стасюлевича, заранее убрал фрагмент о крайней умеренности либерализма пискаря.

В наст. томе сказка печатается по второму изданию «23 сказки» с восстановлением, как и в *изд. 1933—1941*, указанной выше фразы по тексту *ОЗ*.

Сказку «Премудрый пискарь» Салтыков посвятил сатирической критике малодушия и трусости, которые овладели общественными настроениями части интеллигенции после разгрома народовольцев. Подробнее см. в общей статье (стр. 420).

Еще К. К. Арсеньев заметил, что сказка «Премудрый пискарь» перекликается с «Вечером четвертым» из «Пошехонских рассказов», появившемся в № 10 «Отеч. записок» за 1883 г., где публицист Крамольников обличает либералов, прячущихся от суровой действительности в «норы», заявляя, что таким путем им спастись все-таки не удастся[3]. Впоследствии, на основании этого сходства и посчитав за первую публикацию сказки появление ее в России в январе 1884 года, Иванов-Разумник[4] сделал вывод, что идея «Пискаря» первоначально была высказана в третьем по-

---

[1] Письмо Белоголового к П. Л. Лаврову от 8 сентября 1883 г.— Центр. гос. архив Октябрьской революции.

[2] *Изд. 1933—1941*, т. XIX, с. 378.

[3] К. К. Арсеньев. Салтыков-Щедрин. СПб., 1906, с. 218—219.

[4] М. Е. Салтыков (Щедрин). Соч., т. V. М.—Л., ГИЗ, 1927, с. 496—497.

шехонском «вечере». В действительности же речь Крамольникова в «Пошехонских рассказах» *не предвещает, а повторяет* идею уже до того написанной и опубликованной в зарубежном «Общем деле» сказки «Премудрый пискарь».

Стр. 30. *Аридовы веки* — чрезвычайное долголетие, от имени Иареда, прожившего, как утверждается в Библии, 962 года (Бытие, V, 20).

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЗАЯЦ

(Стр. 34)

Впервые — *ОД,* 1883, сентябрь, № 55, стр. 4—6, в качестве второго номера (подробнее см. выше, стр. 450). В России впервые — *ОЗ,* 1884, № 1, стр. 265—270, под первым номером.

Сохранилась черновая рукопись ранней редакции *(ИРЛИ).*

Сказка написана в январе 1883 года и была набрана для февральской книжки *ОЗ,* но по цензурным соображениям изъята автором из журнала.

«Самоотверженный заяц» — сказка, посвященная критике глубоко укоренившейся в народных массах психологии покорности власти («царистские иллюзии»). Но в момент появления она имела и другой, более узкий, злободневный смысл. То было время, когда некоторые из революционеров-народовольцев, став на путь ренегатства, старались заработать царскую амнистию. Салтыковская сказка показывала, какова эта милость. Подробнее см. в общей статье (стр. 420—421). В сказке Салтыков по-своему интерпретировал древнегреческую легенду о сиракузском тиране Дионисии и приговоренном им к смертной казни юноше, покушавшемся на его жизнь. Тиран, оценив доблесть юноши, помиловал его Эта легенда была известна писателю, скорее всего, по знаменитой балладе Шиллера «Die Bürgschaft», входившей в лицейский курс западных литератур.

БЕДНЫЙ ВОЛК

(Стр. 39)

Впервые — *ОД,* 1883, сентябрь, № 55, стр. 6—9, в качестве третьего номера (подробнее см. выше, стр. 450). В России впервые — *ОЗ,* 1884, № 1, стр. 270—275, под номером вторым.

Сохранилась черновая рукопись ранней редакции *(ИРЛИ).*

Сказка написана в январе 1883 года (см. стр. 451), набрана для февральского номера *ОЗ,* но по цензурным соображениям из него изъята.

При подготовке сказки для публикации в *ОЗ* Салтыков провел стилистическую правку и исключил из текста фразу «Не то, чтобы он виноват, а сама его жизнь — ад кромешный», заключавшую абзац «И вот нашелся...» (см. стр. 40).

Сказка «Бедный волк» продолжает сказку «Самоотверженный заяц». Это подтверждается как указанием писателя на то, что между названными сказками «есть связь», так и первой фразой сказки о «бедном волке».

В «Бедном волке» Салтыков воплотил одну из своих постоянных идей о социально-исторической детерминированности поведения человека. Эту идею писатель затрагивал в «Губернских очерках» (см. в наст. изд. т. 2, стр. 302), в последней главе «Господ Головлевых», в «Круглом годе» (т. 13, стр. 505), в «Приключении с Крамольниковым» и во многих других произведениях, а в сказке дал ей наиболее глубокую философскую разработку. «Хищник» не может изменить своей природы. Отсюда своеобразная модификация главного образа сказки под пером Салтыкова. В фольклорной традиции многих народов «волк» — это символ зла. Салтыков придает «волку» эпитет «бедный» и заставляет «бедного волка» с облегчением воскликнуть в момент, когда его убивают: «Вот она... смерть избавительница!» Зоологическая, «волчья» параллель к эксплуататорам с исключительной рельефностью обрисовывала могущество власти общего «порядка вещей» над душами и поступками людей. Некоторые критики усмотрели в сказке пессимистическую «философию фатальности взаимного пожирания». Между тем Салтыков не был сторонником абсолютного детерминизма, в решении социальных проблем он придавал большое, а порой и преувеличенное значение моральному фактору, он предпочитал и считал возможным путь «бескровного» движения к «социальной гармонии». Чуждаясь насильственных методов борьбы, Салтыков постоянно сомневался в возможности обойтись без них. Трагические раздумья писателя о выборе путей борьбы с социальным злом выразились в «Бедном волке» как и в «Карасе-идеалисте» особенно сильно. Окончательного выбора в позитивной форме Салтыков не сделал. Но всем смыслом объективной картины, показывающей, что «ничего сам собой зверь не может: ни порядка жизни изменить, ни умереть», «Бедный волк», разоблачал несостоятельность наивных надежд на милосердие и великодушие эксплуататоров, на их мирное и добровольное социально-нравственное перерождение.

ДОБРОДЕТЕЛИ И ПОРОКИ

(Стр. 44)

Впервые — «XXV лет. 1859—1884. Сборник, изданный Комитетом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым», СПб., 1884 (вып. в свет 1—11 ноября), стр. 412—419, с цифрой «II» перед заглавием, вместе со сказками «Карась-идеалист» и «Обманщик-газетчик и легковерный читатель», под общим заглавием «Сказки». Подпись: *Н. Щедрин.*

Сохранилась выправленная Салтыковым корректура февральского номера *ОЗ (ЦГАЛИ)*, из которой сказочный цикл был изъят по требованию цензуры. Текст гранок отличается от публикации в сборнике «XXV лет» и в отдельных изданиях сказок несколькими незначительными вариантами.

Сказка «Добродетели и Пороки» — сатира на моральные принципы привилегированных классов, в житейском поведении которых добродетели ловко уживаются с пороками на почве лицемерия. Это, по мысли автора, свидетельствует о крайнем извращении всех категорий нравственности и морали в антагонистическом обществе.

Стр. 45. *...вы все одинаково свойствами были...* — См. статью «Как кому угодно» в т. 6 и стр. 667—668 в т. 7 наст. изд.

Стр. 46. *Одесную, ошуйю...* — справа, слева.

Стр. 47. *Непрелюбысотворение* — фразеологизм Салтыкова, от евангельской заповеди «не прелюбы сотвори» (Матфей, V, 28, XIX, 18 и др.).

Татары из «Самарканда». — «Самарканд» — один из наиболее разгульных ресторанов Петербурга; обслуживающий его персонал в значительной части состоял из татар.

...к француженке Комильфо... — От франц. выражения «comme il faut». Использованное Салтыковым с оттенком иронии, оно может быть переведено здесь на русский язык словом «порядочность».

Стр. 48. *...у нотариуса Бизяева...* — Первоначально в корректуре фигурировал нотариус М. Успенский, знакомый Некрасова. Вместе с ним 13 января 1877 г. Некрасов оформлял духовное завещание в присутствии Салтыкова, Белоголового и Елисеева.

Срамной бульвар — Страстной бульвар в Москве, где помещалась редакция «Рус. вестника» и «Моск. ведомостей». «Отец лжи» — Катков.

МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ

(Стр. 50)

Впервые — первая часть — *ОД*, 1884, декабрь, № 68, стр. 11—15, без подписи. Полностью, вместе со сказками «Добродетели и Пороки» и «Вяленая вобла»,— «Новые сказки для детей изрядного возраста. Н. Щедрина», Genèva, M. Elpidine, 1886, стр. 10—26. В России впервые — М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. IV, изд. 5-е (приложение к журн. «Нива», СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1906, стр. 222—232).

Первая часть — «Топтыгин 1-й» — была напечатана в февральской книжке *ОЗ* за 1884 год, но по требованию цензуры изъята. «Топтыгина 2-го» и «Топтыгина 3-го» Салтыков предполагал поместить в мартовской книжке, но после цензурного инцидента с февральской книжкой отказался от этой мысли.

Сохранились вырезанные из *ОЗ* страницы первой части сказки и выправленные автором гранки всех ее частей (*ЦГАЛИ*). В журнальном тексте первой части, по сравнению с гранками, были сделаны, явно по цензурным соображениям, сокращения. Приводим пять вариантов гранок:

К стр. 51 наст. тома, абзац «За это Лев...» — «...в виде временной меры...».

К стр. 53, абзац «Удивительно...» — «Все равно, как если б <...> Но... Чижик! скажите на милость!»

К стр. 54, весь абзац: «Проклятое то время <...> злодеяний срамных и малых!»

К стр. 54—55, конец абзаца «— Коли за этим дело...» — «Наконец, забрался ночью <...> в отхожую яму свалил».

К стр. 55, абзац «Так и остался...» — «А если б он прямо с типографий начал — быть бы ему теперь генералом».

В наст. томе сказка печатается по гранкам *ОЗ*, с восстановлением двух мест, измененных писателем также по цензурным соображениям.

Стр. 55. В абзаце: «Сделавши это...» — восстанавливается «сукин сын» вместо «бездельник».

Там же в абзаце: «Так и остался...» — восстанавливается «генералом» вместо «подполковником».

«Медведь на воеводстве» — сатира на высшую администрацию царизма, содержащая ряд злободневных намеков на правительство Александра III. Как указывают комментаторы, сам царь угадывается в образе Льва с его безграмотными резолюциями. «Прототипом» для Осла, главного советника при Льве, послужил Победоносцев, для осрамившегося Топтыгина 1-го — министр внутренних дел Игнатьев, а для Топтыгина 2-го — сменивший Игнатьева граф Д. Толстой, ознаменовавший свою деятельность злодеяниями крупными. Однако более глубокий и основной смысл сказки состоит не столько в обрисовке жестокосердных типов правителей, сколько в развитии мысли о том, что причина народных бедствий, в последнем счете, заключается отнюдь не в личных качествах администраторов, а в самой природе абсолютистской власти. Подробнее см. в общей статье (стр. 417, 419, 433).

Стр. 52. *Risum teneatis, amici!* — Из «Науки поэзии» Горация.

Стр. 54. *И дикий тунгуз, и сын степей калмык...* — Из пушкинского «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» («...и ныне дикий // Тунгуз, и друг степей калмык»).

Стр. 55. *...отчислить его по инфантерии...* — то есть уволить в отставку. Инфантерия — пехотные войска.

Стр. 56. *...университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло...* — В 1819 г. М. Л. Магницкий в докладе о произведенной им ревизии обвинил Казанский университет в безнравственном и безбожном направлении преподавания, в растрате казенных денег и высказал пожелание его скорейшей ликвидации, требуя торжественного разрушения самого здания университета.

Similia similibus curantur (дословно: подобное излечивается подобным) — главное положение гомеопатии.

Стерво — труп животного, падаль.

Стр. 58. *Кто осла дивия быстра соделал? узы ему кто разрешил?* — Реминисценция из Библии (Книга Иова, XXXIX, 5).

Стр. 59. *Laissez passer, laissez faire!* — Выражение восходит к формуле

французского экономиста Гурнэ «Laissez faire, laissez passer», впервые употребленной им в 1758 г.

...ничего, ничего, молчание...— Из записи от 8 ноября в «Записках сумасшедшего» Гоголя.

ОБМАНЩИК-ГАЗЕТЧИК И ЛЕГКОВЕРНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

(Стр. 60)

Впервые — «XXV лет. 1859—1884», стр. 419—422, под цифрой «III»; подробнее см. на стр. 453.

Сказка написана для февральской книжки *ОЗ* за 1884 год и вырезана из него по требованию цензуры. Сохранились правленные Салтыковым гранки и вырезанные из журнала листы *(ЦГАЛИ)*, текст которых, за исключением незначительных пропусков, совпадает с публикацией в сборнике «XXV лет» и в отдельных изданиях сказочного цикла.

В сказке изобличаются элементы беспринципности в складывающейся в России буржуазной коммерческой печати, а также слабость общественного мнения, его неспособность решительно противостоять отрицательным тенденциям в развитии прессы. В образе «обманщика-газетчика» современниками легко угадывались некоторые черты издателя «Нового времени» А. С. Суворина, ставшие типичными.

Стр. 60. *Suum cuique* — из трактата Цицерона «Об обязанностях» и его книги «Тускуланские беседы».

Стр. 61. *И распивочно, и навынос.*— Это выражение, в применении к печати обозначающее беспринципность и продажность ее деятелей, употреблено Лениным в статье «Карьера» (1912) при характеристике суворинского «Нового времени».

Тьмы низких истин мне дороже...— Из «Героя» Пушкина.

Стр. 62. *«...в надежде славы и добра»...*— Из «Стансов» Пушкина.

ВЯЛЕНАЯ ВОБЛА

(Стр. 62)

Впервые — «Новые сказки для детей изрядного возраста. Н. Щедрина», Genèva, M. Elpidine, 1886, стр. 25—38. О первых публикациях в России см. ниже.

Сказка написана и набрана для февральской книжки *ОЗ* за 1884 год, из которой изъята по требованию цензуры. Сохранились пять источников сказки: 1) выправленные Салтыковым гранки *ОЗ*; 2) вырезанный из *ОЗ* текст сказки *(ЦГАЛИ)*; 3—4) выправленная в 1885 году рукопись сказки (переписана Е. А. Салтыковой) для публикации в «Сев. вестнике» *(ИРЛИ, ЦГАЛИ)*; 5) переработанный в 1887 году текст, предназначавшийся для «Вестника Европы» *(ЦГАЛИ)*.

Печатая «Вяленую воблу» в февральской книжке *ОЗ*, Салтыков, не ограничившись правкой в корректуре, дополнительно, из цензурных соображений, сделал ряд изъятий и изменений. Приводим семь вариантов текста, вырезанного из *ОЗ*.

К стр. 64 наст. кн., абзац «И точно...». Вместо: «Нищий к нему подойдет <...> и всех основательностью восхитит» в *ОЗ*: «По улице пойдет, встретится с кем-нибудь — откровенно мнение свое выскажет и всех основательностью восхитит».

К стр. 65, абзац «Не явись...». Фраза: «Да не такую цитадель <...> никому не придет!» — отсутствует.

К стр. 67, конец абзаца «Забралась вяленая...». Фраза: «И стали излюбленные люди <...> дивиться ее уму-разуму» — отсутствует.

К стр. 67—68, конца абзаца «— Оттого я так умна...». Фраза: «Об одном всечасно <...> не растут!» — отсутствует.

К стр. 68—69, середина абзаца «Надо сказать правду...». Слова: «...да не машинально <...> это право умели.» — отсутствуют.

Там же отсутствуют слова: «А между тем сколько, во имя ее, <...> годы последующих отрав...»

К стр. 69, абзацы «А кроме того...» и «Наступает короткий период...». Вместо: «Пестрые люди следили <...> уши выше лба, не растут!» — в *ОЗ*:

Пестрые люди следили в недоумении за их потугами и в то же время ощущали присутствие железного кольца, которое с каждым днем все больше и больше стягивалось. «Кто-то нас выручит? кто-то подходящее слово скажет?» — ежемгновенно тосковали пестрые люди, замышляя предательство.

При таких условиях...

В сентябре 1885 года Салтыков обратился в редакцию «Сев. вестника» с предложением напечатать исправленные варианты запрещенных в 1884 году сказок и рекомендовал для публикации сначала «Орла-мецената», а потом «Вяленую воблу».

Этой редакции, относящейся к 1885 году, соответствует рукопись (рукой Е. А. Салтыковой) с авторскими изменениями текста в первой части, оканчивающейся словами: «...но камень за пазухой все-таки приберегали» (см. стр. 69, начало абзаца «Некоторые из клеветников...»), несколько сокращенной по сравнению с текстом изъятой публикации *ОЗ*. Приводим три варианта текста, вырезанного из *ОЗ*.

К стр. 65 наст. кн., абзац «И сам будешь счастлив...» — «И нашаривать около вас <...> в надлежащее место!»

К стр. 68, абзац «Каковое правило соблюдается и доныне».

Там же, абзац «Вяленая вобла, впрочем...».

Конец рукописи близок последней редакции сказки под заглавием «Мала рыбка, а лучше большого таракана» (см. отд. Из других редакций).

В период переговоров с редакцией «Сев. вестника» Салтыков 11 сентября 1885 года обратился с письмом к начальнику Главного управления по делам печати Феоктистову за разрешением на публикацию сказки и от-

мечал, что «со времени ее первого появления все обстоятельства настолько изменились, что и самая сказка утратила первоначальный сомнительный смысл». Однако ответ Феоктистова, дошедший до нас в изложении А. Н. Плещеева, не оставлял никаких надежд на возможность публикации сказки в легальной печати: «Главное управление по делам печати относилось снисходительно к сказкам Салтыкова, когда они появлялись в бесцензурных изданиях, но странно требовать, чтобы они выходили с одобрения цензуры» [1].

23 марта 1887 года Салтыков просил Стасюлевича о публикации «Воблы», мотивируя свою просьбу тем, что «теперь, с переменою обстоятельств», сказка «сделалась и вовсе безопасною». Получив от Стасюлевича письмо, в котором были выражены сомнения относительно возможности печатания предложенных ему сказок, в том числе и «Вяленой воблы», Салтыков 26 марта отправил Стасюлевичу записку с просьбой вернуть все три сказки. 7 октября 1888 года Салтыков предложил сказку А. Я. Герду для сборника памяти В. М. Гаршина. Однако вместо «Воблы» в нем появился «Ворон-челобитчик».

В русской легальной печати сказка была опубликована в 1906 году в смягченной редакции под заглавием «Мала рыбка, а лучше большого таракана». В 1914 году В. П. Кранихфельд в ростовской газете «Утро юга» (6 января, № 5) напечатал вариант сказки по авторизированной копии 1885 года, предназначавшейся для «Сев. вестника». Редакция же, которая предназначалась для «Отеч. записок» и печаталась Элпидиным, на родине писателя увидела свет лишь в 1937 году в XVI томе *изд. 1933—1941*. Ранее во всех дореволюционных и советских изданиях печаталась «Мала рыбка, а лучше большого таракана».

В основном разделе настоящего издания сказка печатается по выправленным Салтыковым гранкам *ОЗ*.

«Вяленая вобла» — одно из наиболее известных выступлений Салтыкова против неизменно критиковавшихся им идеологии, психологии и практики оппортунизма, приспособленчества и трусливо-своекорыстного минимализма в общественном поведении. Эти враждебные писателю явления получили особенно зловредное развитие в «смутное, неверное и жестокое» время реакции начала 80-х годов. Как всегда, широко обобщенная сатирическая критика в «Вяленой вобле» затрагивает ряд вполне конкретных злободневных явлений времени, когда писалась сказка: усиление «измен либерализма» (Ленин), принципы теории и практики «малых дел» в различных кругах общества, в том числе в рядах правого народничества. Подробнее см. в общей статье (стр. 421—422, 437). «Воблушкин» афоризм «Не растут уши выше лба, не растут!» многократно использован Лениным в политической борьбе [2].

---

[1] «Ист. вестник», т. 86, 1902, с. 360—361.

[2] См.: Полн. собр. соч., т. 14, с. 278; т. 15, с. 118, и др.

Стр. 63. *И тайны канцелярской совсем не держит.*— В соответствии с Уложением о наказаниях (раздел V, о преступлениях и проступках по службе государственной и общественной) нарушением канцелярской тайны является «разглашение дел, производимых в судебных и правительственных местах, и сообщение без дозволения каких-либо актов или других принадлежащих к делам бумаг лицам посторонним, вопреки порядку, для производства дел и хранения деловых бумаг установленному» (ст. 464/419).

Стр. 65. *«Вперед без страха и сомненья!»* — Ироническое цитирование (в противоположном смысле) стихотворения Плещеева, озаглавленного по этой строке.

Стр. 66. *Respice finem!* — Из афоризма, приписываемого разным античным мыслителям. Полный текст афоризма: Quidquid agis, prudenter agis et respice finem (Что бы ты ни делал, делай разумно и обдумывай результат).

Стр. 67. *...повергнуть наши умные мысли к стопам!* — Намек на конституционные проекты земских либералов.

Стр. 70. *«Надо дело делать».*— См. «Вечер пятый» из «Пошехонских рассказов» и прим. к нему в кн. 2 тома 15 наст. изд.

Стр. 70—71.— *Вы, Иван Иваныч...— Где мне, Иван Никифорыч.*— Использованы образы из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя.

Стр. 71. *Доктрина вяленой воблы* — теория «малых дел», проповедовавшаяся либеральной печатью.

ОРЕЛ-МЕЦЕНАТ

(Стр. 72)

Впервые — *ОД*, 1886, январь, № 81, стр. 10—13, с подзаголовком «Сказка». Подпись: *Н. Щедрин.* В России впервые — М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., изд. 5-е, т. IV. (приложение к журн. «Нива». СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1906, стр. 241—250).

Сохранилась рукопись сказки (рукой Е. А. Салтыковой) с правкой, дополнениями и подписью автора *(ЦГАЛИ).*

Сказка написана для мартовской книжки *ОЗ* за 1884 год, но в числе других изъята Салтыковым по цензурным соображениям. В 1885 году Салтыков предпринял попытку опубликовать сказку в «Сев. вестнике» [1]. Однако цензор Сватковский сказку запретил. «Если мы снимем с рассказа сказочный покров,— писал он,— и заменим птиц людьми, то орел-меценат представится нам могущественным властелином, крайне невежественным, управляющим государством по своей прихоти, как вздумается, наводя лишь страх на всех <...> Многие выражения, слова и намеки придают всему рассказу русский оттенок. Здесь и городовые, здесь и газеты без предварительной цензуры, исследования о бабе-яге и ведьмах, здесь старинная дворня русских помещиков, здесь Василий Кириллович Тредиаковский, здесь холопы

---

[1] См. письмо Салтыкова к Плещееву от 9 сентября 1885 г.

получают на водку, здесь крамола, здесь азбука-копейка и пр.»[1]. В дальнейшем Салтыков, видимо, не пытался опубликовать сказку в России.

В наст. томе печатается по тексту т. IV Полн. собр. соч. Салтыкова (1906) с исправлением опечаток и ошибок по рукописи.

Сказка «Орел-меценат» посвящена сатирическому изображению политики царизма в области культуры, науки и искусства, а также изобличению приспособленчества, холопства в культуре. Подробнее см. в общей статье (стр. 419—420).

Стр. 75. *«Науки юношей питают».*— Из «Оды на день восшествия на престол Елисаветы Петровны, 1847 года» Ломоносова.

Академия де сиянс — Академия наук (от *франц.* Académie des Sciences).

...была бы у него розничная продажа хорошая...— Масштабы розничной продажи, посредством которой реализовывалась большая часть тиража, определяли обычно финансовое положение газеты.

КАРАСЬ-ИДЕАЛИСТ

(Стр. 79)

Впервые — «XXV лет. 1859—1884», стр. 401—412, под цифрой «I»; подробнее см. на стр. 453.

Рукописи и корректуры не сохранились. При последующих перепечатках текст сказки не изменялся.

Сказка написана для мартовской книжки *ОЗ* за 1884 год, откуда была изъята Салтыковым из цензурных соображений.

В идеях, проповедуемых карасем, несомненно, есть то, что входило в мировоззрение самого писателя и вообще передовой части русской интеллигенции того времени. Это, во-первых, вера в возможность достижения *социальной гармонии,* глубокое убеждение в том, что *всеобщее счастье* — не праздная фантазия мечтательных умов, что оно рано или поздно сделается общим достоянием. Во-вторых, карась-идеалист тверд и последователен в своих социалистических убеждениях, он готов на самопожертвование, он «не предаст».

Но сказка представляет собой не только пропаганду социалистического идеала, а и критику утопических иллюзий о возможности достижения социальной гармонии путем *морального перевоспитания эксплуататоров.* Карась-идеалист считает социальное зло просто заблуждением умов. Ему представляется, что щуки «к голосу правды не глухи» и что смелая пропаганда добродетели «самую лютую щуку в карася превратит». На таком идеали-

---

[1] «Из истории русской журналистики второй половины XIX в.», М., Изд-во МГУ, 1964, с. 57—58.

стическом понимании причин социального неравенства и основана наивная вера карася в «бескровное преуспеяние». Подробнее см. в общей статье (стр. 417—418, 422—423, 435, 437).

Стр. 81. *Никсы* — водяные духи (*нем.* Nixen).

Стр. 84. *Мамон* — здесь: живот, брюхо.

ИГРУШЕЧНОГО ДЕЛА ЛЮДИШКИ
(Стр. 89)

Впервые — *ОЗ*, 1880, № 1 (вып. в свет после 16 января), стр. 251—280. Подпись: *Н. Щедрин.*

Рукописи и корректуры не сохранились.

В 1879 году Салтыков задумал цикл, посвященный людям-куклам, начало которого и было напечатано в январской книжке *ОЗ* за 1880 год Подзаголовок «Вступление» и заключающие главу и позднее удаленные из текста слова (см. ниже вариант к стр. 116) подтверждают это намерение. Однако в мартовском номере *ОЗ* того же года сообщалось: «По болезни М. Е. Салтыкова предположенные им лично статьи для февральской и мартовской книжек не могли быть напечатаны». Позднее, занятый завершением и подготовкой к отдельному изданию «Господ Головлевых», а после отъезда за границу — циклом «За рубежом», Салтыков к задуманному циклу «Игрушечного дела людишки» не возвращался, хотя и не оставлял мысли о его завершении [1].

В 1886 году Салтыков включил рассказ в первое отдельное издание сказок: хотя по своему жанру, стилю и объему это произведение значительно отличалось от сказок, для других циклов первой половины 80-х годов («Пошехонские рассказы», «Пестрые письма», «Мелочи жизни») «Игрушечного дела людишки» еще менее подходили. Писатель снял подзаголовок «Вступление» и внес в текст произведения ряд изменений. Приводим три варианта сборника «23 сказки»:

К стр. 109, абзац «Мы, видевшие...». Вместо слов: «...судебная или земская крамола не производит на нас надлежащего действия. Но в то время крамола была еще внове» — «...не понимаем, каким образом казенное ведомство может превратиться в убежище неблагонадежных элементов».

К стр. 110, абзацы « — Надеюсь, что она...» и « — Явится...» — отсутствовали.

В наст. изд., как и в *изд. 1933—1941,* эти цензурные замены устранены.

К стр. 116. Текст заканчивался фразой:

Как бы то ни было, но я воспользовался наступившими сумерками, чтоб отложить дальнейший осмотр мастерской до другого дня.

Стр. 89. *В 184* году я жил...* — Салтыков вспоминает о своей административно-чиновнической деятельности в ссылке в Вятке в 1848—1855 гг.

[1] См. письмо Салтыкова к Тургеневу от 9 июня 1882 г.

Стр. 90. *...циркуляр о принятии пожертвований на памятник Феофану Прокоповичу или на стипендию имени генерал-майора Мардария Отчаянного...*— В печати 70—80-х годов часто сообщалось о подписке на сооружение памятников или на открытие именных стипендий. Имел место и упоминаемый случай о пожертвовании одной копейки (см. «Голос», 1875, 9/21 августа, № 218, с. 1).

Стр. 91. *...дал городу раны, второй — скорпионы...*— Библейское выражение (Третья кн. Царств, XII, 11). Скорпионы — здесь: многохвостные плети с острыми металлическими наконечниками. Ср. стр. 69, абзац «Общество...».

Стр. 93. *...нужно где-нибудь в примечаниях поискать...*— В примечаниях к отдельным статьям в Своде законов.

Стр. 98. *Уваль* — вуаль.

Стр. 103. *Зоблить* — воспитывать.

Стр. 104. *Крестовики, полуимпериальчики* — серебряные рубли, на оборотной стороне которых вензель императора помещен четыре раза крестообразно, и золотые монеты пятирублевого достоинства.

Стр. 106. *Петиметр* — щеголь (*франц.* petit-maître).

Стр. 107. *Пряжка* — нагрудный знак отличия за беспорочную службу: прорезная пряжка с римскими цифрами в дубовом венке. С 1858 г. выдавался гражданским лицам за выслугу от 40 лет и выше, военным — от 30-ти.

Стр. 108. *Шлык* — старинный головной убор замужних женщин.

Стр. 110. *...устраиваемым на театре города Мариуполя Петипа.*— Драматический актер М. М. Петипа (сын знаменитого балетмейстера Мариуса Петипа) в 1886 г. вынужден был перейти с петербургской сцены на провинциальную.

Стр. 114. *Хабара* — взятка, барыш.

Стр. 115. *Наянливо* — назойливо, нахально.

ЧИЖИКОВО ГОРЕ

(Стр. 116)

Впервые — *Р. вед.*, 1884, 25 декабря, № 357, стр. 1—3, с подзаголовком «Сказка». Подпись: *Н. Щедрин.*

Имеется черновая рукопись (*ЦГАЛИ*), в которой сделано десять вырезок. Сохранилась только последняя из них («Гостья склонилась <...> и залился слезами» — см. стр. 125 наст. тома), вклеенная в альбом из коллекции Н. А. Крашенинникова (*ЦГАЛИ*).

Текст рукописи отличается от газетного несколькими мелкими разночтениями. Кроме того, Салтыков заменил «таможенное» ведомство, в котором служил Чижик, «интендантским» и вычеркнул следовавший за абзацем «Иногда Прозерпиночка...» (см. стр. 122) текст:

Или подзадорят его песни петь, затянет он «Жил-был у бабушки серенький козлик» и начнет притоптывать ножкой: «Вот как! Жить как!» — уши вянут. А невеста разливается-хохочет:

— А нуте, еще раз, топните, майор, ножкой еще! вот так! жить так! Да вот — известно, какой вы уморительный!

И не только невеста, но и поклонники ее из него вроде горохового шута сделали. Иной лодырь — только и хорошего в нем, что ляжки себе нагулял! — сунет ему в руку двугривенный: «Сбегай, майор, за гостинцем для девушек!» И он бежит. На девятнадцать копеек гостинцу купит и копейку сдачи принесет — верно ли!

«Чижиково горе» — первая сказка, с которой Салтыков выступил после закрытия «Отеч. записок» в либеральной печати и вынужден был быть особенно осмотрительным.

Сказка написана в первой половине декабря 1884 года и отослана в Москву 16 декабря. «По-моему, сказка вполне цензурна,— сообщал свое мнение писатель в сопроводительном письме к Соболевскому,— во всяком случае, я цензурнее писать *не умею»*. После появления сказки в «Рус. ведомостях» в письме 9 января 1885 года к тому же Соболевскому Салтыков поделился переданным ему мнением о сказке начальника Главного управления по делам печати Феоктистова: «А Феоктистов по поводу «Чижикова горя» говорит, что скучнее и инситеднее ничего он не знает, даже дочитать не мог. Выходит, что ежели я цензурно пишу, то никуда не гожусь; ежели нецензурно, то меня имеют в виду».

В центре сказки — канарейка, продолжающая и, по существу, завершающая в творчестве Салтыкова галерею образов легкомысленных и бездушных «куколок», проходящих через ряд произведений сатирика — «Господа ташкентцы», «Благонамеренные речи».

Стр. 116. *...во внимание к дряхлости <...> в сенат посажен был.*— Назначение в Сенат было одной из форм перемещения на почетные должности уволенных в отставку крупных чиновников.

Стр. 118. *Ресте* — останьтесь (*франц.* restez).

Стр. 124. *Логомахия* (от *греч.* «логос» — слово и «махе» — спор) — беспредметный спор, возникающий из-за неправильного словоупотребления.

Qu'il mourût.— Из трагедии Корнеля «Гораций» (III, 6).

Стр. 128. *Неухиченное дупло* — не готовое к зиме, к непогоде.

ВЕРНЫЙ ТРЕЗОР

(Стр. 130)

Впервые — Книжки «Недели», 1885, февраль, стр. 1—9, под заглавием «Неумытный Трезор. Сказка». Подпись: *Н. Щедрин.*

Рукописи и корректуры не сохранились.

Сказка написана в самом начале января 1885 года для «Рус. ведомостей». Однако по окончании работы Салтыков решил, что сказку «при усло-

виях московской цензуры в «Рус. вед.» напечатать немыслимо», и передал ее взамен не пошедшей по цензурным условиям «Вяленой воблы» в Книжки «Недели» без особых надежд на публикацию, так как «в настоящую минуту нет писателя более ненавидимого», чем он [1].

Цензор В. Ведров, просматривавший Книжки «Недели», обратил внимание на сказку Салтыкова: «Произведение это возбуждает внимание читателя,— писал он 30 января 1885 года,— и заставляет его делать разные предположения <...> Давая место и обширный простор догадкам, по известной тенденциозности автора, статья эта возбуждает страсти и очень прозрачно характеризует неблагодарность высших к их адептам.— Охранительная партия, имевшая в Трезоре верного представителя, опозорена его ужасною смертию. На основании этого цензор считает необходимым довести до высшего сведения статью, дающую почву к разным предположениям, унижающим сохранение порядка в обществе» [2]. На основании этого доклада С.-Петербургский цензурный комитет, «признавая статью по тенденциозности неудобною», постановил «потребовать от редакции ее исключения». Однако начальник Главного управления по делам печати Феоктистов не утвердил это решение, заметив, что «эта сказка не без намеков, как все, что пишет Салтыков, но намеки тут не так ясны, как в других писаниях. Конечно, можно потребовать исключения этой статьи, но неудобство состоит в том, что это обратит на нее внимание, будут читать ее в оттисках или в рукописи» [3].

В сказке «Верный Трезор» социально-бытовой фон маскирует глубокое и острое политическое содержание. Купец Воротилов, как представитель экономических «столпов» общества, и его верный Трезорка, как выразитель идеологии катковской охранительной политической партии, взятые вместе, олицетворяют систему самодержавия в целом. В образе Трезора Салтыков запечатлел ряд черт личности Каткова [3].

Стр. 133. *Mea culpa! mea maxima culpa!* — Формула раскаяния на исповеди, принятая у католиков.

НЕДРЕМАННОЕ ОКО

(Стр. 136)

Впервые — *Р. вед.*, 1885, 15 января, № 14, стр. 1, с подзаголовком «Сказка». Подпись: *Н. Щедрин.*

Сохранилась наборная рукопись сказки (*ЦГАЛИ*), разрезанная на ку-

---

[1] См. письма Салтыкова к Соболевскому от 9 января 1885 г. и от 13 января.

[2] *ЛН*, т. 13/14, с. 156.

[3] Б. Я. Бухштаб. Сказка Щедрина «Верный Трезор».— Вестник ЛГУ, 1951, № 3, март, с. 42—51.

ски, часть которых утрачена. Текст сохранившихся фрагментов (за исключением имени главного героя) совпадает с публикацией в *Р. вед.*

Сказка «Недреманное око» — сатира на царское правосудие и его слуг. Отправлена она в редакцию *Р. вед.* 8 января: «Посылаю Вам новую сказку: «Недреманное око». Кажется, не особенно в цензурном отношении опасно...» — писал Салтыков. Четыре дня спустя, получив корректуру сказки, он извещал Соболевского: «Вероятно, Вы корректуры в понедельник получите. Я отметил на одной из них, что именно по ней я желал бы, чтоб было сделано исправление. Я вместо «Куралес Куралесыч» везде поправил «Прокурор Куралесыч». Ежели это Вам кажется почему-либо неловким, то восстановите прежнее имя. Вообще в цензурном смысле не стесняйтесь. Я очень жалею, что Вы не отметили сомнительных мест, хотя я лично нахожу сказку вполне цензурною». Сказка была опубликована с предложенными Салтыковым поправками и при последующих перепечатках в тексте ее изменений не производилось.

Стр. 139. *...уши канатом законопатил...* — то есть расчесанной канатной пряжей вместо ваты.

ДУРАК

(Стр. 140)

Впервые — *Р. вед.*, 1885, 12 февраля, № 41, стр. 1—2, с подзаголовком «Сказка». Подпись: *Н. Щедрин.*

Рукописи и корректуры не сохранились.

Сказка «Дурак» была отправлена Соболевскому 5 февраля 1885 года: «В понедельник пошлю к Вам страховым письмом новую сказку: «Дурак» <...> боюсь, что сказка Вам не понравится. Идея ее не дурна, но в исполнении заметно утомление». Подобная же мысль содержится и в письме Салтыкова к Белоголовому от 16 февраля. В марте сказка была подготовлена к изданию в Вологде неким Шелеховым, но в результате энергичного протеста Салтыкова в свет не вышла [1].

Иванушка-дурак — положительный герой многих народных сказок. Ради вящего посрамления той молвы, которую распространяют о простом и бедном человеке люди богатых сословий, народно-поэтическая традиция сохраняет за своим любимым героем кличку «дурак», но наделяет его высокими человеческими достоинствами, благодаря которым он побеждает все козни «умных» врагов и добивается счастливой жизни. В духе этой традиции Л. Толстой написал «Сказку об Иване-дураке и его двух братьях», представив в ней утопическое общество патриархального крестьянского социализма. Сказка Салтыкова «Дурак» написана несколькими месяцами ранее толстовской, но в том же 1885 году. В отличие от народных и толстов-

[1] *Изд. 1933—1941*, т. XX, с. 161.

ской сказок, Салтыков придал традиционному сюжету свою, острую социально-политическую направленность. Подробнее см. в общей статье (стр. 425—426).

Стр. 143. *Всуе законы писать, ежели их не исполнять.*— Неточная цитата из указа от 17 апреля 1722 г. о хранении прав гражданских, помещавшаяся на «зерцале» — трехгранной призме с текстом трех петровских указов, имевшейся во всех присутственных местах России.

СОСЕДИ
(Стр. 149)

Впервые — *Р. вед.*, 1885, 2 июня, № 149, стр. 1, с подзаголовком «Сказка». Подпись: *Н. Щедрин.*

Сохранилась черновая рукопись *(ИРЛИ)*; текст ее отличается от газетной публикации и идентичных ей последующих изданий несколькими мелкими вариантами. В частности, «царь батюшка» был заменен, возможно по цензурным соображениям, «На́большим» (см. стр. 151 наст. кн.).

Сказка посвящена теме социально-экономического неравенства и невозможности устранения его частными и филантропическими мерами.

Стр. 149. *Распределение богатств* — термин политической экономии, используемый в салтыковской сатире для обозначения капиталистического накопительства.

Стр. 151. *Осьминник* — участок земли, засеваемый о с ь м и н о й (полчетвертью) зерна.

Стр. 154. *Посулит Простофиля красного петуха...*— то есть предскажет пожар.

ЗДРАВОМЫСЛЕННЫЙ ЗАЯЦ
(Стр. 155)

Впервые — *Р. вед.*, 1885, 19 мая, № 135, стр. 1—2, с подзаголовком «Сказка». Подпись: *Н. Щедрин.*

Рукописи и корректуры не сохранились.

Сказка написана в момент резкого ухудшения состояния здоровья писателя. «Покуда еще хожу,— писал он 17 мая Соболевскому,— но боюсь, что придется слечь — и тогда капут. Смерть у меня не с косою, а в виде лисицы, которая долго с зайцем разговаривает и наконец говорит: ну теперь давай играть».

Сатирическое жало сказки направлено против мелкого реформизма, проповедующего в свое оправдание теорию о том, что «в с я к о м у з в е р ю с в о е ж и т ь е п р е д о с т а в л е н о». Однако эта сказка, как и большинство других салтыковских сказок, представляет собой сложную идейную композицию. В ней прослеживается связь между идеологией з д р а в о м ы с-

ленного зайца и психологией отсталого, несознательного крестьянина. Трагическое положение труженика здравомысленный заяц возвел в особую философию обреченности и жертвенности. Подробнее см. в общей статье (стр. 421).

Стр. 155. *Неправо о вещах те думают, Шувалов...*— Из «Письма о пользе стекла» Ломоносова.

Стр. 157. *...по какому виду?* — по какому паспорту.

ЛИБЕРАЛ

(Стр. 162)

Впервые — *Р. вед.*, 1885, 23 июня, № 170, стр. 1, с подзаголовком «Сказка». Подпись: *Н. Щедрин.*

Рукописи и корректуры не сохранились.

Сказка отправлена в редакцию «Рус. ведомостей» 21 апреля 1885 года. «Сказкой этой я лично доволен; но, может быть, это именно и означает, что она плоха»,— писал в этот день Салтыков Соболевскому. В портфеле редакции сказка пролежала два месяца, возможно, как и по цензурным причинам, так и по нежеланию Соболевского публиковать едкую сатиру на либерализм.

Русский либерализм сыграл свою положительную роль в общедемократическом движении второй половины XIX века как участник борьбы против самодержавия. Превращение русского либерализма в контрреволюционную силу произошло лишь после 1905—1907 годов. Но уже в конце века в психологии и тактике либерализма достаточно обозначались черты половинчатости, бесхарактерности, соглашательства. Именно это и подвергает Салтыков критике в сказке «Либерал». Подробнее см. в общей статье (стр. 422).

К образам и формулам сказки «Либерал» часто обращался в своих трудах Ленин. Изложение истории эволюции российского либерала по сказке Салтыкова дано Лениным в работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Ставшие крылатыми выражения «по возможности» и «применительно к подлости» привлечены Лениным в статьях «Социал-демократия и выборы в Думу», «Спорные вопросы. Открытая партия и марксисты», «Плеханов и Васильев», «Еще один поход на демократию» и др.

БАРАН-НЕПОМНЯЩИЙ

(Стр. 166)

Впервые — *Р. вед.*, 1885, 23 апреля, № 109, стр. 1, с подзаголовком «Сказка». Подпись: *Н. Щедрин.*

Рукописи и корректуры не сохранились.

Сказка отправлена в редакцию «Рус. ведомостей» 6 апреля 1885 года. Салтыков в сопроводительном письме сообщал Соболевскому: «Посылаю Вам сказку, которую гладил-гладил, но успел ли до мягкости выгладить — не знаю. Во всяком случае, прочтите, и ежели найдете какие сомнительные места, отметьте. Может быть, и еще смягчить придется. В особенности самый конец мне самому кажется сомнительным». Однако сказка была напечатана полностью и нареканий цензуры не вызвала.

Сказка «Баран-непомнящий» посвящена изображению кризиса проснувшегося сознания, бессильных порываний от тьмы к свету. В образе барана-непомнящего писатель аллегорически представил процесс пробуждения чувства социального протеста в бесправной личности.

Стр. 168. *«Моветон»* — невоспитанный, дурного тона человек (*франц.* mauvais ton).

КОНЯГА

(Стр. 171)

Впервые — *Р. вед.*, 1855, 13 марта, № 70, стр. 1, под номером первым, вместе со сказкой «Кисель», под рубрикой «Две сказки». Подпись: *Н. Щедрин.*

Рукописи и корректуры не сохранились.

Сказка «Коняга» — произведение о бедственном положении русского крестьянства в царской России. *Первая,* философская, часть сказки — лирический монолог автора, исполненный беззаветной любви к народу, мучительной скорби по поводу его рабского состояния и тревожных раздумий о его будущем. *Заключительные страницы* сказки — гневная сатира на идеологов социального неравенства. В образах четырех пустоплясов, восхищающихся выносливостью Коняги, сатирик высмеял либералов, славянофилов, либеральных народников и буржуазию, которые, каждый по-своему, пытались разными фальшивыми теориями оправдать, опоэтизировать и увековечить подневольную судьбу крестьянства. Подробнее см. в общей статье (стр. 424, 437).

Стр. 175. *...жизнь духа и дух жизни...* — несколько измененная цитата из стихотворения А. С. Хомякова «Киев». Подробнее см. в т. 6 наст. изд. стр. 611—612.

КИСЕЛЬ

(Стр. 176)

Впервые — *Р. вед.*, 1885, 13 марта, № 70, стр. 1, под номером вторым — см. выше.

Рукописи и корректуры не сохранились.

Сказка написана в феврале 1885 года. Салтыков много работал над ней, написав, по свидетельству С. Н. Кривенко, три различных ее редакции: «Над этою крошечною сказкою Салтыков долго сидел и говорил о ней с не меньшим увлечением, чем и о сказках «Самоотверженный заяц» и «Бедный волк»...» [1] Работа была закончена к началу марта. Обещая Соболевскому 3 марта 1885 года «на днях» выслать две сказки — «Коняга» и «Кисель»,— Салтыков выразил опасение относительно возможности публикации «Киселя».

Сказка «Кисель» представляет собою сатирическую притчу. С одной стороны, в ней горько высмеивается крестьянская пассивность и податливость по отношению к социально-экономическому угнетению. С другой стороны, в сказке говорится о печальных результатах вековой эксплуатации крестьян со стороны помещиков, а также и российских капиталистов, персонифицированных в образе «свиней». По предположению С. А. Макашина генезис сказки, возможно, связан с пословицей «Мужик простой — кисель густой».

ПРАЗДНЫЙ РАЗГОВОР

(Стр. 177)

Впервые — *Р. вед.*, 1886, 15 февраля, № 45, стр. 1, с подзаголовком «Сказка». Подпись: *Н. Щедрин.*

Рукописи и корректуры не сохранились.

Сказка написана в конце 1885 года (до 18 декабря) и выслана Соболевскому в первых числах января 1886 года.

Сказка продолжает ту линию сатирической критики самодержавия и его высшего административного аппарата, которая представлена рассказами «Сомневающийся», «Единственный» в «Помпадурах и помпадуршах» и, отчасти, в финале «Сказки о ретивом начальнике» из «Современной идиллии». Касаясь одной из опаснейших в цензурном отношении тем, Салтыков отнес действие сказки к минувшей эпохе, заявив при этом, что имеет в виду губернатора-«вольтерьянца». Писатель высказал от его имени свое резко отрицательное отношение к царской бюрократии. Чехов на другой день после публикации сказки писал Лейкину: «Прелестная штуч-

---

[1] С. Н. Кривенко. М. Е. Салтыков. Пгр., 1914, с. 58.

ка. Получите удовольствие и руками разведете от удивления: по смелости эта сказка совершенный анахронизм!»[1] Подробнее об идейном содержании сказки см. в общей статье (стр. 427—428).

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОЖАР
(Стр. 182)

Впервые — *Р. вед.*, 1886, 19 сентября, № 257, стр. 1. Подпись: *Н. Щедрин.*

Сохранилась написанная карандашом черновая рукопись второй половины сказки (от слов «В усадьбе в это время добрая барыня...» — см. стр. 185) *(ИРЛИ)*. Редакция «Рус. ведомостей» исключила фрагмент о батюшке, воспользовавшемся деньгами, собранными для потерявшей сына тетки Татьяны («Батюшка поднял их <...> Засвидетельствуйте, православные!» — см. стр. 188). В первом издании книги «23 сказки», вышедшем почти одновременно с газетной публикацией (между 24 и 30 сентября 1886 г.), слова батюшки сохранены (как и при последующих перепечатках).

«Деревенский пожар» сочетает в себе бытовой очерк с сатирой. *В первой части* Салтыков с глубоким сочувствием и драматизмом изображает типичное для старой крестьянской России несчастье. По силе сурового реализма и глубине демократического сочувствия эта картина напоминает другую, близкую ей, нарисованную в «Истории одного города» («Соломенный город»). *Вторая часть* — сатирическое изобличение лицемерия, фальши и практической бесплодности как материальной благотворительности «доброй барыни» — помещицы, так и духовных «увещаний» сельского батюшки. В резком противопоставлении действующих лиц и в композиции произведения наглядно проявился присущий Салтыкову прием социального контраста.

Стр. 184. *Полевина* — поле; полоса, засеянная хлебом.

...кийждо под смоковницею своей... — то есть «каждый под смоковницей своею»; из Библии (Третья кн. Царств, IV, 25).

Стр. 185. *...а Иова помнишь?* — Следует притча из Книги Иова (Библия).

Стр. 187. *Крах Баймакова.* — Банкирская контора «Баймаков и К°» объявила себя несостоятельной в декабре 1876 г. (см. наст. изд., т. 12, стр. 712).

Коллекта — складчина.

[1] А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем, т. XIII. Серия вторая. Письма. 1875—1887. М., Гослитиздат, 1948, с. 175.

ПУТЕМ-ДОРОГОЮ

(Стр. 188)

Впервые — *Р. вед.*, 1886, 7 сентября, № 245, стр. 2, под номером «II», вместе со сказкой «Христова ночь». Подпись: *Н. Щедрин*.

Сохранилась черновая рукопись под заглавием «II. Путем-дорогой. Разговор» *(ИРЛИ)*. Первоначальное заглавие в рукописи: «II. Правда. Сказка». Варианты рукописного текста незначительны.

«Путем-дорогою» выслано Салтыковым в редакцию «Рус. ведомостей» 20 августа 1886 года.

«Путем-дорогою» — рассказ о нужде и страданиях трудового крестьянского «мира» и мужицком правдоискательстве (см. также сказку «Ворон-челобитчик»).

Стр. 188. *Весенний мясоед* (чаще — зимний мясоед) — с 25 декабря (ст. ст.) до масленицы; время свадеб.

Стр. 191. *Одворица* — участок под избу и хозяйственные постройки.

БОГАТЫРЬ

(Стр. 192)

Впервые — «Красный архив», 1922, т. II, стр. 227—228 (публикация А. Е. Грузинского).

Сохранилась наборная рукопись (рукой Е. А. Салтыковой), с авторской правкой и подписью *(ЦГАЛИ)*. В рукописи, полностью совпадающей с публикацией в «Красном архиве», зачеркнуто Салтыковым два варианта:

К стр. 193. После абзаца: «И вот прошло сто лет...» — было: «И славы оттого для родной стороны никакой нет».

К стр. 194. После абзаца: «Подошел в ту пору...» — было: «и в голове черви кишмя кишат».

Замысел сказки возник во второй половине июля — августе 1885 года в Висбадене, где и сделаны ее первые наброски. Однако работа над сказкой, в связи с болезнью Салтыкова, была, по свидетельству Белоголового, приостановлена, видимо, в самом начале[1]. Лишь в июне 1886 года на даче Новая Кирка (в Финляндии) писатель вернулся к оставленному замыслу: «Салтыков немного ожил опять,— сообщал Белоголовый Лаврову 1 июля 1886 года,— даже продиктовал жене новую сказку «Богатырь» *(ЦГАОР)*. Из воспоминаний Белоголового известен план сказки, относящийся к раннему варианту, претерпевший затем существенные изменения[2]. В образе спящего Богатыря Салтыков сначала намеревался изобразить народ, пребывающий в состоянии пассивности. В окончательной же ее редакции Бо-

---

[1] *«Салтыков в воспоминаниях»*, с. 597—598.

[2] Там же, с. 598.

гатырь с отъеденным гадюками туловищем — это самодержавие. В данном случае слову «богатырь», в противоположность его народно-эпическому значению, писатель придал иронический смысл ради развенчания векового предрассудка, приписывающего монарху могущественную силу и доблести защитника слабых.

В сказке «Богатырь» в предельно сжатом виде вновь поднята тема самодержавие и народ (Богатырь и людишки), ранее наиболее полно разработанная в «Истории одного города». Пафос этого небольшого произведения заключается в разоблачении слепой веры людишек, терпевших жестокие беды, в мнимого богатыря, который в действительности равнодушен к их судьбе и вообще ни к какой сознательной деятельности не способен. Исторический опыт, по убеждению сатирика, приведет народные массы к сознанию, что от царя ждать помощи нечего, и тогда народ собственной силой отбросит самодержавие как гниющий труп.

Рукопись сказки 19 июля 1886 года была отправлена Соболевскому для «Рус ведомостей». Он продержал ее более месяца, не решаясь печатать и не смея сгорчать писателя прямым отказом. Лишь в самом конце августа Соболевский сообщил Салтыкову о возможных трудностях цензурного характера. 5 сентября 1886 года Салтыков написал Соболевскому: «Я просил бы Вас, кроме «Богатыря», не печатать еще и «Гиену», но, *пожалуйста,* пришлите мне обратно оригинал обеих сказок. Я их напечатаю в книге, которая уже начата в типографии набором». Рукописи Салтыкову были возвращены. Но в вышедшей в конце сентября 1886 года книге «23 сказки» появилась лишь «Гиена», «Богатыря» же Салтыков в книгу не включил, опасаясь, вероятно, цензурных осложнений.

Последнюю попытку напечатать «Богатыря» писатель предпринял в марте 1887 года, предложив ее Стасюлевичу для «Вестника Европы»: «Посылаю еще третью сказку (писанную и совсем крохотную) «Богатырь»; но думаю, что Вы не решитесь печатать ее»,— писал он 23 марта. Через три дня Салтыков получил письмо Стасюлевича, не рискнувшего печатать присланные ему сказки («Ворон-челобитчик», «Вяленая вобла», «Богатырь») и поставившего Салтыкова перед необходимостью взять их обратно.

«Богатырь» разделил цензурную судьбу трех других сказок — «Медведя на воеводстве», «Орла-мецената», «Вяленой воблы», не появившихся при жизни сатирика в легальной печати. Однако, проявив много стараний в борьбе за публикацию этих трех сказок, Салтыков не был столь настойчив относительно «Богатыря». Очевидно, явно противоцензурный характер сказки почти не оставлял надежд на ее публикацию.

В настоящем издании печатается по рукописи.

Стр. 192 *Баба-яга его родила...*— В салтыковской сатире, как и в фольклоре, баба-яга олицетворяет стихию зла (см., например, «Историю одного города»). Таким образом, начальные слова сказки прямо указывают на то, что образ богатыря воплощает силу, враждебную народу

(см. С. Ф. Баранов. Великий русский сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин. Иркутск, 1950, с. 28).

Стр. 193. *И вот прошло сто лет <...> и вдруг целая тысяча.*— В 1862 г. праздновалось тысячелетие России.

Ежево — еда.

ГИЕНА

(Стр. 194)

Впервые — «23 сказки М. Е. Салтыкова (Щедрина)», СПб., тип. М. М. Стасюлевича, 1886 (вып. в свет 24—30 сентября), стр. 215—219.

Сохранилась копия (рукой Е. А. Салтыковой) без подписи с мелкой правкой автора *(ИРЛИ)*, идентичная публикациям 1886 и 1887 годов за мелкими исключениями.

В июне 1886 года сказка была отослана в редакцию «Рус. ведомостей» и пролежала там до осени. Соболевский не решался, видимо, печатать сказку, понимая ее острый политический смысл. Салтыков понял колебания Соболевского и 5 сентября попросил его не печатать «Гиену» и возвратить ему рукопись для начатой уже набором книги «23 сказки».

В сказке «Гиена» противопоставлены два морально-общественные начала — «гиенское» и человеческое. Первое из них не только свойственно послепервомартовскому периоду русской жизни, но и всякой исторической эпохе, когда «все живое в безотчетном страхе падает ниц; все душевные отправления застывают под гнетом одной удручающей мысли: изгибло доброе, изгибло прекрасное, изгибло человеческое!». Однако в 80-е годы, наблюдая в жизни русского общества засилье «гиенского» элемента, Салтыков тем не менее не утрачивает оптимистической надежды на торжество человеческого, которое «и впредь <...> не погибнет, и не перестанет гореть».

Стр. 195. *Ad majorem Dei gloriam* — девиз Ордена иезуитов.

Судя по рассказам Брэма...— Переводы научно-популярных сочинений А. Брэма в 60—70-х годах получили в России широкое распространение. Из воспоминаний сына сатирика известно, что во время работы над сказками Салтыков брал сочинения Брэма у В. И. Лихачева, а затем сам «приобрел все произведения известного зоолога» (К. М. Салтыков. Интимный Щедрин, М.— Пгр., 1923, с. 15). Следы чтения Брэма прослеживаются и в других сказках Салтыкова, особенно тех, где действуют птицы.

Куранты.— См. стр. 329 в кн. 1 тома 15 наст. изд.

Стр. 197. *...покуда, наконец, море не поглотит его, как древле оно поглотило стадо свиней.*— Одно из евангельских сказаний (Лука, VIII, 32—37).

ПРИКЛЮЧЕНИЕ С КРАМОЛЬНИКОВЫМ

(Стр. 197)

Впервые — *Р. вед.*, 1886, 14 сентября, № 252, стр. 1—2. Подпись: *Н. Щедрин.*

Рукописи и корректуры не сохранились.

Сказка была отправлена в редакцию «Рус. ведомостей» 20 августа 1886 года вместе со сказкой «Деревенский пожар». Салтыков в сопроводительном письме просил Соболевского «напечатать их 31 августа или 2-го сентября», отложив ранее присланные сказки «Христова ночь», «Путем-дорогою», «Гиена». Однако «Приключение с Крамольниковым» опубликовали лишь через две недели после намеченного писателем срока, вслед за «Христовой ночью» и «Путем-дорогою».

Персонаж с характерной фамилией Крамольников появляется в произведениях Салтыкова трижды: в рассказе «Сон в летнюю ночь» (1875), в «Пошехонских рассказах» (1883) и в сказке-элегии «Приключение с Крамольниковым» (1886). Однако это *не один, а три* одноименных персонажа: сельский учитель, публицист и писатель. При всем различии их внешних биографий эти трое Крамольниковых идейно тождественны друг другу и олицетворяют *один идеологический тип.* Они — представители передовой демократической интеллигенции, находящейся в оппозиции к существующему строю. Из всех образов, которыми когда-либо пользовался Салтыков для выражения своих собственных взглядов, персонаж, появляющийся под именем Крамольникова, идейно наиболее близок к автору.

В Крамольникове из сказки-элегии эта близость усилена еще и тем, что он олицетворяет собою не только характерные особенности русских писателей-демократов второй половины XIX века вообще, но и некоторые биографические черты Салтыкова и его настроения в последние годы жизни.

В сказке-элегии, как и в появившемся годом позже очерке «Имярек», нашли свое выражение тяжелые переживания Салтыкова 80-х годов, вызванные закрытием «Отеч. записок», обострявшейся болезнью писателя, понижением уровня общественных настроений в среде демократической интеллигенции. Сетования Крамольникова на одиночество, на разобщенность с читателем, на то, что он лишился возможности «огнем своего сердца зажигать сердца других»,— это объективированное выражение переживаний самого Салтыкова.

Но настроения и взгляды Крамольникова и Салтыкова сближаются не во всем. Литератор Крамольников, беззаветно посвятивший себя служению высоким общественным задачам, в конце жизненного пути пережил глубокую неудовлетворенность своею деятельностью. Внутренний голос говорил ему: «Отчего ты не шел прямо и не самоотвергался? Отчего ты подчинял себя какой-то профессии, которая давала тебе положение, связи, друзей, а не спешил туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицом к лицу с этими стонами, а волновался ими только отвлеченно?

<...> Все, против чего ты протестовал,— все это и поныне стоит в том же виде, как и до твоего протеста. Твой труд был бесплоден».

Это — исповедь не Салтыкова, а Крамольникова, разочаровавшегося в действенности литературной формы протеста. Салтыков не был революционером, он не принимал непосредственного участия в революционной борьбе, хотя объективно содействовал ей в качестве литературного деятеля. По условиям своего времени и по свойствам своего художнического дарования он мог принести и приносил наибольшую пользу освободительному движению на легальной журнальной трибуне. Именно этим продиктованы неоднократные его заявления о своей преданности литературному делу и, в частности, его предсмертное завещание сыну: «...Паче всего люби родную литературу и звание литератора предпочитай всякому другому».

Вместе с тем нельзя не признать, что запоздалое желание Крамольникова быть с теми людьми, которые «шли вглубь и погибали», свидетельствует и о заметном сдвиге в понимании самим Салтыковым значения нелегальных форм борьбы.

В конце 1886 года в переписке Елисеева с Салтыковым возникла полемика по поводу сказки «Приключение с Крамольниковым». Елисеев, скатившийся на позиции либерализма, пришел к выводу о бесполезности всякого антиправительственного протеста и заявил о своем несогласии с идеями Крамольникова-Салтыкова. Активной борьбе Елисеев противопоставлял «теорию» сотрудничества общественных деятелей с самодержавием, в результате чего будто бы удастся «вести» правительство по пути реформ. На это Салтыков 30 октября 1886 года отвечал: «...Взгляда Вашего на Крамольникова не разделяю и теории вождения Дворникова[1] за нос за правильную не признаю. Дворниковы и до- и по- Петровские одинаковы, и литературная проповедь перестанет быть плодотворной, ежели будет говорить о соглашении с Дворниковыми. Для этого достаточно Сувориных и Краевских <...> Оттого у нас и идет так плохо, что мы все около дворниковских носов держимся». Эта же мысль развивается и в письме к Елисееву от 16 декабря 1886 года.

Стр. 200. *Чурова долина* — заколдованная долина (чуром заколдованная).

ХРИСТОВА НОЧЬ

(Стр. 206)

Впервые — *Р. вед.*, 1886, 7 сентября, № 245, стр. 1—2, под цифрой «I», вместе со сказкой «Путем-дорогою». Подпись: *Н. Щедрин.*

«Христова ночь» писалась в марте 1886 года для пасхального номера

---

[1] Генерал Дворников — ироническое наименование бюрократии, введенное в оборот сатирическим стихотворением Добролюбова «Мысли помощника винного пристава» и ставшее употребительным с 60-х годов.

«Рус. ведомостей». 23 марта 1886 года Салтыков писал Михайловскому: «Пробовал я вчера писать сказку: едва могу держать перо; пробовал диктовать сказку жене, но выходит банально. Боюсь, что к Святой не поспею». Сказка или не была своевременно закончена, или по каким-то причинам задержалась в продвижении и была напечатана только в сентябре.

Сохранилась черновая рукопись первой (незаконченной) редакции под заглавием «Христова ночь. I» («Равнина еще цепенеет <...> укажу вам путь ко спасению» — ср. стр. 206—209 наст. кн.) и полная беловая рукопись под заглавием «I. Христова ночь. Предание» (первоначально: «Народное предание») *(ИРЛИ)*. Варианты рукописного текста незначительны.

В «Христовой ночи», посвященной моральным проблемам, Салтыков использует евангельские мифы и форму христианской проповеди. Однако, несмотря на обращение к мифу о предательстве Иуды и воскресении Христа, по своему пафосу «сказка» прямо противоположна проповеди религиозного смирения. В ней отвергается идея прощения предателя и звучит призыв беспощадно карать его. Перспектива грядущего освобождения от социального гнета рисуется в сказке как победа познавшей себя народной силы над богатеями и жестокими правителями.

Салтыкову не чужда была мысль о воздействии на совесть эксплуататоров, вместе с тем он не разделял концепций о возможности достижения социального равенства путем их морального исправления. Их нравственная порочность — не причина, а следствие общего «порядка вещей». Именно этот смысл и выражен в словах «Христовой ночи», относящихся к характеристике мироедов: «Вы — люди века сего и духом века своего руководитесь». Что же касается возможного «суда собственной совести», который указывается мироедам как путь к спасению, то в данном случае речь идет, во-первых, о их собственном спасении, а не о спасении всего «многострадального воинства», и, во-вторых, о их спасении после того «грозного часа», когда будет сломлена их сила и когда их мечтания «рассеются в прах», то есть после искоренения мироедского «духа века».

Для обличения предательства в «Христовой ночи» Салтыков использовал, на свой лад, евангельский миф об Иуде и «бродячий» легендарный сюжет об Агасфере, или «Вечном Жиде». Гневный моральный пафос этого обличения продиктован, несомненно, конкретно-исторической обстановкой 80-х годов, когда, в связи с разгромом народовольческого движения и общественно-политической реакцией в стране, факты предательства и отступничества стали обычным явлением. См. также в общей статье (стр. 426—427, 429—430).

Стр. 206. *Равнина еще цепенеет...*— Пейзажная экспозиция сказки, точно воспроизводящая предвесеннюю ночь, вместе с тем символизирует всеобщее бесправие и придавленность русского народа, пребывающего в глубоком безмолвии ночи, задавленного грозной кабалой. О художественном впечатлении, производимом этим пейзажем, Пантелеев писал: «Раз я

дал В. В. Верещагину <...> прочитать «Христову ночь». Ему, как художнику, особенно понравилось самое начало — картина природы, а маленький штрих — «на темном фоне ночи вырезались горящие шпили церквей», положительно привел его в восторг.— Вот никак не думал, что у сатирика была такая способность к художественному восприятию внешних явлений!» (Л. Пантелеев. «Христова ночь» М. Е. Салтыкова (По воспоминаниям).— «Солнце России», 1914, апрель, № 219/16, с. 8—9).

ВОРОН-ЧЕЛОБИТЧИК

(Стр. 210)

Впервые — «Памяти В. М. Гаршина. Художественно-литературный сборник», СПб., 1889 (ценз. разр. 29 ноября 1888 г.), стр. 321—330. Подпись: *Н. Щедрин.*

Рукописи и корректуры не сохранились.

Сказка написана осенью 1886 года. «На днях пришлю Вам новую сказку...» — сообщал Салтыков 12 ноября 1886 года Соболевскому. Сказка была отправлена в редакцию «Рус. ведомостей» 17 ноября, а уже 26 ноября писатель затребовал рукопись обратно: «...Я остаюсь при убеждении, что «Ворон» не должен быть напечатан в «Р. в.» и может навлечь на них серьезную кару. Поэтому вновь и настоятельно прошу Вас прислать мне эту сказку как возможно скорее».

В марте 1887 года Салтыков предложил «Ворона-челобитчика» в «Вестник Европы» (вместе с «Вяленой воблой» и «Богатырем»). Однако Стасюлевич высказал сомнение в возможности публикации сказки: «Хотя Вы несколько иронически отнеслись к моей мысли печатать «Ворона»,— писал ему Салтыков 26 марта,— но мне кажется, ее можно будет осуществить, ежели сделать некоторые изменения (например, орла понизить чином, вместо «совета» допустить губернское правление)». В этот же день, получив не дошедшее до нас письмо Стасюлевича, писатель сообщил ему об отказе от публикации.

30 марта Салтыков вновь обратился к Соболевскому с просьбой напечатать «Ворона-челобитчика» в исправленной редакции. Соболевский, в 1886 году, видимо, соглашавшийся принять сказку, на этот раз ее не решился напечатать, и она была опубликована лишь в начале 1889 года в сборнике памяти Гаршина, в переработанном виде: Салтыков понизил в чине орла и заменил совет губернским правлением.

Салтыков и позднее продолжал работать над сказкой, о чем свидетельствует примечание Стасюлевича в восьмом томе Сочинений, вышедшем после смерти писателя. Слова из речи коршуна «Посмотри кругом <...> и весь мир осияет!» (стр. 218) Салтыков незадолго до смерти вписал карандашом на полях сборника памяти Гаршина вместо слов: «Коли при-

спеет время, она и сама собой объявится. Тогда, хочешь не хочешь, а отворяй правде ворота! Придет она, весь мир осияет!»

Печатается по тексту VIII тома сочинений Салтыкова (СПб., 1889).

Сказка «Ворон-челобитчик» по глубине и яркости изображения судеб крестьянства в царской России должна быть поставлена рядом с «Конягой». Образ ворона-челобитчика включается в ряд крестьянских правдоискателей, уже неоднократно появлявшихся в салтыковской сатире (например, в «Истории одного города» и «Пошехонских рассказах»). Подробнее см. в общей статье (стр. 427—429).

Стр. 212. *Началось окончательное разорение <...> нам взять неоткуда!* — Крестьянин после реформы 1861 г. остался полукрепостным. К помещичьему гнету прибавился еще гнет капитала. Крестьянство неуклонно разорялось и превращалось в пролетариев, выделяя кучки цепких кулаков и хозяйственных мужиков. «Все пореформенное сорокалетие,— писал Ленин в статье «Рабочая партия и крестьянство»,— есть один сплошной процесс этого раскрестьянивания, процесс медленного, мучительного вымирания» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 4, 1959, с. 431).

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА

(Стр. 218)

Впервые — *Р. вед.*, 1886, 25 декабря, № 354, стр. 1. Подпись: *Н. Щедрин.*

Сохранилась черновая рукопись *(ИРЛИ)*, отличающаяся от текста «Рус. ведомостей» вариантами стилистического характера.

«Рождественская сказка» — последняя в салтыковском сказочном цикле. Написана она в ноябре 1886 года и 3 декабря отправлена Соболевскому. В сопроводительном письме Салтыков сообщал: «Посылаю Вам «Рождественскую сказку» (на 25 декабря). По-моему, она вполне цензурна, только понравится ли Вам — вот вопрос». 9 декабря 1886 года писатель предложил Соболевскому сделать в тексте несколько изменений: «В видах цензурных, я полагал бы слова няньки: «Известно, чтó же в церкви и говорить!» совсем выпустить, а далее после слов: «о праведных делах слушать» — прибавить: «Ну, а с людьми нельзя без того, чтобы и со всячинкой не прожить». Затем слово «только» выпустить и начать: «Ты, миленький» и т. д... Затем в словах священника за обедом по окончании слов: «оставаться глухими к ней» — прибавить фразу: «Ну, а в миру не без греха». Затем ответ Сережи: «В церкви? а жить?» изменить так: «Как же жить?» И дальше в ответе священника, к словам: «И жить по правде следует» — прибавить: «памятуя завет святой церкви». Получив письмо Соболевского с сообщением о возможности напечатать сказку в первоначальной редакции, Салтыков 17 декабря писал, что все же «хотел бы вопрос Сережи «В церкви? а жить?» исправить так: «А жить как?» Впрочем, и во

всем остальном поступите по собственному усмотрению; кажется, нелишнее бы оставить также фразу: «а в мире не без греха», чтобы уж не очень выделялась церковь». Редакция «Рус. ведомостей» учла только пожелания автора в последнем его письме. Первая из поправок прошла через все последующие издания и была ликвидирована лишь в *изд. 1933—1941,* вторую автор снял при включении сказки в *изд. 1887.*

В наст. томе «Рождественская сказка» печатается по второму изданию сборника «23 сказки» с исправлением по рукописи реплики Сережи Русланцева, измененной в редакции «Рус. ведомостей» в соответствии с просьбой Салтыкова (см. выше).

«Рождественская сказка» посвящена той же теме, что и сказка «Пропала совесть» (1869). В них отразились размышления Салтыкова о степени моральной готовности молодежи к восприятию новых идей и о перспективах освободительной борьбы. Растущая совесть дитяти *в ранней сказке* символизирует надежды, связанные с ростом революционных настроений в 60-е годы, разорвавшееся сердце отрока в *позднейшей сказке* — их крушение в 80-е годы, на исходе народнического этапа освободительного движения. Основной смысл «Рождественской сказки», несмотря на ее трагический финал, продиктованный конкретно-исторической ситуацией, заключается в призыве к гражданскому подвижничеству во имя переустройства общества. Подробнее см. в общей статье (стр. 426—427, 429—430).

Стр. 221. *Кортома* — аренда.

Стр. 225. *In corpore sano mens sana* — из «Сатир» Ювенала.

ПЕСТРЫЕ ПИСЬМА

Публикация «Пестрых писем» началась в ноябре 1884 года. Этот цикл был первым произведением Салтыкова после прекращения, на апрельском номере, журнала «Отечественные записки», которое обрекло писателя на долгое, непривычное для него, полугодовое молчание. Ни один из существовавших органов печати не мог стать *его* органом, *его* трибуной. Салтыков лишился возможности «беседовать» со своим читателем *так* и о *том, как* и о *чем* беседовал он в «Отечественных записках».

«Предстоит такая ломка, что вскорости справиться с ней невозможно»,— писал Салтыков 17 мая 1884 года А. Л. Боровиковскому, разумея неизбежность отказа от прежних замыслов или во всяком случае их коренного пересмотра.

На содержании и форме «Пестрых писем», несомненно, сказались те обстоятельства биографии писателя и особенности общественной атмосферы, в которых протекала работа над циклом «Пестрота» их обусловлена как «пестрым временем», отраженным в них, так и вынужденным творческим «надломом», который переживал в это время Салтыков.

Разгром «Отечественных записок» был не только и не столько личной трагедией писателя, сколько трагедией общественной, симптомом и проявлением новой общественно-политической атмосферы. Запрещение ведущего и, в сущности, единственного последовательно-демократического издания фактически оказалось рубежом, отделившим одну эпоху русской жизни от другой,— эпоху, когда произвол политической власти («внезапность») смягчался колебаниями ее курса в сторону либерализма («случайными веяниями»),— от эпохи прямой и откровенной реакции, не нуждавшейся уже более в «отступлениях», когда правительство Александра III, не опасаясь оппозиции, вступило на путь контрреформ.

Не последнюю роль в окончательном торжестве реакции, в соответствии с концепцией Салтыкова, сыграл «третий член», находящийся «между двумя борющимися сторонами» — «стадный», «средний» человек, представитель толпы, массы в самом широком социальном смысле (к «стаду» «средних людей», однако, ни в коем случае не может быть отнесен «человек, питающийся лебедой» — крестьянин, мужик). «Взятый сам по себе, со стороны своего внутреннего содержания, этот тип не весьма выразителен, а в смысле художественного произведения даже груб и неинтересен; но он представляет интерес в том отношении, что служит наивернейшим олицетворением известного положения вещей»,— говорилось о «среднем человеке» в «Дневнике провинциала в Петербурге» (т. 10, стр. 529—530).

Поведение «среднего человека» определяют ныне, как сказано в «Письме I», «служительские мысли и служительские слова. Сущность этих мыслей и слов формулируется кратко: «Спасай себя!»

«Средний человек», по природе своей неустойчивый, «повадливый», подобно барометру, отмечает, а то и предвещает изменения социально-политической погоды. «Пестрота» этой погоды отражается в «пестрящем» поведении «среднего человека».

Подводя «итоги» двадцатилетию реформ и трехлетию политического развития России после убийства Александра II, Салтыков анализирует пестроту во всех ее проявлениях и модификациях. И самым главным из этих проявлений была политика контрреформ, выдаваемых за реформы, политика, лишенная творческого, позитивного начала, последовательная, «стабильная» лишь в отрицательном смысле. Это был «прах», но «прах», лишенный логики, «испещренный» маскирующими «поправками» (см. «Недоконченные беседы»). «Пестрота», таким образом, есть та общественная атмосфера, когда в виду отсутствия идеала «понять ничего нельзя», потому что «жизнь утонула в массе подробностей, из которых каждая устраивается сама по себе, вне всякого соответствия с какой бы то ни было руководящей идеей» («Письмо III»). «Пестрое время» порождает и людей «пестрых», или «пестрящих». «Пестрота» поэтому — предательство, ренегатство, «хамелеонство», безответственность социальная и нравственная, «кризис совести». «Пестрое время» персонифицируется в сатирических образах Передрягиных, Архимедовых, Покатиловых, Стреловых, Скорняковых и т. п. В свою очередь, каждый из этих сатирических персонажей, переживая в сюжете про-

изведения свою индивидуальную судьбу, свою внутреннюю закономерную эволюцию, символизирует исторические судьбы целых классов, сословий, политических групп, идеологических доктрин. Главным предметом сатирического осмеяния при этом является, разумеется, не прошлое, не история (биография) всех этих типов, необходимая лишь как экспозиция, выясняющая их генезис, а животрепещущая современность, «итоги», финалы, завершения социально-исторических судеб.

Так, судьба Передрягина и его конституционно-бюрократического творчества непосредственно обозначает, по-видимому, переходный политический курс, формулированный в доктрине «земского собора», попытку реализации которой предпринял министр внутренних дел гр. Н. П. Игнатьев. Вместе с тем сатирически оцениваются, то есть безоговорочно отвергаются все те формы конституционного движения, которые, не претендуя на подрыв самодержавной государственности, являлись лишь выражением вынужденной политической пестроты.

Федот Архимедов своими проектами обуздания и регламентации очень точно отражает политические акции правительственной власти в области печати и народного образования при министре внутренних дел гр. Д. А. Толстом. Однако и этот сатирический тип имеет гораздо более широкое значение, для выяснения которого как раз и нужно проследить, в силу каких причин и каким образом «Федот, да не тот», олицетворение галиматьи, стал именно «тем» Федотом, то есть истинным деятелем «пестрого времени».

Судьба русского дворянства, обреченного, по Салтыкову, историей, символизирована в плачевной судьбе бывшей помещицы Арины Михайловны Оконцевой, обобранной современными хищниками. Сугубое «хищничество», как примета новой, послереформенной эпохи, хищничество, уже не довольствующееся взяточничеством и казнокрадством, превращающееся — через «ташкентство» и «рыковщину» — в «порядок вещей», занимает свое место в общей картине «пестрой» современности и трактуется особо также в очерках о Подхалимове и Стрелове («Письма» V и VIII).

На этом этапе анализа истории пореформенной России и в связи с темой хищничества Салтыковым вводится новый важный для характеристики «пестроты» мотив — мотив «покаяния», отказа от былых «заблуждений» («Подхалимов открыл эпоху упразднения хищничества и торжества покаяния» — см. стр. 360). Учитывая тот смысл, который был вложен в это иносказание еще в «Истории одного города» («Поклонение мамоне и покаяние»), следует, по-видимому, под «покаянием» понимать наступление и торжество реакции.

В атмосфере покаяния оживают «ветхие люди», «привидения» («антиреформенные бунтари»), почувствовавшие своевременность «благонамеренной крамолы». Лишь «пестрое время» способно породить этот чудовищный плод. С помощью одного из «крамольников», дореформенного градоначальника «умницы Покатилова», Салтыков вместе с тем рисует картину современной политической «галиматьи».

«Ловит минуту» [1], пытаясь пристроиться к новым формам хищничества, хищник старого, дореформенного пошиба, взяточник и казнокрад «дядя» Захар Иваныч Стрелов. Но «дядя», кроме того, и «отставной корнет», жаждущий власти над «освобожденным» мужиком. Пасуя перед «чумазым», перед новым хищником в области экономической, он, опять-таки в той же атмосфере покаяния, находит себя в области политики Его «проект обновления» означает, в сущности, возврат к дореформенным временам, к «вотчинной» власти помещика над крестьянином.

Но, может быть, наиболее замечателен типический образ «коновода» и «зачинщика», «пестрившего» и в смысле либеральном, и в смысле «ежово-рукавичном»,— Скорнякова. Салтыков не ставил себе в данном случае памфлетной задачи, и потому невозможно говорить о каком-то одном прототипе этого литературного героя. Некоторые детали его биографии указывают на ряд вероятных прототипов (М. Н. Катков, И. В. Павлов, Е. М. Феоктистов). В частности, в образе Скорнякова отразилось, по-видимому, двусмысленное положение Каткова не только как предателя, ренегата, но и как чужака в собственно дворянской среде, положение, усиливавшее ожесточенность его борьбы с инакомыслящими, с «людьми убеждения». Эта особенность представителя первой категории «пестрых людей», его сознательное ренегатство, потребовала исторического, во времени, изображения его, подробного повествования о его жизненном, весьма извилистом пути, определявшемся многообразными зигзагами политической истории России.

«Психологический момент», обусловивший «пестрое» поведение «среднего человека», создал, таким образом, соответствующую обстановку для «изоляции» людей «убеждения», способных на «большое рассуждение» [2], для изоляции передового, убежденного писателя. Арену литературы заполоняют Скорняковы вкупе с Подхалимовыми. Так возникает одна из главных тем «Пестрых писем» — «писатель и читатель»,— выраженная знаменитой формулой: «Русский читатель, очевидно, еще полагает, что он сам по себе, а литература — сама по себе. Что литератор пописывает, а он, читатель, почитывает». Тема солидарности и взаимной ответственности писателя и читателя, литературы и общества не была для Салтыкова новой. «...Выяснение основных пунктов миросозерцания и вытекающий из него принцип ответственности <...> составляет характеристическую особенность современного писательского ремесла»,— говорилось в «Дополнительном письме к тетеньке» (т. 14, стр 521). Однако высокая гражданская ответственность писателя оборачивается его изолированностью, если не дополняется ответственностью читателя (в данном случае «тетеньки»), солидарностью читателя с современной литературой. Глубина социально-политического мышления Салтыкова позволила ему предвидеть возможную эво-

---

[1] «...в пестрое время на первом плане стоит значение минуты и возможность ее уловить» (см. «Мелочи жизни»).

[2] «Большое рассуждение» — синоним революционно-просветительской идеологии; именно ему в свете высоких социально-этических идеалов доступны «исторические утешения», «чистейшие наслаждения» исторического оптимизма.

люцию «тетеньки» и тем самым, в сущности, предсказать свою собственную судьбу — судьбу изолированного и преданного писателя.

Позднее незавершенное «Дополнительное письмо к тетеньке» было переработано в «Послание пошехонцам». Переработка не коснулась темы и идеи «Письма», текстуально свелась к замене адресата — «тетеньки» на «пошехонцев». Таким образом «тетенька» как олицетворение русской интеллигенции — в этом своем качестве, качестве «читателя» — принципиально не отличалась для Салтыкова от «пошехонца», который в то же время — и социально, и нравственно-психологически — близок «среднему человеку», «пестрящему» ради самосохранения. Так устанавливается генетический ряд от «Писем к тетеньке» (одно из которых сам Салтыков назвал «пестрым») через «Дополнительное письмо к тетеньке» и «Послание пошехонцам» («Письмо к пошехонцам») к «Пестрым письмам» — ряд, позволяющий более глубоко и точно понять смысл образа «пестрого человека».

В связи с запрещением «Отечественных записок» Салтыков лишился не только жизненно необходимой для него возможности периодически обращаться к своему «странному читателю» с ежемесячными «беседами», но и осознал иллюзорность надежд на читательский отклик, сочувствие и поддержку — на «солидарность», на взаимную гражданскую ответственность. Это горькое понимание и вызвало ироническую формулу: «Литератор пописывает — читатель почитывает...»

Существенно, что именно эту формулу из «Письма III» использовал В. И. Ленин для характеристики буржуазно-индивидуалистической идеи «беспартийности» литературы («Партийная организация и партийная литература»).

Если «Письма к тетеньке» были «письмами» в полном, буквальном смысле слова, то есть имели адресата — «тетеньку», то в «Пестрых письмах» адресат лишь подразумевается — это «пестрый человек», «пошехонец», тот самый читатель-«подлец», которого автор тем не менее «страстно любит». Этот адресат в тексте «Пестрых писем» не персонифицирован непосредственно. Ближе всего, пожалуй, он той категории «пестрых людей», которая в «Письме IX» описана под нумером вторым,— «люди, замученные жизнью», которым «не дано поднять против нее знамя бунта».

В связи с отсутствием в «Пестрых письмах» текстуально выраженного образа «адресата», и образ автора писем не обозначен с полной определенностью — он обладает весьма большой смысловой амплитудой — то выступая в лирической форме, в облике самого Салтыкова, то наделяясь чертами «пестрого человека».

Такой сложностью отличается, например, авторский облик в первом же из «Пестрых писем» (см. стр. 487—488). В следующих письмах этот облик сохраняет, чаще всего, те функции, которыми он обычно наделялся и в предшествующих салтыковских произведениях в зависимости от их жанровой природы и конкретной художественной задачи: то это функция гротескно-сатирического или «сказочного» разоблачения, то объективного повествования, то непосредственного, хотя и пассивного «присутствия».

Во всех этих модификациях авторского облика выражается жанровая «пестрота» «писем», среди которых и скорбно-лирические монологи, и сатиры в самом прямом смысле слова, и сказки, и «бытовые вещи». Однако и по отношению к каждому из входящих в цикл «писем» вряд ли можно говорить о какой-либо жанровой «чистоте». Вероятно, что хотя бы в какой-то своей части цикл составился из обломков разрушенных запрещением «Отечественных записок», незавершенных замыслов.

В качестве доминирующей черты, скрепляющей всю пестроту тематики, все разнообразие сатирических типов, все жанровые модификации — здесь выступает «скорбное настроение, достигающее высокого лиризма»[1]. В единственном заслуживающем внимания отклике на отдельное издание «Пестрых писем» выделена тема литературы: «Среди резких звуков щедринской сатиры пробивается время от времени совершенно особенная нота, что-то умягченное, иногда до умиления и лиризма, что-то трогательно-скорбное, задерживающее сверкающую сатирическую улыбку. Главный из поводов, приводящих нашего знаменитого писателя в это не совсем обычное для него настроение, есть судьба литературы. Вера в высокое значение печатного слова, надежда на его торжество, скорбь о многоразличных язвах, наносимых литературе текущею жизнью, печаль о личной судьбе литератора, большого и маленького,— вот, главным образом, те мотивы, которые умягчают строгую, резкую литературную физиономию Щедрина»[2].

Одна из главных тем «Пестрых писем» — «писатель и читатель» — как сказано выше, восходит к «Дополнительному письму к тетеньке», переделанному в «Послание пошехонцам» («Письмо к пошехонцам»). С другой стороны, тема «пестроты», намеченная еще в «Письмах к тетеньке», к началу 1884 года приобретает более определенную форму в замысле сказки «Пестрые люди».

Ни «Письмо к пошехонцам», ни «Пестрые люди» не были завершены (см. стр. 519—520 и 524). Именно в «Пестрых письмах» дана художественно завершенная разработка проблемы взаимной социальной ответственности читателя и писателя, а также типа «пестрого человека». Наконец, самый жанр «письма» продолжен и трансформирован в цикле «Пестрые письма».

Цикл «Пестрые письма» публиковался в 1884—1886 годах в журнале «Вестник Европы» за подписью «Н. Щедрин».

До седьмого письма «Пестрые письма» в журнальной публикации не нумеровались, а печатались под общим заглавием.

Дошедшая до нас небольшая часть рукописей цикла (письма V, VIII и IX) хранятся в Институте русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

Еще до завершения публикации «Пестрых писем» в «Вестнике Европы» Салтыков начал готовить их для отдельного издания. «Я только что полу-

---

[1] «Северный вестник», 1886, № 12, отд II, с. 159.
[2] Там же, с. 158.

чил,— сообщал 27 августа 1886 года А. А. Хомиховский Пыпину,— письмо Салтыкова, в котором он приглашает меня зайти к нему за статьей для «Вестника Европы», которую он привез. Но от Матвея[1] я слыхал, что Вы к нему сами собираетесь в пятницу, то может быть он Вам передаст. Хотя я думаю, что Салтыков имеет другой умысел, он хочет переговорить со мной относительно издания и вызывает под предлогом статьи, следовательно, я у него побываю во всяком случае, так что Вы статьи не берите, если он сам не будет Вам навязывать» (*ИРЛИ,* ф. 250, оп. 3, ед. хр. 288, л. 75 об.).

Книга вышла из печати между 9 и 12 ноября 1886 года:[2] Пестрые письма. Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина). СПб., тип. М. М. Стасюлевича, 1886, 240 стр.

При подготовке *Изд. 1886* журнальный текст подвергся дополнительной обработке. Наряду со стилистической правкой Салтыков ввел ряд мест (особенно в V и VI письмах), отсутствовавших в журнальной публикации.

Печатается по тексту *Изд. 1886* с устранением опечаток по журнальной публикации и сохранившимся рукописям.

ПИСЬМО I

(Стр. 229)

Впервые — *BE,* 1884, № 11, стр. 315—322.

Рукописи и корректуры неизвестны.

«На днях был у меня редактор «Русских ведомостей» <В. М. Соболевский> и предлагал участвовать»,— писал Салтыков 31 августа 1884 года Н. А. Белоголовому. Начало такому участию должно было быть положено публикацией первого из «Пестрых писем». 27 сентября 1884 года Салтыков извещал В. М. Соболевского:

«Посылаю Вам небольшую статейку. Извините, что замедлил: все время так был болен, что только это и успел написать.

Печатать или не печатать — совершенно оставляю на Вашу волю. Может быть, для Вас покажется несколько неудобным — не стесняйтесь, только не утеряйте и возвратите. Места, обведенные карандашом, можно и не печатать совсем. Я хотел сначала заномеровать письмо I, но потом подумал, что так, без №, надежнее. Но я буду продолжать, ежели настоящее письмо будет напечатано. Не пугайтесь, не часто».

Причины, по которым «письмо» не появилось в «Русских ведомостях», известны из пометы Соболевского на письме к нему Салтыкова от 20 сентября 1886 года: «Пестрые письма»,— первый опыт помещения Салтыковым статей в «Русских ведомостях»,— были получены в редакции в мое отсутствие из Москвы. Товарищи «Русских ведомостей», ввиду только что полученной «Русскими ведомостями» кары, нашли, что печатать эту статью

---

[1] М. М. Стасюлевич.— *Ред.*

[2] Л. М. Добровольский и В. М. Лавров. М. Е. Салтыков-Щедрин в печати. Л., 1949, с. 77.

Салтыкова — рискованно для газеты». Получив очерк обратно, Салтыков предложил его «Вестнику Европы». В письме к Стасюлевичу от 14 октября 1884 года он сообщал: «Посылаю при сем (в корректуре) статейку, которую «Русские ведомости» возвратили мне. Я изрядно ее почистил, как Вы увидите, а в некоторых местах даже и оскопил. Не пожелаете ли Вы напечатать ее в ноябрьской книжке. Я знаю, что книжка уже скомпонована, но пол-листа (или даже меньше) не произведут пертурбации».

В ответ на обращение читателя в редакцию по поводу одной из фраз очерка Салтыков 15 ноября обратился к Стасюлевичу с просьбой: «Письмо, которое Вы мне вчера переслали, заключает в себе весьма едкий, хотя и симпатичный упрек по поводу фразы: стыд есть вывороченная наизнанку наглость. Хотя это не более как недоразумение, но так как и другие читатели могут впасть в него, то не будете ли Вы так добры напечатать в конце декабрьской книжки прилагаемую на обороте «Поправку». Просьба писателя была удовлетворена· «..в статье «Пестрые письма» Н. Щедрина, стр. 319, строка 3 св., вследствие пропуска нескольких слов, напечатано: «По моему мнению, стыд есть вывороченная наизнанку наглость» и т. д. Это место следует читать так: «Предложите этот вопрос любому прихвостню современности и он, не обинуясь, ответит: по моему мнению, стыд» и т. д.» (*ВЕ,* 1884, № 12, с. 948).

Несмотря на произведенную Салтыковым «чистку» с целью обезопасить очерк в цензурном отношении, «Пестрые письма» вместе с напечатанной в той же ноябрьской книжке «Вестника Европы» статьей «Из общественной хроники» все же обратили на себя внимание цензора В. М. Ведрова. В донесении в С.-Петербургский цензурный комитет (28 октября), находя оба произведения «замечательными в цензурном отношении», «дающими другой колорит ученому направлению журнала и сообщающими ему характер сатирический и тенденциозный», он писал:

«Статья Щедрина «Пестрые письма» имеет содержанием объяснение публике душевного состояния писателя и его взгляда на современное нам положение. Служительские слова: «чего изволите», «как прикажете», «не погубите» заменили нравственное проявление в герое его исповеди (стр. 315) [1], он находит их «в основе человеческого счастья» (стр. 317); полагает, что в «атмосфере служительских слов» для рассуждения нет места (стр. 319); характеризует виды рассуждений, возможных для безопасности процесса личного существования. «В трудную минуту для писателя,— говорит Щедрин,— читатель и в подворотню шмыгнет, а писатель увидит себя в пустыне» (стр. 318, 321). После уничтожения нравственного состояния духа является животное чувство страха, при котором дружественные тайные советники одобрительно кивают автору.

Все это личное проявление чувства автора, ясно рисующее настоящее положение общества, раздражает страсти и напоминает о недавних литературных стремлениях тенденциозного характера».

---

[1] Цензор указывает страницы журнальной публикации.— *Ред.*

Останавливаясь далее на статье «Из общественной хроники», цензор в заключение предлагал о таком направлении журнала «представить на благоусмотрение Главного управления по делам печати»[1]. На состоявшемся 31 октября 1884 года заседании С.-Петербургский цензурный комитет согласился с предложением В. М. Ведрова (*ЦГИАЛ,* ф. 777, оп. 27, ед. хр. 512, л. 277). Посланное (1 ноября) в Главное управление по делам печати донесение комитета было принято «к сведению» (*ЦГИАЛ,* ф. 776, оп. 3, 1865, ед. хр. 87, лл. 117—118).

Из-за отсутствия рукописей и корректур невозможно установить, какого рода правка была произведена Салтыковым в тексте «письма» при передаче его в «Вестник Европы», однако несомненно, что, хотя бы частично, он устранил в отдельном издании цензурные купюры журнальной публикации, например:

Стр. 234, строка 4 сн. После слов: «...вопросе о человеческой изолированности» — в отдельном издании дополнено:

вопросе тоже небезызвестном, но который на наших глазах приобрел очень решительные и резкие формы.

«Письмо I», являясь откликом на запрещение «Отечественных записок», представляет собой также введение к циклу «Пестрых писем» и поэтому содержит ряд общих суждений и оценок, определяющих его идейный смысл в целом (см. вступительную статью).

Первая, бóльшая часть «письма» посвящена сатирическому описанию новой общественной атмосферы, когда даже изречение: «ваше превосходительство, не погубите»,— оказывается равносильным призыву к оружию.

С помощью «привычки», «опыта», «среднего рассуждения» созидается новая «современная идиллия», более страшная, чем представленная в одноименном романе, ибо в перспективе ее не видится даже «стыда».

Вторая часть «письма» разрабатывает тему «читатель и писатель», которая не была для Салтыкова новой. Еще в 1875 году, со свойственной ему прямотой и резкостью, он писал: «...Я начинаю думать, что моими писаниями никто не интересуется и что «Отечественные записки», несмотря на 8 тыс. подписчиков, *никто* не читает. То есть читает какой-то странный читатель, который ни о сочувствии, ни об негодовании заявить не может. Это вопрос очень интересный, кто теперешний русский читатель? Во всяком случае, он читает в одиночку <...> ни с кем не делясь своими впечатлениями. Это штука почти безнадежная, и на старости лет тяжело ее переживать» (27 августа 1875 г.— П. В. Анненкову). Общественная реакция на запрещение «Отечественных записок» дала Салтыкову, «пошехонскому литератору» («Приключение с Крамольниковым»), ряд дополнительных штрихов для портрета «пошехонского читателя», «шмыгнувшего в подворотню» в трудный для литератора момент.

По письмам Салтыкова к разным лицам после прекращения «Отечест-

---

[1] В. Евгеньев-Максимов и Д. Максимов. Из прошлого русской журналистики. Л., 1930, с. 63—64.

венных записок» и до публикации первого из «Пестрых писем» прослеживается усугубление тревоги и трагизма. Между тем в «Письме I» утверждается, что, по прошествии нескольких месяцев, «тревога утихла...». Художественная мысль Салтыкова движется путем иносказания, выражается «эзоповым языком». Суть эзопова языка в «Письме I» определяется совпадением двух образов — «среднего человека» и лирического героя; сквозь второй просвечивает авторский образ. Ирония и сарказм позволяют Салтыкову сохранять при этом необходимую дистанцию.

В одном из первых откликов на «Пестрые письма» говорилось: «Язык, манера и приемы сатирика в «пестрых письмах» те же, что и прежде. Особенность их по-прежнему та, что обо всем повествуется эзоповским языком, не всякому понятным и ясным. Эта трудность не существует, конечно, для постоянных читателей даровитого сатирика, успевших освоиться с указанной манерой» [1].

Но даже и «постоянные читатели» Салтыкова не сразу поняли всю глубину иронии автора, утверждавшего в заключении своей сатиры, будто он «сначала испугался, но затем очень быстро очнулся и беспрекословно погрузился в пучину служительских слов». Так, например, Г. З. Елисеев писал Салтыкову 27 ноября 1884 года: «...мне показалось странным, что Вы после пятимесячного молчания сочли нужным выступить перед публикой с разъяснением во всеуслышание психологического момента. Силы, конечно, нельзя не признавать, но исповедовать ее во всеуслышание — значит ее увеличивать и в ней самой, и вовне. Это уж никак не может помогать росту читателя, убегающего по своему детству в подворотню от любимого автора при первом противном ветре, а может утвердить его в безнадежном детстве навсегда». Правда, Елисеев делал оговорку, вспоминая начало «Пошехонских рассказов» («Рассказы майора Горбылева»): «А, впрочем, я ведь не знаю плана ваших новых «Пестрых писем». Начало их может быть только особого рода стратегический прием. В роде «Пестрых писем» началось и ваше *Пошехонье,* которое потом вышло на такую дорогу, которой никак нельзя было ожидать по началу» [2].

Конечно, на характер «письма» известный отпечаток наложило то обстоятельство, что оно предназначалось первоначально для газеты «Русские ведомости» и должно было быть напечатано как газетный фельетон (статья-отклик на «злобу дня», на текущие явления общественного быта, не претендующая на глубину их анализа). Однако сходство с фельетоном в данном случае ограничивается, пожалуй, лишь одним — небольшим размером салтыковского «письма». Салтыков и здесь остался художником-сатириком, хотя и писал, в связи с приглашением в «Русские ведомости», что вынужден стать «газетным фельетонистом» (31 августа 1884 г. — Н. А. Белоголовому).

---

[1] Л. Л Литературные заметки. — «Эхо», 1884, 8 ноября, № 1352.

[2] «Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину». М., 1935, с. 160.

Поэтому естественно, что обозначение его письма как «фельетона»[1] вызвало с его стороны резкий протест. Он писал редактору «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому: «Со времени Тряпичкина слову фельетон придается нарочито презрительное значение. Хотя это и не совсем правильно, но частичка правды все-таки есть. Фельетон трактует исключительно о происшествиях дня, а я, ей-богу, совершенно к ним равнодушен. Если б читатели смотрели на меня как на фельетониста,— ей-богу, я перестал бы писать. Это все равно, как ежели бы напечатали, что я написал «насмешку». <...> Фельетоны <...> читаются с удовольствием, но никто об них не помнит. Льщу себя надеждою, что я все-таки остаюсь в памяти» (3 ноября 1884 г.).

Сочувственную оценку «Письмо I» получило в двух московских либеральных газетах — «Русском курьере» и «Русских ведомостях». «Невыразимо грустное впечатление производит этот небольшой отрывок...» — писал «Русский курьер» в обзоре «Наши газеты и журналы» (7 ноября, № 308), солидаризуясь с «печальными выводами» Салтыкова относительно состояния русского общества. «В минуты тяжелого недоверия к обществу, к его сознательной силе на благо, естественно бросить в лицо его горький и страстный упрек, и г. Щедрин не останавливается перед ним»,— писал Арс. И. Введенский (псевд. «Аристархов» — *Р. вед.,* 14 ноября, № 316).

Ключевая тема очерка — «читатель и писатель» — стала центральной в большинстве газетных и журнальных рецензий.

На салтыковские инвективы по адресу читателя, «шмыгнувшего в подворотню», первым остро реагировал В. Буренин. Его отзыв был резко враждебным. Памфлетно характеризуя салтыковского читателя как «псевдолиберального», Буренин и самого Салтыкова назвал «литературным служителем формального либерализма», будто бы потворствовавшим в своей «фельетонной сатире» «вожделениям» «либеральной улицы», уже давно расточавшим «служительские слова» по адресу «псевдолиберального читателя», ему в угоду. Между тем этот читатель «действительно таков, что на его мнимое сочувствие нельзя полагаться ни в каком случае. Этот читатель прежде всего лицемер и трус, и потому ничего нет удивительного, что он «в трудную минуту» для писателя, стремившегося в продолжение многих лет угождать ему и забавлять его фальшиво-оппозиционными вожделениями, спешит «шмыгнуть в подворотню» и изъявить свое подлое и трусливое нежелание «связываться» с тем, кому в легкие минуты он лицемерно поклонялся, чьим легким шуткам он подхихикивал с холопским удовольствием. <...> Разве почтенный сатирик не видел до сих пор, что этот псевдолиберальный читатель, для чьей праздной потехи он ежемесячно, если можно так выразиться, офельетонивал свой великий талант, только потому и обнаруживал мниможивое сочувствие и участие к его сатире, что ее

---

[1] В корреспонденции И. Ф. Василевского-Буквы, напечатанной в «Русских ведомостях», 2 ноября 1884 г., на другой день после выхода в свет ноябрьской книжки «Вестника Европы» с «письмом» Салтыкова.

фельетонная легкость давала право носиться один день с показным либерализмом, с показной оппозицией и удобно забывать и первый и вторую на другой же день? <...> Не пожинает ли г. Салтыков те плоды, которые он сам посеял?»[1] Несколько иначе, но также перенося проблему в область личных эмоций самого писателя («субъективное чувство злобы и досады») и его субъективной «вины перед жизнью», идущей своим собственным, объективным путем, рассматривает первое «письмо» Р. И. Гинзбург (псевд. Ergo)[2].

В обсуждение вопроса «литература и читатели» в связи с очерком Салтыкова вскоре включилась передовой статьей под этим названием правонародническая «Неделя».

Формулируя позицию газеты, П. Гайдебуров еще раньше писал: «Роль периодической печати в России должна измениться», журналистике следует вернуться на тот путь, на котором «она действительно могла бы иметь (да когда-то и в самом деле имела) серьезное значение: это — путь культурного влияния на общество»[3]. Отказавшись же от «культурной миссии», литература, печать не воспитала и читателя, которому могла бы предъявить тот упрек, что предъявляет Салтыков: «Как фигура восклицания в устах сатирика, несколько месяцев тому назад «неожиданно лишившегося употребления языка», этот упрек еще понятен. Но возможно ли вообще серьезно ставить вопрос об обязанностях читателя — русского читателя — по отношению к литературе и о том, знает ли он и исполняет ли эти обязанности? <...> И почему читатель, который «только почитывает», виноват более писателя, который «только пописывает»?[4] В «Заметках», напечатанных в том же № «Недели», автор приходил к выводу, что упрек Салтыкова своему читателю может быть оправдан лишь тем, что высказан «под слишком еще свежим впечатлением катастрофы». «Конечно, <...> прекращение «Отечественных записок» — факт весьма прискорбный, но нельзя же отсюда делать заключения о негодности ни к чему русского общества и о предстоящей гибели России, как это делает Щедрин» (стлб. 1598).

В грубо развязной, пасквильной форме характеризовал салтыковского читателя кн. В. П. Мещерский. Отталкиваясь, по-видимому, от иронического замечания в заключении «письма»: «дружественные мне тайные советники <...> вновь начинают одобрительно кивать в мою сторону»,— издатель «Гражданина» писал: «Щедрин <...> жалуется на читателя своего, изменившего-де ему в минуты невзгоды. А кто главный читатель Щедрина?

---

[1] В. Буренин. Критические очерки.— «Новое время», 1884, 9 (21) ноября, № 3126.

[2] Ergo <Р. И. Гинзбург>. Литературные письма.— *СПб. вед.*, 1884, 9(21) ноября, № 310.

[3] От редакции — «Неделя», 1884, 21 октября, № 43.

[4] «Неделя», 1884, 11 ноября, № 46, стлб. 1556, 1558. Этот спор Гайдебурова с Салтыковым по поводу первого из «Пестрых писем» восходит к его несогласиям с автором «Признаков времени» и «Напрасных опасений». И тогда Салтыков будто бы отказывался от «воспитания» читателя (см. т. 9, с. 476—477).

Кто? Разумеется, тайный советник. Иль этого не знал Щедрин? А тайный советник ведь — блудлив, как кошка, а труслив, как заяц»[1].

Естественно, что злободневная «сатира» «Письма I» вызвала живую реакцию именно газетной прессы. Но вскоре на нее откликнулся и «толстый» журнал — народническое «Русское богатство». Известный в те годы критик Л. Е. Оболенский (псевд. «Созерцатель») посвятил «сатире» Салтыкова значительную часть своих «литературных заметок» «Обо всем» (*РБ*, 1884, № 11). Обвинив Салтыкова в «неразборчивом отношении» к «предметам бичевания», Оболенский поддержал ту глубоко ошибочную литературно-критическую традицию, которая трактовала салтыковскую сатиру как своего рода «искусство для искусства», «смех ради смеха», воспитывающий и неразборчивого, беспринципного, «зубоскалящего» читателя. Неудовольствие Оболенского в связи с этим вызвала ирония Салтыкова по отношению к почвеннической апологии «любви». Салтыков, писал критик, «не может не знать того, как немыслимо в обществе создать что-либо на почве одного бичевания и отрицания, без веры в жизнь и общество, без положительных идеалов и идей, без любви к ним. Необходимо, чтобы было указано людям нечто в самом обществе и народе, во что можно верить, на что можно надеяться и полагаться, что можно и должно любить, чтобы люди этого общества обратились в живых деятелей на практической жизненной почве» (стр. 443).

Таким образом, большинство рецензий на «Письмо I» носило полемический характер, объясняемый, по преимуществу, несогласием с салтыковской трактовкой темы «писатель — читатель».

Стр. 232. *...газетные столбцы, от которых несет исподним бельем чичиковского Петрушки...* — Реальный комментарий к этим словам находим в письме Салтыкова к А. Л. Боровиковскому от 15 июля 1884 г.: «...читаю «Новое время», «Петербургский листок» и «Петербургскую газету». Одним словом, нюхаю портки чичиковского Петрушки. Нехорошо пахнет...» Еще более определенно иносказание Салтыкова раскрывается в его письме к Г. З. Елисееву от того же 15 июля: «Вы читаете «Новое время» — ведь стошнить может от фельетонов Атавы, «Жителя» (Незлобина), Морского, от корреспонденций Молчанова, Кочетова («Странник») и проч. Точно нюхаешь портки чичиковского Петрушки». Ср. также письмо к Н. К. Михайловскому от 11 августа того же года, где «портками чичиковского Петрушки, заражающими вселенную своим специфическим запахом», опять-таки названо «Новое время».

Стр. 234. *...«жег сердца глаголом»...* — перефразировка строки из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк».

«Мало обличать — любить надо», — прорицали когда-то наши «почвен-

---

[1] «Гражданин», 1884, 18 ноября, № 47, с. 19—20. В публицистике кн. В. П. Мещерского «тайный советник» — либеральный чиновник высшего ранга, оппозиционно настроенный, составляющий так называемое «антиправительство» и вместе с тем «отец» нигилизма.

ники»... — Приводимая Салтыковым формула действительно восходит к некоторым высказываниям «почвенников», например, к объявлению об издании журнала «Эпоха» в 1865 г. Однако Салтыков здесь, в сущности, разумеет не столько «почвенничество» в собственном смысле слова, трибуной которого были журналы бр. Достоевских «Время» и «Эпоха», сколько идеологию консервативного, а еще точнее, официального «патриотизма» (об отношении Салтыкова к «почвенникам» см. т. 6, стр. 692—697; см. также т. 9, стр. 249). Далее поэтому цитируемую формулу Салтыков припишет Козьме Пруткову (см. стр. 298).

Стр. 236. *...раз кошелек при мне, я тут же воочию вижу, как благодаря ему кругом расцветает промышленность и оживляется торговля.* — Иронический отклик на одну из тем публицистики «Московских ведомостей» — тему упадка русской промышленности и торговли, экономического кризиса, будто бы вызванного отсутствием спроса на изделия русской промышленности (см. прим. к стр. 250).

ПИСЬМО II

(Стр. 236)

Впервые — *ВЕ*, 1884, № 12, стр. 663—676.

Рукопись и корректуры не сохранились.

Работу над вторым «письмом» Салтыков начал, вероятно, вскоре после согласия Стасюлевича напечатать первое «письмо», то есть после 14 октября 1884 года. 26 октября он сообщал Белоголовому: «Отдал маленькую-маленькую вещицу Стасюлевичу для ноябрьской книжки, но вряд ли ей суждено появиться. Теперь пишу еще вещицу (тоже маленькую) для декабрьской книжки, и тоже ничего верного сказать не могу». Статья была закончена в первых числах ноября. «Для декабрьской книжки, — писал Салтыков Белоголовому 10 ноября, — тоже чуть-чуть побольше написал, а вышло даже несуразно».

В центре внимания Салтыкова во втором «письме» — проблема, возникшая в русской политической жизни 60-х годов в связи с осуществлением ряда реформ, имевших объективно буржуазно-демократический характер, — проблема конституции.

В конце 70-х — начале 80-х годов «конституционный вопрос» приобрел особую остроту по двум причинам — внешнеполитической и внутриполитической. В 1879 году в Болгарии, после освобождения от турецкого владычества, начала действовать разработанная при участии русских представителей так называемая Тырновская конституция — одна из самых демократических для того времени европейских конституций. С другой стороны, революционный натиск народовольцев заставил самодержавие приступить к формулированию новой политической программы. Эту задачу должна была выполнить образованная в 1880 году Верховная распорядительная комиссия под председательством гр. М. Т. Лорис-Меликова, один из проектов которой предполагал создание при Государственном совете «общей комис-

сии из земских деятелей и сведущих людей, частью по избранию, частью по назначению от правительства» [1].

В условиях самодержавной системы разработка конституционных принципов являлась прерогативой бюрократии и какое-либо участие общественности в такой разработке не допускалось. Кроме того, «самобытная русская конституция», по мысли ее творцов, не могла иметь ничего общего с европейскими конституциями, и обращение к опыту конституционных правлений Западной Европы (прежде всего Франции и Англии) исключалось. Эти два обстоятельства с полной определенностью «выяснились» именно в период либеральной «диктатуры сердца» Лорис-Меликова. Салтыков писал П. В. Анненкову 20 сентября (2 октября) 1880 года: «...Лорис-Меликов созывал всех редакторов и прочитал им речь, в которой заявил, что о конституции и думать нечего и распространять конституционные идеи — значит производить в обществе смуту. Вот, значит, и либерализм выяснен <...> И теперь «Голос» проповедует: нельзя ли, дескать, у нас самих в наших собственных законах и в предначертаниях Сперанского отыскать задатки будущего обновления России».

После убийства Александра II тема конституции становится безусловно запретной, хотя общественно-политическая ее актуальность и значимость сохраняется и она в той или иной форме всплывает на поверхность политической жизни и подвергается обсуждению в печати. Так, например, в статье К. П. Победоносцева «Великая ложь нашего времени» говорилось: «Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времен французской революции *идея*, что всякая власть исходит от *народа* и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции и проникла, к несчастию, в русские безумные головы» [2].

Внешнеполитический аспект «конституционной» проблемы в эти годы нашел свое выражение в сложных взаимоотношениях русского правительства с болгарским «князем» Александром Баттенбергом, в апреле 1881 года совершившим переворот и отменившим действие Тырновской конституции. Д. А. Милютин писал по этому поводу в своем дневнике: «Хотя переворот в Болгарии задуман и исполнен без ведома русского правительства и даже вопреки нашим советам, однако ж нельзя отвергать, что сам государь, как и многие из окружающих, в душе одобрят решимость князя болгарского и будут сочувствовать ниспровержению ненавистной им болгарской консти-

---

[1] «Конституция гр. Лорис-Меликова и его частные письма». Изд. «Свободная мысль», Лондон — Пб., б. г., с. 32. Характерна реакция Александра II на это предложение Лорис-Меликова. «Да ведь это états généraux»,— заявил русский самодержец (т а м ж е).

[2] «Гражданин», 1884, 10 июня, № 24. Статью Победоносцева, напечатанную анонимно, комментировал кн. В. П. Мещерский: «...великая ложь, о которой идет речь, есть *конституция!*» (т а м ж е, 17 июня, № 25).

туции, выработанной под опекой русского же правительства»[1]. Вместе с тем самовольные действия болгарского самодержца, русского ставленника, все более подпадавшего под влияние Австро-Венгрии, вызывали резкое недовольство правительства Александра III: летом 1883 года в Болгарию с целью урегулировать разногласия Баттенберга с русскими министрами его правительства и восстановить действие Тырновской конституции был командирован видный чиновник русского дипломатического ведомства А. С. Ионин[2]. Этот факт должен быть особо отмечен. Дело в том, что герой салтыковской сказки, статский советник Передрягин, оказывается «командированным» к медведям-«братушкам»[3] ради составления для них конституции также летом 1883 года. Если это и совпадение, то — знаменательное.

Однако главным для Салтыкова был, конечно, аспект внутриполитический. Передрягинское конституционное творчество обобщает особенности соответствующей деятельности таких, например, чиновников, стоявших у кормила власти, как гр Н. П. Игнатьев или М. С. Каханов.

Н. П. Игнатьев в качестве министра внутренних дел был вдохновителем принятого в августе 1881 года драконовского «Положения об усиленной и чрезвычайной охране», названного В. И. Лениным в 1911 году, когда это «Положение» все еще продолжало действовать,— «фактической российской конституцией»[4]. Это была поистине «конституция наоборот», «зимняя конституция». Тот же Игнатьев своим проектом созыва «Земского собора» пытался осуществить идею, вынашивавшуюся, под именем «нашей родной российской конституции», идеологами реакционного дворянства, оппозицией справа, а также славянофилами[5]. «Таким образом,— писал о своем проекте Игнатьев,— сложилась бы, без потрясения устоев, русская самобытная конституция, которой позавидовали бы в Европе и которая заставила бы умолкнуть наших псевдолибералов и нигилистов»[6]. Попытка Игнатьева привести свою идею в исполнение вызвала «ужас» Победоносцева: «...собор та же конституция — пагуба России»[7]. В мае Игнатьев был устранен и заменен на посту министра внутренних дел гр. Д. А. Толстым. «Причиною всему было слово «конституция» — см. стр 247,

---

[1] Д. А. Милютин. Дневник, т. 4. Ред. и прим. П. А. Зайончковского. М, 1950, с. 66.

[2] См.: П. А. Матвеев. Болгария после Берлинского конгресса. СПб., 1887, с. 181 и след.

[3] «Брату́шками» официозная и славянофильская печать именовала славянские народы.

[4] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 114.

[5] П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. Изд-во МГУ, 1964, с. 449—472.

[6] Там же, с. 459—460.

[7] Там же, с. 466.

Не менее характерна, в том же, «передрягинском», смысле, фигура М. С. Каханова. «Фактический автор лорис-меликовских проектов реформ»[1], Каханов возглавляет при Игнатьеве комиссию, разработавшую «Положение об усиленной и чрезвычайной охране», а затем председательствует в другой комиссии, получившей наименование «Кахановской»,— по реформированию, первоначально в либеральном духе, местного самоуправления[2]. Однако именно из недр этой комиссии в 1885 году вышел реакционный проект усиления в местном самоуправлении роли дворянства (впоследствии — закон о земских начальниках — см. 515).

Все приведенные выше материалы объясняют ту характеристику «сказки», или «басни», о Передрягине, которую Салтыков дал в письме к Н. А. Белоголовому от 16 декабря 1884 года: «Смысл сей басни таков: завозных конституций бояться нечего. Следовательно, ежели надобность встретится, то таковую может написать Передрягин, коего адрес почтамту известен. Многие комментируют, будто бы я хотел указать на Лорис-Меликова, но это неправда. А другие говорят, что «братушек» я только для вида привлек,— об этом я ничего не знаю и сказать не могу. Dixi et animam levavi» (сказал и облегчил душу).

Второе из «Пестрых писем» — итоговый анализ всех тех форм «конституционного творчества» в пореформенной России, которые исходили из предпосылки сохранения самодержавия.

«Письмо II», по-видимому по причине своей политической остроты и сложности расшифровки эзопова языка, было встречено почти полным молчанием прессы. Удалось обнаружить лишь два отклика. Первый, принадлежащий рецензенту газеты «Эхо», не касается политической проблематики «письма» и ограничивается указанием на правдивость, хотя и с «сатирико-щедринской утрировкой», изображения в лице Передрягина русского чиновника — «с его вечным стремлением сочинять всевозможные проекты, предназначенные для спасения отечества. При этом одно и то же лицо способно, по приказанию или необходимости, составлять их в различных смыслах, на диаметрально противоположных началах, взаимно исключающих друг друга»[3]. Другой отзыв, резко враждебный, принадлежал кн. В. П. Мещерскому: «Все то же: все какие-то статские советники, чиновники, насмешки над тем, что нельзя говорить о конституции»[4].

Стр. 236. *Жил он на даче, на Сиверской станции Варшавской железной дороги...*— В этой дачной местности под Петербургом провел лето 1884 года Салтыков.

---

[1] П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. Изд-во МГУ, 1964, с. 433.

[2] Это обстоятельство вызывало постоянные нападки на деятельность комиссии со стороны реакционной прессы (см., например, целый цикл статей под названием «Проекты, мысли и замыслы Кахановской комиссии».— «Гражданин», 1884, № 41—49).

[3] Л. Л. Литературные заметки.— «Эхо», 1884, 20 декабря, № 1394.

[4] «Гражданин», 1884, 9 декабря, № 50.

Стр. 237. *...за восемь желтеньких бумажек...* — то есть за восемь рублей.

...кто будет смазывать и пускать в ход эту машину <...> куда мы идем? где мы живем? — Иронический намек на зарубежную «земскую», антибюрократическую публицистику, в частности, на брошюру А. И. Кошелева «Где мы? Куда и как идти?» (подробнее см. т. 14, с. 677—679).

Стр. 238. *...публицист Скоморохов <...> В длинной передовице «Куда мы идем?» <...> доводил до сведения публики <...>* — О гибельности пути, которым шла Россия, постоянно твердила реакционная печать, представленная прежде всего изданиями М. Н. Каткова. Так, например, в связи с процессом В. Н. Фигнер и др. (сентябрь — октябрь 1884 г.) «Московские ведомости» писали: «Вот куда мы зашли путем упразднения правительства!» (*М. вед.*, 1884, 14 октября, № 285). О публицисте Скоморохове см. также в «Пошехонских рассказах» (т. 15, кн. вторая, «Вечер шестой»).

...полемика приняла обычный, по обстоятельствам времени, характер... — В полемике газет «Чего изволите?» и «Нюхайте на здоровье» обобщен характер отношений между охранительными и псевдолиберальными органами печати. Такой была, например, полемика в августе 1884 г. между «Московскими ведомостями» и «Гражданином», с одной стороны, и «Новым временем», с другой, вызванная «крамольным», с точки зрения реакции, решением Первого департамента Правительствующего сената (см. прим. к стр. 253, 337). В ходе этой полемики кн. В. П. Мещерский дал следующую, не лишенную интереса и проницательности характеристику суворинской газеты, защищавшей сенатское решение: «Имея много читателей, добытых легкостью и игривостью содержания своих статей и разнообразием сюжетов, им затрагиваемых, «Новое время» силится во что бы то ни стало приобрести в то же время значение серьезной газеты и известное политическое влияние <...> Но, увы, не может она никак сделаться серьезною газетою, не может никак приобресть значения, что она ни предпринимает! Спрашивается: отчего? Ответ очень прост и ясен. Именно оттого, что эта газета никак не может попасть в такой образ мыслей и воззрений, который читатели признали бы известным убеждением, определенным образом мыслей» («Гражданин», 1884, 23 сентября, № 39, с. 24).

Стр. 241. *...настоящие суды, как на Литейной.* — На Литейной улице помещалась Петербургская судебная палата.

...а об распределении мы в следующий раз поговорим. — Понятие «распределение богатств» в системе эзопова языка Салтыкова намекало на социалистическое учение.

Лейтенант Жевакин — персонаж «Женитьбы» Гоголя.

ПИСЬМО III

(Стр. 248)

Впервые — *ВЕ*, 1885, № 1, с. 161—183.

Рукопись и корректуры не сохранились.

В донесении от 28 декабря 1884 года в С.-Петербургский цензурный комитет о январском номере «Вестника Европы» В. М. Ведров обращал внимание на «Пестрые письма», «Внутреннее обозрение», «Письма из Москвы» и «Общественную хронику». Отмечая, что в этих произведениях «говорится о противоречиях, удручающих современную жизнь, о кляузе, составляющей правильный образ мыслей (стр. 161—162); о разрушении всего существующего на благо государства; университетском уставе; ограничении свободы чтений посредством временных правил 5—20 января 1884 года; о недоверии к самоуправлению; о неподвижности Положения о земских учреждениях и т. д.», относительно же фельетона Салтыкова он писал: «Пестрые письма» особенно едко нападают на господство кляузников (стр. 166 и др.), на управление Федотов (стр 172, 173), из которых один угнетал и автора, будучи его школьным сверстником (стр. 170).

Преобразования, по мнению даровитого сатирика, должны состоять в обуздании молодежи и разнузданной печати.

Относительно нашей молодежи сатирик предлагает «упорядочить ее *воспроизведение, то есть образовать институт племенных молодых людей»* (стр. 176).

Касательно печати он, отвергая «намордники» (стр. 179), предлагает оплодотворить ее образованием 101 литератора, разделенных на десять отрядов (стр. 181).

«По совершении молебствия и по воспоследовании пригласительного сигнала отряды начнут между собою полемику. Но полемику благородную и притом сливающуюся в одном общем чувстве признательности» (стр. 182).

Сатира со времени Ювенала и Персия действовала разрушительно, но она имела предметом общечеловеческие недостатки, которые бичевала; избрать же предметом сатиры пылкое юношество и неокрепшую печать, указывать на их позорную роль в будущем — значит затрагивать самые чувствительные струны всякого благоустроенного государства и подтачивать его основы. Цензор полагает существенно вредною эту статью» [1].

Первоначально в автографе донесения В. М. Ведрова было, что он считает «необходимым исключить эту статью», но затем, перечеркнув первые два слова, он изменил свою первоначальную формулировку (*ЦГИАЛ*, ф. 777, оп. 2, 1865, ед. хр. 102, т. 2, л. 86).

Ознакомившись с донесением В. М. Ведрова, председатель С.-Петер-

---

[1] В. Евгеньев-Максимов и Д. Максимов. Из прошлого русской журналистики. Л., 1930, с. 65—66.

бургского цензурного комитета А. Г. Петров, не дожидаясь обсуждения на очередном заседании комитета, сразу же довел его до сведения Главного управления по делам печати. На состоявшемся 2 января 1885 года экстренном заседании совета Главного управления по делам печати было решено записать о сообщаемых в донесении статьях «в журнал заседания на случай принятия меры взыскания против журнала «Вестник Европы» (*ЦГИАЛ*, ф. 776, оп. 2. 1884, ед. хр. 24, л. 100 обл.). При обсуждении (9 января 1885 г.) сообщения В. М. Ведрова на заседании С.-Петербургского цензурного комитета было решено «за донесением о книжке начальству, принять доклад цензора к сведению» (*ЦГИАЛ*, ф. 777, оп. 2, 1865 г., ед. хр. 102, ч. 2, л. 89). Узнав об этом, Салтыков в тот же день (9 января) написал Соболевскому: «Экстренно собирали совет, припомнили Персия и Ювенала и нашли, что даже они такой смуты в общественное сознание не вносили, какую я вношу (буквально). Дело, на сей раз, кончилось тем, что записали в журнал: иметь в виду». Однако 2 февраля 1885 года Салтыков дополнительно сообщал Соболевскому: «Скажу Вам следующее: по поводу 1-го № «Вестника Европы» было собрание 4-х, созванное гр. Толстым, который требовал закрытия журнала. И опять по поводу, главным образом, меня. Кто-то инсинуировал Толстому, что первое январское мое письмо и именно Федот написано на него, хотя я и во сне ничего подобного не видел, да и похожего ничего нет. Толстой, конечно, не читал, но как же не поверить, ежели такой преданный человек говорит, как Феоктистов?» Дополнительные сведения по этому вопросу находим в письме Салтыкова к Михайловскому от 15 февраля 1885 года: «На днях, опять-таки из-за меня, едва не закрыли «Вестник Европы». Собирался уже совет 4-х, но Победоносцев, узнав, что журналу еще не было дано ни одного предостережения, воспротивился».

Третье «письмо» состоит из двух тесно связанных между собою частей. Первая часть — яркая публицистическая характеристика наступившей после 1881 года атмосферы общественной «пестроты» (см. стр. 480). Вторая — изображение типичного деятеля эпохи — автора «оздоровительных проектов».

Современную жизнь Салтыков характеризует как жизнь, «утонувшую в массе подробностей», лишенную «общей идеи», которая одна может сообщить «жизненному процессу» творческую силу (так в характеристику современности входит тема «мелочей жизни»).

Салтыков обращается к «охранительной» публицистике, продолжая и развивая анализ ее, начатый еще в девятой из «Недоконченных бесед». Тем самым он вскрывает смысл политики самодержавия, ибо реакционная пресса, представленная прежде всего такими влиятельными органами, как «Московские ведомости» Каткова или «Гражданин» кн. В. П. Мещерского, идеологически обосновывала эту политику и оказывала на нее непосредственное влияние.

Политика правительства Александра III, при всех «пестривших» ее оговорках, в конечном счете исходила из того, что путь реформ, который

прошла Россия за прошедшее двадцатилетие — гибельный путь. Отношение «охранителей» к реформам Салтыков определил формулой «перереформили». Реформа, или реформы,— это «катастрофа, породившая все дальнейшие злосчастия», ввергшая Россию в состояние кризиса. На путях «упразднительной пропаганды» подготовлялась почва для контрреформ, с помощью их власть пыталась выйти из кризиса.

Однако идея контрреформ, с самого начала, не могла не быть бесплодной: ведь если признано необходимым упразднить «храм славы», сооружавшийся вот уже двадцать пять лет, то «все-таки надо и самим знать, и для других сделать понятным, какой иной храм славы предполагается соорудить на место только что выстроенного и уже предполагаемого к упразднению». Но как раз это-то остается неясным, будущее видится как возврат к прошедшему — игнорируются «общие законы, управляющие жизнью». Салтыков, таким образом, определяет действительный характер самодержавия не только на данном этапе (1881—1884 гг.), но и сущность самой этой государственной формы как полностью себя исчерпавшей. Однако салтыковский анализ современности имеет гораздо более широкое значение, чем критика самодержавной власти. Речь идет о трагическом кризисе русской общественно-политической мысли, в том числе народнической, которая все больше и больше пропагандировала «непосредственные практические применения», порывая с «общей идеей» (в этом отношении очень характерны отклики «Недели» и «Русского богатства» на первое из «Пестрых писем» — см. стр. 490, 491).

Многочисленные проекты и проектцы, долженствовавшие открыть пути к «спасению и оздоровлению», на самом деле имеют лишь отрицательный, «упразднительный» смысл, сводятся в конечном счете к «битью по темени», действию, ни в каком случае не имеющему творческого характера.

Таковы и проекты Федота Архимедова, в которых сатирически обобщены две сферы правительственной политики: народное образование и печать.

Учащаяся молодежь, студенчество были средой, из которой постоянно рекрутировались деятели революции, участники народнического движения. 24 мая 1882 года, вскоре после назначения министром внутренних дел, Н. П. Игнатьев писал министру народного просвещения И. Д. Делянову: «...я всегда считал вопрос о мерах усиленного надзора за учащеюся молодежью одним из существеннейших вопросов настоящего времени, от удовлетворительного разрешения которого в значительной степени зависит упрочение государственного порядка и общественного спокойствия» [1].

Проблемы народного просвещения стали особенно острыми к середине 1884 года, когда обсуждался и вскоре был принят новый университетский устав, отменявший действие устава 1863 года, бывшего результатом общественного подъема 60-х годов. Борьба вокруг нового университетского устава отражала общее движение от реформ к контрреформам.

---

[1] А. Георгиевский. Краткий исторический очерк правительственных мер и предначертаний против студенческих беспорядков. СПб., 1890, с. 97.

Выразительную характеристику нового устава дал А. И. Георгиевский, крупный чиновник министерства народного просвещения, ближайший единомышленник Каткова: «...новый университетский устав, предоставив правительственной власти назначение всех профессоров, ректора, деканов, инспектора, и подчинив ее влиянию все университетское преподавание и учение студентов, и поставив в прямую зависимость от нее же назначение студентам стипендий, пособий и льгот относительно платы за учение, заключает в себе все необходимые условия для оздоровления в будущем наших университетов» [1]. В 1884 году был осуществлен и ряд других контрреформ в области народного просвещения: создание церковноприходских школ, ограничение возможностей для выходцев из низших классов получить гимназическое и университетское образование.

Вторая тема, связанная с сатирическим образом Федота Архимедова,— отношение власти к печати, к литературе,— тема для Салтыкова не новая (см., например, в т. 9 статью «Насущные потребности литературы»). И хотя положение литературы в тисках «крепостной цензуры» (В. И. Ленин) никогда не было легким, к 1884 году, когда на правительственную политику в этой области самое прямое влияние оказывали К. П Победоносцев и М. Н. Катков, когда во главе министерства внутренних дел стоял Д. А. Толстой, а во главе цензурного ведомства — Е. М Феоктистов, это положение стало невыносимым. Страх перед печатью, ее «силой», ее «разрушающим» влиянием побуждал власть к усилению репрессий. «Гражданин» следующим образом описывал это влияние: «...газетная печать <...> в какие-нибудь тридцать лет <...> с чудовищною богатырскою силою пошатнула все столетние основы государственного строя, покусилась на ослабление церкви, власти, семьи, сословий, преданий, разрушила чуть ли не весь старый духовный мир, осмеяла и опошлила все святое; перевернула все сверху вниз в головах, развратила и с ума свела почти поголовно все образованное общество...» [2]

Своим проектом, «стрела» которого направлена «не против печати собственно, а против ее деятелей», Федот Архимедов выражает ту «пестрящую» особенность цензурной политики, которая демагогически связывала репрессии с неблагонадежностью деятелей печати.

Иронически используя наименование издания, предпринятого в свое время А Ф. Смирдиным («Сто русских литераторов», 1839), Салтыков создает сатирический образ «идеальной», с точки зрения власти, организации прессы.

Салтыков отрицал «прототипичность» центрального персонажа «письма» — Федота Архимедова, усмотренную Д. А. Толстым (см. стр. 497). В этом смысле гнев министра внутренних дел, чуть было не приведший к

---

[1] А. Георгиевский. Краткий исторический очерк правительственных мер и предначертаний против студенческих беспорядков. СПб., 1890, с. 157.

[2] «Гражданин», 1884, 3 июня, № 23.

прекращению «Вестника Европы», был, разумеется, неосновательным. Предметом сатиры является правительственная политика вообще, в формулировании и осуществлении которой, однако, действительно принимали участие многие бывшие соученики Салтыкова, в том числе и Д. А. Толстой.

Среди ряда откликов на третье «письмо» представляет интерес лишь развернутая рецензия А. И. Введенского. Подобно другим русским писателям (Л. Толстому, Гл. Успенскому), Салтыков, «нередко выходит из художественных форм и вместо образов дает размышления». Эта особенность кажется рецензенту характерной для современной литературы. Но «эти размышления суть только,— говоря старым языком старинных теорий словесности,— лирические излияния, и в них автор остается все тем же сатириком-поэтом. И сила лирического негодования придает размышлениям сатирика необыкновенную живучесть, захватывающую читателя. Таким лирическим порывом начинается и «Пестрое письмо» в январской книжке «Вестника Европы». И тут автор касается самых больных струн современности, рисует «полную картину современного нам умственного скитания». Подняв важную для Салтыкова тему защиты «калечимых людей» (см. стр. 254), А. Введенский дал ее весьма неглубокую и неточную трактовку. «...Сатирику предстояла,— писал рецензент,— быть может, самая благодарная и благотворная задача — во имя общих законов жизни защищать человека, обличать это удивительное стремление не признавать законов жизни, калечить людей на собственный манер, по изобретенным «не теми Федотами» проектам, составляемым в кабинетах и канцеляриях, без соображения с обстоятельствами жизни и даже насилуя законы природы» и т. д. и т. п.[1]. «Статью Введенского о последнем «Пестром письме» я совсем не понял,— писал Салтыков В. М. Соболевскому 13 января 1885 года.— Есть какой-то намек на то, что нужно, дескать, заступаться за людей, которых калечит жизнь, но все это темно, скомкано и нерезонно. Точно в нетрезвом виде писано. Тема о заступничестве за калечимых людей очень благодарна, но нужно ее развить и всесторонне объяснить. Ведь недаром же она не разрабатывается, а г. Введенский, по-видимому, полагает, что вот он дорос, а другие не доросли. Выходит общее место».

Стр. 250. *Как плод недоделок и недомолвок появились на сцену «кризисы» <...> оракулы современности (они же изрыгатели проклятий) только о кризисах и говорят.*— Тема всевозможных «кризисов» была постоянной на страницах «Московских ведомостей» в 1883—1884 годах: «Вот уже несколько месяцев длится общий и повсеместный промышленный и торговый кризис» (1883, 16 февраля, № 47). Сообщения о кризисах сопровождались поисками виновных и «изрыганием проклятий» по адресу инакомыслящих, прежде всего по адресу интеллигенции. См. об этом также в IX из «Недоконченных бесед» (т. 15, кн. вторая).

---

[1] Аристархов <А. И. Введенский>. Литературные беседы.— *Р. вед.*, 1885, 11 января, № 10.

Стр. 253. *...в самом, дескать, правительстве накопилось бесчисленное множество антиправительственных элементов...*— Тезис о наличии «в самом правительстве» «антиправительства» был выдвинут М. Н. Катковым (*М. вед.*, 1884, 8 августа, № 218) в передовой статье, написанной по поводу решения Первого департамента Правительствующего сената, рассматривавшего конфликт между казанским губернатором и казанским земским собранием и принявшего сторону земства. Здесь Катков наиболее четко сформулировал тезис о необходимости борьбы с «расхищением власти», подрывающим самодержавие: «У нас возникло фальшивое воззрение, порожденное быстротой реформ минувшего царствования, о каких-то самостоятельных в государстве и от него не зависимых властях. Рядом якобы с государством, от него независимо, но пользуясь его авторитетом и силой, должна-де существовать судебная власть, должны точно так же существовать не только отдельно и независимо от правительства, но в существенной оппозиции к нему земские, городские учреждения и разные другие корпорации. Правительство таким образом очутилось одним из многих правительств и потерялось среди них, так что иногда не отыщешь, где настоящее правительство. Увлеченное течением, правительство само решило, якобы в интересах свободы и цивилизации, передавать свою власть разным, им же самим себе в подспорье созданным учреждениям, отказываясь от своих обязанностей и порождая призрак анархии в стране».

...это мнение вполне обстоятельно опровергается существованием знаменитого 3-го пункта для сменяемых, и кабинетных собеседований — для несменяемых.— В соответствии с «3-м пунктом» закона от 7 ноября 1850 г. «неспособные» или «неблагонадежные» чиновники государственных учреждений могли быть уволены без объяснения причин, а также без права обжалования и возвращения на службу. Кабинетное собеседование — предостережение, сделанное в дисциплинарном порядке чинам судебного ведомства («несменяемым»), увольнение или перемещение которых не зависело от администрации, а определялось лишь приговором суда.

Стр. 255. *...«растекались мыслью по древу»...*— Из «Слова о полку Игореве».

Стр. 256. *...бесшабашный советник Дыба...*— См. «За рубежом» и «Письма к тетеньке» (см. т. 14).

...Они многое позабыли и весьма малому научились.— Салтыков перефразирует изречение, приписывавшееся Талейрану. В действительности оно принадлежит французскому адмиралу де Пана (см.: Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. Крылатые слова. Гослитиздат, 1966, стр. 479).

...примеры полезных оздоровительных проектов, вроде обуздания гласности, упразднения судейской несменяемости, неограниченного выпуска кредитных билетов, учреждения элеваторов и т. п.— С наибольшей откровенностью программа «обуздания гласности и упразднения судейской несменяемости» была намечена в статье кн. В. П. Мещерского «На Новый год» («Гражданин», 1884, № 1) в следующих четырех пунктах: «1) Не следует ли непременно прекратить на время суд присяжных, поручив обязанность

суда исключительно коронным судьям? 2) Не следует ли отменить статью судебных уставов о несменяемости членов судебного ведомства? 3) Не следует ли на время отменить вовсе гласность судопроизводства по уголовным делам? <...> 4) Не следует ли одновременно приступить к пересмотру судебных уставов?» «Неограниченный выпуск кредитных билетов» пропагандировал еще во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов Катков. В 1883—1884 годах он неоднократно обрушивался на предпринятые министром финансов Н. Х. Бунге меры по упорядочению кредитно-денежного обращения, среди которых было и уничтожение необеспеченных денежных знаков. «В продолжение года было сожжено кредитных билетов на 60 млн. рублей, значит, было уничтожено 900 верст железных дорог» (*М. вед.*, 1884, 16 ноября, № 318). «Учреждение элеваторов» также было одним из предлагавшихся «Московскими ведомостями» «оздоровительных проектов»; наличие элеваторов, то есть зерновых складов при железнодорожных станциях, будто бы предотвращает колебания цен на хлеб, являющиеся причиной «хлебного кризиса».

Стр. 257. *...абсентеизм.*— Здесь: нечто отсутствующее (от *лат.* absens).

Стр. 258. *...водевиль «Отец, каких мало».*— Автором этого популярного водевиля, напечатанного в 1838 г. в журнале «Репертуар», был плодовитый водевилист Н. А. Коровкин.

Стр. 259. *...по лестнице, виденной Иаковом во сне...*— Из Библии (Бытия, гл. XXVIII).

Стр. 261. *...земство, суд, акцизное ведомство, контроль...*— О нападках реакции на земство и суд см. прим. к стр. 253. Акцизное и контрольное ведомства также принадлежали к числу «новых учреждений», созданных в эпоху 60-х годов (см. т. 7, стр. 598).

Стр. 264. *...разумеется, если какая-нибудь комиссия и тут не подпустит.*— По-видимому, намек на проектировавшуюся так называемой Кахановской комиссией (см. стр. 494) реформу местного крестьянского самоуправления, предполагавшую замену волости крестьянской волостью всесословной.

Ведь Рыков думал <...> теперь он за свою выдумку сидит на скамье подсудимых.— См. прим. к стр. 294—295.

Стр. 267. *Уже достаточное количество сошло с арены, остальные... не замедлят!* — Русская литература в 70-х — начале 80-х годов понесла тяжелые утраты (смерть Некрасова, Достоевского, Писемского, Тургенева). Прямому поруганию подверглось имя Тургенева в органах реакции, когда после смерти писателя стало известно о его связях с народнической эмиграцией. Даже расходы Петербургской городской думы на похороны Тургенева вызвали поток злобных инсинуаций. В связи с этим «Гражданин» в беспрецедентно грубой форме затронул и Салтыкова: «И общество должно будет готовиться к значительному расходу, если, например,— чего боже сохрани, умер бы „наш великий сатирик“» (1884, № 10). По-видимому, именно эти факты и нашли отражение в заявлении Федота Архимедова.

Стр. 268. *...следует ли членам литературных отрядов присвоить штатное*

содержание <...> следует, но в виде частного пособия и притом келейно.— Систему «келейных» пособий, то есть подкупа печати, предлагал министр внутренних дел Д. А. Толстой. Но она была отвергнута председателем комитета по делам печати Е. М. Феоктистовым как неэффективная (см.: Е. М. Феоктистов. За кулисами политики и литературы. Л., 1929, стр. 213—214). Вместе с тем таким «частным пособием», исходившим от самого императора, пользовался, например, «Гражданин» кн. В. П. Мещерского.

Стр. 269. ...*знание латинских пословиц и изречений.*— Намек на характерную особенность публицистики М. Н. Каткова.

ПИСЬМО IV

(стр. 269)

Впервые — *ВЕ*, 1885, № 2, стр. 619—650.

Рукописи и корректуры не сохранились.

Работа над очерком была закончена в первых числах января (см. письмо Салтыкова к Стасюлевичу от 6 января 1885 г.).

Жизненная судьба «жены корнета» [1] Арины Михайловны Оконцевой, символизирующая социальную судьбу дворянства, развертывается на фоне и в условиях расцветающего хищничества, которое уже не удовлетворяется взяточничеством и казнокрадством, хотя еще и не поднялось до своей высшей формы, когда оно — просто «порядок вещей». Арина Михайловна оказывается сначала жертвой хищничества наглого и примитивного (Тимофей Удалой), а затем — хищничества замаскированного, «ташкентского» («рыковщина») (Классификацию хищничества Салтыков даст позднее в «Письме VII»).

Отзывы печати о четвертом письме немногочисленны и малоинтересны. А. И. Введенский отметил, что «отношение старого докатастрофного времени к современности выражено в «Пестром письме» с поразительною рельефностью и правдой» [2].

Стр. 270. *«Гусар, на саблю опираясь...»* — Первая строка стихотворения К. Н. Батюшкова «Разлука».

Стр. 271. ...*хранилось в «Совете»...*— Опекунский совет — сословно-дворянское учреждение, в ведении которого находились приюты, воспитательные дома и т. п. При нем существовала сохранная касса, принимавшая вклады и выдававшая ссуды.

Стр. 272. ...*дворяне съехались, потому что им дозволено насчет «воли»*

---

[1] О значении сатирического типа «корнета», или «отставного корнета», у Салтыкова см. стр. 514.

[2] Аристархов <А. И. Введенский>. Литературные беседы.— *Р. вед.*, 1885, 1 марта, № 58.

просить.— Такое «дозволение»,— точнее, предписание приступить к подготовке крестьянской реформы — было дано «высочайшими рескриптами» виленскому генерал-губернатору В. Н. Назимову и с.-петербургскому генерал-губернатору П. И. Игнатьеву, обнародованными в декабре 1857 г. (подробнее см. т. 5, стр. 543). Такие съезды происходили после ознакомления в августе 1859 г. представителей губернских крестьянских комитетов с правительственным проектом отмены крепостного права.

Стр. 273. *...потянулся <...> народ <...> к обедне...*— Царский манифест об освобождении крестьян был объявлен в церквах.

Стр. 276. *...на другой день благовещенья...*— Благовещенье — весенний христианский праздник, в православной церкви приходящийся на 25 марта. ст. ст.

Стр. 278. *...Семен Семеныч, с «Гамлетом» в руках, с Гамлетом в сердце и с Гамлетом в голове...*— По свидетельству Алексея Ник. Веселовского (со слов самого Салтыкова), в лице Семена Семеныча он изобразил «некоторые черты» товарища своих детских и школьных лет С. А. Юрьева (*«Салтыков в воспоминаниях»*, стр. 644—645).

...на выкуп крестьян выпустил <...> занадельную землю по частям распродал...— Крестьянская община могла выкупить в свою собственность ту часть помещичьей земли, которая была ей выделена для пользования в форме наделов. Остальная часть (занадельная земля) оставалась собственностью помещика. Многие помещики, не желая или не в состоянии вести хозяйство в новых условиях, распродавали свою «занадельную землю».

...волю вину объявили.— Имеется в виду закон об акцизе, принятый 4 июля 1861 г. (см. т. 7, стр. 598).

Стр. 279. *...и застонали Иверские ворота, заскрежетал Страстной бульвар...*— Судебные уставы 1864 г. отменили институт частных ходатаев по делам (дореформенные подьячие), совершавших свои сделки в трактирах около Иверских ворот в Китайгородской стене. На Страстном бульваре помещалась редакция катковских «Московских ведомостей».

Наконец, подоспело и земство...— Положение о земских учреждениях вступило в силу 1 января 1864 г.

Стр. 280. *...за корнета Мстислава Удалого.*— Отцу проходимца, обирающего Оконцеву, в сатирических целях присвоено имя Мстислава Удалого, воинственного русского князя начала XIII в., потерпевшего поражение от татар в битве при Калке (1223).

Стр. 282. *Вон мать Митрофания...*— Имеется в виду громкий уголовный процесс игуменьи Митрофании, обвинявшейся в подлоге; слушался в октябре — ноябре 1874 г. (см. т. 10, стр. 804—805).

...процесс червонных валетов.— Процесс этот, по которому обвинялась шайка «золотой молодежи», слушался в Московском окружном суде в феврале — марте 1877 г. (см. т. 12, стр. 707—708).

Стр. 290. *Понаделали каких-то нотариусов...*— Институт нотариусов был установлен «Судебными уставами» 1864 г.

Стр. 294—295. *И живет этот финансист в граде Скопине-Рязанском. и оттоле на всю Россию благодеяния изливает <...> А Скопин-град за всё про всё отвечает. Стало быть, чуть какая заминочка, сейчас можно этот самый град <...> сукциону продать.*— Банк в Скопине-Рязанском был основан еще в конце 50-х годов скопинским городским головой И. Г. Рыковым. Уже в ту пору в его деятельности были обнаружены крупные злоупотребления (дело, возбужденное в связи с этим Салтыковым, тогдашним рязанским вице-губернатором, было прекращено сенатом). Популярность скопинского «общественного» банка, операции которого будто бы обеспечивались городским имуществом и должны были контролироваться городской думой, приобрела неслыханные размеры в самых разных общественных слоях. «Всем хотелось разбогатеть. <...> Это было своего рода пилигримство: люди шли и несли свои деньги в капище золотого тельца, несли и без всяких колебаний отдавали их в руки скопинского идола. За монастырями, общежитиями, иноками и «батюшками» понесли свои крохи вдовы и старцы и всякого звания люди. Прилив капиталов был непрерывный, ни на минуту не прекращавшийся. Двери банка были открыты настежь с утра до вечера; некогда было отдохнуть. Это была какая-то горячка, пароксизм бешеной алчности, затмившей в людях всякое благоразумие» («Рыковщина».— «Неделя», 1884, 9 декабря, № 50).

Стр. 297. *Она выписывает «Куранты»...*— то есть «Московские ведомости».

...литераторы от Иверской, которые <...> украшают задние столбцы «Курантов» заявлениями, извещениями и удивлениями.— См. прим. к стр. 312—313.

ПИСЬМО V

(Стр. 298)

Впервые — *ВЕ*, 1885, № 3, стр. 148—171.

Сохранился конец наборной рукописи (от слов «Вот вы на *эту другую* работу и употребили бы ваше...», стр. 316, строка 3).

Работу над очерком Салтыков закончил в конце января 1885 года (письмо М. М. Стасюлевичу от 28 января 1885 г.).

Текст *Изд. 1886* полнее журнального. Судя по дошедшей до нас части наборной рукописи, Салтыков восстановил исключенные в журнальной публикации части текста и произвел незначительную стилистическую правку.

Первая часть «Письма V» развивает тему, намеченную в предыдущем «Письме» — тему хищничества, которой, однако, здесь дается неожиданный и парадоксальный поворот: «господство хищения кончилось». В сложной иносказательной форме, по-видимому, речь идет об инспирировавшейся властью и реакционной, «охранительной» публицистикой («Бируковым» [1]) идее,

[1] Бируков здесь так же, как и в предшествовавшем «Письме» (см. стр. 295), обозначает «начальство». В то же время ему приписано типичное для Каткова латинское изречение.

будто хищничество было продуктом предшествовавшей эпохи «реформаторства», когда расшатались основы русской жизни, когда общество поразила «духовная чума»[1]. Эта идея отвечала также интересам «мироедов», самих хищников. Новая эпоха, время расчета с ненавистным «реформаторством», то есть эпоха реакции и контрреформ, и может быть названа поэтому эпохой «упразднения хищничества и торжества покаяния» (см. «Письмо VIII», стр. 360). Между тем, само собой разумеется, хищничество не только не прекратилось («все зависит от того, как посмотреть»), но усугубилось, приняв лишь форму «порядка вещей» (см. «Письмо VIII»). Демократ Салтыков не ограничивается обнажением невозможности для хищников, по самой социальной природе их, «покаяния», а трактует хищничество как тему все большего закабаления крестьянина в условиях сложившегося «порядка вещей». Вместе с тем Салтыков предвидит то время, когда «мужичок» поймет связь между своим тяжким положением и всевозможными хищническими «фестонами».

«Упразднение хищничества и торжество покаяния» возвестил Подхалимов[2] — литературный деятель нового типа, газетчик, журналист уже не 60-х, а 80-х годов (подробнее об особенностях прессы этого времени см. в примечаниях к «Мелочам жизни»). Подхалимовщина — явление, характеризующее современное состояние печати и облик ее деятелей, когда уже завершился «процесс перемещения новоявленной силы (то есть печати) из одного центра в другой» — из сферы демократических гражданских убеждений в область беспринципного буржуазного политиканства. Вместе с таким «перемещением» меняется и облик деятеля печати, происходит беспощадно жестокое извращение его человеческой природы, человеческой сущности. Трагизм подхалимовской судьбы — в противоречии между «даровитостью» и той «омерзительной, гнусной, бесчестной окраской», которую он «сумел дать своему таланту».

Преимущественное внимание рецензентов было привлечено к образу Подхалимова. Характеристика его как представителя современной прессы была признана верной органами разных направлений — от «С.-Петербургских ведомостей» до «Недели». «...в Подхалимове следует видеть тип, воспроизводящий всю современную торжествующую литературу, торгующую распивочно и навынос. Многие из стаи славных деятелей могли бы узнать себя в Подхалимове»,— писал рецензент киевской «Зари»[3]. Некоторые ре-

---

[1] «Появились несомненные признаки в разных местах России духовной чумы, угрожающей с страшною быстротою и с страшною силою подорвать не только нравственные, но и общежитейские основы жизни, и каждого из нас поставить лицом к лицу перед опасностью погибнуть от самого ужасного коммунизма. Зловещими призраками этой страшной чумы явились последние <оправдательные> приговоры судов по делам о растрате чужих денег и об ограблении касс» («Гражданин», 1884, 1 января, № 1).

[2] Образ Подхалимова впервые появляется в очерке «Тряпичкины-очевидцы» (цикл «В среде умеренности и аккуратности», т. 12), затем более обстоятельно разрабатывается в «За рубежом» (т. 14).

[3] М. Супин <М. И. Кулишер>. Журнальное обозрение.— «Заря», 1885, 9 марта, № 55.

цензенты обратили внимание на патетический, лирический тон ряда страниц пятого «письма». «Последние страницы,— писал, например, П. Голубев,— где автор отвечает на вопрос: «Что такое Подхалимовы?», полны глубочайшего общественно-психологического интереса и по некоторым лирическим отступлениям напоминают лучшие страницы из «Круглого года». <...> Вероятно, зараза беспринципности, фальши, лганья уже слишком глубоко проникла в нашу прессу, чтобы вынудить такой крик уже не негодования только, как прежде (корреспонденты Тряпичкины, Очищенный, репортеры «Красы Демидрона» и пр.), а едва ли не отчаяния пред вырождением лучших наших сил» [1]. В ряде рецензий салтыковский Подхалимов сопоставлялся с героем мопассановского «Милого друга» — журналистом Жоржем Дюруа (роман Мопассана был начат печатанием в той же книжке «Вестника Европы», где публиковалось пятое «Пестрое письмо»), причем предпочтение по мастерству и глубине анализа отдавалось салтыковскому герою. «Нельзя <...> сказать,— писал, например, С. Т. Герцо-Виноградский,— чтобы автор <Мопассан> глубоко проникал в душевные тайники этих Подхалимовых. Его фигуры наживо сколочены и представляются какими-то деревянными. В этом отношении анализ Щедрина несравненно остроумнее и тоньше» [2].

Стр. 298. *«Не обличать надо, а любить»,— говаривал покойный Прутков...*— См. прим. к стр. 234.

Стр. 299. *В вас, как нынче во всех газетах объявлено, здравый смысл проявился...*— Славянофильская идея о народе — носителе национального духа и охранительного здравого смысла — была демагогически использована самодержавием как в период «народной политики» и «земского собора» гр. Н. П. Игнатьева (см. т. 14, стр. 625, а также стр. 494), так и позднее, в 1883—1884 годах, когда реакционные идеологи видели в народе опору самодержавия в его борьбе с революционно-освободительным «интеллигентским» движением.

...с помощью крестьянского банка всю угоду у меня купите.— Крестьянский поземельный банк начал выдавать ссуды на покупку земли весной 1883 г. Вскоре эта мера вызвала недовольство дворян-землевладельцев и их идеологов: «Крестьянские банки, это незрелое, недодуманное учреждение, пущены в ход, и никто не хочет ни знать, ни ведать, что главное их нравственное значение есть новый удар, наносимый земельному дворянству» («Гражданин», 1884, 23 сентября, № 39, стр. 24). На самом же деле, как это ясно видел Салтыков, ссуды, выдававшиеся банком, закабаляли крестьян и в то же время служили финансовой поддержкой разорявшимся помещикам, давая им возможность продать сохранившиеся отрезки с большей вы-

---

[1] П. Голубев. Журнальные наброски.— «Волжский вестник», 1885, 10 (22) апреля, № 79.

[2] Барон Икс <С. Т. Герцо-Виноградский>. Письма о журналистике.— «Одесский листок», 1885, 27 апреля, № 94. Ср.: Эхо. Журналистика.— «Новороссийский телеграф», 1885, 5 апреля, № 3027.

годой, так как результатом операций банка было резкое вздорожание земли (см. сказку Салтыкова «Кисель» и прим. к ней).

Стр. 300. *Кузьма Прутков <...> землю задешево похитил...*— О распродаже государственных уфимо-башкирских земель см. т. 14, стр. 561—562.

Столоначальник департамента Преуспеяний и Прогрессов...— Указанный департамент обозначает здесь, по-видимому, не какое-либо определенное ведомство, а символизирует любое правительственное учреждение, занимавшееся реформаторской деятельностью (отношение к такого рода деятельности, например, той же Кахановской комиссии, Салтыков выразил сатирической формулой — «палить без пороха»).

Губошлепов концессию получил...— Под именем Губошлепова в сатире Салтыкова фигурирует железнодорожный деятель — концессионер П. И. Губонин (см. т. 10, стр. 734).

Феденька Кротиков ряд резвых циркуляров издал...— Феденька Кротиков — «помпадур борьбы» (см. «Помпадуры и помпадурши», т. 8).

Tout s'enchaîne, tout se lie dans ce monde,— как сказал некогда Ламартин.— Это изречение принадлежит, по-видимому, не Ламартину, а Ш. Бонне (см. т. 14, стр. 624—625).

Стр. 305. *...выхлопатывает Губошлепов концессию <...> «с гарантиею»...*— Прибыли железнодорожных компаний гарантировались правительством, то есть, в случае убыточности строительства и эксплуатации железных дорог, выплачивались из государственного бюджета и, следовательно, ложились тяжким бременем на плечи крестьянства.

Стр. 309. *...субъект, от которого несло водами Екатерининского канала.*— Не раз встречающееся у Салтыкова фигуральное обозначение нравственной нечистоплотности: воды Екатерининского канала славились нечистотой и зловонием.

...казанской части дипломат по внутренней политике...— осведомитель.

Стр. 310. *...история прекратила течение свое...*— Автоцитата: последняя фраза «Заключения» «Истории одного города» (т. 8, стр. 423).

...«в минуту жизни трудную»...— Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Молитва» (1839).

Стр. 311. *«Морсó»* — отрывок литературного или музыкального произведения, представляющий самостоятельный интерес (от *франц.* morceau).

...«страха не страшусь, смерти не боюсь!»...— Слова арии Ивана Сусанина из оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя», либретто Е. Ф. Розена).

Стр. 312. *...«Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман»...*— Из стихотворения А. С. Пушкина «Герой».

Стр. 312—313. *...«Пошехонские куранты» <...> свои задние столбцы всевозможным добровольцам в полное распоряжение предоставили <...> Тут и элеваторы предлагают, и запретительных пошлин требуют <...> и замену книгопечатания билетопечатанием проповедуют, а на днях один неунывающий плутократ проект об отдаче казны в бессрочную аренду акцио-*

нерной компании сочинил...— «Пошехонские куранты» — «Московские ведомости» М. Н. Каткова. Задние столбцы — третья и четвертая страницы катковской газеты. Элеваторы — см. прим. к стр. 256. О «запретительных пошлинах» один из «добровольцев» писал: «Повышение пошлин на все вообще предметы ввоза не только увеличит таможенные доходы, но, что еще важнее, даст толчок к развитию всех отраслей нашей промышленности, а это, в свою очередь, не только увеличит способы накопления народного богатства, не только увеличит потребление продуктов сельского хозяйства, но и развяжет правительству руки, дав ему возможность перестать заботиться исключительно только о промышленности и торговле, но обратить свое внимание и прийти с действительной помощью к ныне совершенно забытому сельскому хозяйству» (Ф. Игнатьев. Пошлина на хлеб — *М. вед.*, 1885, 15 января, № 15). Билетопечатание — речь идет о выпуске кредитных билетов, см. прим. к стр. 256. Проект об отдаче казны в бессрочную аренду акционерной компании — «Проект выкупа железных дорог и возврата казне лежащего на них долга», предложенный железнодорожным дельцом, «неунывающим плутократом» С. С. Поляковым (*М. вед.*, 1885, 15 января, № 15). Проект С. Полякова предполагал создание акционерного общества государственных железных дорог. Его смысл «Московские ведомости» разъясняли следующим образом: «Энергию выгоды вносило бы в дело общество, а сдерживающая и направляющая сила принадлежала бы правительству как главному хозяину» (*М. вед.*, 1885, 15 марта, № 73).

А может быть, и на розничную продажу не надеются. Прытки мы, но не сильны.— Розничная продажа газеты была важнейшей статьей дохода для издателей. Она увеличивалась в зависимости от сенсационности сообщаемых сведений. Вероятно, в комментируемых словах содержится намек на то, что предлагаемое «ополченье» может вызвать запрещение розничной продажи — одну из форм цензурных репрессий.

Стр. 316—317. *...как какой-нибудь Скоморохов подступает к вопросу <...> Тут уже не о скачущем штандарте идет речь, а о служении на череде государственной...*— Салтыков дает блестящий анализ тактики Каткова, превращавшего обсуждение любого современного вопроса в «служение на череде государственной», в его, катковском, понимании. См., например, отклик Каткова на процесс Скопинского банка (стр. 506): «Дело Скопинского банка представляет интерес не только как судебное дело, преследующее виновных, но и как характеристика положения дел, созданного доктриной упразднения правительства» и т. д. (*М. вед.*, 1884, 27 ноября, № 329).

ПИСЬМО VI

(Стр. 321)

Впервые — *ВЕ*, 1885, № 4, стр. 506—525.
Рукописи и корректуры не сохранились.
Написано в феврале 1885 года.

Окончание работы над очерком определяется письмом Салтыкова к Стасюлевичу от 21 февраля 1885 года.

При подготовке «Письма» к *Изд. 1886* Салтыков произвел значительную правку текста и внес ряд дополнений.

Сатира Салтыкова и в «Письме VI» принимает своеобразную «историческую» форму, диктуемую общей концепцией цикла — подведением «итогов» целого периода в истории России.

На сцену выходят «привидения», выходцы из тех «прошлых времен», которые Салтыков некогда «хоронил» в «Губернских очерках». Больше того, эти «привидения» вершат суд над современностью. В чем же смысл этого суда?

Враждебная Салтыкову пресса истолковывала содержание сатиры весьма тенденциозно. «Все салтыковские восемь генералов <...> — говорилось в рецензии «С.-Петербургских ведомостей»,— служат, однако, чему бы вы думали? — действительному, фактическому прославлению нынешнего правительственного режима. Это относительно г. Салтыкова звучит так дико, невероятно, что требует самого положительного объяснения <...> Дурно жить скверным, удручающим собою людям, следовательно, хорошо жить хорошим. Так ли?» [1]

Однако на самом деле салтыковские генералы-«привидения» «служат» гораздо более сложным идейно-художественным задачам. Прежде всего Салтыков устанавливает общность вожделений «антиреформенных бунтарей», носителей «благовременной» и «благонамеренной крамолы» с главным направлением политики правительства Александра III,— политики контрреформ. Но это лишь одна сторона, одно, и не главное, значение фантасмагории «антиреформенного бунтарства» в изображении Салтыкова. Идеолог его — «умница» Покатилов развивает теорию государственной власти, зиждущейся на «гарантиях», призванных ограничить возможные беззаконие и произвол власть имущих строгим равновесием всех частей единого централизованного политического механизма (ср. т. 14, стр. 100—101). Таким механизмом в представлении Покатилова была складывавшаяся веками дореформенная государственная система самодержавия, нарушенная реформами. В самом деле, к началу 80-х годов ряд централизованных учреждений самодержавия, игравших роль «гарантов», был или коренным образом перестроен, или и вовсе уничтожен (прокурорский надзор, сенат, III Отделение). Новые учреждения (суд присяжных, земство и т. п.) дают лишь мнимые гарантии («дразнятся»). В правительственной политике в условиях «пестроты» и «белиберды» 80-х годов возобладал принцип «децентрализации». Фрагмент «Письма VI» (от: «...тогда образовалась целая публицистическая доктрина» до: «Токевиль прав» — см. стр. 330) представляет собой конспективное изложение сатирического проекта «О необходимости децентрализации», сочиненного «отставным корнетом» Петром Толстолобовым,

---

[1] Ergo <Р. И. Гинзбург>. Литературные письма.— *СПб. вед.*, 1885, 5 (17) апреля, № 92.

персонажем «Дневника провинциала в Петербурге» (1872)[1]. Суть этого реакционного проекта сформулирована в следующих словах: «Для того чтобы искоренить зло, необходимо вооружить власть. Для того же чтобы власть чувствовала себя вооруженною, необходимо повсюду оную децентрализировать (т. 10, стр. 332), то есть, в сущности, освободить от ответственности перед законом и учреждениями, призванными блюсти закон.

Программа корнета Толстолобова есть гениальное предвидение политической программы правительства Александра III. Именно эта программа подвергнута критике в суждениях «умницы» Покатилова, полагавшего, что власть укрепляет и «вооружает» себя не произволом, а гарантиями.

Стр. 321. *...по инфантерии числился...*— находился в отставке.

Стр. 322. *...отправить туда сенаторскую ревизию.*— Сенаторские ревизии назначались для пресечения обнаруженных злоупотреблений как исключительная мера (см., например, т. 7, стр. 433—444).

...их в ту пору разом, в числе двадцати генералов, обидели...— Речь идет о предпринятой правительством Александра II в начале царствования замене старой дореформенной бюрократии новыми либеральными чиновниками (среди последних был и Салтыков, назначенный в 1858 г. вице-губернатором в Рязань).

...нагрянул на откупщика в подвал...— то есть застал его на месте преступления — при изготовлении фальшивых денег.

...кантонисты аракчеевской школы...— выходцы из солдатских детей, обучавшиеся в особых школах при организованных Аракчеевым военных поселениях.

...«Направляй кишку в огонь! направляй!» — Пожарная кишка была средством не только тушения пожаров, но и усмирения бунтов.

Стр. 326. *...Гвоздилов сообщил вычитанный им в газетах слух о том, что действия комиссии Несведения концов с концами в непродолжительном времени имеют вступить в новый фазис.*— Возможно, речь идет о Кахановской комиссии, которая вскоре, в мае 1885 г., прекратила свое существование, не прийдя ни к каким результатам. Дальнейшие рассуждения отставных губернаторов о «комиссиях» сжато передают суть нападок консервативной печати на эту комиссию, образованную еще в период «народной политики» гр. Н. П. Игнатьева и возглавлявшуюся одним из деятелей эпохи «диктатуры сердца» — М. С. Кахановым.

Стр. 328. *Пошли мы с этими пистолетами под Севастополь...*— См. очерк Салтыкова «Тяжелый год» (цикл «Признаки времени», т. 7).

Стр. 330. *...в форме вопроса о губернаторской власти.— Все помнят, как волновал этот вопрос русское общество в половине шестидесятых годов.—*

---

[1] О сатирическом типе «отставного корнета» см. в прим. к «Письму VII». Следует отметить, что одним из прототипов Петра Толстолобова был гр. Д. Толстой, вдохновитель, в качестве министра внутренних дел, правительственной политики в 80-е годы.

Этой теме специально посвящено десятое из «Писем о провинции» Салтыкова (см. т. 7, стр. 306—314 и прим. на стр. 627—629). Поводом к написанию названного «письма» послужило обсуждение проекта административно-полицейской реформы, направленной на усиление губернаторской власти.

Стр. 331. *Ступит на горы — горы дрожат, ляжет на воды — воды кипят. Вот в каком виде понимает власть «последнее слово науки»...* — Словами из оды Г. Р. Державина «Бог» Салтыков характеризует «публицистическую доктрину», наиболее последовательно разрабатывавшуюся М Н. Катковым (см. прим. к стр. 253). «Последним словом науки» в данном случае она, по-видимому, названа полемически как отклик на следующее заявление Каткова: «Эфемерные и фальшивые доктрины, выдающие себя за последнее слово науки, в наше смутное и подвижное время легко овладевают умами недовольно зрелыми и характерами недовольно крепкими...» (*М. вед.*, 1884, 8 августа, № 218) (Катков под «последним словом науки» разумел конституционные идеи).

Стр. 332. *Губернский прокурор* — глава так называемого прокурорского надзора, формально независимый от местной власти, подчиненный министру юстиции. *Губернский штаб-офицер* — жандармский полковник; также от местной власти не зависел, подчинялся, до ликвидации III Отделения, его главе, шефу жандармов.

Стр. 333. *Симония* — торговля церковными должностями.

Стр. 335. *...как вы о губернских правлениях полагаете?* — Губернское правление являлось «коллегиально управляемым высшим губернским местом», по закону подчиненным Сенату (см. С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850—1860 годов. М., 1972, стр. 192 и след.)

Стр. 336. *...посторонние ведомости* — учреждения, не входившие в систему министерства внутренних дел.

Стр. 337. *...нынче даже сенат — и тот предостерегающее значение утратил...* — Правительствующий сенат — высшее административно-судебное учреждение царской России, осуществлявшее надзор за правильностью исполнения законов, «хранитель законов». В данном случае, по-видимому, имеются в виду нападки на сенат в связи с решением Первого его департамента, шедшим вразрез с политикой министра внутренних дел Д. А. Толстого (см. прим. к стр. 253). Так, кн. В. П. Мещерский назвал Первый департамент сената «учреждением, враждебно настроенным против направления нынешней внутренней политики и против министра внутренних дел, дающего этой политике направление самое заметное» («Гражданин», 1884, 19 августа, № 34, с. 20).

...Сенат-с <...> а особливо московские оного департамента... — «Судебными уставами» 1864 г. были созданы два новых, так называемых кассационных департамента сената, с местопребыванием в Петербурге. Вместе с этим началось преобразование «старых» (судебных и административных) департаментов, завершившееся лишь в 1883 г. В процессе этого преобразования были ликвидированы департаменты сената, находившиеся в Москве.

ПИСЬМО VII

(Стр. 341)

Впервые — *ВЕ,* 1885, № 6, стр. 659—676, с примеч.: «См. «В. Евр.», апрель 1885 года. Настоящее письмо не могло быть напечатано в майской книжке по болезни автора. Ред.»

Рукописи и корректуры не сохранились.

Начало работы над очерком определяется письмом Салтыкова к Соболевскому от 4 апреля 1885 года: «Теперь принялся за «Пестрое письмо», которое нужно кончить к 15 числу...» Однако очерк закончен был лишь в начале мая (см. письмо Салтыкова к Стасюлевичу от 6 мая).

Хотя в материалах цензуры нет каких-либо упоминаний об этом очерке, но, видимо, именно о нем идет речь в письме Стасюлевича к Пыпину от 24 августа/5 сентября 1885 года: «Вы, вероятно, помните, что случилось с последним «письмом» Салтыкова, относительно которого инспекция «надеялась», что набор его еще не разобран» (*ГПБ,* ф. 621, ед. хр. 835, л. 33 об.).

«Письмо VII» непосредственно продолжает «письмо» предыдущее,— завершая его сюжетно и являясь глубоким публицистическим комментарием к сатирической истории тайного общества «антиреформенных бунтарей». В единственном (других обнаружить не удалось) отклике на седьмое «письмо» в связи с этим говорилось: «Комментарии к «письмам» г. Щедрина вообще не нужны; в настоящем же случае они были бы неуместны, так как в этом «письме» автор сам разъясняет свою предшествовавшую сатиру и становится уже почти публицистом. Нам это «письмо» кажется едва ли не лучшим из серии «Пестрых писем» [1].

Разъясняя смысл суждений Покатилова о «гарантиях», Салтыков сопоставляет «белиберду» покатиловскую, дореформенную с современной. Олицетворением современной антиреформенной «белиберды» выступают два сатирических персонажа — тайный советник Крокодилов и отставной корнет Отлетаев, формулирующие общую реакционную программу.

Сатирический образ корнета Отлетаева восходит к бесшабашному герою одноименной повести кн. Г. В. Кугушева (таковым он и является у Салтыкова в рассказе «Старая помпадурша» — см. т. 8, стр. 42). Позднее тип «отставного корнета» приобретает у Салтыкова определенные социально-политические черты (Петька Толстолобов в «Дневнике провинциала», Прогорелов в «Убежище Монрепо»). Это — «некогда крепостных дел мастер, впоследствии оголтелый землевладелец» (т. 13, стр. 380). Именно эти черты «отставного корнета», делавшие его в середине 70-х годов «пропащим человеком», оказались через десяток лет самыми подходящими для осуществления правительственной политики контрреформ. Ныне, в 80-е годы, ставши земским деятелем или предводителем дворянства, он приглашается в Пе-

---

[1] «Русская мысль», 1885, № 7, с. 56.

тербург в качестве «сведущего человека» для участия в работах той или другой «комиссии». «Корнет Отлетаев», как и «дядя» Захар Иваныч Стрелов (см. «Письмо VIII»), «держит свое знамя высоко» — он естественно становится носителем и пропагандистом идеи «дворянской организации», в которой, по словам «Московских ведомостей», «по преимуществу следует искать элементы для благоустройства местного, то есть повсеместного управления в Русском царстве...» (*М. вед.*, 1885, 21 апреля, № 108).

В «Письме VII» непосредственным прототипом корнета Отлетаева был «сведущий человек», участник работ Кахановской комиссии с осени 1884 года — алатырский уездный предводитель дворянства А. Д. Пазухин. Ему принадлежит идея замены местных судебных и земских учреждений сословно-дворянским институтом уездных начальников («благонадежных отставных прапорщиков»), осуществленная позднее, в 1889 году законом о «земских начальниках» (см.: А. Пазухин. Современное состояние России и сословный вопрос.— *РВ*, 1885, № 1). См. также далее «Проект обновления», предложенный «дядей» Захаром Иванычем Стреловым («Письмо VIII»).

В заключении «письма» Салтыков вновь касается судьбы «среднего человека», «простеца», трагическое положение которого «объясняет тайну успеха белиберды». Эволюция либерала Глумова, прослеженная в «Современной идиллии», но там прерванная явлением «стыда», в «Пестрых письмах» завершается — он не только «приспособился», но получил собственный «киоск» (то есть выгодную административную должность в провинции).

Стр. 341. *Печать изображает птицу с распростертыми крыльями...*— Намек на царский герб, также изображавший «птицу с распростертыми крыльями» — двуглавого орла.

Стр. 342. *...узнать корни и нити.*— См. т. 11, стр. 586.

...говорится о «винте»...— Винт — карточная игра

Стр. 345. *...это действие представлялось бы менее вредным, нежели <...> выражение удивления по поводу какого-нибудь бесшабашного публициста...*— Речь идет об особом положении, которое занял в русской печати М. Н. Катков. «Теперь можно потрясать собственность, семейство, государство, все, что угодно,— исключая Каткова. А честь потрясать даже благонамеренно»,— писал Салтыков М. Стасюлевичу 6 января 1885 г.

Стр. 348. *...глубокомысленных Платонов и быстрых разумом Невтонов...*— Из оды М. В. Ломоносова. В подлиннике: собственных Платонов // И быстрых разумом Невтонов.

Стр. 349. *...он не молол суконным языком, что сенат есть учреждение крамольническое...*— См. прим. к стр. 337.

Стр. 350—351. *...продается отечество <...> и при содействии элеваторов, и при содействии транзитов, и даже при содействии джутовых мешков.*— См. прим. к стр. 256.

Стр. 353. *...подписывается на куранты.*— См. прим. к стр. 297.

Стр. 354. *Тайный <...> советник Крокодилов на новый суд ударил...*— Речь идет о законе 20 мая 1885 г., в соответствии с которым было образовано высшее дисциплинарное присутствие Правительствующего сената, получившее право смещения судей. Принцип «несменяемости» был тем самым подорван.

Стр. 354—355. *...встал в позу Любима Торцова <...> как делывал актер Садовский.*— Любим Торцов — персонаж комедии А. Н. Островского «Бедность не порок». Первым и самым выдающимся исполнителем роли Торцова был, еще в 50-е годы, знаменитый артист Малого театра П. М. Садовский.

ПИСЬМО VIII

(Стр. 357)

Впервые — *ВЕ*, 1886, № 9, стр. 280—300.

Сохранились: 1) черновая рукопись (от слов: «Если бы не одно дельце...», стр. 357, и кончая словами: «...снов он не видит», стр. 375); 2) наборная рукопись, написанная рукой Е. А. Салтыковой с авторской правкой (от слов: «Если бы не одно дельце...», стр. 357, и кончая словами: «...и объяснять крестьянам их обязанности и необходимость повиновения», стр. 375). Черновая рукопись отличается от окончательной редакции меньшей стилистической обработкой. Наборная рукопись, помимо незначительных отличий, разнится от журнального текста и *Изд. 1886* одним вариантом.

Стр. 366, строка 7. Вместо: «Ночные посещения...» — было: «Обыски...»

Окончание работы над очерком определяется письмом Салтыкова к Пыпину от 29 июля 1886 года: «Одновременно с этим письмом или днем позднее Вы получите в трех заказных пакетах 8-е «Пестрое письмо». Письмо это стоило мне множества мучений и я даже не понимаю, как докончил его».

Пыпин сразу же (2 августа) сообщил об этом Стасюлевичу: «Сегодня суббота; послезавтра я отдам рукопись в набор, попрошу поторопиться и пошлю Вам корректуру. Дело в том, что Ваш взгляд во всяком случае не лишний; для чужих вещей Вы все-таки не теряете «обоняние», которое для своих иногда Вас покидает за границей. Да Вас, без сомнения, поинтересует очень и нынешняя работа Салтыкова, первая после его болезни. Рассказ недурен, в обычном роде; герой — старинный делец (инженер), который стремится присоединиться к новейшей «общественной» деятельности. Кое-какие подробности потребуют Вашего внимания» (*ИРЛИ*, ф. 293, оп. 1, ед. хр. 1188, л. 114). Ознакомившись с содержанием очерка, Стасюлевич 10/22 августа ответил Пыпину подробным письмом. Сообщая, что пошлет «сегодня в типографию телеграмму с одобрением», он вместе с тем отмечал, что «конец несколько «указателен» и «касателен»: очевидно, этот мазурик теперь занимает высокое место», что это «человек, готовый на все»: нужно черное назвать белым или наоборот, он и на это готов, потому что

в свое время мог срыть гору там, где ее не было. «Все это мало понравится,— заключал Стасюлевич,— но когда же творения Салтыкова принимались за варенье — всегда они были горчицею!

Итак, нецензурным считать никак нельзя; но, как Вы сами знаете, трудно решить этот вопрос с полною уверенностью. Могу сказать одно, что было бы просто смешно, если бы этого не пропустили» (*ГПБ*, ф. 621, ед. хр. 836, лл. 40—41).

«Письмо VIII» появилось в печати через год с лишним после «Письма VII». Такой большой перерыв был вызван тяжелой болезнью Салтыкова. Все органы печати, откликнувшиеся на публикацию нового «письма», приветствовали возвращение Салтыкова в литературу, которая без него «осиротела» [1]. «Его голоса, его поучительной речи недоставало в последние дни, и это составляло не только для тесного литературного русского мира, а и для всего русского общества — незаменимое лишение» [2]. «Тетеньке опять представляется редкое теперь удовольствие послушать своего острого на язык, но любящего и заботливого племянника. Долгие годы общих радостей, надежд, страданий и разочарований создали такую тесную связь между писателем и его публикой, что каждое появление сатирика на литературной арене является настоящим праздником для русской интеллигенции; каждое слово, каждый образ находит отклик в душе читателей» [3].

В настоящем «письме» Салтыков обращается еще к одной разновидности «пестрых людей», особенность которой верно определил А. И. Введенский: «Всматриваясь в этот характер, вскрываемый сатирическим скальпелем автора, вы находите его первенствующую, характернейшую и поражающую черту в том, что это — общественный деятель только времен смутных, тех, когда появляется в обществе прилив мутной воды, в которой легко ловить рыбу» [4].

Для характеристики героя Салтыкову вновь требуется исторический аспект повествования. Жизнеописание «дяди» Захара Стрелова развертывается на фоне и в связи с политической историей России (смена «в е я н и й»), которая одновременно трактуется и как история, смена разных форм «х и щ н и ч е с т в а». «Дядя» всплывает на поверхность в моменты общественно-политической неустойчивости. Не в состоянии конкурировать с хищниками пореформенными («чумазыми») в сфере экономической, «отставной корнет» Захар Стрелов пытается использовать в своих хищнических целях политику. Однако он никак не может поспеть за следующими одно за другим «веяниями» пореформенной эпохи, пока не наступает

---

[1] А. Л — чъ <А. Любич?>. Журнальное обозрение.— «Орловский вестник», 1886, 30 сентября/12 октября, № 260.

[2] А р и с т а р х о в <А. И. Введенский>. Литературные беседы.— *Р. вед.*, 1886, 22 сентября, № 260.

[3] В е н е в и ч <В. В. Стукалич>. Очерки современной литературы.— «Русский курьер», 1886, 26 сентября, № 265.

[4] А р и с т а р х о в <А. И. Введенский>. Литературные беседы.— *Р. вед.*, 1886, 22 сентября, № 260.

окончательно эпоха общественно-политической «галиматьи». Он вновь находит себя в «смутной» атмосфере «покаяния» (см. стр. 481). Именно он формулирует политику «обновления», осуществляемую «благонадежными прапорщиками», «отставными корнетами»,— политику контрреформ, политику дворянской реакции. «Ликуют в Петербурге, чувствуя себя как дома,— писал публицист «Сына отечества»,— лишь Стрелов, Довгочхун и Перерепенко, жаждущие обновить и Петербург, и отечество при помощи «проектов» с ссылками на кн. Мещерского, Иозефовича и Циона <...> Торжествует политика Чухломы и социология Пошехонии...» [1]

Стр. 357. *Во время коронации императора Николая...*— в 1826 году.

Стр. 358. *...Грановский, Белинский и их кружок (обратившийся потом в стадо свиней)...*— Евангельский образ «стада свиней», одержимого бесами (Лука, VIII, 32—37), использует, для характеристики современного политического «бесовства», Достоевский в романе «Бесы». Корни этого «бесовства», по мысли Достоевского, лежали именно в идеях кружка Грановского и Белинского. Салтыков напоминает этот образ с полемической целью: для обозначения тех участников кружка Грановского и Белинского, в первую очередь Каткова, кто оказался позднее в лагере «торжествующей свиньи, чавкающей Правду».

...Петербург намереваются соединить с Москвой железным путем.— Петербургско-Московская (Николаевская, ныне Октябрьская) железная дорога строилась с 1842 по 1851 г.

Стр. 359. *...Мехмеда Кула ...«сибирских стран богатыря»... «нет, лучше смерть, чем жизнь поносна!»* — Из драматической поэмы И. И. Дмитриева «Ермак».

Стр. 361. *...заселение отдаленного края, культура, обрусение и т. д.*— Судя по этой характеристике, «просто хищничество» соответствует приблизительно «ташкентству» (см. цикл «Господа ташкентцы» — т. 10).

Стр. 362. *В особенности отличался по части пророчеств <...> публицист Кокорев...*— О публицистических выступлениях В. А. Кокорева см. т. 4, стр. 588; т. 6, стр. 603.

Стр. 362. *То было время севооборотов, покупки машин, продажи выкупных свидетельств...*— О крестьянском и помещичьем хозяйствовании в первые послереформенные годы Салтыков писал в апрельской хронике цикла «Наша общественная жизнь» за 1863 г. и февральской за 1864-й, а также в очерке «В деревне» (1863). См. т. 6.

Стр. 363. *...только людей нет...*— Об этом см. ноябрьскую за 1863 г. хронику цикла «Наша общественная жизнь» (т. 6, стр. 158—159).

Стр. 365. *В это же время и в Петербурге что-то замутилось: начались пожары, покушения, допросы, судьбища, высылки; явились корни и нити.*— Здесь и далее Салтыков суммарно характеризует общественную атмосферу периода реакции — от петербургских пожаров мая 1862 г. до покушения

---

[1] М. Г. Гребков. Провинциальная летопись.— «Сын отечества», 1886, 19 сентября, № 208.

Каракозова на Александра II в апреле 1866 г. Особенно тревожным было лето 1866 г., когда и является в Петербург, в очерке Салтыкова, «майор Стрелов». См. об этом также т. 10, стр. 59.

Стр. 366. *...слышались оклики дворников...*— Дворникам в общей системе полицейской слежки уже тогда отводилась роль надзора за проживающими в доме жильцами. Позднее, особенно в 1879 г., эта роль была еще усилена и закреплена специальными постановлениями (см. т. 13, стр. 768; т. 15, кн. первая, стр. 354).

Главное зло — либералы <...> Долгогривые — эти уж потом явились...— Охранительная концепция, сложившаяся к концу 60-х годов, рассматривала «детей» («нигилистов») как порождение «отцов» («либералов»). Долгогривые — революционная и демократическая интеллигенция, в значительной своей части складывавшаяся в 60-е годы из лиц духовного происхождения.

Стр. 367. *Я помню, как «он» меня...*— «Он» — мировой посредник «первого призыва» (см. т. 7, стр. 608).

Стр. 368. *И знаешь, куда? — в вашу губернию! в самое что ни на есть гнездо...*— то есть в Тверскую губернию, «гнездо» либерализма (см. т. 4, стр. 589).

Стр. 369. *...самый разгар железнодорожной свалки.*— Этот «разгар», приходящийся на конец 60-х годов, отражен Салтыковым в очерке «Наш savoir vivre» (цикл «Признаки времени» — т. 7).

шатобрианы — мясное блюдо.

Стр. 374. *Нынче и все новости из Мурома да из Кирсанова. У нас — источник всего, а вы, петербургские, только пережевываете.*— Кахановская комиссия (см. стр. 495), писал 2 декабря 1884 г. «Гражданин», «дожила до минуты, когда гр. Толстой пригласил в ее среду, со свежего воздуха, практических людей из провинции, и эти люди <...> нанесли смертельное поражение всем либеральным утопиям Кахановского проекта».

Стр. 374. *Проект обновления.*— Проект «дяди» Захара Иваныча Стрелова представляет собой очень точное по существу, но вместе с тем пародийное, разоблачающее изложение проекта А. Пазухина (см. стр. 515).

Стр. 375 *Вот как жили при Аскольде // Наши деды и отцы*..— Слова песни Неизвестного из оперы А. Н. Верстовского «Аскольдова могила» (либретто М. Н. Загоскина).

Еще Гоголь сказал...— С приводимого затем рассуждения начинается повесть «Шинель».

ПИСЬМО IX

(Стр. 376)

Впервые — *ВЕ*, 1886, № 10, стр. 687—700.

Сохранилась черновая рукопись, которая имеет сложную историю.

В январе — феврале 1884 года Салтыковым была задумана и начата

[1] См. «Бюллетень рукописного отдела Пушкинского дома». IX. М.—Л., 1961, с. 59—60.

(написано вступление) сказка «Пестрые люди» (рук. № 216[1], стр. 400—402). Самое начало ее, в редакции, несколько отличающейся от первой (от: «Пестрое время, пестрые люди» до: «...что ни поступок, то предательство и измена» — стр. 400; ср. стр. 376), было перебелено на листе, где уже ранее было написано и зачеркнуто «Письмо к пошехонцам» (рук. № 215, см. стр. 524). На этой стадии работа прекратилась по причинам, изложенным в письме к Н. К. Михайловскому от 8 февраля 1884 года: «Ужасно обидно: задумал я сказку под названием «Пестрые люди» написать (об этом есть уже намек в сказке «Вяленая вобла»), как вдруг вижу, что Успенский о том же предмете трактует![1] Ну, да я свое возьму не нынче, так завтра».

Закончив и опубликовав в июне 1885 года «Письмо VII», Салтыков приступил к работе над следующими «письмами», в том числе над «Письмом IX», и, возможно, именно тогда решил использовать незавершенную «сказку» (точнее — вступление к ней). Однако тяжелая болезнь прервала дальнейшую работу. 23 августа Салтыков писал М. М. Стасюлевичу, что «так безнадежно болен, что потерял всякую способность к труду». «Не читаю и не пишу,— продолжал он с горечью.— Мне это тем более досадно, что материал для «Пестрых писем» был у меня уже собран. В особенности жалко главы о *пестрых* людях, которою хотел я заключить письма».

Работа над «Письмом IX», начатая еще летом 1885 года, но завершенная лишь к августу 1886 года, отражена в черновой рукописи (№ 215). Салтыков меняет заглавие «Пестрые люди» на «Пестрые письма», вписывает на полях первый абзац нового произведения («В пестрых письмах <...> пропуск» — см. стр. 376.) Затем, после ранее написанного на листе фрагмента сказки «Пестрые люди» (см. стр. 400), знаком вставки и указанием «на другом листе» Салтыков отсылает к другой рукописи (№ 216), в которой зачеркивает не только ту часть текста, которая была перенесена ранее в рукопись (№ 215), но и три фрагмента, оставшиеся от первоначального замысла «сказки». Далее следует вновь написанный текст собственно «Письма IX». Точная дата его завершения определяется письмом А. Н. Пыпина к М. М. Стасюлевичу от 20 августа 1886 года, в котором тот сообщал, что «сию минуту получил письмо от М. Е. Салтыкова, который просит ему оставить место и на октябрь — статья у него готова» (*ИРЛИ,* ф. 293, оп. 1, ед. хр. 1188, л. 118). На следующий день, в письме к тому же адресату, рассказывая о посещении вчера только что переехавшего с дачи Салтыкова, Пыпин прибавлял: «Сегодня дал он еще одно — последнее — «Пестрое письмо», которое я и прочел на обратном пути сюда. Недурно очень. Я опять сдам его теперь же в типографию и скажу, чтобы послали Вам тотчас» (там же, л. 121). Ознакомившись с содержанием очерка, Стасюлевич 9/21 сентября отвечал Пыпину: «О новом «Пестром письме» на октябрь я немедленно написал в типографию; да и действительно там ровно ничего нет, что могло бы вызвать на «размышления» (*ГПБ,* ф. 621, ед. хр. 836, л. 62 об.-л. 63).

---

[1] Имеется в виду очерк «Наконец нашли виноватого».

Однако оптимизм Стасюлевича не оправдался. Доклад В. М. Ведрова в С.-Петербургский цензурный комитет (27 сентября) об октябрьском номере «Вестника Европы» посвящен одним только «Пестрым письмам».

«Статья «Пестрые письма»,— писал цензор,— характеризует настоящее положение нашего общества. «Проворовались людишки, остатки совести потеряли» (стр. 687). Это те люди, которые следуют направлению правительственному; их три сорта: 1) коноводы, 2) поддакиватели, 3) Молчалины (plebs) (стр. 688). Это — физиологический очерк влияющих лиц и подчиняющихся государственной системе. Он дышит презрением и оплеванием этих тружеников государства.

Представитель первого сорта — Скорняков, из либерала делается *опричником беспримесным, надрывающим себя ради целей, имеющих только абстрактное значение* (стр. 694). «Он — хам», участвовавший во всех реформах: «плакали отцы, плакали матери, а он, сильный медным лбом и камнем в груди, шел дальше и дальше вглубь» (стр. 674).

Ко второй категории относятся «люди, замученные жизнью», «попались и бьются там, не подавая голосов». Автор сожалеет, что у них нет *героизма политического,* и надеется, что в нем скоро *не будет надобности* (стр. 698). Иронизируя, он предрекает «время, всех освещающее», когда исчезнут истязания, умолкнут вопли.

К третьей категории автор относит «живой рабочий инвентарь — plebs».

«Сплошной массой наполняя канцелярию, они до того сродняются с атмосферой «своего места», что перестают даже различать, чем там пахнет» (стр. 698).

Это не сатирический легкий обзор пороков современного общества, это — проклятие, произнесенное над людьми правительственного строя, которых автор величает *«подневольной апостазиею»* (стр. 697, 700), *«игом апостазии».* Какой же может быть результат такого ужасного положения, столь позорно описанного, так жестоко выставленного на вид всех истинно честных людей?

Автор не говорит прямо, но указывает, что *суд истории пройдет молчанием* о людях двух последних категорий.

По нашему мнению, вся статья — протест против современного порядка и лиц действующих. Не полагая возможным арест книги, имею честь довести до сведения комитета дурное содержание статьи» (*ЦГИАЛ,* ф. 777, оп. 2, 1865 г., ед. хр. 102, ч. 2, лл. 100—101; неточно в книге: В. Евгеньев-Максимов и Д. Максимов. Из прошлого русской журналистики. Л., 1930, с. 73—74)

При обсуждении доклада В. М. Ведрова на заседании С.-Петербургского цензурного комитета (2 октября) председательствовавший на нем Е. А Кожухов заявил, что «о содержании статьи им доложено начальнику Главного управления по делам печати» (*ЦГИАЛ,* ф. 777, оп. 27, 1886 г., ед. хр. 514, лл. 375—376). В связи с этим комитет постановил «принять доклад к сведению».

О «пестроте», характеризующей русскую жизнь, Салтыков писал в заключении «Письма четвертого» (1881) цикла «Писем к тетеньке», называя и самое это письмо «пестрым» (т. 14, стр. 304). Эволюцию «пестрой массы» от «недоумения» и «стыдливости» к поддержке лозунга «да здравствуют ежовые рукавицы!» Салтыков конспективно, в виде «намека» (см. стр. 520), изобразил в сказке «Вяленая вобла». Отказавшись от «сказочной» интерпретации сюжета о «пестрых людях» и используя начало предполагавшейся «сказки» в качестве вступления к «Письму IX», по жанровой своей природе не имеющему ничего общего со «сказкой», Салтыков характеризует в этом письме все три разряда «пестрых людей», а не только тип молчалинский, в сущности, уже исчерпанный «Господами Молчалиными». Больше того, художественно индивидуализируется как раз не бессознательный представитель «пестрой массы», не Молчалин, а деятельный ее «коновод и зачинщик», пестрящий сознательно и целеустремленно, активный идеолог и агент «пестроты». Это было отмечено и современной критикой. Внимание сатирика, писал, например, А. И. Введенский, «должно было остановиться не на тех несчастных, для которых двоязычие есть истязание, и не на тех, кто бессознательно совершает свое пестрое дело, а на «первообразе», по его выражению, который преимущественно и может служить объектом сатирического отношения <...> Рассказывая судьбу этого представителя предательства, автор, как всегда, дает меткие характеристики нашего общества. Но существенный смысл этого лица и окружающего его общества в вопросе не о том, как могут существовать подобные люди,— где же их нет! — а о том лишь, как возможно, чтобы Скорняковы играли в обществе ту выдающуюся роль, которая достается им. В этом, собственно, главная тягостная сторона картины, изображаемой автором. Страшно не то, что зло существует, а что оно становится главным двигателем жизни, превращающим в зло и те безразличные элементы двух последних категорий «пестрых людей», которые, при торжестве добра и правды, были бы на стороне их, хотя и без всякой способности инициативы, послужили бы их целям, их еще большему торжеству в обществе» [1].

Стр. 377. *Помните, я однажды рассказал, как свинья Правду чавкала...*— Имеется в виду аллегорическое сновидение «Торжествующая свинья, или Разговор свиньи с Правдою», включенное в состав «За рубежом» (т. 14, стр. 200—202).

Стр. 378. *...о распределении богатств...*— См. прим. к стр. 241.

Стр. 379. *...мы танцуем на вулкане.*— Выражение, которым характеризовал современное положение России М. Н. Катков.

Стр. 380. *...называло их кутейниками.*— Презрительное наименование лиц духовного сословия.

Стр. 381. *...на столбцах одной «уважаемой» московской газеты...*— то есть в «Московских ведомостях».

---

[1] Аристархов <А. И. Введенский>. Литературные беседы.— *Р. вед.*, 1886, 21 октября, № 289.

Прошла питейная реформа...— См. прим. к стр. 278.

...попал в обрусители.— То есть в качестве чиновника осуществлял правительственную политику в Польше после подавления восстания 1863 г.

Стр. 382. *...предпочел стоячую магистратуру сидячей.*— Стоячая магистратура (*франц.* magistrature debout) — прокуроры; сидячая магистратура (*франц.* magistrature assise) — судьи.

Стр. 383. *Прежде были Кочубеи, Панины, Долгорукие, Голицыны, а нынче — Скорняковы да Боголеповы.*— Возможно, намек на Каткова и Победоносцева.

Стр. 384. *...суд общественной совести — суд присяжных. ...в основе этого суда лежит одна анархия* — Нападки на новый суд составляли один из постоянных мотивов реакционной политической публицистики 80-х годов (см., например, прим. к стр. 256). Один из таких публицистов писал: «Очевидно, что возникший <...> в России, в 1864 году, *суд присяжных* — не столько суд *общественной совести,* как его у нас назвали, сколько *общественный самосуд* в самом широком смысле, не имеющий никакой связи с государственным судом, не существующий ни в одной монархии» (Виктор Фукс. Суд присяжных.— *РВ,* 1885, № 3, с. 44).

Стр. 385. *...в деле подневольной апостазии...*— Апостазия — (*лат.* apostasia) — отступничество, ренегатство.

Стр. 386. *...«время, всех освещающее»...*— Из манифеста 19 февраля 1861 г.

Стр. 387. *По праздникам он режет пирог той самой рукой, которая неведомо кому разбила существование.*— Реминисценция из «Господ Молчалиных»: «Я видел однажды Молчалина, который, возвратившись домой с обагренными бессознательным преступлением руками, преспокойно принялся этими самыми руками разрезывать пирог с капустой» (т. 12, стр. 12).

...той грызущей семейной боли, которая сторожит их впереди...— Речь идет о возмездии, которое понесут Молчалины в своих детях («Чужую беду руками разведу», «Больное место» — т. 12; «Счастливец» — т. 16, кн. вторая).

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ И НЕОКОНЧЕННОЕ

МАЛА РЫБКА, А ЛУЧШЕ БОЛЬШОГО ТАРАКАНА

(Стр. 391)

Впервые — М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. IV, изд. 5-е (приложение к журн. «Нива», СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1906, стр. 232—241).

Сохранилась рукопись, начало которой представляет собою текст, вырезанный из *ОЗ,* конец — автограф рукой Е. А. Салтыковой с правкой автора (*ЦГАЛИ*). В верхней части первой страницы надпись рукой Салтыкова: «Настоящий подлинник».

В настоящем издании печатается по рукописи.

ПЕСТРЫЕ ЛЮДИ

(Стр. 400)

Впервые — *Изд. 1933—1941,* т. 16, стр. 731—732.

В настоящем издании печатается по рукописи (*ИРЛИ,* № 216).

См. прим. к «Письму IX».

ПОСЛАНИЕ ПОШЕХОНЦАМ

(Стр. 402)

Впервые (неисправно) в кн.: «Неизданный Щедрин». Л., 1931, стр. 284—292, по рукописи № 207.

Сохранились: 1) черновая рукопись первой редакции (№ 207); 2) черновая рукопись второй редакции № 215 под заглавием «Письмо к пошехонцам». Впервые — *Изд. 1933—1941,* т. 16, стр. 762.

В настоящем издании печатается по рукописи первой редакции.

Вторая редакция приводится ниже:

Милостивые государи.

Надеюсь, что вы не будете на меня в претензии за то, что я решаюсь по душе побеседовать с вами. Беседа эта, по моему мнению, тем более уместна, что за последнее время довольно-таки накопилось недоразумений, в которых вы, непосредственно или косвенно, но тем не менее несомненно приняли участие.

Содержание беседы моей будет не новое. С одной стороны, я буду говорить о повадливости, благодаря которой жизненное распутство не только не прячется за условия, но пользуется правами открытого собеседничества. С другой стороны, я буду говорить о необходимости поддержать честную мысль, честное дело, честных людей, буду говорить о том, что только торжество честного дела может доставить уверенность в завтрашнем дне. Наконец буду говорить о том, что действительно живет только тот, кто пользуется благами жизни открыто, а не тот, кто урывками крадет у жизни случайно выбрасываемые на дорогу крохи.

Отказавшись от осуществления цикла «Дополнительные письма к тетеньке», Салтыков перерабатывает вторую редакцию первого письма в «Послание пошехонцам». Он зачеркивает первоначальное заглавие («Дополнительные письма к тетеньке. I») и первые двадцать строк текста и заменяет их другим заглавием («Послание пошехонцам») и другим текстом на полях. Позднее два первых абзаца в несколько измененной редакции и под новым заглавием («Письмо к пошехонцам») Салтыков переписывает на другом листе, в верхней его части. Вслед за этим текстом (зачеркнутым) была начата вторая редакция сказки «Пестрые люди» (см. об этом стр. 520). Это позволяет датировать прекращение работы над «Письмом к пошехонцам» не позднее февраля 1884 года. В связи с этим возможно предположение, что переделка «Дополнительного письма к тетеньке» в «По-

слание пошехонцам» («Письмо к пошехонцам») была каким-то образом связана с работой Салтыкова над циклом «Пошехонские рассказы» (может быть, предполагалось включить «послание» в цикл в качестве ответа «пошехонским» читателям; ср. отрывок «...Пошехонье откликнулось...» — т. 15, кн. вторая).

ПЕСТРЫЕ ПИСЬМА

(Стр. 408)

Впервые — *Изд. 1933—1941*, стр. 733—739.

Печатается по рукописи.

СОДЕРЖАНИЕ

СКАЗКИ

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил . . . 7
Пропала совесть . . . 13
Дикий помещик . . . 23
Премудрый пискарь . . . 30
Самоотверженный заяц . . . 34
Бедный волк . . . 39
Добродетели и Пороки . . . 41
Медведь на воеводстве . . . 50
Обманщик-газетчик и легковерный читатель . . . 60
Вяленая вобла . . . 62
Орел-меценат . . . 72
Карась-идеалист . . . 79
Игрушечного дела людишки . . . 89
Чижиково горе . . . 116
Верный Трезор . . . 130
Недреманное око . . . 136
Дурак . . . 140
Соседи . . . 149
Здравомысленный заяц . . . 155
Либерал . . . 162
Баран-непомнящий . . . 166
Коняга . . . 171
Кисель . . . 176
Праздный разговор . . . 177
Деревенский пожар . . . 182
Путем-дорогою . . . 188
Богатырь . . . 192

Гиена 194
Приключение с Крамольниковым 197
Христова ночь 206
Ворон-челобитчик 210
Рождественская сказка 218

ПЕСТРЫЕ ПИСЬМА

Письмо I 229
Письмо II 236
Письмо III 248
Письмо IV 269
Письмо V 298
Письмо VI 321
Письмо VII 341
Письмо VIII 357
Письмо IX 376

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ И НЕОКОНЧЕННОЕ

Сказки
Мала рыбка, а лучше большого таракана 391

Пестрые письма
Пестрые люди 400
Послание пошехонцам 402
Пестрые письма 408

Примечания 412

Михаил Евграфович
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Собрание сочинений, т. 16, кн. 1

Редакторы
В. Панов («Сказки»),
С. Розанова («Пестрые письма»)

Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор
Л. Титова

Корректоры
Р. Пунга и *А. Юрьева*

Сдано в набор 3/I 1973 г. Подписано в печать 30/X 1973 г. Бумага типографская № 1. Формат 60 × 90[1]/16. 33,0 печ. л. 33,0 усл. печ. л. 33,38 уч.-изд л. + + 1 вкл. = 33,44 л. Тираж 52 500 экз. Заказ 2113. Цена 1 р. 65 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Ленина
типография «Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16